

ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2020 * Том 19 * № 3

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW

2020 * Volume 19 * Issue 3

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2020
Том 19. № 3

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы

Максим Сергеевич Фетисов

Перри Франц

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университет Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александер (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожбен (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

Учредители

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Александр Фридрихович Филиппов

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и конверсационный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2020
Volume 19. Issue

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

Editorial Board

Editor-in-Chief

Alexander F. Filippov

Deputy Editor

Marina Pugacheva

Editorial Board Members

Svetlana Bankovskaya

Nail Farkhatdinov

Andrei Korbut

Internet-Editor

Nail Farkhatdinov

Copy Editors

Maxim Fetisov

Perry Franz

Russian Proofreader

Inna Krol

Layout Designer

Andrei Korbut

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)

Gary David (Bentley University, USA)

Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)

Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)

Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)

Alexander Marey (HSE, Russian Federation)

Peter Manning (Northeastern University, USA)

Albert Ogien (EHESS, France)

Anne W. Rawls (Bentley University, USA)

Irina Savelyeva (HSE, Russian Federation)

Victor Vakhshhtayn (RANEPA, Russian Federation)

Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

National Research University Higher School of
Economics

Alexander F. Filippov

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

ГЛОБАЛЬНЫЙ ВОСТОК: ПОЛИТИКИ ИМЕНОВАНИЯ И ПРОДУЦИРОВАНИЯ ЗНАНИЯ

Обсуждая Глобальный Восток	9
<i>Елена Трубина</i>	
Разыскивая Глобальный Восток: мышление между Севером и Югом	19
<i>Мартин Мюллер</i>	
Дебаты о постсоциализме и политики знания в пространстве множественных «post-»	44
<i>Альмира Усманова</i>	
Восток внутри «Востока»? Центральная Азия между «стратегическим эссенциализмом» глобальных символов и тактическим эссенциализмом национальных нарративов	70
<i>Нари Шелекпаев, Аминат Чокобаева</i>	
Глобальный Восток и глобус	102
<i>Елена Трубина</i>	
Обмен мнениями по поводу статьи Мартина Мюллера «Разыскивая Глобальный Восток»	130
<i>Овидиу ЦикиндеLEANU, Дуглас Роджерс, Андрей Левкин, Юлия Градскова, Марина Соколовская, Алексей Голубев, Поль Волькенштейн, Андрей Макарычев, Дмитрий Безуглов</i>	

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Трагедия неравенства: расчеловечивая «тотального человека»	167
<i>Дмитрий Куракин</i>	

СОЦИОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА

Постгород (III): политики сопостранственности и новые медиальности . . .	232
<i>Дмитрий Замятин</i>	

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Безопасность, гуманизм и варварство: Дж. Ст. Милль о принципе невмешательства	267
<i>Арсений Куманьков, Дарья Чаганова</i>	

Несколько слов о невмешательстве	281
<i>Джон Стюарт Милль</i>	

Возникновение клерикальной корпорации на Западе XI–XIII вв. и в России XVII–XVIII вв.	300
<i>Евгений Лютько</i>	

STUDIA SOVIETICA

Преодоление жанровой системы «толстого журнала» как социально-политическое конструирование: об одной публикации С. С. Аверинцева . . .	321
<i>Александр Марков</i>	

ОБЗОРЫ

Кто использует понятие моральной паники? Библиометрический анализ научных публикаций	351
<i>Оксана Михайлова</i>	

Цифровой экологический активизм как новая форма экологического участия населения	376
<i>Полина Ермолаева, Юлия Ермолаева, Ольга Башева</i>	

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

Зондаж богоносца	409
<i>Артемий Магун</i>	
Новая критическая теория или аналитический эмпиризм?	426
<i>Дмитрий Катаев</i>	

РЕЦЕНЗИИ

Амбивалентность героя в контексте изучения социального благополучия, или Поиски героического в новой социально-медийной реальности	450
<i>Мария Субботина</i>	
Новая интеллектуальная биография Макса Вебера	466
<i>Олег Кильдюшов</i>	

Contents

GLOBAL EAST: POLITICS OF NAMING AND OF KNOWLEDGE PRODUCTION

Debating the Global East with Colleagues	9
<i>Elena Trubina</i>	
In Search of the Global East: Thinking between North and South	19
<i>Martin Müller</i>	
The Debats on Post-Socialism and the Politics of Knowledge in the Space of the Plural “Post’s”	44
<i>Almira Ousmanova</i>	
An East within “the East”? Central Asia between the “Strategic Essentialism” of Global Symbols and a “Tactical Essentialism” of National Narratives	70
<i>Nari Shelekpayev, Aminat Chokobaeva</i>	
The Global East and the Globe	102
<i>Elena Trubina</i>	
Exchange of Views on the Article “In Search of the Global East” by Martin Müller .	130
<i>Ovidiu Tichindeleanu, Douglas Rogers, Andrejs Ļevkins, Yulia Gradska, Marina Sokolovskaja, Alexei Golubev, Paul Wolkenstein, Andrey Makarychev, Dmitrii Bezuglov</i>	

SOCIOLOGICAL THEORY AND RESEARCH METHODOLOGY

The Tragedy of Inequality: Dehumanizing the “Total Man”	167
<i>Dmitry Kurakin</i>	

SOCIOLOGY OF SPACE

Post-City (III): Co-spatiality Politics and New Mediality	232
<i>Dmitry Zamyatin</i>	

POLITICAL PHILOSOPHY

Safety, Humanism, and Barbarism: J. S. Mill on the Principle of Non-Intervention .	267
<i>Arseniy Kumankov, Daria Chaganova</i>	
A Few Words on Non-intervention	281
<i>John Stuart Mill</i>	

Emergence of the Clerical Corporation in Western Europe (11–13th Centuries) and in Russia (17–18th Centuries)	300
<i>Eugene Lyutko</i>	

STUDIA SOVIETICA

Overcoming the Genre System of the “Thick Journal” as a Socio-political Construction: Referring to One Publication by S. Averintsev	321
<i>Alexander Markov</i>	

REVIEWS

Who Uses the Moral Panic Concept? A Bibliometric Analysis of Moral Panic Scientific Literature	351
<i>Oxana Mikhaylova</i>	
Digital Environmental Activism as the New Form of Environmental Participation .	376
<i>Polina Ermolaeva, Yulia Ermolaeva, Olga Basheva</i>	

REFLECTIONS ON THE BOOK

The Probing of God-Bearer	409
<i>Artemy Magun</i>	
New Critical Theory or Analytical Empiricism?	426
<i>Dmitry Kataev</i>	

BOOR REVIEWS

Ambivalence of the Hero in the Context of the Social Well-Being Study; or, The Search for the Heroic in the New Social-Media Reality	450
<i>Maria Subbotina</i>	
New Intellectual Biography of Max Weber	466
<i>Oleg Kildyushov</i>	

Обсуждая Глобальный Восток

Елена Трубина

Доктор философских наук, профессор, директор Центра глобального урбанизма,
Уральский гуманитарный институт, Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина
Адрес: просп. Ленина, д. 51, г. Екатеринбург, Российская Федерация 620075
E-mail: elena.trubina@gmail.com

В предисловии к тематическому выпуску речь идет о попытках институционализации и популяризации центрального понятия — «Глобальный Восток». Обсуждается «трансфер» результатов географической и эпистемологической рефлексии между различными профессиональными и интеллектуальными сообществами и сетями, образованными специалистами и «сочувствующими». Подчеркивается роль «очных», «лицом-к-лицу» обсуждений в привлечении и удержании интереса коллег к концептуальному движению, польза которого очевидна не для всех. Заявляется, что дебаты вокруг нового понятия и его способности генерировать изменения в организации знания в и о постсоциалистическом регионе мира значимы для усиления сотрудничества и активизации междисциплинарных международных исследований и их обнародования. Утверждается, что профессиональные сети и способы, которыми знание в них и между ними распространяется, зависят от неформальных социальных связей: именно они становятся точками кристаллизации научной коллаборации либо обмена идеями между разными группами специалистов.

Ключевые слова: Глобальный Восток, институционализация, популяризация понятия, профессиональные сети, географическая и эпистемологическая рефлексии

Рефлексия позиции, исходя из которой знание производится и затем пропагандируется, как правило, происходит в рамках тех или иных институтов, специализирующихся на производстве и передаче знания, в свою очередь, включенных в глобальные иерархии вузов, отраженных в рейтингах и прочем. Даже если рефлексия осуществляется за физическими пределами собственных университетов на круглых столах и секциях конференций, она тесно связана с теми или иными формами признания и снова иерархий. Рефлексия имеющихся форм признания и иерархий нередко сопряжена с осознанием различных вариантов непризнания и необходимостью критики иерархий. Понятие «Глобальный Восток», как мне кажется, может быть для этих целей весьма продуктивным: с его помощью можно переосмыслить условия производства знания учеными постсоциалистических стран. Ниже я хотела бы кратко рассказать о горизонтальном концептуальном движении, организованном вокруг этого понятия.

Публикация данного тематического выпуска в гостеприимном «Социологическом обозрении» — значимый этап упомянутого движения. Мы ставим в центр дискуссии перевод на русский язык статьи Мартина Мюллера «Разыскивая Гло-

бальный Восток: мышление между Севером и Югом». Выйдя онлайн в 2018 году в журнале «Geopolitics», статья к сентябрю 2020-го (времени сдачи этого выпуска в печать) собрала на веб-сайте журнала свыше пяти тысяч просмотров, что свидетельствует о сильном интересе к такому необщепринятому способу деления мира на части.

Предыстория статьи и концептуального движения включает открытие в Уральском федеральном университете исследовательского центра по урбанистике¹, где сооснователями выступили мы с Мартином Мюллером. Для переговоров с администрацией УрФУ и Уральского гуманитарного института Мюллер несколько раз приезжал в Екатеринбург и там же небольшой группе коллег, аспирантов и магистрантов представил свою концепцию Глобального Востока. Дмитрий Безуглов — один из магистрантов — перевел статью Мюллера для этого выпуска и написал к ней комментарий. Мы и Центру хотели дать такое название — Центр Глобального Востока, справедливо рассчитывая, что это поможет продвижению хорошей идеи. Однако воплощению нашего замысла помешали представления коллег-востоковедов УрФУ о том, что такое Восток. Тем не менее мы продолжили пропагандировать данное понятие, поставив его в фокус весьма широкого спектра вопросов на целом ряде конференций и круглых столов².

В ходе нашей работы обнаружилось, что Глобальный Восток интересует и других ученых, в частности Джонатана Баха и Микала Муравски. Они обращаются к постсоциалистическому миру для осмысления центральности и децентрализованности в генеалогии глобальности глобальных городов и очень близким Мюллеру образом заявляют, что, хотя именно в этом мире модерность была реализована наиболее радикально, «постсоциалистические города подвергаются глобальному исключению в городских исследованиях и теоретизировании» (Bach, Murawski, 2020: 5). Бах и Муравски «с оговорками находят термин „Глобальный Восток“ полезным» (Ibid.: 7), поскольку он позволяет развить аргумент о «глобальной постсоциалистической ситуации» (Gille, 2009), сформулированный американским социологом Жужей Гилле. Термин также полезен при рассуждениях о «провинциализации» Запада и Севера посредством помещения в центр исследовательского внимания не только Юга, но и Востока.

К обсуждению проблематики Глобального Востока мы пригласили коллег по профессиональной сети CAT-ference³ (проходящие раз в два года конференции на

1. <https://cgu-urgu.urfu.ru/ru>.

2. О «Глобальном Востоке» мы сделали несколько докладов: Трубина Е. Г. От Второго мира к постсоциалистическому пространству: в поисках замены Восточному блоку. Доклад на панели «Глядя как регион: городская и региональная геополитика» на Ежегодной конференции Ассоциации американских географов в Нью-Орлеане в 2018 году (<https://aag.secure-abstracts.com/AAG%20Annual%20Meeting%202018/sessions-gallery/445>); Мюллер М. Лекция из цикла «Александр фон Гумбольдт»: «В поисках Глобального Востока. Почему „глобальный“ урбанизм далек от глобального? Как мы теоретизировали из Севера и Юга, но забыли о Востоке» (Радбоут университет, Наймеген, Голландия, декабрь 2019).

3. https://catference2019-belgrade.rs/photo-gallery?fbclid=IwAR2ZTi-vNjo8GJolQSDyyRYjPo6muwGoofozTRqo_Rbv5ykxuLUYbcc4u4k

тему «Города после транзита»), участвовавших в конференциях в Киеве в 2017 году и в Белграде в 2019 году. Так, в Белграде мы организовали несколько панелей под общим названием «Глобальный Восток в глобальной геополитике знания: взгляды из пространства между Севером и Югом», где были представлены исследования, которые позже составили отредактированный нами тематический выпуск журнала «Eurasian Geography and Economics» (статьи уже размещены онлайн, а выход «на бумаге» планируется в конце 2020 года). Во главе SAT-ference и упомянутого журнала стоят занимающиеся Восточной Европой западные ученые — городской географ из Университета Осло Майкл Джентиле и гуманитарный географ из Метрополитэн Университета Манчестера Крэйг Янг. Они не только нас поддерживали, но и включили термин «Глобальный Восток» в название вводной статьи, представляющей читателям новую редакционную коллегию журнала. Приведу цитату из этого текста, отражающую одновременно и амбивалентность использования данного понятия, и решимость коллег активно действовать:

Задача журнала «Евразийская география и экономика» — расширение его роли... в качестве ведущего издания, несущего аналитикам и широкой публике теоретически фундированное знание об изменениях в Евразии. В то же время журнал будет ключевым игроком среди тех, кто нацелен на деколонизацию географического знания, делая эксплицитно релевантными (в рамках глобальных тенденций) те географические и экономические теоретические позиции, что сформировались вне понятия «Глобального Северо-Запада». Хотя в предыдущее десятилетие многое уже изменилось к лучшему, уникальное положение журнала позволяет ускорить этот процесс. Наряду с исследованиями, благодаря которым концепция «Глобального Юга», часто в рамках постколониальной теории, включена в повестку современных академических дебатов, представляется важным сделать то же самое и с «Глобальным Востоком» (за недостатком лучшего термина) — регионом, который временами удивительным образом остается несколько маргинальным в географическом дискурсе. (Chan et al., 2018: 3)

По инициативе Джудит Пэллот (на тот момент президента Британской ассоциации славистов и исследователей стран Восточной Европы) мы провели круглый стол, посвященный Глобальному Востоку на ежегодной конференции BASEES в 2019 году. Мы пригласили Зайру Бадилло и Микала Муравски из Университи колледж, Ричарда Сакву из университета Кента обсудить следующие вопросы: 1) «Север», «Юг», «Восток», «Запад» — в чем смысл этих категорий и в чем их значение для вашего профессионального поля? 2) Что случилось со Вторым миром после распада коммунистической системы? 3) Какова роль Востока в «глобализации» теоретической работы, в том числе в контексте третьей волны *area studies*? 4) Запад и Восток: каковы связи и пересечения, а также различия и несовпадения? 5) В городской теории в последнее время часто обсуждается уникальность городов. В чем могла бы состоять специфичность городов Глобального Востока? Вокруг каких тем можно попытаться построить теоретические рассуждения о нем?

Послушать наши выступления собрались коллеги, скептически оценивающие состояние современной славистики, и те, кто с сочувствием относится к странам и жителям «нашего» региона. Обсуждение было интересным. Так, Ричард Саква, который давно работает над проблематикой нового международного порядка (см., например: Sakwa, 2017) и места в нем России и Восточной Европы, обратил внимание на то, что после падения железного занавеса международной системе так и не удалось установить эффективный порядок в Европе. Эволюция Европейского союза в сторону атлантизма стала одной из причин событий в Украине в 2014 году и «новой холодной войны». Этот дрейф ЕС в сторону геополитических приоритетов ставит в сложное положение так называемую «новую» Восточную Европу (Беларусь, Молдову, Украину, Армению, Азербайджан и Грузию). Удалось ли системе Атлантического союза трансформировать институты и представления времен холодной войны — большой вопрос, и Саква склоняется к отрицательному ответу. Он различает понятия «исторического Запада» (определяемого и управляемого НАТО и ЕС в силу их представлений о коллективной безопасности) и «Большой Европы», понимаемой более широко. Россия и другие страны Восточной Европы отнесены Саквой к числу тех, кто оспаривает гегемонию либерального международного порядка, отстаиваемого «историческим Западом».

На дискуссии также присутствовал директор-основатель Института социальной антропологии имени Макса Планка Крис Хан, который много времени посвятил изучению постсоциализма, а несколько лет назад предпринял масштабную работу, проследив генеалогию понятия «Евразия» (Hann, 2016). Пришли и коллеги во главе с Дерекком Хатчесоном из Университета Мальмо, с которыми, в составе группы ученых из нескольких отечественных университетов, мы работали над проектом LUPSRUSS «Городское планирование в России и Швеции: инклюзивность, легитимность и устойчивое развитие». Я привожу эти детали привычной в недавнем прошлом конференционной жизни, сознавая, что в полной мере она уже не вернется, и столь значимые для всех нас жесты солидарности и поддержки теперь будут восприниматься иначе.

Еще одна значимая для данного проекта конференция «На границах городского: глобально осмысляя понятия и практики» была организована Университетским колледжем Лондона 10–12 ноября 2019 года⁴. На ней обсуждались: 1) связь между конкретными контекстами и общим современным пониманием «городского» и урбанизации; 2) вызовы городским исследованиям, планированию и близким областям со стороны «южного» и «восточного» урбанизма. Признанием значимости популяризуемого нашим Центром глобального урбанизма понятия «Глобальный Восток» стало включение организаторами в программу конференции отдельной панели «Думая, находясь на Восток(ах)». Она открылась докладом Мюллера «Как мы теоретизировали города на Севере и на Юге, но за-

4. Программу конференции «At the Frontiers of the Urban: Thinking Concepts and Practices Globally» можно посмотреть здесь: <https://www.ucl.ac.uk/urban-lab/events/2019/nov/frontiers-urban-thinking-concepts-and-practices-globally>.

были подумать о Востоках», в котором он, в частности, отметил, что значительная часть теорий в городских исследованиях отмечена дуализмом между Севером и Югом, и это приводит к исчезновению из поля зрения множества городов. Так, в «северной» городской теории, сфокусированной на богатых и могущественных городах, городам Глобального Востока отведена роль эпигонов, обреченных на догоняющую модернизацию. Одновременно города Глобального Востока невидимы и в проектах Юга. Мюллер считает, что будущее, в котором все города имеют равные шансы, откроется, если пойти дальше «полушарного мышления»: нужна не «южная» и не «восточная», а космополитичная городская теория. Это достижимо за счет: во-первых, расширения нашего географического воображения, во-вторых, усложнения теоретического репертуара и, в-третьих, исправления искаженной геополитики городского знания.

В своем докладе «Недоисследованные и недотеоретизированные: о недостатке академических исследований центрально-азиатских городов» я показала, как специфические эпистемологические процедуры приводят к «объединению» городов в регионы, но особенности жизни в центрально-азиатских городах остаются в тени исследования этого региона в целом. Ученые, работающие в Центральной Азии, осуществившие в прошлом значимые, пусть и ограниченные концептуально, исследования, сегодня сталкиваются со сложностями при получении финансирования, в результате их исследования остаются в стороне от новых концептуальных течений, а сами они оказываются своего рода маргиналами в широких международных дебатах.

Одной из организаторов этой конференции была ведущий на сегодня постколониальный исследователь городов Дженифер Робинсон. «Глобальный Восток» вошел в фокус ее внимания не только как инициатива занимающихся Восточной Европой ученых, но и как проект исследователей, представляющих другие варианты Востока. Так, израильский географ, урбанист и планировщик Орен Юфтахель уже десятилетие ставит вопрос о «юго-восточной» позиции в планировании, одну из статей на эту тему он начинает с обсуждения «эстонизации» Таллинна как одного из многих примеров городских сообществ, разделенных этнопространственными коллизиями (Yiftachel, 2006). Он сопоставляет планирование в Таллинне с тем, как это делается в других городах, развитие которых подверстано под националистические задачи — Сараево, Куала-Лумпур, Белфаст, Иерусалим, Кейптаун, — и настаивает на необходимости создания «не-западных» (и «не-северных») теорий мезоуровня, свободных от универсалистских претензий, но тем не менее позволяющих строить обобщения.

Я описываю эти эпизоды профессиональной жизни для того, чтобы побудить коллег, в частности, занимающихся постсоциалистическим пространством, к разговору о том, какое место (и время) занимает это пространство в мире. Наша активность в центрах производства западного урбанистического знания (Университет Шеффилда с сильнейшим в мире Урбанистическим институтом, Университет колледж в Лондоне, на географическом факультете которого работают лидеры

постколониальных урбанистических исследований) была призвана обратить внимание представителей и этих институций, и всего урбанистического и географического сообществ, что помимо уже хорошо изученного Глобального Юга есть большая часть мира, которую мы называем Глобальным Востоком. В моих собственных текстах о городском развитии, опубликованных по-английски, я разработала целый ряд концептов: «клиент-ментальность», «маневрирование элит», «городские фьючерсы», «чувствительность по отношению к благоустройству» и т. д., с помощью которых анализировала те или другие процессы. Но «Глобальный Восток» — понятие иного плана: оно фиксирует призыв дополнить закрепившееся за последние двадцать лет обыкновение называть «постсоциалистической» значительную часть мира иным, если угодно, более амбициозным ее названием. Возможно, это утопическое стремление (или когнитивная утопия) — использовать это и другие понятия для реализации этического и политического требования признать в качестве равного и заслуживающего внимания «наш» регион и тех, кто его исследует, и тех, кто в нем живет и работает. Это — жест, нацеленный вовне. Не менее важным кажется и стремление побудить к разговору и тех, кому, возможно, достаточно исследований, проводимых внутри одной традиции, либо страны, о том, какие связи между исследуемыми реалиями и большим миром для них особенно важны. Для этого нам нужны публикации и дискуссии по-русски, включая и данную.

* * *

Коллеги, согласившиеся развернуто отозваться на статью Мюллера — профессор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Альмира Усманова, постдок Назарбаев Университета в Нур-Султане Аминат Чокобаева и доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге Нари Шелекпаев, — обращают внимание на разные стороны аргументации Мюллера. Для Усмановой принципиальным моментом становится неизбежность ангажированности тех или иных теорий. Взяв в качестве примера методологический национализм, гендерные исследования и деколониальный дискурс, она показывает, какими следствиями для понимания как «постпостсоциалистического состояния», так и «Глобального Востока» оборачивается приверженность каждой из этих парадигм. Усманова, работающая в белорусско-литовском вузе в Вильнюсе, пишет о своем «включенном наблюдении» в городе и стране, с одной стороны, удаленных от экономических и дискурсивных центров, а с другой, озабоченных, в ходе продолжающейся «литвизации», как русским и русскоязычным влиянием, дискурсивно и политически увязываемым с угрозой поглощения, оккупации и нападения с «Востока», так и экономической зависимостью от «Запада». Усманова ратует за сохранение постсоциалистической проблематики на том основании, что популярность десоветизации и декоммунизации у политиков многих стран Восточной Европы и бывшего Второго мира обо-

рачивается изгнанием всех «призраков социализма», а с ним — крайне выборочным прочтением национальной и общей истории всех стран Восточного блока.

На схожие тенденции указывают авторы другой статьи выпуска. Чокобаева и Шелекпаев обращаются к постсоветской историографии Казахстана и Кыргызстана — конкретному предметному и дисциплинарному полю, позволяющему продемонстрировать, как Центральную Азию можно включить в проект «Глобального Востока» и что этому может помешать. Если для граждан центрально-азиатских стран десоветизация невозможна в силу жизненного опыта, в частности, позитивного отношения и к России, и к советскому прошлому, политики создают националистические исторические нарративы, в которых, как и в Прибалтике, советский период оттесняется в тень, а акценты делаются на досоветскую эпоху и современный период жизни этих стран («постсоветскую модерность»). Авторы видят параллельные процессы в науке и в истории: рассмотрев отличия между новаторскими исследованиями голода в Казахстане, осуществленными в первой половине 1990-х и в наши дни, авторы подчеркивают, что националистический запрос на историческое знание оборачивается популярностью исследований о досоветском прошлом и фокусом на тех фигурах и событиях, которые можно символически использовать в нациестроительстве стран региона. Сходство между анализом, проведенным Усмановой, Чокобаевой и Шелекпаевым, заключается в зафиксированном ими контрасте между открытостью, критичностью, новизной подходов 1990-х и нарастанием связанной с нациестроительством самоцензуры интеллектуалов. Россия, которую в этой коллекции текстов представляю своим эссе я, исключением из этой тенденции, увы, не является.

Насколько продуктивно настаивать, как это делает Мюллер, что «постсоциализм» должен уступить место «Глобальному Востоку»? Важно, по-моему, помнить, что и в интеллектуальной истории, и в сложной и постоянно меняющейся современной конфигурации дисциплин и центральных теорий есть смысл стремиться к сочетанию *нескольких позиций*, каждая из которых высвечивает в происходящем что-то иное. Публикуемые комментарии коллег позволяют увидеть, насколько болезненно некоторые из них воспринимают само допущение, что от «постсоциализма» можно и даже нужно отказаться. В антропологии, современной истории, славистике, урбанистических исследованиях именно с использованием «постсоциализма» и различных от него производных связана впечатляющая исследовательская и теоретическая работа. Причастный к ней ученый может отнестись к аргументам Мюллера как к несколько эксцентричным и недооценивающим глобальную историческую тридцатилетнюю рефлексию того, что пришло «после» социализма (об этом, в частности, пишет в своем комментарии Дуг Роджерс).

Собирая комментарии к статье Мюллера и ведя по их поводу переписку с коллегами, я почувствовала, что практики географического обозначения, названия (и переназвания) вызывают весьма сильные реакции. Большинство относятся к «Глобальному Востоку» сдержанно. Стокгольмский историк Юлия Градскова считает, что «ориенталистские» ассоциации, вызываемые этим термином, непо-

бедимы, екатеринбургский куратор Марина Соколовская, вспоминая свое отрочество в Душанбе в 1990-е, проводит различие между заботами ученых и иных интеллектуалов: если для Мюллера невидимость нашего региона в глобальной академии — симптом ее несправедливого устройства, то Соколовской непонятно, о невидимости кого именно кому именно идет речь. Архитектор Поль Волькенштейн, работающий над диссертацией об отношениях между архитектурой и властью на Кавказе и в советской Центральной Азии при Брежневе, — единственный принял термин «Глобальный Восток» безоговорочно. Однако, как и авторы эссе, он замечает, что для властей новых государств сокровища архитектурного советского модернизма не важны. Рижский писатель Андрей Левкин, подвергнув статью Мюллера строгому «фактчекингу», резонно спрашивает, для решения каких задач схема мира, включающая Глобальный Восток, может быть эффективна. Историк советского прошлого из Хьюстонского университета Алексей Голубев, как и Дуг Роджерс, сожалеет, что идеи Мюллера лишены историчности, и не видит большого смысла в самой схеме, делящей мир на большие части («миры»). Тартуский политический теоретик Андрей Макарычев заявляет о сложностях, с которыми столкнутся те, кто будет пытаться использовать именно «Восток» как платформу объединения, так как именно «Запад» и «Север» сохраняют свою привлекательность для миллионов постсоциалистических граждан. Наконец, московско-екатеринбургский куратор и переводчик Дмитрий Безуглов на малоизвестных, но волнующих примерах (в частности, работы москвичей с черкесским музыкальным фольклором) делает трезвый и многообещающий вывод о том, что Глобальный Восток «можно приживлять для анализа культурных феноменов». Моя собственная позиция в отношении этих реакций все же состоит в том, что *все* схемы названия могут быть переосмыслены и что стоит искать более гибкие рамки анализа того, где в мире и в истории размещается постсоциалистический мировой регион.

Этот тематический выпуск вносит вклад в коллективное осмысление связи между предпочитаемым учеными набором пространственных понятий и метафор и общим знанием о мире. Вопросы о том, как называть современный период развития стран, объединенных социалистическим прошлым, и как называть сами эти страны, вместе образующие мировой регион, возникают весьма часто, и обращение к концептуальным рамкам, организующим представления об этих времени и месте, конечно же, назрело. И для развития пространственного воображения, и для преодоления методологического национализма эта работа важна и будет продолжена.

Литература

Chan K. W., Gentile, M., Kinossian, N., Oakes, T., Young C. (2018). Theory Generation, Comparative Analysis and Bringing the «Global East» into Play // *Eurasian Geography and Economics*. Vol. 59. № 1. P. 1–6.

- Bach J., Murawski M. (ed.). (2020). *Re-Centring the City: Urban Mutations, Socialist Afterlives and the Global East*. London: UCL Publishing.
- Gille Z. (2009). Is There a Global Postsocialist Condition? // *Global Society*. Vol. 24. № 1. P. 9–30.
- Hann C. (2016). A Concept of Eurasia // *Current Anthropology* Vol. 57. № 1. P. 1–27.
- Müller M. (2020). In Search of the Global East: Thinking between North and South // *Geopolitics*. Vol. 25. № 3. P. 734–755.
- Sakwa R. (2017). *Russia against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yiftachel O. (2006). Re-engaging Planning Theory? Towards «South-Eastern» Perspectives // *Planning Theory*. Vol. 5. № 3. P. 211–222.

Debating the Global East with Colleagues

Elena Trubina

Doctor of Philosophy, Professor, Director of the Center for Global Urbanism, Ural Humanities Institute, Yeltsin Ural Federal University

Address: Lenin ave., 51, Yekaterinburg, Russian Federation 620075

E-mail: elena.trubina@gmail.com

The foreword to the thematic issue deals with the attempts to institutionalize and promote the central concept of the Global East. It discusses the “transfer” of the results of the geographical and epistemological reflection between different professional and intellectual communities and networks formed by specialists and “sympathizers”. The role of “face-to-face” discussions in attracting and retaining the interest of colleagues in the conceptual movement, the benefits of which are not obvious to all, is emphasized. It is stated that the debate about the new concept and its ability to generate changes in the organization of knowledge in and about the post-socialist region of the world is important for strengthening cooperation and activating interdisciplinary international research and its publication. It is argued that professional networks and the ways in which knowledge is disseminated within and between them depends on informal social connections. These connections become points of the crystallization of scientific collaboration or the exchange between different groups of specialists.

Keywords: Global East, institutionalization, popularization of a concept, professional networks, geographical and epistemological reflection

References

- Chan K. W., Gentile, M., Kinossian, N., Oakes, T., Young C. (2018) Theory Generation, Comparative Analysis and Bringing the “Global East” into Play. *Eurasian Geography and Economics*, vol. 59, no 1, pp. 1–6.
- Bach J., Murawski M. (ed.) (2020) *Re-Centring the City: Urban Mutations, Socialist Afterlives and the Global East*, London: UCL Publishing.
- Gille Z. (2009) Is There a Global Postsocialist Condition?. *Global Society*, vol. 24, no 1, pp. 9–30.
- Hann C. (2016) A Concept of Eurasia. *Current Anthropology*, vol. 57, no 1, pp. 1–27.
- Müller M. (2020) In Search of the Global East: Thinking between North and South. *Geopolitics*, vol. 25, no 3, pp. 734–755.

Sakwa R. (2017) *Russia against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order*, Cambridge: Cambridge University Press.

Yiftachel O. (2006) Re-engaging Planning Theory? Towards "South-Eastern" Perspectives. *Planning Theory*, vol. 5, no 3, pp. 211–222.

Разыскивая Глобальный Восток: мышление между Севером и Югом*

Мартин Мюллер

Профессор департамента географии и устойчивого развития Университета Лозанны,
сооснователь и научный руководитель Центра глобального урбанизма,
Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина
Адрес: Géopolis 3514, 1015 Lausanne, Switzerland
E-mail: martin.muller@unil.ch

Дмитрий Безуглов
(переводчик)

Куратор публичной программы Уральской индустриальной биеннале современного искусства,
сотрудник Центра глобального урбанизма, Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина
Адрес: просп. Ленина, д. 51, г. Екатеринбург, Российская Федерация 620075
E-mail: dmitrii.bezouglov@gmail.com

Разделение мира на Глобальный Север и Глобальный Юг стало общепринятым способом осмысления глобальных различий с конца холодной войны. Однако эта бинарная оппозиция игнорирует то, что в данной статье называется Глобальным Востоком — те страны и общества, которые занимают промежуточное положение между Севером и Югом. Статья проблематизирует геополитику знания, приведшую к исключению Глобального Востока не только из Глобальных Севера и Юга, но и в целом из представлений о глобальности. Доказывается, что для того, чтобы вернуть Глобальный Восток в теорию, нужно принять позицию стратегического эссенциализма. С этой целью статья прослеживает глобальные связи продаваемого ИКЕА граненого стакана. Это позволяет продемонстрировать неотложность переосмысления Глобального Востока как находящегося в центре глобальных связей, а не отделенного от них. Концептуализация Глобального Востока как лиминального пространства проблематизирует понятия Севера и Юга в направлении более инклюзивного, но также и более неопределенного теоретизирования.

Ключевые слова: Глобальный Север, Глобальный Юг, Глобальный Восток, исключенность, геополитика знания, стратегический эссенциализм, глобальное теоретизирование

Введение: теряя Восток

На мгновение вообразите себе Глобальный Север. Скорее всего, вы подумаете о странах Северной Америки и Западной Европы. Возможно, придут на ум Япония и Австралия, богатые государства и крупные столичные центры. А как обстоят дела с Глобальным Югом? Вспоминаются Латинская Америка и Африка, а следом и множество азиатских стран. Иными словами, те пространства, которым не удастся наслаждаться теми же привилегиями, что дарованы странам Севера. Мир,

* Перевод выполнен по изданию: Müller M. (2020). In Search of the Global East: Thinking Between North and South // *Geopolitics*. Vol. 25. № 3. P. 734–755.

открывающийся нашему внутреннему взору, кажется полным, но ключевое слово здесь — «кажется». Бинарная оппозиция Севера и Юга создает черную дыру, в которую проваливаются все те общества, которым не удается встроиться в одну из категорий. Общества, слишком богатые для Юга и слишком бедные для Севера. И эту черную дыру не назовешь маленькой: она поглощает общества, принимавшие участие в одном из самых значимых глобальных экспериментов XX века — создании коммунизма¹. Этот, как мы будем говорить в данной статье, «Глобальный Восток» остается в тени где-то между Глобальным Севером и Югом, так и не вписавшись ни в одну из категорий. Эта статья призвана пролить на него свет.

Различение богатого, могущественного Глобального Севера и бедного, менее сильного Глобального Юга — пожалуй, наиболее влиятельный способ категоризации мира и инструмент размышлений о глобальных различиях сегодняшнего дня. И это различие не просто сформировало плодородную почву для академических исследований, на которой выросло несколько журналов, множество исследовательских центров и сотни книг, в чье заглавие был вынесен «Глобальный Юг». Оно проникло в обиход исследователей, активистов, и все чаще встречается в спорах о стратегиях развития. К примеру, в дискуссиях об изменениях климата разделение «Север — Юг» часто используется для обозначения различных политических подходов к проблеме глобального потепления. Когда в начале века в «Целях развития тысячелетия» ООН одним из глобальных вызовов вновь обозначили бедность, разделение Севера и Юга получило еще больший вес.

Глобальные Север и Юг — не просто географические дескрипторы; сегодня они представляют собой в первую очередь политический и эпистемологический проект. Они знаменуют собой поворот от языка, в центре которого — категории развития (developmentalism) и телеологического прогресса, в течение многих десятилетий маркировавшие отношение Глобального Севера к Югу (и определяющие его и поныне). Они обозначают переориентацию системы производства знания с универсализма и европоцентризма, отличающего Север, на признание ценности множественных практик, обнаруживаемых на Глобальном Юге. Они же — политический источник вдохновения, влияющий на перестройку глобальной политики, дающий голос большему числу маргинализированных наций (Dirlik, 2007; Mignolo, 2011). Глобальный Юг как таковой — плоть от плоти постколониального проекта по высвобождению речи субалтернов (Spivak, 1988a).

Падение большинства коммунистических режимов (так называемого Второго мира), случившееся в период с 1989 по 1992 год, не поставило под вопрос различие Севера и Юга. Наоборот, оно стало его победой. Согласно Фукуяме (Fukuyama, 1992), конец истории не нивелирует различия богатых и бедных (то есть Севера и Юга), но стирает различие капитализма и коммунизма. Как только исчез коммунистический Другой, растворилось и идеологическое разделение на Восток и Запад. «Категория „Второго мира“ вышла из употребления, стоило распасться

1. В соответствии с общепринятым употреблением я пишу «коммунизм», говоря об идеологии, и использую «социализм», говоря о социально-политических реалиях.

Советскому Союзу... Пришло время для новой, упрощающей категоризации. Первый мир стал Севером, а третий — Югом» (Reuveny, Thompson, 2007: 557). Но что случилось со Вторым миром?

Вместо того чтобы присоединиться к Северу или Югу, Восток провалился в трещины. Говоря «Восток», я не указываю на географическую область, скорее, я говорю об эпистемическом пространстве — лиминальном пространстве между Севером и Югом. Я определяю этот Восток через опыт бывшего Второго мира, но Восток как Глобальный Восток не следует ограничивать лишь рамками этого опыта и, конечно, к нему следует относить и другие лиминальные общества. Падение политического проекта Второго мира — коммунизма — стерло Восток с глобальной карты; исчезли все характерные черты коммунистического правления, существовавшие более 70 лет. Восток слишком богат, чтобы по-настоящему присоединиться к Югу, но слишком беден, чтобы стать частью Севера. Для периферии в нем слишком много силы, но он слишком слаб, чтобы быть центром. Отношения силы двунаправлены: Восток вбирает в себя и колонизаторов, и колонизируемых, агрессоров и жертв; а некоторым странам удавалось одновременно сочетать оба статуса (Tlostanova, 2008). Другими словами, Восток неуловим и избегает категоризаций.

В глобальной циркуляции знаков Восток и вполтину не так легитимен, как Глобальный Юг, в котором колониализм создал общие языки, институты, системы знания и социальные связи. Мировым медиа и образовательным центрам Уганда знакома больше Украины; Чили звучит привычнее Чехии, а Лаос — ближе Латвии. Варгас Льюса, Гарсия Маркес и Кутзее узнаются моментально, в то время как Алексиевич, Мюллер и Шимборская звучат словно инопланетные фамилии. Все шестеро — недавние лауреаты Нобелевской премии по литературе.

Получается, что Восток находится в состоянии двойного исключения. Во-первых, его не считают частью Глобального Юга. Обложка книги «Более бедные нации» Виджая Прашада (Prashad, 2013), одной из исчерпывающих исторически-обзорных публикаций о Глобальном Юге, открыто демонстрирует географические ориентиры автора: на карте Глобального Юга отмечены Турция, Аргентина и Чили, но нет и следа стран победнее — Кыргызстана, Молдовы и Украины. Многие тома обзорных работ о Глобальном Юге пропускают Глобальный Восток. «Повседневная география Глобального Юга» (Rigg, 2007) содержит 90 кейсов из 36 стран, и ни один из них не затрагивает Глобальный Восток. «Пособие по городам Глобального Юга», по крайней мере, отмечает, что «большая часть Евразии нас не интересует» (Parnell, Oldfield, 2014: 3). «Институты Глобального Юга» (Braveboy-Wagner, 2009) ограничиваются Азией, Африкой и Латинской Америкой. Большинство исследователей настаивают на подвижности понятия Глобального Юга, отказываясь примерять строгие границы (Dirlik, 2007; Roy, Crane, 2015), и тем тревожней становится эта выборочная немота. Этому понятию как будто не хватает текучести, достаточной, чтобы включить в себя хотя бы частичку бывшего Второго мира.

Но в то же время Восток отделен и от Глобального Севера. В текстах о мировых глобальных городах и центрах, колыбелях демократии и рыночного капитализма, Востоку уготована эпизодическая роль без слов. Страны Востока, возможно, и движутся в сторону Севера, но в то же время они обречены на бесконечное движение к ускользающей модерности. Объект североамериканской и европейской *mission civilisatrice*, Восток определяется через свою «отсталость», которую в течение многих столетий фиксируют как отличительную черту Восточной Европы (Kovačević, 2008; Neumann, 1999; Todorova, 1997; Wolff, 1994). Он выступает в роли Другого, через противопоставление которому Западная Европа в течение многих лет выстраивает свой нарратив цивилизованности и прогресса.

Эта статья — небольшой шаг в глобальной геополитике знания, предпринятый, чтобы вернуть Восток на карту когнитивного производства. Мы это делаем с помощью введения категории Глобального Востока — не только отличного от других частей мира, но и связанного с ними; равного, а не подчиненного Северу и Западу. И это не просто важное эпистемическое решение для тех, кто живет на Глобальном Востоке, сообщающее ценность многообразию и связанности их опыта, а также для ученых, работающих с Глобальным Востоком, которым часто не удается разместить свой объект исследования в глобальной исследовательской повестке, рассекающей мир на Север и Юг.

Этот шаг еще значительней отзывается в пространстве производства теорий. Поскольку хорошая, а уж тем более глобальная теория, создаваемая в эпоху теоретизирования вне Европы и Америки (Bhabha, 1994; Chakrabarty, 2007; Mbembe, 2000), не может появиться без понимания разнообразия и взаимосвязанности описываемых ею социальных реальностей, без искреннего воодушевления ими. Размышлять о Глобальном Востоке, кажется, — задача, более значимая как раз для Глобального Севера и Глобального Юга. Серьезное отношение к Глобальному Востоку не может появиться без декомпозиции существующих очевидностей, касающихся богатых и бедных, сильных и бессильных, к которым мы уже так успели привыкнуть. Восстановление Глобального Востока в правах предполагает размышление о нем из промежутков, зазоров, существующих между Севером и Югом, — не только ради него самого, но также ради Севера и Юга.

Эта статья стремится создать условия для размышлений о Глобальном Востоке посредством четырехступенчатой схемы. Во-первых, мы анализируем «Восточность» как затруднительное состояние, существующее не столько на границах, сколько в зазорах и промежутках между Севером и Югом. Таким образом, мы определяем «Восточность» скорее как лиминальное состояние промежуточности — не-вполне-Север, не-вполне-Юг, — нежели как географическое положение. Эта промежуточность объясняет безразличие со стороны как Севера, так и Юга. Во-вторых, мы увидим, что Восток остается непознанным, поскольку находится за пределами схем и проводящих путей западной архитектуры знания. В-третьих, мы стремимся доказать необходимость стратегического эссенциализма Востока, который подчеркивает единство в различии его промежуточного положения

и возрождает его как политический проект. Наконец, мы показываем, как и почему Восток должен быть Глобальным Востоком: его следует представлять не отрезанным от глобальных отношений, а в самом их центре. Таким образом, статья утверждает открытость Глобального Востока, доступную, невзирая на попытки отсечь его стеной изнутри и снаружи.

Затруднительное положение «Восточности»: не вполне Север, не вполне Юг

Когда я читаю курс, посвященный Глобальному Востоку, я сталкиваюсь с удивлением студентов. Их изумляет, что я вообще заинтересовался таким унылым местом. Бразилия — сексуальная, Кения — классная, Китай — динамичный, а вот Восток скучный. Узнав, что в этой ловушке обнаруживают себя и другие исследователи, я одновременно пережил радость и уныние. Описывая литературные особенности Востока, Микановский отмечает:

Я знаю известного регионалиста, историка, читающего регулярный курс по истории Восточной Европы, и он сказал мне, что каждый год ему приходится отвечать на вопрос студентов: неужели в этом «сумрачном месте» люди действительно способны любить и смеяться. Полагаю, что если бы я читал курс по «Черному континенту», то мне хотя бы сочувствовала горстка прекрасных персонажей, однако это не ждет меня, избравшего своим предметом «сумрачное место», не вызывающее никаких эмоций: терра инкогнита, в которой Македония, Молдавия, Черногория и Молвания склеиваются в единую аморфную массу. (Mikanowski, 2017)

Проблема Востока отмечена двойным исключением из привилегированного Глобального Севера и из маргинализированного Глобального Юга. Но это не чистый Другой. Скорее, это полуинаковость (Tlostanova, 2017), недоориентализация (Wolff, 1994). Восток иной, но похожий, Другой — но не совсем. Он остается «серой зоной» неопределенности (Knudsen, Frederiksen, 2015) и серым пространством. Глобальный Север, часто выступающий в обличье «Европы», исполняет роль телеологического горизонта, по отношению к которому Восток становится не-вполне-Севером. Страны могут становиться участниками Евросоюза, но тончайшие дискриминации, встроенные в габитус еврократов из брюссельских коридоров власти, продолжают воспроизводить контраст между Востоком и Западом (Kuus, 2014); немаловажен и расизм, с которым сталкиваются восточноевропейские иммигранты в Западной Европе (Nowicka, 2017). Востоку может быть доступна какая-то часть европейского потребления — как, например, повсеместный евроремонт (Sgibnev, 2015), но этого недостаточно, чтобы стать полноценным европейцем. Эта «Восточность», как ее называли некоторые исследователи (Kuus, 2007; Zarycki, 2014), десятилетиями, если не столетиями, служила отметиной Востока, невзирая

на вхождение в Евросоюз, десятилетия экономического роста, широкую приватизацию и демократизацию.

В этом смысле Восток во многом проживает постколониальное состояние пребывания в «зале ожидания истории» (Chakrabarty, 2007: 8), стремясь к модерности, в которую можно включиться, но доступ к которой может гарантировать лишь щедрость и добродетельность Европы, расширяющей свою *mission civilisatrice* и все связанные с ней практики до «Дикого Востока» (Gille, 2016; Horvat, Štiks, 2012; Melegh, 2006). Поскольку, если бы даже Востоку и удалось очутиться в Европе, он оказался бы в ситуации, в которой «всё [уже] предопределено, продумано, продемонстрировано, доведено до максимума» — позволим себе процитировать знаменитую фразу Франца Фанона (Fanon, 2008: 91)². Восток скрепляют не политическое единство, не общие экономические связи или культурные традиции (Hann et al., 2016) и уже не общий опыт социализма (Müller, 2019), а совместное чувство одновременного различия и сходства с аморфной Европой.

Конечно, если более интересен политэкономический подход, Восток можно прочесть и через трехуровневую теорию мир-системного анализа капитализма, предложенную Иммануилом Валлерстайном (Wallerstein, 1979)³. Но это несколько запутает ситуацию. Согласно Валлерстайну (Wallerstein, 1976), социалистические государства принадлежали к странам полупериферии, но общая картина несколько изменилась, стоило социализму рухнуть. Сегодня некоторые государства Центральной Азии, Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы могут считаться периферийными, в то время как большинство восточноевропейских стран, ныне входящих в Европейский союз, переживают экономический рост и все ближе сдвигаются к центру. По крайней мере, такое наблюдение предлагается в нескольких источниках, пытавшихся применить категории Валлерстайна к современной ситуации (Babones, Babicky, 2011; Bradshaw, 2001; Knox, Agnew, McCarthy, 2014: 22). К примеру, Румыния или Россия, остающиеся в положении полупериферии, оказываются в той же категории, что и, например, Греция, Чили, Ботсвана и Вьетнам, — категория прежняя, но достаточно гетерогенная. Таким образом, мир-

2. Французский оригинал гораздо содержательнее перевода: «tout est prévu, trouvé, prouvé, exploité» (Fanon, 1952: 97).

3. Валлерстайн предлагает трехуровневую структуру. Общества разделяются на ядро, полупериферию и периферию. Это разделение — воплощение двух форм, которые принимают экономические процессы: «процессы в ядре» с высокими зарплатами, передовой технологией и диверсификацией производства, — и «периферийные процессы», которым остаются низкие зарплаты, устаревшие технологии и более простые способы производства. Промежуточная категория полупериферии — не просто экономическое сочетание двух других категорий. Важно, что у нее есть политическая функция: она обеспечивает политическую стабильность, смягчая поляризацию ядра и периферии. «Можно привести убедительные доводы в пользу того, что мировая экономика способна функционировать и без полупериферии. Но она была бы куда менее стабильной политически» (Wallerstein, 1979: 23). Согласно Валлерстайну (Ibid.: 69), полупериферийные страны отличают две характерные черты: протекционистская политика («внутренний рынок для отечественных товаров») и политизация экономических решений.

системный анализ представляет расщепленный образ Востока: частично Север, частично Юг и частично — что-то между.

Несмотря на то что Восток, этот наполовину Другой (*demi-Other*) Запада, оказывается в положении, подобном постколониальной ситуации Юга, он исключен из борьбы Юга за эмансипацию. Восток в равной степени не вполне Север и не вполне Юг. В стремлении к деколониальному знанию и теоретическому осмыслению Юга Восток не фигурирует; и дело не в том, что его просто присоединили к Латинской Америке, Азии и Африке. Нет, его попросту не включили в этот проект. И это вряд ли удивит нас, если мы обратимся к типичному определению Севера и Юга: «Оппозиция Севера и Юга обычно рассматривается как социоэкономическое и политическое разделение. Определения Глобального Севера обычно включают Соединенные Штаты, Канаду, развитые страны Европы и Восточную Азию. Глобальный Юг образуют Африка, Латинская Америка, а также развивающиеся страны Азии, включая Средний Восток» (цит. по: Mignolo, 2014a).

Это определение обходит стороной Глобальный Восток. Его же обходят и теоретические разработки с позиций Юга. Знаковая книга социолога Рэйвин Коннелл «Южная теория» (Raewyn Connell, 2007) размещает Юг в Африке, Латинской Америке, Индии и Иране (ровно в тех регионах, что отмечены в вышеуказанном определении). «Теория с Юга» Джин и Джона Комарофф (Comaroff, Comaroff, 2011) сосредотачивается на Африке, а «Новые географии теории» Ананьи Рой (Roy, 2009) — на Индии.

Отсутствие Востока в проекте Глобального Юга поражает, хоть это и не удивительно. Опять же, это связано с его промежуточным социальным, экономическим, политическим статусом. Джин и Джон Комарофф (Comaroff, Comaroff, 2011: 46) задаются вопросом: «К какой стороне [Севера или Юга] относятся страны бывшего СССР?» Общества бывшего Второго мира не пытались найти третий путь, отказавшись от капитализма и социализма; не устраивали дебатов об общем будущем вроде тех, что проводились на Бандунгской конференции. Когда из-за событий 1989–1992 гг. пал социалистический лагерь, казалось, что Восток, перейдя к капитализму, присоединится к Северу. Тем не менее прошло больше 25 лет, и переход не завершен — как в вопросах достижения уровня благосостояния по примеру Севера, так и в вопросах возведения институтов рыночного капитализма. Восток оказался гибридом социалистического наследия, неолиберального капитализма, а также неформальных и патримониальных практик.

Востоку так же свойственен колониализм, пусть и отличный от южного. Колониализм — особенно значимая для теоретизирования, возможно, самая главная черта Юга (Dirlik, 2007) — не столь очевиден в странах Востока. Многим странам Востока доводилось сталкиваться с последовательно наступавшими волнами колониализма со стороны Османской, Австро-Венгерской и Российской империй, а также Советского Союза; и каждую из них отличала своя система господства. Навязанные Западом рыночные реформы 90-х годов XX века (Boycko, Shleifer, Vishny, 1995) добавили новые отношения доминирования к уже существующим.

Если колонизированный определяется через соотнесение с колонизатором (Fanon, 1952), то у Востока множество идентичностей. Некоторые страны были одновременно и колонизаторами, и колонизируемыми. Мадина Тлостанова (Tlostanova, 2008, 2011) проблематизирует эту промежуточную позицию на примере России, которой отведена двойственная роль колониальной империи (как в советские времена, так и после падения Советского Союза) и подчиненного Другого (для Европы) — и потому она называет Россию «субалтерн-империей». Получается, что Восток занимает непростое положение между центрами власти на Севере и в основном постколониальными обществами Юга. Так, в случае Востока отношения «колонизатор/колонизируемый» становятся многоуровневыми, без ярко выраженной метрополии. Если вы из Болгарии, что считать вашей метрополией: Стамбул, Москву, Брюссель или Нью-Йорк?

Наконец, в отличие от Юга, люди не нашли на Востоке причин для сочувствия, глобального активистского движения, источника альтернатив неолиберализму, разрушению окружающей среды, политике с позиции силы и разнузданному национализму. Бывший центр рейгановской «империи зла» не может выступать с безупречной моральной позиции угнетенных и обездоленных, на которой уверенно стоит Глобальный Юг. Для такой позиции недостаточно Евромайдана, Оранжевой революции и Революции роз и тюльпанов. Миру голодных и рабов, сражающемуся за эмансипацию и право на самоопределение, как будто нет места на Востоке. Многие обитатели Глобального Востока — белые, они же — агенты и жертвы расизма (к примеру, польские иммигранты в Британии) (Nowicka, 2017). «Русские и восточные европейцы после 1989 года стали не вполне отбеленными черными (off-white blacks) нового глобального мира — ведущими себя и выглядящими подобно белым, но остающимися сущностно иными» (Tlostanova, 2017: 8). Кэтрин Вердери (Verdery, 2002: 20) однажды блистательно сформулировала тезис: неясно, кто будет Францем Фаноном постсоциалистического Востока. Трудный вопрос, на который я бы ответил так: на Востоке не может быть Фанона. В конце концов, к кому он/а мог/ла бы обратиться и по какому праву?

Так что у Востока низкий статус, но недостаточно низкий. Он некоторым образом подчиненный (subaltern), но не вполне. Он не богат, но в то же время и не беден. У него есть какие-то элементы европейской модерности, но многих недостает: слишком другой, чтобы быть частью Севера, слишком европейский, чтобы стать частью Юга. Большинство обществ Восточной Европы и бывшего Советского Союза заперты в этом промежуточном положении не вполне Севера и не вполне Юга. Они могут быть членами Евросоюза и отличаться высоким доходом, но все равно — не входить в клуб. Посмотрите на Польшу. Или, наоборот, они могут быть бедными бывшими колониями, как, например, Таджикистан или русский Кавказ, но их все равно не будут считать частью Юга. В лучшем случае они довольствуются положением «Вторичного Юга» (Tlostanova, 2011). И попытки установить диалог между Югом и Глобальным Востоком: например, между колониями Совет-

ской России и Глобальным Югом, — редки, малы и разрознены (Chari, Verdery, 2009; Karkov, 2015; Tlostanova, 2011, 2015b).

Эта лиминальность выносит Восток за скобки споров о Глобальных Юге и Западе. Выносит не из желания навредить, просто Восток не входит в рамку, которую мы используем для разговоров о глобальном. Эта промежуточность не превращает Восток в то, что Хоми Баба (Homi Bhabha, 1994) определял как плодородное третье место, пространство обмена для культур и значений. Наоборот, Восток словно застыл в оцепенении, в то время как весь остальной мир двинулся вперед и опутал себя сетью глобальных связей и мобильностей. У Микановского мы читаем:

Много раз я проваливался в зоны восточно-европейскости к западу от линии Одер — Триест. Они настигали меня под шоссевыми эстакадами, в очередях в департаменте транспорта в США, и в залах ожидания полузабытых автовокзалов. Я всегда полагал, что прустовские моменты — насквозь фальшивый конструкт, литературная уловка, но будь я проклят, если случайно учуянный запах застаревшей грязи в туалете, в подвале одной из физических лабораторий Беркли, не переносил меня в одну секунду на лестницу многоэтажного варшавского дома, в котором жила моя бабушка, не пробуждал отзвук этого запаха, в котором смешиваются застарелая моча, засохшая грязь и закишавшая вода со швабры, неподслащенная мылом. (Mikanowski, 2017)

В этом отрывке Микановский схватывает «восточность» как чувство заброшенности, оторванности от мира. Проезды под эстакадами, залы ожидания на заброшенных автовокзалах, подвалы — глобальность происходит явно в других местах. Восточность — состояние инертности, выпадения из времени и пространства.

Это состояние застревания во времени обнаруживается в том, как мы отсылаем к географии современного Востока, всегда подчеркивая прошлое: постсоциалистическое, экс-советская, территория бывшего СССР, старый Восточный блок, бывший Второй мир, — словно спустя почти тридцать лет коммунистический Восток все еще не нашел лазейки, через которую смог бы пробраться в настоящее. К советскому опыту обращаются недавние бестселлеры — работа «Время сэкондхенд» Светланы Алексиевич, получившей Нобелевскую премию по литературе, или же «Хоть словечко пошли мне» (Just Send Me a Word) Орландо Файджеса. Бестселлеры, посвященные сегодняшнему дню, сосредоточены на предрекаемой новой холодной войне. Один из ключевых академических журналов о Востоке описывает себя как издание, «сосредоточенное на истории, а также современных политических, социальных и экономических вопросах стран бывшего «коммунистического блока» (Europe-Asia Studies, 2018).

Не включенный ни в Север, ни в Юг, погруженный в застой, Восток вообще исчез из «глобального». Попробуйте в дебатах о, скажем, глобальном урбанизме, глобальном бизнесе или глобальных мобильностях найти значимое место для Востока. Дело не в том, что Восток мало упоминают, хотя и это утверждение справедливо. Скорее, о Востоке и не думают как о включенном в глобальные свя-

зи (Rogers, 2010). Он не участвует в «глобальном» — глобальном потоке образов и идей, людей и стратегий. Если «Восток» существует, то не заслуживает определения «Глобальный». И можно извинить исследователя, готового поверить, что железный занавес никогда не падал.

За пределами западной архитектуры знания

Но железного занавеса больше нет. Уверенное возвращение Востока давно назрело, и не только для того, чтобы нарушить бинарность Севера и Юга. Требование права Востока на голос в академических дебатах может оспорить противодействовать или, по крайней мере, бросить вызов доминирующим культурным схемам производства знаний (Buchowski, 2004; Timár, 2004)⁴ и параллельно осуществляемым попыткам самоизоляции Востока (Funk, 2017). Оно может переустроить полшарную «геополитику знания» (Mignolo, 2002), так удобно разбитую на Север и Юг.

Частью политического импульса по переоткрытию Востока является желание вернуть его великое разнообразие, столь часто списываемое со счетов и редуцируемое до карикатурного, монотонного «сумрачного места». Разнообразие не только этническое (хотя и оно тоже), но политическое, культурное и экономическое, — придавленное гомогенизирующим ярлыком «бывшего Восточного блока», которым так любят пользоваться новостные комментаторы. Разнообразие, протягивающееся от Эстонии, образчика внедрения европейских реформ, через диктатуру Беларуси к глобальным амбициям Казахстана. От бывшего имперского ядра России через раздираемую конфликтами Украину к центробежным перифериям Словении. Это разнообразие и его воздействие на жизни людей, пожалуй, лучше всего схвачено в шутке про старика, рассказывающего, как он родился в Габсбургской монархии, пошел в школу в Чехословакии, женился в Венгрии, большую часть жизни проработал в Советском Союзе, а на пенсию вышел на Украине. «Много путешествовали, да?» — спрашивает собеседник. «Нет, я никогда не покидал Мукачево».

На карту здесь поставлено и нечто большее. Восток не так просто встраивается в существующую архитектуру знания, созданную по преимуществу в англоговорящем мире (Tlostanova, 2015a). Западный колониализм не подарил Востоку общих с ним институций или семейных связей, английский язык не стал, преодолев километры, *lingua franca*, а последствия железного занавеса до сих пор затрудняют учреждение исследовательских коллабораций. Эмигранты-интеллектуалы и исследователи с Глобального Юга — Стюарт Холл, Гаятри Спивак, Эдвард Саид,

4. Эти цепочки производства знаний, существующие в англо-американской академии, и произвели постсоциалистическую точку зрения — попытку осмыслить Восток после падения социализма (Hann, 2001). Исследователи на Востоке критиковали это понятие за то, что оно является «ориентализирующим концептом, позволившим западным антропологам сконструировать посткоммунистическую Европу» (Červinková, 2012: 159).

Ахилл Мбембе, Эме Сезер — часто продолжали работу в колониальных центрах в Британии, Франции или США, встраиваясь в англо- или франкофонные цепочки производства знаний. Тем не менее когда исследователи с Востока отправлялись в центр Советской империи — Москву, а делали они это часто, им удавалось обратиться лишь к ограниченной аудитории. Стоило Советскому Союзу пасть, как интеллектуалы столкнулись с нарастающей лингвистической изоляцией и сужающимся доступом к глобальным возможностям. Рабочими языками начинающих интеллектуалов Востока были французский и немецкий, но не английский — язык рыночного капитализма. Это повлияло на то, как путешествуют знания с Востока и о Востоке. Ирония в том, что шансы Востока быть услышанным уменьшились ровно потому, что он находился за пределами влияния британского и французского колониализмов.

Есть и другая динамика, которую следует отметить: отсутствие голосов с Востока в глобальных дискуссиях — удар, нанесенный по исследованиям на Востоке падением социализма. Его последствия ощущаются и по сей день. Не то чтобы финансирование исчезло одним днем, однако ученые оказались в ситуации, в которой радикально изменилось само представление о том, что такое хороший исследователь. Многие, надеясь выжить, были вынуждены оставить академическую карьеру и свою родину. Оставшимся пришлось (а некоторым приходится и сейчас) работать на стороне. Эта проблема особенно актуальна для гуманитарных дисциплин и социальных наук — их часто упрекают в малой практической ценности. Академия не сулила будущего и не гарантировала достаточного заработка, потому в девяностые и нулевые так мало молодых исследователей смогло включиться в дискуссии. Вместо этого они отправились учиться и работать за рубеж (Ushkalov, Malakha, 2010). Потому неудивительно, что «снятие ограничений на публикации, как и само социальное преобразование Центральной и Восточной Европы, не привело к резкому росту местных аналитических работ, посвященных коммунистической и посткоммунистической реальностям» (Outhwaite, Ray, 2005: 12). Да и что позволило бы этому резкому росту случиться? Падение социализма практически разрушило исследовательские центры Востока, и лишь в последние годы ситуация стала меняться.

К стратегическому эссенциализму Востока

Принимая во внимание эти обстоятельства, мы видим нарастающую важность политического проекта по возвращению голоса Востоку. Я полагаю, что нам следует сохранить термин «Восток» и не следует стыдиться столкновения с его старыми коннотациями отсталости и инаковости. Такие термины, как «Новая Европа» или «Центральная Европа» (Garton Ash, 1999; Kundera, 1984), пытающиеся разорвать связь с Востоком, рискуют воспроизвести телеологический горизонт Европы и вновь впасть в евроцентризм. Согласно наблюдениям исследователей, эти термины лишь сдвигают границу «отсталого Востока» дальше, пытаясь поместить

Другого где-то еще (Kuus, 2004; Melegh, 2006), вместо того, чтобы решительно с ним порвать. Также важно думать о Востоке — как и Севере, и Юге — не в строгих географических терминах, а как об онтологической и эпистемологической категории, чтобы не сводить его к узко ограниченному мировому региону.

Конечно, «Восток» — многозначное, пластичное понятие. В многообразии его употреблений входят самые разные пространства: от Восточной Европы и России до Японии и Китая, включая сюда то, что мы порой определяем как «Ближний Восток», к которому относится и Турция (Goody, 1996; Mahbubani, 2008; Mignolo, 2014b; Neumann, 1999; Said, 1978; Zarakol, 2011). Одной из устойчивых черт Востока остается роль Другого, необходимая Западу для последовательного самоутверждения. Аргумент этой статьи состоит в том, чтобы думать с позиции одного из многих Востоков: тех обществ бывшего Второго мира, которым довелось пережить лавинообразный обвал социализма между 1989–1992 годами. Но если «Восточность» — это базовое затруднение (*predicament*) полуинаковости, то понятие Глобального Востока не следует ограничивать этими обществами. В действительности оно должно вбирать в себя все общества, не входящие ни в Юг, ни в Север.

Пластичность служит добрую службу такому понятию, как «Глобальный Восток», поскольку вместо очерченных границ и фиксированных территорий она предлагает топологические связи и размытые зоны. Восток всегда где-то: когда я спрашиваю о нем во Франции, мне говорят, что Восток в Германии; когда спрашиваю в Германии, мне указывают на Восточную Германию; когда спрашиваю там, мне указывают на Польшу; в Польше говорят, что Восток на Украине... означаемые, привязанные к означающему «Восток», постоянно смещаются. Таким образом, «Восток» можно оценивать как плавающее означающее, не имеющее закрепленного означаемого. Означающее, больше сообщающее о его пользователе, нежели об обозначаемом им объекте. Эта особенность позволяет использовать предлагаемый термин для политического проекта по переписыванию Востока. Согласно Лаклау (Laclau, 2005: ch. 5), плавающие означающие позволяют артикулировать политические требования, поскольку они же способны вобрать в себя множество значений (по словам Лаклау, они помещают политические требования в цепь эквивалентностей). Поскольку закрепленных значений у них нет, то такие можно в них вписать.

Понятия вроде «Евразии» менее пластичны, инклюзивны, меньше указывают за пределы очерченных территорий — хотя именно они чаще всего используются для обозначения крупных частей бывшего Советского Союза (в частности, России и Центральной Азии) (Grant, 2012; Hann et al., 2016). Евразия по большей части территориальное понятие, обладающее при этом проблематичным значением, связанным с евразийской идеологией, пережившей короткий взлет популярности в современной России (Suslov, Bassin, 2016). Евразийство предложило моральное и псевдонаучное обоснование для продвижения имперской идеологии, которой в России пользуются силы националистических и экстремистских взглядов. Ларюэль подытоживает этот проблематичный аспект: «[Евразия] выражает, удобно

и довольно интуитивно, историческое пространство России и ее „периферий“, а также определенную, быстро развивающуюся геополитическую реальность... В странах, к которым относятся балтийские государства и Украина, обеспокоенно относятся к их изучению в рамках Департамента исследований Евразии» (Laruelle, 2016: 136). Смит и Ричардсон называют Евразию «мифом»: «Некогерентная путаница пространств... Мы обнаруживаем Евразию, в которой кишат мириады форм... характеризующих несоответствиями и несогласованностью» (Smith, Richardson, 2017: 4–5).

Если мы дорожим ценностями многоголосия и противоречивости, тогда, возможно, нам следует думать о Востоке с точки зрения «стратегического эссенциализма» (Spivak, 1988b), представляющего собой политическую практику, способную мобилизовать разнородные маргинальные группы, собрать их под общим знаменем эмансипаторного политического проекта. Стратегические эссенциализмы на время отодвигают в сторону различия, чтобы артикулировать свои политические требования к дискурсу-гегемону. В таком контексте многие вещи могут стать «политическими»: право на признание; производство того, что можно определить как достоверное знание; свобода от дискриминации. Подобные стратегические эссенциализмы были важной тактикой для феминизма (Rose, 1993), постколониализма (Spivak, 1993), а не так давно они пригодились и для выступлений с требованиями в пользу Глобального Юга (Comaroff, Comaroff, 2011; Parnell, Robinson, 2012).

Случай Глобального Юга, также показывающий пример стратегического эссенциализма, здесь особенно показателен, поскольку выстроен вокруг маргинализированной, но совершенно гетерогенной категории. Он также включал в себя восстановление в правах патерналистского концепта. На самом деле, когда термин «Юг» (тогда еще без определения «глобальный») появился в дискуссиях 70-х годов XX века, он выступал лишь плохо замаскированным ярлыком для «развивающихся стран», чем указывал на патерналистскую ответственность Севера за исправление причиненных им несправедливостей и «спасение» бедного Юга. Оно было куда более реакционным по сравнению с понятием Третьего мира, ставшим политическим проектом Юга после Бандунгской конференции 1955 года (Dirlik, 2007; Prashad, 2013).

Недавний толчок к началу теории на Юге, толчок к смещению телоса модерна (обычно связываемого с Глобальным Севером) повторно артикулировал значение Юга (Chakrabarty, 2007; Comaroff, Comaroff, 2011; Robinson, 2006): Юг не только по праву может и должен быть источником новых теорий, но эти теоретические интуиции должны обращаться к теориям на Севере⁵.

Пожалуй, особенно ясно этот аргумент обозначен в работах Джин и Джона Комарофф (Comaroff, Comaroff, 2011): они видят развитие Севера, с его нескончаемыми кризисами, нестабильностью и незащищенностью, жесткой экономией,

5. Это же верно в отношении недавней попытки популяризации теории из Азии в «азиатском веке». См., например: Chen, 2010.

социальными и этическими проблемами, — как движение в сторону Юга, поэтому они отдают Югу ведущую роль в теоретическом осмыслении этого нового состояния. «Так называемая «Новая норма» Севера способна лишь заново проигрывать недавнее прошлое Юга» (Comaroff, Comaroff, 2012: 123)⁶. Север лишь играет в догонялки с Югом: какой освежающий способ поставить мир с ног на голову! Хотя аргумент Комарофф в основном строится на разрушительном глобальном правлении неолиберализма — правлении, которое представляется очень шатким в свете недавних националистических тенденций — направление его удара понятно: Югу есть что сказать, причем не только себе, но и Северу.

Движение Юга к эмансипации может стать моделью для Востока в его политическом рывке к деколонизации производства знания и в попытке вернуться на карту. Это возвращение на карту, впрочем, невозможно без размышления о Востоке как о части глобального проекта — как о Глобальном Востоке.

Глобальный Восток: по пути граненого питьевого стакана

Давайте попробуем подумать о Глобальном Востоке иначе и на время перестанем представлять его как нечто, отрезанное от мира, застывшее в пространстве и времени. Давайте посмотрим на Глобальный Восток через граненый питьевой стакан (рис. 1), один из основных товаров компании ИКЕА. Этот стакан вездесущ, его можно найти где угодно. Он стоит на столах и у президентов и у студентов. Он стоит на столе рядом со мной. Полагаю, что вам тоже доводилось из него пить. У меня нет под рукой официальной статистики, но, обращаясь к собственным наблюдениям за шкафами людей в разных точках по всему миру, предположу, что общие продажи этого стакана достигли нескольких миллиардов экземпляров. Неудивительно, что при цене за единицу меньше 70 центов этот стакан конкурентно представлен на рынке и сопротивляется любой — осознанной и случайной — попытке его уничтожить. И пусть большинство из нас думает, что это продукт, созданный ИКЕА, сама его форма суть воплощение Востока, ставшего глобальным. Дизайн ИКЕА не скрывает, что получившаяся форма вдохновлена классикой советского дизайна — граненым стаканом работы Веры Мухиной, являющимся иконой советской стеклянной утвари по меньшей мере с 1943 года (Idov, 2011: 78).

Конечно, можно поддасться искушению увидеть в этом стакане один пример «банального космополитизма потребительской культуры» (Featherstone, 2006: 390) и поглощения местного знания глобальными корпорациями. Но этот сюжет не так уж и прост. Во-первых, граненый стакан пережил свою первую «историю успеха» на Востоке: после Второй мировой там ежегодно производилось от пяти до шести тысяч миллионов стаканов (Idov, 2011: 80). Так что стакан следует определить как глобальный потребительский продукт, созданный на Востоке и скопированный на

6. Частое упоминание различий Севера и Юга не должно отвлекать от того, что тексты, наконец, указывают на отношения, не укладывающиеся в отношения Севера с Югом и размывающие границы (например: Caison, Vormann, 2015; Roy, Crane, 2015).



Рис. 1. Найдите отличия: советский *граненый стакан* (слева) и современная интерпретация IKEA под названием *Vardagen* (справа)

Западе. Это — редкий пример переворачивания привычных правил; редкий для мира, в котором дизайн — прерогатива творческих центров Глобального Севера, что отлично схвачено в вездесущем «Разработано в Калифорнии, собрано в Китае» на продуктах Apple.

Но со стаканом связана и производственная история. Большинство стеклянных изделий IKEA производится на Глобальном Востоке. Низкие расходы на производство (в первую очередь — на энергообеспечение) и опыт производства стекла — основа конкурентоспособности. Долгое время IKEA производила свой бестселлер — стакан Pokal (рис. 2) — в России, а потом перевела производство в Болгарию; вероятно, из-за низких производственных расходов на совмещенных с членством Болгарии в Евросоюзе, упрощающим экспорт.

История стакана — это история о промежуточном положении, которое Глобальный Восток занимает на обеих позициях, позиции производителя и потребителя внутри глобальных процессов. «Разработано на Глобальном Востоке, произведено на Глобальном Востоке» — эта формула отражает двойственность



Рис. 2. Сделано на Глобальном Востоке: флагманский стакан Pokal от IKEA

положения Глобального Востока в условиях глобализации. Но она также отражает другой важный тезис: Восток вплетен в глобальные *отношения*. Он связан с миром, а не изъят из него. Это кажется очевидным, но Восток, как мы увидели, часто воспринимают совсем по-другому — как нечто, выпавшее из течения времени и лишившееся своей точки в пространстве.

Восприятие Глобального Востока как реляционного понятия предполагает наличие Востока как понятия топологического (Shields, 2012; о Востоке особенно: Rogers, 2010; Tuvikene, 2016), согласно которому любое место на карте, встроенное в соответствующие отношения, можно отнести к Востоку. Материальное присутствие икеевского стакана прямо на моем столе связывает меня с Глобальным Востоком; ту же операцию выполняет и томик «Made in Russia», лежащий неподалеку. Другими словами, вызов Глобального Востока — размышление в топологическом стиле: призыв думать об отношениях, сближающих отделенное, скрепляющих несоединимое (Mol, Law, 1994). Глобальный Восток — как отношение — может быть где угодно. Соответственно, вопрос «где Глобальный Восток?» — поставлен неправильно, поскольку вынуждает нас вновь обращаться к территориям. Нам следует спрашивать: «Что такое Глобальный Восток?», обращаясь к отношениям.

Соответственно, смысл реляционного представления о Востоке ровно в том, чтобы не ограничивать его территорией бывшего Второго мира. Советский писатель Илья Эренбург, назвав Берлин мачехой русских городов, указал на транслочальные отношения Востока. Эренбург был одним из сотен тысяч русских эмигрантов, обретших в Берлине эрзац-дом после Октябрьской революции. Выражаясь словами Карла Шлөгеля, они сделали его своей суррогатной столицей (Erzatzhauptstadt) (Schlögel, 2007). Но нам не нужно отправляться в берлинский Шарлоттенград на сто лет назад, чтобы повсюду обнаружить Глобальный Восток, явленный в русскоговорящих сообществах нью-йоркской Маленькой Одессы (Miyares, 1998), в кипрском Лимасоле, в восточноевропейских сообществах Лондона (Neumann, 2015), в украинских транснациональных христианских общинах евангелистов (Wanner, 2007). Он же присутствует и в российском вмешательстве в выборы в США, в «мобильных матерях», перемещающихся между Молдовой и Стамбулом (Keough, 2016), в связях между олигархическими режимами Центральной Азии и Персидского залива (Koch, 2016), в глобальном продвижении Грузии в качестве образчика постсоветских реформ (Schueth, 2011) — и в истории потребительских продуктов — таких как *граненый стакан*.

По-своему самой интересной частью Востока оказывается, пожалуй, не его ядро, но его расширения и торговые зоны. Следуя за этими расширениями, можно открыть новые линии для сравнения стран, феноменов и пространств, которые многие сочли бы слишком различными, однако их сравнение — ровно в силу этой различности — может приводить к полезным открытиям. Сравнение неопатримониальных гарнизонных государств в США и России, модернистской застройки Ташкента и Бразилиа, христианских общин Украины и Нигерии включает в себе важную эпистемологическую функцию: оно учреждает Восток не в положении

фундаментально отличающегося и не позволяет экзотизировать его, превратив в Другого. Оно децентрирует Запад и его претензии на производство универсального знания (Robinson, 2016; Sidaway, 2013)⁷.

Внимательное рассмотрение отношений обнаруживает сближение понятия Глобального Востока с третьей волной региональных исследований, сформировавшейся за счет обращения к инструментам социальной и культурной теорий, а также погруженности в процессы глобализации, связывания и мобильностей (Middell, 2013; Mielke, Hornidge, 2016; Sidaway et al., 2016). Эта третья волна, занимающая рефлексивную позицию, критически оценивает прошлые описания регионов как замкнутых сущностей. С тех же позиций она рассматривает и колониальное изготовление знаний о регионах из центра, стремясь продвинуть анализ глобальных связей и децентрацию производства знания. Она движется по неровному и опасному пути, балансируя между полным отказом от локальной экспертизы в пользу неукорененных глобальных исследований (Koch, 2016: 650) и овеществлением регионов в качестве самодостаточных сущностей (van Schendel, 2002). Для Глобального Востока важно следующее понимание: знание из мест (knowledge from places) сохраняет свою важность, хотя его и не нужно больше соотносить с конкретным районом, выполняющим функцию эпистемологической рамки. Другими словами, место действия имеет значение, но не ограничивается им одним. Места могут создавать аффорданс, особую возможность действия, которая может актуализироваться, но это вовсе не обязательно. По словам Чари (Chari, 2016: 792), нам следует посвятить себя «бытию-с в мире, где одновременно существуют взаимосвязанность и онтологическое различие». Это призывает нас культивировать Глобальный Восток через глобальное ощущение места: не самозамкнутый и защищающийся, но смотрящий вовне и сохраняющий то, что составляет его уникальность (Massey, 1991).

Заключение: теоретизируя вместе с Глобальным Востоком

Представления о мире, разделенном на Глобальный Север и Глобальный Юг, оставили Восток на своего рода нейтральной полосе. Его промежуточное положение: не вполне богат, не вполне беден; не только колонизируемый, но и не только колонизатор, — затрудняет категоризацию. Приклеив к нему ярлыки «отсталого» и «закрытого», академия и публичный дискурс приучились рассматривать Восток как нечто отделенное и отдаленное от мира, не способное предложить ему ничего значительного.

В рамках этой статьи мы попробовали определить Восток как Глобальный: восстановить его в праве на место в мире и в праве быть в нем услышанным. Это потребовало рассмотрения Востока с точки зрения стратегического эссенциализма,

7. Недавние тексты о Глобальном Севере и Юге подчеркивают эти топологические отношения Севера на Юге (см., например, закрытые охраняемые поселки) и Юга на Севере (например, бедность) (см.: Miraftab, 2009; Roy, Crane, 2015).

позволяющего переучредить его как постоянную зону исследовательских интересов и наполнить понятие о нем новыми смыслами. Восток в глобальном смысле размещается прямо в центре мира. Если мы увидим Глобальный Восток в его связи с множеством других мест, его будет сложнее вытеснить на теоретическую обочину. Восток — не Север и не Юг — позволяет нам, размышляющим о глобальном, избежать отступления к разделенным на полушария бинарным противоположностям между богатыми и бедными, сильными и бессильными. Вовлечение в глобальные сравнительные исследования защищает Восток от изоляции, поскольку его множественные опыты — империи, глобализации, неолиберальных реформ, националистического популизма, политического сопротивления и асимметричных войн — теперь наконец-то сопрягаются с дискуссиями об этих темах, ведущимися в разных частях света.

Таким образом, размышление о Глобальном Востоке представляется и политическим проектом. Оно не только позволяет противостоять его восприятию как наполовину Другого на Севере и молчанию о нем на Юге, тем самым создавая возможность принимать во внимание опыт его жителей, отказываясь от европоцентризма, но и утверждает Восток в качестве открытого места, направленного вовне, а не замкнутого снаружи. И теперь, когда мы видим взлет националистического популизма на Севере, Юге и Востоке; популизма, стремящегося оградить страны друг от друга, а не возводить мосты, — утверждение открытости становится важным политическим заявлением. Сейчас, когда, казалось бы, ключевые центры либеральной демократии — Британия и США — находятся в сложной ситуации, этот политический проект может открыть новые возможности, позволяя стирать различия между Севером и Югом, Востоком и Западом, оспаривая установленные иерархии.

Хотя эта статья создает теоретический образ Глобального Востока, увиденный с точки зрения бывших социалистических государств Второго мира, состояние Восточности — полуинаковости, парящей между Севером и Югом, — простирается намного дальше. Как насчет Южной Кореи, Турции или зловещего Ближнего Востока? Используя «Восток» в качестве теоретического инструмента, мы нарушаем молчание, позволяя говорить тем, кто исключен из полушарных разделений на Север и Юг, — тем, кто находится не столько на границах, сколько в зазорах и промежутках между ними. Мы вовсе не стремимся воскресить еще одну бинарность (Запада и Востока), но хотели бы расшатать бинарное геополитическое воображение за счет введения *tertium quid* [третьего элемента].

Толкуя Глобальный Восток как *tertium quid*, мы сможем принять и его лиминальное положение, его полуинаковость. Традиционно промежуточную позицию прочитывали как положение, откуда следует переместиться, от которого стоит избавиться, перейдя от периферии к ядру. Но почему бы нам не прочесть эту лиминальность как сильную сторону? Почему бы не использовать предлагаемые ею ресурсы, чтобы обратиться к неуверенностям, непредсказуемостям и импровизационным тактикам? Размышления из точки между Севером и Югом позволяют

думать о неоднозначности и эфемерности — не только для Востока, но и для Севера с Югом.

Таким образом, приятие лиминальности Глобального Востока не только вписывает его во множество разворачивающихся споров, посвященных геополитике знаний (Mignolo, 2002), — так называемой третьей волне регионалистики, оспаривающей политику репрезентации и выдвигающей на первый план транснациональные связи (Sidaway et al., 2016), а также теориям Юга (Connell, 2007), — но и приглашает поразмышлять о значении Востока для концептуализации парадоксов и неопределенностей, характеризующих глоболизирующиеся общества, — феноменов, так активно обсуждавшихся исследователями в последние десятилетия (Bauman, 2006; Prigogine, 1996; Žižek, 2011).

Таким образом, одной лишь теории о Глобальном Востоке достаточно не будет. Не произойдет повторного вписывания Глобального Востока, если не пересмотреть систему производства знаний о нем. Осуществляя это, мы должны превратить Восток из объекта регионалистики в субъект или же, пожалуй, в метод — «способ преобразования производства знаний» (Chen, 2010: 216). Важно, из какого места осуществляется это повторное встраивание. Недавний рост числа теоретических работ, созданных на Глобальном Востоке, позволяет не сомневаться в том, что пришло время теоретизировать не только *о*, но и *вместе* с Глобальным Востоком.

Благодарности

Это вторая статья в серии из четырех текстов. Другие тексты, входящие в нее: «Goodbye Postsocialism!» (Müller, 2019), «Theorising with the Global East» и «How global is global urbanism? How we theorised from the South but forgot about the East». Мне удалось значительно улучшить эту статью, представив в разных форматах идеи, положенные в основу текста, нескольким заинтересованным аудиториям в Вельке Ломница в сентябре 2016 года, в Лейпциге в ноябре 2016 года, в Бостоне в апреле 2017 года, в Екатеринбурге и Мюнстере (кантон Вале) в августе 2017 года, в Киеве в сентябре 2017 и в Цюрихе в феврале 2018 года. Благодарю Елену Трубину и Каролин Шур за острые комментарии, а также выражаю благодарность рецензентам и редакторам «Geopolitics» за помощь в оформлении этой публикации.

Финансирование

Эта работа поддержана Швейцарским национальным научным фондом (грант PР00Р1_144699).

Литература

- Babones S., Babicky P. (2011) Russia and Eastern Europe in the Modern World-System: A Structuralist Perspective. *Proceedings of the 10th Biennial Conference of the Australasian Association for Communist and Post-Communist Studies*. Available at: <https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/8065/2/Russia-and-East-Central-Europe-in-the-modern-world-system.pdf> (accessed 10 August 2020).
- Bauman Z. (2006) *Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty*, Cambridge: Polity.
- Bhabha H. K. (1994) *The Location of Culture*, London: Routledge.
- Boycko M., Shleifer A., Vishny R. (1995) *Privatizing Russia*, Cambridge: MIT Press.
- Bradbury M. (1986) *Why Come to Slaka?*, London: Martin Secker & Warburg.
- Bradshaw M. (2001) The Post-socialist States in the World Economy: Transformation Trajectories. *Geopolitics*, vol. 6, no 1, pp. 27–46.
- Braveboy-Wagner J. A. (2009) *Institutions of the Global South*, London: Routledge.
- Buchowski M. (2004) Hierarchies of Knowledge in Central-Eastern European Anthropology. *Anthropology of East Europe Review*, vol. 22, no 2, pp. 5–14.
- Caison G., Vormann B. (2015) The Logics and Logistics of Urban Progress: Contradictions and Conceptual Challenges of the Global North-South Divide. *Global South*, vol. 8, no 2, pp. 65–83.
- Červinková H. (2012) Postcolonialism, Postsocialism and the Anthropology of East-Central Europe. *Journal of Postcolonial Writing*, vol. 48, no 2, pp. 155–163.
- Chakrabarty D. (2007) *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*, Princeton: Princeton University Press.
- Chari S. (2016) Trans-Area Studies and the Perils of Geographical “World-Writing”. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 34, no 5, pp. 791–798.
- Chari S., Verdery K. (2009) Thinking between the Posts: Postcolonialism, Postsocialism, and Ethnography after the Cold War. *Comparative Studies in Society and History*, vol. 51, no 1, pp. 6–34.
- Chen K.-H. (2010) *Asia as Method: Toward Deimperialization*, Durham: Duke University Press.
- Cilauro S., Gleisner T., Sitch R. (2004) *Molvania: A Land Untouched by Modern Dentistry*, Woodstock: The Overlook Press.
- Comaroff J. L., Comaroff J. (2011) *Theory from the South; or, How Euro-America is Evolving toward Africa*, Boulder: Paradigm.
- Comaroff J., Comaroff J. L. (2012) Theory from the South; or, How Euro-America is Evolving toward Africa. *Anthropological Forum*, vol. 22, no 2, pp. 113–131.
- Connell R. W. (2007) *Southern Theory: Social Science and the Global Dynamics of Knowledge*, Cambridge: Polity.
- Dirlik A. (2007) Global South: Predicament and Promise. *Global South*, vol. 1, no 1, pp. 12–23.

- Europe-Asia Studies (2018) Aims and Scope. Available at: <https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=ceas20> (accessed 10 August 2020).
- Fanon F. (1952) *Peau noire, masques blancs*, Paris: Seuil.
- Fanon F. (2008) *Black Skin, White Masks*, London: Pluto Press.
- Featherstone M. (2006) Genealogies of the Global. *Theory, Culture & Society*, vol. 23, no 2–3, pp. 387–392.
- Fukuyama F. (1992) *The End of History and the Last Man*, New York: Free Press.
- Funk D. A. (2017) I vnov o kachestvennyh zhurnalakh i natsionalnyh reitingah [One More Word about “Good Journals” and National Rankings]. *Siberian Historical Research*, no 1, pp. 6–11. (In Russian)
- Garton Ash T. (1999) The Puzzle of Central Europe. *The New York Review of Books*, March 18. Available at: <http://www.nybooks.com/articles/1999/03/18/the-puzzle-of-central-europe/> (accessed 10 August 2020).
- Gille Z. (2016) *Paprika, Foie Gras, and Red Mud: The Politics of Materiality in the European Union*, Bloomington: Indiana University Press.
- Goody J. (1996) *The East in the West*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Grant B. (2012) We are All Eurasian. *Newsnet*, vol. 52, no 1, pp. 1–6.
- Hann C. (ed.) (2001) *Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia*, London: Routledge.
- Hann C., Benovska-Sabkova M., Bošković A., Eriksen, Gellner, Gingrich A., Kradin N., de Pina-Cabral J., Lins Ribeiro G., Rogers D., Schlee G., Skalník P., Wengrow D. (2016) A Concept of Eurasia. *Current Anthropology*, vol. 57, no 1, pp. 1–27.
- Hann C., Humphrey C., Verdery K. (2002) Introduction: Postsocialism as a Topic of Anthropological Investigation. *Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia* (ed. Ch. Hann), London: Routledge, pp. 1–28.
- Horvat S., Štiks I. (2012) Welcome to the Desert of Transition! Post-Socialism, the European Union, and a New Left in the Balkans. *Monthly Review* (blog), March 1. Available at: <https://monthlyreview.org/2012/03/01/welcome-to-the-desert-of-transition/> (accessed 10 August 2020).
- Idov M. (2011) *Made in Russia: Unsung Icons of Soviet Design*, New York: Rizzoli.
- Karkov N. (2015) Decolonizing Praxis in Eastern Europe: Toward a South-to-South dialogue. *Comparative and Continental Philosophy*, vol. 7, no 2, pp. 180–200.
- Keough L. J. (2016) *Worker-Mothers on the Margins of Europe: Gender and Migration between Moldova and Istanbul*, Bloomington: Indiana University Press.
- Knox P., Agnew J., McCarthy L. (2014) *The Geography of the World Economy*, London: Routledge.
- Knudsen I. H., Frederiksen M. D. (eds.) (2015) *Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities*, London: Anthem.
- Koch N. (2016) Is a “Critical” Area Studies Possible? *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 34, no 5, pp. 807–814.

- Kovačević N. (2008) *Narrating Post/Communism: Colonial Discourse and Europe's Borderline Civilization*, London: Routledge.
- Kundera M. (1984) The Tragedy of Central Europe. *The New York Review of Books*, April 26, pp. 33–38.
- Kuus M. (2004) Europe's Eastern Expansion and the Reinscription of Otherness in East-Central Europe. *Progress in Human Geography*, vol. 28, no 4, pp. 472–489.
- Kuus M. (2007) Something Old, Something New: Eastness in European Union Enlargement. *Journal of International Relations and Development*, vol. 10, no 2, pp. 150–167.
- Kuus M. (2014) *Geopolitics and Expertise: Knowledge and Authority in European Diplomacy*, Oxford: Wiley-Blackwell.
- Laclau E. (2005) *On Populist Reason*, London: Verso.
- Laruelle M. (2016) The Notion of Eurasia: A Spatial, Historical and Political Construct. *Questioning Post-Soviet* (eds. E. C. Holland, M. Derrick), Washington: Wilson Center, pp. 127–142.
- Mahbubani K. (2008) *The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East*, New York: Public Affairs.
- Massey D. (1991) A Global Sense of Place. *Marxism Today*, June, pp. 24–29.
- Mbembe A. (2000) *De la postcolonie: essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Paris: Karthala.
- Melegh A. (2006) *On the East-West Slope: Globalization, Nationalism, Racism and Discourses on Eastern Europe*, Budapest: Central European University Press.
- Middell M. (ed.) (2013) *Self-reflexive Area Studies*, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.
- Mielke K., Hornidge A.-K. (eds.) (2016) *Area Studies at the Crossroads: Knowledge Production after the Mobility Turn*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Mignolo W. D. (2002) The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference. *South Atlantic Quarterly*, vol. 101, no 1, pp. 57–96.
- Mignolo W. D. (2011) The Global South and World Dis/order. *Journal of Anthropological Research*, vol. 67, no 2, pp. 165–188.
- Mignolo W. D. (2014a) The North of the South and the West of the East: A Provocation to the Question. *IBRAAZ*, November 6. Available at: <https://www.ibraaz.org/essays/108/> (accessed 10 August 2020).
- Mignolo W. D. (2014b) Spirit out of Bounds Returns to the East: The Closing of the Social Sciences and the Opening of Independent Thoughts. *Current Sociology*, vol. 62, no 4, pp. 584–602.
- Mikanowski J. (2017) Goodbye, Eastern Europe!. *Los Angeles Review of Books*, January 27. Available at: <https://lareviewofbooks.org/article/goodbye-eastern-europe/> (accessed 10 August 2020).
- Miraftab F. (2009) Insurgent Planning: Situating Radical Planning in the Global South. *Planning Theory*, vol. 8, no 1, pp. 32–50.
- Miyares I. M. (1998) "Little Odessa" — Brighton Beach, Brooklyn: An Examination of the Former Soviet Refugee Economy in New York City. *Urban Geography*, vol. 19, no 6, pp. 518–530.

- Mol A., Law J. (1994) Regions, Networks and Fluids: Anaemia and Social Topology. *Social Studies of Science*, vol. 24, no 4, pp. 641–671.
- Müller M. (2019) Goodbye, Postsocialism!. *Europe-Asia Studies*, vol. 71, no 4, pp. 533–550.
- Neumann I. B. (1999) *Uses of the Other: "The East" in European Identity Formation*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Neumann I. B. (2015) Authoritarian East. *Global Affairs*, vol. 1, no 1, pp. 93–94.
- Nowicka M. (2017) "I Don't Mean to Sound Racist but...": Transforming Racism in Transnational Europe. *Ethnic and Racial Studies*, vol. 41, no 5, pp. 824–841.
- Outhwaite W., Ray L. (2005) *Social Theory and Postcommunism*, Oxford: Wiley.
- Parnell S., Oldfield S. (eds.) (2014) *The Routledge Handbook on Cities of the Global South*, London: Routledge.
- Parnell S., Robinson J. (2012) (Re)theorizing Cities from the Global South: Looking beyond Neoliberalism. *Urban Geography*, vol. 33, no 4, pp. 593–617.
- Prashad V. (2013) *The Poorer Nations: A Possible History of the Global South*, London: Verso.
- Prigogine I. (1996) *La fin des certitudes*, Paris: Odile Jacob.
- Reuveny R. X., Thompson W. R. (2007) The North–South Divide and International Studies: A Symposium. *International Studies Review*, vol. 9, no 4, pp. 556–564.
- Rigg J. (2007) *An Everyday Geography of the Global South*, London: Routledge.
- Robinson J. (2006) *Ordinary Cities: Between Modernity and Development*, London: Routledge.
- Robinson J. (2016) Starting from Anywhere, Making Connections: Globalizing Urban Theory. *Eurasian Geography and Economics*, vol. 57, no 4–5, pp. 643–657.
- Rogers D. (2010) Postsocialisms Unbound: Connections, Critiques, Comparisons. *Slavic Review*, vol. 69, no 1, pp. 1–15.
- Rose G. (1993) *Feminism and Geography: The Limits of Geographical Knowledge*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Roy A. (2009) The 21st-Century Metropolis: New Geographies of Theory. *Regional Studies*, vol. 43, no 6, pp. 819–830.
- Roy A., Crane E. S. (2015) *Territories of Poverty: Rethinking North and South*, Athens: University of Georgia Press.
- Said E. W. (1978) *Orientalism*, London: Penguin.
- Schlögel K. (2007) *Das russische Berlin: Ostbahnhof Europas*, München: Pantheon.
- Schueth S. (2011) Assembling International Competitiveness: The Republic of Georgia, USAID, and the Doing Business Project. *Economic Geography*, vol. 87, no 1, pp. 51–77.
- Sgibnev W. (2015) Remont: Housing Adaptation as Meaningful Practice of Space Production in Post-Soviet Tajikistan. *Europa Regional*, vol. 22, no 1–2, pp. 53–64.
- Shields R. (2012) Cultural Topology: The Seven Bridges of Königsberg, 1736. *Theory, Culture & Society*, vol. 29, no 4–5, pp. 43–57.
- Sidaway J. D. (2013) Geography, Globalization, and the Problematic of Area Studies. *Annals of the Association of American Geographers*, vol. 103, no 4, pp. 984–1002.

- Sidaway J. D., E. L. E. Ho, Rigg J. D., Woon C. Y. (2016) Area Studies and Geography: Trajectories and Manifesto. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 34, no 5, pp. 777–790.
- Smith J., Richardson P. (2017) The Myth of Eurasia — A Mess of Regions. *Journal of Borderlands Studies*, vol. 32, no 1, pp. 1–6.
- Spivak G. C. (1988a) Can the Subaltern Speak?. *Marxism and the Interpretation of Culture* (eds. C. Nelson, L. Grossberg), Chicago: University of Illinois Press, pp. 271–313.
- Spivak G. C. (1988b) *Subaltern Studies: Deconstructing Historiography. Selected Subaltern Studies* (eds. R. Guha, G. Chakravorty Spivak), Oxford: Oxford University Press, pp. 3–32.
- Spivak G. C. (1993) *Outside in the Teaching Machine*, London: Routledge.
- Suslov M., Bassin M. (eds.) (2016) *Eurasia 2.0: Russian Geopolitics in the Age of New Media*, Lanham: Lexington Books.
- Timár J. (2004) More than “Anglo-American”, It is “Western”: Hegemony in Geography from a Hungarian Perspective. *Geoforum*, vol. 35, no 5, pp. 533–538.
- Tlostanova M. (2008) The Janus-Faced Empire Distorting Orientalist Discourses: Gender, Race and Religion in the Russian/(Post)Soviet Constructions of the “Orient”. *Worlds and Knowledges Otherwise*, vol. 2, no 2, pp. 1–11.
- Tlostanova M. (2011) The South of the Poor North: Caucasus Subjectivity and the Complex of Secondary “Australism”. *Global South*, vol. 5, no 1, pp. 66–84.
- Tlostanova M. (2015a) Can the Post-Soviet Think? On Coloniality of Knowledge, External Imperial and Double Colonial Difference. *Intersections: East European Journal of Society and Politics*, vol. 1, no 2, pp. 38–58.
- Tlostanova M. (2015b) Between the Russian/Soviet Dependencies, Neoliberal Delusions, Dewesternizing Options, and Decolonial Drives. *Cultural Dynamics*, vol. 27, no 2, pp. 267–283.
- Tlostanova M. (2017) *Postcolonialism and Postsocialism in Fiction and Art*, New York: Palgrave Macmillan.
- Todorova M. (1997) *Imagining the Balkans*, Oxford: Oxford University Press.
- Tuvikene T. (2016) Strategies for Comparative Urbanism: Post-Socialism as a De-Territorialized Concept. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 40, no 1, pp. 132–146.
- Ushkalov I., Malakha I. (2010) *Utechka umov* [Brain Drain], Moscow: Librokom. (In Russian)
- van Schendel W. (2002) Geographies of Knowing, Geographies of Ignorance: Jumping Scale in Southeast Asia. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 20, no 6, pp. 647–668.
- Wallerstein I. (1976) Semi-peripheral Countries and the Contemporary World Crisis. *Theory and Society*, vol. 3, no 4, pp. 461–483.
- Wallerstein I. (1979) *The Capitalist World Economy*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Wanner C. (2007) *Communities of the Converted: Ukrainians and Global Evangelism*, Ithaca: Cornell University Press.
- Wolff L. (1994) *Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment*, Stanford: Stanford University Press.
- Zarakol A. (2011) *After Defeat: How the East Learned to Live with the West*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Zarycki T. (2014) *Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe*, London: Routledge.
- Žižek S. (2011) *Living in the End Times*, London: Verso.

In Search of the Global East: Thinking between North and South

Martin Müller

Professor, Department of Geography and Sustainability, University of Lausanne
Co-founder and academic lead of the Center for Global Urbanism, Ural Federal University
Address: Géopolis 3514, 1015 Lausanne, Switzerland
E-mail: martin.muller@unil.ch

Dmitrii Bezuglov (translator)

Curator of the public program at Ural Industrial Biennial of the Contemporary Art, staff member at the Center for Global Urbanism, Ural Federal University
Address: Lenina ave., 51, room 114a, Yekaterinburg, Russian Federation 620083
E-mail: dmitrii.bezouglov@gmail.com

Carving up the world into Global North and Global South has become an established way of thinking about global difference since the end of the Cold War. This binary, however, erases what this paper calls the Global East — those countries and societies that occupy an interstitial position between North and South. This paper problematizes the geopolitics of knowledge that has resulted in the exclusion of the Global East, not just from the Global North and South, but from notions of globality in general. It argues that we need to adopt a strategic essentialism to recover the Global East for scholarship. To that end, it traces the global relations of IKEA's bevelled drinking glass to demonstrate the urgency of rethinking the Global East at the heart of global connections, rather than separate from them. Thinking of such a Global East as a liminal space complicates the notions of North and South towards more inclusive but also more uncertain theorizing.

Keywords: Global East, Global North, Global South, geopolitics of knowledge, exclusion, strategic essentialism, global theorizing

Дебаты о постсоциализме и политики знания в пространстве множественных «post-»

Альмира Усманова

Профессор департамента социальных наук, Европейский гуманитарный университет

Адрес: ул. Савичяус, 17, Вильнюс, Литва LT-01126

E-mail: almira.ousmanova@ehu.lt

В данной статье я рассматриваю вопрос о том, как в мире без социализма и в пространстве множественных «post-» происходит формирование новых политик знания. Социальные исследователи из постсоциалистического региона стремятся найти/вернуть своим странам место на карте и в истории, задействуя при этом концептуальные подходы, которые базируются на разных идеологических основаниях. В качестве примеров ангажированного знания я здесь рассматриваю методологический национализм, гендерные исследования и деколониальный дискурс как самые востребованные объяснительные модели, утвердившиеся в постсоциалистическом пространстве на руинах ортодоксального марксизма после 1991 года. Меня интересует, какие эпистемологические и политические эффекты они производят, когда мы используем их для анализа пост-«постсоциалистического состояния». В зависимости от интерпретативной оптики мы получаем разные ответы на вопросы о том, наступило ли время сказать «Прощай, постсоциализм!», или насколько полезной является категория «Глобального Востока» в современных обстоятельствах. Пространство множественных «post-» я здесь понимаю, во-первых, как территорию, которая после коллапса социализма оказалась вписана в новые пространственные конstellляции, однако все еще находится в поисках своего места на геополитической карте мира и остается весьма чувствительной к политикам наименования; и во-вторых, как пространство эпистемологической гетероглоссии, в котором между собой соперничают различные способы концептуализации как недавнего прошлого, так и актуального настоящего.

Ключевые слова: политики знания, социализм, постсоциализм, феминизм, методологический национализм, марксизм, Запад, Восток, Другой

О роли пространственных метафор в утверждении нового мирового бес/порядка

География никогда не была политически невинной/нейтральной наукой, хотя под прикрытием процедур достижения научной объективности ее «политическое бес-сознательное» удавалось скрывать до тех пор, пока на рубеже XIX–XX веков геополитика не утвердилась в качестве самостоятельного направления исследований, на стыке географии, социологии, экономики и политических наук.

Идеологическая ангажированность географического Воображаемого обнаруживается каждый раз, когда политические границы между странами и различными транснациональными союзами предъявляются в качестве «естественных» факторов политического мироустройства (наподобие «прочерченной» в XVIII веке границы между Европой и Азией), или когда понятия, обозначающие стороны

света (Запад, Восток, Юг, Север), применяются в анализе экономических, политических и культурных процессов.

На протяжении нескольких столетий эти категории играли важную роль в объяснении различий в потенциалах и рациональности использования природных и человеческих ресурсов (в масштабах всего земного шара или одного материка, а нередко и отдельной страны) и были призваны маркировать предполагаемые границы между полюсами экономического превосходства, технологической мощи, политического влияния (условные Запад и Север) и бедности, технологической отсталости, политической зависимости (условные Юг и Восток).

Другими словами, когда географические термины перемещаются в поле социальных наук, вначале они приобретают статус пространственных метафор (функция которых состоит в натурализации идеологических конструктов), а затем начинают использоваться как прошедшие валидизацию аналитические категории, с помощью которых картируются, описываются и интерпретируются глобальные и региональные политико-экономические реальности.

В XX веке политическая карта мира неоднократно перекраивалась — вследствие двух мировых и множества локальных войн, социальных и национально-освободительных революций и распада колониальных империй. Тридцать лет назад в Восточной Европе произошли радикальные политические преобразования: «Социалистические режимы в странах Восточной Европы рухнули благодаря одной и той же движущей силе истории, в результате чего в итоге больше 400 миллионов человек в 30 странах почти одновременно оказались в условиях постсоциализма» (Мюллер, 2019). На руинах бывшего социалистического блока практически в одночасье образовалось множество новых стран, некоторые из которых восстановили утраченную ранее независимость, а другие обрели статус самостоятельных государств впервые в истории. Пространство, переставшее быть «шестой частью земли» (СССР), превратилось в территорию «призраков» социализма¹. Ориенталистская в своей основе концепция разделения на Первый, Второй и Третий миры утратила смысл, поскольку Второго мира не стало.

Крах социалистической системы стал основанием для установления нового мирового порядка, пришедшего на смену тому, который сформировался после Второй мировой войны и был обусловлен конкуренцией двух основных систем — капитализма и социализма. Новый мировой порядок, по сути, означал утверждение рыночной модели экономики как глобального паттерна (Spivak, 1995: 89), а его идеологической легитимацией стал глобализм (Бек, 2001: 23).

Тогда казалось, что политические контуры будущего мира уже не изменятся. Между тем спустя почти три десятилетия после провозглашенного Фрэнсисом Фукуямой «конца истории» вопрос о *новом мировом порядке* вновь вернулся в медиа и в политический дискурс². Утверждения о «конце нового мирового порядка»

1. О книге Жака Деррида «Призраки Маркса» (Деррида, 2006) и постсоветской «хонтологии» (l'phantologie, hauntology, призракология) я пишу в другом тексте (Ousmanova, 2018).

2. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на заголовки передовых статей, опубликованных в ведущих мировых информационных изданиях (таких как New York Times, Forbes, Wall Street Journal

или же об установлении «старого нового мирового порядка» во многом связаны с пандемией COVID-19. Биополитика, ранее не выходившая за границы отдельно взятых государств и политических режимов, неожиданно стала глобальным фактором, оказывая невидимое (если говорить о самом вирусе, а не о его распространении и последствиях), но значительное влияние на геополитику. Однако, хотя коронавирус и спровоцировал «антиглобалистскую паранойю», настоящей причиной наступления нового глобального бес/порядка является не пандемия, а совсем другие процессы³, многие из которых были запущены в момент, когда пала Берлинская стена.

Таким образом, в настоящее время мы являемся свидетелями передела не карты, но, скорее, картины мира, меняющей на наших глазах представления о связи географии, политики и экономики. На протяжении нескольких столетий, и особенно в период холодной войны, отношения между Востоком и Западом определяли направление и ход исторических событий, а также их интерпретацию, однако распад биполярного мира, основанного на противостоянии и политической конкуренции двух систем — социализма и капитализма, привел к тому, что политическая семантика этих категорий утратила прежнюю ясность. «Как только исчез коммунистический Другой, растворилось и идеологическое различие Востока и Запада» (Мюллер, 2020: 20). Эпитеты «бывший», «глобальный», «условный», «воображаемый», «старый», «новый» применяются сегодня по отношению как к «Востоку», так и к «Западу». Спор о понятиях является свидетельством того эпистемологического хаоса, в котором мы оказались и все еще находимся, утратив прежние системы координат.

Взгляд на дебаты о постсоциализме с позиции включенного наблюдателя

В рамках данного текста я рассматриваю постсоциалистический регион как пространство множественных «post-», имея в виду два обстоятельства. Во-первых, речь идет о территории, которая после коллапса социализма оказалась вписана в новые пространственные конstellляции, однако все еще находится в поисках своего места на геополитической карте мира и остается весьма чувствительной к политикам имени (поскольку «дать имя территории — значит освоить ее в терминах той или иной идеологии, вписать в определенную символическую матрицу — и в политическую игру» (Усманова, 2007: 113). Во-вторых, это пространство эпистемологической гетероглоссии, в котором между собой соперничают различ-

и др.) в течение последнего месяца: «Конец нового мирового порядка» (New York Times, 5 мая), «Готовы ли мы принять новый мировой порядок?» (Forbes, 22 мая), «Гонконгский кризис и новый мировой порядок» (BBC, 2 июля), «Новый мировой порядок — это беспорядок» (Canada's National Observer, 20 мая), «Старый Новый Мировой Порядок» (Wall Street Journal, 1 июля).

3. Среди которых — борьба за геополитическое влияние и рынки сбыта (особенно в сфере энергоносителей и вооружения), усугубляющееся экономическое неравенство как внутри отдельных стран, так и на мировом уровне, неконтролируемая миграция (вызванная военными конфликтами и бедностью), расовые и этнические конфликты и многие другие проблемы.

ные способы концептуализации как недавнего прошлого, так и актуального настоящего.

Непосредственным поводом к написанию этого текста послужили две статьи швейцарского исследователя Мартина Мюллера (одна из которых публикуется в данном номере) (Мюллер, 2019; Мюллер, 2020). Оба текста, несмотря на различие теоретических фокусов, — комплементарны, поскольку речь в них идет о необходимости концептуальной перезагрузки и поиске новых категорий анализа в отношении бывшего Второго мира и постсоциалистического региона.

Статья «Прощай, постсоциализм!» (Мюллер, 2019) представляет собой всесторонний анализ генеалогии, методологической состоятельности и теоретической жизнеспособности термина «постсоциализм». Его критика включает в себя пять аспектов: это термин, который отсылает к «исчезающему объекту»; делает акцент на разрыве, а не на преемственности; создает «территориальную ловушку»; опирается на «ориенталистскую систему знания»; и накладывает ограничения на рефлексию о возможном политическом будущем. Учитывая, насколько обширным является количество академических публикаций, посвященных постсоциалистическим трансформациям (здесь я имею в виду исследования как западных, так и восточноевропейских теоретиков в разных областях знания), кажется поразительным то, что в рамках одной статьи Мартину Мюллеру удалось осуществить концептуальное картирование этого сложного и разнообразного исследовательского ландшафта.

Стоит также отметить, что панорамирующий взгляд автора устремлен не в прошлое, а в будущее: критика концепта постсоциализма открывает возможность для поиска и утверждения альтернативного проекта, «который будет по-прежнему учитывать различие, но на первый план выносить связи и преемственность, расширять политические границы и строить теорию не просто об этом мире, но исходя из его опыта и вместе с ним» (Мюллер, 2019). Под «этим миром» он имеет в виду не только страны Восточной Европы и бывшие республики СССР. Важно понять, каким образом эта концептуальная перезагрузка отразится на «положении всего остального мира» (Мюллер, 2019). Ответ на эти вопросы автор предлагает в своем втором тексте «Разыскивая Глобальный Восток: мышление между Севером и Западом» (Мюллер, 2020).

Как отмечает Мюллер, «крах социализма стал не только серьезным политическим и экономическим вызовом, но и интеллектуальным» (Мюллер, 2019). Дискуссии по поводу «постсоциализма» как полезной или (уже) бесполезной категории анализа не прекращались все эти годы, но именно в последнее десятилетие (по мере «исчезновения объекта») стала нарастать неудовлетворенность в отношении концептуального аппарата, сложившегося в 1990-х годах.

Например, в 1990–2000-х годах одним из наиболее востребованных подходов в анализе постсоциалистических трансформаций являлась концепция «path dependence». История по-прежнему имеет значение (history matters), но в какой мере сегодняшние проблемы и противоречия в экономике или политической жизни

могут быть объяснены отсылкой к социалистическому прошлому? Для современной Беларуси, застрявшей где-то посередине между государственным социализмом и государственным капитализмом, эта объяснительная модель все еще актуальна, но как насчет Литвы, Польши или Украины?

Другим примером может быть термин «пограничье» (Borderland), который активно использовался в 2000-е годы как своего рода концептуальная альтернатива «постсоциализму» в отдельно взятом регионе. Этот термин, с одной стороны, обнулял социалистическое прошлое (он не содержит временных референций), а с другой — определял место новых Других в изменившейся системе геополитических координат, локализуя их в пространстве искусственно созданного региона⁴. С моей точки зрения, этот конструкт создавал еще одну «территориальную ловушку». Словом, вопрос о категориальной сетке, которую мы набрасываем на нашу сегодняшнюю действительность, назрел.

Высокая степень саморефлексивности Мюллера в отношении собственной позиции как актора-наблюдателя, который находится и работает в пространстве *in-between*, между «бывшим» Западом и «новым» Востоком, делает его почти неуязвимым для критики, хотя он готов к тому, что «в ответ на критику постсоциализм начнут реанимировать» (Мюллер, 2019).

Соглашаясь со многими тезисами автора, я хотела бы тем не менее сформулировать ряд дополнительных вопросов, касающихся связи между производством знания и геополитикой в социальной эпистемологии постсоциализма. Мой исследовательский интерес к этой проблеме сложился достаточно давно, поэтому в ходе обсуждения для меня важно также переосмыслить и развить некоторые идеи, связанные с интерпретацией процессов, происходивших в Восточной Европе после коллапса социализма, которые были мною сформулированы в других, ранее опубликованных статьях (Усманова, 2002, 2007; Ousmanova, 2003, 2009, 2018).

В своем тексте я хотела бы обсудить вопрос о том, почему концепт «постсоциализм» сохраняет свою значимость для постсоветских политик знания и какую

4. Восточная Европа *de facto* перестала быть единым постсоциалистическим пространством в 2004 году, когда ряд государств в этом регионе вошли в состав ЕС. С учетом новой геополитической реальности и появления новых границ (Шенгенская зона), за которыми Европа заканчивалась, европейские политики разработали программу «европейского соседства» (European Neighbourhood Policy), призванную содействовать более тесному сотрудничеству между ЕС и соседними странами в области политики, безопасности, экономики и культуры. На Востоке новыми соседями (и новыми друзьями) ЕС стали Беларусь, Украина и Молдова. Исследования этого региона вскоре стали одним из приоритетных направлений финансирования научных проектов. Но если европейские фонды продвигали повестку пограничья именно в аспекте взаимодействия с ЕС (European Borderland), то некоторые американские фонды были нацелены, скорее, на поддержку проектов, которые формировали бы новые связи между Украиной, Молдовой и Беларусью, но блокируя в рамках таких проектов возможность сотрудничества с Россией. Одним из таких проектов был исследовательский центр CASE, созданный в Минске при поддержке Фонда Карнеги (www.case-border.org), который активно поучаствовал в изобретении традиции исследования пограничья. Примечательно, что несколько изданий в рамках книжной серии этого центра были посвящены именно сравнительному анализу политик знания в этом «регионе», трансформации академических дискурсов, формированию научных сообществ и т. д. (см. более подробно здесь: <https://ru.ehu.lt/publications/>).

роль в их формировании играют локус высказывания и теоретическая ангажированность исследователей. Вслед за Донной Харауэй, которая ввела понятие «ситуативно обусловленного знания» («situated knowledges»: Haraway, 1988), я исхожу из того, что все знания несут на себе отпечаток места/положения/ситуации, в которой они производятся.

Поэтому для начала я должна сказать о том, что я также занимаю позицию включенного наблюдателя, находящегося в пространстве in-between. Это пространство, с одной стороны, кажется достаточно маргинальным, так как находится на значительной дистанции от глобальных центров политико-экономической власти и дискурсивной гегемонии, а с другой стороны, оказывается чуть ли не эпицентром горячих дискуссий об имперских амбициях, угрозах поглощения, оккупации, нападения с «Востока» (подразумевается Россия, воспринимаемая как правопреемница и Российской империи, и Советского Союза) или же политического доминирования и экономической зависимости от «Запада» (будь то ЕС, НАТО или США), что вызывает вопросы, связанные с национальным суверенитетом.

Я полагаю, что периферийный взгляд обеспечивает определенное эпистемологическое преимущество, давая возможность наблюдать и сравнивать процессы десоветизации и прощания с постсоциализмом в политике, в академической среде и медиадискурсе в Литве и Беларуси, но также с оглядкой на соседние страны (Россия, Украина, Польша). «Привилегия частичной перспективы» (Haraway, 1988) позволяет увидеть под определенным углом зрения нечто иное — то, что остается невидимым или просто незамеченным, когда высказывание о прошлом или настоящем маскируется под универсально истинное и объективное утверждение, эманлирующее как будто бы из глобального «ниоткуда».

Географии и поколения

Среди факторов, обуславливающих явно или неявно наши теоретические взгляды на проблему постсоциализма, имеют значение и гражданство, и исследовательский опыт, и лингвистический фактор, и институциональная аффилиация, и профессиональный статус, и уровень доходов, и гендерная идентичность, и многое другое. Но решающую роль, скорее всего, играет смена поколений.

Академическая карьера теоретиков, обсуждавших постсоциалистические трансформации в 1990-х годах, как на Западе, так и на Востоке, начиналась в условиях конкуренции двух политических систем, разделенных железным занавесом. Опыт первого поколения исследователей постсоциализма в восточноевропейских странах по-прежнему важен, к нему можно и нужно возвращаться для переосмысления в свете новых реалий и меняющихся интерпретативных парадигм вопроса о том «Что это было?». Здесь личное (как биографическое) и политическое тесно переплетены.

Для исследователей из постсоветского пространства резкий переход в другую экономическую и политическую реальность обозначил границу между прошлым и настоящим: люди, родившиеся в СССР, вдруг оказались гражданами совсем других государств. Утвердившиеся в некоторых из постсоветских стран новые авторитарные режимы (например, в Беларуси — стране, которой бессменно правит один и тот же президент уже на протяжении 26 лет) успешно эксплуатируют эту историческую травму и сохраняющуюся экзистенциальную растерянность представителей старших поколений, многие из которых до сих пор не могут принять новые идентичности.

Между тем у нового поколения исследователей этих травматических воспоминаний нет, как нет и личного отношения к прошлому. Поэтому вполне объяснимо то, что для них интерпретативные схемы, удерживающие в своей этиологии родовую травму социализма, действительно выглядят как неуместный анахронизм, к которому можно относиться как к «историческому чувству», которое тоже осталось в прошлом (особенно если исследовательские интересы напрямую не связаны с изучением советского периода). Для большинства молодых людей, живущих на этой территории, проблема *некогда общей* «Родины» не существует даже в виде исторических реминисценций. Вернее, эта тема может породить лишь негативные коннотации как отсылка к одному из прежних имперских образований, а тема «общего дома» чаще всего имеет отношение либо к европейскому прошлому (например, к истории Великого княжества Литовского или Речи Посполитой), либо к европейскому настоящему (ЕС).

Важно отметить, смена поколений — это не только вопрос биологического возраста. Значимую роль в этом процессе сыграли институциональные изменения в сфере образования и трансформация академической культуры в Восточной Европе, несмотря на все различия между странами, вошедшими в ЕС и оставшимися за его пределами⁵.

После конца холодной войны интенсивность научных обменов между «бывшим» Западом и «новым» Востоком резко возросла. Но если в 1990-е восточноевропейские ученые в основном учились и переучивались, осваивая новые дискурсы и иные научные практики⁶, получая образование и защищая диссертации в западных университетах, то в 2010-е многие из них уже были активно включены в сообщество транснациональных интеллектуалов, участвуя в производстве знания на

5. В этом отношении сравнивать сегодняшнюю Литву и Беларусь практически невозможно: Литва давно уже стала частью европейского образовательного пространства, а белорусские университеты во многом выглядят как законсервированные образцы эпохи застоя, с обязательными курсами по истории Великой Отечественной войны и по белорусской идеологии, и с почти не изменившимися практиками администрирования.

6. В 1990-е годы в коммуникации с Западным миром постсоветские ученые выступали не в качестве экспертов и специалистов, а, скорее, в роли учеников и информантов. По словам Елены Трубиной, в сложившемся в мире разделении умственного труда постсоветским ученым отводилась «роль либо поставщиков сырого материала, предназначенного для интерпретации более интеллектуально искусственными специалистами, либо носителей специфического типа „локального знания“» (Трубина, 2002: 62).

международном уровне, в создании и укреплении глобальных научных обменов, не будучи при этом привязанными к одной культуре, одной стране или одному университету. Академический номадизм дал возможность выстраивать рефлексивную, метакультурную или эстетическую дистанцию к различным культурным опытам и практикам (Featherstone, 1995: 9).

Далее, важно также учитывать перезагрузку системы администрирования наукой, которая начала происходить в конце 1990-х годов и к настоящему моменту утвердилась в качестве нормы практически во всех университетах Европы (в том числе и за пределами ЕС). Внедрение наукометрических показателей для оценки научной эффективности ученых, происходившее особенно интенсивно в последнее десятилетие, являлось частью «более широкой трансформации социальной структуры научных исследований в регионе» (Frankel, Cave, 1997: 1). «Эта система создает возможности часто именно для молодых исследователей, лучше знакомых с кодами и практиками англоязычной академии, но также она устанавливает превосходство через принуждение обслуживать и подчиняться дискурсу, термины которого распространились повсеместно» (Мюллер, 2019). Унификация и квантификация научных показателей сделала условия включения локальных исследователей в новый мировой академический порядок более прозрачными и одновременно более жесткими. Все это, вместе с механизмами грантовой политики ЕС, поощряющими международное сотрудничество в сфере реализации научных проектов, содействовало установлению более равноправных условий коммуникации в академическом мире (по тем правилам, которые были обозначены выше). Но одновременно именно в этой ситуации наиболее рельефно проявился академический капитализм, который «смотрит на Восток все больше и больше через метрику, требующую подчинения академической системе, в которой доминируют западные, в особенности англоязычные школы» (Там же, 2019). Парадоксальным образом английский язык оказался одновременно средством политической и теоретической эмансипации ученых из восточноевропейских стран (1990-е годы) и инструментом теоретической ре/колонизации (2000-е годы). Впрочем, он стал основным языком не только в коммуникации между интеллектуалами из бывших советских стран, но также и в глобальном академическом пространстве.

Таким образом, основной причиной, обуславливающей желание поскорее проститься с постсоциализмом, является фактор смены поколений как среди представителей новых политических элит, так и в академической среде, причем не только в Восточной Европе. Это поколение, для которого «социализм уже не является ключевым критерием, в соответствии с которым следует анализировать социальные миры бывших соцстран» (Там же, 2019). Мюллер упоминает в этой связи работу Кэролайн Хамфри, написанную в 2001 году, которая связывала недолговечность этого термина также со сменой поколений: «Когда поколения рожденных в социалистических режимах уйдут с политической сцены, есть все основания полагать, что категория постсоциализма распадется и исчезнет» (Humphrey, 2001: 13). Я ду-

маю, что этот момент наступил, и именно в этом я усматриваю симптоматичность появления текста Мартина Мюллера на исходе 2010-х годов.

К вопросу об ангажированном знании

Политики знания формируются не в стерильном пространстве научного мира, во многом они зависят от той конъюнктуры, которая определяется политической повесткой дня. Для первого поколения академических исследователей в Восточной Европе вопрос об отношениях между академией и политикой, идеологией и наукой казался неуместным. Избавление от марксизма и всего, что с ним было связано, многими было воспринято как возвращение идеалов академической свободы. Однако довольно скоро место марксизма-ленинизма было занято другими идеологиями, а влияние гегемонных дискурсов теперь осуществляется в якобы деидеологизированной реальности множеством других способов. Как правило, это происходит опосредованно, в первую очередь через механизмы финансирования научных исследований государственными и частными фондами. Интерпелляция осуществляется посредством формулирования приоритетных тем, определяющих социальный заказ⁷.

Современная ситуация в Восточной Европе существенно отличается от того, что происходило в 1990-е годы, когда можно было говорить об общем дискурсивном пространстве и солидарности постсоветских гуманитариев и социальных исследователей. Накопившиеся за тридцать лет раздельного существования взаимные претензии между бывшими советскими республиками, вызванные экономическими войнами (например, в газовом вопросе), военными конфликтами, формированием новых политических альянсов, в значительной мере усилили степень разобщенности и в академической среде. Геополитическое напряжение между основными акторами глобальной политики привело к расколу среди сильно политизировавшихся постсоветских и восточноевропейских интеллектуалов, о чем можно судить как по академическим публикациям, так и по характеру дискуссий в социальных медиа. Поляризации мнений содействуют также активизация крайне правых, усиление авторитаритарных тенденций, поощряемые на государственном уровне проявления шовинизма, ксенофобии, консервативного национализма и неопатриархата. В этом контексте вопрос о самоидентификации, языке коммуникации и политиках имени — это не только вопрос размежевания с прошлым, это отражение стремления отстоять и защитить эти границы в настоящем.

7. Наиболее очевидным примером здесь будет возросшее после событий 2014 года значение украинской повестки дня в программах финансирования исследовательских проектов и центров, в тематике многих конференций и летних школ, в создании специальных исследовательских программ и учреждении преподавательских позиций, равно как и в поддержке студенческих обменов. Другим, более свежим примером является финансирование исследований (в том числе и в социогуманитарных науках) всего, что связано с COVID-19.

Говоря о социальной и политической детерминированности исследовательского взгляда, важно иметь в виду и более тонко завуалированную связь между политическими идеологиями и *идеологиями теорий*⁸.

В том, что исследователи, живущие и работающие в Восточной Европе, воспринимают его как пространство множественных «пост-», не редуцируемых к общему и единому знаменателю, большую роль играет именно теоретическая оптика. Социальные исследователи из постсоциалистического региона стремятся найти/вернуть своим странам место на карте и в истории с помощью различных концептуальных подходов, которые вовсе не являются политически нейтральными.

Размышляя о том, в какой степени исследовательская программа приводится в действие идеологиями теорий, я полагаю необходимым обсудить здесь вопрос об ангажированном знании. Под «ангажированностью» я понимаю отнюдь не партийную принадлежность, хотя именно таким образом это слово может быть воспринято исследователями из Восточной Европы, которые не забыли о том, насколько идеологизированным являлось производство знания об обществе в условиях доминирования марксизма-ленинизма. Ангажированность означает выбор той или иной теории в пользу определенного взгляда на мир и на способы его исследования. В том, какие отношения мы выстраиваем со своим исследовательским объектом, большую роль играют теоретическое позиционирование, эмоциональная вовлеченность и политическая рефлексивность. «Ангажированным» в определенном роде является любое знание: осознание и принятие этой обусловленности позволяет распознать идеологичность теории не только в марксизме или феминизме, но и в любой другой теории.

Стоит в этой связи отметить, что проблемы соотношения знания (науки) и идеологии, соотнесенности теории с политической ангажированностью сегодня и на Западе и на Востоке обсуждают главным образом представители левых дискурсов. Внимание к позиции «говорящего субъекта» и критический анализ идеологий теории характерны не только для марксистской традиции, но также и для феминистской и постколониальной теории. Эпистемологическая саморефлексия важна в первую очередь для тех традиций, которые были и остаются чувствительными к социальному неравенству, к имплицитным и эксплицитным формам дискриминации и молчанию тех, кто не может говорить от своего имени.

Проблема ангажированности знания очень рельефно проявляется в дискуссиях о советском и постсоветском. Как пишет Мартин Мюллер, постсоциализм «сопряжен с определенной эпистемологической, географической и политической парадигмой, накладывающей ограничения на то, что и как можно (и нельзя) подразумевать» под этим термином (Мюллер, 2019). Здесь нейтральная позиция почти непредставима: политическое бессознательное академических дискурсов проявляется в выборе теоретических подходов, эмпирических методов и применении концептуального инструментария. Идеологии теорий обнаруживают себя

8. Выражение «идеологии теории» я заимствую у Фредрика Джеймисона (Jameson, 1988).

в самом способе постановки вопросов. Какие исследовательские вопросы мы формулируем в отношении истории формирования наций, проблемы эмансипации и гендерных порядков; как мы объясняем связь между развитием технологий, политическими режимами и социальным прогрессом; что мы называем ре- и деколонизацией в различных контекстах; как конструируются исторические каноны в разных областях знания, есть ли будущее у «коммунистической гипотезы», как происходят революции и т.д.? В зависимости от интерпретативной оптики мы получаем разные ответы также и на вопросы о том, наступило ли время сказать «Прощай, постсоциализм!», или насколько полезной является категория «Глобальное Востока» в современных обстоятельствах.

На мой взгляд, в постсоциалистическом пространстве наиболее влиятельными парадигмами ангажированного знания стали *методологический национализм, гендерные исследования и деколониальный дискурс*, и в контексте данной статьи меня интересует, какие эпистемологические и политические эффекты они производят, когда применяются для анализа «постсоциалистического состояния» (Н. Фрейзер).

Следует отметить, что эти объяснительные модели утвердились на руинах ортодоксального марксизма, заняв его нишу в академическом пространстве, однако те изменения, которым подверглась академия в условиях консервативного поворота, поставили их в неравные условия. Постсоциалистические трансформации привели к тому, что почти повсеместно господствующей догмой стал национализм. В результате гендерные исследования (вместе с феминистской теорией) оказались практически выдворенными из «храмов науки»: в одних странах они были заменены патриархальным «семьеведением» (Россия), а в других и вовсе запрещены (Венгрия⁹). Постколониальный дискурс получил распространение главным образом в бывших советских республиках, кое-где вступая в политический альянс с методологическим национализмом, так как основным объектом критики в большинстве случаев выступает не Запад, а советское как «имперское». В России же по понятным причинам постколониальной теории в университетах места нет¹⁰.

Методологический национализм и призраки социализма

Анализируя дискуссии о полезности «постсоциализма» как аналитической категории, Мартин Мюллер обращает внимание на то, что «особенно за пересмотр термина, в разработке которого они почти не участвовали, выступали ученые из постсоциалистических обществ» (Мюллер, 2019). Это, конечно же, не случайно. На

9. Правительство Виктора Орбана закрыло гендерные программы в августе 2018 года. Очень похожие процессы происходят сейчас и в Польше.

10. В то же время российские исследователи, критически настроенные к консервативному повороту, развивают постколониальную критику, но происходит это не в рамках образовательных курсов. В качестве примера см. недавно вышедший тематический номер журнала «Новое литературное обозрение» (№ 161, 2020), который целиком посвящен проблеме «Постсоветского как постколониального»).

мой взгляд, здесь имеют значение два обстоятельства: во-первых, это стремление ученых из бывших соцстран обрести голос в качестве равноправных участников научных дискуссий на нейтральной территории; и во-вторых, утверждение методологического национализма в локальных академических средах.

Возникшие после распада социализма линии фронта, прочно закрепившиеся на границе между Россией и «новым» Западом к концу 2010-х годов, привели к утрате как общего языка коммуникации, так и *общего места высказывания*. Постсоветский регион больше не является пространством универсализирующих нарративов, с разделяемыми значениями одних и тех же слов. Границы постсоветского пространства определены прошлым, которого больше нет, а сам термин навязывает травматическую общность всем тем, кто хотел бы о ней забыть как о дурном сне. Казавшаяся общей до недавних пор (во всяком случае, до середины 1990-х годов) история превратилась в объект для национализации и приватизации, став одним из главных инструментов политических манипуляций во всех без исключения странах. Таким образом, «пока западноевропейский дискурс настаивает на постсоциалистической идентичности Восточной Европы, в ней самой исторический проект коммунизма часто отвергается» (Сосновская, Борисенко, 2017).

Упомянутый мною ранее консервативный поворот в социогуманитарном знании тесно связан с утверждением «методологического национализма» как доминантной интерпретативной парадигмы в постсоциалистических странах. Согласно Ульриху Беку, в ее основании лежит представление о том, что «национальное государство и общество являются „естественными“ социально-политическими формами современного мира» (Бек, 2012: 36) и что «общество или социальная группа обладает своей „собственной“, отграниченной от других культурой» (Бек, 2001: 120). Локальная культура преподносится как результат исключительно местных традиций и образования. По мнению немецкого социолога, «взгляд с позиций национального государства на общество и политику, право, справедливость и историю определяет политологическое и социологическое воображение», влияя на базовые определения таких понятий, как «общество, класс, государство, демократия, семья, воображаемое сообщество» (Бек, 2012: 37).

Бек полагал, что парадигма методологического национализма была характерна (и по-своему прогрессивна) для развития социальных наук в XIX столетии. Однако в XXI веке, в эпоху глобализации, нужна совсем другая теоретическая перспектива. А как обстоит дело с космополитической перспективой в постсоветских странах?

В 1990-е годы социальные и гуманитарные науки в постсоветском пространстве были пропитаны духом постмодернистского недоверия к «великим повествованиям» (Ж.-Ф. Лиотар). Но буквально в течение десятилетия после коллапса социализма на его руинах проросли и утвердились новые/старые метанарративы — о страдающих или победоносных нациях, возрождении и возвращении, об освобождении и независимости, о разрушении или же восстановлении великих

империй (в их современных воплощениях). В процессе своего возвращения они «изменились, обрели новое место и интенсивность» (Нейра, 2015: 180). Бои за историю разворачиваются повсеместно — в киберпространстве, в парламентах, на телевидении, в кино, в школах и музеях¹¹. Сложно не заметить, что «переопределение, переосмысление и присвоение истории — это важнейший фактор политической борьбы в текущий момент» (Мамедов, 2016).

Национализм как идеология достаточно монолитен, но может принимать разные формы, проявляться в различных констелляциях с другими идеологиями и по-разному использоваться, в зависимости от ситуации в политическом поле. Его доминирование обусловлено тем, что это единственная идеология, обеспечивающая «хотя бы какую-то степень социальной общности» (Гройс, 2007), или, как это сформулировал польский социолог Ян Сова, национализм создает «фигуры ложного единства» (Saifullayeu, 2017: 51). Подобно тому, как в советские времена производство знания в социальных и гуманитарных науках всецело определялось идеологической оптикой марксизма-ленинизма, в настоящем национализм стал доминирующей теоретической оптикой в изучении настоящего и прошлого, играя значительную роль в перекодировании культурной памяти постсоветского субъекта.

Националистические исторические нарративы полны дискурсивных пробелов и логических противоречий, но, как и любая другая идеология, национализм стремится создать целостную, однородную, универсальную картину мира, сделав Другого невидимым и опасным¹². Великие повествования репрессивны по самой

11. Объектом присвоения и перекодирования сегодня может стать все что угодно, включая цветовую семантику. Это происходит даже в Беларуси, которую нередко называют последним оплотом социализма в Европе. Так, совсем недавно в Национальном художественном музее Беларуси прошла выставка под названием «Красный код нации» (<https://www.artmuseum.by/ru/vyst/tek/krasnyj-%E2%80%93kod-naczii-sakralnost,-estetika,-vlast.html>). Однако это почти революционное название не имело ничего общего с «размышлениями в красном цвете» (если использовать название одной из книг Славы Жижека). На постере выставки были изображены крест, орнамент и корона. Красный как цвет коммунизма и символ интернационализма в кураторской экспликации не упоминался вовсе. Серп и молот здесь явно были неуместны, поскольку, по замыслу организаторов, красный цвет всегда являлся одним из символов автохтонной белорусской нации. В этом жесте избирательной амнезии политическое бессознательное проявляет себя как намеренное замещение и вытеснение памяти о советском в нарративе независимой Беларуси. Однако здесь стоит заметить, что в контексте революционных для Беларуси событий лета и осени 2020 года (которые уже можно считать своеобразным прощанием с постсоциализмом, в той его версии, которую представляет собой уходящий белорусский авторитаризм во главе с А. Лукашенко) политическая семантика красного цвета приобрела новые смыслы — в зависимости от сочетания с зеленым или белым: белый и красный цвета стали символами протеста (будь то исторический флаг (БЧБ), граффити, перекрашенные скамейки, деревья, стены домов, губная помада, цвет волос, аксессуаров или одежды протестующих), а красно-зеленые цвета (КЗ) государственного флага теперь воспринимаются (и будут восприниматься в будущем) как воплощение государственного насилия (физического и символического), правового коллапса и добровольной сервильности сторонников режима Лукашенко.

12. Между тем постмарксистские теоретики, переосмыслив исторический опыт тоталитаризма, оказались наиболее последовательными преемниками постмодернистских идей: вместо Единого и Универсального современный марксизм выводит на первый план сингулярности, дивидуальности и множества.

своей сути: господствующий метанарратив всегда вытесняет другой, заменяя его собственной понятийной матрицей и ценностными установками.

Утверждая, что сегодня в политическом дискурсе, медиа- и массовой культуре постсоциалистических стран Восточной Европы господствует национализм, мы должны рассматривать причины его утверждения комплексно. Если взглянуть на эти причины не с точки зрения «интересов нации» и ее фундамента — государственной независимости, а под другим углом зрения (например, с позиций марксизма и феминизма), тогда обнаруживается иная логика причинно-следственных связей. Когда в бывшем советском пространстве на смену социализму пришел стихийный капитализм, рынок стал главной идеологемой и фетишем. Сегодня сказанное вслух о неразрывной связи между чьими-либо экономическими интересами и политическими действиями почти автоматически будет интерпретироваться как вызов демократическому порядку. Национализм продвигает идею нации как гомогенного целого, маскируя социальное неравенство и классовое расслоение. Нарратив единой нации требует стирания всех других идеологических разногласий и нивелирования, а точнее, натурализации социальных различий внутри самой нации (нация едина, но в то же время некоторые «равнее других» будто бы по своему происхождению). И вовсе не случайно «советское» в дискурсе национализма трактуется исключительно как «имперское».

Обсуждая вопрос о том, каким образом идеология рынка переструктурирует историческую память о социализме, Кристен Годси отмечает, что в этой системе координат, во-первых, любое движение к перераспределению и отказу от свободного рынка рассматривается как коммунистическое; во-вторых, что-либо коммунистическое неизбежно ведет к классовым репрессиям; и в-третьих, что классовая борьба является моральным эквивалентом Холокоста (Ghodsee, 2014: 135).

Соответственно, коль скоро коммунизм был и остается главным идеологическим противником национализма¹³, то можно сказать, что избавление от «пост-социализма» окончательно сотрет память о том, что ему предшествовало, а сам социализм станет случаем невостребованного наследства, что, по сути, уже произошло. К настоящему моменту в большинстве стран Восточной Европы утвердился такой взгляд на историю культуры в период социализма, согласно которому в ней были (точнее, остались) только субъекты сопротивления, действовавшие исключительно вопреки системе. В этом утвердившемся каноне истории об альтернативной культурной сцене, о писателях-диссидентах, о месте религиозных культов в поддержании протестных настроений, о локальных версиях авангарда и т. д., по сути, представляют нам историю социализма без социализма.

13. Быть коммунистом — значит «предать» свою нацию, отречься от национальной принадлежности. Быть националистом — значит отрицать коммунистическую идею о постепенном и неизбежном исчезновении наций. Национализм и коммунизм — это диаметрально противоположные идеологии еще и потому, что они обеспечивают легитимацию совершенно разным политическим и экономическим режимам (раз все люди разные по своему происхождению, то равенство по определению невозможно, а имущественное расслоение неизбежно и естественно).

Однако здесь необходимо добавить, что не только марксизм, но и феминизм (вместе с гендерными исследованиями) является объектом отторжения для методологического национализма, как в связи с его «западным» происхождением, так и по причине его политической повестки: «Гендер стал почти ругательством в устах политических популистов, которые противопоставляют его традиционным ценностям и культурной специфике в попытках мобилизовать национальные сообщества» (Коуп, Минченя, Сасункевич, 2017: 13).

Феминистский взгляд на мир без пост/социализма

В рамках этого раздела я хотела бы взглянуть на проблему постсоциализма с точки зрения гендерных исследований, тем более что этот ракурс позволяет расширить наше понимание того, что стало с бывшим Вторым миром.

Тезис о том, что «женский вопрос» является универсальным индикатором социального прогресса, был сформулирован европейскими социалистами еще в XIX веке. Впоследствии он стал определяющим не только для советского государства в области социальной политики, но также одним из факторов конкуренции в состязании двух систем (капитализма и социализма) в условиях холодной войны. Характеризуя ситуацию с гендерным равенством в постсоциалистическом пространстве после 1991 года, Роберт Коннелл отмечал, что «установление капитализма в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе сопровождалось реставрацией доминантной маскулинности и в некоторых случаях резким ухудшением социальной позиции женщины» (Коннелл, 2001: 869).

Для гендерных теоретиков пост/социализм сохраняет свою актуальность, поскольку советские гендерные политики, взгляды социалистических феминисток, история международного женского движения, объединявшего женщин из стран Первого, Второго и Третьего миров, представляют собой не только уникальный исторический опыт, но во многом также рассматриваются как более прогрессивные, чем тот гендерный порядок, в котором патриархат и расизм оказываются неразрывно связанными с капитализмом, колониализмом, неолиберализмом и национализмом.

Не имея возможности рассматривать здесь этот вопрос детально, отмечу, что количество текстов, посвященных гендерным политикам при социализме, постоянно растет. Новые публикации (такие, например, как недавние тексты американской исследовательницы Кристен Годси (Ghodsee, 2018, 2019)) возвращают нам ту Историю и такие истории, которые, как могло показаться не гендерным теоретикам, уже давно не актуальны (как, например, история международного женского движения в период холодной войны, о котором идет речь в ее книге «Второй мир, второй пол»).

При этом феминистские теоретики анализируют не только локальные трансформации в изменении гендерного порядка, но постоянно удерживают в поле зрения и привлекают внимание к тем процессам, которые происходят в бывших

советских республиках к югу и востоку от Урала, в регионе, который в первые годы советской власти получил название «Красный Восток». В имагологическом Воображаемом бывших советских людей образ Красного Востока неразрывно связан с культовым советским фильмом «Белое солнце пустыни» (В. Мотыль, 1969). В контексте обсуждаемых здесь вопросов этот фильм заслуживает упоминания, так как в нем представлен практически весь спектр, а главное — артикулирован политический смысл тех социальных преобразований, которые новая власть попыталась осуществить в этом регионе, и особенно важной темой здесь является предпринятое «освобождение закабаленных женщин Востока». Проект советской модернизации должен был положить конец прежней классовой структуре и порожденным ею формам экономической эксплуатации и социального неравенства. Советская власть стремилась утвердить светское образование и прогрессивную гендерную социализацию в соответствии с принципом равенства полов в получении социальных и экономических благ и распределении политической ответственности.

Необходимо отметить, что в тех странах Восточной и Центральной Европы, которые вошли в состав Европейского союза в 2004 году, ситуация с гендерным равенством за эти годы значительно изменилась в лучшую сторону. Помимо структурных изменений в экономике и трансформации политических институтов в Восточной Европе под патронажем ЕС самую важную роль в этих изменениях играет политика *gender mainstreaming*, которая была признана одним из ключевых приоритетов ЕС во всех сферах (от образования до политики в области репродуктивных прав). При этом я хотела бы отметить, что, во-первых, именно в этом вопросе мы можем увидеть, каким образом в политике ЕС представлены традиция и программа европейских левых и социалистического феминизма, несмотря на то что в целом концепция Евросоюза изначально базировалась на приоритете экономических интересов и рыночной идеологии. Во-вторых, мы можем также видеть, какую роль играет юрисдикция (вкуче с финансовыми инструментами) Европейского союза в восточноевропейских странах, поскольку даже те национальные правительства, которые пытаются реставрировать или сохранить патриархальный *status quo* (в вопросах о домашнем насилии, правах сексуальных меньшинств, области репродуктивных прав или в сфере семейного законодательства), должны придерживаться тех норм и принципов, которые заложены в основу общеевропейской политики. Значение и эффективность мер в реализации программы утверждения равных прав и возможностей, принимаемых в ЕС, становятся особенно заметными по мере перемещения на Восток. И чем дальше на Восток, тем, к сожалению, это все более очевидно.

Несмотря на различия, которые существовали в советское время и еще более рельефно обозначились в постсоветский период, например между Азербайджаном и Туркменистаном, можно обнаружить немало общего в том, что касается разрушительных последствий распада социалистической системы распределения социальных благ, обеспечения равных возможностей в сфере политических и ре-

продуктивных прав, доступа к образованию, системе здравоохранения и многого другого для женщин и мужчин, детей и пожилых людей, а также представителей религиозных, этнических и сексуальных меньшинств¹⁴. То, что политэкономия социализма изучала как «многоукладную экономику», рассчитывая на ее скорую модернизацию, в период транзита стало еще более многоукладным в плане своей внутренней противоречивости. Самые передовые технологии используются теперь в такой системе отношений, которую было бы правильнее описать как «назад к феодализму», чем «вперед к светлому капиталистическому будущему». Сегодня бывший Красный Восток — это пространство, в котором мы можем наблюдать почти повсеместное возвращение религиозного фундаментализма и патриархата¹⁵.

Для экономистов и политологов эти обстоятельства, может быть, не имеют значения, поскольку их интересует в первую очередь динамика политических трансформаций и эффективность экономических реформ в контексте перехода от государственного социализма к рыночной экономике, но для гендерных теоретиков важнее то, что происходит за фасадом этих реформ в локальных контекстах, и каким образом эти процессы сказываются на положении женщин. По мнению Роберта Коннелла,

неолиберальная повестка дня была и остается лишь в незначительной степени повернута к проблемам гендера: она говорит на гендерно-нейтральном языке «рынков», «индивидуумов», «выбора». Но мир, в котором неолиберализм является господствующим, все равно остается гендерным миром, как и сам неолиберализм, естественно, имеет собственные имплицитные гендерные политики. Однако «индивид», основное действующее лицо неолиберальной теории, имеет качества и интересы мужчины-предпринимателя. (Коннелл, 2001: 869)

Международные организации и структуры часто не обращают внимания и стараются обходить в их отношениях с местными режимами скользкие вопросы

14. Здесь я хотела бы вспомнить о проекте «Гендерный формат», который был осуществлен при поддержке Женской сетевой программы Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в начале 2000-х гг. Этот критичный, феминистский, социально значимый проект реализовывался в течение трех лет в 12 странах. В 2000–2003 гг. постсоветский регион воспринимался западными фондами как гетерогенное, но все еще «скованное одной цепью» пространство, скрепой для которого являлись постсоветские трансформации. Сегодня мы вряд ли можем себе представить ситуацию, при которой в рамках одного исследовательского проекта (даже по гендерной тематике) могли бы на равных встретиться гендерные исследователи из Эстонии, России, Украины, Литвы, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и т. д. Думаю, это очень симптоматично, с учетом формирования тех невидимых, но почти непроницаемых границ, которые разделяют сегодня все эти страны, даже когда речь идет о сообществе гендерных исследователей, наиболее сплоченном и солидарном.

15. В этой связи было бы интересно представить, кто мог бы быть адресатом и какие выводы по сравнению с нынешней ситуацией сделали бы современные читатели книги немецкой исследовательницы Фаннины Халле «Женщины на Советском Востоке», опубликованной в 1930-е гг. (Halle, 1938), в которой она рассматривала модернизационные сдвиги в положении женщин этого региона после установления советской власти.

гендерного неравенства и усиления религиозного фактора. Кроме того, западные инвесторы извлекают из такого положения дел собственные и немалые выгоды, интересуясь в первую очередь низкой стоимостью человеческого капитала и наличием природных ресурсов.

Здесь также стоило бы отметить, что в контексте дискуссий о деколонизации очень важно соотносить происходящее сейчас в бывших советских республиках Средней Азии с теми процессами и проблемами, которые феминистские критики глобализации подвергли всесторонней критике еще несколько десятилетий назад. Сначала «процесс деколонизации разрушил гендерные иерархии колониального порядка», но «почти через полвека после основной волны деколонизации старые иерархии отлились в новые формы». Проекты модернизации, нацеленные на то, чтобы превратить страны Третьего мира в развитые государства с капиталистическим рынком, «в целом лишь ослабляют позиции женщин, в то время как возрастание неконтролируемой власти транснациональных корпораций отдает стратегическую власть в руки избранных групп мужчин» (Коннелл, 2001: 869).

В ряде бывших советских республик в Средней Азии мы можем наблюдать процесс неокolonизации: реставрация традиционного уклада жизни, вытеснение женщин в приватное пространство и многое другое происходит за фасадом политических и бизнес-проектов, которые ТНК и международные фонды реализуют в этом регионе. Феминистские теоретики давно сформулировали фундаментальные принципы критики WID (Women in Development) проектов, указав, что их единственная цель — это продвижение капитализма. Помощь женщинам Третьего мира нацелена на устранение ряда побочных негативных эффектов, появившихся в результате неолиберальной модернизации. Программы семейного планирования, помощи беременным женщинам и кормящим матерям, борьба с бедностью в развивающихся странах реализуются именно в этом направлении (Усманова, 2002).

Все вышесказанное дает возможность понять, каким образом связаны демократическая риторика, неолиберальные бюрократические процедуры и экономические и политические интересы в отношении развивающихся стран (бывшего Второго и Третьего миров).

Здесь я позволила бы себе сформулировать следующий вопрос: что означает прощание с постсоциализмом для женщин в бывших советских республиках (включая мусульманские регионы России), где «убийства чести», насилие в отношении женщин, договорные браки, раннее замужество, многоженство, невозможность получить образование и многое другое снова утвердились в качестве неоспоримой патриархальной «нормы»?

Для гендерных теоретиков из Восточной Европы (разделенных как границами, так и политиками знания, о которых шла речь выше) ответ на вопрос — «может ли история (советского) социализма все еще выступать в качестве объединяющего опыта, позволяющего говорить о некотором общем контексте, в котором развивались гендерные исследования на протяжении этого времени?» (Коуп, Минче-

ня, Сасункевич, 2017: 18) — является положительным и даже в каком-то смысле самоочевидным. Нас объединяет общая история постсоциалистических трансформаций и положение, в котором мы оказались сегодня: слишком много общего проявилось в трансформации гендерной повестки в этом регионе — «от эйфории 1990-х к антигендерной войне, объявленной гендерным исследованиям в России, Венгрии, Чехии и Польше» (Там же: 18) — и все эти тенденции заслуживают пристального внимания и анализа¹⁶.

Деколониальная оптика и детерриториализированный Восток

Я полагаю, что сегодня в дискуссиях о постсоциализме ведущую роль играет постколониальный дискурс. Он дал многим из нас язык самоописания и позволил взглянуть на постсоциалистические трансформации в критической перспективе и в глобальном контексте¹⁷.

Постколониальная теория — это, наверное, единственная теория, которая вобрала в себя исторический опыт стран Третьего мира, подвергнув критическому анализу историю империализма и колониализма во всех проявлениях (от экономической эксплуатации, расовой, гендерной и классовой дискриминации до менее очевидных, но не менее властных практик подчинения посредством языка, культуры и технологий), историю отношений между странами Второго и Третьего миров во второй половине XX века, а также историю теоретического осмысления возникавших при этом коллизий.

Одна из парадоксальных черт постколониальной теории проявляется в том, что, сформировавшись на пересечении влиятельных западных теорий — марксизма, постструктурализма (включая деконструктивизм), психоанализа и феминизма, она подверглась всесторонней критике скрытый европоцентризм этих и других научных дискурсов. Осциллируя между Востоком и Западом, она сохраняет этот критический импульс, поскольку без саморефлексии и проблематизации места познающего субъекта — как наблюдателя-исследователя, находящегося в определенной точке геополитического и академического пространства, при перемеще-

16. Здесь я цитирую вступительную статью к специальному выпуску журнала «Перекрестки», подготовленного моими коллегами к 20-летию Центра гендерных исследований Европейского гуманитарного университета. Тема номера — «Постсоциалистическое беспокойство: гендерные исследования в Восточной Европе в условиях консервативного поворота (к 20-летию ЦГИ ЕГУ)». Несмотря на юбилейный повод, номер отражает растущий пессимизм гендерных исследовательниц в отношении перспектив и возможностей для развития ГИ в период «после» постсоциализма. Авторами текстов, собранных в этом номере, являются гендерные теоретики, представляющие первое поколение постсоветских феминисток, и молодые исследовательницы, которые теперь живут и работают в Японии, Швеции, Норвегии и других странах Запада и Востока (https://ru.ehu.lt/wp-content/uploads/2017/10/CrossRoad_2017_1_2.pdf).

17. Вопрос о возможности и уместности применения теоретической оптики Subaltern Studies к анализу постсоциалистических трансформаций я рассматривала в своем тексте «Восточная Европа как новый подчиненный субъект» (Усманова, 2007), а проблему деколониального поворота (на примере Беларуси и Литвы) — в недавнем тексте «Decolonising through Postsocialist Lenses» (Ousmanova, 2020).

нии которого меняется и взгляд на объект, и характер исследуемых вопросов, — оказалась бы под вопросом ее теоретическая идентичность.

Для постколониальных теоретиков вопрос об установлении «эпистемологических связей между геокультурным положением и теоретической продукцией» (Миньоло, 2004: 184) был и остается одним из самых важных. По этой причине постколониальная теория была воспринята и получила поддержку в постсоветском пространстве в первую очередь как эпистемологическая теория — как «критика определенной парадигмы знания, которая производит колониального субъекта и формы подчиненной рациональности» (Усманова, 2007: 106). Однако уверенность постколониальных теоретиков в том, что «аполитичного знания не существует» (Mohanty, 1984: 334), была здесь понята весьма специфическим образом.

Этот дискурс стал действительно глобальным, оставаясь в центре интеллектуальных дискуссий на протяжении нескольких десятилетий и объединив теоретиков из разных стран по всему свету на основе общей теоретической платформы. Коллапс социализма дал новый толчок для ее концептуального развития и дальнейшего распространения в странах бывшего Второго мира. Я думаю, что именно географическая экспансия постколониальных исследований и применение этой оптики к изучению стран, чей исторический опыт не был колониальным в классическом значении, способствовали тому, что трансформация теории и критика собственных оснований продолжилась в рамках *деколониального поворота* (decolonizing¹⁸).

Постколониальные исследования в том виде, в котором они сформировались в 1980–1990-е годы, подверглись критике за то, что этот «возвращающий взгляд» (проецирующий западную теорию на локальные практики) в определенном смысле воспроизводил «колониальность знания», которую сам же и критиковал (Тлостанова, 2012). Между тем систематическая и последовательная критика европоцентризма и западных моделей знания должны были рано или поздно дать результаты — так, чтобы исходным основанием для рефлексии являлись не западные реалии и концепции (преподносящие себя как универсально-критические), а локальные способы самоопределения и нарративы.

Здесь я хотела бы вернуться к вопросу о методологическом национализме, поскольку в странах бывшего СССР (оставшихся за границами ЕС) мы можем теперь наблюдать своего рода «асимметричное невежество» (как это определил Дипеш Чакрабартти [Chakrabarty, 2000: 27–28]) наоборот. Сказанное и написанное где-то «там» (на Западе) часто и намеренно игнорируется в работах, единственная цель которых заключается в доказательстве самобытности автохтонной культуры. Так, в России большое количество диссертаций и публикаций посвящено проблемам «русского цивилизационного кода», «духовного склада русского народа», «циви-

18. О «деколониальном повороте» написано достаточно много. Наиболее детально и глубоко эта проблематика представлена в работах Мадины Тлостановой, одной из самых авторитетных российских деколониальных исследовательниц (см.: Тлостанова, 2009, 2012; Tlostanova, 2017).

лизационным основам духовности русского народа» и т. д. Очевидно, что подобный подход делает ненужной и даже опасной деколониальную оптику, но также не оставляет никакой возможности для минимальной критической дистанции от гегемонной идеологии. Если «объективировать» методологический национализм с точки зрения деколониального дискурса, то станет более понятным стремление к утверждению национальной точки зрения в постсоциалистических странах. Ведь место на карте — это также и определенное место в истории (Mohanty, 1984), а нация в этом контексте оказывается наиболее устойчивой (по крайней мере, в воображении) точкой опоры.

Отмечая, что «падение политического проекта Второго мира — коммунизма — стерло Восток с глобальной карты», Мартин Мюллер предлагает «вернуть Восток на карту производства знания» посредством разработки категории Глобального Востока — равного, а не подчиненного Северу и Западу (Мюллер, 2020: 22). Я же воспринимаю концепт Глобального Востока как способ описания того пространства, которое — не в географическом, а в эпистемологическом смысле — уже было нанесено на воображаемую карту и объединено общей теорией в рамках постколониального дискурса.

Возможно, ценность и своевременность предлагаемой Мюллером идеи о Глобальном Востоке заключается в том, чтобы вернуть Другого в поле зрения тех исследователей из Восточной Европы, которые не используют деколониальную оптику в своих исследованиях. Подход Мюллера можно также интерпретировать как попытку де- и реконструирования того образа Другого, на котором базировался установившийся после 1989–1991 годов новый мировой порядок. Впрочем, правильнее было бы говорить об образе *новых Других*, разделенных и сегрегированных, локализованных и изолированных друг от друга, в том числе и посредством доминирующих теоретических дискурсов. Не исключено, что «Глобальный Восток» сможет утвердиться как космополитическая альтернатива (У. Бек) методологическому национализму, что позволило бы высвободить «условный» Восток не только из территориальной ловушки, но и из идеологической.

Postscriptum

В рамках данного текста я попыталась прояснить, каким образом политика влияет на академические исследования и в какой мере гегемонные идеологические дискурсы проявляют себя в идеологиях теорий. Произошедший на наших глазах консервативный поворот в постсоциалистическом пространстве обязывает социальных теоретиков быть более внимательными к собственной эпистемологической позиции, чтобы понимать — остаемся ли мы автономными агентами высказывания, когда отказываемся от термина «постсоциализм», используя вместо него понятие «Глобальный Восток»?

Не предлагая реанимировать постсоциализм, я тем не менее хотела бы сказать следующее. «Прощай, постсоциализм!» — это важный и назревший для социаль-

ных исследователей призыв, но он не выглядит однозначным в ситуации, когда политики многих стран Восточной Европы и бывшего Второго мира с удвоенной энергией пытаются изгнать призраков социализма (Деррида, 2006; Ousmanova, 2018) как из публичной сферы (в рамках политики десоветизации и декоммунизации), так и из актуального политического словаря¹⁹.

Термин «постсоциализм» грамматически удерживает в себе не только завершившееся прошлое, но и идею альтернативного социального устройства. «Социализм хоть и не был одновалентным, разделял общие идеи: честные зарплаты, перераспределение, социальная справедливость, защита семьи и гендерное равенство. Многие из левых согласятся, что эти идеи формировали часть политической повестки, достойную продолжения» (Мюллер, 2019). А так как «нет социализма после постсоциализма», получается, что нет необходимости даже вспоминать о том, что капитализм — не единственная система и что были, могли быть или могут быть другие альтернативы. Устраняя означаемое, мы устраняем и его референта.

Осталось только выяснить, в рамках каких дискурсов мы сможем рассуждать о том, *что это было*, если *этого* больше нет, и *коль скоро* нам *дозволяется* больше не думать об *этом*? Если есть только *настоящее*, в котором быстро стираются уже не столь отчетливые следы пост/социалистического прошлого вместе с теориями, которые пытались его объяснить.

Литература

- Бек У. (2012). Жизнь в мировом обществе риска: космополитический поворот // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. № 5. С. 35–52.
- Бек У. (2001). Что такое глобализация? / Пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника под общ. ред. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция.
- Гройс Б. (2007). Постскрипtum к «коммунистическому постскриптуму» // Художественный журнал. № 65–66. URL: <http://moscowartmagazine.com/issue/26/article/436> (дата доступа: 10.08.2020).
- Дадашева К. (2003). Азербайджан // Люди и роли: гендерный формат: Материалы программы «Гендерная политика и СМИ» на постсоветском пространстве. СПб.: Изд-во журнала «Звезда».
- Деррида Ж. (2006). Призраки Маркса: государство долга, работа скорби и новый Интернационал / Пер. с франц. Б. Скуратова под ред. Д. Новикова М.: Logos-altera.

19. Убедиться в том, что академия следует в фарватере политических идеологий, можно с помощью множества примеров; здесь приведу лишь один из них. В 2013 году литовские европарламентарии заявили, что такого понятия, как «постсоветское пространство» больше не существует: «Мы до сих пор используем термин „постсоветское пространство“, в то время как после развала Советского Союза прошло более 20 лет. В Армении, Молдове, Украине выросло новое поколение, которое знает об СССР из книг и рассказов родителей. Нет постсоветского пространства, постнацистского пространства, постфранкистского пространства. Там живут свободные люди, которые хотят быть частью мира» (<https://ru.delfi.lt/news/es/evrodeputat-ot-litvy-postsovetskogo-prostranstva-bolshe-ne-suschestvuet.d?id=62255915>).

- Коннелл Р. (2001). Маскулинности и глобализации / Пер. с англ. Я. Боцман // *Жеребкин С.* (ред.). Введение в гендерные исследования. Часть II: Хрестоматия. Санкт-Петербург: Алетейя. С. 851–879.
- Коуп Б., Минченя Е., Сасункевич О. (2017). Введение: три редакторских голоса о прошлом и настоящем гендерных исследований // *Перекрестки*. № 1–2. С. 10–24.
- Мамедов Г. (2016). Почему нас интересует советское // *Открытая левая*. 26 февраля. URL: <http://openleft.ru/?p=7926> (дата доступа: 10.08.2020).
- Миньоло В. (2004). Оксидентализм, колониальность и подчиненная рациональность с префиксом «пост» // *Перекрестки*. № 1–2. С. 161–197.
- Мюллер М. (2019). Прощай, постсоциализм! / Пер. с англ. Е. Жаворонковой. URL: https://doxajournal.ru/stadis/goodbye_postsocialism (дата доступа: 10.08.2020).
- Мюллер М. (2020). Разыскивая Глобальный Восток: мышление между Севером и Западом / Пер. с англ. Д. Безуглова // *Социологическое обозрение*. Т. 19. № 3. С. 19–43.
- Нейра Ф. (2015). Сумеречное воображение: вымысел, миф и иллюзия / Пер. с франц. М. Бендет // *Логос*. Т. 25. № 3. С. 179–196.
- Сосновская О., Борисенок А. (2017). Бывший Запад и Новый Восток // *Художественный журнал*. № 101. URL: <http://moscowartmagazine.com/issue/55/article/1126> (дата доступа: 10.08.2020).
- Глостанова М. (2009). Деколониальные гендерные исследования. М.: Маска.
- Глостанова М. (2012). Постколониальная теория, деколониальный выбор и освобождение эстетизиса // *Человек и культура*. № 1. С. 1–64.
- Трубина Е. Г. (2002). О соотношении глобального и локального в циркуляции социального знания // *Социемы*. № 8. С. 62–78.
- Усманова А. (2002). Критические «интеллектуалы» и культурная политика в эпоху глобализации // *Гендерные исследования*. № 7–8. С. 45–75.
- Усманова А. (2007). Восточная Европа как новый подчиненный субъект // *Шпарага О.* (ред.). Европейская перспектива для Беларуси: интеллектуальные модели. Вильнюс: ЕГУ. С. 105–138.
- Chakrabarty D. (2000). *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton: Princeton University Press.
- Featherstone M. (1995). *Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and Identity*. L.: SAGE.
- Frankel M. S., Cave J. (1997). Introduction // Frankel M. S., Cave J. (eds.). *Evaluating Science and Scientists: An East-West Dialogue on Research Evaluation in Post-Communist Europe*. Budapest: CEU Press. P. 1–6.
- Ghodsee K. (2014). A Tale of Two Totalitarianisms: The Crisis of Capitalism and the Historical Memory of Communism // *History of the Present*. Vol. 4. № 2. P. 115–142.
- Ghodsee K. R. (2019). *Second World, Second Sex: Socialist Women's Activism and Global Solidarity during the Cold War*. Durham: Duke University Press.

- Ghodsee K. R.* (2018). *Why Women Have Better Sex under Socialism: And Other Arguments for Economic Independence*. L.: The Bodley Head.
- Halle F.* (1938). *Women in the Soviet East*. L.: Martin Secker & Warburg.
- Haraway D.* (1988). *Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspectives* // *Feminist Studies*. Vol. 14. № 3. P. 575–599.
- Humphrey C.* (2001). Does the Category of Postsocialism Still Make Sense? // *Hann C.* (ed.). *Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia*. L.: Routledge. P. 12–15.
- Jameson F.* (1988). *The Ideologies of Theory: Essays 1971–1986*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Mignolo W. D.* (2012). *Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking*. Princeton: Princeton University Press.
- Mohanty Ch. T.* (1984). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses // *boundary 2*. Vol. 12. № 3. P. 333–358.
- Ousmanova A.* (2003). On the Ruins of Orthodox Marxism: Gender and Cultural Studies in Eastern Europe // *Studies in East European Thought*. Vol. 55. № 1. P. 37–50.
- Ousmanova A.* (2009). Passions over Europe: Eurovision as a Political and Cultural Phenomenon // *Kimminich E.* (Hrsg.). *Utopien, Jugendkulturen und Lebenswirklichkeiten: Ästhetische Praxis als politisches Handeln*. Frankfurt: Peter Lang. S. 55–70.
- Ousmanova A.* (2018). Jacques Derrida on The Territory of Ghosts // *ATHENA: Journal of Philosophical Studies*. № 13. P. 96–123.
- Ousmanova A.* (2020). Decolonising through Postsocialist Lenses // *Smith M.* (ed.). *Decolonizing: The Curriculum, the Museum, and the Mind*. Vilnius: National Art Academy. P. 136–161.
- Saifullayeu A.* (2017). Peripheral Challenges: An Interview with Jan Sowa // *Obóz*. May. P. 49–62.
- Spivak G. Ch.* (1995). In the New World Order: A Speech // *Callari A., Cullenberg S., Biewener C.* (eds.). *Marxism in the Postmodern Age. Confronting the New World Order*. L.: Guilford Press. P. 89–100.
- Tlostanova M.* (2017). *Postcolonialism and Postsocialism in Fiction and Art: Resistance and Re-existence*. L.: Palgrave Macmillan.

The Debats on Post-Socialism and the Politics of Knowledge in the Space of the Plural “Post’s”

Almira Ousmanova

Professor, Department of Social Sciences, European Humanities University

Address: Savičiaus g. 17, Vilnius, LT-01126

E-mail: almira.ousmanova@ehu.lt

In this article I focus on how the politics of knowledge, have being shaped in a world without socialism, can be also considered as a space of multiple “post’s”. Social researchers from the

post-socialist region strive to return their countries onto the map and to identify their place in history, while applying different conceptual approaches based on different ideological premises. Meanwhile, all of these theoretical frameworks are not neutral in their relation to hegemonic discourses. Here I address the methodological nationalism, gender studies, and de-colonial discourse as the examples of “engaged knowledge”, while considering them as the most influential interpretative models among those that have become established in the post-socialist space after 1991, on the ruins of orthodox Marxism. What interests me most of all is the epistemological and political effects that they produce when they are applied to the analysis of the post-“post-socialist condition”. I argue that, depending on the interpretative optics, we might get quite different answers to such questions as whether the time has come to say “Goodbye, post-socialism!”, or to which extent the “Global East” can be considered as a useful category of analysis in the given circumstances. What I understand here by the ‘space of multiple “post’s”, is, firstly, a territory that, after the collapse of socialism, was inscribed into a new spatial constellation, but still continues to search for its place on the geopolitical map of the world and remains very sensitive to the politics of naming; secondly, I invoke it as a space of epistemological heteroglossia, that is, the one in which various ways of conceptualizing both the recent past and the actual present continue to compete with each other.

Keywords: politics of knowledge, socialism, post-socialism, feminism, methodological nationalism, marxism, West, East, Other

References

- Beck U. (2001) *Chto takoe globalizatsiya?* [What is Globalization?], Moscow: Progress-Traditsiya.
- Beck U. (2012) Zhizn v mirovom obshestve riska: kosmopoliticheskii povorot [Living in the Global Risk Society: The Cosmopolitan Turn]. *Moscow University Bulletin. Series 12. Political Science*, no 5, pp. 35–52.
- Chakrabarty D. (2000) *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*, Princeton: Princeton University Press.
- Connell R. W. (2001) Maskulinnosti i globalizatsiya [Masculinities and Globalization]. *Vvedenie v gendernye issledovaniya. Chast 2: Hrestomatiya* [Introduction to Gender Studies, Part 2: Reader], Saint Petersburg: Aleteya, pp. 851–879.
- Cope B., Minchenya E., Sosunkevitch O. (2017) Vvedenie: tri redaktorskih golosa o proshlom i nastoyashem gendernyh issledovanii [Introduction: Three Editor's Voices about the Past and the Present of Gender Studies]. *Perekrestki*, no 1-2, pp. 10–24.
- Dadasheva K. (2003) Azerbaidzhan [Azerbaijan]. *Lyudi i roli: genderny format* [People and Roles: Gender Format], Saint Petersburg: Zvezda.
- Derrida J. (2006) *Prizraki Marksa: gosudarstvo dolga, rabota skorbi i novyi Internatsional* [Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International], Moscow: Logos-Alterra.
- Featherstone M. (1995) *Undoing Culture: Globalization, Postmodernism and Identity*, London: SAGE.
- Frankel M. S., Cave J. (1997) Introduction. *Evaluating Science and Scientists: An East-West Dialogue on Research Evaluation in Post-Communist Europe* (eds. M. S. Frankel, J. Cave), Budapest: CEU Press, pp. 1–6.
- Ghodsee K. (2014) A Tale of Two Totalitarianisms: The Crisis of Capitalism and the Historical Memory of Communism. *History of the Present*, vol. 4, no 2, pp. 115–142.
- Ghodsee K. R. (2018) *Why Women Have Better Sex under Socialism: And Other Arguments for Economic Independence*, London: The Bodley Head.
- Ghodsee K. R. (2019) *Second World, Second Sex: Socialist Women's Activism and Global Solidarity during the Cold War*, Durham: Duke University Press.
- Groys B. (2007) Postscriptum k “kommunisticheskomu postscriptumy” [Postscriptum to the Communist Postscriptum]. *Khudozhestvenny Zhurnal*, no 65–66. Available at: <http://moscowartmagazine.com/issue/26/article/436> (accessed 15 July 2020).
- Halle F. (1938) *Women in the Soviet East*, London: Martin Secker & Warburg.

- Haraway D. (1988) Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspectives. *Feminist Studies*, vol. 14, no 3, pp. 575–599.
- Humphrey C. (2001) Does the Category of Postsocialism Still Make Sense?. *Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia* (ed. C. Hann), London: Routledge, pp. 12–15.
- Jameson F. (1988) *The Ideologies of Theory: Essays 1971–1986*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Mamedov G. (2016) Pochemu nas interesuet sovetskoe? [Why are We So Interested in the Soviet]. *Otkrytaya levaya*, February 26. Available at: <http://openleft.ru/?p=7926> (accessed 15 July 2020).
- Mingolo W. D. (2004) Oksidentalizm, kolonialnost i podchinennaya ratsionalnost s prefiksom “post” [Occidentalism, Coloniality and Subaltern Rationality with the Prefix “Post”]. *Perekrestki*, no 1–2, pp. 161–197.
- Mignolo W. D. (2012) *Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking*, Princeton: Princeton University Press.
- Mohanty Ch. T. (1984) Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses. *boundary 2*, vol. 12, no 3, pp. 333–358.
- Müller M. (2019) Proshai, postsotsializm! [Goodbye Postsocialism!]. Available at: https://doxajournal.ru/stadis/goodbye_postsocialism (accessed 15 July 2020).
- Müller M. (2020) Razyskivaya Globalny Vostok: myshlenie mezhdru Severom i Zapadom [In Search of the Global East: Thinking Between North and South]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 19–43.
- Neyrat F. (2015) Sumerechnoe voobrazhenie: vymysel, myf i illusia [Twilight Imagination: Fiction, Myth, and Illusion]. *Logos*, no 3, pp. 179–196.
- Ousmanova A. (2002) Kriticheskie intellektualy i kulturnaya politika v epohu globalizatsii [Critical Intellectuals and Cultural Politics in the Era of Globalization]. *Gendernye issledovaniya*, no 7–8, pp. 45–75.
- Ousmanova A. (2003) On the Ruins of Orthodox Marxism: Gender and Cultural Studies in Eastern Europe. *Studies in East European Thought*, vol. 55, no 1, pp. 37–50.
- Ousmanova A. (2007) Vostochnaya Evropa kak novyi podchinenniy subject [Eastern Europe as the New Subaltern Subject]. *Evropeiskaya perspectiva dlya Belarusi: intellektualnye modeli* [European Perspective for Belarus: Intellectual Models] (ed. O. Schparaga), Vilnius: EHU, pp. 105–138.
- Ousmanova A. (2009) Passions over Europe: Eurovision as a Political and Cultural Phenomenon. *Utopien, Jugendkulturen und Lebenswirklichkeiten: Ästhetische Praxis als politisches Handeln* (ed. E. Kimminich), Frankfurt: Peter Lang, pp. 55–70.
- Ousmanova A. (2018) Jacques Derrida on The Territory of Ghosts. *ATHENA: Journal of Philosophical Studies*, no 13, pp. 96–123.
- Ousmanova A. (2020) Decolonizing through Postsocialist Lenses. *Decolonizing: The Curriculum, the Museum, and the Mind* (ed. M. Smith), Vilnius: National Art Academy, pp. 136–161.
- Saifullayev A. (2017) Peripheral Challenges. An Interview with Jan Sowa. *Obóz*, pp. 49–62.
- Sosnovskaya O., Borisyonok A. (2017) Byvshii Zapad i Novyi Vostok [Former West and New East]. *Khudozhestvenny Zhurnal*, no 101. Available at: [\[http://moscowartmagazine.com/issue/55/article/1126\]](http://moscowartmagazine.com/issue/55/article/1126) (accessed July 15 2020).
- Spivak G. Ch. (1995) In the New World Order: A Speech. *Marxism in the Postmodern Age. Confronting the New World Order* (eds. A. Callari, S. Cullenberg, C. Biewener), London: Guilford Press, pp. 89–100.
- Tlostanova M. (2009) *Decolonialnye gendernye issledovaniya* [Decolonial Gender Studies], Moscow: Maska.
- Tlostanova M. (2012) Postcolonialnaya teoriya, dekolonialnyi vybor i osvobozhdenie estezisa [Postcolonial Theory, Decolonial Choice and Freeing of Aesthetics]. *Chelovek i kultura*, no 1, pp. 1–64.
- Tlostanova M. (2017) *Postcolonialism and Postsocialism in Fiction and Art. Resistance and Re-existence*, London: Palgrave Macmillan.
- Trubina E. (2002) O sootnoshenii globalnogo i localnogo v tsirkulyatsii sotsialnogo znaniya [On the Relations between Global and Local in the Circulation of Social Knowledge]. *Sotsiemy*, no 8, pp. 62–78.

Восток внутри «Востока»? Центральная Азия между «стратегическим эссенциализмом» глобальных символов и тактическим эссенциализмом национальных нарративов*

Нари Шелекпаев

PhD, доцент, факультет истории, Европейский университет в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Гагаринская, д. 6/1 литера А, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 191187
E-mail: nshelekpaev@eu.spb.ru

Аминат Чокобаева

PhD, постдок, Назарбаев Университет
Адрес: пр. Кабанбай батыра, 53, г. Нур-Султан, Казахстан 010000
E-mail: aminat.chokobaeva@nu.edu.kz

В своей статье «Разыскивая Глобальный Восток: мышление между Севером и Югом» Мартин Мюллер предлагает ряд радикальных, хотя и не новых, мыслей о роли, которую постсоциалистические страны играют в современном мире, их восприятии, а также производстве знания о самих себе в этих странах. Данная статья является ответом на текст Мюллера и размышлением над историографией Центральной Азии — составной части «Глобального Востока». В первом разделе этого текста мы разберем собственно подход Мюллера и объясним, почему он кажется нам проблематичным с исторической точки зрения. Во втором сфокусируемся на производстве «внешнего» и «внутреннего» знания о Центральной Азии и предложим ответную парадигму — «тактический эссенциализм» — которая, как нам кажется, лучше всего описывает производство исторических нарративов в регионе на настоящий момент. Несмотря на различия между двумя понятиями, нам представляется, что «стратегический» и «тактический» эссенциализм по сути являются проявлениями одного и того же процесса — а именно попытками вытеснения советского прошлого из этоса постсоциалистических исследователей (либо его замещения другими нарративами).

Ключевые слова: «Глобальный Восток», Центральная Азия, Советский Союз, постсоветское пространство, транснационализм, национализм(ы), историография

В своей статье «Разыскивая Глобальный Восток: мышление между Севером и Югом» Мартин Мюллер предлагает ряд радикальных, хотя и не новых (Chion-Moore, 2001; Mignolo, 2014; Tlostanova, 2015; Gille, 2016), мыслей о роли, которую постсоциалистические страны играют в современном мире, их восприятии, а также производстве знания о самих себе в этих странах. Данная статья является ответом на текст Мюллера и размышлением над историографией Центральной

* Авторы сотрудничали в работе над текстом в равной степени. Мы выражаем благодарность Елене Трубиной и Мартину Мюллеру за возможность написать эту статью. Спасибо Александру Моррису за ценные комментарии к ее первоначальной версии.

Азии — составной части «Глобального Востока» (Müller, 2018: 5). Мы не претендуем на то, чтобы предложить читателю развернутую интерпретацию всех существующих исследований об этом регионе. Скорее, это субъективный взгляд, который проблематизирует взаимодействие «внутреннего» и «внешнего» знания, его роль в конструкции и локализации региона, а также его место в мире в постсоветскую эпоху. Многие из аспектов, которые будут затрагиваться в этом тексте, уже поднимались другими исследователями (Adams, 2007; Abashin, 2015; Cameron, 2018: 185; Кудайбергенова и др., 2019). Наше эссе попытается обобщить и критически переосмыслить существующие дискуссии в связи с проектом «Глобального Востока», предлагаемого Мюллером.

Прежде чем перейти к обсуждению основной темы, попробуем суммировать наше понимание основных тезисов текста Мюллера. Их суть, по нашему мнению, сводится к следующему: с конца холодной войны, когда закончилось противостояние между «западным» и «восточным» блоками, на месте последнего образовалась пустота, которая располагается вне эпистемологических пределов и коннотаций, связанных с «Глобальным Севером» и «Глобальным Югом». Автор предлагает вернуть «Восток» на ментальную карту исследователей с помощью акцента на связях и заимствованиях, которые существовали между бывшим восточным блоком и остальным миром в эпоху холодной войны. Это, в свою очередь, позволит переосмыслить границы между частями мира, которые, в силу остаточной оптики холодной войны, все еще продолжают мыслиться как монады. В целом мы разделяем призыв Мюллера об инклюзивности, необходимости транснационального подхода и критической рефлексии о месте «востока» в ментальных картах исследователей. Вместе с тем некоторые предложения этого проекта — главным образом то, что Мюллер называет «стратегическим эссенциализмом» в отношении «востока» — требуют дальнейшего критического осмысления.

В первой части этого текста мы разберем собственно подход Мюллера и объясним, почему он кажется нам проблематичным с исторической точки зрения. Во второй сфокусируемся на производстве «внешнего» и «внутреннего» знания о Центральной Азии и предложим ответную парадигму — «тактический эссенциализм» — которая, как нам кажется, лучше всего описывает производство исторических нарративов в регионе в настоящий момент. Несмотря на различия между двумя понятиями, нам представляется, что «стратегический» и «тактический» эссенциализм по сути являются проявлениями одного и того же процесса — а именно попытками вытеснения советского прошлого из этоса постсоциалистических исследователей (либо его замещения другими нарративами). Разница при этом состоит в том, что Мюллер предлагает переосмыслить символическую географию постсоциалистического «востока» в настоящем для достижения результатов в будущем, в то время как центрально-азиатские историки фокусируются по большей части на до- и постсоветском прошлом, что сулит им наибольший символический капитал в настоящем.

«Стратегический эссенциализм» и его возможности

Прежде чем говорить о «востоке», целесообразно начать с обсуждения воображаемых регионов, которые Мюллер трактует как антиподы, сложившиеся по умолчанию после холодной войны, — «Глобального Севера», в котором находятся страны Западной Европы, Северной Америки, а также Австралия и Япония, и «Глобального Юга», куда входят страны Африки, Латинской Америки и «большинство стран Азии» (Müller, 2018: 1).

В данной архитектуре «Глобальному Северу», который Мюллер определяет как «эпистемологическую категорию», а не фиксированную территорию, отводится ведущая роль (Ibid.: 10). Именно «север» производит большую часть знания о себе и о других частях мира. Там, где «Север» не в состоянии контролировать производство знания, он кооптирует людей, которые становятся составной частью его интеллектуальной индустрии (Ibid.: 9). Наконец, даже в тех случаях, где знание о других частях мира становится элементом северного контекста, всегда существует риск карикатуризации, выхолащивания (Ibid.: 9), или (само)цензуры. Все эти феномены, вероятно, имеют место быть. Вопрос для нас, однако, состоит в том, как именно следует трактовать агентность «Глобального Севера». Иначе говоря, в какой мере гегемония «северного» знания над остальным миром является продуктом его внутренней организации, а в каком — следствием подлинных или воображаемых контуров, о которых пишет Мюллер?

Возьмем, например, науку и образование. Производство знания имеет к ним прямое отношение, поэтому пример будет уместным. В самом «Глобальном Севере» есть ряд стран, например Ирландия или Португалия, которые, хотя и относятся к «северу» по умолчанию, являются периферийными с точки зрения научной и образовательной индустрии. Мы несколько не сомневаемся, что в этих странах есть талантливые исследователи, но, если верить наукометрическим показателям, вклад этих стран в науку в целом уступает Индии или России (Scimago Institutions, 2019). Более того, внутренние периферии и «места, которых нет на карте» существуют не только внутри «Глобального Севера» как такового, но и внутри отдельных «северных» стран. В США, например, большинство значимых научных исследований производится на северо-востоке и на западном побережье страны, где располагаются большинство хорошо оснащенных частных университетов и исследовательских центров (Artz, Murphy, 2000: 289). Остальные штаты, за рядом исключений, являются периферией этих высокоразвитых регионов. Схожая ситуация наблюдается во Франции, где Париж столетиями доминирует над научной и культурной жизнью страны, и в ряде других стран Западной Европы и Северной Америки (Petitjean, Jami, Moulin, 1992: 232; ESPON, 2017). Поиски объяснения этой ситуации требуют выхода за хронологические пределы холодной войны и осмысления истории довоенной эпохи, когда внешняя и внутренняя колонизация разделили мир на центры и периферии (Braudel, 1979; Wallerstein, 1979; Эткинд, 2013). Нелишним будет напомнить, что сама территориализация мира, которая предпо-

лагала его *разделение*, — кристаллизовалась как глубоко имперское занятие, которое нередко использовало географические инструменты в ущерб субъектам их репрезентаций (Akerman, 2017).

Что касается «Глобального Юга», то его дефиниция в тексте Мюллера расплывчатая (Müller, 2019: 1). Определяя «юг», Мюллер фокусируется на колониальном прошлом и «маргинальности», на разделении между «богатыми и бедными», а также на исследовании тропов, которые связаны с конструкцией ментальных категорий, относящихся к «югу» (Ibid.: 5). Но не является ли подобная «стратегическая» расплывчатость упущенной возможностью?

Обратимся к примеру Китая, чье место в тексте Мюллера остается неясным. Еще в конце XX века многие исследователи относили Китай к «Глобальному Югу» (Segal, 1999: 25; Xiaobo, Zhang, 2003). Сегодня, подобная классификация кажется менее убедительной. По ряду показателей, таких как ВВП, а также инвестиции в науку и количество научных публикаций, Китай занимает ведущие позиции в мировых рейтингах (Hale, Hale, 2003; Zhou, Leydesdorff, 2006). В Азии схожая динамика может быть прослежена в Южной Корее и Сингапуре. Необходимо отметить, что в прошлом Китай, Сингапур и Южная Корея имели те же проблемы, что и страны нынешнего «Глобального Юга» (Clare et al., 1968; Lee, 1998). Более того, социоэкономическая ситуация Китая, скажем, в 1960-х годах была значительно хуже, чем во многих странах Африки и Латинской Америки в аналогичный период (Aird, 1968; Hofman, 2000: 30; Iliffe, 2007). Китай, однако, постепенно превратился в страну, которая по ряду показателей является частью «Глобального Севера», в то время как некоторые страны Африки и Латинской Америки за последние 40 лет стали еще более «южными». Но если пример Китая может убедить не всех, потому что он является авторитарным государством, то Южная Корея — это образец не только успешного социоэкономического развития, но и трансформации политического режима из авторитарного в демократический (Pop-Eleches, Robertson, 2014: 8). Сингапур также является частью «востока», бывшей колонией и авторитарной страной, но отнести ее к «Глобальному Югу», используя терминологию Мюллера, сложно. Сингапур — высокоразвитое государство с высоким качеством жизни и привлекательное место для туристов, инвесторов и экспатов. Таким образом, становится очевидным, что Китай, Южная Корея и Сингапур, если следовать проекту Мюллера, не являются ни частью «Глобального Севера» (потому что не признаются таковыми другими «северными» странами), ни частью «Глобального Юга» (потому что не являются бедными и не позиционируют себя как постколониальные), ни частью воображаемого «востока» (потому что *присутствуют* в мире). По-видимому, эти страны потребуют отдельной эпистемологической категории. Те же самые размышления, с рядом оговорок, применимы и к странам Персидского залива в XXI веке. Непонятно не только, к какому «глобальному» региону их относить, но и какие базовые принципы следует использовать для той или иной классификации. Текст Мюллера оставляет все эти вопросы без внятного ответа.

Но и страны, которые можно отнести к «Глобальному Югу» с большей уверенностью, исходя из текста Мюллера, также не гомогенны. Возьмем Южную Америку. Мюллер отмечает, что Бразилия более притягательна, чем страны «востока», и что чилиец Варгас Льоса более известен в мире, чем Светлана Алексиевич (Müller, 2019: 5). Посыл понятен, но стоит ли принимать как валидное отнесение Бразилии и Чили, с их разными языками, историей и траекторией развития, к одной и той же категории «юга»? Не следует ли подвергнуть сомнению сам принцип категоризации? Цель нашей критики в данном случае состоит не только в том, чтобы вскрыть концептуальные натяжки в тексте Мюллера (Sartori, 1970). Более важным для нас является демонстрация того факта, что (вос)производство категорий как таковое, даже если оно продиктовано желанием инклюзии (т. е. благородными намерениями), может привести в лучшем случае к их дроблению и дифференциации. Вряд ли, однако, оно будет способно решить вопрос о генеалогии и практиках эксклюзии, которые лежат в основе слабого присутствия постсоциалистического «востока» на географической или эпистемологической картах. Вопрос, ранее рассматривавшийся в отношении стран «Глобального Севера» и Китая, в данном контексте не менее актуален. Попытки определить, в каком геополитическом лагере находится страна, требуют оценки, не только основанной на «глобальной циркуляции знаков» (Müller, 2019: 3), но и включающей «длинную» динамику развития тех или иных политик и их возможностей для производства этих знаков (т. е. диахронический, а не синхронный подход). Ибо «глобальная циркуляция знаков» это, по сути, фикция. Ее невозможно измерить никакими опровержимыми инструментами.

Обозначив проблематичность категорий «севера» и «юга», которые служат базовыми точками отсчета для текста Мюллера, перейдем к «востоку» как таковому. Мюллер уточняет, что для него «восток» это скорее «эпистемологический» термин (Müller, 2019: 10). Географически такой подход объединяет страны бывшего СССР и Югославии, а также страны бывшего Восточного блока, входившие в зону влияния Советского Союза. В целом подобная классификация является логичной, но она вызывает ряд сомнений с точки зрения существующих геополитических трендов. С политической точки зрения даже с момента распада СССР, Восточного блока и бывшей Югославии, страны, которые были их составной частью, оказались вовлечены в разные, по большей части центробежные, межгосударственные и социокультурные процессы.

Большая часть стран Восточного блока, а также Словения и страны Балтии стали частью Европейского союза. Это сыграло фундаментальную роль как в восприятии гражданами этих стран себя и своих национальных проектов, так и их в мире. Разумеется, геополитический сдвиг не означал *автоматических* изменений во всех остальных сферах, но он преподносился именно так большинством официальных нарративов и в ряде публичных дискурсов (Blair, 2004; Trichet, 2004; Sjursen, 2006; Cameron, 2007; Babiš, 2019). В 2018 году ВВП на душу населения в Словении был выше, чем в Португалии, и значительно опережал страны бывше-

го СССР (International Monetary Fund, 2019). В сфере образования и науки ученые из Восточной Европы активно стремятся стать частью западноевропейской и евроатлантической академии. Все большее их число успешно публикуется и входит в редколлегии англоязычных журналов.

Россия, в свою очередь, пыталась запустить на территории бывшего СССР собственные проекты, которые воспринимались как попытка реанимировать Советский Союз (Аккулы, 2010; Bulough, 2014), «новый» имперский проект (Рубцов, 2016), конгломерат взаимосвязанных геоэкономических и геополитических инициатив (Kirkham, 2016; Котляков, Шупер, 2019), инициатива о региональной безопасности (Matveeva, 2013; Kuhrt, 2014) и даже «возврат к себе самой» (Тренин, 2019). Стоит отметить, что после аннексии Крыма внешняя политика России стала восприниматься как все более угрожающая в странах бывшего СССР и Восточного блока (Ambrosio, 2017; Cohen, 2019). Внутри российской академии не существует однозначного мнения в отношении интеграции с другими странами. В то время как все большее количество российских ученых публикуется в международных изданиях и сотрудничает с иностранными университетами, часть исследователей продолжают ориентироваться на российскую систему образования и науки. Более того, в 2020 году академик РАН Валерий Тишков, например, заявил, что «основной язык российской гуманитарной науки — это русский» и что «публикация в западных научных журналах работ российских гуманитариев практически невозможна из-за геополитических противостояний и антироссийской заангажированности значительной части зарубежной научной общественности» (Тишков, 2020).

У стран Центральной Азии, в свою очередь, также существовала собственная траектория развития, по крайней мере с середины 1990-х годов. С этого момента в них начались различные интеграционные процессы, которые до настоящего времени не принесли видимых результатов в силу институциональных причин (Dadabayev, 2010; Azizov, 2017), авторитарных и непрозрачных режимов внутри региона (Stronski, 2018) и внешней конъюнктуры (Rakhimov, 2010). Как показал визит госсекретаря США в страны Центральной Азии, состоявшийся в 2020 году, регион в целом продолжает восприниматься внешними игроками инструментально: его важность определяется не собственно интересами населяющих его людей, а скорее, исходя из соображений политического «баланса», формируемых на основе внешнего знания о потребностях региона. Сами страны Центральной Азии выбрали разные траектории: в то время как Казахстан сделал ставку на евразийскую интеграцию и сближение с Россией (которая пришла на смену пантюркизму в конце 1990-х годов) и международные имиджевые проекты, Туркменистан выбрал путь нейтралитета и относительной изоляции. Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан в силу социоэкономических причин стали поставщиками рабочей силы для стран бывшего СССР. Их экономики функционируют во многом за счет заработка трудовых мигрантов (в случае Узбекистана к этому прибавляются доходы от туризма и экспорта газа и хлопка). Следует отметить, что Кыргызстан стал единственной страной в постсоветской Центральной Азии, где с помощью

регулярных выборов была достигнута сменяемость власти. В плане образования и науки с 1990 года в Центральной Азии также произошли большие изменения. С одной стороны, регион стал частью глобального тренда на неолиберализацию образования и академических исследований: во многих случаях образование стало платным, а государство продолжает финансировать лишь некоторые направления, которые кажутся им приоритетными. С другой стороны, образование в Центральной Азии оказалось полем вмешательства и взаимодействия, а также местом циркуляции идей, идеологий и финансовых потоков. В ряде случаев спонсорами выступали внешние акторы, в других — сами страны региона, которые пытались внедрить модернизацию по западному образцу или улучшить имидж страны (Aga Khan Development Network, 2016; Sabzalieva, 2015, 2017). Таким образом, с политико-экономической точки зрения Центральная Азия, как и весь бывший Восточный блок, в XXI веке являются пространством для реализации разнонаправленных проектов и идеологий.

С социокультурной точки зрения проект «Глобального Востока» может иметь свои подводные камни. Возьмем, например, аспект языка. Проект Мюллера обращен к академической среде, поэтому логично будет спросить: на каком языке, не в политическом, а в физическом смысле, будут говорить и читать друг друга исследователи из «Глобального Востока»? Напрашиваются две опции: английский и русский. С английским ситуация понятна: те, кто владеет им в достаточной степени, имеет шансы стать частью глобальной академии. У остальных возможностей меньше: круг конференций, на которых можно представить свои исследования, оказывается сужен. Остаются местные издания, но их охват значительно уже «международных» (читай, англоязычных). В начале статьи Елены Трубиной и ее соавторов «Часть мира вдали от мира? Постсоциалистический восток в геополитике знания» приводится пример ученого Богдана Воскрещенского из вымышленной страны Молвания, статья которого была отвергнута престижным журналом из-за «недостаточного количества ссылок на современные работы, логических нестыковок, а также стилистических погрешностей» (Trubina et al., 2020). Как мы видим, недостаточное владение английским языком сыграло в этой грустной, но столь типичной истории несуществующего ученого не последнюю роль.

Другой опцией является русский язык. С одной стороны, в России было и по-прежнему все больше авторитетных академических и научных изданий и значимых международных конференций. С другой — ряд высококвалифицированных изданий, таких как журнал «Ab Imperio», принимают публикации не только на русском языке. Кроме того, многие концепты, которые изобретаются на Западе, становятся доступными для исследователей из бывшего СССР не напрямую, а в русском переводе. В результате Россия выступает своего рода агентом западной интеллектуальной гегемонии в тех странах, где русский язык, в силу постсоветской инерции, остается языком образования и преподавания. Однако русскому, как и прочим европейским языкам, кроме английского, препятствует общая неолиберализация науки как таковой. При наличии выбора ученые предпочитают публиковаться на

английском, потому что это сулит большую цитируемость. Таким образом, русский является скорее нишевым языком для профильных публикаций и региональным языком для постсоветских исследователей. У национальных языков бывшего СССР и Восточной Европы, по всей видимости, нет даже этих перспектив просто потому, что их научные сообщества слишком малочисленны для организации адекватной инфраструктуры знания и перевода. Наше понимание ситуации в странах Центральной Азии только подкрепляет этот тезис. В этом плане пример группы индийских ученых, основавших направление *Subaltern Studies*, который приводит Мюллер, является лишь исключением, подтверждающим правило: язык обучения и преподавания и научной *lingua franca* был для них английский.

Возвращаясь к Центральной Азии, необходимо отметить, что отношение к своему прошлому и месту в мире для его обитателей является сложным и продолжает конструироваться. Многие жители Центральной Азии родились, либо прожили значительную часть жизни в Советском Союзе, и оценка советского прошлого, во многом ассоциирующемся у них с Россией, остается позитивной. Более того, как уже было сказано, заработки трудовых мигрантов составляют значительный процент их дохода. Но не поддается сомнению и другой тренд: попытки переписать исторический нарратив и, как следствие, восприятие прошлого и настоящего со смещением акцентов с советского периода на досоветскую эпоху и постсоветскую модерность. В Туркменистане Сапармурат Ниязов и Гурбангулы Бердымухамедов перестроили центр Ашхабада для того, чтобы город символизировал новую эпоху (Panier, 2010). Аналогичным образом имиджевые проекты Казахстана: строительство Астаны, проведение саммита ОБСЕ, Азиатских Игр и Экспо-2017, были призваны продемонстрировать новые устремления и потенциал Казахстана как «новой страны» (Shelekauev, 2018, 2020). Другие государственные проекты, связанные с исторической памятью, такие как празднование 550-летия казахского ханства в 2016 году, имели целью убедить мировую общественность в «долгой» истории казахской государственности. Кыргызстан вот уже несколько лет проводит Международные Игры Кочевников — это мероприятие должно демонстрировать, что национальная идентичность кыргызов обязана не только советскому периоду, но имеет свои собственные корни и традиции. Власти Узбекистана усиленно развивают туризм: ставка при этом делается не на модернизм (Chukhovich, 2014), уникальный в своем роде, но, увы, скомпрометированный «советскостью», а на средневековые Бухару, Самарканд и Хиву, которые реконструируют ударными темпами согласно постсоветским представлениям о «средневековой» эстетике (Чухович, 2019). Кратко обрисовав наше поле взаимодействия с проектом Мюллера, перейдем ко второй части текста, где мы рассмотрим на примере постсоветской историографии Казахстана и Кыргызстана возможности включения региона в проект «Глобального Востока» и возможные препятствия на этом пути.

Тактический эссенциализм в постсоветской историографии Центральной Азии

Чтобы лучше понять, как и в какой степени страны Центральной Азии могут стать частью «Глобального Востока», обратимся сначала к вопросу о том, что конкретно делает регион частью Востока, географического или постсоциалистического. В прочтении Мюллера, центральноазиатский регион объединяют с Восточной Европой не общие экономические связи или культурные традиции, и не общий опыт социализма, а скорее чувство одновременно схожести и различия по отношению к «аморфной Европе» (Müller, 2018: 5). Не является ли такое определение излишне европоцентричным? Ибо если страны Восточной Европы остаются, по Мюллеру, «недо-Европой», то Центральная Азия не может претендовать даже на этот сомнительный статус в силу географии и предполагаемых культурных различий, отделяющих центральноазиатские «станы» — сокращенный эвфемизм, принятый в западной прессе для обозначения пяти постсоветских республик и подчеркивающий их инаковость — от стран, расположенных к западу от Центральной Азии.

Можно ли в таком случае говорить о том, что Центральная Азия входит в число стран постсоветского Востока по факту ее нахождения в бывшем Советском Союзе? Мюллер дает на это отрицательный ответ, указывая на социалистическое наследие как исчезающий объект (Müller, 2019: 539). С этим утверждением трудно не согласиться. Действительно, сами республики Центральной Азии, как мы уже упоминали, стараются уйти от советского прошлого и написать новые национальные истории, уходящие корнями в досоветский период. В то же время нам кажется, что место и участие Центральной Азии в масштабном политическом образовании «от Варшавы до Владивостока» не сводится исключительно к совместному опыту построения социализма. Именно поэтому мы предлагаем раздвинуть временные рамки, заданные Мюллером, и взглянуть на регион исторически.

Территория части современного Казахстана стала частью Российской империи уже в первой половине XVIII века. Столетие спустя к России были присоединены независимые до этого ханства Туркестана. С этого момента многие магистральные события и процессы в истории региона были обусловлены масштабными проектами по интеграции азиатских колоний в Российскую империю. Так, восстание 1916 года, которое предвосхитило распад империи и последующие классовые и этноконфессиональные конфликты, являлось во многом следствием массового переселенческого движения, призванного разрешить земельный кризис в европейских губерниях имперского государства (Brower, 2003; Chokobaeva, Drieu, Morrison, 2019; Smele, 2015; Sokol, 1954). Приток переселенцев значительно изменил демографический состав населения азиатских колоний. Численный перевес русского населения над казахским в северных областях Степного генерал-губернаторства отмечался еще царскими чиновниками. В уже советском Казахстане эта тенденция усилилась, приведя к демографическому перекосу. В 1959 году, например, когда была проведена первая за 20 лет перепись союзного населения, этнические казахи

составляли лишь 30% от общего населения республики по сравнению с более чем 52% славянского населения (Saparbekova, Koscourková, Kučera, 2014: 78). В соседней Киргизской ССР численность этнических киргизов, составлявших 40,5%, лишь немногим превышала долю «европейского населения», которое насчитывало 37,5% (Кудабаяев, Гийо, Денисенко, 2004: 109–157).

Интегрированность Центральной Азии в экономические сети, связывающие метрополию с окраинами, также предшествовала централизации советской экономики. Проведение железной дороги в регион сделало его значимым поставщиком скота и мяса для европейской части России. В 1908 году, например, Центральная Азия экспортировала 400 000 голов скота и около 6000 тонн мяса в европейскую часть России (Cameron, 2018: 55). За два года войны вклад Туркестанского края в военную экономику составил более 5000 тонн мяса и 70 000 лошадей (Галузо, 1929: 80). «Одомашнивание» колонии посредством распашки земель кочевников позволило региону экспортировать и значительные объемы зерна. В начале 1930-х годов статус Казахстана как одновременно хлеботоргового и мясозаготавливающего региона сыграл роковую роль: неподъемные квоты по поставке зерна и мяса, усугубленные насильственным оседанием кочевого населения, привели к массовому голоду в республике (Pianciola, 2017).

Можно вспомнить и о логике изъятия и даже истребления нежелательных групп населения, которыми руководствовались как генерал-губернатор Туркестана Алексей Куропаткин, разработавший план по выселению коренного населения из тех районов Семиреченской области, «где пролилась русская кровь» во время восстания 1916 года, так и большевистские власти, депортировавшие в трудовые лагеря Казахстана представителей «наказанных народов» (Holquist, 2001). Даже национальное строительство под эгидой советской кампании по коренизации было в большой степени удовлетворением дореволюционного запроса на создание национальных автономий. Пример казахской Алаш-Орды в этом смысле достаточно типичен. Политическая программа партии сложилась под влиянием европейских идей о нации и национальном государстве и как реакция на инородческий статус кочевого населения империи, не дававшего прав на владение землей и политическое представительство (Аманжолова, 2009; Уяма, 2001).

Конечно, преемственность имперских и советских институтов и практик не универсальна, но она позволяет увидеть те самые реляционные основы проекта «Глобального Востока» и многочисленные формы взаимодействия стран Центральной Азии с другими потенциальными участниками проекта, избегая при этом «ловушки» социализма, будь она географической, политической или любой другой. В конце концов, все описанные выше процессы и события не вписываются во временные рамки социализма и, как уже было отмечено, имеют имперские корни и затрагивают — иногда напрямую, а иногда опосредованно — другие империи, национальные государства и регионы. Особенно актуальными для исследователей Центральной Азии являются работы по истории Китая, чьи приграничные провинции были связаны с русским Туркестаном экономическими, культурными

и религиозными отношениями. К примеру, в восстании 1916 года в Семиреченской области принимали участие дунгане, мусульмане — выходцы из Китая, куда после подавления восстания бежали уже подданные Российской империи. Во время Гражданской войны в Китай бежали остатки белых армий. А в тридцатые годы, от голода и коллективизации — граждане советской Центральной Азии (Абдалиева, 2016; Cameron, 2018: 122–143). С другой стороны, Советский Союз стал местом развития политического проекта уйгурских элит по созданию современной уйгурской нации (Brophy, 2016).

Иначе говоря, история Центральной Азии уже содержит в себе имплицитный потенциал написания истории региона с позиций «Глобального Востока». Но как именно следует писать эту историю? «Имперский поворот» в изучении СССР и нарастающая популярность глобальных подходов сняли географические и временные ограничения с работ по истории региона. Появление в последние несколько лет публикаций, опирающихся на транснациональный подход в изучении Центральной Азии, говорит о том, что принцип критического осмысления места Центральной Азии в мире уже служит ориентиром для нового поколения исследователей (Brophy, 2016; Levi, 2017; Tasar, 2017). Так, на примере Кокандского ханства Скотт Леви оспаривает устоявшуюся точку зрения об изоляции и экономическом и культурном упадке региона (Levi, 2017). Артемий Калиновский в своей книге о политике модернизации в постсталинистском Таджикистане находит большое сходство между модернизационными проектами США и СССР (Kalinovsky, 2018). Гульзада Абдалиева, на основе устной истории потомков беженцев из Семиреченской области в Китае, сдвигает временные рамки Гражданской войны в СССР и показывает, что для кочевников-кыргызов подавление восстания 1916 года, Гражданская война и коллективизация были чередой насильственных вмешательств со стороны империи (Абдалиева, 2016).

Как уже отмечалось ранее, для нас помимо методологических аспектов, связанных с позиционированием региона, важным вопросом к проекту «Глобального Востока» является также агентность местных исследователей. Избегая при этом принципа «add and stir», возможен ли этот проект не только в условиях существенного экономического неравенства в сфере производства знаний (Trubina et al., 2020), но и в условиях различных *режимов* производства знаний и внешнего вмешательства и давления? Далее в этой статье мы предлагаем рассмотреть на примере историографии восстания 1916 года в Кыргызстане и голода 1930-х годов в Казахстане участие исследователей из центральноазиатского региона в проекте «Глобального Востока».

Начнем с Казахстана. Несмотря на кажущуюся актуальность темы голода в Казахстане, мы видим, что последние серьезные исследования под авторством казахстанских ученых выходили в первой половине 1990-х годов, вскоре после распада СССР. В то же время количество высокопрофессиональных монографий и научных статей на тему голода на английском языке в последние несколько лет сильно возросло. Напрашивается вопрос: почему темой голода вплотную занимаются за-

падные исследователи, в то время как современные казахстанские историки предлагают ограниченный репертуар интерпретаций, в которых особая роль в возникновении голода отводится ответственному секретарю Казахстанского крайкома ЦК ВКП(б) Филиппу Голощекину, решившему «пройтись по аулу Малым Октябрем» (Аяган, 2012; Габдуллин, 2015; Сыдыков, 2014). В личной беседе с одним из авторов этой статьи Жулдызбек Абылхожин, казахстанский историк, опубликовавший в 1988 году первую статью на русском языке о голоде в советском Казахстане, указал на пристрастность большинства казахстанских историков, которые, по его мнению, «гонятся за цифрами», и на их этноцентричный взгляд, отводящий казахам роль исключительно жертв и тем самым отрицающий участие казахских активистов и политиков в коллективизации.

Не вызывает сомнения, что факторы, выделяемые Абылхожиным, свидетельствуют о дилеммах и противоречиях нациестроительства в современном Казахстане (Исмагамбетов, 2018). Можно понять нежелание властей Казахстана выносить на повестку дня тему, которая скорее всего сведется к вопросу о том, кто ответственен за голод. Это вопрос, как указывают Р. Киндлер и С. Кэмерон, способен не только сильно осложнить взаимоотношения между Россией как наследницей СССР и Казахстаном, но и нарушить хрупкий межнациональный мир в республике (Киндлер, 2017: 334; Cameron, 2018: 186–187). В такой ситуации многие казахстанские исследователи вынуждены прибегать к самоцензуре. Показательно в этом смысле заявление ректора Евразийского национального университета Ерлана Сыдыкова о том, что «голодающие (и русские, и казахи, и украинцы, и представители всех других народов и народностей) боролись за выживание: в процессе этой борьбы были и эксцессы проявления национализма. Но только совместными усилиями был одолен голод» (Сыдыков, 2012).

Но так было не всегда. В конце перестроечного периода (сопровождавшегося острым социальным и экономическим кризисом) и после распада СССР в Казахстане был опубликован ряд исследовательских работ о коллективизации и голоде. Одна из этих работ — статья под названием «Коллективизация в Казахстане: трагедия крестьянства», вышедшая в 1992 году — интересна прежде всего выводами, сделанными авторами о причинах и природе голода (Козыбаев, Абылхожин, Алдажуманов, 1992). В этой новаторской — и фундаментальной с точки зрения проделанной исследовательской работы — статье были предвосхищены многие более поздние выводы.

Как и многонациональная группа современных исследователей голода в Казахстане, среди которых есть ученые из США, Германии, Италии и Франции, авторы «Коллективизации в Казахстане» считают голод результатом «революции сверху», или, по их определению, «революционаристского утопизма» (Там же: 3). Вместе с этим они подчеркивают *комплексную* природу голода и разбирают факторы и обстоятельства, совокупность которых привела к гуманитарной катастрофе. В частности, они указывают на идеологические установки советского руководства, которое верило в то, что «путь прогресса казахского крестьянства» лежал

исключительно через «эволюцию скотоводческого хозяйства в сельскохозяйственное или стационарное животноводческое» (Там же: 15). Такой же точки зрения придерживается и немецкий историк Роберт Киндлер в своей работе, вышедшей на немецком языке в 2014 году и переведенной на английский в 2018 году. Так, Киндлер утверждает, что советские власти планировали сделать из «отсталых» кочевников «современных» граждан советского государства (Киндлер, 2017: 7).

Авторы также обращают внимание на планы «перекачки» продуктов, производимых аулом, для финансирования грандиозных программ индустриализации страны. Немаловажным представляется и тот факт, что, согласно авторам, обязательные хлебозаготовки распространялись и на сугубо животноводческие хозяйства, которые должны были вдобавок выполнять и планы по заготовкам мяса (Козыбаев, Абылхожин, Алдажуманов, 1992: 6, 15). Двойное обложение сделало кочевые группы вдвойне уязвимыми. К схожему выводу приходит Никколо Пьянчола, который в одном из своих исследований задается вопросом, почему Киргизская ССР, представлявшая, аналогично Казахской ССР, область с преимущественно животноводческим хозяйством, испытала голод несравнимо меньшего масштаба. Ответ кроется в административном делении республик СССР на экономически специализированные районы. В то время как советский Казахстан был отнесен к группе областей, поставлявших зерно, Киргизия, благодаря своим южным районам, попала в категорию хлопководческих республик (Pianciola, 2017).

Рассматривая непосредственно методы проведения коллективизации и оседания, казахстанские авторы статьи указывают на роль силового «нажима», значению которого уделяется внимание в работах уже упомянутого Киндлера и американского историка Сары Кэмерон. Авторы «Коллективизации в Казахстане» подчеркивают чрезвычайные методы проведения коллективизации в казахском ауле, которые приняли характер «времен военного коммунизма» (Козыбаев, Абылхожин, Алдажуманов, 1992: 12). Киндлер отмечает, что сталинская система вообще характеризовалась «постоянно повторяющимися эксцессами насилия» (Киндлер, 2017: 8). Ответом на исключительное давление на кочевое общество явились крестьянские волнения и массовые перекочевки как внутри СССР, так и за его пределы. Казахские авторы пишут о гибели огромного количества этнических казахов во время откочевки. Кэмерон, в свою очередь, уточняет, что немало откочевников пало жертвами советских пограничных отрядов на границе с Китаем (Cameron, 2018: 122–143).

Реакция властей на голод была запоздалой. Авторы «Коллективизации в Казахстане» отмечают, что даже после публикации сталинских статей «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозникам» темпы коллективизации и насильственного оседания в Казахстане не замедлились (Козыбаев, Абылхожин, Алдажуманов, 1992: 17–18). Кэмерон указывает на то, что советское руководство продолжало требовать от республики выполнения норм по поставке зерна и мяса, так и не предоставив обещанную помощь (Cameron, 2018: 159). Киндлер также пишет о том, что реквизиции хлеба и скота не прекратились, «даже когда стало ясно, к ка-

кому роковому исходу ведет эта политика» (Киндлер, 2017: 17). В целом об информированности высшего руководства страны о бедственном положении в Казахстане говорят все перечисленные здесь работы. Неслучайность голода отмечают как казахстанские авторы статей, вышедших в конце 1980-х и начале 1990-х годов, так и современные западные историки. Козыбаев, Абылхожин и Алдажуманов поясняют, что причины голода «раскрываются отнюдь не через категорию „случайного“, обозначенную в традиционной историографии как „ошибки и перегибы“» (Козыбаев, Абылхожин, Алдажуманов, 1992: 31). Кэмерон же указывает на ошибочность мнения о «„просчетах“, „постыдном пренебрежении“ или об отсутствии взаимопонимания между культурами» (Cameron, 2018: 17).

Что дает нам сопоставление статьи, увидевшей свет почти три десятилетия назад, и исследований, опубликованных на нескольких европейских языках в 2010-х годах? Как минимум оно дает нам основания говорить о том, что оригинальность доводов *не является* прерогативой западных исследователей. Кроме того, нам хотелось бы обратить внимание на важность политической и общественной обстановки, в которой проводятся и публикуются новые работы. Появление исследований о голоде во время перестройки и после распада СССР стало возможным благодаря политике гласности, давшей исследователям свободу выражения и выбора тем для исследований. Не менее важным был и общественный запрос на переосмысление и деидеологизацию ключевых событий в советской истории. Перестройка также привела к открытию и рассекречиванию архивов, что, в свою очередь, сделало возможным «архивную революцию» и появление качественно новых работ как в Казахстане, так и за его пределами. О важности политической свободы говорит и невозможность проведения исследований на тему голода во время Большого скачка в соседнем Китае, несмотря на растущую материальную базу и международный престиж отдельных китайских университетов.

С тех пор общественный интерес к голоду и советскому прошлому несколько поутих. Отчасти это объясняется сдвигом в политической повестке. Задачи национального строительства в странах Центральной Азии сделали наиболее востребованными исследования о героическом досоветском прошлом и вывели на первый план фигуры и события, чья значимость часто определяется их предполагаемым вкладом в нациестроительство независимых республик региона. Осмысление советского прошлого в этом смысле до сих пор остается проблематичным. Как, например, относиться к участию активистов из числа этнических казахов в насильственном раскулачивании и оседании своих соплеменников? В условиях, когда практически единственным источником финансирования научных исследований является государство, немногие исследователи имеют смелость работать над темами, которые могут потенциально привести к расколу нации.

Еще один фактор, на который указал в интервью Абылхожин, это давление на местных исследователей не столько со стороны властей — в Кыргызстане и Казахстане государство редко вмешивается в исследовательскую деятельность на прямую — сколько со стороны коллег. «Включенность» в местное академическое

сообщество имеет свои достоинства и недостатки. С одной стороны, как показывают Алима Бисенова и Кульшат Медеуова, социальный и культурный капитал традиционных «социальных сетей» в досоветском Казахстане послужил средой, из которой вышли первые интеллектуалы советского Казахстана (Бисенова, Медеуова, 2016а: 235–241). После революции на смену этим сетям пришли новые, институционализированные центры производства знаний. Это, однако, не умало значимости культурного и социального капитала для производства знаний и социальной мобильности. Постсоветский Казахстан в этом смысле сохраняет многие черты советской эпохи: мы знаем на собственном примере, насколько личные связи облегчают проведение исследований в регионе, открывая доступ к засекреченным архивным документам и давая возможность участия в различных проектах и конференциях. Но у этой вовлеченности есть и обратная сторона: для местных исследователей выбор тем и проведение качественных исследований оказывается сужен в силу негласного убеждения в желательности или, наоборот, нежелательности тех или иных сюжетов. Таким образом, конформистский запрос на «правильное» видение истории формируется не только властными структурами, но и самими академическими сообществами региона. В своей книге Кэмерон приводит пример того, как во время работы в архивах Алматы в 2007 году местные студенты-докторанты «поделились» с ней советом своих академических руководителей не касаться голода при выборе темы диссертации (Cameron, 2018: 182).

Затрагивая вопрос внутреннего давления, мы не можем не обратиться и к теме внешнего давления на исследователей, работающих в странах Центральной Азии. Если для «западных» ученых регион остается главным образом «сырьевой базой» и безмолвным объектом исследований (Кудайбергенова и др., 2019; Бисенова, Медеуова, 2016б), то для некоторых российских исследователей, за рядом исключений, история и география (в частности, топонимика) региона это еще и поле вмешательства и коррекции, обращенной в прошлое или настоящее (РСМД, 2013; Броневицкая и др., 2018)¹. Даже само название региона, используемое в России (и сформулированное имперскими военными в начале XIX века), Средняя Азия, до сих отличается не только от общепринятого, но и от *употребляемого* в самом регионе (Горшенина, 2019: 10–13). Такой подход является одним из прямых препятствий для проекта «Глобального Востока», чья концепция у Мюллера избегает обсуждения неудобных коннотаций. Другим препятствием оказывается уже упомянутый тактический национализм центральноазиатских историков, чьи нарративы служат опорой недавно обретенным суверенитетам (Масанов, Ерофеева, Абылхожин, 2008). Все это, разумеется, не делает проект «Глобального Востока» невозможным с точки зрения стран Центральной Азии, но сильно усложняет его реализацию, поскольку у возможных участников этого проекта, по-видимому, отсутствует не только общая идейно-политическая платформа, но и консенсус по базовым вопросам, касающимся их совместного прошлого.

1. Для критики подобного подхода см.: Горшенина, 2007; Abashin, 2015.

Многие тропы, используемые для описания Центральной Азии в современной российской историографии, берут свои корни в имперском и советском дискурсах (Лолаева, Рябов, 2009). Более того, в 2011 году авторитетный российский исследователь Центральной Азии писал, что в постсоветскую эпоху «российские историки ощутимо *утратили контроль* над производством знаний о прошлом этого региона» (Ремнев, 2011; выделено нами). Попытки российских исследователей вернуть этот контроль наталкивают на мысль о том, что производство знаний о Центральной Азии в самом регионе отнюдь не является привилегией местных исследователей. Центральная Азия, таким образом, оказывается в положении двойной колониальности. Наиболее очевидно это проявляется в работах, обесценивающих или переписывающих знания о восстании 1916 года. Как это происходит и какие формы принимает это вмешательство, мы рассмотрим на примере постсоветской историографии этого события в современном Кыргызстане.

Неоднозначность темы восстания 1916 года и изменчивость официального отношения к нему до и после распада СССР уже отмечались многими авторами (Chokobaeva, 2014; Morrison, 2016; Чокобаева, 2017). Но если в самом регионе и в Кыргызстане в частности общепринятым определением, разработанным советскими историками еще в двадцатых годах прошлого века, является «национально-освободительное движение», то оценки восстания в современной России варьируются от достаточно резкой характеристики восстания как крайнего проявления «русофобских настроений» до более примирительной «общей трагедии» (Ганин, 2008: 155; Котюкова, 2016). Интересно, что обе эти интерпретации являются «официальными» в том смысле, что они поддерживаются российским руководством. Можно привести в пример конференцию, прошедшую в 2015 году на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова, участники которой пришли к выводу, что «Среднеазиатское восстание 1916 г. следует рассматривать как общую трагедию и общую память для всех пострадавших народов (киргизов, казахов, туркмен, русских, украинцев, татар и др.)» (Исторический факультет МГУ, 2015).

Особый интерес для нас представляет веб-сайт проекта «События в Семиречье 1916 года по документам российских архивов» (Федеральное архивное агентство, 2020). О том, что проект финансируется из государственных источников, говорит тот факт, что веб-сайт запущен Росархивом, то есть государственной структурой, и что посетителей веб-сайта встречает приветственное слово Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Предисловие к проекту уже написано профессиональным историком Андреем Ганиным, чей вклад в изучение восстания 1916 года на момент создания проекта ограничивался одной статьей, опубликованной в 2008 году. В отличие от краткого приветственного слова, которое связывает восстание с «общеевропейской трагедией Первой мировой войны», предисловие дает более детальное описание восстания и видит в нем не столько квинтэссенцию кризиса империи, сколько совокупный результат «бездейственности местной администрации, расцвета коррупции», действий «туземной

феодалной знати (ханов, беков, манапов) и духовенства, преследовавших свои интересы, а также внешних дестабилизирующих сил».

Как видно из описания причин восстания, приводимых в предисловии, Ганин опирается на давние традиции имперской и послевоенной советской историографии Центральной Азии. Так, он пишет о том, что «присоединение Средней Азии к Российской империи привело к положительным изменениям в жизни коренного населения. Регион вошел в состав государства, стоявшего на более высоком уровне социально-экономического и культурного развития». Можно предположить, что, в интерпретации Ганина, коренное общество с его «традиционным укладом» и «низким уровнем образования основной массы населения» только выиграло от колонизации и массового отъема земель. Нетрудно заметить в этом утверждении и имперский взгляд, отводящий бывшим перифериям роль объекта цивилизаторской миссии.

Ориенталистские нотки содержатся и в стремлении автора возложить вину за восстание на традиционные элиты коренного населения Центральной Азии, «ханов, беков, манапов». В своем описании манапов, родовых лидеров Семиреченских кыргызов, Ганин воспроизводит риторику генерал-губернатора Туркестанского края Алексея Куропаткина, который сравнивал манапов, «главарей» восстания, с «волками», а восставших — с «массой баранов» (Рыскулов, 1991: 32). У Ганина манапы имели «неограниченную» власть и «широко пользовались своими полномочиями в целях личного обогащения». Столкновение с колониальной администрацией, «чреватое» для манапов «утратой власти», якобы толкнуло их на восстание. Во время восстания, утверждает Ганин, «манапы получали часть денег с продажи оружия, и, таким образом, боевые действия приносили им прибыль». Опустим тот факт, что ни в одном из архивных документов, представленных на веб-сайте проекта, не говорится о продаже оружия манапами, как не говорится о нем ни в одном из множества документов, изученных нами в архивах Кыргызстана и Казахстана. Более важным представляется отрицание Ганиным агентности восставших: «массы баранов» могли управляться только корыстными и коррумпированными элитами, либо же «китайцами» и «германо-турецкой агентурой», которые снабжали восставших оружием и «сыграли некоторую роль в организации восстания».

Помимо изложения официальной точки зрения на восстание 1916 года предисловие также дает нам возможность понять цель создания проекта. Это прежде всего противостояние «современным апологетам национальных идентичностей», которые «нередко пытаются использовать трагические события вековой давности в политических целях, определяя виновных и жертв». Особое неприятие и обвинения в национализме вызывают у российских исследователей попытки охарактеризовать подавление восстания как этнические чистки или даже геноцид. Их раздражение вполне понятно — массовые убийства переселенцев восставшими действительно имели место. Не стоит, однако, забывать, что действия как повстанцев, так и карательных войск и переселенческих ополчений и дружин могут оце-

ниваться как этнические чистки, в чем можно убедиться, прочитав дневник Куропаткина, размещенный на том же веб-сайте. Давление на местных исследователей, в свою очередь, выражается не только в создании в общем-то необходимой базы архивных документов, пусть и с несостоятельным предисловием, но и в прямом вмешательстве российских властей в работу центральноазиатских ученых. Так, в 2013 году российское посольство в Кыргызстане совместно с неким «Союзом соотечественников» настойчиво требовали изъять из использования в школах учебника по современной истории Кыргызстана, ввиду содержащегося в нем «излишне натуралистического» описания подавления восстания (Regnum, 2013).

В условиях подобной внутренней и внешней цензуры некоторые центральноазиатские исследователи прибегают еще к одной практике «тактического эссенциализма» — публикации своих работ на местных языках. Это позволяет избежать давления со стороны российских исследователей и дипломатов, которые, как правило, не владеют языками региона. Что немаловажно, эти публикации часто основаны на локальном материале, собранном «в поле». В 2017 году, например, вышел сборник на кыргызском «Үркүн — 100: кылымдар унуткус кыргын: Макалалар, блогдор, маектер, эскерүүлөр» («Исходу — 100 лет: на века памятная резня: Статьи, блоги, интервью, воспоминания»).

В конечном счете обесценивание работы местных исследователей и слепое воспроизводство откровенно шовинистических тропов колониальной администрации сужают возможности для диалога и совместной разработки новых концепций и идей. Это приводит нас к последнему пункту нашего обсуждения проекта «Глобального Востока» и возможностей участия в нем для центральноазиатских исследователей. Насколько возможно объединение этих исследователей и их российских коллег в рамках «Глобального Востока» при существующих отношениях зависимости стран региона от все еще сохраняющей свое влияние метрополии? И возможно ли, в принципе, примирить национальные «эссенциализмы» стран предполагаемого «Глобального Востока»? Недавние «войны памяти» между Россией и Польшей, разгоревшиеся из-за заявлений Владимира Путина о якобы неприглядной роли Польши в развязывании Второй мировой войны, и публикация архивных документов Минобороны РФ об участии польских граждан в убийстве этнических украинцев и евреев в Варшаве (в ответ на обвинения в «коммунистическом пленении» Польши советской Россией), свидетельствуют о том, что национальные нарративы стран бывшего социалистического блока в настоящий момент малопримиримы (Газета.ру, 2020). Ибо само понятие «стратегического эссенциализма», предлагаемое для реализации проекта «Глобального Востока», предполагает «временный отказ от разногласий» ради мобилизации на основе общего «политического проекта» (Müller, 2018: 11). Однако, как мы показали на примере Центральной Азии, национальная повестка стран бывшего СССР и сохраняющиеся расхождения в интерпретации центральных событий в истории огромного пространства, связанного имперскими, а затем советскими институтами и прак-

тиками, часто исключает самую возможность отказа от разногласий именно в силу разнонаправленности политических проектов.

Заключение

Несмотря на то что формат предложений Мюллера является академическим, в нем, по сути, содержится политическая программа. Эта программа выражена в наиболее концентрированной форме в следующей фразе: «Восток лучше всего осмыслить как стратегический эссенциализм: то есть политическую практику, которая позволит мобилизовать разрозненные и маргинализированные группы *под единым знаменем* для эмансипирующего политического проекта» (Müller, 2018: 11; выделено нами). В первой части этой статьи мы проследили, как существующие центробежные тенденции во внешней и внутренней политике бывших социалистических стран не способствуют их символическому сближению. Разумеется, речь идет не обо *всех* ситуациях и не во *всех* этих странах. Существует целый ряд научных, социокультурных и политико-экономических проектов, организованных по принципу «инициативы снизу», которые объединяют (а не разъединяют) постсоциалистические общества. Объединение их «под единым знаменем», однако, кажется нам трудновыполнимой задачей, польза выполнения которой не очевидна.

Во второй части этого текста мы продемонстрировали, что написание истории и производство знания о регионе в странах Центральной Азии в настоящее время оказывается полем взаимодействия «внешних» и «внутренних» акторов, которые преследуют разные интересы и артикулируют свои интенции в зависимости от факторов, которые могут выходить за пределы научного знания или «поиска истины». Мы предложили называть этот процесс «тактическим эссенциализмом». Идеальный — и единственный имеющийся в наличии — тип проекта Мюллера предполагает свободную рефлексию о месте истории и географии каждого из потенциальных акторов проекта «Глобального Востока» в более широком контексте. В Центральной Азии эта свобода на данный момент является частичной, доступной далеко не всем, и пропущенной через идеологические и языковые фильтры.

Мы также показали на примере Казахстана и Кыргызстана, что существующие исторические нарративы постсоциалистических стран являются частью вполне конкретных политических процессов. Эти нарративы зачастую амбивалентны и вступают в противоречие друг с другом. В большинстве случаев, однако, обретение суверенитетов и возможности писать нациецентричную историю не ставятся под сомнение и воспринимаются как важная историческая веха. В этой ситуации преимущества транснационального подхода (и сопутствующая ей ревизия символической географии) не всегда находят отклик у заинтересованных акторов. Ибо размытие концептуальной рамки национального государства может стать полезным, когда задачей историка является изучение взаимодействия и взаимной конструкции различных политий, а не телеологическое стремление обосновать те или

иные события или повлиять на настоящее с помощью прошлого. Там, где «стратегическому эссенциализму» еще предстоит завоевать себе сторонников, «тактический эссенциализм» уже прочно стал частью исследовательской и *политической* практики.

В то же время предложение Мюллера о включении транснационального подхода в практику постсоциалистических исследований кажется нам полезным. Применительно к Центральной Азии транснациональный поворот в изучении региона уже наступил. Существующие исследования ставят под сомнение восприятие региона как периферийного участника глобальных процессов, которое сложилось под воздействием имперских нарративов с середины XIX века. Историография региона в данный момент пересматривается с позиций вовлеченности местных институтов, практик и сообществ в глобальные процессы. Исходя из этого, мы считаем, что предложения Мюллера выиграли бы, с одной стороны, от более точной артикуляции транснационального подхода как такового применительно к его собственному проекту, учитывая опыт российских, восточно-европейских и центрально-азиатских исследований в этом ключе. С другой стороны, концентрация на социалистическом периоде мешает автору реализовать потенциал данного подхода в полной мере.

Подлинное (а не декларативное) включение постсоветских исследователей в глобальное производство знания потребует времени, усилий и, вероятно, создания специфических условий для интеграции локальных исследователей в глобальную академию. Для Центральной Азии одним из таких условий могут быть междunarодные мероприятия, проводимые непосредственно в регионе. Примером для будущих конференций послужат региональные конференции и воркшопы, проводимые ASEES (Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований) и CESS (Общество исследований Центральной Евразии). Как показывает опыт этих научных организаций, такие мероприятия привлекают большое количество местных участников. Помимо возможности представить свою работу они знакомят участников с потенциальными издателями и работодателями и способствуют публикации новых исследований. В конечном итоге у местных ученых появляется возможность выйти за рамки внутренних ограничений своих научных сообществ, не выезжая из региона.

Другим шагом к инклюзивности «снизу» могут послужить сохранение, перевод и публикация архивных документов на местных языках и — шире — пересмотр отношения к источнику как таковому. В Центральной Азии до сих пор сохраняется отношение к устной истории и религиозным документам как к источникам второго сорта — несмотря на многочисленные транскрипты устной истории, сохраненные в архивах местных академий наук, и богатый пласт рукописных документов, относящихся к религиозным институтам, в государственных архивах и частных коллекциях. Эти документы не только помогут исследователям региона понять действия различных акторов и поместить их в глобальный контекст, но и лучше осветить социокультурные аспекты жизни региона, которые долгое время

оставались маргинальными для исследователей. Так, опубликованный в 2014 году на русском языке двухтомный сборник переписки между казахскими правителями и Цинской и Российской империями, а также с Джунгарскими и Калмыцкими ханами, дает исследователям Казахской степи взглянуть на казахские ханства не только как на подданных Российской империи, но и как самостоятельных субъектов международных отношений и дипломатии (Ерофеева, 2014). Перевод и публикация манускриптов кыргызских эпических поэм дают более четкое понимание социальной истории региона в XIX веке и опыта вынужденной ссылки в Китае после подавления восстания 1916 года (Prior, 2013, 2019). Подводя итог, мы можем сказать, что призыв к новому подходу в изучении стран постсоветского пространства в рамках проекта «Глобального Востока» своевременен, но цели, которых он пытается достичь, вероятно, смогут реализоваться эффективнее, если этот подход станет суммой инициатив его участников, а не попыткой всеобщей мобилизации «под единым знаменем».

Литература

- Абдалиева Г. (2016). 1916: Улуу Уркундун тарыхый барактарына кылчаюу. URL: https://www.azattyk.org/a/kyrgyz_1916_uprising_and_exodus_by_abdalieva/27734883.html (дата доступа: 10.03.2020).
- Аккулы С. (2010). Таможенный союз — это второй Европейский союз или попытка восстановить СССР. URL: https://rus.azattyq.org/a/custom_union_kazakhstan_russia_belarus/2101963.html (дата доступа: 30.04.2020).
- Аманжолова Д. (2009). На изломе: Алаш в этнополитической истории Казахстана. А.: Таймас.
- Аяган Б. (ред.). (2012). Голод в Казахстане: трагедия народа и уроки истории: Сборник материалов Международной научной конференции. Астана: Министерство образования и науки Республики Казахстан.
- Бисенова А., Медеуова К. (2016а). О проблемах региональных исследований в/по Центральной Азии // Антропологический форум. № 28. С. 35–39.
- Бисенова А., Медеуова К. (2016б). Давление метрополий и тихий национализм академических практик // Ab Imperio. № 4. Р. 207–255.
- Броневицкая А. и др. (2018). Алма-Ата: архитектура советского модернизма, 1955–1991: Справочник-путеводитель. М.: Гараж.
- Габдуллин Б. (2015). Великое кочевье: о тех, кто строил государство Казахстан: Исторические эссе. А.: Хантәңірі.
- Галузо П. (1929). Восстание 1916 г. в Средней Азии // Красный Архив. Т. 34. С. 39–94.
- Ганин А. (2008). Последняя полуденная экспедиция Императорской России: Русская армия на подавлении туркестанского мятежа 1916–1917 гг. // Русский сборник: исследования по истории России. Т. 5. М.: Модест Колеров. С. 152–214.

- Горшенина С. (2007). Извечна ли маргинальность русского колониального Туркестана, или Войдет ли постсоветская Средняя Азия в область Post-Исследований // *Ab Imperio*. № 2. Р. 209–258.
- Горшенина С. (2019). Изобретение концепта Средней/Центральной Азии: между наукой и геополитикой. Вашингтон: Университет Джорджа Вашингтона.
- Демина Н. (2020). Олимпийские игры социогуманитариев (новости РАН). URL: <http://www.sib-science.info/ru/news/olimpiyskie-nauchnye-17022020/> (дата доступа: 29.04.2020).
- Ерофеева Т. (ред.). (2014). Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675–1821 годов. А.: АБДИ Компани.
- Исмагамбетов Т. (2018). Нациестроительство в Казахстане: между казахстанским народом и нацией. URL: <https://caa-network.org/archives/13450/> (дата доступа: 29.04.2020).
- Исторический факультет МГУ (2015). Международная научно-практическая конференция «К 100-летию восстания в Туркестане 1916 г.». URL: http://www.hist.msu.ru/about/gen_news/7893/ (дата доступа: 17.03.2020).
- Киндлер Р. (2017). Сталинские кочевники: власть и голод в Казахстане. М.: Росспэн.
- Котляков В., Шупер В. (ред.). (2019). Россия в формирующейся большой Евразии. М.: Кодекс.
- Котюкова Т. (2016). Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии: Сборник документов и материалов. М.: Марджани.
- Козыбаев М., Абылхожин Ж., Алдажуманов К. (1992). Коллективизация в Казахстане: трагедия крестьянства. А.: Академия наук Республики Казахстан.
- Кудабаев З., Гийо М., Денисенко М. (2004). Население Кыргызстана. Бишкек: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
- Кудайбергенова Д. и др. (2019). Когда «поле» — твой дом: о феминистской субъектности в Центральной Азии. URL: <https://www.opendemocracy.net/ru/kogda-pole-tvoi-dom-ru/> (дата доступа: 22.04.2020).
- Иванов И. С. (ред.). (2013). Интересы России в Центральной Азии: содержание, перспективы, ограничители. М.: Спецкнига.
- Лолаева С., Рябов А. (2009). Средняя Азия в русском и российском восприятии // *Неприкосновенный запас*. № 4. С. 165–174.
- Масанов Н., Ерофеева И., Абылхожин Ж. (2007). Научное знание и мифотворчество в современной историографии Казахстана. Алматы: Дайк-Пресс.
- Моррисон А. (2016). Центральная Азия: Вспоминая и анализируя восстание 1916 года. URL: <https://russian.eurasianet.org/node/63501/> (дата доступа: 20.04.2020).
- Моррисон А. (2017). Центральная Азия: «Великий шелковый путь» и «Большая игра» — лишь мифы, далекие от реальности. URL: <https://russian.eurasianet.org/node/64596/> (дата доступа: 22.04.2020).
- Ремнев А. (2011). Колониальность, постколониальность и «историческая политика» в современном Казахстане // *Ab Imperio*. № 1. С. 169–205.

- Рубцов А. (2016). Мифология величия: как в России воскрешается имперская идея. URL: <https://www.rbc.ru/opinions/society/26/02/2016/56cfe95f9a7947ed925e57de/> (дата доступа: 19.03.2020).
- Рыскулов Т. (1991). Восстание киргизов и казахов в 1916 году. Бишкек: Учкун.
- Сыдыков Е. (ред.). (2014). Голод 1930-х годов в Украине и Казахстане: вопросы историографии и подходы к исследованию проблемы: Сборник материалов выступлений, докладов и сообщений участников Международной научно-методической конференции. Астана: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.
- Сыдыков Е. (2012). Тяжелая страница в судьбе народа. URL: <https://www.enu.kz/rector-blog/zapisi/12131/> (дата доступа: 30.03.2020).
- Тренин Д. (2019). Культурная карта российской геополитики: возможная стратегия Москвы в Большой Евразии. URL: <https://carnegie.ru/2019/02/11/ru-pub-78328/> (дата доступа: 29.03.2020).
- Фахрутдинов Ш. (2020). Польша следует конъюнктуре: Москва осудила пересмотр истории. URL: <https://www.gazeta.ru/army/2020/01/17/12914978.shtml> (дата доступа: 28.03.2020).
- Федеральное архивное агентство (2020). События в Семиречье 1916 года по документам российских архивов. URL: <http://semirechye.rusarchives.ru/> (дата доступа: 10.03.2020).
- Чокобаева А. (2017). Красные кыргызы: советская историография восстания 1916 года // Мамедов Г., Шаталова О. (ред.). Понятия о советском в Центральной Азии. Б.: Штаб Пресс. С. 50–76.
- Чухович Б. (2019). Заповедник (к археологии музеефицирования в градостроительстве Узбекистана). URL: <https://caa-network.org/archives/14980/> (дата доступа: 01.04.2020).
- Эткинд А. (2013). Внутренняя колонизация: имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение.
- Regnum (2013). Посольство РФ и Союз соотечественников требуют запрета учебника «История Кыргызстана: XX–XXI века» (2013). URL: <https://regnum.ru/news/society/1625821.html> (дата доступа: 02.04.2020).
- Abashin S., Jenks A. (2015). Soviet Central Asia on the Periphery // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. Vol. 16. № 2. P. 359–374.
- Adams L. (2008). Can We Apply a Postcolonial Theory to Central Asia? // *Central Eurasia Studies Review*. Vol. 7. № 1. P. 2–8.
- Aga Khan Development Network (2016). University of Central Asia Opens Its First Campus as Part of Broad Commitment to Fostering Social and Economic Development. URL: <https://www.akdn.org/press-release/university-central-asia-opens-its-first-campus-part-broad-commitment-fostering-social/> (дата доступа: 30.03.2020).
- Aird J. S. (1968). Estimates and Projections of the Population of Mainland China: 1953–1986. US Department of Commerce.
- Ambrosio T. (2017). Russia's Ukraine Intervention and Changes to American Perceptions of the Russian Threat: Executive Branch Testimony to the House and Senate Armed

- Services Committees, 2008–2016 // *Journal of Global Security Studies*. Vol. 2. № 2. P. 104–122.
- Akerman J. R. (2017). *Decolonizing the Map*. Chicago: University of Chicago Press.
- Artz L., Murphy B. O. (2000). *Cultural Hegemony in the United States*. L.: SAGE.
- Azizov U. (2017). Regional Integration in Central Asia: From Knowing-that to Knowing-how // *Journal of Eurasian Studies*. Vol. 8. № 2. P. 123–135.
- Babiš A. (2019). Speech by Prime Minister of the Czech Republic at the General Debate of the 74th Session of the General Assembly of the UN, 25 September 2019. URL: <https://www.vlada.cz/en/clenove-vlady/premier/speeches/speech-by-prime-minister-of-the-czech-republic-at-the-general-debate-of-the-74th-session-of-the-general-assembly-of-the-un-176391/> (дата доступа: 08.03.2020).
- Blair T. (2004). The Prime Minister's Speech to the European Bank for Reconstruction and Development Annual Meeting in London. URL: <https://www.theguardian.com/world/2004/apr/19/eu.tonyblair/> (дата доступа: 28.03.2020).
- Braudel F. (1979). *Afterthoughts of Material Civilization and Capitalism*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Brophy D. (2016). *Uyghur Nation: Reform and Revolution on the Russia-China Frontier*. Cambridge: Harvard University Press.
- Brower D. (2003). *Turkestan and the Fate of the Russian Empire*. L.: Routledge.
- Bulough O. (2014). Vladimir Putin: The Rebuilding of «Soviet» Russia. URL: <https://www.bbc.com/news/magazine-26769481/> (дата доступа: 22.02.2020).
- Cameron D. (2007). Post-Communist Democracy: The Impact of the European Union // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 23. № 3. P. 185–217.
- Cameron S. (2018). *The Hungry Steppe: Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan*. Ithaca: Cornell University Press.
- Chioni-Moore D. (2001). Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique // *PMLA*. Vol. 116. № 1. P. 111–128.
- Chokobaeva A. (2014). Born for Misery and Woe: National Memory and the 1916 Great Revolt in Kyrgyzstan // *Omelicheva M. (ed.). Nationalisms and Identity Construction in Central Asia: Dimensions, Dynamics, and Directions*. Lanham: Rowman and Littlefield. P. 37–51.
- Chokobaeva A., Drieu C., Morrison A. (eds.). (2019). *The Central Asian Revolt of 1916: A Collapsing Empire in the Age of War and Revolution*. Manchester: Manchester University Press.
- Chukhovich B. (2014). Orientalist Modes of Modernism in Architecture: Colonial/Post-colonial/Soviet // *Études de Lettres*. Vol. 296. № 2–3. P. 263–293.
- Clare K. G. et al. (1968). *Area Handbook for the Republic of Korea*. Washington: Foreign Area Studies.
- Cohen R., Radin A. (2019). *Russian's Hostile Measures in Europe: Understanding the Threat*. Santa Monica: RAND Corporation.

- Dadabayev T.* (2010). Discourses on Integration in Central Asia: From Rhetoric to Practice // *Regional Cooperation in Central Asia: Obstacles, Incentives and Proposals*. Madrid: Fundación Alternativas. P. 25–34.
- ESPON (2017). Inner Peripheries: National Territories Facing Challenges of Access to Basic Services of General Interest. URL: <https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/D5%20Final%20Report%20PROFECY.pdf> (дата доступа: 10.03.2020).
- Gille S.* (2016). *Paprika, Foie Gras, and Red Mud: The Politics of Materiality in the European Union*. Bloomington: Indiana University Press.
- Hale D., Hale L. H.* (2003). China Takes Off // *Foreign Affairs*. Vol. 2. № 6. P. 36–53.
- Hofman A.* (2000). *The Economic Development of Latin America in the Twentieth Century*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Holquist P.* (2001). To Count, to Extract, and to Exterminate: Population Statistics and Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia // *Suny R., Martin T.* (eds.). *A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin*. Oxford: Oxford University Press. P. 111–144.
- Iliffe J.* (2007). *Africans: The History of a Continent*. Cambridge: Cambridge University Press.
- International Monetary Fund (2019). World Economic Outlook Database: October 2019. URL: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx> (дата доступа: 25.03.2020).
- Kalinovsky A.* (2018). *Laboratory of Socialist Development: Cold War Politics and Decolonization in Soviet Tajikistan*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kuhrt N.* (2014). Russia and Asia-Pacific: From «Competing» to «Complementary» Regionalisms? // *Politics*. Vol. 34. № 2. P. 138–148.
- Lee K. Y.* (1998). *The Singapore Story: Memoirs of Lee Kuan Yew*. Vol. 1. Singapore: Times Edition.
- Levi S.* (2017). *The Rise and Fall of Khoqand, 1709–1876: Central Asia in the Global Age*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Matveeva A.* (2013). Russia's Changing Security Role in Central Asia // *European Security*. Vol. 22. № 4. P. 478–499.
- Mignolo W.* (2014). The North of the South and the West of the East: A Provocation to the Question // *IBRAAZ*. November 6. URL: <https://www.ibraaz.org/essays/108/> (дата доступа: 25.03.2020).
- Müller M.* (2018). In Search of the Global East: Thinking between North and South // *Geopolitics*. Vol. 25. № 3. P. 734–755.
- Müller M.* (2019). Goodbye Postsocialism! // *Europe-Asia Studies*. Vol. 71. № 4. P. 533–550.
- Pannier B.* (2010). Turkmenistan to Spend Billions on Construction before 20th Anniversary. URL: https://www.rferl.org/a/Turkmenistan_To_Spend_Billions_On_Construction_Before_20th_Anniversary/1940093.html (дата доступа: 20.02.2020).
- Petitjean, P., Jami C., Moulin A. M.* (eds.). (1992). *Science and Empires: Historical Studies about Scientific Development and European Expansion*. Berlin: Springer.

- Pianciola N.* (2017). Stalinist Spatial Hierarchies: Placing the Kazakhs and Kyrgyz in Soviet Economic Regionalization // *Central Asian Survey*. Vol. 36. № 1. P. 73–92.
- Prior D.* (2019). A Qirghiz Verse Narrative of Rebellion and Exile by Musa Chaghatay uulu // *Chokobaeva A., Drieu C., Morrison A.* (eds.). *The Central Asian Revolt of 1916: Rethinking the History of a Collapsing Empire in the Age of War and Revolution*. Manchester: Manchester University Press.
- Prior D.* (2013). *The Šabdan Baatır Codex: Epic and the Writing of Northern Kirghiz History*. Leiden: Brill.
- Pop-Eleches G., Robertson G.* (2014). Democracy and Regime Change in the Global South: Causes and Trends // *Leibfried S. Huber, E., Lange M., Levy J. D., Stephens J. D.* (eds.). *The Oxford Handbook of Transformations of the State*. Oxford: Oxford University Press.
- Rakhimov M.* (2010). Internal and External Dynamics of Regional Cooperation in Central Asia // *Journal of Eurasian Studies*. Vol. 1. № 2. P. 95–101.
- Sabzalieva E.* (2015). Challenges in Contemporary Higher Education in Kyrgyzstan, Central Asia // *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education*. Vol. 19. № 2. P. 49–55.
- Sabzalieva E.* (2017). The Policy Challenges of Creating a World-Class University outside the Global «Core» // *European Journal of Higher Education*. Vol. 7. № 4. P. 424–439.
- Saparbekova A., Kocourková J., Kučera T.* (2014). Sweeping Ethno-demographic Changes in Kazakhstan during the 20th Century: A Dramatic Story of Mass Migration Waves. Part 1: From the Turn of the 19th Century to the End of the Soviet Era // *AUC Geographica*. Vol. 49. № 1. P. 71–82.
- Sartori G.* (1970). Concept Misformation in Comparative Politics // *American Political Science Review*. Vol. 64. № 4. P. 1033–1053.
- SCImago Research Group (2019). SCImago Institutions Rankings. URL: <https://www.scimagoir.com/rankings.php?year=2013/> (дата доступа: 12.03.2020).
- Segal G.* (1999) Does China Matter? // *Foreign Affairs*. Vol. 78. № 5. P. 24–36.
- Shelepayev N.* (2019). Whose Master Plan? Kisho Kurokawa and «Capital» Planning in Post-Soviet Astana, 1995–2000 // *Planning Perspectives*. Vol. 35. № 3. P. 505–523.
- Shelepayev N.* (2018). Astana as Imperial Project: Kazakhstan and its Wandering Capital City in the 20th Century // *Ab Imperio*. № 1. P. 157–189.
- Sjursen H.* (2006). *Questioning EU Enlargement: Europe in Search of Identity*. London: Routledge.
- Smele J.* (2015). *The «Russian» Civil Wars, 1916–1926. Ten Years That Shook the World*. Oxford: Oxford University Press.
- Sokol E.* (1954). *The Revolt of 1916 in Russian Central Asia*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Stronski P.* (2018). Integration Without Liberation in Central Asia. URL: <https://carnegieendowment.org/2018/12/29/integration-without-liberation-in-central-asia-pub-78160/> (дата доступа: 30.03.2020).

- Tasar E.* (2017). *Soviet and Muslim: The Institutionalization of Islam in Central Asia*. Oxford: Oxford University Press.
- Tlostanova M.* (2015). Can the post-Soviet think? // *Intersections: East European Journal of Society and Politics*. Vol. 1. № 2. P. 38–58.
- Trichet J.-C.* (2004). EU Enlargement: Challenges and Opportunities. URL: <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2004/html/sp041027.en.html> (дата доступа: 08.03.2020).
- Trubina E. et al.* (2020). A Part of the World or apart from the World? The Postsocialist Global East in the Geopolitics of Knowledge. Unpublished manuscript.
- Uyama T.* (2001). Two Attempts at Building a Qazaq State: The Revolt of 1916 and the Alash Movement // *Dudoignon S., Komatsu H.* (eds.). *Islam in Politics in Russia and Central Asia: Early Eighteenth to Late Twentieth Centuries*. L.: Kegan Paul. P. 77–98.
- Wallerstein I.* (1979). *The Capitalist World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zhou P., Leydesdorff L.* (2005). The Emergence of China as a Leading Nation in Science // *Research Policy*. Vol. 35. № 1. P. 83–104.

An East within “the East”? Central Asia between the “Strategic Essentialism” of Global Symbols and a “Tactical Essentialism” of National Narratives

Nari Shelekpayev

PhD, Associate Professor, Department of History, European University at St. Petersburg
Address: Gagarinskaya str., 6/1A, Saint Petersburg, Russian Federation 191187
E-mail: nshelekpaeve@eu.spb.ru

Aminat Chokobaeva

Postdoctoral Fellow, Nazarbayev University
Address: Qabanbay Batyr Avenue, 53, Nur-Sultan, Kazakhstan 010000
E-mail: aminat.chokobaeva@nu.edu.kz

In his article “In Search of the Global East: Thinking between North and South”, Martin Müller offers a number of radical, although not new, insights on the role that post-socialist states presumably play in the modern world, as well as their perception, and the production of knowledge about themselves in these countries. This article is a response to Müller’s text and a reflection on the historiography of Central Asia, an integral part of the “Global East”. In the first part of this text, we analyze Müller’s own approach and explain why it is problematic from a historical point of view. In the second part, we focus on the production of “external” and “internal” knowledge about Central Asia and propose another paradigm labeled as “tactical essentialism”, which we believe best describes the production of historical narratives in the region at the moment. Despite the differences between the two concepts, it seems to us that “strategic” and “tactical” essentialism are

essentially manifestations of the same process, namely, the attempts to oust the Soviet past from the ethos of post-socialist researchers (or replace it with other narratives).

Keywords: “Global East”, Central Asia, Soviet Union, post-Soviet space, transnationalism, nationalism(s), historiography

References

- Abashin S., Jenks A. (2015) Soviet Central Asia on the Periphery. *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, vol. 16, no 2, pp. 359–374.
- Abdalieva G. (2016) 1916: Uлуу Urkundun taryhyj baraktaryna kylchajuu [1916: A Look at the Historical Pages of the Great Urkun]. Available at: https://www.azattyk.org/a/kyrgyz_1916_uprising_and_exodus_by_abdalieva/27734883.html (accessed 10 March 2020).
- Adams L. (2008) Can We Apply a Postcolonial Theory to Central Asia?. *Central Eurasia Studies Review*, vol. 7, no 1, pp. 2–8.
- Aga Khan Development Network (2016) University of Central Asia Opens Its First Campus as Part of Broad Commitment to Fostering Social and Economic Development. Available at: <https://www.akdn.org/press-release/university-central-asia-opens-its-first-campus-part-broad-commitment-fostering-social/> (accessed 30 March 2020).
- Aird J. S. (1968) *Estimates and Projections of the Population of Mainland China: 1953–1986*, US Department of Commerce.
- Ajagan B. (ed.) (2012) *Golod v Kazakhstane: tragedija naroda i uroki istorii: Sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii* [Hunger in Kazakhstan: The Tragedy of the People and the Lessons of History: Proceedings of the International Scientific Conference], Astana: Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.
- Akerman J. R. (2017) *Decolonizing the Map*, Chicago: University of Chicago Press.
- Akkuly S. (2010) Tamozhennyj sojuz — jeto vtoroj Evropejskij sojuz ili popytka vosstanovit' SSSR [The Customs Union is a Second European Union or an Attempt to Restore the USSR]. Available at: https://rus.azattyq.org/a/custom_union_kazakhstan_russia_belarus/2101963.html (accessed 30 April 2020).
- Amanzholova D. (2009) *Na izlome: Alash v jethnopoliticheskoy istorii Kazakhstana* [At the Bend: Alash in the Ethnopolitical History of Kazakhstan], Astana: Tajmas
- Ambrosio T. (2017) Russia's Ukraine Intervention and Changes to American Perceptions of the Russian Threat: Executive Branch Testimony to the House and Senate Armed Services Committees, 2008–2016. *Journal of Global Security Studies*, vol. 2, no 2, pp. 104–122.
- Artz L., Murphy B. O. (2000) *Cultural Hegemony in the United States*, London: SAGE.
- Azizov U. (2017) Regional Integration in Central Asia: From Knowing-that to Knowing-how. *Journal of Eurasian Studies*, vol. 8, no 2, pp. 123–135.
- Babiš A. (2019) Speech by Prime Minister of the Czech Republic at the general debate of the 74th Session of the General Assembly of the UN, 25 September 2019. Available at: <https://www.vlada.cz/en/clenove-vlady/premier/speeches/speech-by-prime-minister-of-the-czech-republic-at-the-general-debate-of-the-74th-session-of-the-general-assembly-of-the-un-176391/> (accessed 8 March 2020).
- Bisenova A., Medeuova K. (2016) O problemah regional'nyh issledovanij v/po Central'noj Azii [On the Problems of Regional Studies in Central Asia]. *Anthropological Forum*, no 28, pp. 35–39.
- Bisenova A., Medeuova K. (2016) Davlenie metropolij i tihij nacionalizm akademicheskikh praktik [Metropolitan Pressures and Quiet Nationalism of Academic Practices.]. *Ab Imperio*, no 4, pp. 207–255.
- Blair T. (2004) The Prime Minister's Speech to the European Bank for Reconstruction and Development Annual Meeting in London. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2004/apr/19/eu.tonyblair/> (accessed 28 March 2020).
- Braudel F. (1979) *Afterthoughts of Material Civilization and Capitalism*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

- Bronevitskaya A. et al. (2018) *Alma-Ata: arhitektura sovetского modernizma, 1955–1991: Spravochnik-putevoditel'* [Alma-Ata: The Architecture of Soviet Modernism, 1955–1991: Reference Guide], Moscow: Garazh.
- Brophy D. (2016) *Uyghur Nation: Reform and Revolution on the Russia-China Frontier*, Cambridge: Harvard University Press.
- Brower D. (2003) *Turkestan and the Fate of the Russian Empire*, London: Routledge.
- Bulough O. (2014) Vladimir Putin: The Rebuilding of "Soviet" Russia. Available at: <https://www.bbc.com/news/magazine-26769481/> (accessed 22 February 2020).
- Cameron D. (2007) Post-Communist Democracy: The Impact of the European Union. *Post-Soviet Affairs*, vol. 23, no 3, pp. 185–217.
- Cameron S. (2018) *The Hungry Steppe: Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan*, Ithaca: Cornell University Press.
- Chioni-Moore D. (2001) Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique. *PMLA*, vol. 116, no 1, pp. 111–128.
- Chokobaeva A. (2014) Born for Misery and Woe: National Memory and the 1916 Great Revolt in Kyrgyzstan. *Nationalisms and Identity Construction in Central Asia: Dimensions, Dynamics, and Directions* (ed. M. Omelicheva), Lanham: Rowman and Littlefield, pp. 37–51.
- Chokobaeva A. (2017) Krasnye kyrgyzy: sovet'skaja istoriografija vosstaniya 1916 goda [Red Kyrgyz: Soviet Historiography of the 1916 Uprising]. *Ponjatija o sovet'skom v Central'noj Azii* [Concepts of the Soviet in Central Asia] (eds. G. Mamedov, O. Shatalova), Bishkek: Shtab Press, pp. 50–76.
- Chokobaeva A., Drieu C., Morrison A. (eds.) (2019) *The Central Asian Revolt of 1916: A Collapsing Empire in the Age of War and Revolution*, Manchester: Manchester University Press.
- Chuhovich B. (2019) Zapovednik (k arheologii muzeefitsirovaniya v gradostroitel'stve Uzbekistana) [Reserve (toward the Archeology of Museumification in the Urban Planning of Uzbekistan)]. Available at: <https://caa-network.org/archives/14980/> (accessed 1 April 2020).
- Chukhovich B. (2014) Orientalist Modes of Modernism in Architecture: Colonial/Postcolonial/Soviet. *Études de Lettres*, vol. 296, no 2-3, pp. 263–293.
- Clare K. G. et al. (1968) *Area Handbook for the Republic of Korea*, Washington: Foreign Area Studies.
- Cohen R., Radin A. (2019) *Russian's Hostile Measures in Europe: Understanding the Threat*, Santa Monica: RAND Corporation.
- Dadabayev T. (2010) Discourses on Integration in Central Asia: From Rhetoric to Practice. *Regional Cooperation in Central Asia: Obstacles, Incentives and Proposals*, Madrid: Fundación Alternativas, pp. 25–34.
- Demina N. (2020) Olimpijskie igry sociogumanitariev [Olympic Games for Socio-Humanities]. Available at: <http://www.sib-science.info/ru/news/olimpijskie-nauchnye-17022020/> (accessed 29 April 2020).
- Erofeeva T. (ed.) (2014) *Jepistoljarnoe nasledie kazahskoj pravjashhej jeliti 1675–1821 godov* [Epistolary Legacy of the Kazakh Ruling Elite of 1675–1821], Astana: ABDI Kompani.
- ESPON (2017) Inner Peripheries: National Territories Facing Challenges of Access to Basic Services of General Interest. Available at : <https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/D5%20Final%20Report%20PROFECY.pdf> (accessed 10 March 2020).
- Etkind A. (2013) *Vnutrennjaja kolonizacija: imperskij opyt Rossii* [Internal Colonization: Russia's Imperial Experience], Moscow: New Literary Observer.
- Fakhrutdinov Sh. (2020) Pol'sha sleduet konjunktury: Moskva osudila peresmotr istorii [Poland Follows the Conjunction: Moscow Condemned the Revision of History]. Available at : <https://www.gazeta.ru/army/2020/01/17/12914978.shtml> (accessed 28 March 2020).
- Federal Archival Agency of Russia (2020) Sobytiya v Semirech'e 1916 goda po dokumentam rossijskikh arhivov [Events in Semirechye in 1916 According to Documents from Russian Archives]. Available at: <http://semirechye.rusarchives.ru> (accessed 10 March 2020).
- Gabdullin B. (2015) *Velikoe kochev'e: o teh, kto stroil gosudarstvo Kazahstan: Istoricheskie jesse* [Great Nomadism: On Those who Built the State of Kazakhstan: Historical Essays], Astana: Khanteniri, pp. 139–154.
- Galuzo P. (1929) Vosstanie 1916 g. v Srednej Azii [Uprising of 1916 in Central Asia]. *Krasny Arkhiv*, vol. 34, pp. 39–94.

- Ganin A. (2008) Poslednjaja poludennaja jekspedicija Imperatorskoj Rossii: russkaja armija na podavlenii turkestarskogo mjatezha 1916-1917 gg [The Last Midday Expedition of Imperial Russia: The Russian Army to Suppress the Turkestan Rebellion of 1916-1917]. *Russkij sbornik. Issledovanija po istorii Rossii. T. 5* [Russian Collection: Studies in the History of Russia, Vol. 5], Moscow: Modest Kolerov, pp. 152–214.
- Gille S. (2016) *Paprika, Foie Gras, and Red Mud: The Politics of Materiality in the European Union*, Bloomington: Indiana University Press.
- Gorshenina C. (2007) Izvechna li marginal'nost' russkogo kolonial'nogo Turkestana, ili Voidet li postsovetskaja Srednjaja Azija v oblast' post-issledovanij [Whether the marginality of Russian Colonial Turkestan is Eternal, or Whether Post-Soviet Central Asia will Enter the Post-Research Area]. *Ab Imperio*, no 2, pp. 209–258.
- Gorshenina S. (2019) *Izobretenie koncepta Srednej/Central'noj Azii: mezhdru naukoj i geopolitikoj* [Invention of the Concept of Central Asia: Between Science and Geopolitics], Washington: George Washington University.
- Hale D., Hale L. H. (2003) China Takes Off. *Foreign Affairs*, vol. 2, no 6, pp. 36–53.
- Hofman A. (2000) *The Economic Development of Latin America in the Twentieth Century*, Cheltenham: Edward Elgar.
- Holquist P. (2001) To Count, to Extract, and to Exterminate: Population Statistics and Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia. *A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin* (eds. R. Suny, T. Martin), Oxford: Oxford University Press, pp. 111–144.
- Illiffe J. (2007) *Africans: The History of a Continent*, Cambridge: Cambridge University Press.
- International Monetary Fund (2019) World Economic Outlook Database: October 2019. Available at: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx> (accessed 25 March 2020).
- Ismagambetov T. (2018) Naciestroitel'stvo v Kazahstane: mezhdru kazahstanskim narodom i naciej [Nation-Building in Kazakhstan: Between the Kazakh People and the Nation]. Available at: <https://caa-network.org/archives/13450/> (accessed 29 April 2020).
- Ivanov I. (ed.) (2013) *Interesy Rossii v Central'noj Azii: sodержanie, perspektivy, pgranichiteli* [Russia's Interests in Central Asia: Content, Perspectives, Constraints], Moscow: Speckniga.
- Kalinovsky, A. (2018) *Laboratory of Socialist Development: Cold War Politics and Decolonization in Soviet Tajikistan*, Ithaca: Cornell University Press.
- Kindler R. (2017) *Stalinskie kochevniki: vlast' i golod v Kazahstane* [Stalinist Nomads: Power and Hunger in Kazakhstan], Moscow: ROSSPEN.
- Kotjukova T. (2016) *Vosstanie 1916 goda v Turkestane: dokumental'nye svidetel'stva obshhej tragedii: Sbornik dokumentov i materialov* [The Uprising of 1916 in Turkestan: Documentary Common Tragedy: A Collection of Documents and Materials], Moscow: Mardzhani.
- Kotlyakov V., Shuper V. (eds.) (2019) *Rossija v formirujushhejsja bol'shoj Evrazii* [Russia in the Emerging Greater Eurasia], Moscow: Kodeks.
- Kozybaev M., Abylhozhin Zh., Aldazhumanov K. (1992) *Kollektivizacija v Kazahstane: tragedija krest'janstva* [Collectivization in Kazakhstan: The Tragedy of the Peasantry], Astana: National Academy of Science Republic of Kazakhstan.
- Kudabaev Z., Gijo M., Denisenko M. (2004) *Naselenie Kyrgyzstana* [Population of Kyrgyzstan], Bishkek: National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic.
- Kudajbergenova D. et al. (2019) Kogda "pole" — tvoj dom: o feministskoj sub'ektnosti v Central'noj Azii [When the "Field" is Your Home: About Feminist Subjectivity in Central Asia.]. Available at: <https://www.opendemocracy.net/ru/kogda-pole-tvoi-dom-ru/> (accessed 22 April 2020).
- Kuhr N. (2014) Russia and Asia-Pacific: From "Competing" to "Complementary" Regionalisms?. *Politics*, vol. 34, no 2, pp. 138–148.
- Lee K. Y. (1998) *The Singapore Story: Memoirs of Lee Kuan Yew, Vol. 1*, Singapore: Times Edition.
- Levi S. (2017) *The Rise and Fall of Khoqand, 1709–1876: Central Asia in the Global Age*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Lolaeva S., Rjabov A. (2009) Srednjaja Azija v russkom i rossijskom vosprijatii [Central Asia in Russian and Russian Perception]. *Neprikosnovenny Zapas*, no 4, pp. 165–174.

- Masanov N., Erofeeva I., Abylhozhin Zh. (2007) *Nauchnoe znanie i mifotvorchestvo s sovremennoj istoriografii Kazakhstana* [Scientific Knowledge and Myth-Making from Modern Historiography of Kazakhstan], Almaty: Dajk-Press.
- Matveeva A. (2013) Russia's Changing Security Role in Central Asia. *European Security*, vol. 22, no 4, pp. 478–499.
- Mignolo W. (2014) The North of the South and the West of the East: A Provocation to the Question. *IBRAAZ*, November 6. Available at: <https://www.ibraaz.org/essays/108/> (accessed 25 March 2020).
- Morrison A. (2016) Central'naja Azija: Vspominaja i analiziruja vosstanie 1916 goda [Central Asia: Remembering and Analyzing the 1916 Uprising]. Available at: <https://russian.eurasianet.org/node/63501/> (accessed 17 March 2020).
- Morrison A. (2017) Central'naja Azija: "Velikiĭ shelkovyĭ put'" i "Bol'shaja igra" — lish' mify, dalekie ot real'nosti [Central Asia: "The Great Silk Road" and "The Great Game" are Just Myths, Far from Reality]. Available at: <https://russian.eurasianet.org/node/64596/> (accessed: 22 April 2020).
- MSU Faculty of History (2015) Novosti istoricheskogo fakul'teta MGU [News from the Faculty of History of Moscow State University]. Available at: http://www.hist.msu.ru/about/gen_news/7893/ (accessed 17 March 2020).
- Müller M. (2018) In Search of the Global East: Thinking between North and South. *Geopolitics*, vol. 25, no 3, pp. 734–755.
- Müller M. (2019) Goodbye, Postsocialism!. *Europe-Asia Studies*, vol. 71, no 4, pp. 533–550.
- Pannier B. (2010) Turkmenistan to Spend Billions on Construction before 20th Anniversary. Available at: https://www.rferl.org/a/Turkmenistan_To_Spend_Billions_On_Construction_Before_20th_Anniversary/1940093.html (accessed 20 February 2020).
- Petitjean, P., Jami C., Moulin A. M. (eds.) (1992) *Science and Empires: Historical Studies about Scientific Development and European Expansion*, Berlin: Springer.
- Pianciola N. (2017) Stalinist Spatial Hierarchies: Placing the Kazakhs and Kyrgyz in Soviet Economic Regionalization. *Central Asian Survey*, vol. 36, no 1, pp. 73–92.
- Pop-Eleches G., Robertson G. (2014) Democracy and Regime Change in the Global South: Causes and Trends. *The Oxford Handbook of Transformations of the State* (eds. S. Leibfried, E. Huber, M. Lange, J. D. Levy, J. D. Stephens), Oxford: Oxford University Press.
- Regnum (2013) Posol'stvo RF i Sojuz sootchestvennikov trebujut zapreta uchebnika "Istorija Kyrgyzstana: XX–XXI veka" [The Russian Embassy and the Union of Compatriots Demand a Ban on the Textbook "History of Kyrgyzstan: 20th — 21st Centuries"]. Available at: <https://regnum.ru/news/society/1625821.html> (accessed 2 April 2020).
- Prior D. (2013) *The Šabdan Baatır Codex: Epic and the Writing of Northern Kirghiz History*, Leiden: Brill.
- Prior D. (2019) A Qırghız Verse Narrative of Rebellion and Exile by Musa Chaghatay uulu. *The Central Asian Revolt of 1916: Rethinking the History of a Collapsing Empire in the Age of War and Revolution* (eds. A. Chokobaeva, C. Drieu, A. Morrison), Manchester: Manchester University Press.
- Rakhimov M. (2010) Internal and External Dynamics of Regional Cooperation in Central Asia. *Journal of Eurasian Studies*, vol. 1, no 2, pp. 95–101.
- Remnev A. (2011) Kolonial'nost', Postkolonial'nost' i "Istoricheskaja Politika" v Sovremennom Kazahstane [Coloniality, Postcoloniality and "Historical Politics" in Modern Kazakhstan]. *Ab Imperio*, no 1, pp. 169–205.
- Rubcov A. (2016) Mifologija velichija: kak v Rossii voskreshaetsja imperskaja ideja. [The Mythology of Greatness: How the Imperial Idea is Being Resurrected in Russia]. Available at: <https://www.rbc.ru/opinions/society/26/02/2016/56cf95f9a7947ed925e57de/> (accessed 19 March 2020).
- Ryskulov T. (1991) *Vosstanie kirgizov i kazahov v 1916 godu* [The Uprising of the Kyrgyz and Kazakhs in 1916], Bishkek: Uchkun.
- Sabzalieva E. (2015) Challenges in Contemporary Higher Education in Kyrgyzstan, Central Asia. *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education*, vol. 19, no 2, pp. 49–55.
- Sabzalieva E. (2017) The Policy Challenges of Creating a World-Class University outside the Global "Core". *European Journal of Higher Education*, vol. 7, no 4, pp. 424–439.
- Saparbekova A., Kocourková J., Kučera T. (2014) Sweeping Ethno-demographic Changes in Kazakhstan during the 20th Century: A Dramatic Story of Mass Migration Waves, Part 1: From the Turn of the 19th Century to the End of the Soviet Era. *AUC Geographica*, vol. 49, no 1, pp. 71–82.

- Sartori G. (1970) Concept Misformation in Comparative Politics. *American Political Science Review*, vol. 64, no 4, pp. 1033–1053.
- SCImago Research Group (2019) SCImago Institutions Rankings. Available at: <https://www.scimagoir.com/rankings.php?year=2013/> (accessed 12 March 2020).
- Segal G. (1999) Does China Matter?. *Foreign Affairs*, vol. 78, no 5, pp. 24–36.
- Shelepkayev N. (2018) Astana as Imperial Project: Kazakhstan and its Wandering Capital City in the 20th Century. *Ab Imperio*, no 1, pp. 157–189.
- Shelepkayev N. (2019) Whose Master Plan? Kisho Kurokawa and “Capital” Planning in Post-Soviet Astana, 1995–2000. *Planning Perspectives*, vol. 35, no 3, pp. 505–523.
- Sjursen H. (2006) *Questioning EU Enlargement: Europe in Search of Identity*, London: Routledge.
- Smele J. (2015) *The “Russian” Civil Wars, 1916–1926: Ten Years That Shook the World*, Oxford: Oxford University Press.
- Sokol E. (1954) *The Revolt of 1916 in Russian Central Asia*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Stronski P. (2018) Integration Without Liberation in Central Asia. Available at: <https://carnegieendowment.org/2018/12/29/integration-without-liberation-in-central-asia-pub-78160/> (accessed 30 March 2020).
- Sydykov E. (2012) Tjazelaja stranica v sud'be naroda [A Difficult Page in the Fate of the People]. Available at: <https://www.enu.kz/rector-blogy/zapisi/12131/> (accessed 30 March 2020).
- Sydykov E. (ed.) (2014) *Golod 1930-h godov v Ukraine i Kazahstane: voprosy istoriografii i podhody k issledovaniju problem: Sbornik materialov vystuplenij, dokladov i soobshhenij uchastnikov Mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoy konferencii* [Hunger of the 1930s in Ukraine and Kazakhstan: Issues of Historiography and Approaches to the Study of the Problem: Speeches, Reports and Messages of the Participants of the International Scientific and Methodological Conference], Astana: L. N. Gumilyov Eurasian National University.
- Tasar E. (2017) *Soviet and Muslim: The Institutionalization of Islam in Central Asia*, Oxford: Oxford University Press.
- Tlostanova M. (2015) Can the Post-Soviet Think?. *Intersections: East European Journal of Society and Politics*, vol. 1, no 2, pp. 38–58.
- Trenin D. (2019) Kul'turnaja karta rossijskoj geopolitiki: vozmozhnaja strategija Moskvy v Bol'shoj Evrazii [Cultural Map of Russian Geopolitics: Moscow's Possible Strategy in Greater Eurasia]. Available at: <https://carnegie.ru/2019/02/11/ru-pub-78328/> (accessed 29 March 2020).
- Trichet J.-C. (2004) EU Enlargement: Challenges and Opportunities. Available at: <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2004/html/spo41027.en.html> (accessed 8 March 2020).
- Trubina E. et al. (2020) A Part of the World or Apart from the World? The Postsocialist Global East in the Geopolitics of Knowledge (Unpublished manuscript).
- Uyama T. (2001) Two Attempts at Building a Qazaq State: The Revolt of 1916 and the Alash Movement. *Islam in Politics in Russia and Central Asia: Early Eighteenth to Late Twentieth Centuries* (eds. S. Dudoignon, H. Komatsu), London: Kegan Paul, pp. 77–98.
- Wallerstein I. (1979) *The Capitalist World Economy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Zhou P., Leydesdorff A. (2005) The Emergence of China as a Leading Nation in Science. *Research Policy*, vol. 35, no 1, pp. 83–104.

Глобальный Восток и глобус

Елена Трубина

Доктор философских наук, профессор, директор Центра глобального урбанизма,
Уральский гуманитарный институт, Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина
Адрес: просп. Ленина, д. 51, г. Екатеринбург, Российская Федерация 620075
E-mail: elena.trubina@gmail.com

Статья представляет собой развернутый отклик на текст Мартина Мюллера «Разыскивая Глобальный Восток», написанный на основе опыта ученого, специализирующегося на постсоциалистических реалиях и включенного в глобальную циркуляцию социально-гуманитарного знания. В ней идет речь о возможности рефлексии по поводу места постсоциалистической части мира в мире в целом с точки зрения общности, образованной теми, кто в постсоциалистическом пространстве живет, и теми, кто исследует его различные стороны. Обсуждается генеалогия дискуссий о Глобальном Юге и Глобальном Севере, принципиальных для таких дисциплин, как география (политическая, экономическая, гуманитарная), и городские исследования, а также формирование в политической истории второй половины XX века и в интеллектуальной истории этого периода концептуальной связи «развитие = Глобальный Юг». Утверждается, что Глобальный Юг активно обсуждается в дебатах географов, урбанистов и историков, а также в транснациональных, больших повествованиях о том, что происходит в мире и с миром. В то же время постсоциалистический мир (Мюллер предлагает для него название «Глобальный Восток») в этих повествованиях занимает незначительное место. «Развитие» (как бы по-разному и противоречиво оно ни понималось) применительно к той части «глобального», что образовано Восточной Европой, Россией и Центральной Азией, понимается как задача национальных правительств, решать которую нужно, следуя опробованному Западом опыту. В статье объясняются причины недостаточного понимания того, что значит этот регион сегодня, а также сложностей создания и популяризации о нем интеллектуальной продукции, в частности продолжающаяся постколониальная децентрация Запада как привилегированного места производства знания. Вывод статьи заключается в том, что исследований, в которых сталкивались бы разные, в том числе и «глобально-восточные», представления о глобальном, нужно гораздо больше.

Ключевые слова: Глобальный Восток, Глобальный Север, Глобальный Юг, глобус, «полушарная ошибка», транснациональные большие нарративы, внутренняя дифференцированность Глобального Востока

Люди — существа, устанавливающие глобусы и участвующие горизонты.

Питер Слотердайк

Люди повсюду, в очень разных условиях, спрашивают себя: где мы? Вопрос исторический, не географический. Через что мы проходим? Где мы? Куда нас занесло? Что мы потеряли? Как продолжать жить без правдоподобного видения будущего?

Джон Бергер

«Наш регион» извне и изнутри

Я пытаюсь понять, к какому именно миру принадлежу, когда разбираюсь с правилами заявок на зарубежные стипендии или оплаты регистрационного взноса на конференции. Есть программы, открытые для восточноевропейских и центральноазиатских ученых, но закрытые для России, и есть схемы оплаты взносов на большие конгрессы, отсылающие тебя к странам в Tier 2 или Tier 3. Страны могут быть сгруппированы по континентам, по уровню развития, по коррумпированности, и редко какая группа, в которой обнаруживаешь Россию, лестна для нашей страны. Понятно, что и зарубежные коллеги после Брекзита и при Трампе столкнулись с новыми границами, сузившими и без того скромный спектр академических возможностей. Сомнения по части того, в «развитых» или «развивающихся» странах они живут, им тоже свойственны, скажем, после посещения государственных медицинских клиник. Но уж, по крайней мере, на их «западную» или «северную» принадлежность никто не покусится (если они в развитом мире обосновались давно). Некоторые из них всю жизнь изучают Восточную Европу или Россию и входят в плотные профессиональные сети и сообщества историков, либо антропологов. Возможно, они реже, чем Мюллер и я, переживают что-то похожее на обиду, когда видят, что изучаемый ими регион слабо представлен в ключевых дебатах их профессиональной области. На иной крупной географической конференции можно услышать пять докладов о Боливии и ни одного — об Албании или Грузии. Ученые из Индии и Англии, Алжира и Франции и т. д. состоят в длительном и продуктивном диалоге, стремясь к пост- или деколониальному восстановлению справедливости, а с кем состоим в диалоге мы? «Мы» здесь — и те, кто в постсоциалистическом пространстве живет, и те, кто различные стороны постсоциалистической жизни исследует. Исследует, как правило, обходясь без того, чтобы искать для *всего* нашего общего региона место на академической и политической карте. Если ты русист — ты разговариваешь с русистами. Если специализируешься на Средней Азии, тебе тоже есть с кем поговорить. Есть общие форумы, главными из которых являются BASEES и ASEES. От современной албанской музыки до русско-украинского конфликта — многое и интересное обсуждается на таких конференциях экспертами по постсоциалистическому региону. Обсуждается между собой.

Мюллер же разбирает наши *общие* шансы на включение в более широкие обсуждения на конференциях и в журналах. В географии, которую Мюллер в этом тематическом выпуске представляет, это и дискуссии о радикальной переориентации в сторону деколонизации знания (Jazeel, 2019), планетарной урбанизации (Millington, 2016), о том, как понимать классиков (Kipfer et al., 2012), и ключевые понятия, будь то «масштаб» (Purcell, 2003) или «инфраструктура» (Angelo, Hentschel, 2015), или сравнивать перспективы в отношении антропоцена (Ahuja, 2016). Дискуссии о глобальном неравенстве (по крайней мере те, что довелось наблюдать на конференциях) отмечены иронией общего признания, что центральность Гло-

бального Севера, как бы она ни оспаривалась и не критиковалась, систематически воспроизводится. Разговоры о необходимости диалога между Глобальным Севером и Югом сопровождаются временами активной критикой «северного» лицемерия и обыкновения представлять Глобальный Север как «героического спасителя», который отсутствует в сценах насилия и страдания на Глобальном Юге, но присутствует в гуманитарной и экономической помощи этому региону (Orford, 2003: 85–87) (к противоречивой роли Глобального Севера в развитии других регионов я ниже вернусь).

В России различие Глобального Севера и Глобального Юга в академических дискуссиях почти отсутствует: к примеру, запрос на поиск таких источников в *elibrary* приводит лишь к нескольким двухстраничным тезисам (см., например: Гераскина, 2016). Многим поэтому могут показаться непонятными огорчения и призывы Мюллера, сформулированные на основе наблюдений над тем, как наш регион виден (и невиден) с «той стороны». «Та сторона» — это прежде всего глобальная англоязычная академия, в дискурсивном пространстве которой Глобальный Юг и Глобальный Север — популярные точки отсчета. Это также родная для этого молодого профессора университета Лозанны среда. Мюллер представляет ученых, которые создают теории различных городских и региональных процессов. Закончив вуз в Германии и продолжив обучение в Англии и США, он — городской, политический и экономический географ — специализируется на России и Восточной Европе, посвятив немало критических статей, в частности тому, как в этом регионе организуются мегасобытия. Мартин Мюллер в своих исследованиях пытается совмещать «взгляд снаружи» и взгляд «изнутри». Так, в послесловии к коллективной монографии об отношении Восточной Европы и Черной Африки к Европейскому союзу он с соавтором справедливо пишет о многих парадоксах, которыми отмечены действия этого наднационального образования, демократического по риторике, но крайне бюрократического по сути. В итоге «Европейский союз кажется разным из разных мест и разным людям больше, чем когда-либо прежде: красавица для одних, для других он — чудовище» (Bachmann, Muller, 2015: 188).

Еще одно важное предварительное замечание. Терминологические системы и теории, принятые научными сообществами в разных странах, сильно отличаются: отличаются, так сказать, онтологическая весомость и идеологическая инструментальность используемых понятий. Например, в центре дебатов в урбанистической теории и — шире — гуманитарной, экономической и политической географии находится реальный процесс — развитие городов (как часть развития мира). Развитие как реальный процесс обсуждается с пониманием того, насколько популярен «глобальный миф развития», как и попытки определить его универсально и однородно (Lorenzini, 2019: 170). «Развитие» также составило (и продолжает составлять) идеальную идеологию и легитимацию для целого ряда международных организаций во второй половине XX века. «Развитие» вместе с «недоразвитостью» вошло в политический и идеологический лексикон с тех пор,

как в 1949 году в инаугурационной речи президент Трумэн провозгласил «недоразвитыми» Азию, Африку и Латинскую Америку и поставил задачу расширения западного влияния на эти регионы посредством программ развития, включающих капиталовложения и подъем уровня жизни.

Научные сообщества (по обе стороны железного занавеса) разрабатывали способы трансляции успешных проектов из центральных в периферийные места мира и в целом вооружились понятием развития для обсуждения не-северных (не-западных контекстов). В урбанистической теории по этому поводу идут широкие дебаты: оспаривается доминирование порожденной Глобальным Севером (англо-американской, западной) *теории, объясняющей городские процессы* в рамках данного региона (Robinson, 2006), как и использование *теории развития* для социальных, экономических и прочих процессов на Глобальном Юге (Williams et al., 2009). Иными словами, для (уже развитого) «Севера» и (недоразвитого) «Юга» исторически использовались различные наборы теорий, и этот эпистемологический курьез сегодня активно обсуждается в ходе в том числе активной критики и городских теорий, и теорий развития.

«Международное развитие» как цель и предлог существования многих международных же организаций имело четкую географию — Глобальный Юг, Третий мир, т. е. Азия, Африка, Латинская Америка и острова Тихого океана. В недавней статье, ратующей за переход от «международного» развития к «глобальному», резонно говорится, что «неравенство между „развитыми“ и „развивающимися“ странами было подчеркнуто... в соответствии с макрогеографией мира, поделенного на две части (*по отношению к чему бывший Советский блок — как Второй мир — всегда неуклюже располагался*)» (Horner, 2020: 417; курсив мой). Иными словами, и в политической истории второй половины XX века, и в интеллектуальной истории этого периода сложилась нешуточная концептуальная связь: развитие = Глобальный Юг. Она сейчас тем активнее оспаривается, чем больше представителей Глобального Юга перебирается «на Север», но все же остается весьма популярной. Эта связь значима в двух отношениях: во-первых, Глобальный Юг активно обсуждается в глобальных дебатах географов, урбанистов и историков, т. е. он занимает большое место в транснациональных, больших повествованиях о том, что происходит в мире и с миром. Ниже я покажу, что постсоциалистический мир в этих повествованиях занимает незначительное место. Во-вторых, развитие (как бы по-разному и противоречиво оно ни понималось) также обсуждается применительно к Глобальному Югу и не обсуждается — к той части «глобального», что образована Восточной Европой, Россией и Центральной Азией.

В своей статье Мюллер также пытается осмыслить разные реакции коллег и студентов (а также отсутствие таковых) не столько на непосредственно изучаемые им процессы, сколько на регион, в котором эти процессы разворачиваются. Он предлагает подумать над тем, каким постсоциалистический регион предстает на Западе/Севере. Предложив назвать этот регион Глобальным Востоком, он пытается совместить разговор от имени некоторого «мы» и обсуждение масштаб-

ных географических понятий. Как это «мы» (и просто люди, и ученые, и практики, и тексты, и пространство мира, которое нам отвела история) представлено в академических дискурсах и в международной академической практике? На этот счет у каждого из читателей найдется анекдот-другой. Мне помнится ирония, с какой российский историк культуры, антиковед, переводчик, публикатор и комментатор греческих и латинских авторов Нина Брагинская на одной из конференций стипендиатов программы Фулбрайт (ах, были времена!) вспомнила, что ей довелось участвовать в американской конференции, посвященной античному роману. Разные были секции на этой конференции, и отведенная Брагинской называлась «Русские об античном романе». Пример из моего опыта: на первой для меня ежегодной конференции Американской ассоциации географов в 2007 году я представляла российские МИОНЫ (межрегиональные институты по общественным наукам) — неплохую в целом инициативу. Члены нашей междисциплинарной межуниверситетской делегации на секции, называвшейся «Российские МИОНЫ», энергично рапортовали о выжатом в Ростове подсолнечном масле и других важных подробностях российской жизни нескольким американцам и другим докладчикам этой секции. Если в первом случае Нину удивили особенности американской категоризации выступающих, то во втором формирование российской делегации на международную конференцию вполне отвечало логике тех, кто распоряжался финансированием МИОНов. То, за кого нас «держат», определяется во многом извне. Регулирующие идентичность категории формируют нас в качестве понятных другим субъектов, и почему бы, как предлагает Мюллер, не задуматься над тем, есть ли категории более общие, нежели национальные?

Мюллер в качестве рамки своего анализа избрал «Глобальные Север/Юг» и заявляет, что «нас» в этой рамке нет. В свою очередь, этой оппозиции нет в дискуссиях, идущих в Восточной Европе и России. Так, отечественные академические сообщества используют другие географические обозначения: у нас главным дискурсивным Другим является «Запад», а не «Север». Отличия между нами и этим Другим проводятся часто несимметрично: «мы» часто — Россия, т.е. одна страна, а он — обобщенный «Запад» (Жарков, 2019). Мюллер говорит о более широком «мы»: о регионе, включающем Центральную Азию, Восточную Европу и Россию как общности, где живут люди, объединенные специфическими опытом и интересами. Направление этого объединяющего жеста, мне кажется, очень значимо. Оно побуждает задаться вопросом о том, как возможен «наш» регион, «наше» пространство как общее пространство воображения и действия? Этот жест идет вразрез с основанным на нации самопониманием людей. А именно такой вариант самопонимания поддерживается и преобладающими интеллектуальными традициями, и националистической пропагандой (Goode, 2020; Zhuravlev, Ishchenko, 2020). Поддерживается он, чего греха таить, и проблематичной внешней политикой России, и старыми и новыми историческими травмами. Еще, надеюсь, появятся тексты, в которых будет разобрана связь между современными международными отношениями «внутри» и «снаружи» бывшего Восточного блока и ин-

теллектуальной историей. Так, не раз и не два от коллег, базирующихся в Польше или Латвии, я слышала, что сейчас просто не время заниматься рефлексией того, что мы как общий и большой регион собой представляем: уж слишком глубоки расколы внутри него.

Но я все же предлагаю данную журнальную дискуссию считать поводом для общей рефлексии о разделяющей и противопоставляющей природе географических наименований и коллективных описаний и — шире — о том, как работает географическое воображение. Категории, отделяющие регионы мира друг от друга, важны и нужны, и упомянутое воображение порождает классификации, основанные не только (и не столько) на географии, но и на политической истории и экономических возможностях, эмоциях и предрассудках, надеждах и разочарованиях.

Глобус в эпоху GPS и Google Maps

Лондонская полька — художница Янетка Платун во время своего пребывания в Университете Квин Мэри сделала из меди метровый глобус, поместила внутрь четыре видеокamеры и отправила его кататься по улицам Лондона (Platun, 2020). Дело было в 2016 году, когда забавные анекдоты о польских водопроводчиках все сильнее совмещались с угрюмой враждебностью по отношению к восточноевропейским мигрантам (Garapich, 2016). Перемещаемый сподвижниками, друзьями и сочувствующими, глобус за месяцы своего лондонского мобильного представления обшарпался и износился. Множащиеся на его поверхности царапины символизировали, по-моему, тот грустный факт, что редкий опыт миграции обходится без травм. Камеры записывали рассказы разных людей о том, как они сами стали «перекати-поле», и о том, что значит для них связь планеты и дома, большого и малого, некогда и сейчас. Глобус прокатили по улицам, где жили родители Янетки, и довезли до Гринвича. Нулевой меридиан, соединенный с телескопом, с середины XIX века служит во всем мире ориентиром — географическим и темпоральным — точкой отсчета временных зон. Глобус также завезли в штаб-квартиру Королевского географического общества навестить его «коллег»: там хранятся редкостные старые глобусы. Эта институция — плоть от плоти британских имперских завоеваний: тут закреплялись репутации и велись споры о точном местоположении городов, открытых или построенных в далеких колониях. Медный шар даже слетал в Индию, где Янетка приняла участие в семинаре по созданию глобусов (Sheringham et al., 2020). Встроенные в скульптуру камеры время от времени записывали происходящее, фиксируя случайные сюжеты городской жизни.

Особая солидарность, которую я чувствую с этим проектом Янетки, объясняется не только тем, что один из векторов идентичности художницы — Восточная Европа. Мне нравится, как она освоила своим проектом Лондон, включая средоточия империи — Гринвич и штаб-квартиру Королевского географического общества. Все понимая про нагруженность Гринвича и Южного Кенсингтона (где штаб-квартира) имперскими смыслами, я и к тому и к другому месту все же от-

ношусь с большой нежностью: в Гринвиче красиво, а в штаб-квартире Общества каждый год проходят полезные конференции географов. Художница Платун, с одной стороны, амбициозна: связанная с глобусом образность основательно нагружена тяжелыми, противоречивыми, экспансионистскими ассоциациями. Янетка не мелочится: ее проект — это побуждение к диалогу с глобусом и всем тем, что этот непростой шар олицетворяет. С другой стороны, она верна специфическому опыту, в частности переживаниям своих родителей, которые еще до расширения Европейского союза перебрались в Англию. Культурный капитал Янетки поэтому шире, нежели тот, которым обладают поляки, переехавшие в Шеффилд из Познани в середине 2000-х годов. Он позволяет ей видеть множество нитей, которыми новые восточноевропейские мигранты связаны с теми, кто появился в Великобритании десятилетия назад. Приехавшим раньше, справедливо считают многие, — проще: они что-то тут нажили. Приехавшие только что — часть массовой миграции из Восточной Европы, в результате которой Болгария, Литва, Польша обезлюдели. Янетка, с одной стороны, во всеоружии арт-приемов, которыми снабдила ее разнообразная и насыщенная культурная сцена Лондона: так, она остроумно переосмыслила в своем проекте историю глобусов как материальных и культурных объектов. С другой стороны, понимая, что она — отнюдь не первая, кто проблематизирует образы дома и мира, художница все же приглашает сограждан снова и снова вдуматься в эту связь: мир, дом и ты. Параллель между ее проектом и проектом Мюллера — в приглашении искать ответ, что этот глобус такое и где твое на нем место, пусть даже у Мюллера под этим местом чаще всего понимаются страницы хороших англоязычных географических журналов.

«Универсальная иконографическая понятность» глобусов (Lippincott, 1999) складывалась постепенно. Позволю себе очень краткий экскурс. Они были первоначально металлическими и деревянными, пока Вальдсемиллер и Меркатор не революционизировали картографию, но сделали это очень пристрастно: карта Меркатора в 1569 году закрепила символически и политически триумф Запада, изобразив Европу большей, чем она есть, за счет, понятно, других континентов (Brotton, 1997: 169). Европейские державы долго набирали колонизаторские силы, и глобусы и карты (и гобелены) были и научными инструментами и перформативными актами, воплощая претензии на территории, пряности, дерево, металлы и торговые пути.

Учебные пособия, наглядные модели, предметы роскоши — глобусы быстро стали символами власти. В гольбейновских «Послах» изображены небесный и земной глобусы, и можно даже рассмотреть, что на земном на первом плане изображена Европа, она ярче всего освещена. Свет и тьма, познанное и неизвестное, понятные «наши» люди и страшные «драконы» отдаленных земель — эти противопоставления, обыгранные Гольбейном, остаются до сих пор с нами, достаточно почитать свежий выпуск New York Times. Возможно, это удобная человекообразность глобуса и то, что его можно было взять в руки и покрутить, объясняют популярную ассоциацию глобуса с мировым господством и с просвещением.

Колонизаторы привозили глобусы в построенные ими школы, чтобы исправить наивные представления местных, по которым Индия или Мексика были в центре мира. Ученикам давали покрутить глобус, чтобы полюбоваться тем, как много на свете стран, а поскольку глобусов на все школы не хватало, то учителя для формирования современного географического сознания прибегали к сферическим заменителям, к примеру, фруктам (Ramaswamy, 2002: 180).

Культургеограф Денис Косгроув, поставив вопрос о последствиях для Запада понимания Западом же планеты Земля как «единой сферической формы» (Cosgrove, 2001: ix–x), ответы ищет в истории. Он подробнейшим образом анализирует, как именно образы глобуса составили и олицетворили особое западное мировоззрение — «современный глобализм». Косгроув выделил девять центральных образов глобуса — имперский, поэтический, классический, христианский, океанский, визионерский, эмблематический, просвещенческий, современный и виртуальный. К примеру, в XVIII веке, когда мореплаватели устремились в «океанское глобальное полушарие», просвещенческий глобус стал океанским (Cosgrove, 2001: 12). Предпринятая культурным географом картографическая генеалогия позволяет показать, как плотно были переплетены представления о единстве человечества и образы Земли как глобуса. В то же время, подчеркну еще раз, помещенная на глобус история понимания пространств — весьма пристрастна. Глобус кругл, история человечества едина, но за этими мантрами — монополизация идей универсальности и греческие представления о формальном порядке и красоте космоса, приведшие к евроцентристской модерности. Западная модерность веками преподносилась в качестве универсальной. Глобус позволял вглядываться в Землю на расстоянии, и это вглядывание тесно переплетено с имперскими притязаниями.

Проводя параллель между восторгами экипажа Apollo и учениями римских стоиков, Косгроув подчеркивает, что это вглядывание с расстояния — инструмент рефлексии и напоминание о незначительности повседневных забот и войн за территорию. Помогут ли такие напоминания в наши дни, когда в рекламе изобильны «глобальные» образы, когда премия «Золотой Глобус» — часть функционирования креативных индустрий, когда надувные или подсвеченные глобусы можно купить в любом книжном? Запад и поныне имеет на глобус историческую монополию, у него есть власть описывать «других», и преобладающие варианты деления мира на части сложились также там.

«Полушарная ошибка»

Мюллер строит свою критику преобладающей географической оптики на следующем доводе: «Различение богатого, могущественного Глобального Севера и бедного, менее сильного Глобального Юга — пожалуй, наиболее влиятельный способ категоризации мира и инструмент размышлений о глобальных различиях сегодняшнего дня» (Мюллер, 2020: 20). В устных выступлениях Мюллер использует более простой критический ход. Он говорит о том, что значительная часть геогра-

фической продукции и географического воображения страдает от «*полушарной ошибки*» (состоящей в убеждении, что «Север + Юг = Земной шар»). Отмеченное Мюллером проблематичное уравнение, в самом деле, часто прослеживается в современной литературе, к примеру, как синонимы упоминаются «не-западный мир, или Глобальный Юг» (Chatterjee, 2017: 1).

Как этот способ категоризации возник и приобрел популярность и почему эта «ошибка» столь распространена — отдельные большие и малоисследованные вопросы, но здесь стоит вспомнить вот что. Прошло сорок лет с тех пор, как созданная Всемирным банком развития Независимая комиссия по вопросам международного развития опубликовала доклад немецкого канцлера Вилли Брандта (Brandt, 1980), проиллюстрированный картой, на которой мир изображен разделенным на богатую северную и бедную южную части на основании разницы в валовом внутреннем продукте (Wikipedia, Commons). В тексте доклада признавалось, что предлагаемое деление на бедных и богатых, развитых и развивающихся — упрощение (Ibid.: 22–23), но в качестве маркеров идентичности эти категории (и само противопоставление) закрепились очень прочно. В этот — 1980 год в Польше возникла «Солидарность», в Москве прошла Олимпиада, в Чехословакии читали «Хартию-77», в Югославии после смерти Тито начался резкий рост цен, а Брежнев и Кадар в СССР и Венгрии приближались к финалу своего правления. Однако закрепленная в докладе и карте Брандта политика «развития» не только выстраивалась независимо от этих эпизодов истории Восточного блока, но и красноречиво его игнорировала. Севером эта политика обозначалась как международная «помощь» Югу. Нужно обратиться к генеалогии проблематики международного развития в контексте неолиберальной глобализации, чтобы понять, как складывалось проблемное поле, объединившее Глобальные Юг и Север, но не включившее в себя Восток.

Эпизод с картой Брандта правомерно можно счесть лишь одним из множества вариантов риторики и легитимации программ международного развития, но я предлагаю сделать его отправной точкой размышления о месте Глобального Востока в *макроскопической*, по выражению антрополога Эрика Вульфа, истории и в международной политической экономии. Усилиями think tanks и агентств по международному развитию складывается картина (и карта) глобализации, неравномерно разворачивающейся, имеющей своих лидеров и своих навсегда проигравших или вовсе неназванных неудачливых участников. Но работ, в которых бы с сочувствием и вниманием к нашему региону *в целом* была дана картина его включенности (или причин выключенности из) в транснациональные экономические, культурные и т. д. процессы, очень мало (Drahokoupil, 2007).

Вернемся к 1980 году, в котором идея и образ поделенного на Глобальный Юг/Север мира начали путь к существующему и до сего дня доминированию. Этот год был началом десятилетия, в ходе которого продолжался переход от фордистской к постфордистской экономике, политическая и экономическая ответственность спускалась от центральных правительств вниз, в города и провинции, а полити-

ческая и экономическая власть переходила вверх — к растущему числу транснациональных организаций (одной из которых и была упомянутая комиссия) и корпораций. Начало «тэтчеризма» в Великобритании (1979) и «рейганомии» в США (1980), последствия нефтяного кризиса, деиндустриализация и рецессия означали начало неолиберальной эры. Эта эра была отмечена выходом на первый план ориентированных на спекуляцию и сверхприбыли рынков финансов, полностью оторванных от местных контекстов и интересов: «Взрывной рост числа новых монетарных инструментов и рынков, поддержанный все более изощренными средствами планетарной координации и пространственно-временной компрессии, позволили финансовому порядку достичь такой степени автономии от „реального производства“, которой не припомнит история современной политической экономии» (Comaroff, Comaroff, 2002: 784). Включение граждан в «повседневную жизнь глобальных финансов» (Langley, 2007) сопровождалось тем, что и себя люди стали понимать как активы, которыми следует эффективно распоряжаться. Риски и ответственность становились личной проблемой по мере того, как уменьшались предоставляемые государством льготы и общественные блага (я вернусь к этому ниже, разбирая идеи белорусских авторов Мацкевича и Щитцовой).

На Глобальном Юге к тому времени уже давно экспериментировали с «шоковой терапией». Всемирный банк и Международный валютный фонд, руководствуясь дискурсами развития и помощи, навязали долговые обязательства Латинской Америке, Африке и некоторым странам Азии. В ходе неолиберальной глобализации была переделана Международная финансовая система «нового империализма» (Harvey, 2003). В 1982 году долговой кризис был на пике, в Латинской Америке 1980-е оказались «потерянным десятилетием», а в Африке доходы населения в среднем упали на 30%. Бедное население стран Глобального Юга продолжало нести бремя реструктуризации экономики, тогда как элиты этого региона помещали свои активы в американские банки. В рамках «социалистической протоглобализации» промышленные и финансовые связи стран Восточного блока и западных транснациональных корпораций также расширялись (Pula, 2018), совсем скоро (в 1990-е) обсуждаемый нами постсоветский мир станет частью «нового империализма». Сплетенная с либеральными дискурсами демократии и прав человека неолиберальная экономика воцарится и там: «Открытие рынков капитала в большинстве стран Латинской Америки и Африки, некоторых странах Азии и в бывшем Советском блоке привело к массовому перенаправлению избытка капитала в США... открытие рынков было очень привлекательным для классов собственников в этих странах, позволяя им переводить свои активы на Уолл-стрит и в другие финансовые центры, нежели рисковать своим богатством, вкладывая деньги по месту жительства» (Hart, 2010: 127).

Эта цитата из статьи экономиста и географа Джилиан Харт, которая свое знание Южной Азии и Южной Африки положила в основу критики дискурсов развития и глобализации, важна соположением процессов в «бывшем Советском блоке» и в иных частях мира. Таких параллелей, критически проведенных между нашим

и иными регионами, по-моему, остро недостает. Я имею в виду то, что бывший Советский блок часто обойден стороной не только в глобальной географии (о чем пишет Мюллер). В стремительно растущих дисциплинарных полях «мировой истории» (world history), т. е. глобальной и транснациональной, и международной политической экономии, роль, значение и место постсоветского региона *в целом* также почти не обсуждается. В то же время в посвященных XIX веку такого жанра работах относящиеся к Советскому блоку страны и составляющие его части (Центральная Азия, Восточная Европа, Россия) рассмотрены весьма подробно (Osterhammel 2014; см. также: Golden, 2011). Между тем разворачивающиеся в этом регионе сегодня процессы не менее значимы, нежели, скажем, в Китае (разбираясь в глобальной схеме сторон света, Мюллер, увы, не касается проблемы того, как быть с Китаем).

Приведу еще один «синхронизирующий» аргумент: «Отстраненная позиция богатых европейских государств, не склонных к масштабным военным вмешательствам в международные дела, осторожное отношение ООН к интервенциям, кроме вызванных «гуманитарными катастрофами», постсоветский «транзит» и переходное положение Китая как экономической и военной силы побудили некоторых политиков к оппортунистическому использованию власти Соединенными Штатами для преследования непосредственных и долговременных целей» (Pomper, 2005: 25). Если две эти цитаты (из статей географа Харт и историка Помпера) счесть очень кратким синопсисом возможного транснационального исторического повествования о последних десятилетиях, то понятно, что оно бы представило интересный контраст более привычным вариантам истории о трех сверхдержавах и «сателлитах» одной из них (Cox, 2017).

В 1990-е Гайятри Спивак (Spivak, 1999) и Нэнси Фрезер (Frazer, 1995), преследуя свои концептуальные цели, весь мир и наступивший век назвали «постсоциалистическим». Но в подавляющем большинстве научных нарративов «о мире в целом» постсоциалистическая его часть представлена весьма скромно. В журналах, освещающих мировую историю, она порой обозначена как «восточная периферия Европы». Тропы «изъяна», «разрыва» и «неудачи» часто встречаются в названиях статей и книг (Mendelson, 2001; Rutland, 1997; Zweynert, 2019), а «развитие» — будь это идея, цель или деятельность — обсуждается, как правило, применительно к другим регионам. По отношению к Восточной Европе, России и Центральной Азии сложился дискурс, в котором развитие мыслится как задача правительств и как деятельность, которую следовало бы осуществлять по опробованным западным рецептам. Приведу в качестве примера книгу Ивана Крастева и Стивена Холмса «Погасший свет: почему Запад проигрывает в бою за демократию?» (Krastev, Holmes, 2019). Эксперт венского IWM (Института исследований человека) и профессор права Нью-Йоркского университета, как явствует из названия книги, главным героем происходящего видят Запад. От его имени и ему самому (книга опубликована по-английски) они объясняют, какими защитными реакциями в Восточной Европе и России обернулись «глобальная взаимозависимость и не-

остановимое распространение западных социальных и культурных норм» (Ibid.: 167). Оставив в стороне имеющуюся историческую, географическую и экономическую литературу, но щедро цитируя литературу художественную и массмедиа, а также не проводя никаких собственных исследований, авторы основывают свой нарратив о неудавшейся попытке постсоциалистических стран симитировать Запад на хлестких и крайне проблематичных метафорах, которые сделали бы честь советологам из гарвардского Центра Дэвиса. С их точки зрения, завершение холодной войны подготовило «геополитическую сцену» для представления, напоминающего «Пигмалиона» Шоу: «оптимистическую дидактическую пьесу, в которой профессору фонетики за короткое время удалось научить бедную цветочницу разговаривать как королева и чувствовать себя как дома в приличной компании» (Ibid.: 6). Увы, провозглашают авторы, миру суждено было увидеть другую инсценировку — «Франкенштейн» Мэри Шелли: «Завидуя недостижимому счастью, дефективный монстр обратился против друзей и семьи своего создателя» (Ibid.). Объясняя аффекты правительств и населения «ударом по национальному достоинству» (Ibid.: 73–74), авторы рисуют страны «нашего» региона съеживающимися (теряющими население) нациями, которые реагируют на унижение «агрессивным изоляционизмом» (Ibid.: 122–123). Добавлю лишь, что я дописывала этот текст летом 2020 года. Среди множества тогда случившихся драматических вещей упомяну запрет президента Дональда Трампа на выдачу американских рабочих виз нескольких типов до конца года. Конечно, «агрессивный изоляционизм» в контексте пандемии приобретает множество непредвиденных авторами значений, но все же полное игнорирование в книге, вышедшей в 2019 году, проблем, переживаемых имитируемым «образцом» — Западом, — либо сильно натянутое во многих местах их объяснение зловердным влиянием Восточной Европы и России крайне огорчает.

Вернусь к своему аргументу о том, что развитие понимается как задача правительств региона, решать которую нужно, следуя опробованному Западом опыту. Если действия, предпринятые по отношению к бывшему Восточному блоку международными фондами, редко становятся предметом критики, то действия национальных правительств обсуждаются (и осуждаются) систематически. Это делается, во-первых, в рамках теории модернизации (Goetz, 2001; Connolly, 2011; Gaddy, Ickes, 2013) (я вернусь к этому тезису в главке о трех мирах), и во-вторых, теорий зависимости от предыдущего пути развития (path-dependency) (Dörrenbächer et al., 2000; Inglot, 2016), а в-третьих (и это самое существенное), они обсуждаются либо на примере одной страны, либо лишь нескольких стран Центральной и Восточной Европы (Drahokopil, 2007). Далее, если мир транснационален и глобализован, то и экономика, и культура региона являются результатом сложной связи внутренних и внешних факторов, однако его анализ ведется по преимуществу на основе факторов внутренних. Этот недостаток закономерен был подвергнут критике (Melegh, 2006) и только совсем недавно частично устранен в книгах международных политических экономистов (Bohle, Greskovits, 2012; Pula, 2018). Но даже

в этих обсуждающих включенность стран региона в глобализацию книгах недостаток имеющихся эмпирических данных и преобладающие дискурсивные рамки приводят к «усилению западнцентристских историй, в которых используемые переменные показывают Восток всегда уже недорабатывающим, пусть и по-разному, и в которых Запад функционирует как глобальный контекст для Востока (но никогда не наоборот), а колониальные и постколониальные ресурсы западных рыночных экономик вчитаны в их внутренний потенциал и направление развития» (Gille, 2019: 85). Венгерско-американский социолог Жужа Гилле (я коснусь другой ее работы ниже) формулирует два важных момента: во-первых, затушеванность активного и агрессивного использования внешних ресурсов Западом в изображении общей, победной и «своими силами» осуществленной модернизации; и во-вторых, воспроизводство дискурсивных ходов, отводящих Глобальному Востоку роль вечного неуспевающего ученика Севера/Запада (либо монструозного имитатора в представлении Крастева и Холмса).

Между тем в таких дисциплинах, как мировая, или глобальная (Sachsenmaier, 2011), а также энвайронменталистская история, привычный нам нарратив истории модернизации, в центре которой — европейская индустриализация, — подвергается частичному пересмотру (Vries, 2008). Если прежнее поколение экономических историков во главе с Эрихом Хобсбаумом задало образец масштабного исторического повествования, в котором генератором изменений является индустриализация (моделью которой опять же является Запад), то те историки, кто использовал для своих версий всемирной истории опыт и последствия колонизации, сделали акцент на других источниках изменений (демографии, государстве, дискурсах, культуре) и на их полицентричности (Bayly, 2003). Аргументы из мировой истории могли бы побудить пересмотреть и историю социалистической модернизации с привычным фокусом на индустриализации. Более того, мы в Восточной Европе, Средней Азии и в России выучили и приняли близко к сердцу вдохновенные рассказы о западной модерности, т. е. о том, как в Европе и в целом на Западе научные и экспериментальные методы были применены к созданию технологий, открытые социальные структуры способствовали свободному обмену идеями, а инструментальная рациональность привела к взрывному росту инноваций. Эти рассказы историками сейчас проблематизированы, потому что заслоняют колонизацию и рабство как столь же значимые черты европейской модерности, что и рациональность и инновации (Therborn, 2003; Preston, 2013). Мы сегодня лучше понимаем, каким образом «хайекианские» нарративы об уникальном наборе обстоятельств, приведших в Западной Европе и США к установлению главенства права, соревновательных выборов и открытости экономики, нарастанию свободы и богатства, а главное, соответствия между политической и экономической свободой, составили фон для интеллектуальной продукции «транзитологии» (McFaul, 1999; Kokushkin, 2011). В то время как история самого Запада активно пересматривается специалистами по всемирной истории, ее упрощенная (и для Запада, безусловно,

лестная) версия продолжает циркулировать в производстве научной продукции о «нашем» регионе.

«Транснациональные» масштабные нарративы, в которых Глобальный Восток был бы описан диахронически и синхронически с другими регионами, еще появятся. Пока же остается лишь недоумевать, когда, скажем, в книге о глобальной интеллектуальной истории из всего богатого наследия Восточной Европы, России и Средней Азии удостоен упоминания только русский анархизм (Moyn, Sartori, 2013: 232). В будущих нарративах увлекательно было бы прочитать, как регион в целом участвовал в разнообразных и долговременных обменах — миграционных, торговых, культурных, идейных. Пока, как кажется, нужный для создания таких нарративов междисциплинарный диалог между географами и антропологами, демографами и представителями естественнонаучного знания еще только складывается.

«Три мира» в аналитике и в опыте

Критикуя фундаментальное упущение карты Брандта («Север/Юг без Востока»), Мюллер реалистически признает ее доминирование, но в то же время справедливо отмечает ее абсурдность. В самом деле, почему западные организации, которые сочли разделение «Север — Юг» более для себя важным, нежели «Запад — Восток», Запад, переименовав, сохранили, а Восток проигнорировали? Международники связывают это с нарастанием в 1970–1980-е годы конфликтов в ООН по поводу международной помощи Севера Югу (Lorenzini, 2019: 5), затмивших в глазах принимавших решения приоритеты холодной войны. По-моему, карта мира Брандта представляет собой предельный случай тенденциозности политического и экономического картографирования. Мы привычно повторяем, что мир изменился после 1989 года, но насколько эта карта позволяет это учесть? Скажут, что можно ведь обойтись другими картами, на которых Глобальный Восток представлен совокупностью старых и новообразованных стран, но *где он в мире и по большому счету и целиком?* В последней главе этого эссе я хочу остановиться на том, как воображаемое и аналитическое структурирование большого мира проявляется в опыте тех, кто живет на Глобальном Востоке. Пережив резкие исторические изменения и слом непрерывности жизни и отдавая себе отчет, что полностью осознать, что же события 1990-х значили в ходе мировой истории, невозможно, мы понимаем и то, что между ходом этой истории и нами есть большая дистанция, но все же спрашиваем: где мы на глобальной карте и на глобальной «стреле времени»?

Сложность обсуждения взаимодействия Глобальных Севера и Юга связана с тем, что эти категории тесно связаны с целым рядом других (Три мира, развивающиеся, слаборазвитые и т.д. страны). Типология «трех миров» (развитого Первого, социалистического Второго и развивающегося Третьего), как и типология «развивающихся», «недоразвитых», «слаборазвитых» регионов и стран мира, вос-

ходящая к упомянутой выше доктрине Трумэна (Сох, 1990), строились, во-первых, на исключении помех превосходству Северной Америки в мире, и во-вторых, на допущении, что рост и развитие — нормальные и всегда необходимые процессы (Трубина, 2013). Совпадение интересов людей, определявших западную политику развития и западных социальных и гуманитарных наук, а также параллельное (и часто взаимосвязанное) протекание связанных с холодной войной и деколонизацией процессов, отразились в том, что все понятия, фиксирующие групповые репрезентации или глобальные регионы, с одной стороны, нацелены на то, чтобы деколонизованного Другого, назвав, зафиксировать, а с другой, воспроизводят колониальные традиции принижения Другого и западного самовознесения. В любом месте идеологического спектра была весьма сильной зависимость от предыдущих способов воображения Другого и рассуждения о нем. Не случайно эти типологии больше говорили о том, что эти регионы «часто использовались скорее нормативно, чем аналитически» (Tomlinson, 2003: 307), и скорее идеологически, чем научно, а также скорее символически, чем географически.

Историк Карл Плетч приводит типологию трех миров в качестве «примера примитивной классификации», которая способствовала популярности теории модернизации. Схема объединяет три мира, но строится на двух бинарных оппозициях — между традиционным и современным, и между коммунистическим и свободным современным: «Третий мир — мир традиции, культуры, религии, иррациональности, недоразвития, перенаселенности, политического хаоса и так далее. Второй мир современен, технологически изощрен, достаточно рационален, но авторитарен (или тоталитарен), репрессивен и в конце концов неэффективен и обеднен зараженностью идеологическими догмами и отягощен идеологически мотивированной социалистической элитой. Первый мир совершенно современен, средоточие науки и утилитаристского принятия решений, технологичен, эффективен, демократичен, свободен — короче, естественное общество, неомраченное религией или идеологией» (Pletsch, 1981: 571–572). В этой не без иронии описанной ученым идеал-типической схеме заложена сильная телеология: все общества должны модернизироваться. Одни это уже сделали, другим это предстоит, и дело только в том, удачной или нет будет эта модернизация, т.е. по «правильной» ли она пойдет схеме. Модель прогресса задана капиталистической модерностью, и социальные науки, мобилизованные холодной войной, будут несколько десятилетий идеализованную модель западного капиталистического развития использовать для оценки не-западных миров, в том числе и постсоветского. Плетч описывает и разделение труда между научными дисциплинами: социология и экономика анализируют совершенный Первый мир, советология и в целом *area studies* — Второй, антропология — Третий. Финские ученые Суви Салминиеми и Анни Кангас показывают, как это разделение и в целом идеология трех миров воспроизводятся в транзитологических работах. Они критикуют исследования постсоциализма за ограничивающее оптику ученых воспроизводство идеологии трех миров. Основанный на идее полной несовместимости капитализма и социализма, нарратив

об одностороннем движении неолиберальных идей из Первого мира в бывший Второй проявляется в следующем. Понимая рост и прогресс по преимуществу неолиберально, т. е. экономически, эксперты по Восточной Европе и России (Аслунд, Шлейфер, Трейсман), опираясь на неоклассическую экономику, пропагандировали свободный рынок как основу реформ, а когда реформы не вполне удались, в качестве главной причины называли недостаточно радикальные рыночные реформы. Кангас и Салминиеми приходят к выводу, что «символическая работа по охране границ сконструировала разные „миры“ как герменевтически непроницаемые друг для друга, и скрыла реальную разнородность и капиталистических, и социалистических социальных образований» (Kangas, Salmenniemi, 2016: 223).

Можно, однако, сказать, что вся схема «трех миров» утратила популярность и в академических и в медиа дискурсах, уступив место глобализации. Так, Мюллер справедливо упоминает исчезновение понятия «Второй мир» вместе с падением железного занавеса. Но в жизни понятий есть немало инерции, и схема «трех миров», так или иначе усвоенная и принятая, продолжает использоваться для академического анализа и самопонимания. «Миры» теперь находят в каждой стране. Вот только один свежий пример. Оценивая шансы своих бывших соотечественников выжить в пандемии 2020 года, экономист Сергей Гуриев заявил: «В этом смысле у нас страна состоит из двух стран. Развитая страна Москва. И развивающаяся страна — это бедные российские регионы» (Гуриев, 2020).

Белорусский аналитик Владимир Мацкевич опирается на эту типологию для того, чтобы продемонстрировать разнообразие социальных позиций и политических установок граждан его страны. Деля один город и нередко одну улицу на жителей разных миров, Мацкевич видит Первый мир в тех благополучных соотечественниках, которым «транспорт, средства связи, электронные деньги, прочие инфраструктурные аспекты позволяют... вести жизнь, к которой белорусский режим и общественно-экономические условия страны не имеют никакого отношения». Третий мир Беларуси — те, кто в силу недостаточной образованности «ничего не знает о преимуществах глобализации и, скорее, испытывает от нее неудобства» (заметим, что эксперт описывает Третий мир не через экономическую недоразвитость, но через неспособность воспользоваться благами включенности страны в мир). Второй мир Мацкевич видит в тех соотечественниках, которым «доступ к преимуществам глобализации... перекрыт государственным устройством и установившимся режимом, политикой и экономикой в стране» (Мацкевич, 2017). Мацкевич проблематично заявляет, что правящий класс образован людьми Третьего мира. Главный критерий отнесения белорусских верхов к Третьему миру — неумение приспособиться к глобализации и генерировать перемены.

Этот идеально-типический анализ упоминает белорусский философ Татьяна Щитцова, сравнивающая западный (неолиберальный) и белорусский варианты связи структуры личности и общества (Щитцова, 2020). Обсуждая механизмы заболевания депрессией в авторитарном государстве (по сравнению с государством западным), она использует метафоры «ловушки» и «силков». Первая фиксирует

неолиберальную манипуляцию идеями свободы и самореализации индивида, состоящую в том, что условием личного экономического преуспевания становится деполитизация. Вторые представляют собой специфический вариант ловушки, и более жесткое слово выбрано Щитцовой, чтобы передать существование в условиях государственного насилия, оборачивающегося бессилием людей в качестве политических субъектов. Капитализм упрочился в Беларуси, как и во всех других странах региона, соединившись с политическим авторитаризмом, и именно это соединение неолиберальных моделей самомобилизации в условиях экономической несвободы и авторитарного патернализма, устранившегося от предоставления социальных гарантий, и приводит многих соотечественников, по мнению Щитцовой, к депрессии.

Описав разочарования пожилых белорусов (чувство обманутости, слом доверия режиму), Щитцова, опираясь на полевые исследования, сосредоточивается на гражданах среднего и молодого возраста. Она не следует в точности типологии Мацкевича, но его и ее анализ важен тем, как ученые и обычные люди определяют себя по отношению к *миру* и во многом вопреки стране, где живут. Люди Второго мира в Беларуси, по мнению этих ученых, особенно фрустрированы происходящим, потому что осведомлены о возможностях, которые глобальная современность в принципе открывает человеку, они ориентированы на них, но в то же время живут в авторитарном обществе. Их переживания сосредоточиваются на близких, они мыслят себя в терминах долюбленности и недолюбленности, учатся любить себя и овладевают другими техниками заботы о себе, то есть они — носители новой индивидуалистической культуры, формирование которой на постсоветском пространстве успешно встраивает «нас» в неолиберализованный мир. И так же, как и во всем этом мире, индивидуализация происходит ценой деполитизации: возможности действовать в качестве политических субъектов и социальных акторов у людей немного¹. Но если люди Второго мира и среднего возраста Минска и Беларуси видят в этом проблему, то представители самой молодой группы ее не видят. Их мир съезживается, горизонт редуцируется до поиска возможностей «самореализации», «релакса» и стремления к «позитивности», осуществляемого без культивирования рефлексии, гражданской чувствительности, критического отношения к происходящему.

Это — замечательный анализ, но я на этот счет хотела бы сказать следующее. Раскол между «мирами», зафиксированный Мацкевичем и Щитцовой (а также разобранный Щитцовой раскол между поколениями), сегодня, по-моему, глобален. И Англия после Брежита, и Америка Трампа дали нам множество примеров того, как живущие на одной улице люди демонстрируют полностью противоположные установки. Шок от осознания того, сколь чужды тебе соседи (или власти), и приводит к сравнениям неприятных, т. е. радикально отличающихся по взглядам, сограждан с людьми с другой планеты (или с представителями другого мира). Поли-

1. Текст был написан и сдан в печать до начала в Беларуси революции, в которой Мацкевич и Щитцова активно участвуют вместе с десятками тысяч сограждан.

тическая апатия сегодня повсеместна, и я согласна с Щитцовой в том отношении, что особенно она распространена среди молодежи. Но так ли уникальны молодые белорусы? Читая в феврале 2020 года лекции в Лионе и Сент-Этьенне, я ужинала в домах коллег и, поскольку традиция семейных ужинов во Франции нетленна, много общалась с молодыми французами (в дополнение к разговорам с моими студентами). Понятно, что мои поверхностные наблюдения далеки от проведенного Щитцовой полноценного поля, но все же показательно, что среди дюжины моих французских собеседников от 14 до 30 лет никто не сочувствовал «желтым жилетам» и все были обеспокоены лишь перспективами профессионального роста, заработка и личной жизни. В чем именно разница между детьми семей, в которых родители более политически активны, но при социализме не жили, и нашими детьми — мне сложно сказать, но решусь заявить, что рост аполитичности и даже консерватизма среди все сильнее «ненадежно» занятой молодежи — глобальная тенденция.

Если в анализе Мацкевича глобализация видится только источником преимуществ (которыми люди и власти либо способны, либо неспособны воспользоваться), то Щитцова хорошо показывает, как глобализация сужает нормативный горизонт, побуждая людей продавать индивидуальные свободу и самореализацию так, что их самооптимизация и продуктивность уже навсегда встроены в экономические механизмы. Глобальная академия с ее все усиливающейся гонкой *publish or perish* тут будет уместным примером, и Мюллер абсолютно прав, подчеркивая, что участие в этой гонке ведется не на равных, и от того, «откуда» ты пишешь: авторитетно высказываясь из всемирно признанных центров знания или шепча что-то с окраин, многое зависит.

Поиск общего и особенного в опыте разнообразно расположенных современников мне кажется одной из самых увлекательных сторон сегодняшней академической и «просто» жизни. К примеру, сколько гордых констатаций «мы-то знаем, мы-то это пережили» можно прочесть в социальных сетях во время пандемии COVID-19! Очередями за туалетной бумагой не испугаешь тех, кто стоял в очередях практически за всем. Но рефлексия по поводу и повсеместных в марте очередей и, безусловно, классово дифференцированной, но глобальной уязвимости важна для продолжения работы по проблематизации бинарных оппозиций, будь то Юг или Север, или Я и Другой.

Многосторонность идентичностей и фиксирующих их дискурсов «внутри» Глобального Востока можно кратко проиллюстрировать, обратившись к международному междисциплинарному исследовательскому проекту «Вспоминая коммунизм», в котором участвовала уже здесь упомянутая Жужа Гилле вместе с автором классической книги «Воображая Балканы» Марией Тодоровой и немецкими славистами Штефаном Требстом и Кристианом Любке (Todorova, Gille, 2010; Lübke, Troebst, 2014). Выше я упомянула, что популярное сегодня разделение Глобальный Север-Юг восходит к началу 1980-х. На карте Брандта линия раздела идет между Северной и Южной Америкой, «верхом» карты и Африкой, Индией и Юго-Вос-

точной Азией. Вся Европа и значительная часть Евразии, включая весь Восточный блок, отнесены к Глобальному Северу. Если мы теперь обратимся к собранным в рамках проекта воспоминаниям, то увидим, во-первых, насколько устная история противоречит тенденциозной политической географии, а во-вторых, насколько отличается память тех, кто жил в странах — соседях по Восточному блоку в 1980-е. Румынские историки фиксировали истории о бедной и безнадежной стране, жителей которой бомбардировали бесконечной правительственной пропагандой, дефицитные вещи из Венгрии или Югославии приходилось доставать из-под полы, слежка была тотальной, труд подневольным, канализация примитивной, за водой ходили к колодцам, хорошей еды не хватало. Многие люди были хорошо образованы, чтобы искать возможность эмигрировать (и многие уехали), а оставшиеся были фундаментально травмированы такой жизнью через сорок лет после окончания войны. Напротив, болгарские историки нашли людей, которые с энтузиазмом вспоминают стройотряды, коллективную работу и коллективные ритуалы, но и варианты самоцензуры и двоемыслия, создания зон свободы, в которых можно было отдохнуть от партийного официоза. В томе хорошо показана связь между столь разнящимися воспоминаниями и суровым отрицанием коммунистического периода в Румынии и одновременно взрывом ностальгии по коммунизму в Болгарии. Неприятие всего социалистического, коммунистического, советского, как мы знаем, характерно для идеологии многих постсоциалистических стран, и тяжелое наследие жизни в рамках Восточного блока многие хотели бы оставить позади. Тодорова в предисловии к этому тому тоже касается этой темы, говоря, с каким сопротивлением они сталкивались: в их проекте видели попытку оправдать преступную политическую систему и навязать чуждую повестку дня. Инициаторы предложили местным историкам ответить на вопросы анкеты о том, как они сами представляют себе свое место в истории, собрать интервью на любую тему и доложить о них на открытых конференциях, а затем предварить написанные в книгу главы параграфами о том, как связан их личный опыт и научные интересы. Мне кажется, что наша коллективная рефлексия только выиграла бы, если бы подобный сравнительный проект был реализован уже в отношении опыта людей, живущих в Восточном блоке после 2014-го, т. е. после аннексии Крыма и войны на Украине.

«Можно извинить исследователя, готового поверить, что железный занавес никогда не падал», — пишет Мюллер, и он не одинок. Используя логичную для историка темпоральную оптику, Карл Шлэгель пишет: «Слушая других и глядя вокруг сегодня, иногда кажется, что «исторический момент» 1989 года, с его волнением и счастьем, никогда не настал, что момент, свидетелями которого многие из нас были, исчез под горой интерпретаций и рефлексии, что фактически все, что случилось на улицах Берлина, Праги, Варшавы, Бухареста и где-то еще, было просто самообманом, иллюзией, сюрреальностью» (Schlögell, 2019). Шлэгель продолжает свою мысль двумя очень близкими мне наблюдениями, во-первых, что, несмотря на все сделанное для запечатления (фильмы, интервью и т. д.), «опыт людей, ка-

жется по большей части забытым: людей, которые первыми пересекли открытую границу... исследуя мир, который был для них в течение всей жизни закрыт, волнение свободы, свободы передвижения, чтения ранее недоступных газет или посещения родственников на Западе» (Schlögel, 2019); и во-вторых, что опыт перелома был у всех разным и не всегда приходился на точные дату и место. Для кого-то, пишет он, «цезурой» было основание «Солидарности» в Польше в 1980-е годы, для кого-то — война в Югославии в 1990-е, для многих таким событием было стремительное расширение Европейского союза в 2004-м, для кого-то — 11 сентября, а для кого-то — финансовый кризис 2008-го. Переломные события Шлёгель не пытается запереть внутри постсоциалистического лагеря. Для тех из нас, кто ринулся ездить за рубеж, как только это стало возможным, пережитое за пределами «лагеря» помогало точнее понять случившееся «внутри». Ограниченные интеллектуальным снаряжением, заданным своей «эпистемой», мы освоили недоступные нам прежде стороны жизни, переживания и вещи (Trubina, 2007), избавившись от одних шор и, возможно, надев другие. Главное, наверное, обретение этого периода — вхождение в общий мир, обнаружение между его членами, будь то отдельные люди или группы, невероятного числа различий и сходств и успешно осуществленная большинством выработка сознания самодостаточности.

Заключение

Типологии и классификации частей мира не нейтральны. Завершение холодной войны и изменение геополитических конфигураций привели — в дополнение к радикально изменившейся карте (и картине) мира — к путанице в понятиях, используемых для фиксации частей мира. Развивающиеся и развитые, центральные и периферийные (и полупериферийные), западные и восточные, и — по нарастающей — северные и южные страны — это группы, «лэйблы», позволяющие ориентироваться в происходящем. Типологии глобальных сторон света и «миров», рассмотренные здесь, полны недостатков. Об этих недостатках говорят лишь некоторые ученые (включая Мюллера), а пользуются ими множество людей. Львиная доля нашей работы как ученых осуществляется в четко очерченных рамках дисциплин. Однако время от времени мы рискуем: пишем что-то за пределами своего поля, приглашая коллег к междисциплинарному диалогу. Последние два слова часто повторяются лишь ритуально в силу институционального и дисциплинарного давления, которое, увы, не ослабевает. Когда географические и исторические вопросы ставятся по-новому и шире, чем обычно, риск состоит в повышенной уязвимости для критики. «Слишком широко», «слишком общо» и «чересчур поверхностно» — такие вердикты столь же распространены, сколь и предсказуемы. Более специфический вариант критики, который статья Мюллера вызывает, состоит в фундаментальной неясности: зачем заносить в новый «блок» людей, которые еще очень хорошо помнят невзгоды жизни в блоке Восточном? Зачем приглашать их думать в абстрактных и нагруженных множеством нелестных ассоциаций терминах Гло-

бального Востока, если и сознание новой национальной принадлежности им даётся нелегко? На эти возможные вопросы отвечает (другое дело, насколько убедительно) сам Мюллер. Приглашая коллег «теоретизировать не только *о*, но и *вместе* с Глобальным Востоком», он считает, что этот регион значим, во-первых, для обсуждения тревог, присущих глобализирующимся обществам, и во-вторых, для изменения системы производства знаний. Изменения такого, которое позволило бы ученым из этого региона обрести голос в глобальной академии.

Хотя глобус, на который аккуратно нанесены страны и континенты, долготы и широты, потеснили сегодня спутниковые изображения тотальной взаимосвязанности и проницаемости, «и глобус, и карта стали настолько успешными репрезентациями, что они отбрасывают «тени» и на то, что вообще к картам не относится» (Pickles, 1992: 211). Ассоциации, вызванные смесью топографических образов и «интертекстов» вокруг Востока и Запада, Севера и Юга, центра и периферии, метрополии и колонии, случайны и проблематичны. Однако они, по-моему, часто преследуют попытки поговорить почти о любом месте, в том числе о месте, которое интеллектуальная продукция, посвященная нашему общему непростому постсоветскому региону, занимает в мировой академии. Смыслы и воспоминания, желания и амбиции, влияющие на «просто» рефлексию того, что значит этот регион сегодня, и на понимание того, с какими сложностями сталкивается интеллектуальная о нем продукция, связаны с постколониальной децентрацией Запада как привилегированного региона и места производства знания. Антропология, география, городские исследования, социология, *area studies* — все эти дисциплины способствовали легитимации и нормализации западного морального, интеллектуального и экономического превосходства, и все ли из этих европоцентристских допущений в данных дисциплинах преодолены, остается большим вопросом. Продолжающийся анализ этих допущений и их преодоление должны сопровождаться изменением концептуального аппарата, относящегося к Восточной Европе, России и Центральной Азии и — шире — к постсоветскому пространству. Нам нужно больше работ и исследований, в которых сталкивались бы разные, в том числе и «глобально-восточные», представления о глобальном.

Литература

- Гераскина О. (2016). Проблема «Север — Юг» как глобальная проблема мировой экономики // Научная дискуссия современной молодежи: экономика и право: Сборник статей международной научно-практической конференции. Пенза: Наука и просвещение. С. 502–504.
- Гуриев С. (2020). «У нас действительно ситуация военного времени» // Fontanka.ru. URL: <https://www.fontanka.ru/2020/04/13/69088699/> (дата доступа: 31.03.2020).
- Жарков В. (2019). Россия и новый континентальный блок в Евразии // Вестник Европы. № 52. URL: <https://magazines.gorky.media/vestnik/2019/52/rossiya-i-novyj-kontinentalnyj-blok-v-evrazii.html> (дата доступа: 31.03.2020).

- Мацкевич В. (2017). Глобальное потепление после холодной войны. Часть 2: Что происходит в мире и регионе // Белорусский журнал. URL: <http://journalby.com/news/globalnoe-poteplenie-posle-holodnoy-voyny-chast-2-chto-proishodit-v-mire-i-regione-1004> (дата доступа: 10.12.2019).
- Трубина Е. (2013). Центр и периферия между ростом и развитием // Логос. № 4. С. 237–266.
- Щитцова Т. (2020). Депрессия как диспозиция-и-диспозитив: к социальной релевантности депрессии в современном белорусском обществе // Щитцова Т., Артимович Т., Ковтык Е., Полещук И. Без будущего: депрессия и современное белорусское общество. Минск-Вильнюс: ЕГУ. (В печати)
- Ahuja N. (2016). The Anthropocene Debate: On the Limits of Colonial Geology. URL: <https://ahuja.sites.ucsc.edu/2016/09/09/the-anthropocene-debate-on-the-limits-of-colonial-geology/> (дата доступа: 10.09.2020).
- Angelo H., Hentschel C. (2015). Interactions with Infrastructure as Windows into Social Worlds: A Method for Critical Urban Studies: Introduction // City. Vol. 1. № 2–3. P. 306–312.
- Bachmann V., Muller M. (2015). Conclusion: Looking from the Outside In = Looking from the Outside Out // Bachmann V., Muller M. (eds.). Perceptions of the EU in Eastern Europe and Sub-Saharan Africa: Looking in from the Outside. L.: Palgrave. P. 187–195.
- Bayly C. (2003). The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons. Maiden: Blackwell.
- Bohle D., Greskovits B. (2012). Capitalist Diversity on Europe's Periphery. Ithaca: Cornell University Press.
- Brandt W. (1980). North–South: A Programme for Survival. The Report of the Independent Commission on International Development Issues under the Chairmanship of Willy Brandt. L.: Pan Books.
- Brotton J. (1997). Trading Territories: Mapping the Early Modern World. Ithaca: Cornell University Press.
- Chatterjee S. (2013). Western Theories and the non-Western World: A Search for Relevance // Japanese Journal of Political Science. Vol. 14. № 3. P. 395–419.
- Comaroff J., Comaroff J. L. (2002). Alien-Nation: Zombies, Immigrants and Millennial Capitalism // South Atlantic Quarterly. № 101. P. 779–805.
- Cosgrove D. (2001) Apollo's Eye: A Cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Connolly R. (2011). Financial Constraints on the Modernization of the Russian Economy // Eurasian Geography and Economics. Vol. 52. № 3. P. 428–459.
- Cox M. (1990). From the Truman Doctrine to the Second Superpower I: The Rise and Fall of the Cold War // Journal of Peace Research. Vol. 27. № 1. P. 25–41.
- Cox M. (2017). Europe — Still between the Superpowers // Global Policy. Vol. 8. № 4. P. 9–17.
- Drahokoupil J. (2009). Globalization and the State in Central and Eastern Europe: The Politics of Foreign Direct Investment. L.: Routledge.

- Dörrenbächer C., Fichter M., Neumann L., Tóth A., Wortmann M.* (2000). Transformation and Foreign Direct Investment: Observations on Path Dependency, Hybridisation, and Model Transfer at the Enterprise Level // *Transfer: European Review of Labour and Research*. Vol. 6. № 3. P. 434–449.
- Fraser N.* (1995). From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a «Post-Socialist» Age // *New Left Review*. Vol. 212. P. 68–93.
- Gaddy C., Ickes B.* (2013). *Bear Traps on Russia's Road to Modernization*. L.: Routledge.
- Garapich M.* (2016). *London's Polish Borders: Transnationalizing Class and Ethnicity Among Polish Migrants in London*. L.: Ibidem Press.
- Gille Z.* (2020). Review: Besnik Pula, *Globalization under and after Socialism: The Evolution of Transnational Capital in Central and Eastern Europe*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2018 // *Contemporary Sociology*. Vol. 49. № 1. P. 84–85.
- Goetz K.* (2001). Making Sense of Post-Communist Central Administration: Modernization, Europeanization or Latinization? // *Journal of European Public Policy*. Vol. 8. № 6. P. 1032–1051.
- Golden P.* (2011). *Central Asia in World History*. Oxford: Oxford University Press.
- Harvey D.* (2003). *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hart G.* (2010). Developments after the Meltdown // *Antipode*. Vol. 41. P. 117–141.
- Horner R.* (2020). Towards a New Paradigm of Global Development? Beyond the Limits of International Development // *Progress in Human Geography*. Vol. 40. № 3. P. 415–436.
- Inglot T.* (2016). Path-Dependency versus Reform in Pensions and Family Policy Re-examined: Dual Trajectories of the Polish Welfare State since the 1990s // *Social Policy & Administration*. Vol. 50. № 2. P. 241–261.
- Jazeel T.* (2019). Singularity: A Manifesto for Incomparable Geographies // *Singapore Journal of Tropical Geography*. Vol. 40. № 1. P. 5–21.
- Kangas A., Salmenniemi S.* (2016). Decolonizing Knowledge: Neoliberalism beyond the Three Worlds // *Distinktion: Journal of Social Theory*. Vol. 17. № 2. P. 210–227.
- Kipfer S., Saberi P., Wieditz T.* (2012). Henri Lefebvre: Debates and Controversies // *Progress in Human Geography*. Vol. 37. № 1. P. 115–134.
- Kokushkin M.* (2011). Transitional Societies in Eastern Europe: Moving Beyond the Washington Consensus Paradigm in Transitology // *Sociology Compass*. Vol. 5. № 12. P. 1044–1057.
- Krastev I., Holmes S.* (2019). *The Light that Failed: A Reckoning*. New York: Penguin.
- Langley P.* (2007). Uncertain Subjects of Anglo-American Financialization // *Cultural Critique*. № 65. P. 67–91.
- Lippincott K.* (1999). Globes in Art: Problems of Interpretation and Representation // Dekker E. (ed.). *Globes at Greenwich: A Catalogue of the Globes and Armillary Spheres in The National Maritime Museum*. Oxford: Oxford University. P. 75–86.
- Lorenzini S.* (2019). *Global Development: A Cold War History*. Princeton: Princeton University Press.

- Lübke C., Troebst S. (2014). *Remembering Communism: Private and Public Recollections of Lived Experience in Southeast Europe*. Budapest: Central European University Press.
- McFaul M. (1999). Lessons from Russia's Protracted Transition from Communist Rule // *Political Science Quarterly*. Vol. 114. № 1. P. 103–113.
- Melegh A. (2006). *On the East–West Slope: Globalization, Nationalism, Racism, and Discourses on Central and Eastern Europe*. Budapest: Central European University Press.
- Mendelson S. (2001). Unfinished Business: Democracy Assistance and Political Transition in Eastern Europe and Eurasia // *Problems of Post-Communism*. Vol. 48. № 3. P. 19–27.
- Millington G. (2016). The Cosmopolitan Contradictions of Planetary Urbanization // *British Journal of Sociology*. Vol. 67. № 3. P. 476–496.
- Moyn S., Sartori A. (2013). *Global Intellectual History*. New York: Columbia University Press.
- Orford A. (2003). *Human Rights and the Use of Force in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Osterhammel J. (2014). *The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century*. Princeton: Princeton University Press.
- Pickles J. (1992). Texts, Hermeneutics and Propaganda Maps // Barnes T. J., Duncan J. S. (eds.). *Writing Worlds: Discourse, Text and Metaphor in the Representation of Landscape*. L.: Routledge. P. 193–230.
- Platun J. (2020). The Artist Janetka Platun's Website. URL: <http://janetkaplatun.com/index.html> (дата доступа 31.03.2020)
- Pletsch C. (1981). The Three Worlds, or the Division of Social Scientific Labor, circa 1950–1975 // *Comparative Studies in Social History*. Vol. 23. № 4. P. 565–590.
- Pomper P. (2005). The History and Theory of Empires // *History and Theory*. Vol. 44. № 4. P. 1–27.
- Preston J. (2013). Neoliberal Settler Colonialism, Canada and the Tar Sands // *Race and Class*. Vol. 55. № 2. P. 42–59.
- Pula B. (2018). *Globalization under and after Socialism: The Evolution of Transnational Capital in Central and Eastern Europe*. Stanford: Stanford University Press.
- Purcell M. (2003). Islands of Practice and the Marston/Brenner Debate: Toward a More Synthetic Critical Human Geography // *Progress in Human Geography*. Vol. 27. № 3. P. 317–332.
- Ramaswamy S. (2002). Visualising India's Geo-Body Globes, Maps, Bodyscapes // *Contributions to Indian Sociology*. Vol. 36. № 1–2. P. 151–189.
- Robinson J. (2006). *Ordinary Cities: Between Modernity and Development*. L.: Routledge.
- Rutland P. (1997). Russia's Flawed Market Transition // *Problems of Post-Communism*. Vol. 44. № 6. P. 29–33.
- Sachsenmaier D. (2011). *Global Perspectives on Global History: Theories and Approaches in a Connected World*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Sheringham O., Platun J., McAvinchey C.* (2020). *Globe's Encounters and the Art of Rolling: Home, Migration and Belonging* // *Cultural Geography*. Vol. 27. № 2. P. 177–199.
- Schlögel K.* (2019). *This Mess of Troubled Times* // *Eurozine*. November 19. URL: <https://www.eurozine.com/this-mess-of-troubled-times/> (дата доступа: 18.09.2020).
- Spivak G.* (1999). *A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History of the Vanishing Present*. Cambridge: Harvard University Press.
- Therborn G.* (2003). *Entangled Modernities* // *European Journal of Social Theory*. Vol. 6. № 3. P. 293–305.
- Todorova M., Gille Z.* (2010). *Post-Communist Nostalgia*. N.Y.: Berghahn Books.
- Tomlinson B. R.* (2003). *What was the Third World?* // *Journal of Contemporary History*. Vol. 38. № 2. P. 307–321.
- Trubina E.* (2007). *Practicing Owning and Fearing Losing: Normality as Materiality* // *Eurozine*. 3 December. URL: <https://www.eurozine.com/practising-owning-and-fearing-losing/> (дата доступа: 18.09.2020).
- Vries J. D.* (2008). *The Industrious Revolution: Consumer Behavior and the Household Economy, 1650 to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wikipedia Commons. (2020). *The Brandt Line*. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Brandt_Line.png (дата доступа: 18.09.2020).
- Williams G., Meth P., Willis K.* (2009). *Geographies of Developing Areas: The Global South in a Changing World*. L.: Routledge.
- Zhuravlev O., Ishchenko V.* (2020). *Exclusiveness of Civic Nationalism: Euromaidan Eventful Nationalism in Ukraine* // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 36. № 3. P. 226–245.
- Zweynert J.* (2019). *When Ideas Fail: Economic Thought, the Failure of Transition and the Rise of Institutional Instability in Post-Soviet Russia*. L.: Routledge.

The Global East and the Globe

Elena Trubina

Doctor of Philosophy, Professor, Ural Humanities Institute, Yeltsin Ural Federal University, Director, Center for Global Urbanism

Address: Lenin ave., 51, Yekaterinburg, Russian Federation 620075

E-mail: elena.trubina@gmail.com.

The article is a detailed response to the text by Martin Müller “In Search for the Global East”, written on the basis of the experience of a scientist specializing in post-socialist realities, and included in the global circulation of social and humanitarian knowledge. It deals with the possibility of reflection of the place of the post-socialist part of the world in the world as a whole, from the point of view of a community formed by those who live in the post-socialist space and those who explore different aspects of post-socialist life. The genealogy of discussions about the Global South and the Global North, which are fundamental for such disciplines as geography (political, economic, and human) and urban studies, as well as the formation of the conceptual link of “development = the global South” in the political history of the second half of the twentieth

century and in the intellectual history of this period is discussed. It is argued that the Global South is actively discussed in the global debates of geographers, urbanists, and historians. It also occupies a prominent place in transnational, big stories about what is happening in the world, and with the world. At the same time, the post-socialist world (Müller proposes the name “Global East” for it) occupies an insignificant place in these narratives. “Development” (no matter how different and controversial it may be) in relation to that part of the “global” which is comprised from Eastern Europe, Russia, and Central Asia, is understood as a task of national governments, and which must be solved by following Western recipes. The article explains the reasons for the lack of understanding of what this region means today, as well as the difficulties of conducting and popularizing research about it, in particular, the ongoing post-colonial decentralization of the West as a privileged place of knowledge production. The conclusion of the article is that much more research is needed in which different perceptions of the global are compared, including the ones generated in/by the “Global East”.

Keywords: Global East, Global North, Global South, globe, “hemispheric fallacy”, transnational big narratives, internal differentiation of the Global East

References

- Ahuja N. (2016) The Anthropocene Debate: On the Limits of Colonial Geology. Available at: <https://ahuja.sites.ucsc.edu/2016/09/09/the-anthropocene-debate-on-the-limits-of-colonial-geology/> (accessed 10 September 2020).
- Angelo H., Hentschel C. (2015) Interactions with Infrastructure as Windows into Social Worlds: A Method for Critical Urban Studies: Introduction. *City*, vol. 1, no 2-3, pp. 306–312.
- Bachmann V., Müller M. (2015) Conclusion. Looking from the Outside In = Looking from the Outside Out. *Perceptions of the EU in Eastern Europe and Sub-Saharan Africa: Looking in from the Outside* (eds. V. Bachmann, M. Muller), London: Palgrave, pp. 187–195.
- Bayly C. (2003) *The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons*, Maiden: Blackwell.
- Bohle D., Greskovits B. (2012) *Capitalist Diversity on Europe's Periphery*, Ithaca: Cornell University Press.
- Brandt W. (1980) *North–South: A Programme for Survival* (The Report of the Independent Commission on International Development Issues under the Chairmanship of Willy Brandt), London: Pan Books.
- Brotton J. (1997) *Trading Territories: Mapping the Early Modern World*, Ithaca: Cornell University Press.
- Chatterjee S. (2013) Western Theories and the Non-Western World: A Search for Relevance. *Japanese Journal of Political Science*, vol. 14, no 3, pp. 395–419.
- Comaroff J., Comaroff J. L. (2002) Alien-Nation: Zombies, Immigrants and Millennial Capitalism. *South Atlantic Quarterly*, no 101, pp. 779–805.
- Connolly R. (2011) Financial Constraints on the Modernization of the Russian Economy. *Eurasian Geography and Economics*, vol. 52, no 3, pp. 428–459.
- Cosgrove D. (2001) *Apollo's Eye: A Cartographic Genealogy of the Earth in the Western Imagination*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Cox M. (1990) From the Truman Doctrine to the Second Superpower Detente: The Rise and Fall of the Cold War. *Journal of Peace Research*, vol. 27, no 1, pp. 25–41.
- Cox M. (2017) Europe — Still between the Superpowers. *Global Policy*, vol. 8, no 4, pp. 9–17.
- Dörrenbächer C., Fichter M., Neumann L., Tóth A., Wortmann M. (2000) Transformation and Foreign Direct Investment: Observations on Path Dependency, Hybridisation, and Model Transfer at the Enterprise Level. *Transfer: European Review of Labour and Research*, vol. 6, no 3, pp. 434–449.
- Drahokoupil J. (2009) *Globalization and the State in Central and Eastern Europe: The Politics of Foreign Direct Investment*, London: Routledge.
- Fraser N. (1995) From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a “Post-Socialist” Age. *New Left Review*, vol. 212, pp. 68–93.
- Gaddy C., Ickes B. (2013) *Bear Traps on Russia's Road to Modernization*, London: Routledge.
- Garapich M. (2016) *London's Polish Borders: Transnationalizing Class and Ethnicity Among Polish Migrants in London*, London: Ibidem Press.

- Geraskina O. (2016) Problema "Sever-Yug" kak globalnaya problema mirovoi ekonomiki [The "North-South" Problem as the Global Problem of the World Economy)]. *Nauchnaya diskussiya sovremennoy molodyozhi: ekonomika i pravo* [The Academic Discussion of the Modern Youth: Economics and Law], Penza: Nauka i prosveschenie, pp. 502–504.
- Gille Z. (2020) Review: Besnik Pula, Globalization under and after Socialism: The Evolution of Transnational Capital in Central and Eastern Europe, Stanford: Stanford University Press, 2018. *Contemporary Sociology*, vol. 49, no 1, pp. 84–85.
- Goetz K. (2001) Making Sense of Post-Communist Central Administration: Modernization, Europeanization or Latinization?. *Journal of European Public Policy*, vol. 8, no 6, pp. 1032–1051.
- Golden P. (2011) *Central Asia in World History*, Oxford: Oxford University Press.
- Guriev S. (2020) "U nas deistvitelno situatsia voennogo vremeni" ["We Truly Find Ourselves in the War Time Situation"]. *Fontanka*. Available at: <https://www.fontanka.ru/2020/04/13/69088699/> (accessed 31 March 2020).
- Hart G. (2010) Developments after the Meltdown. *Antipode*, vol. 41, pp. 117–141.
- Harvey D. (2003) *The New Imperialism*, Oxford: Oxford University Press.
- Horner R. (2020) Towards a New Paradigm of Global Development? Beyond the Limits of International Development. *Progress in Human Geography*, vol. 40, no 3, pp. 415–436.
- Inglot T. (2016) Path-Dependency versus Reform in Pensions and Family Policy Re-examined: Dual Trajectories of the Polish Welfare State since the 1990s. *Social Policy & Administration*, vol. 50, no 2, pp. 241–261.
- Jazeel T. (2019) Singularity: A Manifesto for Incomparable Geographies. *Singapore Journal of Tropical Geography*, vol. 40, no 1, pp. 5–21.
- Kangas A., Salmenniemi S. (2016) Decolonizing Knowledge: Neoliberalism beyond the Three Worlds. *Distinktion: Journal of Social Theory*, vol. 17, no 2, pp. 210–227.
- Kipfer S., Saberi P., Wieditz T. (2012) Henri Lefebvre: Debates and Controversies. *Progress in Human Geography*, vol. 37, no 1, pp. 115–134.
- Kokushkin M. (2011) Transitional Societies in Eastern Europe: Moving Beyond the Washington Consensus Paradigm in TransitoLOGY. *Sociology Compass*, vol. 5, no 12, pp. 1044–1057.
- Krastev I., Holmes S. (2019) *The Light that Failed: A Reckoning*, New York: Penguin.
- Langley P. (2007) Uncertain Subjects of Anglo-American Financialization. *Cultural Critique*, no 65, pp. 67–91.
- Lippincott K. (1999) Globes in Art: Problems of Interpretation and Representation. *Globes at Greenwich: A Catalogue of the Globes and Armillary Spheres in The National Maritime Museum* (ed. E. Dekker), Oxford: Oxford University, pp. 75–86.
- Lorenzini S. (2019) *Global Development: A Cold War History*, Princeton: Princeton University Press.
- Lübke C., Troebst S. (2014) *Remembering Communism: Private and Public Recollections of Lived Experience in Southeast Europe*, Budapest: Central European University Press.
- Matskevitch V. (2017) Globalnoye poteplenie posle Holodnoy voyny. Chast 2: Chto proishodit v mirei regione [Global Warming after the Cold War, Part 2: What is Happening in the World and the Region]. *Belarusski zhurnal*. Available at: <http://journalby.com/news/globalnoe-poteplenie-posle-holodnoy-voyny-chast-2-chto-proishodit-v-mire-i-regione-1004> (accessed 31 March 2020).
- McFaul M. (1999) Lessons from Russia's Protracted Transition from Communist Rule. *Political Science Quarterly*, vol. 114, no 1, pp. 103–113.
- Melegh A. (2006) *On the East-West Slope: Globalization, Nationalism, Racism, and Discourses on Central and Eastern Europe*, Budapest: Central European University Press.
- Mendelson S. (2001) Unfinished Business: Democracy Assistance and Political Transition in Eastern Europe and Eurasia. *Problems of Post-Communism*, vol. 48, no 3, pp. 19–27.
- Millington G. (2016) The Cosmopolitan Contradictions of Planetary Urbanization. *British Journal of Sociology*, vol. 67, no 3, pp. 476–496.
- Moyn S., Sartori A. (2013) *Global Intellectual History*, New York: Columbia University.
- Orford A. (2003) *Human Rights and the Use of Force in International Law*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Osterhammel J. (2014) *The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century*, Princeton: Princeton University Press.

- Pickles J. (1992) Texts, Hermeneutics and Propaganda Maps. *Writing Worlds: Discourse, Text and Metaphor in the Representation of Landscape* (eds. T. J. Barnes, J. S. Duncan), London: Routledge, pp. 193–230.
- Platun J. (2020) The Artist Janetka Platun's Website. Available at: <http://janetkaplatun.com/index.html> (accessed 31 March 2020).
- Pletsch C. (1981) The Three Worlds, or the Division of Social Scientific Labor, circa 1950–1975. *Comparative Studies in Social History*, vol. 23, no 4, pp. 565–590.
- Pomper P. (2005) The History and Theory of Empires. *History and Theory*, vol. 44, no 4, pp. 1–27.
- Preston J. (2013) Neoliberal Settler Colonialism, Canada and the Tar Sands. *Race and Class*, vol. 55, no 2, pp. 42–59.
- Pula B. (2018) *Globalization under and after Socialism: The Evolution of Transnational Capital in Central and Eastern Europe*, Stanford: Stanford University Press.
- Purcell M. (2003) Islands of Practice and the Marston/Brenner Debate: Toward a More Synthetic Critical Human Geography. *Progress in Human Geography*, vol. 27, no 3, pp. 317–332.
- Ramaswamy S. (2002) Visualising India's Geo-Body Globes, Maps, Bodyscapes. *Contributions to Indian Sociology*, vol. 36, no 1–2, pp. 151–189.
- Robinson J. (2006) *Ordinary Cities: Between Modernity and Development*, London: Routledge.
- Rutland P. (1997) Russia's Flawed Market Transition. *Problems of Post-Communism*, vol. 44, no 6, pp. 29–33.
- Sachsenmaier D. (2011) *Global Perspectives on Global History: Theories and Approaches in a Connected World*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Schitsova T. (2020) Depressiya kak dispozitsiya i dispositive: k sotsialnoi relevantnosti depressii v sovremennom belarusskom obshestve [Depression as a Disposition in the Dispositive: Toward a Social Relevance of Depression in Contemporary Belarusian Society]. Schitsova T., Artimovitch T., Kovtyak E., Poleshuk I., *Bez budushogo* [Without Future], Vilnyus: European Humanities University Publishing. (In print)
- Schlögel K. (2019) This Mess of Troubled Times. *Eurozine*, 19 November. Available at: <https://www.eurozine.com/this-mess-of-troubled-times/> (accessed 31 March 2020).
- Sheringham O., Platun J., McAvinchey C. (2020) Globe's Encounters and the Art of Rolling: Home, Migration and Belonging. *Cultural Geography*, vol. 27, no 2, pp. 177–199.
- Spivak G. (1999) *A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History of the Vanishing Present*, Cambridge: Harvard University Press.
- Therborn G. (2003) Entangled Modernities. *European Journal of Social Theory*, vol. 6, no 3, pp. 293–305.
- Todorova M., Gille Z. (2010) *Post-Communist Nostalgia*, New York: Berghahn Books.
- Tomlinson B. R. (2003) What was the Third World? *Journal of Contemporary History*, vol. 38, pp. 307–321.
- Trubina E. (2007) Practicing Owning and Fearing Losing: Normality as Materiality. *Eurozine*, December 3. Available at: <https://www.eurozine.com/practising-owning-and-fearing-losing/> (accessed 31 March 2020).
- Trubina E. (2013) Tsenr i periferia mezhdru rostom i razvitiem [The Center and Periphery between Growth and Development]. *Logos*, no 4, pp. 237–266.
- Vries J.D. (2008) *The Industrious Revolution: Consumer Behavior and the Household Economy, 1650 to the Present*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Williams G., Meth P., Willis K. (2009) *Geographies of Developing Areas: The Global South in a Changing World*, London: Routledge.
- Zharkov V. (2019) Rossiya i novyi kontinentalnyi blok v Evrazii [Russia and the New Continental Block in Eurasia]. *Vestnik Evropy*, no 52. Available at: <https://magazines.gorky.media/vestnik/2019/52/rossiya-i-novyj-kontinentalnyj-blok-v-evrazii.html> (accessed 31 March 2020).
- Zhuravlev O., Ishchenko V. (2020) Exclusiveness of civic nationalism: Euromaidan eventful nationalism in Ukraine. *Post-Soviet Affairs*, vol. 36, no 3, pp. 226–245.
- Zweynert J. (2019) *When Ideas Fail: Economic Thought, the Failure of Transition and the Rise of Institutional Instability in Post-Soviet Russia*, London: Routledge.

Обмен мнениями по поводу статьи Мартина Мюллера «Разыскивая Глобальный Восток»

Овидиу ЦикиндеLEANU

Философ, переводчик и теоретик культуры

Адрес: Calea Turzii 160-162, Cluj-Napoca, România 400495

E-mail: ovidiu.tichindeleanu@yahoo.com

Дуглас Роджерс

Профессор департамента антропологии, Йельский университет

Адрес: New Haven, CT 06520-8277, USA 208277

E-mail: doug.rogers@yale.edu

Андрей Левкин

Писатель

Адрес: ул. Зирню, г. Рига, Латвия LV1013

E-mail: and.levkin@gmail.com

Юлия Градскова

Департамент социологии и гендерных исследований Mid-Sweden University

Адрес: 851 70 Hus R, Holmgatan 10 851 70, Sundsvall, Sweden

E-mail: yulia.gradskova@miun.se

Марина Соколовская

Руководитель экспозиционно-выставочного отдела Музея первого Президента России Б. Н. Ельцина

Адрес: ул. Бориса Ельцина, д. 3, г. Екатеринбург, Российская Федерация 620014

E-mail: sokolovskaja@ycenter.ru

Алексей Голубев

Департамент истории, Хьюстонский университет

Адрес: Agnes Arnold Hall University of Houston, Office 560, Houston, TX, United States 77004

E-mail: avgolubev@uh.edu

Поль Волькенштейн

Докторант Исследовательского центра Европы и Евразии,

Национальный институт восточных языков и цивилизаций (INALCO)

Адрес: 340 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris

E-mail: paulwolkenstein.archi@gmail.com

Андрей Макарычев

Доктор исторических наук, профессор, Университет Тарту

Адрес: Lossi 36-321, Тарту, Эстония 51003

E-mail: andrey.makarychev@ut.ee

Дмитрий Безуглов

Куратор публичной программы Уральской индустриальной биеннале современного искусства,
сотрудник Центра глобального урбанизма, Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина

Адрес: просп. Ленина, д. 51, г. Екатеринбург, Российская Федерация 620075

E-mail: dmitrii.bezougllov@gmail.com

Публикуются реплики интеллектуалов из Восточной и Западной Европы, России и Северной Америки, любезно согласившихся познакомиться со статьей Мартина Мюллера «Разыскивая Глобальный Восток» и выразить к ней отношение, исходя из состояния представляемой ими дисциплины, опыта работы, перипетий научного поиска и творческих вызовов. Исследователи, преподаватели, кураторы, писатель и архитектор размышляют о власти и влиянии географических названий в академической жизни, политике и культуре. Отталкиваясь и от статьи Мюллера о Глобальном Востоке и от другого его текста (в котором он скептически оценивает понятие постсоциализма), авторы комментариев, критически оценивая аргументы Мюллера, ставят ряд фундаментальных вопросов. Среди них — вопросы о необходимости историзации научных понятий, о воспроизводящемся непонимании (или даже исключении) Востока Западом, о том, решению каких задач будет способствовать включение Глобального Востока в общую географическую картину, о том, не узко ли академической является озабоченность тем, что Глобальный Восток в мире недостаточно слышен. Этот заочный диалог между комментаторами и автором центрального текста данного тематического выпуска значим как эпизод совместного поиска более демократического, творческого и вдохновляющего будущего для региона, объединяющего Восточную Европу, Россию и Центральную Азию.

Ключевые слова: Глобальный Восток, постсоциализм, переход к капитализму, постколониальность, универсализм, исключение, историзация понятий, видимость

Отвечая на призыв «глобальных Востоков»: органическая культура и транспериферийная ориентация

Овидиу Цикиндеану

Статья Мартина Мюллера «Разыскивая Глобальный Восток: мышление между Севером и Югом» является давно востребованным вкладом в устранение настоящего системного «слепого пятна» — многократно возникающей невидимости и последующего непонимания как Востока вообще, так и Восточной Европы в частности. Амбиция статьи заключается в попытке сделать «шаг в глобальной геополитике знания... чтобы вернуть Восток на карту когнитивного производства» (Мюллер, 2020: 22). Таким образом, ее предполагаемая аудитория — это международный научный мир, где все еще доминируют западные интеллектуалы и западные интеллектуальные конструкты, но который включает в себя интеллектуалов и интеллектуальные движения «Глобального Юга», также усугубивших невидимость Востока. Фундаментальное наблюдение, стоящее за проектом Мартина Мюллера, заключается в том, что Восток в настоящее время подвергается «двойному исключению» как со стороны Глобального Севера, так и со стороны Глобального Юга: «Для периферии в нем слишком много силы, но он слишком слаб, чтобы быть центром». Предлагаемая концепция «Глобального Востока» объединяет в «стратегический эссенциализм» не только Восточную Европу (постсоциалистический Восток), но и «восточность» Ближнего и Азиатского Востока, предлагая обдумать схожие условия их лиминальности или промежуточности, а не маргинальности по отношению к центру.

Хотя я согласен как с основополагающим наблюдением, так и с целью «переоткрыть Восток как политический проект» — столько работы еще необходимо сделать в этом и связанных с ним направлениях, — ниже я хотел бы подчеркнуть несколько различий в подходах между мной и Мюллером.

Во-первых, я думаю, что один из важнейших принципов «возвращения Востока на карту» — это следование его собственной историографии в ее самостоятельных терминах. Восток не является невидимым для себя самого, а его лимитальность и отношения с Севером или Югом лежат в центре местных критических размышлений.

Для меня «Восточная Европа», «бывший социалистический блок», «Трансильвания», «румынские княжества» — понятия, идентифицирующие специфическую позиционность в рамках разных властных отношений и разных межимперских пространственно-временных организаций в глобальной истории. Пожалуй, наиболее знакомая и часто используемая в течение десятилетий после 1989 года отсылка к пространству и времени — «постсоциализм», или «посткоммунистическое состояние» (Sîrbu, Polgár, 2009).

Я часто использовал выражение «посткоммунистический переход (transition)» как в статьях для массмедиа, так и в более основательных эссе по местной истории культуры. Этот термин подчеркивал общее предположение о том, что то, что должно было закончиться (отсюда и «пост»), было коммунизмом. Но он акцентировал и то, что антикоммунизм стал одной из центральных культурных идеологий этого исторического периода как в регионе, так и глобально. Посткоммунистический антикоммунизм быстро стал мейнстримом после 1989 года, когда «конец истории», провозглашенный позднее в 1992 году (и импортированный из Северной Америки) (Fukuyama, 1992), был отождествлен с концом коммунизма. В то же время он метонимически отправлял на свалку истории любую потенциально возникающую левую идеологию или политическую ориентацию (такую как, например, «социализм»), и вообще любую альтернативу западному капитализму и вашингтонскому консенсусу. Это направление локальных историй с самого начала получило глобальный резонанс и, возможно, имело соответствующие последствия и на «Глобальном Севере».

Мое собственное формирование как интеллектуала было основано на размышлениях о «переходе» (transition). Это было зонтичное понятие, оно одновременно указывало на историческое время, географический регион и интенсивные процессы трансформации, которые должны были быть критически обдуманы и приняты к действию. По общему мнению, после 1989 года бывший социалистический блок начал переход к западным моделям и институтам либеральной демократии и капитализма, но природа самого перехода редко рассматривалась критически. Я считаю, что существует определенное сходство между многими представителями моего поколения, например румынскими интеллектуалами, вместе с которыми в 2009 году мы основали независимую румынскую платформу CriticAtac.ro, и восточноевропейскими критическими мыслителями, с которыми мы вели яр-

кие и продуктивные диалоги на Балканских социальных форумах 2011–2012 годов. Для большинства переходный период после 1989 года был концентрированным *Sattelzeit*, временем парадигматических изменений. Критические размышления о постсоциалистическом переходе были нашим концептуальным и историческим «гнездом». Отношение к переходу было крайне критическим и строилось на посылке, что постсоциалистический переход оказался социальной катастрофой исторических масштабов. Со своей стороны, в тексте 2006 года я определил этот переход как «парадигматический концепт для посткоммунистического общества и культуры» и далее детально проанализировал его субъективные измерения как «внутреннюю колонизацию» и «посткоммунистический расизм», а также назвал три основных направления присущего ему «огораживания» (*enclosure*): антикоммунизм, капиталоцентризм и европоцентризм (Țichindeleanu, 2006).

Следует подчеркнуть, что работа в этом направлении шла в условиях интенсивных дебатов того времени, и интеллектуальная деятельность сопровождалась практическим созданием независимых институтов и формированием коллективов, где такие идеи можно было открыто обсуждать и дорабатывать. Это платформа Indymedia, журнал *IDEA Arts + society*, платформа CriticAtac и ее международное отделение LeftEast, а также Балканский социальный форум и многие другие проекты, например, «Восточная Европа — инициатива Глобального Юга» (*Eastern Europe — Global South Initiative*) на Всемирном социальном форуме. Попутно складывалась автономная сеть формальных и неформальных институтов, а также отдельная область исследований на стыке истории культуры, политической теории, социальной антропологии и философской критической теории, о чем можно судить по заголовкам серии статей, опубликованных в то время: «К критической теории посткоммунизма?» (Țichindeleanu, 2010a), «Некапиталистические экономики и посткоммунистический переход» (Țichindeleanu, 2010b), «Где мы находимся, когда думаем в Восточной Европе?» (Țichindeleanu, 2010c), «Деколонизация Восточной Европы: за пределами внутренней критики» (Țichindeleanu, 2011) и расширенная «За критическую теорию посткоммунизма» (Țichindeleanu, 2012). Критические размышления о постсоциалистическом переходе обратились к другим направлениям исследований и практик, пронизанным аналогичным этосом, — к необходимости переосмысления локальной истории социалистического опыта (т. е. другого перехода) (Țichindeleanu, 2017), к двусторонним попыткам сформировать новый «региональный интернационализм» и к «транспериферийным сравнениям» (Țichindeleanu, 2013), а также к размышлениям о (и активным интервенциям) трансформации наших городов и ландшафтов (Țichindeleanu, 2016, 2018).

Череда наблюдаемых социальных и политических процессов неизбежно заставляла меня и других задуматься о «конце переходного периода», который я начал называть «переходом к капитализму» в Восточной Европе, а также о последствиях и потенциале видимой с этих позиций точки бифуркации всей мир-системы. Я использую здесь эпизоды моей собственной интеллектуальной биографии, чтобы несколько упростить, то, что в ином случае выглядело бы чрезвычайно плодотвор-

ным и разнообразным полем исследований, в надежде, что другие авторы увидят сходства и укажут на отличия своих собственных интеллектуальных маршрутов. Общий смысл здесь в том, что «Восток остался непознаваемым» еще и потому, что западные научные круги не смогли разглядеть эти институты и социальные процессы, их акторов и их наработки. Даже академические диалоги (ведущиеся с начала 2000-х годов), в которых делались попытки свести воедино «постсоциалистическое» и «постколониальное», не учитывали местные автономные процессы, в них обсуждались исследования на основе уже сформулированных аргументов и стандартных ссылок. То, что Льюис Р. Гордон назвал «дисциплинарным декадансом» (Gordon, 2007), проявляется в полной мере даже в самых «передовых» и прочих инновационных областях исследований, и одним из его аспектов, негативно влиявших (и продолжающих ему препятствовать) на познание Востока, является игнорирование локальных историй и теорий антигегемонистской, органической культуры. Следовательно, я думаю, что новаторский драйв, стоящий за «Глобальными Востоками», в первую очередь выиграет от устранения этого «слепого пятна» в «слепом пятне».

Во-вторых, истории исключений Востока, как мы знаем, противостоят очень важные контрпримеры, составляющие заметную часть транснациональных исследований. На Севере встреча Иммануила Валлерстайна с восточноевропейскими социологами, такими как румын Анри Шталь, спровоцировала значительные изменения между первым и вторым томами теории мир-системного анализа и привела к введению понятия «полупериферия», используемого для обозначения системной природы лиминальности и ее глобальных последствий. В настоящее время работу в этом направлении продолжает Мануэла Боатка, применяя эти понятия также к множественным интерпретациям и определениям самой Европы (Boatcă, 2020). Даже вне мир-системных исследований концепция полупериферии и работа с ней продолжают оставаться актуальными в деле прояснения социально-политических перспектив глобального постижения мира Востока.

И в-третьих, если Восток действительно «проваливался в трещины», то это происходило не под действием естественной силы притяжения. Исключение Востока Севером и его же исключение Югом не одинаковы по своей значимости и негативным последствиям. Можно указать на совместную работу Вальтера Миньоло и Мадины Тлостановой (и на понятие «имперское различие», противопоставляемое «колониальному различию» с точки зрения межимперской позиционности Востока) (Tlostanova, Mignolo, 2009; Tlostanova, 2018). Также важно вспомнить и растущий объем литературы, создаваемой учеными Востока, которые уже начали некоторую переориентацию «Глобального Востока» на отношения с «Глобальным Югом», то есть на отношения между полупериферией и периферией в контексте транспериферийных сравнений (а не отношений с центром). Здесь я вкратце упомяну проведенные Золтаном Джинелли исследования отношений между социалистической Венгрией и Ганой (Ginelli, 2018, 2020), масштабное исследование Лукаша Станека, посвященное внедрению социалистической архитектуры Вос-

точной Европы в Западной Африке и на Ближнем Востоке (Stanek, 2020), а также «Южные созвездия» — проведенную в 2019 году Бояной Пискур крупную выставку, посвященную положению Югославии в Движении неприсоединения и ее отношениям с Глобальным Югом (Pišku, 2019).

Вот лишь некоторые важные соображения, которые указывают на то, как воспринимать мир с Востока, отсылая к аргументированным точкам зрения и к определенным позициям в рамках глобальной системы и глобальной истории. «Глобальные Востоки» несут в себе не мнимый универсализм «глобальной Европы», а свою собственную ориентацию и понятийную плотность.

«Постсоциализм» и «Глобальный Восток»

Дуглас Роджерс

В двух статьях, которые вскоре войдут в тетралогию, Мартин Мюллер говорит: «Прощай!» постсоциализму (Müller, 2019) и выходит в плавание в поисках «Глобального Востока» (Müller, 2018). Намеченная Мюллером интеллектуальная программа амбициозна, изобретательна и основана на редкостно широком глобальном и междисциплинарном видении происходящего. Особенно похвально, что Мюллер ясно показывает нам ход своей мысли, уравнивая критику в первой статье обоснованным видением, изложенным во второй. Хотя я понимаю необходимость драматически описать новую территорию и поддерживаю многие идеи Мюллера, его критика изучения постсоциализма кажется мне преувеличенной и слишком легко жертвующей важностью историзирования наших аналитических понятий. Я также считаю, что текущая ситуация не настолько серьезна, как следует из этих статей, и что другие недавние академические дискуссии составляют «Глобальному Востоку» прекрасную компанию.

Критика Мюллера в статье «Прощай, постсоциализм» выстроена на четырех тезисах. Термин «постсоциализм» и связанные с ним исследования, по Мюллеру, базируются на разрыве, а не на непрерывности, страдают обедненным территориальным воображением, враждебны любому политическому переосмыслению социализма сегодня и неотделимы от политики производства знания, отдающей предпочтение местам, далеким от постсоциалистического мира. В 2020 году эти векторы критики (как Мюллер и сам хорошо понимает) вряд ли могут быть описаны как новые. В самом деле, я вспоминаю разговоры о «постсоциализме» в середине 1990-х — главным образом в антропологии, но не только в ней, и я не помню, чтобы когда-либо мне этот термин встретился в его «докритической» форме. Оно было, как говорится, «уже всегда», несовершенное и вызывающее недовольство понятие, полезность которого вырастала в той же, либо большей степени из индивидуальных и коллективных усилий умножить, «оставить позади», показать пределы, либо иначе отозваться на его кажущиеся недостатки. Конечно, верно, что

эти недостатки становились более очевидными по мере того, как проходили годы и копилось знание, и Мюллер исчерпывающе описывает эти тенденции.

Соглашаясь, что есть — и всегда были — значительные причины беспокоиться о «постсоциализме» как организующем понятии, стоит заметить, что критика Мюллера, несмотря на ее впечатляющую широту, строится на весьма поверхностном прочтении любого конкретного использования этого термина. Проработка библиографии его статьи привела меня к захватывающему осознанию современного состояния исследований в этом расширяющемся поле. Сегодня возможно написать обзорное эссе о понятии «постсоциализма», не цитирующее почти ничего, кроме других обзорных эссе о понятии «постсоциализма»! Из 120 источников Мюллера меньше десяти, по моим подсчетам, относятся к полевым исследованиям, другим эмпирическим данным или монографиям, и эти десять — краткие иллюстрации, а не подробный анализ. Этот фокус на метакомментарии и обзорных эссе снабжает «постсоциализм» как объединяющее понятие существенно большим весом, чем оно имеет в широком спектре использующих его исследований. Если бы рассмотреть, как «постсоциализм» работал в монографиях или в других отличных от обзорных жанрах, на которые большинство ученых тратят значительную часть своих времени и энергии, — дело бы выглядело иначе: в них куда больше внимания глобальному, эпистемологическому и критическому анализу (как раз такому, которого Мюллеру недостает). Академическая монография как жанр еще жива, и одно из ее достоинств — пространство для нюансированного и расширенного анализа, что термин «постсоциализм» всегда требовал.

Я также не уверен, что ситуация настолько ужасна, насколько кажется Мюллеру. Чтобы согласиться с его заявлением «простительно допустить, что „железный занавес“ так и не упал» (Müller, 2020: 8), нужно смутно представлять себе очень большой объем впечатляющих исследований. Много сильных и аналитически тонких работ появилось в последнее десятилетие, осуществивших то, чем, я надеюсь, Мюллер бы восхитился. В исторических дисциплинах я бы указал на изучение международного социализма/коммунизма учеными из университетов Южной Азии (e.g. Engerman, 2018; Raza, 2020); связей между Советским Союзом и Африкой (Matusevich, 2003); и наследия связей с Советским Союзом на Ближнем Востоке (Kirasirova, 2017). Присутствие бывшего Второго мира также сильнее ощущается в том, что Хо (Ho, 2017) и другие назвали пространством «Внутренней Азии» (концепция Внутренней Азии Хо аналитически плодотворна именно потому, что она мобильна, неполна и непредсказуема, что сходно с подчеркнутыми Мюллером лиминальностью и неопределенностью как ключевыми характеристиками «Глобального Востока»). Наконец, осуществленная Николаем Ссориным-Чайковым новаторская «пересборка» российской антропологии (Ssorin-Chaikov, 2019a, 2019b) вполне убедительно показывает, что определяющие дисциплину интеллектуальные вызовы все чаще исходят из российского академического сообщества.

Эти примеры неполны, «провинциальны» и построены не столько на исчерпывающем отборе, сколько на нескольких вещах, попавших недавно мне на стол. Они по большей части свежие, но одновременно представляют собой кульминацию многих лет индивидуального и коллективного исследования. Если мы добавим их обобщенное послание к сделанному Мюллером, то совокупная исследовательская экосистема совсем не кажется мне пустынной, нужно лишь подождать метакомментариев и обзорных эссе.

Перейду отсюда к своему финальному аргументу. В «Прощай, постсоциализм» есть любопытный момент: Мюллер предлагает проявлением неадекватности термина «постсоциализм» считать тот факт, что он стремится объяснять настоящее в терминах прошлого (Müller, 2019: 539). Возможно, этот аргумент лучше перефразировать как предупреждение против сведения настоящего к прошлому, но в любом случае, жизнерадостное выбрасывание истории не кажется мне разумным. С моей точки зрения, лучший способ отправиться на поиски «Глобального Востока» — не сказать постсоциализму «до свидания», а историзировать его. Если мы заняты извлечением уроков из постколониальных исследований, то один из них точно состоит в том, что история в конце концов «догонит» все наши термины. Лучше осознать это сейчас, чем удивиться позднее.

Как может выглядеть такое историзирование? Я с готовностью разделяю настойчивое заключение Мюллера, что задача теоретизации «Глобального Востока» должна быть неустанно реляционной и полностью охватывающей лиминальность, непредсказуемость и неизвестность. «Двусмысленность и эфемерность» (Müller, 2020: 16), которыми «Глобальный Восток» часто славится, могут и должны, как доказывает Мюллер, служить отправным моментом более широкой политики знания, значимой для «Глобального Севера» и «Юга» столь же, сколь и для «Глобального Востока». Эта установка, хотя явно принадлежащая сегодняшнему дню, также хорошо описывает и главный вектор изучения постсоциализма в 1990-е годы. Как иначе можно понять Катрин Вердери, критикующую «транзитологический» мейнстрим (по преимуществу в экономике и политических науках в западной академии) в середине 1990-х?

Перечитывая работы, посвященные постсоциалистическим процессам «приватизации», создания «прав на собственность», развитию «демократии», «гражданского общества» или «конституций» — иными словами, предполагаемому строительству «либерального государства», — испытываешь фундаментальное замешательство. Начинаешь видеть, что эти термины не обозначают работающие понятия, но являются элементами массового политического и идеологического потрясения, которое никоим образом не ограничивается «Востоком». (Verdery, 1996: 38)

Большая нестабильность «Востока» поэтому позволяет особенно хорошо рассмотреть трансформации, происходящие в других местах. Я не хочу сказать, что Мюллер не говорит ничего нового. Он говорит, и его рефлексия того, как «Глобаль-

ный Восток» может войти в расширяющиеся академические дебаты о «Глобальном Севере» и «Юге» — не так еще заметные в 1990-е — особенно убедительна. Но мы, кажется, мало приобретем и много потеряем, если полностью избавимся от пост-социализма. Хотя Мюллер особенно озабочен тем, чтобы установить дистанцию между собой и исследованиями постсоциализма, начатыми Вердери и другими, мне все же кажется важным спросить: как получилось, что концепции Вердери и Мюллера, разделенные двадцатью пятью годами, столь явно укоренены в призывах поставить лиминальность и эфемерность на «Востоке» на службу проекту более глобального знания? Это вопрос для статьи, а не для короткого комментария, так что позвольте мне закончить, указав на, возможно, самую многообещающую линию различия между двумя концепциями: институциональные структуры международной академии в 1996 году и сегодня. Академические институты в регионе, названном Мюллером «Глобальным Востоком», — университеты, журналы, издатели, профессиональные сети и т. д. — сегодня в состоянии сделать гораздо больше, чем их предшественники в 1990-е годы для того, чтобы поддерживать и распространять знание. В академической жизни остается, безусловно, много проявлений сильного неравенства, и многие из нас борются пересекающимися способами с глобальной корпоратизацией, неолиберализацией и политизацией знания. Но совершенно ясно, что по сравнению с 1990-ми условия для подлинно глобального спектра дебатов между учеными, а с ними и политик знания, уже имеются в большей части самого «Глобального Востока». Я полностью согласен с Мюллером, что такой род институционального строительства остается для всех нас срочной задачей.

Согласился бы Коперник?

Андрей Левкин

Схему мироздания сочинить просто, ведь ее полнота и полная адекватность во все не обязательны. Схема может быть ситуационной, решать локальные задачи. Тогда от нее и не требуется полного описания всего подряд, для нее мирозданием будут ситуация и локальная задача. Такая схема сформирует площадку, на которой можно собирать и выяснять то, что входит в ее компетенцию. А еще есть прелестная спекуляция из матлогики. Предикат $A \rightarrow B$ всегда истинен, если A ложно. Из ложного утверждения можно вывести все, из него следует что угодно. Но тут же не математика, поэтому «что угодно» здесь может оказаться даже и вменяемым. Конечно, лучше бы, чтобы неистинность этого A была бы не очень уж неистинной. Но вот же у автора в «Глобальный Восток» входит Польша: «Варгас Льоса, Гарсия Маркес и Кутзее узнаются моментально, в то время как Алексиевич, Мюллер и Шимборская звучат как инопланетные фамилии. Все шесть — недавние лауреаты Нобелевской премии по литературе». Также «мы увидим, что Восток оставался непознаваемым, поскольку был вынесен за пределы западной архитектуры и си-

стемы обмена знаниями». Польша, «вынесенная за пределы западной архитектуры и системы обмена знаниями», это неожиданно. Согласился бы Коперник?

Именно это может быть интересным и прагматичным. Польша и Китай в одном ряду. Мощная схема, раз уж сопрягает эти две субъектности. Еще интересна методика доказательств и установления связей. Обоснования строятся на метафорах («Восточность — состояние инерции, вывихнутости из времени и пространства»), что склоняет схему к художественности. Логические выводы тоже проводятся через кривое утверждение. О роли граненого стакана: «Изображение 1. Найдите отличия: советский граненый стакан (слева) и современная интерпретация IKEA под названием Vargaden (справа)». Далее: «Дизайн IKEA не скрывает, что получившаяся форма вдохновлена советской классикой дизайна — советским граненым стаканом работы Веры Мухиной, по крайней мере, уже в 1943 году получившим статус иконы дизайна» (Idov, 2011: 78). То есть это не люди из IKEA говорят, тут дизайн сам как бы нашептал автору, но уж художественность — так художественность. Пример не проходной, он из несущей конструкции «История стакана — это история о промежуточном положении, которое Глобальный Восток занимает на обеих позициях, позиции производителя и потребителя внутри глобальных процессов». Но только граненые стаканы возникли еще до СССР, чуть ли не в петровские времена. Даже в «Википедии» можно обнаружить, что «на „Утреннем натюрморте“ Петрова-Водкина изображен 12-гранный стакан с чаем, а это — 1918 год. <...> В экспозиции музея Фаберже в Баден-Бадене демонстрируется натюрморт в стиле „авангард“ 1905 года, на котором изображены яичница-глазунья, скелет селедки и граненый стакан». Иными словами, точность исходного утверждения не очень-то хороша. Здесь не праздный фактчекинг, потому что далее следует вопрос: схема с Глобальным Востоком действовала всегда или же складывается — для автора — исключительно в постсоветское время? Тут не только Россия и СССР, а положение той же Польши до 1945 года и после. Изменила ли она свое место в схеме? Как быть с Латвией во времена Ливонского ордена? Или Финляндия, к чему она относится в этой раскладке сейчас и как было до 1917 года?

Значит, это интересная схема. Она не так чтобы вечная, возникает в определенное время и, похоже, не в историческое время (не указан момент ее складывания), а ровно в момент, когда она появляется в уме автора. Для некоторой аудитории (потенциально можно найти аудиторию под любую схему) огрехи и приближенность могут быть и не важны — уместно же объяснять Солнечную систему, расставляя на удалении от апельсина какие-нибудь сливы, вишни, их косточки.

Схема вполне прагматична. По крайней мере, вызывает реакцию. Вопрос в том, насколько ее ограничения и допущения являются ее же частью. Какие параметры исследуемых элементов эта схема отбрасывает за ненужностью? Некоторые уже упомянуты, но главное: в схеме все элементы-страны являются сингулярными однородными объектами. Будто шарики, каждый из какого-то своего вещества, единственного для них (несмотря на заявление: «Частью политического импульса по переоткрытию Востока является желание вернуть его великое разнообразие»

[Müller, 2020: 28]). Мало того, внешние взаимодействия этих элементов зависят даже не от качеств их веществ, но строго от места элемента в предлагаемой схеме. Соответственно, открытый вопрос: для каких задач эта схема может быть эффективна?

Новый ориентализм?

Юлия Градскова

В своей полемической статье Мюллер ставит задачу «вернуть Восток на карту производства знания» и предлагает сделать это с помощью стратегического эссенциализирования Востока и внимания к его включенности в глобальные связи и отношения. Трудно не согласиться с автором в том, что касается распространенного представления о странах Восточной Европы и бывшего СССР как «серой зоны». Автор показывает, что этот регион не является привлекательным именно силу своей неопределенности (промежуточности) и отсутствия ожиданий инновационных и эмансипационных порывов (невозможности своего Фанона). Автор не одинок в своих рассуждениях и ссылается, в частности, на описания этого региона Мадриной Тлостановой как региона полуразличия, и Ларри Вольфом как «полупериферии».

В дальнейшем я остановлюсь на трех аспектах проблемы, обсуждаемой в этой статье. Сначала я хочу обсудить некоторые исторические контексты «серого региона», которые не получили достаточного внимания в статье. Затем я обращусь к понятиям «Глобального Юга» и «Глобального Севера» как концептов, используемых в производстве знания. И, наконец, закончу несколькими комментариями в отношении перспектив использования «Глобального Востока».

Как историк «серого региона» и как гендерный историк я, конечно, постоянно сталкиваюсь с проблемой его неопределенности, противоречивости и недостаточности теоретизирования опыта людей, которые там жили и живут (см.: Tlostanova, 2017). Также в течение многих лет я продолжаю ощущать ожидания многих моих коллег на «Западе» в отношении того, что этот регион полностью растворится в каких-либо иных категориях, а категории «бывшего коммунистического мира» или «бывшего СССР» будут благополучно забыты. Однако, как Мюллер, так и многие другие авторы, показывают, этого полного разрыва с прошлым не происходит и, возможно не произойдет в скором будущем.

Мюллер, очевидно, не первый, кто связывает «исчезновение» региона с карты производства знания одновременно с исчезновением трехчастной системы мира времен холодной войны. Однако он не уделяет много внимания попыткам «восстановления» такого наименования в исторических публикациях последнего времени. Именно исчезновение Второго мира заставляет, например, автора недавно опубликованного исследования о транснациональных связях между болгарской женской организацией и женской организацией Замбии, Кристин Годзее, назвать

свою книгу «Второй пол Второго мира» (Ghodsee, 2018). В то время как «серое пространство» чаще всего оказывается лишенным глобальности, Годзее фактически «восстанавливает» существование этого мира, «стертого» не только с современной, но и с исторической карты. Она показывает, что деятельность такой организации, как Международная демократическая федерация женщин (МДФЖ), обычно описываемая в период холодной войны как «советский фронт», имела глобальный характер и была привлекательной для женщин Африки, стремившихся к эмансипации (о МДФЖ и ее противоречивом сотрудничестве с женщинами Азии и Африки см. также мою статью: Gradskova, 2020). Глобальность бывшего Второго мира рассматривается также в недавнем сборнике под редакцией Джеймса Марка, Артемия Калиновски и Стеффи Маррунг (Mark, Kalinovsky, Marung, 2020), сделавших альтернативные глобализации центром своего исследования. Привлекательность альтернативных вариантов модернизации (соотносимых со странами Второго мира) в странах Африки и Азии и связи и отношения между Вторым и Третьим мирами затрагивались также в работах о Бандунге (Eslava et al., 2017; Lee, 2010). Однако таких исследований пока недостаточно. Можно даже предположить, что поразительное отсутствие в Европе и Северной Америке работ, изучающих коммунистические организации и коммунисток-женщин в рамках исследований о глобальном¹, возможно, свидетельствует скорее об опасениях в отношении сохраняющейся предполагаемой суперглобальности коммунистических идей², чем об отсутствии глобальных связей и отношений в этом регионе. И, возможно, опасения в отношении возрождения в прошлом «суперглобального» региона способствуют игнорированию его глобальности в настоящем?

Я вполне разделяю неудовлетворенность автора статьи делением мира на «Глобальный Юг» и «Глобальный Север». При этом удивляет не только их несоответствие географии Севера и Юга (например, Австралия как часть «Глобального Севера»), но и проявление многочисленных связанных с колониальным прошлым противоречий (так, Сингапур нередко относят к «Глобальному Северу», а Судан — при всех противоречиях внутренних позиций колонизируемого и колонизатора — к «Глобальному Югу»). Таким образом, «Глобальный Юг» превращается в слишком абстрактное понятие, чье географическое и культурное значение должно переопределяться каждый раз заново. В ходе моего исследования о МДФЖ оказалось, например, что именно понятие «женщины Глобального Юга» соответствует в наибольшей степени историческому понятию «женщины из стран Третьего мира» и должно употребляться в качестве современного и объясняющего эквивалента в публикации (Gradskova, 2020).

Наконец, в то время как я согласна вполне с автором статьи в необходимости пересмотра системы наименования регионов, я совсем не уверена в продуктивности использования «Глобального Востока». Это связано не только с ориенталистскими коннотациями «востока», казалось бы, навсегда предназначенного на

1. Такие исследования есть, например, в Латинской Америке: Valobra, Yusta, 2017.

2. Например, исследования Коминтерна редко включают в описания глобальной истории.

роль «другого» после знаменитой книги Саида (1979). Но так же как в случае «Глобального Юга» и «Глобального Севера», географические несоответствия слишком очевидны и попытка сделать видимым «забытый» Восток может привести к тому, что он окажется потерянным среди многих других Востоков. В этом случае «постсоциализм» — по аналогии с «постколониализмом» — может оказаться более практичным выбором, чем «Глобальный Восток». «Постсоциализм» (как пишет об этом Тлостанова, 2017) предполагает отношения между настоящим и историческим прошлым и содержит указание на некую альтернативу в прошлом (другую модерность в том числе). И в то же время это открывает возможность более точного определения остатков такой модерности — будь то Словения, Куба, Кыргызстан или Ангола. С точки зрения изучения гендерных отношений в регионе такое использование представляется вполне логичным — как Ильдико Астолос Морелл и я показываем в предисловии к нашему сборнику (Asztalos Morell, Gradszkova, 2018), в регионе остались некоторые схемы экономических и политических структур и ментальных конструкций, которые нередко в контексте очень схожих неолиберальных программ (например, реформы образования или пенсионной системы, которые предписываются как для Швеции так и для Чили; для России или Казахстана) — требуют анализа в качестве особых и связанных с историческим прошлым.

О невидимости кому я должна сожалеть?

Марина Соколовская

Абстракциям, организующим дискуссию об устройстве мира сегодня, противостоит время — то, что было, и то, что будет. Это опыт музея — осколки, фрагменты, микроистории, противопоставленные теоретическим категориям или метафорам. Наверное, я — тот невидимый, не говорящий по-английски, но заинтересованный в интересе к своему, если не исследователь, то читатель. Но эссе Мюллера заставило меня вновь и вновь думать о том, что система знаний производится все там же, на воображаемом и не менее замалчиваемом «Западе». Главный возникший у меня вопрос — о невидимости кому я должна сожалеть?

Я начала вести дневник, когда с родителями приехала в 1996 году в Душанбе. Из-за разочарования: ждала встречи с восточной сказкой, а увидела советский город. Из-за захваченности новым опытом: люди жили иначе. Их тела, одежда, квартиры и дома, еда, отношения мужчин и женщин — то, что мог заметить подросток — отличались. Когда я привыкла, дневник был заброшен, и в него не были записаны другие наблюдения — о следах и последствиях войны, о бедности. Эти наблюдения были ограничены, как район, в котором безопасно было передвигаться.

Тахмина, работавшая лет шесть назад няней у моей подруги в Москве, показала мне снимки незнакомого Душанбе. Разглядывая фотографии, где вопреки

всему благодаря моим школьным друзьям и родителям я прожила счастливый год, я видела другой город. Душанбе — новый, советский город таджиков превратился в постсоветский. В начале 1990-х годов площадь Ленина стала площадью Озоди (Свободы), а вместо памятника Ленину на площади установили памятник Фирдоуси. Когда гражданская война завершилась, площадь получила новое название — Дусти (Дружбы), а Фирдоуси сменил Исмаил Самани. Конструктивистские и неоклассические здания, в которых размещались важные советские учреждения и органы власти, были снесены, а улицы переименованы. Советские архитекторы интерпретировали наследие таджикской культуры. Новые здания, Дворец Нации и другие, на снимках кажутся суррогатом «европейской», западной архитектуры власти. Строительство в Душанбе — это стройки в бедной стране, население которой вынуждено ездить на заработки в другие страны, при поддержке своего государства или на свой страх и риск.

Мир в Таджикистане в 1990-е для многих — самая успешная военная операция российской армии той поры, но российское посольство тогда работало в отеле. Однако каждый день я ходила мимо особняка посольства Ирана. Жизнь в Таджикистане для политиков и жителей множеством нитей связана с Узбекистаном и Афганистаном, Россией и Китаем, Ираном и Турцией. Кажется, в глобальном мире Таджикистан обречен быть невидимым — его алюминий, вода, хурма, лимоны, фисташки, люди и культурное наследие.

Но Исмаил Самани — не историческая фикция, в которой новое государство ищет корни. Это вместе с тем образ другой карты мира, где отношения богатства и бедности, силы и слабости структурированы не географически, а хронологически, как переменчивые. Где были сады, там пустыни, и наоборот.

Недавно я спросила Аркадия Дубнова, безопасно ли молодой женщине поехать в путешествие в Таджикистан? Верно ли думать, что сегодня Таджикистан, отказываясь от всего советского, модернистского, что для меня лично определяет возможность безопасного одинокого путешествия, скатывается в бездну? Поучительный ответ эксперта заключался в том, что происходящее в этой стране — не возврат в домодернистскую эпоху, а «этнически имманентный себе тренд развития».

Что же такое глобальные Север, Юг, Восток? Вся моя жизнь разворачивается в этом воображаемом Востоке. Значат ли в нем Уганда или Лаос что-то большее и привлекательное как пространства для наблюдения или исследования, чем Польша, Узбекистан или Россия, как это происходит, видимо, на глобальном Севере?

Один из генеральных консулов Чехии в Екатеринбурге Петр Синкула был с визитом во Владивостоке. Это был его консульский округ, но местный чиновник, объявляя об участии консула в мероприятии, сказал о нем как о представителе экзотической для Дальнего Востока страны. Для Екатеринбурга Прага — потенциально близка, для Владивостока — экзотична. Сегодня — это столица Чехии, страны с социалистическим прошлым. Когда-то — столица Священной Римской империи.

В пространственных категориях Севера, Юга и Востока я слышу попытки создавать разнообразные описания мира. Но они создаются, следуя современной карте мира. По иронии на этой карте отсутствует воображаемый Запад, то есть те земли, в университетах которых Юг производит знание о себе, пытаясь преодолеть европоцентризм и диктат моделей Севера как эталонных. Это сеть, которая фиксирует современные условия производства знания и политики в условиях стабильных границ и правил. Но опыт постсоветского мира и постсоветской географии учит, что условия и ценности подвижны. Не на окраинах мира, не на Юге, а везде. Может ли категория Глобального Востока направить исследователя по пути сомнения не в иерархии мест, а в стабильности миропорядка?

Перепроизводство Востоков

Алексей Голубев

На территории от Варшавы до Владивостока, в этой «черной дыре», укрывающейся «в тени где-то между Глобальными Севером и Югом», удивительная плотность научных институтов. Университеты и академии наук, их библиотеки и филиалы, отдельные НИИ и конструкторские бюро, научные журналы и издательства создают внушительную систему, которая производит немалый объем знаний. Некоторая часть этой продукции не выдержит даже поверхностного рецензирования, существенная доля окажется вторичной или описательной. Но будет и много исследований, выполненных на высоком научном уровне. В области литературной теории и лингвистики Тарту, Прага и Москва — далеко не белые пятна. Среди российских славистов и скандинавистов, палеонтологов и археологов, исследователей античности, христианства и арктического климата — немало ведущих специалистов в своих областях. Не говоря уж о том, что вряд ли кто-то на Глобальном Севере знает историю, например, Приднестровья хотя бы вполовину так же хорошо, как историки, работающие в Молдавии, Румынии, России, Украине и самом Приднестровье.

На этом же пространстве — определим его теперь широтно, от Мурманска до Душанбе — есть не только солидная научная экспертиза, но широкое хождение других форм знания о себе и своих соседях — практического, культурного, кулинарного, финансового, дипломатического и т. д. Для российских и восточноевропейских туристов Варна, Сочи и Подгорица — не чужие названия, а на курортах Иссык-Куля много туристов из Казахстана, Узбекистана и даже сибирских регионов России. Режиссеры со всей Восточной Европы и Евразии везут свои фильмы на Московский и Варшавский кинофестивали, в Карловы Вары и на таллинские «Белые ночи», равно как и на многие другие региональные мероприятия. Произведения Анджея Сапковского и Станислава Лема переведены на все основные литературные языки Восточной Европы; чрезвычайно популярны по всему миру восточноевропейские видеоигры (S.T.A.L.K.E.R., Metro 2033). Хоккейные, футбольные

и баскетбольные болельщики также неплохо осведомлены о географии региона. Наконец, грузинское вино, армянский коньяк и сибирские пельмени пользуются спросом как в Норильске, так и в Вильнюсе.

Когда Мартин Мюллер сетует, что для швейцарских студентов регион «Глобального Востока» — это «унылое», «скучное» и «серое» место, что эпистемически он представляет собой «лиминальное пространство», существующее «в прорехах между Севером и Югом», и что в современном состоянии (после падения социализма) он «стерт с глобальной карты», эти утверждения являются продуктом определенного эпистемологического режима. Этот режим выдает себя за часть глобальной системы производства знания (отсюда, например, утверждение Мюллера об «отсутствии голосов с Востока в глобальных дискуссиях»), но в реальности он представляет собой очень ограниченную перспективу. В этом эпистемологическом режиме типической реакцией, помогающей организовать авторский нарратив, оказывается скептицизм швейцарских студентов и те академические клише, которые рассматривают «восточный» регион «как нечто отделенное и отдаленное от мира, не способное вносить ценный вклад» в его развитие. Стоит ли говорить, что простое смещение позиции высказывания из Центральной Европы в рассматриваемый регион (как и в Китай, Индию или Мексику) сразу снимет все претензии на универсализм этой схемы? Равно как и в Петрозаводске или Екатеринбурге потребуются немало усилий, чтобы найти студента, который безоговорочно охарактеризует Восточную Европу как «серое» и «скучное» место, или ученого, который согласится с утверждением о неспособности региона «вносить ценный вклад» в глобальный исторический процесс. Определяя регион «Глобального Востока» через операцию исключения (не-Север и не-Юг) и фигуру отчуждения (место, не включенное в глобальные дискуссии), Мюллер осуществляет операцию эпистемологического цензурирования по отношению к тем субъектам, о которых он пишет. Само это определение — «Глобальный Восток» как регион, который исключен из глобальной системы производства знания — конституирует жителей этого региона как субальтернов, неспособных говорить, поскольку их знание объявляется неинтересным, неактуальным или невостребованным. В этом эпистемологическом режиме, где рождается термин «Глобальный Восток», полноценное академическое гражданство есть у швейцарского ученого и его студентов, но не его восточноевропейских или центральноазиатских коллег, обладающих солидным запасом знаний о своих регионах (наблюдение, с которого я начал своей текст).

В этом есть некий парадокс — ведь Мюллер призывает мировое научное сообщество обратить самое пристальное внимание на Восток, но лишь после того, как заявляет об отсутствии у его жителей полноценного голоса. Отсюда почти прогрессорская цель, заявленная автором в статье: «вернуть Восток на карту производства знания», поскольку сами жители «Глобального Востока», очевидно, на это неспособны. Центральными координатами на этой карте оказываются скучные при упоминании Восточной Европы швейцарские студенты и европейское

академическое сообщество. В этой модели успешность или неуспешность достижения заявленной цели может оцениваться лишь по одному критерию: по той частоте, с которой на восточноевропейских исследователей будут ссылаться в «глобальных дискуссиях». Поскольку «глобальные дискуссии» — понятие абстрактное, в реальности, очевидно, речь идет о дискуссиях на базе западноевропейской и североамериканской научной инфраструктуры (журналах, издательствах, конференциях), судьей «Глобального Востока» остается «Глобальный Север».

Противопоставление «Глобального Севера» и «Юга» — одна из фундаментальных исследовательских категорий современных социальных и гуманитарных наук — использует географию для того, чтобы говорить о ситуации глобального неравенства между метрополиями и бывшими колониями, которая продолжает воспроизводиться спустя 60 лет после Декларации ООН 1960 года о деколонизации. География здесь опрокинута на международную политэкономия: ее ценность заключается в визуализации огромного международного неравенства и продолжающуюся до сих пор эксплуатацию трудовых и природных ресурсов бывших колоний бывшими метрополиями. Возникающая при этом карта помогает разговаривать об исторических основаниях, современных проблемах и будущих трудностях, связанных с этим неравенством.

На эту карту действительно трудно нанести страны, правительства которых на разных этапах XX века объявили о своей приверженности социализму и провели комплекс мер, направленных на строительство социалистического общества (бесплатное образование, медицина, массовое распространение научных знаний, декларируемая приверженность к равноправию полов, рас и этнических групп, культ рациональности и пр.). Социалистический путь к социальной модернизации, сменившийся после 1989 или 1991 года рыночной экономикой (хоть и не везде), в большинстве случаев сформировал вполне современные общества. Более того, эти же страны — в частности, СССР, Китай и Куба — в определенный момент времени оказались важными союзниками стран Третьего мира в процессе деколонизации. Поскольку социализм представлял собой вызов гегемонии стран Первого мира в их бывших колониях, его исторический опыт трудно концептуализировать в рамках деления Север — Юг, основной целью которой как раз и является обнажение тех структур, институтов и конвенций, сделавших эту гегемонию такой устойчивой. Подобная концептуализация трудна не потому, что регионы бывшего Второго мира «просочились в трещины» между Севером и Югом. Проблема не в объекте исследования, а в исследовательской оптике: невидимыми на «глобальной карте» страны бывшего Второго мира делает собственная исследовательская перспектива Мюллера. Как аналитический инструмент деление на глобальный Север и Юг преследует совершенно иные цели, чем определение стран бывшего социализма. Плотник не сверлит отверстия топором — для этого у него есть другой инструмент. Можно, конечно, прикрутить сверло на топорище, как можно и искать глобальный Восток в трещинах между Севером и Югом — но стоит ли?

Если между странами, которые Мюллер определяет как часть «Глобального Востока», и есть что-то общее, так это опыт социалистической модернизации, который не стал частью истории, а сохраняется в настоящем — в социальной медицине, высоком уровне образованности, формах социальной мобильности или городской инфраструктуре. Мюллер критикует термин «постсоциализм» за его замкнутость на истории, но если мы хотим найти некие общие знаменатели между Кыргызстаном, Молдовой и Словакией, то нам придется обратиться к тому, как исторический опыт социалистической модернизации проявляется в наши дни — например, в высокой плотности системы дошкольных учреждений в этих странах или относительной доступности высшего образования. При всех своих недостатках, термин «постсоциализм» отражает то, что общей спецификой стран бывшего Второго мира является социалистическое наследие, зримо и осязаемо присутствующее в настоящем. В отличие от термина «Глобальный Восток», который определяет регион негативно (не-Север и не-Юг), термин «постсоциализм» стоит на прочной эмпирической базе и помогает обратить внимание на важные характеристики обсуждаемого региона. И, наоборот, для определения Мюллера история не важна, поскольку таит в себе опасность «застывания во времени». «Глобальный Восток» для него — это в первую очередь географический регион. Что характерно, те понятия, от которых он отталкивается — «Глобальный Север» и «Юг» — это понятия не только географические, но и исторические, поскольку они отсылают к опыту империализма и колониализма. Лишив «Глобальный Восток» аналогичного историзма, Мюллер чрезвычайно обеднил аналитический потенциал своего понятия. Более того, лишение историзма — это еще и политический акт. Понятие «Глобального Востока» тяготеет к консерватизму. В общем-то утверждение о «невидимости» региона имеет смысл только в концептуальных рамках, принимающих социально-экономическую систему современного капитализма за единственно возможную норму.

Для того чтобы вытащить «Глобальный Восток» из «концептуального чистилища» и восстановить его «в мировом праве на место и праве быть услышанным», Мюллер в качестве решения предлагает стратегический эссенциализм. Стратегический эссенциализм в данном случае представляет собой временный, на период политической борьбы, отказ от постулирования различий между странами и сообществами этого региона и формулирование некой общей позиции, которая должна бросить вызов эпистемологической гегемонии «Глобального Севера». По сути, Мюллер предлагает сконструировать — интеллектуально и эпистемически — регион «Глобального Востока», чтобы многократно усилить доносящиеся из него голоса.

Однако подобный стратегический эссенциализм требует от его акторов еще одно важное концептуальное движение, а именно отказ от собственных эпистемологических схем и освоение гегемонного концептуального языка, ведь только на нем, согласно логике Мюллера, представители «Глобального Востока» могут встроиться в «глобальные» (а в действительности, ориентированные на «Глобаль-

ный Север») дискуссии. По большому счету, сама эта дискуссия вокруг статьи Мюллера «Разыскивая Глобальный Восток» ведется не на языке «Глобального Востока», а в концептах и терминах западной научной традиции. Именно поэтому не очень понятно, что эта концепция может дать ученым, политикам или активистам из региона, ведь облекая свои мысли в навязанный извне концептуальный аппарат, они обречены производить вторичное знание.

Пожалуй, наиболее характерно в обсуждаемой статье то, что ее главный эвристический посыл исходит из предложения Мюллера сравнивать явления одного порядка — американский и российский неопатримониализм, застройку Ташкента и Бразилии, евангелизм в Украине и Нигерии, список можно продлить до бесконечности — безотносительно их географического положения в Глобальном Севере, Востоке или Юге. Подобные сравнения являются чрезвычайно продуктивными (как показывают, например, недавние книги Кейт Браун (Brown, 2015, 2019), однако для них совершенно необязательно деление мира на две, три и более частей. По сути дела, эти сравнения возможны потому, что они основываются на совершенно иной концептуальной парадигме — на понимании исторического опыта XX столетия в разных частях нашей планеты как опыта глобальной модерности.

Постсталинская архитектура, общий знаменатель «Глобального Востока»?

Поль Волькенштейн

В 1991 году произошел распад Союза Советских Социалистических Республик и возникли пятнадцать независимых государств. Долгое время исследовательский мир задавался вопросом, куда именно стоит отнести это географическое пространство. В конце концов, согласились с тем, что все эти страны относятся к постсоветскому, или постсоциалистическому пространству, во всяком случае, к бывшему СССР. Достаточно лишь посмотреть, как путешественник, интересующийся этими регионами, с трудом находит свой путеводитель, блуждая по полкам специализированного магазина. Найдет ли он искомую книгу среди путеводителей по Скандинавии, если поедет в Латвию или Эстонию? Искать ли ему путеводитель, посвященный Армении или Грузии, в разделе «Ближний Восток» или в разделе «Европа»? Найдет ли он что-то о Киргизии или Туркменистане в разделе «Россия», или ему нужна полка с путеводителями по Азии? Этот пример из повседневной жизни кажется банальным, но позволяет поставить важные с методологической точки зрения вопросы. С одной стороны, есть соблазн продолжать объединять эти государства в группу, известную как постсоветское пространство, но тогда возникает риск воспроизвести а posteriori географические пределы советской империи. С другой стороны, чувствуется желание разделить это постсоветское пространство на подгруппы и интегрировать их в другие группы, уже не являющиеся предметом дискуссий. В то время как страны Балтии (Эстония, Лат-

вия, Литва) уже присоединились к Европейскому союзу, возникает вопрос, будет ли оправданно включение в него Белоруссии, Украины или Молдавии. В Армении и Грузии живут христианские народы, культурно близкие западным, однако, с другой стороны, эти страны географически расположены на границах Европы, Азии и Ближнего Востока. Наконец, среднеазиатские республики образуют, по сути, семью государств, не относящуюся к России, Восточной Азии или Ближнему Востоку, и определенные социально-экономические показатели оправдывают их присоединение к странам Глобального Юга.

Однако существует некое измерение, объединяющее эти страны в компактный и неразрывный ансамбль, — это измерение градостроительства, архитектуры и городского планирования. Даже сегодня во всех городах Глобального Востока до сих пор можно встретить характерные здания 1960-х, 1970-х и 1980-х годов. Строения хрущевского и брежневского периодов видны во всех странах бывшего Советского Союза и неизбежно являются частью городской ткани. Именно после Второй мировой войны Советский Союз достиг географического апогея, интегрировав балтийские республики и восточноевропейские государства-сателлиты. Эта *a fortiori* постсталинская архитектура является лейтмотивом, которого нельзя избежать при столкновении с городами этого Глобального Востока.



Советское информационное агентство (ТАСС), Москва, Россия.
Архитектор: В. С. Егоров, 1977 г. © Поль Волькенштейн, 2020

После смерти «отца народов» в 1953 году Хрущев в 1955 году осудил сталинские архитектурные излишества, а в 1963 году и распустил Академию строительства и архитектуры СССР. Затем последовало десятилетие, в течение которого доминировала промышленная и сборная архитектура, где роль архитектора, к сожалению, сводилась к приспособлению планов. В конце 1960-х годов советские архитекторы и руководители осознали дурное влияние стандартизации на архитектуру и градостроительство и вновь попытались перейти к творческому планированию при создании жилых помещений, хотя куда более заметным ее влияние оказалось в архитектуре объектов городской инфраструктуры. Даже сегодня во всем городском ландшафте, который предлагает нам этот Глобальный Восток, мы все еще находим характерные элементы архитектуры и городского планирования. Это *хрущевки* и *многоэтажки*, собранные в огромных жилых *микрорайонах*, а также эмблематические и оригинальные инфраструктурные объекты, сгруппированные в городских центрах, чья архитектура была вдохновлена Западом, недавним покорением космоса или локальными традициями зодчества в различных союзных республиках. Именно это напряжение между стандартной типовой жилой застройкой и символическими объектами составляет общий характер этого географического пространства. Этот архитектурный стиль можно условно назвать социалистическим модернизмом, содержащим местные особенности³.

Эта особая архитектура, распространившаяся по всему Советскому Союзу, была бы невозможна без определенной степени политической стабильности. Когда Горбачев, придя к власти, порвал со своими предшественниками, назвав брежневский период «застоем», ему, вероятно, недосуг было заметить, что в области архитектуры и строительства этот термин не был адекватным. «Архитектура застоя», вероятно, не самый подходящий термин для описания советского строительства в 1960-е, 1970-е и 1980-е годы. С другой стороны, стагнация или стабильность этого государственного аппарата явились определяющим фактором развития данной архитектуры.

Без заказчика проекта (без клиента, без спонсора) архитектуры не существует. Однако в советских условиях эти функции выполняет исключительно государство. В СССР государство одновременно является и лицом, принимающим решение, и инициатором архитектурного проекта, и именно оно устанавливает правила его проектирования и реализации. Проектирование, строительство и сдача объекта — длительный процесс, и желательно, чтобы спонсор проекта не менялся по ходу дела. Что касается советского модернизма, то политические лидеры и инициаторы этих проектов были первыми секретарями ЦК союзных республик и по большей части оставались у власти до тех пор, пока Горбачев их не сместил. Все эти «спонсоры» были уроженцами Глобального Востока, и я здесь перечислю лишь некоторых из них: Август Восс (первый секретарь ЦК КП Латвии с 1966 по 1984 г.), Владимир Щербицкий (первый секретарь ЦК КП Украины с 1971 по 1989 г.), Гей-

3. См. веб-сайт Архитектурного центра в Вене (Австрия): http://wiki.azw.at/sovietmodernism_database/home.php.

дар Алиев (первый секретарь ЦК КП Азербайджана с 1969 по 1982 г.) или даже Турдакун Усубалиев (первый секретарь ЦК КП Кыргызстана с 1961 по 1985 г.) и др. Эти первые секретари возглавляли свои республики достаточно долго, чтобы организовать строительство того, что сегодня является городским пейзажем бывшего СССР. Многие из этих руководителей оставили мемуары, в которых мы легко можем выделить одну общую черту — их страсть к архитектуре и градостроительству. Одно можно сказать точно: эти первые секретари — «секретари-строители» — сформировали городской пейзаж Глобального Востока. Использовали ли они архитектуру как инструмент утверждения своего авторитета, следуя тысячелетнему обыкновению политиков? Мишель Фуко разработал набор определенных теоретических элементов, позволяющих доказать тесную связь власти с архитектурой. Еще один вопрос заслуживает того, чтобы его задать. Действительно ли в этой прото-государственной логике, в которой находит свое выражение стремление к эмансипации, эти руководители использовали архитектуру? Строили ли они современные советские столицы, или будущие столицы для государств, которые когда-нибудь могут стать независимыми? Урбанистическая и архитектурная сцена политической власти в этих брежневских городах пытается удержать баланс между национальными желаниями и социалистическими проектами, искренне стремясь найти соответствие с центральной властью в Москве. Вероятно, также имеет место эффект конкуренции между различными союзными республиками.

Урбанисты и архитекторы этого периода работали в мастерских, сгруппированных в государственных проектных институтах, возглавляемых Госстроем, а также в научно-исследовательских институтах в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. «Национальное по форме и социалистическое по содержанию», эту старую советскую формулу 1920-х годов, можно применить в постсталинский период ко всем видам искусства, в том числе и к архитектуре⁴. Что касается досоветского периода, то архитектура бывшего СССР демонстрирует грандиозный эклектизм. Зеркалом ему служат кремли в России и на Украине, средневековые исторические центры прибалтийских столиц, этапы Шелкового пути или же кочевая и погребальная архитектура Средней Азии. В советский период архитектурная политика развивается в направлении глобального единства, и программа строительства предполагает, что функционально эти возведенные здания будут играть различные роли: это будут музеи Ленина, дворцы пионеров, дворцы спорта, бракосочетаний, дружбы народов, дома политического просвещения или жилые кварталы и т. д. Именно это содержание схоже по всему СССР. Что касается национальной специфики, то на архитектуру этих зданий влияют объемы и материалы: скандинавские влияния в странах Балтии, использование красного туфа в Армении или белого мрамора в Центральной Азии (Choukhovitch , 2014).

4. Леонид Ильич Брежнев. Доклад XV съезду КПСС (1976 г.)



Музей Сулайман-Тоо, Ош, Кыргызстан. Архитектор: К. Назаров © Поль Волькенштейн, 2019

Брежневская архитектура что-то заимствует у древности в декоре и в очертаниях фасадов, чтобы создать новые, но в то же время по-настоящему советские течения. Здесь мы могли бы поговорить о балтийском, кавказском и среднеазиатском модернизме. Однако социалистическая составляющая всегда в этой архитектуре будет выделяться. У Глобального Востока прежде всего социалистическое содержание, которое мы можем определить, где бы мы ни находились. Будь то кыргызский, армянский или эстонский орнамент, социалистический модернизм в СССР должен был также выражать национальную политику. Также он формировал общую «линию горизонта» этих брежневских городов.

Если позаимствовать у французского социолога первой половины XX века Марселя Мосса понятие «тотального социального факта», то можно сказать, что архитектура это и есть такой факт: она затрагивает все элементы общества, и в данном случае все грани именно этого периода советской истории. Вернемся к терминологии «застоя», которая кажется нам неуместной для архитектуры, созданной в те брежневские годы. Хотя в остальном мире, мире западных и колонизированных держав, в брежневскую эпоху происходило то, что получило название деколонизации, в различных республиках Советского Союза, в особенности на Кавказе и в Средней Азии, это событие приобрело особое измерение. СССР

пытался сплотить вокруг себя новые независимые африканские и азиатские государства, и некоторые исследователи отмечают, что сходные с деколонизацией последствия возникают и на советском Востоке. Действительно, уже в 1960-х годах считалось, что союзные республики (задолго до обретения ими независимости) управляются местными жителями, а переселение в них славянского населения прекращается. Государственная политика концентрируется на исследованиях, разработках, коммуникациях, искусстве, отдыхе и туризме (Chernyshova, 2013). Вместо того чтобы считать эту брежневскую эпоху застоем, не должны ли мы рассматривать ее как постколлективистскую, поскольку именно в 1960-е, 1970-е и 1980-е годы в СССР проникают вещизм и потребление? (Yurchak, 2005).

Через призму этой общей архитектуры мы также можем задать ее пользователям тонкие вопросы, чтобы получить свидетельства той или иной эпохи. Эти здания рассказывают нам о повседневной жизни последнего советского поколения. Эта архитектура является сейсмографом последних часов советского общества. Сегодня эти оригинальные постройки изменили свой статус. Пионерские дворцы стали дворцами школьников, дома политического просвещения — конференц-залами, советские административные и политические здания — зданиями мини-



Дворец торжественных обрядов, Тбилиси, Грузия. Архитекторы: В. Джорбенадзе и В. Орбеладзе, 1986 г. © Поль Волькенштейн, 2018

стерств новых независимых республик, музеи Ленина — историческими музеями, а выставки вошли в новые национальные нарративы. В некоторых независимых государствах Глобального Востока власти предпочитают разрушать, а не восстанавливать эти здания, потому что некоторым из них не очень нравится это общее советское прошлое. Приспособление к новым функциям, реновация или разрушение? Архитектурное наследие этого нового пространства мирового порядка находится под угрозой, и данное сообщение служит отчетом об отношении этих новых государств к последним десятилетиям существования СССР (Ter Minassian, 2013).

В 1993 году, через два года после распада СССР, Валерий Сюткин из поп-рок-группы «Браво» в своей песне «Московский бит» призвал свою аудиторию танцевать от «Киева до Магадана, от Пензы до Еревана, от Риги до Волгограда, от Тынды до Ашхабада». Очевидно, слова этой песни с некоторой оглядкой и долей юмора подталкивают нас всех к тому, чтобы считать Глобальный Восток особым социально-географическим ансамблем. Поль Валери в диалоге «Евпалинос, или архитектор», опубликованном в 1921 году, задает следующий вопрос: «...не замечал ли ты, проходя по этому городу, что есть в нем безгласные здания, есть здания говорящие и что кое-какие, самые редкостные, поют?» (цит. по: Валери, 1976: 222–223). Если бы эти постсталинские здания Глобального Востока могли петь, то, наверное, напевали бы эту мелодию.

Глобальный Восток: «голос без субъекта»

Андрей Макарычев

Глобальный Восток действительно представляется достаточно расплывчатой фигурой речи, особенно на фоне трех других, более определенных категорий, у каждой из которых есть своя концептуальная перспектива. Глобальный Запад имеет мощное институциональное наполнение (Европейский союз) и отождествляется с общим пространством безопасности (НАТО), что в категориях либерального институционализма делает его аналогом евро-атлантического сообщества. Глобальный Север скорее ассоциируется — особенно с конструктивистской точки зрения — с нордическими странами Европы и Канадой. Концепт Севера плотно насыщен идентитарными смыслами, связанными с экологией, природой, и правами малых народов. О Глобальном Юге лучше всего говорить на языке постколониальных исследований как о пространстве *subalterns*, которые существуют в ситуации «колониальности», то есть воспроизводства практик доминирования и соответствующих иерархий после распада империй (Lazar, 2020).

Первое, что бросается в глаза при этом — это различные концептуальные подходы и языки, применяемые для идентификации каждой из перечисленных выше категорий. Иными словами, каждый раз, говоря о Западе, Севере или Юге, надо уточнять, имеем ли мы в виду институты, культурные практики, цивилизационную идентичность, или что-то иное. В этом контексте Глобальный Восток,

с его разнородностью (по Мартину Мюллеру, от Эстонии до Китая), на самом деле сложно концептуализируется и остается своего рода «голосом без субъекта» (Mazzei, 2016), то есть — в данном случае — академически артикулированным термином без четко онтологизируемой субъектности. Главную причину этого я вижу в большой подвижности «режимов принадлежности» к Востоку и, соответственно, в наличии множества зон пересечения и дублирования с другими большими пространствами.

Часть этих пересечений можно списать за счет условности членений и различий в нашем западнцентричном языке: например, наверняка мало кто в странах Центральной Азии всерьез задумывается о том, относятся ли они к Глобальному Югу или Востоку. Они просто не пользуются таким языком самоописания. Такая полифоническая ситуация создает большие возможности для манипуляции смыслами. Примером может служить опубликованный недавно очередной университетский индекс, объединивший в одну категорию вузы стран так называемой «новой Европы» и Центральной Азии⁵. Такое конструирование научно-образовательного пространства сильно напоминает очертания времен холодной войны, в результате чего университетские сообщества Балтийских стран или Центральной Европы обнаруживают себя «помещенными» в одну категорию с российскими и среднеазиатскими коллегами.

В других же случаях зоны сопринадлежности формируются как результаты сложных процессов политической самоидентификации. Смысл большинства из них состоит в нежелании политических сообществ «восточных» стран культурно и институционально ассоциировать себя с так называемым Востоком. Ни Брэкзит, ни Инициатива Трех Морей, ни польский проект под названием Интермариум, ни временное заигрывание Анкары с Москвой не означали структурного разворота соответственно Великобритании, стран Центральной Европы или Турции от Запада как евро-атлантического пространства безопасности в какую-то другую сторону. Упомянутая Мартином Мюллером Польша, ударившись в консервативный популизм, тем не менее никак не ассоциирует себя с чем-то «восточным»: наоборот, официальная Варшава активно включилась в семантическую борьбу за реинтерпретацию смыслов Европы, а не за дистанцирование от нее. По-иному обстоят дела на «Глобальном Востоке». Например, начиная с «революции роз» Грузия последовательно предпринимает усилия для ухода от коннотаций, так или иначе связанных с Востоком, и, соответственно, для вхождения в Большой Запад — прежде всего через самоидентификацию с регионом Черного моря (а не Кавказа) и систему партнерств с ЕС и НАТО. Аналогичным образом Украина, через «оранжевую революцию» и «революцию достоинства», тоже пытается — пусть противоречиво и непоследовательно — позиционировать себя в рамках западной парадигмы международных отношений. Около полумиллиона молдаван, ставших гражданами Ру-

5. <https://www.qs.com/emerging-europe-central-asia-university-rankings-2020/?fbclid=IwAR3mtZdT7rHBh1c2rAIiQj7W4aPkP-Cn2ok-3MbkoopOEzJVjikx-oOb6vU>

мысли и, соответственно, Европейского союза, сделали свой выбор в пользу Запада на уровне повседневных, бытовых практик мобильности и трудоустройства.

Эстония демонстрирует особый случай гибридной, балтийско-нордической идентичности, основной вектор которой опять-таки состоит в соотношении себя с цивилизационными пространствами Глобального Запада и Севера, причем второе многими видится как приоритетное. В этой связи можно упомянуть о «европеизации» концепции финно-угорского мира: его эстонские и финские (в меньшей степени венгерские) адепты, признавая «восточные» исторические корни финно-угорских племен, тем не менее позиционируют свою нынешнюю идентичность в рамках европейской парадигмы прав и свобод коренных и малых народов, что дает возможность соответствующим образом строить коммуникацию с российскими партнерами, от Карелии до Коми и Удмуртии.

Некоторые страны сознательно ослабляют свою укорененность в постсоветском пространстве как части гипотетического Глобального Востока. Казахстан делает это лингвистически — через переход от кириллицы к латинской графике, и институционально — через членство в Совете Европы; Азербайджан — через инвестиции в такие мегапроекты, как финал конкурса Евровидения и Европейские игры в Баку; Армения — через свою диаспору в странах Запада. Вероятно, у многих в этих странах есть ощущение того, что Глобальный Восток, если он и состоится как политический проект, то будет представлять собой не столько инклюзивную цивилизационную единицу, сколько комбинацию геополитического и геоэкономического пространств с двумя гегемонами — Китаем и Россией, которые будут скреплять этот Восток, соответственно, финансово-экономическими проектами и военной силой. Такая перспектива не только (по понятным причинам) не радует многих соседей, но и подрывает саму идею Востока как пространства общей и равной принадлежности, голос которого тем не менее будет парадоксальным образом продолжать звучать в академических дебатах.

Костры на опушке: замечания к реляционности «Глобального Востока»

Дмитрий Безуглов

Мне кажется важным амбициозный проект учреждения «Глобального Востока», способного отстаивать свое право на подвижность границ и отношений, право пользоваться не только одним лишь языком прошлого, право выражать не только «постсоциалистические чаяния» стран Второго мира. Единственный доступный мне способ соотношения с этим проектом тесно связан с креативными и культурными индустриями: в 2014 году я писал для «Calvert Journal», с начала своего существования стремившегося представить образ «Нового Востока» (the New East)⁶. К сожалению, образ становился глянцевым, но изначальная интенция оставалась важной.

6. См. миссию и самоопределение журнала в графе About: <https://www.calvertjournal.com/about>.

Есть еще одна причина, по которой мне представляется важным обращение к примерам из современной культуры.

Пока я пишу эту реплику, музей «Гараж» — первым из числа российских культурных институций — полностью ограничил посещение в связи с пандемией коронавируса. И, к сожалению, в музее без зрителей — детальная историческая экспозиция «Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969»⁷ (кураторы — Екатерина Иноземцева, Андрей Мизиано). Отдельный зал этой выставки предоставлен так называемым «самаркандским прерафаэлитам»⁸ (термин предложен Борисом Чуховичем), также известным как «Степановский кружок». Я особенно отмечаю эту выставку, поскольку это, как мне кажется, созвучная призыву господина Мюллера попытка иначе концептуализировать Восток. И тем интересней мне представляется выбранный Чуховичем термин, поскольку, с одной стороны, он вписывает целый круг художников в историю мирового искусства, но, с другой стороны, делает это через отсылку к влиятельному английскому течению (что созвучно комментариям господина Мюллера о доминирующих западных цепях производства знаний).

Но я бы предпочел обратиться к реляционности Глобального Востока, отмеченной в четвертом параграфе статьи. Удивительные приключения граненого стакана, поначалу запертого внутри гигантского советского рынка и годы спустя повторно захватившего глобальный рынок за счет перезапуска дизайна производственным и ритейл-гигантом IKEA, — знаковый пример циркуляции смыслов и идей, изначально создававшихся в «серой зоне» потенциального Глобального Востока. И, опираясь на анализ, осуществленный господином Мюллером, я бы хотел обратиться к одному примеру, собирающему вместе сферы современной и традиционной музыки и кинопроизводства. Мюллер говорит: «История стакана — это история о промежуточном положении, которое Восток занимает на обеих позициях, позиции производителя и потребителя внутри глобальных процессов... Восток вплетен в глобальные отношения» (Мюллер, 2020: 33–34). Я попробую последовать призыву «думать вдоль отношений, сближающих отделенное, скрепляющих то, что не скрепляется» и через реконструкцию отношений внутри рассматриваемого примера взглянуть на то, что такое Глобальный Восток.

Предлагаемый очерк связывает музыканта и радиодиджея Булата Халилова, французского режиссера Винсента Муна, московскую кино- и продакшн-студию Stereotactic и московского же музыканта Федора Переверзева, работающего под псевдонимом Moa Pillar.

Григор Атанесян пишет в статье для InRussia: «Как и большинство постсоветских подростков, Булат рос на западной музыке. В начале 2000-х вместе с двумя одноклассниками был среди первых представителей субкультуры „готов“ в Наль-

7. См.: <https://garagemca.org/ru/exhibition/we-treasure-our-lucid-dreams-the-other-east-and-esoteric-knowledge-in-russian-art-1905-1969>.

8. «Откуда в Самарканде появились прерафаэлиты и причем здесь квир-сюжет?»: <https://www.buro247.ru/culture/arts/21-feb-2020-samarkandian-prerafaelits.html>.

чике, но вскоре „пересел“ на нойз и индастриал»⁹. В начале десятих Булат, в то время работавший музыкальным обозревателем североосетинского глянца *Famous*, совместно с другом и журналистом Тимуром Кодзоковым решил продюсировать местные группы. Однако «активная в 1990-е годы рок- и панк-сцена Кабардино-Балкарии к концу 2000-х пришла в упадок. Вместе с разочарованием в продвижении современной музыки пришел интерес к черкесскому фольклору»¹⁰.

Важно отметить, что источником этого интереса стал французский режиссер Винсент Мун, известный клипами для групп *Arcade Fire* и *R.E.M.*, в 2010 году увлекшийся фольклором и решившийся предпринять поездку по России. В 2012 году Булат стал продюсером фильмов, снятых Винсентом в Кабардино-Балкарии; чуть позже в том же году Булат с Тимуром решили погрузиться в изучение черкесского фольклора. Так начал свою работу лейбл *Ored Recordings*, с полной историей которого можно познакомиться в тексте, процитированном выше.

Прежде чем я перейду к сюжету с фильмом, хочу обозначить несколько важных подсюжетов. Лейбл создали пара журналистов, воспитанных на готическом роке и индастриале; ориентиром, катализатором и одновременно инструментом учреждения репутации для них стал французский режиссер. Возможно, без опыта поездок вместе с Винсентом, без организации кинофестивалей в Нальчике, после которых местные минкульт и ГТРК стали больше доверять Булату и Тимуру, — лейбл не был бы возможен.

То же касается и потребителей: миксы с полевыми записями лейбла звучат на французском радио *LYL*¹¹, а также регулярно появляются на двух шоу популярного лондонского радио *NTS*: полифоническом *All Styles All Smiles*¹², а также музыкально-историческом *Death Is Not The End*¹³, которым заведует директор одноименного госпел-лейбла Люк Оуэн.

Кажется, что легитимация интереса к фольклорному звучанию, методам работы с фольклористикой, способным удерживать разделенными этнографические исследования и популяризацию, — стала возможной за счет изначальной внедренности акторов в иноязычную цепь производства знаний (теперь преимущественно англоязычную).

Возможно, Северный и Южный Кавказ — настолько концептуально сильные определители, что их сложно отнести и к «Глобальному Югу», и к «Глобальному Востоку». Но памятуя о том, что значимей представляется вопрос «Что такое Глобальный Восток», а не «Где», считаю возможным обратиться к этому примеру.

В 2015 году лейбл встраивается в новую цепочку отношений, идущую через студию *Stereotactic*, занимающуюся продюсированием и производством в том числе

9. Атанесян Г. Опыты нечеловеческого гостеприимства: *Ored Recordings*: <https://syg.ma/@alisa-schneider/opyty-niechieloviechieskogho-ghostiepriimstva-ored-recordings>.

10. Там же.

11. См.: <https://www.mixcloud.com/lylradio/les-statues-meurent-aussi-17/listeners/>.

12. См.: <https://www.nts.live/shows/all-styles-all-smiles/episodes/all-styles-all-smiles-10th-june-2019>.

13. См.: <https://www.nts.live/shows/death-is-not-the-end/episodes/death-is-not-the-end-23rd-september-2017>.

и документальных лент, а также фестиваль документального музыкального кино Beat Film Festival. Рождается проект «Костры и звезды»¹⁴ — фильм режиссера Саши Воронова, свидетельствующий о попытках московского музыканта Федора Переверзева записать совместный альбом с ансамблем «Жъу».

Рассмотрим его пристальней. Фильм — документация встречи одного музыканта с безымянной и древней традицией. Федор Переверзев, чьи музыкальные эксперименты маркируют как world music¹⁵, по приглашению Булата отправляется в Черкесию, чтобы записать совместный трек с местными музыкантами (по примеру лондонского музыканта Floating Points, записывавшегося с марокканским музыкантом Маалемом Махмудом Гуиния (Maalem Mahmoud Guinea)). И этот эксперимент оказывается провальным. Представлявшееся Федору и Булату интересное сопряжение цифрового и аналогового звучания приводит к мучительному, долго и медленно разворачивающемуся конфликту. Причем конфликт разыгрывается отнюдь не между людьми; это конфликт объектов, встроенных в отношения с людьми. Фильм выстраивает историю традиционной музыки как историю вещей; струны из кишок появились и стали возможными именно потому, что по черкесским склонам всегда бродили бараны. Техническое оснащение музыканта Moa Pillar имеет другую генеалогию: его секвенсоры и драм-машины — продукты глобального рынка. С такими или подобными устройствами работают и музыканты в гамбургской студии Матиаса Агуайо, и чилийские продюсеры Fourier & Roco, и нью-йоркский хаус-продюсер Рон Морелли.

Общение Федора с ансамблем «Жъу», кажется, ярко выражает тезис Эдмунда Бёрка, согласно которому общество представляет собой «партнерство не только между живыми, но между живыми, мертвыми, и еще нерожденными». Участники ансамбля принадлежат длящейся традиции, идущей через поколения. И если Федор воспринимает эту полевую экспедицию как шанс совместить разные технические и композиционные приемы, то у представителей ансамбля куда более герметичное представление о правилах. Один из участников так определяет отношение к музыкальной традиции: «Первые два дерева ты можешь срубить как угодно. Погружаясь в лес, ты вынужден следить за тем, как и куда падает дерево». Каждое следующее знание о традиции сулит новые ограничения, а Федор вынужден жечь костры на опушке.

Мне представляется важным этот пример, потому что в нем выражается амбивалентность говорения о потенциальном Глобальном Востоке: московский музыкант пытается наладить контакт с черкесскими музыкантами и использовать их работу как источник (source material), и он сталкивается с сопротивлением, встроенным внутри локального музыкального канона. Это — амбивалентная позиция между угнетающими и угнетенными, эксплуатирующими и эксплуатируемыми. Технически действие фильма происходит внутри Российской Федерации: съемки велись в Москве, Нальчике и в малых поселениях Кабардино-Балкарии — но вну-

14. См.: <https://pilgrim.fund/film/kostry-i-zvezdy>.

15. The Human Dialogue with Moa Pillar: <https://thequietus.com/articles/20379-moa-pillar-interview>.

три этой географической рамки прочитываются ярко и исподволь проявленные конфликты, напряжение и гетерогенность. Противостояние же происходит и на уровне объектов, артефактов материальной культуры, — привнесенных глобальным музыкальным рынком и произведенных местной музыкальной традицией. В то же время Булат, выступающий в роли проводника, переводчика и связующего элемента двух культур, инициирует эту связь, не так давно осуществив собственный переход из условного индастриала к условной фольклористике. Количество отражений, переключек и сцепок с иноязычными цепями производства знаний — очень высокое. И, конечно, следует отметить, что продюсеры фильма в первую очередь направили ленту в ротацию на европейские кинофестивали, рассчитывая на внимание отборщиков, и лишь потом открыли ленту для российских зрителей; этот механизм, на мой взгляд, подобен производственной цепочке пресловутого граненого стакана.

«Глобальный Восток» представляется потенциально богатым и полным пониманием; рассмотренный пример, надеюсь, до какой-то степени показывает, как его можно приживлять для анализа культурных феноменов. Конечно, в его зыбкости и географической неопределенности кроется и опасность пролиферации концепта, о которой, полагаю, достаточно сказали другие коллеги, отреагировавшие на статью.

Литература

- Валери П. (1976). Эвпалинос, или Архитектор // Валери П. Об искусстве / Пер. с франц. В. М. Козовой. М.: Искусство. С. 222–223.
- Мюллер М. (2020). Разыскивая Глобальный Восток: мышление между Севером и Западом // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 19–43.
- Asztalos Morell I., Gradska Y. (2018). The Gendered Subject of Postsocialism: State-Socialist Legacies, Global Challenges and Re-building of Traditions // Gradska Y., Asztalos Morell I. (eds.). Gendering Postsocialism: Old Legacies and New Hierarchies. L.: Routledge. P. 1–17.
- Boatcă M. (2016). Global Inequalities beyond Occidentalism. L.: Routledge.
- Boatcă M. (2020). Laboratoare ale modernității: Europa de Est și America Latină în (co) relație. Cluj: IDEA.
- Brown K. (2015). Dispatches from Dystopia: Histories of the Places Not Yet Forgotten. Chicago: University of Chicago Press.
- Brown K. (2019) Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future. L.: Allen Lane.
- Chaubin Fr. (2011). Cosmic Communist Constructions Photographed. Köln: Taschen.
- Chernyshova N. (2013). Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era. L.: Routledge.
- Choukhovitch B. (2014). Orientalist Modes of Modernism in Architecture // Études de lettres. № 2–3. P. 263–294.
- Engerman D. (2018). The Price of Aid: The Economic Cold War in India. Cambridge: Harvard University Press.

- Eslava L., Fakhri M., Nesiah V.* (eds.). (2017). *Bandung, Global History, and International Law: Critical Pasts and Pending Futures*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foucault M.* (1975). *L'ordre du discours*. P.: Gallimard.
- Fukuyama F.* (1992) *The End of History and the Last Man*. L.: Penguin.
- Ghodsee K.* (2018). *Second World, Second Sex*. Durham: Duke University Press.
- Ginelli Z.* (2018). *Towards a Globalized Understanding of Cold War Economic Geography and Spatial Planning in Hungary*. PhD Thesis. Budapest: Central European University.
- Ginelli Z.* (2020). *The Clash of Colonialisms: Hungarian Communist and Anti-Communist Decolonialism in the Third World*. URL: <https://kritikaifoldrajz.hu/2019/12/23/the-clash-of-colonialisms-hungarian-communist-and-anti-communist-decolonialism-in-the-third-world/> (дата доступа: 08.09.2020)
- Gordon L. R.* (2007). *Disciplinary Decadence: Living Thought in Trying Times*. L.: Routledge.
- Gradskova Y.* (2020). *Women's International Democratic Federation, the «Third World» and the Global Cold War from the Late-1950s to the Mid-1960s* // *Women's History Review*. Vol. 29. № 2. P. 270–288.
- Ho E.* (2017). *Inter-Asian Concepts for Mobile Societies* // *Journal of Asian Studies*. Vol. 76. № 4. P. 907–928.
- Idov M.* (2011). *Made in Russia: Unsung Icons of Soviet Design*. N.Y.: Rizzoli.
- Kirasirova M.* (2017). *The «East» as a Category of Bolshevik Ideology and Comintern Administration: The Arab Section of the Communist University of the Toilers of the East* // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. Vol. 18. № 1. P. 7–34.
- Lazar M.* (2020). *Politics of the «South»: Discourses and Praxis* // *Discourse & Society*. Vol. 31. № 1. P. 5–18.
- Lee Ch.* (ed.) (2010). *Making the World After Empire: The Bandung Moment and Its Political Afterlives*. Athens: Ohio University Press.
- Mark J., Kalinovsky A. M., Marung S.* (eds.). (2020). *Alternative Globalizations: Eastern Europe and the Postcolonial World*. Bloomington: Indiana University Press.
- Matusevich M.* (2003). *No Easy Row for a Russian Hoe: Ideology and Pragmatism in Nigerian-Soviet Relations, 1960–1991*. Trenton: Africa World Press.
- Mazzei L. A.* (2016). *Voice without a Subject* // *Cultural Studies ↔ Critical Methodologies*. Vol. 16. № 2. P. 151–161.
- Müller M.* (2019). *Goodbye, Postsocialism!* // *Europe-Asia Studies*. Vol. 71. № 4. P. 533–550.
- Müller M.* (2020). *In Search of the Global East: Thinking between North and South* // *Geopolitics*. Vol. 25. № 3. P. 734–755.
- Pišku B.* (cur.). (2019). *Southern Constellations: The Poetics of the Non-Aligned*. Catalogue of the Exhibition curated by Bojana Piškur, Museum of Contemporary Art Metelkova, Moderna galerija. Ljubljana.
- Raza A.* (2020). *Revolutionary Pasts: Communist Internationalism in India*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Ritter K. (2013). *Soviet Modernism 1955–1991: Unknown History*. Zurich: Park Books.
- Said E. (1979). *Orientalism*. L.: Penguin.
- Sîrbu A. T., Polgár A. (eds.). (2009). *Genealogies of Post-Communism*. Cluj: IDEA.
- Ssorin-Chaikov N. (2019a). Reassembling History and Anthropology in Russian Anthropology, Part I // *Social Anthropology*. Vol. 27. № 2. P. 320–335.
- Ssorin-Chaikov N. (2019b). Reassembling History and Anthropology in Russian Anthropology, Part II // *Social Anthropology*. Vol. 27. № 2. P. 336–351.
- Stanek L. (2020). *Architecture in Global Socialism: Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War*. Princeton: Princeton University Press.
- Suchland J. (2011). Is Postsocialism Transnational? // *Signs*. Vol. 36. № 4. P. 836–862.
- Ter Minassian T. (2013). *Patrimoine et architecture dans les États post-soviétiques*. Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Țichindeleanu O. (2006). The Modernity of Postcommunism // *IDEA arts + society*. № 24. P. 174–187.
- Țichindeleanu O. (2010a). Towards A Critical Theory of Postcommunism? // *Radical Philosophy*. № 159. P. 26–32.
- Țichindeleanu O. (2010b). Non-Capitalist Economies and the Postcommunist Transition // Lázár E., Petrányi Z. (cur.). *Over the Counter: The Phenomena of Post-socialist Economy in Contemporary Art*. Catalogue of the Exhibition, Műcsarnok Kunsthalle, Budapest, 18 June — 19 September 2010. Budapest: Műcsarnok.
- Țichindeleanu O. (2010c). «Where Are We When We Think in Eastern Europe?» // *Art Always Has Its Consequences: Artists' Texts from Croatia, Hungary, Poland, Serbia, 1947–2009*. Zagreb: WHW/Tranzit/kuda/Muzeum Stzuki, pp. 85–92.
- Țichindeleanu O. (2011). Decolonizing Eastern Europe: Beyond Internal Critique // *IDEA arts + society*. № 38. Special Issue. P. 101–104.
- Țichindeleanu O. (2012). For a Critical Theory of Postcommunism I-II // *IDEA arts + society*. № 39–40. P. 166–168.
- Țichindeleanu O. (2013). De la lupta de clasă la Forumul Social Mondial. URL: <https://www.criticatac.ro/de-la-lupta-de-clas-la-forumul-social-mondial> (дата доступа: 08.09.2020).
- Țichindeleanu O. (2014). Situația din ucraina și internaționalismul regional est-european. URL: <https://www.criticatac.ro/situaia-din-ucraina-internaionalismul-regional-est-european/> (дата доступа: 08.09.2020).
- Țichindeleanu O. (2016). Reclaiming a City: Between Real Defense and Symbolic Rehabilitation. URL: <http://politicalcritique.org/connected-action/2016/reclaiming-a-city-between-real-defense-and-symbolic-rehabilitation/> (дата доступа: 08.09.2020).
- Țichindeleanu O. (2017). From the Internationalism of Problems to a Countercultural Turn. URL: <http://mezosfera.org/from-the-internationalism-of-problems-to-a-countcultural-turn/> (дата доступа: 08.09.2020).
- Țichindeleanu O. (2018). Communizing the City // *IDEA arts + society*. № 53. P. 125–130.
- Tlostanova M. (2017). *Postcolonialism and Postsocialism in Fiction and Art*. L.: Palgrave Macmillan.

- Tlostanova M.* (2018). What Does It Mean to Be Post-Soviet? Decolonial Art from the Ruins of the Soviet Empire. Durham: Duke University Press.
- Tlostanova M., Mignolo W.* (2009). Global Coloniality and the Decolonial Option // *Kultur*. № 6. P. 130–147.
- Tlostanova M., Thapar-Björkert S., Knoblock I.* (2019). Do We Need Decolonial Feminism in Sweden? // *NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research*. Vol. 27. № 4. P. 290–295.
- Valobra A., Yusta M.* (eds.). (2017). Queridas camaradas: historias iberoamericanas de mujeres comunistas. Buenos-Aires: Miño y Davila.
- Verdery K.* (1996). What was Socialism and What Comes Next? Princeton: Princeton University Press.
- Yurchak A.* (2005). Everything was Forever, until It was No More: The Last Soviet Generation. Princeton: Princeton University Press.

Exchange of Views on the Article “In Search of the Global East” by Martin Müller

Ovidiu Tichindeleanu

Philosopher, translator, culture theorist

Address: Calea Turzii 160-162, 400495 Cluj

E-mail: ovidiu.tichindeleanu@yahoo.com

Douglas Rogers

Professor of Anthropology, Faculty Director of the Program in Russian, East European, and Eurasian Studies, Yale University

Address: New Haven, CT 06520-8277, USA 208277

E-mail: doug.rogers@yale.edu

Andrejs Ļevkins

Writer

Address: Zirņu 5/2, 27, Latvija LV1013

E-mail: and.levkin@gmail.com

Yulia Gradsanova

Department of Sociology and Gender Studies, Mid-Sweden University

Address: 851 70 Hus R, Holmgatan 10 851 70, Sundsvall, Sweden

E-mail: yulia.gradskova@miun.se

Marina Sokolovskaja

Head of the Exposition Department, Boris Yeltsin's Museum

Address: Boris Yeltsin str., 3, Yekaterinburg, Russian Federation 620014

E-mail: sokolovskaja@ycenter.ru

Alexei Golubev

Department of History, University of Houston

Address: Agnes Arnold Hall University of Houston, Office 560, Houston, TX, United States 77004

E-mail: avgolubev@uh.edu

Paul Wolkenstein

Doctorant, Centre de recherches Europes-Eurasie, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)

Address: Rue Saint-Jacques, 340, Paris, France 75005

E-mail: paulwolkenstein.archi@gmail.com

Andrey Makarychev

Doctor of Historical Sciences, Professor, University of Tartu

Address: Lossi 36-321, Tartu, Estonia 51003

E-mail: andrey.makarychev@ut.ee

Dmitrii Bezuglov

Curator of the public program at Ural Industrial Biennial of the Contemporary Art, staff member at the Center for Global Urbanism at Ural Federal University

Address: Lenin Ave., 51, room 114a, Yekaterinburg, Russian Federation 620083

E-mail: dmitrii.bezouglov@gmail.com

This section presents exchanges between intellectuals from Eastern and Western Europe, Russia, and North America who kindly agreed to read and comment on Martin Mueller's article "In Search of the Global East", relying on the situation in their own academic disciplines, work experiences, and the twists and turns of their scientific research and creative challenges. Researchers, academic teachers, exhibition curators, writers, and architects reflect on the power and influence which geographical names exert on academic life, politics, and culture. Starting from Mueller's article on the Global East, as well as his other text wherein he expresses his skepticism of the concept of post-socialism, the commentators, evaluating Mueller's arguments critically, raise a number of fundamental questions. Among these questions is the need to historicize scientific concepts, the issue of the regularly-reproducible misunderstanding (or even exclusion) of the East by Western intellectuals, the tasks the inclusion of the Global East in the overall geographical picture will contribute to, as well as the question of whether the concern that the Global East is not sufficiently heard in the world is narrowly academic. This indirect debate between the author of the key text in this thematic issue and his commentators is significant as an episode of the joint search for a more democratic, creative, and inspiring future for the region that unites Eastern Europe, Russia, and Central Asia.

Keywords: Global East, post-socialism, transition to capitalism, post-colonialism, universalism, exclusion, conceptual historicizing, visibility, appearance

References

- Asztalos Morell I., Gradska Y. (2018) The Gendered Subject of Postsocialism: State-Socialist Legacies, Global Challenges and Re-building of Traditions. *Gendering Postsocialism: Old Legacies and New Hierarchies* (eds. Y. Gradska, I. Asztalos Morell), London: Routledge, pp. 1–17.
- Boatcă M. (2016) *Global Inequalities beyond Occidentalism*, London: Routledge.
- Boatcă M. (2020) *Laboratoare ale modernității: Europa de Est și America Latină în (co)relație*, Cluj: IDEA.
- Brown K. (2015) *Dispatches from Dystopia: Histories of the Places Not Yet Forgotten*, Chicago: University of Chicago Press.
- Brown K. (2019) *Manual for Survival: A Chernobyl Guide to the Future*, London: Allen Lane.

- Chaubin Fr. (2011) *Cosmic Communist Constructions Photographed*, Köln: Taschen.
- Chernyshova N. (2013) *Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era*, London: Routledge.
- Choukhovitch B. (2014) Orientalist Modes of Modernism in Architecture. *Études de lettres*, no 2–3, pp. 263–294.
- Engerman D. (2018) *The Price of Aid: The Economic Cold War in India*, Cambridge: Harvard University Press.
- Eslava L., Fakhri M., Nesiah V. (eds.) (2017) *Bandung, Global History, and International Law: Critical Pasts and Pending Futures*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Foucault M. (1975) *L'ordre du discours*, Paris: Gallimard.
- Fukuyama F. (1992) *The End of History and the Last Man*, London: Penguin.
- Ghodsee K. (2018) *Second World, Second Sex*, Durham: Duke University Press.
- Ginelli Z. (2018) *Towards a Globalized Understanding of Cold War Economic Geography and Spatial Planning in Hungary* (PhD Thesis), Budapest: Central European University.
- Ginelli Z. (2020) The Clash of Colonialisms: Hungarian Communist and Anti-Communist Decolonialism in the Third World. Available at: <https://kritikaifoldrajz.hu/2019/12/23/the-clash-of-colonialisms-hungarian-communist-and-anti-communist-decolonialism-in-the-third-world/> (accessed 8 September 2020).
- Gordon L. R. (2007) *Disciplinary Decadence: Living Thought in Trying Times*, London: Routledge.
- Gradska Y. (2020) Women's International Democratic Federation, the "Third World" and the Global Cold War from the Late-1950s to the Mid-1960s. *Women's History Review*, vol. 29, no 2, pp. 270–288.
- Ho E. (2017) Inter-Asian Concepts for Mobile Societies. *Journal of Asian Studies*, vol. 76, no 4, pp. 907–928.
- Idov M. (2011) *Made in Russia: Unsung Icons of Soviet Design*, New York: Rizzoli.
- Kirasirova M. (2017) The «East» as a Category of Bolshevik Ideology and Comintern Administration: The Arab Section of the Communist University of the Toilers of the East. *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, vol. 18, no 1, pp. 7–34.
- Lázár E., Petrányi Z. (curators) (2010) Non-Capitalist Economies and the Postcommunist Transition. Over the Counter: The Phenomena of Post-socialist Economy in Contemporary Art. Catalogue of the Exhibition, Mücsarnok Kunsthalle, Budapest 18 June 2010 — 19 September 2010. Budapest.
- Lazar M. (2020) Politics of the "South": Discourses and Praxis. *Discourse & Society*, vol. 31, no 1, pp. 5–18.
- Lee Ch. (ed.) (2010) *Making the World After Empire: The Bandung Moment and Its Political Afterlives*, Athens: Ohio University Press.
- Mark J., Kalinovskiy A. M., Marung S. (eds.) (2020) *Alternative Globalizations: Eastern Europe and the Postcolonial World*, Bloomington: Indiana University Press
- Matusevich M. (2003) *No Easy Row for a Russian Hoe: Ideology and Pragmatism in Nigerian-Soviet Relations, 1960–1991*, Trenton: Africa World Press.
- Mazzei L. A. (2016) Voice Without a Subject. *Cultural Studies ↔ Critical Methodologies*, vol. 16, no 2, pp. 151–161.
- Müller M. (2019) Goodbye, Postsocialism!. *Europe-Asia Studies*, vol. 71, no 4, pp. 533–550.
- Müller M. (2020) In Search of the Global East: Thinking between North and South. *Geopolitics*, vol. 25, no 3, pp. 734–755.
- Pišku B. (cur.) (2019) Southern Constellations: The Poetics of the Non-Aligned. Catalogue of the Exhibition curated by Bojana Piškur, Museum of Contemporary Art Metelkova, Moderna galerija. Ljubljana.
- Raza A. (2020) *Revolutionary Pasts: Communist Internationalism in India*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ritter K. (2013) *Soviet Modernism 1955–1991: Unknown History*, Zurich: Park Books.
- Said E. (1979) *Orientalism*, London: Penguin.
- Sirbu A. T., Polgár A. (eds.) (2009) *Genealogies of Post-Communism*, Cluj: IDEA.
- Ssorin-Chaikov N. (2019) Reassembling History and Anthropology in Russian Anthropology, Part I. *Social Anthropology*, vol. 27, no 2, pp. 320–335.
- Ssorin-Chaikov N. (2019) Reassembling History and Anthropology in Russian Anthropology, Part II. *Social Anthropology*, vol. 27, no 2, pp. 336–351.

- Stanek L. (2020) *Architecture in Global Socialism: Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War*, Princeton: Princeton University Press.
- Suchland J. (2011) Is Postsocialism Transnational?. *Signs*, vol. 36, no 4, pp. 836–862.
- Ter Minassian T. (2013) *Patrimoine et architecture dans les États post-soviétiques*, Rennes: Presses universitaires de Rennes.
- Țichindeleanu O. (2006) The Modernity of Postcommunism. *IDEA arts + society*, no 24, pp. 174–187.
- Țichindeleanu O. (2010) Towards A Critical Theory of Postcommunism?. *Radical Philosophy*, no 159, pp. 26–32.
- Țichindeleanu O. (2010) Where Are We When We Think in Eastern Europe?. *Art Always Has Its Consequences: Artists' Texts from Croatia, Hungary, Poland, Serbia, 1947–2009*, Zagreb: WHW/Tranzit/kuda/Muzeum Stzuki, pp. 85–92.
- Țichindeleanu O. (2011) Decolonizing Eastern Europe: Beyond Internal Critique. *IDEA arts + society*, no 38, special issue, pp. 101–104.
- Țichindeleanu O. (2012) For a Critical Theory of Postcommunism I-II. *IDEA arts + society*, no 39–40, pp. 166–168.
- Țichindeleanu O. (2013) De la lupta de clasă la Forumul Social Mondial. Available at: <https://www.criticatac.ro/de-la-lupta-de-clas-la-forumul-social-mondial> (accessed 8 September 2020).
- Țichindeleanu O. (2014) Situația din ucraina și internaționalismul regional est-european. Available at: <https://www.criticatac.ro/situaia-din-ucraina-internaionalismul-regional-est-european/> (accessed 8 September 2020).
- Țichindeleanu O. (2016) Reclaiming a City: Between Real Defense and Symbolic Rehabilitation. Available at: <http://politicalcritique.org/connected-action/2016/reclaiming-a-city-between-real-defense-and-symbolic-rehabilitation/> (accessed 8 September 2020).
- Țichindeleanu O. (2017) From the Internationalism of Problems to a Countercultural Turn. Available at: <http://mezosfera.org/from-the-internationalism-of-problems-to-a-countcultural-turn/> (accessed 8 September 2020).
- Țichindeleanu O. (2018) Communizing the City. *IDEA arts + society*, no 53, pp. 125–130.
- Tlostanova M. (2017) *Postcolonialism and Postsocialism in Fiction and Art*, London: Palgrave Macmillan.
- Tlostanova M. (2018) *What Does It Mean to Be Post-Soviet? Decolonial Art from the Ruins of the Soviet Empire*, Durham: Duke University Press.
- Tlostanova M., Mignolo W. (2009) Global Coloniality and the Decolonial Option. *Kultur*, no 6, pp. 130–147.
- Tlostanova M., Thapar-Björkert S., Knoblock I. (2019) Do We Need Decolonial Feminism in Sweden?. *NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research*, vol. 27, no 4, pp. 290–295.
- Valéry P. (1976) Jevpalinos, ili Arhitektor [Eupalinos; or, The Architect]. *Ob iskusstve [On Art]*, Moscow: Iskusstvo, pp. 222–223.
- Valobra A, Yusta M. (eds.) (2017) *Queridas camaradas: historias iberoamericanas de mujeres comunistas*, Buenos-Aires: Miño y Davila.
- Verdery K. (1996) *What was Socialism and What Comes Next?*, Princeton: Princeton University Press.
- Yurchak A. (2005) *Everything was Forever, until It Was No More: The Last Soviet Generation*, Princeton: Princeton University Press.

Трагедия неравенства: расчеловечивая «тотального человека»*

Дмитрий Куракин

Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник
Центра фундаментальной социологии, директор Центра культуросоциологии
и антропологии образования, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: dmitry.kurakin@hse.ru

Неравенство — наиболее фундаментальная и труднопреодолимая из социальных проблем современности, поэтому неудивительно, что исследования неравенства относятся к высокоразвитому мейнстриму социальных наук. Серьезным ограничением большинства существующих подходов, сформированных под определяющим влиянием экономики и теории рационального выбора, является то, что их фокус ограничен распределением ресурсов, материальных или символических. Однако наиболее важные эффекты неравенства, такие как социальная дезинтеграция, маргинализация больших социальных групп, снижение социальной связности, морального и когнитивного консенсуса, вплоть до утраты возможностей элементарной эмпатии, которые и делают неравенство осевой проблемой современной жизни, выходят далеко за пределы проблемы распределения и доступа к благам. Чтобы выстроить более широкую перспективу, важно последовать примеру быстро формирующегося фронта изучения неравенства в социологии культуры и дополнить картину распределения другим ключевым измерением неравенства — социальным признанием. Это позволяет понять, как экономические силы, связанные с неравенством, взаимодействуют с конфигурациями культурных паттернов и когнитивных процессов. Следуя этой логике, в статье рассматриваются культурные и эмоциональные механизмы формирования признания, достоинства и идентичности людей и социальных групп и прослеживается связь этих механизмов с когнитивными процессами, стоящими за стремлениями людей и социальной «энергетикой» их действий. Статья задумана как своего рода манифест социологии неравенства и культуры и открывает новые возможности и ресурсы для внутри- и междисциплинарного сотрудничества.

Ключевые слова: неравенство, культура, эмоции, когнитивные процессы, признание, достоинство, идентичность, социология культуры, экономика, эмерджентизм, граничные условия, отчуждение

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2020 году.

An important next challenge at the nexus of politics and social science research will be to bridge economics and sociology, to better understand how recognition of identity and distribution of resources interact as complementary dimensions of inequality, which are still too rarely put together. This is *the* question of the day, at a time when inequality increases and the social whole is losing its cohesion. The tasks ahead are daunting, and social scientists are well equipped to rise to the occasion. Nothing is more urgent at the present historical juncture.

Michèle Lamont. «Prisms of Inequality»

Неравенство¹ — наиболее фундаментальная и труднопреодолимая проблема всех развитых и большинства развивающихся стран. Её доминирование усугубляется тем, что она легко встраивается во многие другие социальные проблемы и усиливает их. С точки зрения жизни людей и работы институтов, сглаживание чересчур выраженного неравенства важнее даже экономического роста². Экономисты используют давно вошедшие в широкий оборот интегральные показатели неравенства, характеризующие уровень расслоения граждан по доходам: децильное соотношение, показывающее во сколько раз 10% наиболее состоятельных людей богаче 10% самых бедных, или коэффициент Джини, варьирующий от нуля до единицы (от полного равенства до предельной имущественной поляризации). На шумевшая книга экономиста Тома Пикетти «Капитал в XXI веке» (Piketty, 2014) ярко тематизировала две проблемы: имманентную связь неравенства с капитализмом, способствовавшую его неуклонному росту в исторической перспективе, и то, что неравенство — далеко не только экономическая проблема (Пикетти, 2015).

Проблема несоразмерности доходов сограждан широко обсуждается во многих странах. Ученые и сторонники более справедливого распределения благ создают остроумные визуализации, подчеркивающие несоразмерность экономического положения самых богатых и самых бедных, да и не только самых бедных. Ока-

1. В этой статье под «неравенством» я буду иметь в виду в основном социально-экономическое неравенство, поскольку, с моей точки зрения, в России эта его ипостась — самая значительная по своему масштабу. Другие важнейшие измерения неравенства, такие как расово-этническое или гендерное, имеют свою специфику, но и к ним приложима существенная часть рассуждений этой статьи. В своих эмпирических исследованиях я также имел дело прежде всего с социально-экономическим неравенством (Yastrebov et al., 2018; Бессуднов, Куракин, Малик, 2017; Косякова и др., 2016; Константиновский и др., 2006), в том числе в международной сравнительной перспективе (Kosyakova et al., 2016; Kosyakova, Kurakin, 2015), а также с гендерным неравенством на рынке труда (Kosyakova et al., 2015). Благодаря этим исследованиям и многолетнему руководству панельным когортным лонгитудом «Траектории в образовании и профессии» (ТрОП), проводимым в НИУ ВШЭ уже почти десять лет, — самым полным и высококачественным источником данных о неравенстве в образовании, мобильности и выходе на рынок труда в России — я довольно хорошо знаю фактическую сторону того, о чем в этой статье пишу, в первую очередь с теоретической точки зрения.

2. Показательна смена приоритетов в Китае: на XIX съезде КПК было провозглашено, что снижение неравенства — более важная задача, чем сохранение темпов экономического роста.

зывается, к примеру, что в Соединенных Штатах небольшая группа людей, которая даже не сможет заполнить один Боинг 747 (хотя для этого все же придется использовать места в эконо-классе), обладает таким же совокупным богатством, как и 200 миллионов их менее состоятельных соотечественников. В графической визуализации суммарного состояния четырехсот богатейших американцев³ любой желающий может нагляднейшим образом убедиться, что крошечной доли их активов достаточно для решения проблем планетарного масштаба, таких, например, как оплата химиотерапии для всех нуждающихся онкологических больных, искоренения смертельных болезней, таких как малярия, полной ликвидации бедности в США или обеспечения доступа к чистой питьевой воде во всем мире.

В России проблемы имущественного расслоения стоят не менее остро: по неравенству доходов мы относимся к странам с высоким уровнем расслоения (Овчарова, Попова, Рудберг, 2016) и практически не уступаем таким общепризнанно поляризованным обществам, как США или Великобритания, в которых тема неравенства давно осознана в качестве ключевой и устойчиво находится в центре политических дебатов, социальной политики и на первых полосах общественных обсуждений. Более того, если мы рассмотрим не неравенство по доходам, а неравенство по богатству, наиболее авторитетный источник — отчет «Credit Suisse» за 2019 год и вовсе помещает Россию на лидирующие позиции в мире по такому показателю, как доля национального богатства, сосредоточенная в руках наиболее обеспеченных граждан (Shorrocks, Davies, Lluberas, 2019). Однако, несмотря на рост числа высококачественных научных исследований по теме, а также на статьи и публичные выступления наших ведущих экономистов, таких как Сергей Гурьев и Константин Сонин, убедительно демонстрирующие масштабы проблемы в России и ее значимость, проблема неравенства по-прежнему находит прибежище преимущественно в нашем «коллективном подсознательном» и до сих пор не заняла подобающее место в экспертном и общественном дискурсе.

Это отсутствие более значимо, чем может показаться. Оно означает, что причины наиболее весомых социальных проблем и источники наиболее острых рисков остаются в тени, зачастую делая неэффективными даже самые здравые меры социальной политики и институционального регулирования. Неудачи социальной политики во всем мире показывают, что существенные прямые экономические вливания часто не способны поправить положение маргинализированных групп. Это обусловлено тем, что неравенство искажает «социальную гравитацию» групп и отношения между ними, поэтому, чтобы подобные интервенции были эффективными, во многих случаях нужно не просто учитывать это, но ставить проблему неравенства во главу угла.

Один из важнейших парадоксов неравенства, затрудняющих его изучение и практическое регулирование во всем мире, состоит в том, что проблемы, в основе которых лежит распределение благ, не решаются простым их перераспреде-

3. <https://mkorostoff.github.io/1-pixel-wealth/?fbclid=IwAR1uVzI7jnSebiXIZLPEG2OMOCOEh6HGHV543Eop6oXmPnyOfiOCTyf5So>

лением. Поэтому понимание экономических механизмов неравенства важно дополнить изучением принципов этой измененной «социальной гравитации». При этом большую роль играет не только прямое фундирование социальной политики социологической и экономической экспертизой, но и широкая общественная дискуссия, которая сделает проблематику неравенства частью практического знания людей. В США и Западной Европе это научное просвещение, связанное с неравенством, продвинулось довольно далеко благодаря большому числу научных и научно-популярных книг, статей, подкастов и телевизионных шоу, знакомящих людей с довольно сложными научными проблемами в этнографически ярких красках и увлекательных историях. В этом смысле исследования неравенства — один из самых практически полезных разделов социальных и экономических наук. У нас же, напротив, низкая консолидированность и, как следствие, публичная невыраженность экспертного знания находит логичное продолжение в популярном дискурсе: проблемы неравенства, базовые принципы его устройства и тактики его преодоления не являются пока частью «житейской мудрости» широких масс, и потому не ложатся в основу поведения людей в той степени, в какой это могло бы помочь им сгладить негативное влияние неравенства на их жизни и жизни их детей.

В свою очередь, в академической социологии исследования неравенства давно стали важной частью дисциплинарного мейнстрима. Однако из-за высокого уровня разделения труда в этой области знания — одной из самых развитых в социологии — большая часть исследователей фокусируется на количественных оценках небольшого набора устоявшихся и хорошо зарекомендовавших себя показателей, тогда как дискуссии о смысле и интерпретации этих показателей в рамках серьезной социальной теории находятся на периферии, а драматические эффекты неравенства, которые и придают значимость всей этой сфере знания, лишь изредка становятся предметом внимания⁴.

В России ситуация усугубляется еще и тем, что в предшествующие десятилетия исследования неравенства в существенной степени выпали из международной повестки. Это произошло в силу стечения исторических обстоятельств: прежде всего особенностей советского социологического проекта и постсоветского перехода. С одной стороны, интерес к проблемам социальной стратификации, мобильности и неравенства был одним из главных драйверов развития советской социологии и, соответственно, стал одним из наиболее развитых ее направлений.

4. Например, многие показатели с легкостью можно интерпретировать ровно противоположным образом, чем это обычно делается. Один из лидеров направления, Фабрицио Бернарди, иллюстрируя эту мысль, однажды заметил, что вторичные эффекты неравенства, которые, согласно канонической интерпретации, связаны со способностью привилегированных семей делать более продуманный и осознанный выбор в части образования их детей даже в отсутствие преимуществ в академических успехах, на самом деле порой не связаны ни с какими рассуждениями и производятся на интуитивном уровне (как, например, решение ребенка из профессорской семьи не идти в профтехучилище после девятого класса). Подобное рассуждение можно проделать и в рамках теории относительного избегания риска Голдторпа — Брина, которая традиционно трактуется в духе теории рационального выбора, но легко и убедительно может быть переинтерпретирована в духе культурного релятивизма.

Уже с конца 1960-х издавались переводы и рефераты западных работ, а также прорывные работы отечественных исследователей, такие как «Социологические опыты» В. Н. Шубкина (Шубкин, 1970), «Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР» О. И. Шкаратана (Шкаратан, 1970) и «Социальные перемещения» М. Н. Руткевича и Ф. Р. Филиппова (Руткевич, Филиппов, 1970). Камералистская природа советского социологического проекта, занявшего нишу информирования аппарата управления и рекомендаций по практическому регулированию жизни советского общества, в то время как уровень общей социологической теории был занят историческим материализмом (Филиппов, 2013), делала приоритетным изучение проблем социальной структуры, мобильности, образования и труда.

С другой стороны, с точки зрения социальной структуры и неравенства Советский Союз разительно отличался от западных стран, что неминуемо вело к тому, что уже к 1980-м годам советские социологи опирались на совсем другие теоретические модели, нежели их американские и европейские коллеги. В частности, по ироническому выражению Александра Филиппова, «главным советским социологом» стал Толкотт Парсонс (Филиппов, 2006б: 335) — и это в то время как в западной социологии его влияние не просто снизилось, но перешло в область отрицательных значений. Чрезвычайная популярность Парсонса в Советском Союзе, по мнению Вадима Радаева, была отчасти связана с тем, что, по крайней мере в области стратификации, структурно-функционалистская теория куда лучше работала в реалиях позднесоветского общества, нежели в обуреваемых классовыми конфликтами западных странах⁵.

После перестройки структурно-функционалистские модели, рассчитанные на структурную и институциональную стабильность, перестали сколько-нибудь сносно описывать картину стратификации новой России, переживающей бурные процессы политических и институциональных изменений, радикальных экономических реформ, возникновения «с нуля» частного сектора в экономике на фоне стремительного снижения доходов большей части населения и колоссального роста инфляций (Guriev, 2018; Kivinen, 2006: 262–277). Но, во-первых, академический мир весьма инерционен и многие исследователи продолжали пытаться приспособить старые модели к новой реальности⁶ (см., например: Гудков, 2011; Заславская, 2003). А во-вторых, хотя постпереходная Россия уже и не была похожа на Советский Союз, но она еще долго в основных очертаниях социальной и экономиче-

5. Радаев В. В. Курс лекций «Социальная стратификация», прочитанный в Московской высшей школе социальных и экономических наук в 2002–2003 гг.

6. В. В. Радаев писал в начале 2000-х: «Мы по-прежнему перегружены багажом ортодоксального марксизма и не можем преодолеть стихийные увлечения функционалистскими макросоциологическими построениями в духе Т. Парсонса» (Радаев, 2002: 3). Виктор Вахштайн, критикуя «наивный реализм» многих постсоветских социологов, «впитавших в 1960–1970-е годы самобытно понятый структурный функционализм», что выразилось, в частности, в долгой фиксации на «социетальных трансформациях», порожденной их неуклонной приверженностью к теории Парсонса (Вахштайн, 2011: 68), приходит к выводу, что даже когда «постсоветская» страница российской социологии наконец оказывается перевернутой, то, что приходит ей на смену — «антисоветские» и «неосоветские» языки описания, обнаруживают поразительные сходства с ней и друг с другом.

ской жизни не напоминала США или Западную Европу, где были разработаны все известные теории неравенства и мобильности. Экономика, неравенство, рынок труда и его связь с образованием, экономические и потребительские стратегии семей: все это в России находилось на стадии становления и чрезвычайно трудно поддавалось социологическому изучению. Поэтому, хотя неравенство все еще оставалось популярной темой, российские исследования в этот период имели по большей части поисковый и описательный характер и часто были изолированы от международных дискуссий. Отечественные социологи неравенства (и, примерно с середины 2000-х, я в их числе) выстраивали иногда весьма остроумные, но всякий раз *ad hoc* эмпирические описания, наперегонки с постоянными изменениями картины, каждый раз несущими новые исследовательские вызовы (Chernysh, Nikula, 2020; Константиновский, 2008; Константиновский и др., 2006; Кордонский, 2008).

В мировой науке примерно в это же самое время активно формировался мощный мейнстрим исследований неравенства, в котором закреплялись стандарты эмпирических описаний, разделяемые большинством активных исследователей. В социологии эти стандарты определялись классическим корпусом теорий среднего уровня в парадигме теории рационального выбора, таких как теория относительного избегания риска Голдторпа и Брина (Breen, Goldthorpe, 1997), теория максимально поддерживаемого неравенства и производная от нее теория эффективно поддерживаемого неравенства (Lucas, 2009; Raftery, Hout, 1993; Хавенсон, Чиркина, 2018), теория первичных и вторичных эффектов неравенства, разработанная Раймоном Будоном еще в 1970-е (Boudon, 1974) и три десятка лет спустя введенная в широкий оборот современных исследований усилиями Мишель Джексон и ее коллег (Jackson et al., 2007) и др.⁷ Все эти теории описывают сравнительно стабильные общества, где межпоколенческая передача привилегий проходит по более или менее прозрачным и устоявшимся правилам.

Примерно начиная с 1990-х и на протяжении двух десятилетий нового века эти теории постепенно сформировали хорошо операционализированный и чувствительный к нюансам язык социологических исследований неравенства. Этот инструментальный консенсус проложил путь масштабным сравнительным проектам, которые показали, как механизмы формирования неравенства работают в отличающихся институциональных контекстах (Blossfeld, Shavit, 1993; применительно к России см.: Косякова и др., 2016; Косякова, Куракин, 2016). В свою очередь, такие проекты способствовали одновременно развитию и стандартизации источников информации, таких как лонгитюдные опросы и базы данных. Все это в совокупности сделало основные механизмы воспроизводства социально-экономического неравенства намного более понятными и прозрачными — не столько даже за счет теоретических достоинств указанных моделей, сколько за счет един-

7. Один из лучших обзоров этих теорий на русском языке: Чиркина, 2018.

ства языка описания. Единства, из которого российские социологи неравенства по объективным причинам выпали⁸.

Эта историко-социологическая коллизия недавних лет внесла вклад в текущее положение дел: российские социологи лишь недавно стали активно интегрироваться в международный мейнстрим социологии неравенства (Demintseva, 2020; Gimpelson, Treisman, 2018; Ivaniushina, Alexandrov, 2018; Jackson, Khavenson, Chirkina, 2020; Kosyakova et al., 2016; Kosyakova, Kurakin, Blossfeld, 2015; Kosyakova, Kurakin, 2015; Mareeva, 2020; Minina, Yanbarisova, Pavlenko, 2020; Prakhov, Yudkevich, 2019; Rudakov, Roshchin, 2019; Varlamova, Sinyavskaya, 2020; Yastrebov, Kosyakova, Kurakin, 2018)⁹. Однако количество пока не перешло в качество, и этот прогресс в исследованиях все еще не привел у нас к широкому пониманию неравенства как базовой проблемы современного общества, формирующей ключевой контекст многих социальных процессов, от образования и социальной политики до урбанизма и развития местных сообществ.

Такое положение дел способствовало заметному угасанию «интеллектуального флера» социологии неравенства: эта область часто рассматривается как техническая и скучная и сравнительно редко привлекает внимание увлеченных студентов. В этой статье я постараюсь, помимо прочего, напомнить исследователям неравенства, почему то, что они делают, так важно и захватывающе, и как это связано с большими вопросами социальных наук. В этом смысле миссия этой статьи — добавить голос социологии к картине, общие очертания которой уже выявлены экономистами и двигающимися в проложенном ими русле социологами, и показать, каковы социальные и даже экзистенциальные ставки проблемы неравенства, и что социологическая теория и социология культуры могут добавить для понимания того, что такое неравенство и как оно встроено в социальную жизнь.

Экзистенциальные эффекты неравенства

Экономисты сосредотачивают свое внимание прежде всего на перекосах в распределении благосостояния, которые в большинстве обществ достигают масштабов, несоразмерных с предположительной разницей в таланте, способностях и трудо-

8. С точки зрения конвенциональной мировой социологии наиболее информативными источниками по проблеме неравенства и социальной мобильности в России в конце 1990-х и начале 2000-х были работы зарубежных ученых, специализирующихся на России, таких как Тед Гербер и Чарли Уолкер (Gerber, 1998, 2002, 2003, 2004; Walker, 2007, 2009, 2010).

9. Этому возвращению способствовало развитие высококачественных социологических баз данных. Помимо лонгитюда РМЭЗ, существующего с 1994 г., это запуск специализированных исследований, нацеленных на исследование неравенства: в первую очередь, лонгитюда «Траектории в образовании и профессии» (ТрОП) (Kurakin, 2014b; Malik, 2019) и российской части ретроспективного «Education and Employment Survey». Благодаря этим и некоторым другим данным усилиями целого ряда исследовательских групп впервые удалось выразить в конвенциональных терминах, допускающих сравнения с международным опытом, надежные описания основных механизмов воспроизводства социально-экономического неравенства в образовательной системе, и тем самым перевернуть страницу исследований образовательного неравенства в России.

затратах людей, находящихся на разных ступенях социально-экономической стратификации — разницей, которая, в духе меритократических принципов, должна была бы оправдать неравномерный доступ к благам. Иными словами, речь идет о том, что ресурсы распределены *несправедливо*. Те, кто при честных правилах игры должны были бы получить больше благ, получают меньше, чем могли бы, если бы эти правила были по-настоящему справедливыми, тогда как другие забирают себе несоразмерную долю национального пирога благосостояния. Даже когда справедливость не является предметом обсуждения, как это и бывает чаще всего, подспудно именно эта категория стоит за дискуссиями о неравенстве¹⁰.

Такой подход уподобляет работу национальной экономики сделке, в которой одна сторона «обсчитывает» другую. Например, как если вы продаете автомобиль, а покупатель, пользуясь какими-то уловками или нечестными преимуществами, платит вам вдвое меньше, чем машина стоит на самом деле, и вы становитесь беднее, чем могли бы и на что рассчитывали. Действительно, статистика, к которой прибегают экономисты, ясно показывает нам, что мы живем в обществах, где большинство граждан терпит существенный экономический ущерб от текущего положения дел, и этот ущерб несправедлив.

Такое положение дел само по себе неприятно и, безусловно, несправедливо, но, как я постараюсь показать в этой статье, вовсе не это является главной «пружинной» неравенства, сообщающей ему ту значимость и силу, которая и выводит его на верхний уровень общественно-политической повестки или, в других случаях, приводит к мощным социальным потрясениям и даже революциям. Соображения прикладного характера, вроде статистического интереса к тому, сколько в той или иной стране бедных, а сколько богатых, и какова покупательская способность и потребительские привычки тех и других, при всей своей научной и практической значимости, тем более не могут обуславливать центральное положение этой темы в социальных науках. И хотя предполагаемое снижение эффективности экономики из-за чрезмерного неравенства и впрямь может быть главным предметом заботы экономистов, для социологии и этот резон вторичен.

Подлинная сила неравенства кроется в том, что оно, выражаясь лишь немного напыщенно, вторгается в человеческую природу и искажает ее, создает непроницаемые, а иногда непреодолимые границы внутри обществ, затрудняющие не только социальную мобильность, но и солидарное понимание базовых истин мо-

10. Йоран Терборн утверждает, что несправедливость — конститутивная черта неравенства, потому что иначе мы имеем дело просто с «различиями» (Therborn, 2006: 4). В свою очередь, А. Б. Гофман указывает на то, что справедливость — одна из исходных социологических проблем, которая была в центре внимания и у классиков от Спенсера и Маркса до Дюркгейма и Вебера, и у современников от Хабермаса до Болтански и Тевено. Что еще более важно, Гофман отмечает, что некоторые экономические теории, как, например, теория прибавочной стоимости Маркса, являются не столько экономическими, сколько этическими (Гофман, 2017). Это, моральное, измерение стратификации является ключевым и для данного исследования. Пример оригинального эмпирического исследования, в котором выявлено влияние моральных аспектов неравенства (таких как социально-приемлемая разница в доходах и социально-приемлемые долги) на предпочитаемую конструкцию справедливости (дис-трибутивная vs. уравнивающая): Калинин, Девятко, 2019.

рали и рациональности, а иногда и простые эмпатию и сочувствие. Именно эта сторона проблемы придает значимость и справедливости экономического распределения благ, и социальным аспектам экономического поведения людей, и другим граням большой проблемы неравенства.

Политэкономическая «алхимия» неравенства

Глубокий политэкономический парадокс неравенства — упомянутая выше недостаточность экономической перспективы на, казалось бы, экономическую по своей природе проблему — связан с почти «алхимическим» синтезом экономических, социальных и экзистенциальных сил, лежащих в его основе. Действительно, неравенство — это проблема, приведенная к жизни экономическими силами и обычно манифестируемая экономическими показателями, но в части своих глубинных оснований и наиболее важных эффектов имеющая неэкономическую природу. Социальные смыслы *достоинства* и *признания* — помещение одних людей «выше», «над» другими, в результате общественной организации труда и распределения благ, и унижение, которые испытывают те, над кем таким образом доминируют, — формируют основу жизни всех современных людей, определяя не только их идентичность, но и их способность и волю к действию.

«Трюк» исследований социальной стратификации состоит в том, что когда мы определяем понятия «выше» и «ниже» в контексте социально-экономической лестницы, мы редко озвучиваем, что эта «условная» исследовательская операция воспроизводит безусловные социальные силы, недвусмысленно приписывающие ценность верхнему краю этой лестницы. В результате то, что реализовано через распределение благ, посредством этого «алхимического» политэкономического синтеза преобразуется в фундаментальные факты социальной жизни, определяющие идентичность людей и их способность к действию, потерю социальной связи и маргинализацию больших социальных групп — реальность, выходящую далеко за пределы экономики, и проблемы, которые уже не решаются чисто экономическими средствами.

Разгадкой этого парадокса мы обязаны Карлу Марксу и его концепции отчуждения (Маркс, 1974; Маркс, Энгельс, 1955). Поверхностная часть проблемы отчуждения труда состоит в простой экономической констатации эксплуатации одних людей другими, выражающейся в несправедливом присвоении результатов их труда. Истинная суть отчуждения — в отчуждении человека от собственной природы и родовой сущности: драматическом искажении всех его стремлений и желаний, подчинении целей его развития средствам, от этого развития отчужденным. Ю. Н. Давыдов начинает свою классическую работу «Труд и свобода» с притчи о том, как змея заползла в рот спящему человеку, поселилась внутри и стала управлять им, превратившись в жестокого деспота и полностью подчинив его волю. Потом змея уползла, но человек так и не смог стать свободным: «он настолько привык подчинять свою волю — ее воле, свои желания — ее желаниям, свои

побуждения — ее побуждениям, что потерял способность желать, стремиться, самостоятельно действовать» (Давыдов, 2008: 25). Человек, изнуренный деспотизмом неравенства, лишениями, унижением, бессмысленной работой и необоримой силой социального оценивания, основанного на экономическом успехе, находится примерно в такой же позиции. Его природа, мыслимая гегельянцами в духе идеалов Возрождения и нацеленная на моральное, эстетическое и когнитивное совершенствование, безнадежно искалечена неравенством и адаптацией к нему.

Как и в случае с некоторыми другими понятиями Маркса, оказавшими большое влияние на последующую интеллектуальную историю, например такими, как «товарный фетишизм» или «превращенные формы», важной особенностью отчуждения является то, что истинные силы, стоящие за ним, глубоко сокрыты от тех, кто подвержен их воздействию, и, испытывая его, люди редко понимают, с чем имеют дело. Точно так же и с неравенством. Поэтому, следуя «эмансипаторной» максиме неомарксизма, задача борьбы с неравенством с необходимостью подразумевает, используя термин Хайдеггера, «выведение из потаенности». В нашем случае это означает, что необходимо не только изучать отдельные механизмы неравенства, но и соединять знания, полученные в разных субдисциплинах, в единую картину, в которой каждая из частей обретает свой смысл.

Вечное возвращение отчуждения и его социологические адаптации

В современной социологии наиболее заметный и последовательный голос, возымающий к построению такой перспективы, принадлежит Мишель Ламон. Ее собственное продвижение в этом направлении ознаменовалось серией ярких работ, от ее первой нашумевшей книги 1992 года «Money, Morals, and Manners» (Lamont, 1992) до недавнего масштабного кросс-национального проекта «Getting Respect» (Lamont et al., 2016; Богданова, 2018). Вероятно, не будет преувеличением сказать, что одним из фундаментальных истоков этого долгого и плодотворного продвижения, приобретшего множество единомышленников и последователей, стало как раз Марксово понятие отчуждения — но не само по себе, а в качестве объекта критического переосмысления со стороны Пьера Бурдьё, чьи парижские семинары Ламон посещала как раз в год выхода его наиболее важной работы — «Distinction» (Bourdieu, 1984; Lamont, 2017: 12).

Понятие «символического насилия», пришедшее в теоретических построениях Бурдьё на смену марксовскому отчуждению, отсылало к замаскированным разнообразными культурными практиками (от образования до потребления «высокой культуры») стратегиям господства, в которых сводились воедино доминирование и его же легитимация, причем совершенно незаметно для людей, которые оказывались во власти ложного знания — «доксы». Через эту теоретическую конструкцию Бурдьё сформировал магистральный способ социологической адаптации проблемы отчуждения и конвенциональный социологический ответ на вызовы неомарксизма. При всей ограниченности такого подхода — по крайней мере

в сравнении с масштабом исходного замысла — это позволяет, с одной стороны, воспользоваться прорывом Маркса и его последователей в части понимания глубины неэкономического измерения неравенства и его драматических экзистенциальных эффектов, а с другой — сделать это в социологически конвенциональных терминах.

Как отмечает Ламон, этот теоретический шаг Бурдьё переносил исследовательский фокус с политэкономии к повседневности, экспрессивной культуре и формированию идентичности, что в целом «переворачивало привычный мир вверх дном» и показывало, что «экономические аспекты социальной жизни не обязательно главные факторы в формировании неравенства» (Lamont, 2017: 12)¹¹. Позже она критически переосмыслила теорию Бурдьё, в том числе с опорой на культурную теорию и работы Мэри Дуглас, а также Люка Болтански и Лорана Тевено, что в итоге привело ее к соотносению социальных и символических границ и вниманию к стратегиям оценивания. Таким образом, интуиции Маркса, связанные с отчуждением, в культурсоциологическом прочтении Ламон и ее коллег привели к помещению во главу угла того, как культурные стратегии и практики оценивания — в контексте экономических и институциональных сил — придают значимость и вес одним социальным группам и подвергают унижению другие.

При всей своей радикальности, марксизм в целом и теория отчуждения в частности никогда не переставали быть вызовом и источником вдохновения для западной социологии. Чтобы усвоить этот импульс, однако, всякий раз требовалась адаптация и конкретно-историческое «смягчение» исходных посылок, с тем чтобы переподчинить их приемлемой для социальных наук онтологии¹². Бурдьё и Ламон, как мы видели, использовали для такой адаптации перефокусировку на повседневность и символические структуры, а, например, Бирмингемская школа — критические переработки Антонио Грамши, разрушившие ригидность схемы «базис — надстройка» и таким образом вернувшие на сцену культуру (Holub, 1992; Грамши, 1991). В советской социологии, в оказавшийся коротким для марксизма период между догматизмом и забвением, понятие отчуждения также применялось в конкретно-эмпирических целях, для чего в ход шли подобные теоретические стратегии. К примеру, Я. И. Кузьминов, Э. С. Набиуллина, В. В. Радаев и Т. П. Субботина в конце 1980-х годов показали, что очевидно ошибочный тезис о том, что при со-

11. Джеффри Александер и Филипп Смит — современные социологи, чьи теоретические позиции мне наиболее близки, критикуют Бурдьё и других представителей «слабых программ» в социологии культуры за «сдачу» автономии культуры — по сути — низведение культуры до уровня передаточного звена в классовом доминировании (Alexander, 1995; Александер, Смит, 2010). Однако достоинства этого теоретического шага, подчеркнутые Ламон, равно как и ее собственная роль «трендсеттера» в возвращении понятия культуры в исследования неравенства, с моей точки зрения, в историко-социологическом смысле перекрывают эти недостатки — тем более что, как я постараюсь показать в этой статье, автономия культуры возвращается на сцену.

12. Однако эти адаптации — равно как и основанные на них социальные технологии — время от времени терпят сбой (как это снова происходит на наших глазах с протестами в Европе и США). И Маркс и отчуждение возвращаются снова и снова, в духе описанного Ю. Н. Давыдовым принципа чередования кризисного и стабилизационного сознания в социологии (Давыдов, 2002).

циализме нет отчуждения, в содержательной части был основан на «бессубъектной трактовке производственных отношений», которая в отсутствие в плановой экономике саморегулирующихся экономических механизмов капитализма теряет всякие основания (Кузьминов и др., 1989: 196). Рассмотрение отчуждения как конкретно-исторической проблемы экономики, культуры, социального развития и управления позволило им выявить целый ряд специфических для социализма механизмов отчуждения труда, делающих отчуждение не менее, а, напротив, более характерным для реальных социалистических систем (вывод, позже подтвержденный и другими исследователями; см., например: Kivinen, 2006: 262–263). Эти механизмы носили культурный и институциональный характер; среди них авторы, например, выделили «стереотип разверстки», «труд как повинность» и «технократический подход, отрывавший экономическое от социального» (Кузьминов и др., 1989: 195–196).

В своем эссе, приуроченном к вручению ей Премии Эразма¹³ в 2017 году, Ламон указывает на то, что неравенство как проблема социальной науки имеет два ключевых измерения: *распределение ресурсов* (как материальных, так и символических) и *социальное признание* — то есть то, что и составляет моральную и смысловую основу жизни и идентичность любой социальной группы (Lamont, 2017: 45). При этом в настоящий момент хорошо изучено лишь первое измерение — благодаря многим десятилетиям работы социологов и экономистов неравенства, в течение которых эта область превратилась в высокоразвитый дисциплинарный мейнстрим¹⁴. Однако именно сейчас, когда социальное расслоение и дезинтеграция достигают во всем мире такой степени, что это сказывается на всех аспектах социальной жизни — от кризиса социальной политики и резких политических изменений во всем мире¹⁵ вплоть даже до фундаментальных изменений в экономике¹⁶, — второе измерение неравенства — культурные процессы, лежащие в основе социального признания — становится частью перспективного фронта социологии (Lamont, 2017: 48; Гофман, 2018: 45, 51). Центральная задача состоит в том, чтобы понять, как процессы распределения, в основном экономические по своей

13. Престижная ежегодная премия за вклад в развитие культуры и науки, которая может вручаться как индивидуальным, так и коллективным лауреатам. В разные годы ее удостоились: Карл Ясперс, Марк Шагал, Мартин Бубер, Клод Леви-Строс, Вацлав Гавел, Юрген Хабермас, сообщество Википедии и народ Австрии.

14. Для сравнения: Терборн выделяет три измерения неравенства: витальное, экзистенциальное и ресурсное, также указывая, что лишь последнее удостоилось должного внимания со стороны исследователей (Therborn, 2006: 3).

15. В качестве иллюстраций достаточно упомянуть неудачи национальных политик интеграции мигрантов — в мире, где уверенно растущие миграционные потоки обещают в корне изменить привычные представления об устройстве национальных государств; или рост популизма в политике, который уже рассматривается как радикальное изменение мирового политического ландшафта (Alexander, Kivisto, Sciortino, 2021; Guriev, 2020; Guriev, Papaioannou, 2020).

16. Не будучи экономистом, я могу лишь указать в качестве иллюстрации на замешательство мейнстримовых экономистов в объяснении (а перед тем — в прогнозировании) кризиса 2007–2008 гг., при том что кризисы относятся к регулярным экономическим циклам — хорошо изученному и понятному явлению.

природе, взаимодействуют с культурными в своей основе процессами признания, уважения и формирования достоинства основных социальных групп. Это и есть тот синтез экономики и социологии, к которому Мишель Ламон призывает в эпиграфе к этой статье.

Социальные основания достоинства и проблема социодигицеи

Ричард Сеннетт — один из социологов-теоретиков, изучивших неэкономические основы неравенства наиболее детальным и последовательным образом, в одном из своих рассуждений иллюстрирует их важность и глубину довольно элегантно образом — отсылая к трактату о неравенстве Руссо (Руссо, 2011). Руссо, вероятно, впервые сформулировал простую мысль: в основе неравенства лежит зависть, ведь если бы человек был полностью доволен собой и своим положением и не хотел меняться, он бы никому не завидовал, поэтому вся сила и значимость неравенства восходит именно к этому обстоятельству. Человек завидует, а потому хочет измениться — перестать быть тем, кто он есть. Простота этой мысли, однако, лишь кажущаяся, потому что зависть эта (а на самом деле гораздо более обширный спектр чувств, от подбострастия до презрения) фундаментальным образом встроена в саму конституцию современного человека — в его социальную, когнитивную и даже нейробиологическую природу.

Чтобы продвинуться в понимании этих социальных и психологических оснований неравенства, Сеннетт работает с парой понятий, введенной Руссо: *amour de soi* — любовь к себе, или самоуверенность, и *amour-propre* — чувство превосходства и его демонстрация. Сеннетт отстаивает мысль, что капитализм и индустриализация способствовали уверенному доминированию второго над первым и фундаментальному подавлению первого (Sennett, 2003). В силу этого люди оказались уязвимыми и неуверенными в себе, поскольку человеческое достоинство стало предметом «игры с нулевой суммой». Здесь мы имеем дело с основополагающим явлением социальной жизни: неразрывной связью достоинства, в том числе субъективно переживаемого самоуважения, с взаимодействием с другими людьми. Проще говоря: чтобы уважать себя, нам нужна санкция других. Но характер и механизмы этого санкционирования всегда имеют исторически специфический характер, и в наше время попадают под определяющее влияние социально-экономического неравенства.

Важную перспективу, которую необходимо упомянуть в этой связи, задает проект социологии ресентимента, разработанный Максом Шелером (Шелер, 1999). Подобно отношениям, выстроенным вокруг дарения и отдаривания, природу которых раскрыл Марсель Мосс, зависть также порождает социальную связь, но связь эта носит негативный характер. Она конституируется постоянным взаимным оцениванием, к которому нас принуждает существующее социальное устройство, и это оценивание ведет к унижению и ущербу для человеческого достоинства. Как и впоследствии Сеннетт, Шелер считает, что ресентимент выходит на

первый план именно в современных обществах, когда тот самый «разрыв», производимый неравенством, о котором я пишу, становится эмоционально-напряженным ядром идентичности людей, поскольку разворачивается на фоне декларативного равенства в правах и достоинстве. В таком обществе операция «ценностного сравнения» становится базовой социальной формой и несет с собой тревогу, страдания и «экзистенциальную зависть»¹⁷. Комментируя квалификацию Зиммелем благородства и аристократизма как «отвергающих любое сравнение», Шелер указывает на то, что это, в сущности, невозможное уклонение от сравнения на самом деле является особой стратегией оценивания, когда ценность не проистекает из сравнения, а предшествует ему, как *amour de soi* Руссо. Принудительное оценивание, формирующее достоинство и формы общения современных людей, о котором пишут Шелер и Сеннетт, — это и есть то часто игнорируемое, но фундаментальное измерение неравенства, изучать которое призывает Ламон.

Каковы эти исторически-специфические социальные основания достоинства? Изучая историю труда, права и социальной политики, Сеннетт приходит к выводу, что понятие «достоинство», в своем исходном виде имеющее прежде всего религиозный смысл, в современности обнаруживает два секуляризованных источника: труд и тело¹⁸ (Sennett, 2003).

Следуя в русле этой мысли Сеннетта, можно заключить, что достоинство, исходящее от труда и его плодов, легитимирует «справедливое неравенство»¹⁹. Этот культурно-экономический комплекс хорошо знаком нам под брендом мерито-

17. Шелер пишет об этой зависти: «Она словно беспрестанно нашептывает: „Всё я тебе могу простить; только не то, что ты существуешь и что ты есть существо, которое ты есть; только не то, что не я есть то, что есть ты; что ‘Я’ не есть ‘Ты!’“» (Шелер, 1999). Это фундаментальное, запущенное самой природой социальных отношений кризисное положение вещей напоминает проблему псевдо-суверенитета действия, о которой пишет Ханна Арендт (Арендт, 2017). Она заключается в том, что любой человеческий поступок запускает процессы, которые действующий не в состоянии ни предвидеть, ни контролировать, потому что они определяются оценками и встречными действиями других людей, ведь «не человек, а люди населяют землю» (Там же: 295). Спасением же от влекомой любым поступком дурной бесконечности его неконтролируемых последствий, согласно Арендт, служат прощение, обещание и любовь, эти социальные антидоты социального же гнета. И это в точности соответствует мысли Гёте, в которой Шелер находит средство от изучаемого им социально-фундированного ущерба достоинству человека: «Против превосходства другого нет иного спасительного средства, кроме любви».

18. В основе этих двух категорий отчетливо просматриваются два типа религиозного ведения жизни, выделенные Вебером: мистика и аскеза, потому что тело как сосуд жизни, данной Богом, является неисчерпаемым источником созерцательно постигаемого достоинства, а труд — секулярным воплощением религиозной аскезы.

19. Экономисты различают «справедливое неравенство», обусловленное меритократическими принципами распределения доходов при максимальном равенстве возможностей, и «несправедливое неравенство», при котором возможности существенно неравны. Некоторые исследования показывают, что это различие в определенной степени связано с влиянием неравенства на экономический рост и социальное развитие обществ. Так, в странах с высоким неравенством возможностей уровень неравенства негативно связан с экономическим ростом. А там, где возможности почти равны, величина неравенства по-видимому не снижает темпы роста (Гуриев, 2020). Однако в этом «уравнении» много переменных, и, например, дискуссии о том, как развитие образования влияет на экономический рост, далеки от завершения (см., например: Kuzminov, Sorokin, Froumin, 2020).

кратии, и исторически и культурно связан с капитализмом. К примеру, борьба с рабством — важный катализатор утверждения этой модели в качестве доминирующей: в отличие от предыдущих эпох, лишь в том мире, где труд является источником достоинства, рабство начинает вызывать резкое отторжение. Достоинство, исходящее от труда, таким образом, поддерживает социальную гармонию в меритократических обществах.

Что касается «несправедливого неравенства», достоинство и здесь держит вторую линию обороны, действуя через «социодицею» (пока она не разрушена): тот, кто тяжело работает, но все равно беден, иногда может даже превосходить в достоинстве богатых, особенно если тем богатство досталось даром или обманом. Жертвы экономической несправедливости получают, таким образом, моральное вознаграждение в форме признания и уважения. В наши дни, однако, системно углубляющееся неравенство во многих обществах прорвало и эту линию обороны современной культурной конструкции достоинства, провоцируя острый кризис социодицеи, выражающийся в том, что положение дел с неравенством начинает рассматриваться как остро несправедливое, что влечет за собой кризис легитимности экономических и политических институтов.

К примеру, для американских исследователей неравенства и стратификации одним из главных событий современности является угасание иконического американского индустриального рабочего класса, социально защищенного и преисполненного гордости, и почти полностью смененного сегодня «прекариатом» (Jackson, 2020; Silva, 2013). Если обратиться к нашему собственному «культурному коду», в народных сказках бедные часто чисты душой и прекрасны телом, удалы и удачливы, а богатые уродливы и морально сомнительны. В этом тоже можно усмотреть социодицею: пусть жизнь часто несправедлива, более важные вещи, чем деньги, — моральная чистота, здоровье, счастье и в конечном счете симпатии «читателя» на «правильной» стороне. Но правда жизни, увы, не такова. Так, здоровый образ жизни часто остается недоступной роскошью для непривилегированных (Рощина, 2016): неподъемный круг забот оставляет, казалось бы, столь ясные резоны «заботы о себе» за пределами мыслимого²⁰. Циничная постсоветская поговорка «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным» олицетворяет приговор этой наивной фольклорной социодицее. То же касается и области морали, и лучшим примером здесь будет экологически ответственная культура, которая, со всеми оговорками, остается по преимуществу элементом «буржуазной» культуры.

20. Один из наиболее впечатляющих российских ЗОЖ-евангелистов, Илья Переседов, недавно написал: «Если ты худеешь на 20 килограмм или больше — это равносильно, как если бы ты заработал несколько сотен тысяч долларов. Именно в эту сумму тебе обойдётся сегодня квалифицированная помощь при болезнях сердца, суставов, диабете и т. д.» (<https://zozhnik.ru/degot-i-myod-pro-knigu-9-shagov-zdorovoj-poteri-vesa/>). Эти впечатляющие и справедливые для состоятельных людей расчеты, однако, неприменимы к жизни людей небогатых: как для них самих, так и для бюджетной медицины эти расходы остаются далеко за пределами возможных и социально одобряемых трат и потому являются фикцией.

Этот национальный «культурный код» является ключом к изучению достоинства как ключевого аспекта неравенства. Олег Хархордин, Капитолина Федорова и Борис Маслов, авторы выдающегося исследования представлений о достоинстве в России, проявляющего как доминирующие ныне культурные конструкции достоинства, так и их преемственность по отношению к исходным античным и возрожденческим традициям, сделали важный шаг в этом направлении (Федорова, Маслов, Хархордин, 2019). Следуя выявленным им трем типам достоинства — происходящего от чина, от заслуг и от подобию Божьего — можно изучить, во-первых, стратегическую уязвимость каждого из них по отношению к неравенству, а во-вторых, возможные конфликты между ними. Архитектуру одного из таких конфликтов я вкратце затрону ниже.

Не менее важная интрига связана со вторым, по Сеннетту, фундаментальным источником достоинства. Достоинство, происходящее из индивидуально-го тела, — глубоко институционализированное в такой норме международного права, как запрет пыток, и в норме здорового тела как тела без боли как основе нового телесного канона (закрепленной, например, нормативами ВОЗ) (Ветлессен, 2010; Куракин, 2011а) — неотчуждаемо от человека²¹. Это рассуждение входит в интересный и многое проявляющий конфликт с идеей «голой жизни» Джорджо Агамбена (Агамбен, 2011). С одной стороны, Сеннетт помогает увидеть культурную обусловленность того, что Агамбен полагает предшествующим всякой культуре: представление о *зоэ*, лишенной достоинства и ценности, но экзистенциально пронзительной из-за своей крайней уязвимости человеческой жизни.

С другой стороны, рассуждения Агамбена позволяют постичь, в сколь амбивалентную позицию ставит современных людей неравенство. Парадоксальным образом, если бы тело не оказалось в нашу историческую эпоху источником достоинства, их позиция не была бы маргинальной и напоминала бы позицию низших слоев в кастовых обществах: устойчивую и не обремененную экзистенциальной остротой унижения (на это, в частности, указывает и Шелер в своих рассуждениях о ресентименте). В современных обществах острая противоположность лишения достоинства, ежечасно утверждаемого всеми социальными институтами и вторгающегося в жизнь человека через многочисленные лишения, исключения и «недопуски» — к благам, к социальному участию и даже ограничение в физическом присутствии в определенных респектабельных местах, и идеационного достоинства, полагающегося человеку в силу его принадлежности к человеческому роду, это именно то, что делает неравенство трагичным.

Ключом к пониманию этой трагедии может послужить понятие «амбивалентность сакрального»: дюркгеймианская социологическая традиция выявила, что помимо устойчивых источников социальной мощи, таких как сакральные символы, вызывающие почтение и пиетет, есть не менее могущественные механизмы,

21. Как показывают выводы Хархордина и его коллег, аналогия с достоинством, происходящим от подобию Божьего, тут неполна, поскольку при некоторых трактовках обретение этого достоинства не происходит «автоматически», в силу рождения.

связанные с негативной стороной сакрального — «скверным» (Батай, 2006; Дуглас, 2000; Дюркгейм, 2018; Жирар, 2000; Кайуа, 2003; Куракин, 2016). Одно из наиболее лаконичных определений скверного, или нечистого, принадлежащее Мэри Дуглас, состоит в том, что нечистое — это «маргиналии символических классификаций», или, проще говоря, то, что находится не на своем месте (Дуглас, 2000).

Маргинальная, то есть внутренне противоречивая в своих фундаментальных основах социальная позиция — источник мощного и, как правило, негативного эмоционального заряда, связанная с символическим «загрязнением», которое может распространяться как на социальный статус, так и на эмоциональную основу жизни людей. Святые, юродивые, шуты — это только традиционные примеры маргиналов, а в наши дни маргинализируются обширные социальные слои: сотни миллионов мигрантов во всем мире, жители гетто и, все чаще, обычные граждане, лишенные социального и политического участия.

Неравенство маргинализует, причем не только бедных, а, в широкой перспективе, и «средний класс», и менее богатых, чем самые богатые, и самых богатых, которые могут потерять свое богатство или теряют ясную идентичность, — совсем в духе того, как марксовское отчуждение угрожало далеко не одним только эксплуатируемым, а всем людям.

Чем дальше мы продвигаемся в понимании основ неравенства, тем лучше чувствуем «пульс времени» и тем глубже понимаем природу коллективных эмоций, подпитывающих ключевые институты и процессы современной жизни. К примеру, именно отчаяние перед лицом калечащего людей неравенства, вошедшего в плоть и кровь и сковывающего даже волю и способность к освобождению, стоит за эмоциональным накалом нынешних протестов движения Black Lives Matter в США или «желтых жилетов» во Франции. Искреннее изумление, с которым в России часто встречаются эти новости, свидетельствует о цивилизационном отставании в понимании основных проблем современности, и это отставание во многом связано с кризисным положением дел в проблематике неравенства в России. Высокоразвитый публичный и экспертный дискурсы неравенства, базирующиеся на продвинутых исследованиях, еще не заняли у нас подобающего им места, а уроки марксизма, которые могли бы дать ключ к пониманию этих проблем, давно забыты. Если неравенство не станет у нас предметом принципиального интереса и глубокого анализа, наше отставание от понимания фундаментальных процессов современности будет расти.

Качество и количество жизни

Экономико-статистический взгляд действительно наиболее емко и полно отражает масштаб неравенства и рисует адекватную макроперспективу проблемы, однако чтобы проникнуть в суть последствий и наиболее важных эффектов, необходимо переместиться на микроуровень и понять, как именно та колоссальная «разность

потенциалов» экономического субстрата социальной жизни, которую фиксируют экономисты, приводит к этим эффектам.

Именно социология, причем культурно-чувствительная — то есть та, что имеет истоки в теории культуры, необходима, чтобы осознать незримую власть, которую несет в себе неравенство, и его последствия. В первой половине XX века Марсель Мосс показал, что власть социальных фактов над индивидом столь велика, что, например, в первобытных обществах нарушение незримых и, казалось бы, эфемерных священных запретов часто приводит к быстрой смерти вполне здоровых людей, и это хорошо задокументировано во многих этнографических источниках (Мосс, 1996в). Работы Мосса и развиваемая им концепция тотального человека и тотального факта, стремящаяся соединить в социальном анализе явлений сразу трех порядков — от надындивидуальных до инфраиндивидуальных, заложили основу понимания того, насколько глубоко социальная жизнь вторгается в конституирование не только индивидуальных сознаний, но и телесных, физиологических явлений (Ignatow, 2012; Гофман, 2011: 14–19, 28–32; Мосс, 1996б: 308, 1996в: 289). Иными словами, макрофеномены коллективной жизни, такие как верования, коллективно разделяемые способы действий и факты социальной морфологии, не только определяют когнитивный строй мышления человека (то, во что он верит и с опорой на какие символические конструкции мыслит), но и пробираются вглубь его нейро- и физиологического устройства. Сегодня эти выводы и линии аргументации находят подтверждение уже и в находках нейронауки (Damasio, 1994; Ignatow, 2007, 2010; Lizardo et al., 2020).

Неравенство в наши дни обладает такой же *убийственной* силой, что и священные символы, и каноны так называемых первобытных обществ, о которых писал Мосс, причем это можно понимать вполне буквально: во всех странах бедные и необразованные люди в среднем умирают намного раньше богатых, образованных и благополучных. Их жизни становятся менее «ценными», как бы эта «ценность» ни оценивалась: по количеству денег, какое государство готово потратить на их лечение и которое считается «социально приемлемым»; по тем рискам для жизни, на которые они вынуждены идти, чтобы прокормить свои семьи (от вредного производства до участия в военных конфликтах в числе частных военных компаний или в качестве оплачиваемых добровольцев); по субъективным ощущениям и оценкам, по становящемуся рутинным уровню рисков для здоровья и жизни, по унижительной организации жизненного пространства (например, уличные туалеты в школах и домах). Их смерти часто оказываются лишены достоинства, как, например, в случае с массовыми коронавирусными захоронениями в братских могилах на острове Харт в Нью-Йорке.

Различия в продолжительности жизни социально-экономических групп давно стали предметом пристального интереса демографов. Люди живут дольше или короче, в зависимости от страны или даже региона проживания (в России разница ожидаемой продолжительности жизни между регионами достигает почти 16 лет для мужчин и 10 лет для женщин) (Bessudnov, McKee, Stuckler, 2011; Timonin et al.,

2017, 2020), в зависимости от экономического положения, но особенно от уровня образования (Пьянкова, Фаттахов, 2017; Харькова, Никитина, Андреев, 2017). Исследования показывают, что даже в Скандинавских странах, где уровень неравенства относительно низок, высокообразованные люди живут дольше низкообразованных, причем даже в тех случаях, когда их экономическое благосостояние идентично. Иными словами, мы имеем дело с более глубокими различиями, нежели те, которые можно было бы объяснить разницей в качестве еды и медицинского обслуживания (которая, как показывают весьма надежные демографические модели, очень велика): скорее всего, различие пролегает еще и в самом способе ведения жизни и ее восприятии, в расстановке базовых приоритетов, в ценности жизни; хотя с учетом роли генетики и весьма низкой межпоколенческой мобильности в большинстве стран (Кларк 2018), эти различия могут со временем закрепляться еще и на генетическом уровне.

Эта количественная разница в продолжительности активной жизни имеет вполне наглядные, «иконические» проявления, давно ставшие привычными. В США за право возглавить государство в течение следующих четырех лет борются люди, которым далеко за семьдесят: кто бы ни победил в нынешней президентской гонке, через четыре года самой могущественной страной в мире, вероятно, будет управлять человек в возрастной категории 80+. И это явно не случай дряхлых политических икон «зрелого социализма»: перед нами сильные и энергичные люди, в чьей активности и личной эффективности не приходится сомневаться. В новостях мы привыкли видеть картинки вроде конной прогулки британской королевской четы, где обоим супругам под сто лет. Низкообразованные и бедные люди, по статистике, просто не доживают до такого возраста. Точные оценки по ряду причин затруднительны, но в самом грубом приближении, например, в России ожидаемая продолжительность жизни в этой категории составляет около шестидесяти лет для мужчин²² и семидесяти для женщин. Это все больше начинает быть похожим на сосуществование внутри формально общих пространств национальных государств разных биологических подвидов или «двух наций», по выражению Зигмунта Баумана (Бауман, 2019), члены которых куда больше напоминают иностранцев, нежели соотечественников.

В тех же случаях, когда качество еды и медицины являются частью картины неравенства, дело не ограничивается шокирующей статистической разницей в продолжительности и качестве жизни. В Соединенных Штатах, например, если мы даже с помощью аналитического усилия абстрагируемся от расового измерения проблемы неравенства (а усилие в данном случае потребуется весьма значительное), социально-экономическое положение человека с большой вероятностью можно определить уже по его телосложению. Вы не видите чековой книжки того, кто перед вами, но по тому, строен он или тучен, во многих случаях можете сде-

22. Йоран Терборн особо выделяет проблему драматического сокращения продолжительности жизни у постсоветских мужчин и считает, что она лишь в силу заблуждения не рассматривается обычно как проблема неравенства (Therborn, 2006: 7).

лать статистически обоснованное предположение о том, к какой социальной вселенной он принадлежит.

Открытие «новой старости» — вдохновляющие и увлекательные нарративы активной жизни людей в возрасте под восемьдесят и старше — это впечатляющее глобальное и прямо-таки цивилизационное новшество, открывающее возраст и форму жизни, вероятно никогда доселе не существовавшие. Неудивительно, что интерес к ним стремительно растет; он нашел выражение, например, в таких популярных сериалах как «Метод Комински» и «Грейс и Фрэнки», тем более примечательных, что не только героям, но и актерам, исполняющим роли «новых старых», часто за восемьдесят. Но и это новшество связано практически исключительно с весьма состоятельными и образованными людьми. Именно они создают культуру притягательной и захватывающей старости, которая по увлекательности повествования начинает теснить ставшую во многом предсказуемой молодость. Символы бедной старости совсем другие: это бабушки, просящие милостыню у станций метро и заглядывающие в мусорные баки, — те, кто давно похоронили своих мужей, но при этом скорее всего окажутся моложе Трампа и Байдена. При этом, статистически, реальность отличается от этих «символов» в первую очередь тем, что она малозаметна: как отмечает Дмитрий Рогозин, «[б]ыть незаметным — кредо стареющих пенсионеров, которое не изменяется уже многие десятилетия» (Рогозин, 2018: 147)²³.

Не требуется чересчур богатой фантазии или визионерских способностей, чтобы увидеть в этих контрастирующих образах старости признаки расходящихся антропологических типов, все более несхожих. Если все же обратиться на минуту к образцам визионерства, мы увидим весьма пристальный интерес элит к исследованиям по продлению жизни на всем спектре от биомолекулярных исследований механизмов старения до утопических проектов создания «эликсира», отсылающих к алхимическим штудиям Средневековья.

Как и во многих других случаях, литература и, в частности, фантастика, может помочь прояснить паттерны коллективного воображения (Зенкин, 2008; Самутина, 2006; Филиппов, 2006а, 2019). Дж. Р. Р. Толкиен глубже многих других почувствовал влияние смерти и смертности на жизнь и ее основные категории, наметив, к какой непреодолимой мировоззренческой и моральной пропасти ведет различие в смертности между людьми и эльфами. Наиболее заметные фанфик-последователи вполне развили эту мысль, лишь сдержанно выраженную самим Толкиеном (в основном посредством туманных реплик морально-безупречных героев-эльфов о том, как далеки они от забот смертных). В книгах Кирилла Еськова и Ника Перумова ярко представлена перспектива, в которой эльфы, в силу

23. Серия ярких и этнографически насыщенных исследований старости, проведенных Д. М. Рогозиным и его коллегами в последние годы, показывает, что «неуместность» остается основной экзистенциальной чертой, пронизывающей жизни российских пожилых. Ситуация старости и бедности «приводит человека в уныние, к потере своего места в мире. „Зачем я столько живу? Для чего я живу? Кому я нужна?“» (Рогозин, 2019: 277): «Вопрос о смысле жизни получает отрицательный ответ» (Там же: 278). См. также: Рогозин, 2017.

своего бессмертия, показаны уже как носители поистине бесчеловечной морали, неприемлемой и глубоко чуждой людям: фактически аморальной с точки зрения человеческих категорий.

Этот мысленный эксперимент делает очевидным фундаментальную связь неравенства со смертью. Если бы люди жили бесконечно, неравенство стало бы абсолютным и непреодолимым: смерть и образование — это «инь и ян» возрождения и обновления социальной жизни. Этот экскурс, кроме того, разворачивает перед нами онтологическое измерение неравенства: такие различия, как неодинаковая продолжительность жизни, разительные контрасты в ее качестве, достоинство в смерти и драматически неравный доступ к тому, что Джорджо Агамбен точно называет «жизнью, достойной быть прожитой», становясь устойчивыми, ведут ко все более непреодолимым различиям в морали и здравом смысле, создавая подвиды внутри человеческого рода.

Таким образом, на самом общем уровне можно заключить, что подлинная трагедия неравенства связана с тем, что количественные различия, о которых нам говорят экономисты, переходят в качественный разрыв между большими социальными группами, и этот разрыв, во-первых, формирует смысловую основу жизни и самопонимания людей, влекущую их к фундаментальной уязвимости и внутренне противоречивой идентичности, а во-вторых, выражен в экзистенциальных терминах, то есть связан с жизнью и смертью. Этот разрыв закрепляется и утверждается через ряд конкретных культурных, социальных, экономических и психологических механизмов, и в следующем разделе я рассмотрю некоторые из них.

Антиномии неравенства. Неравенство или бедность? Мотивация или доступ? Воспитание или гены? Культура или ригидность структуры?

Прежде чем перейти к следующему содержательному разделу, я бы хотел бегло перечислить ограничения своего подхода и дилеммы, которые останутся неразрешенными.

Первая из них состоит в том, следует ли атрибутировать упомянутые драматические эффекты именно неравенству, или точнее было бы говорить о бедности? Иными словами, возможно, калечит людей не неравенство как таковое, а именно бедность как одно из его проявлений. Есть много свидетельств, что и неравенство, и бедность имеют существенный деструктивный потенциал. Однако стоит подчеркнуть, что даже в сравнительной макроэкономической перспективе можно усмотреть существенные подтверждения влияния именно неравенства на наиболее острые социальные проблемы. Например, Ричард Уилкинсон и его соавторы, анализируя данные из разных стран, показали, что такие показатели, как средняя продолжительность жизни, здоровье и качество медицинского обслуживания, уровень доверия, масштабы преступности и других социальных проблем, коррелируют именно с уровнем неравенства в стране и, напротив, не обнаруживают

ясной статистической связи с уровнем благосостояния (см., например: Wilkinson, Pickett, 2011). Далее в этой статье я не буду противопоставлять бедность неравенству, рассматривая первое как интегральный аспект второго.

Другой дилеммой, разрешения которой (если оно и возможно) я попытаюсь избежать, могли бы стать дискуссии о том, что важнее, проблематика фактического доступа к благам, с помощью которого картина неравенства, по сути, регулировалась на протяжении долгих веков, или более тонкие, культурные и когнитивные механизмы неравенства. К примеру, Энтони Гидденс ввел понятие «политики жизни», которая в поздней современности приходит на смену «эмансипаторной политике» (Giddens, 1991). Если в традиционном или индустриальном обществе основным общим механизмом неравенства было регулирование доступа и недосягаемости к благам и возможностям, то в поздней современности, согласно Гидденсу, ситуация существенно меняется. Привилегированные и непривилегированные различаются не столько фактической возможностью сделать тот или иной шаг, сколько способностью развить когнитивные и эмоциональные диспозиции к тем действиям, которые ведут к развитию личности и карьеры. Проще говоря, неравенство все больше связано с тем, чтобы суметь «захотеть» то, что приведет к успеху. «Политика жизни озабочена в первую очередь не условиями, которые дают нам свободу выбирать: это политика самого выбора. Если эмансипаторная политика — это политика жизненных шансов, то политика жизни — это политика стиля жизни» (Ibid.: 214).

Стоит заметить, однако, что эмпирически эти утверждения неоднократно подвергались критике и не так давно стали даже причиной напряженных дискуссий в социологии образования и социологии молодежи. Энди Фарлонг и Фред Кармел показали, что статистически широкая картина неравенства все еще сохраняет основные черты «ранне-индустриальной», и «старые» переменные, такие как социально-экономическое положение семьи, раса/этничность и гендер не утратили своей роли в формировании карьерных и образовательных шансов молодых людей (Furlong, Cartmel, 2007). Таким образом, «эмансипаторную политику» и проблемы доступа к благам, ресурсам и возможностям было бы неверно сбрасывать со счетов. Как я постараюсь показать в этой статье, ключевую роль играет то, как проблемы распределения связаны и взаимодействуют с проблемами культурно-когнитивных комплексов и регуляций, а не то, какой из этих двух аспектов важнее.

Еще одним трудно разрешимым вопросом является влияние генетических факторов на мобильность и воспроизводство неравенства. Социологическая инкарнация знаменитой дилеммы «*nurture vs. nature*» состоит в том, что, объясняя фактически наблюдающееся классовое воспроизводство, социологи привычно атрибутируют его воспитанию, влиянию ресурсов семьи (или их отсутствия) и подобным факторам, тогда как дело вполне может заключаться в том, что существенная часть талантов и способностей детей является генетически унаследованной. Несмотря на то что исследований о влиянии генетики на неравенство становится все больше, вопросов в этой области по-прежнему намного больше, чем ответов.

Наиболее методологически надежные результаты «близнецового метода» на данный момент в основном сводятся к осторожному выводу, что за формирование тех или иных эмпирически-фиксируемых способностей и качеств отвечает синтез генетических и культурных факторов, которые работают в сочетании и поэтому их парциальные вклады оценить затруднительно (Kovas et al., 2007). Природа этого синтеза по-прежнему остается малоизученной. Поэтому, за исключением беглых упоминаний, я обхожу эту важную тему стороной.

Наконец, есть и еще одна очень важная сторона проблемы, о которой я должен упомянуть, но которой я не смогу уделить равным счетом никакого внимания в этой статье. Говоря о культурных механизмах воспроизводства и преодоления неравенства, я оставляю за кадром как минимум два аспекта, связанные с перспективами преодоления неравенства. Это, во-первых, ригидность социальной структуры и иерархии: сколько бы мы ни давали шанс непривилегированным, в самом грубом приближении неравенство все равно останется «игрой с нулевой суммой», и если на чью-то долю придется процветание и уважение, то кому-то должны достаться бедность и унижение, причем при нынешнем порядке вещей первое зависит и «подпитывается» от второго. А во-вторых, даже в наиболее меритократических обществах есть малоизученные социологами элиты и истеблишмент, в чьих руках сосредоточены существенные ресурсы и власть и которые, по всей видимости, не горят желанием сделать все шансы поистине равными — по крайней мере, в отдельных стратегических областях.

Онтология классового разрыва

«Культура бедности»

Если мы зададимся вопросом, как может выглядеть разрыв, о котором мы говорим, коль скоро дело не ограничивается одним лишь неравенством доступа к ресурсам, на первый план сразу выйдет культура: разные социальные группы различаются воззрениями и верованиями, стремлениями и предпочтениями, стилями жизни, привычками и типичными способами действия. Идея о том, что бедные и непривилегированные своим поведением и взглядами на жизнь сами способствуют своему плачевному положению, возникла довольно давно. Наиболее влиятельная попытка укоренить бедственное экономическое положение в верованиях и обусловленных ими особенностях характера и способах ведения жизни людей связана с понятием «культуры бедности» (в более ранней версии, «субкультуры бедности»), развитым в работах Оскара Льюиса 1950-х и 1960-х годов (Lewis, 1959, 1966).

Дискуссия о культуре бедности, вызванная интригующими выводами Льюиса, выглядела ново и оригинально на фоне современных им теорий социально-экономических достижений, например, модели Блау и Дункана, ограничивавшейся показателями формального образования и положения на рынке труда, или более

продвинутой Висконсинской модели, оперирующей сложными, но ясно и предсказуемо связанными с мобильностью социальными и психологическими факторами. Эта дискуссия оказала существенное влияние на социальную политику в Соединенных Штатах и прежде всего на национальную программу президента Линдона Джонсона «Война с бедностью» и в какой-то степени на инициативу «Великое общество», частью которой эта программа была (Harrington, 1962; Moynihan, 1965). Ведь если богатство и бедность имеют, помимо чисто экономических, и иные причины и основания, значит, и бороться с неравенством можно не только путем перераспределения. Прямое же перераспределение, помимо того что оно не может снискать социального одобрения, особенно в такой стране, как США, еще и многократно обнаруживало свою неэффективность. История социальной политики, да и просто мировая история недвусмысленно свидетельствуют о том, что невозможно сделать из бедных богатых, просто «дав им денег». Поэтому в США в середине 1960-х в ход пошли более сбалансированные экономические инструменты при поддержке карьерного, образовательного и юридического консультирования, образования и повышения его инклюзивности, мер по повышению социального участия, расширения медицинской и социальной помощи, инфраструктурные и культурные проекты и пр.

Историю «Войны с бедностью» нельзя назвать историей успеха, хотя программа имеет очевидные достижения в снижении бедности, особенно среди расово дискриминируемых групп (Zarefsky, 1986; Zigler, Valentine, 1979). Тем не менее программа подвергалась перекрестной критике с самых разных и часто противоположных позиций и в репутационном отношении была существенно подорвана войной во Вьетнаме. Ключевую роль в истории «Войны с бедностью» сыграло то, что неравенство — крайне дискурсивно-чувствительная проблема. Это базовый факт жизни современного человека²⁴, не поддающийся, однако, прямому наблюдению и однозначной интерпретации, и потому фундаментально зависящий от способов рассуждения и выбора дискурсивных средств. Дэвид Зарефски показал, что уже сама метафора «войны» способствовала одновременно риторическому успеху в короткой перспективе, позволившему получить одобрение, необходимое для запуска проекта, и итоговому дискурсивному провалу: ведь неравенство — это война, которую невозможно выиграть (Zarefsky, 1986).

Похожие коллизии претерпели и академические основания этой политики. В социальных науках «культура бедности» на короткое время стала флагманом культурноориентированного подхода к неравенству, но это сыграло с теорией культуры весьма скверную шутку, ведь критика подхода «культуры бедности» не только эмпирически обнажила серьезные уязвимости прямолинейного объяв-

24. К примеру, социологи часто подчеркивают тот факт, что в современных обществах в основе идентичности человека лежит профессия. «Кем Вы работаете?» — это часто первый вопрос, интересующий людей при знакомстве, позволяющий составить общую картину того, кто перед нами и что от него можно ожидать. Однако в существенной степени этот вопрос попросту является «прокси» статусного положения вашего визави: именно положение человека в картине неравенства дает самую надежную информацию о том, с кем, «в первом приближении», мы имеем дело.

ления бедности вопросом ценностей (см., например: Foley, 1997), но и воздвигла куда более действенное возражение этического рода: обвинение в «blaming the victim» — лицемерном перекладывании ответственности на пострадавшую сторону. Это серьезно и надолго подорвало потенциал культурных подходов к анализу неравенства, ведь любая попытка изучить культурную сторону неравенства и мобильности мгновенно становилась уязвимой для «асимметричной» критики. До некоторой степени эта уязвимость сохраняется и по сей день, несмотря на то что некоторые исследователи утверждают, что тезисы Льюиса были поняты чересчур упрощенно (Gajdosikienė, 2004; Harvey, Reed, 1996), равно как и на то, что широкий круг исследований показывает, что привычки, вкусовые предпочтения и другие культурные паттерны весьма устойчивы и классово-специфичны (см., например: Илле, Соколов, 2018).

Мишель Ламон и ее соавторы подчеркивают, что описанная мною выше историческая случайность, в силу которой культурноориентированные объяснения были искусственно изъяты из исследований неравенства, причем как раз в преддверии «культурного поворота», не делает культуру избыточной или слабо применимой к изучению неравенства перспективой. Ровно наоборот, характер этой историко-социологической интриги является убедительным аргументом в пользу того, что именно культурное объяснение несет в себе применительно к неравенству нерастраченный потенциал, и уже как минимум поэтому обещает стать ключевым на данном этапе его изучения — хотя для обоснования этого утверждения есть и содержательные аргументы.

Ламон и ее соавторы отмечают, что неудача упрощенных попыток объяснить бедность ценностными ориентациями — равно как и концептуальную неоднозначность самого понятия «ценности» в социологии²⁵ — лишь указывают на необходимость построения более сложных объяснительных схем. Они иллюстрируют это утверждение результатами недавних эмпирических исследований. Например, Сандра Смит показала, что «индивидуализм» и «личная ответственность» — установки, которые большинство американцев считают прогрессивными и позитивными — иногда ведут к негативным эффектам, например, при поиске работы для тех небогатых черных, которые, руководствуясь этими ценностями, не полагаются на доступные им социальные связи внутри своих сообществ (Smith, 2007). Таким образом, вместо того чтобы атрибутировать положение людей на статусной лестнице «правильным» или «неправильным» верованиям и убеждениям, нужно соотносить эти убеждения, культурные паттерны и стратегии действий с конкретными культурными, структурными и институциональными контекстами, в которые они оказываются помещены; причем ряд авторов исследований, ставших классическими, — от Пола Уиллиса (Willis, 1977) до Энн Свидлер (Swidler, 1986) — преуспели, следуя именно такой, чувствительной к контексту стратегии.

25. Рассматривая ценности в качестве одного из серии ключевых понятий при анализе культуры, они, тем не менее отмечают: «...„ценности“ задают лишь одну из возможных концепций культуры, и, вероятно, не самую продуктивную» (Lamont, Small, Harding, 2010: 10).

К этому аргументу новых культурсоциологов неравенства необходимо добавить, что плоский «семиотический» взгляд на культуру как силу, чья действенность состоит только в ее способности размечать пространство человеческих действий, но не имеющую «энергетического» измерения, которое состоит в способности культуры вдохновлять и одухотворять или, наоборот, внушать апатию и обескураживать людей, — неоправданно ограничивает именно те объяснительные возможности теории культуры, которые наиболее востребованы для понимания природы неравенства. Чтобы объяснить, почему привилегированные живут в мире уважения, энтузиазма и вдохновения, а непривилегированные часто влачат унылое существование, продираются сквозь непризнание, унижения и апатию (Sennett, 2003), нужно понимать культурные механизмы, ведущие к эмоционально-заряженным драйверам действий.

Интеграция культурных, когнитивных и экономических процессов как эпистемологическая проблема

Более сложные подходы, к построению которых призывает Ламон и ее коллеги, возвращают нас к постановке вопроса о «тотальном человеке», предложенной Моссом. Эти подходы должны показать, как экономические, структурные и институциональные силы и принципы их действия, выявленные экономистами, сложно взаимодействуя с культурой, доходят до конкретных когнитивных и поведенческих механизмов, которые толкают людей на те или иные поступки. Эта инициатива выходит далеко за пределы тех социологических исследований, которые лишь дополняют данные экономистов, например, изучая то, насколько представления людей о неравенстве отличаются от его фактической картины: речь идет именно о полноценном междисциплинарном синтезе на базе социологии культуры.

Распределение ресурсов — материальных и нематериальных — остается твердой основой неравенства, его «становым хребтом», однако лишь дополнение картины культурным измерением неравенства может позволить понять, как экономические силы связаны с восприятием и мотивацией людей. В этом контексте Ламон и её соавторы отмечают: «что обычно выпадает из картины, так это понимание того, как интересубъективно разделяемые смысловые структуры (например, сценарии, нарративы, репертуары и символические границы) способствуют или препятствуют тому или иному поведению людей. Именно здесь мы вступаем в игру, выстраивая теорию о том, что культурные процессы — это ключевое недостающее звено между когнитивными процессами и макроуровнем неравенства» (Lamont, Beljean, Clair, 2014: 580).

Ключевая эпистемологическая сложность, возникающая при этом, — как именно соотносить факты и принципы, принадлежащие к разным уровням реальности: надындивидуальному — включая и культуру, и социальную структуру, и экономику; психическому — включая рассудочные и автоматические/интуитивные

процессы (работа «Системы 1» и «Системы 2» по Канеману и Тверски (Канеман, 2020)), и инфраиндивидуальному (Lizardo et al., 2020). Большая часть существующих исследований фокусируется на одном из этих уровней, рассматривая процессы, происходящие на других, либо подчиненными тем, которые находятся в фокусе их внимания, либо и вовсе их эпифеноменами. Например, успехи нейронаук в последние десятилетия привели к серии «когнитивных поворотов» в социальных и гуманитарных дисциплинах. В результате основные понятия этих наук начали переопределяться и уточняться таким образом, чтобы свести объяснительные схемы к действию нейрокогнитивных процессов.

В социологии когнитивный поворот еще не (вполне) произошел, но именно сейчас активно обсуждаются его перспективные сценарии (Kurakin, 2019b, 2020; Lizardo, 2014, 2017; Lizardo et al., 2020; Martin, 2010; Mast, 2019; Sharikov, 2020; Vaisey, 2009; Куракин, 2018; Шариков, 2019), то есть то, какие именно изменения должна претерпеть дисциплина, чьи представления о сознании, как подчеркивают апологеты когнитивного импорта, укоренены в концепциях конца XIX века. Те, кто настроен наиболее радикально, отстаивают переформатирование социологии в «когнитивную социальную науку», то есть десубстанциализацию основных категорий социальной науки и переход к физикалистской онтологии нейрокогнитивных процессов (Lizardo, 2014). Как и в других случаях, это идет вразрез с идеей Мосса о более симметричном учете процессов, относящихся к разным порядкам. В случае с анализом неравенства его аргументы звучат особенно убедительно: ведь если одни исследователи будут сводить все его сложные эффекты к особенностям мышления, другие к работе экономики, а третьи — к работе «правильных» и «неправильных» ценностей, то не только ни один из этих подходов не даст адекватную и полную, то есть учитывающую взаимодействие между ними картину, но и их совмещение в рамках охватывающей объяснительной схемы будет невозможно — попросту из-за взаимоисключающих онтологических допущений.

В своем недавнем исследовании я пришел к выводу, что выходом из этого затруднения является «эмерджентистский» подход, когда за каждым уровнем явлений признается относительная автономия, при этом каждый уровень выступает в качестве субстрата для следующего — более высокого (Kurakin, 2020; Куракин, 2018). Например, субстратом индивидуального сознания является мозг, тело и непосредственная среда деятельности человека, которые служат основой, но не детерминируют когнитивные процессы. Индивидуальные когнитивные процессы, в свою очередь, являются субстратом для социальной жизни и культуры — наряду с физическими предметами, фактами социальной морфологии и другими явлениями и процессами низшего уровня, но из свойств сознания и законов физики нельзя вывести свойств культуры.

Чтобы сделать следующий шаг на этом пути, я обратился к концепции «граничных условий» Майкла Поланьи (Polanyi, 1968). Поланьи заимствовал понятия граничных условий из физики, заметив, что любой наблюдаемый процесс, например работа машины или жизнь организма, можно рассматривать как систему,

находящуюся под двойным контролем: с одной стороны, это законы — соответственно, физики или органической химии, с другой стороны — граничные условия, накладываемые более высоким уровнем процессов, которые можно назвать «дизайном», надстраиваемым над основным уровнем и управляющим им. Граничные условия — это, например, конструкция механизма или устройство организма.

Это простое, в сущности, утверждение Поланьи позволяет сделать существенное продвижение, и оно, при всей своей ясности, ведет к весьма неожиданным и контринтуитивным выводам. Например, некто мог бы привычно заявить, что законы физики объясняют работу автомобиля. Но это не так. Из законов физики нельзя вывести, например, за сколько секунд «Шевроле Импала» 1967 года разгонится до шестидесяти миль в час. В работе автомобиля, как и любого другого устройства или организма, дизайн «запрягает» (если буквально переводить оригинальное «harness» Поланьи) законы физики: работа машины не может противоречить им, но без понимания граничных условий — дизайна машины, невозможно понять ровным счетом ничего из того, как она работает. Если мы теперь перенесем этот объяснительный принцип на то, как устроено неравенство, нам будет легче соотносить процессы разного порядка.

Когнитивное туннелирование и граничные условия культуры и экономики

Если внимательно следовать ходу аргументации Мишель Ламон и ее коллег, культура возвращается в исследования неравенства в качестве ключевого элемента «на плечах» изучения когнитивных процессов. Эти авторы отсылают к ряду работ, в основном опубликованных в последние 10–15 лет, результаты которых показывают, что даже когда люди принимают ключевые решения, определяющие их будущую карьеру и жизнь, или участвуют в принятии таких решений, влияющих на других, оценивать ситуации «с нуля» слишком когнитивно дорого, и поэтому в своих суждениях и действиях люди пользуются когнитивными «схемами» (Lamont et al., 2014: 579–582). Эти схемы всегда содержат установки, связанные с неравенством, например, приписывание добродетелей и достоинств успешным и респектабельным людям, и наоборот — недостатков, лени и преступных наклонностей бедным и представителям расовых и этнических меньшинств. Эти элементы когнитивных схем неизбежно являются частями «уравнений», которое люди решают, когда принимают кого-то на работу, совершают финансовый или потребительский выбор, поэтому решения этих уравнений неизбежно ведут к воспроизводству неравенства²⁶.

26. Ламон и коллеги, к примеру, отсылают к социологическим «бестселлерам» последних лет: «Categorically Unequal» Дугласа Мэсси (Massey, 2007) и «Framed by Gender» Сесилии Риджуэй (Ridgeway, 2011). Мэсси продемонстрировал как когнитивные схемы работают в отношении расовоориентированного поведения, а Риджуэй, что мощнейшие инициативы последних десятилетий, направленные на установление гендерного равенства, во многом блокируются когнитивными фреймами, связанными с глубоко укорененными гендерными стереотипами.

Таким образом, выдворенная полвека назад из «этического» парадного входа исследований неравенства культура возвращается через форточку когнитивного поворота — в качестве отсутствующего центрального звена между экономическими макросилами и когнитивными микромеханизмами. Вероятно, во многом этот сценарий связан с зарождением и расцветом поведенческой экономики: вне всякой связи с культурной теорией экономисты поняли значимость когнитивных процессов, знание о которых делало устаревшей модель рационального действия, лежавшую в основе экономических теорий до когнитивного поворота. Однако когда этот аргумент был развернут уже в исследованиях неравенства, быстро выяснилось, что когнитивные процессы во всем опираются на доселе скрытые в дискурсах неравенства культурные силы.

Схемы и фреймы — не единственные когнитивные механизмы, важные для понимания неравенства. В сущности, социологи и раньше знали о расовых, гендерных и классовых стереотипах: новые исследования лишь показали, что они часто действуют неосознанно, на «интуитивном» уровне. Поэтому эти механизмы представляют собой в некотором смысле «тривиальный» случай связи культуры с познанием, ведь давно известны «культурные двойники» этих когнитивных процессов — в виде норм и стереотипов.

Менее тривиальный случай связи культуры и когнитивных процессов, крайне важный для понимания неравенства, представлен эффектами «когнитивного туннелирования»²⁷, которые, в определенных экономических и культурных обстоятельствах, оказываются когнитивными конституентами бедности, нищеты и других критических состояний. Исследователи установили, что стесненные жизненные обстоятельства и трудности, связанные с недостатком разного рода ресурсов, приводят к ярко выраженным и в основном негативным эффектам, таким как ослабление когнитивного контроля, ухудшение рабочей памяти и сужение когнитивной полосы восприятия. В духе «закона Матфея» довольно часто случается, что трудности и дефициты лишают людей тех самых когнитивных ресурсов, которые могли бы помочь им исправить ситуацию.

27. Для упрощения изложения в данной статье я использую понятие «когнитивное туннелирование» в качестве зонтичного термина, объединяющего в себе различающиеся по своей природе эффекты, часто отличающиеся друг от друга психологами и когнитивистами. Прежде всего это «когнитивная нагрузка» и «когнитивное туннелирование» в узком понимании термина. Когнитивная нагрузка, выраженная в большом объеме проблем и обстоятельств, требующих вовлечения субъекта, «перегружает» способности к познанию и рассуждению и снижает основные когнитивные показатели. Когнитивное туннелирование — это, как правило, более локальный эффект, связанный со сравнительно краткосрочными последствиями некоего события, выражающийся в перераспределении — прежде всего в сторону сужения — когнитивной полосы восприятия. Так, под влиянием некоего шока, связанного с тем или иным критическим дефицитом, восприятие сужается до домена, связанного с предметом дефицита, и когнитивные показатели в прочих доменах существенно ухудшаются. Несмотря на важные отличия первого и второго, в случае неравенства оба эффекта выражаются в негативном влиянии острого недостатка — материальных и нематериальных ресурсов, признания или уважения — на те когнитивные способности, которые необходимы для улучшения ситуации.

Современная жизнь во все возрастающей степени заставляет людей делать стратегически выверенные выборы: построение продуманной образовательной траектории, личностное и профессиональное развитие, формирование сбережений и управление ими, страхование жизни и имущества и предупреждение правовых рисков, организация доступа к медицинскому обслуживанию, своевременное лечение, а главное, предупреждение рисков, связанных со здоровьем, и многое другое. Как отмечали теоретики современности, такие как Энтони Гидденс и Ульрих Бек, рефлексивный подход к самоидентичности и планированию жизни становится в постиндустриальных обществах базовой парадигмой, поскольку сама возможность выбирать из привилегии становится обязанностью (Giddens, 1991; Бек, 1994).

Ранее эти эффекты были подробно изучены на более абстрактных задачах и ситуациях, таких как эффекты когнитивного туннелирования в визуальном восприятии (например, у водителей или пилотов самолетов), и в разнообразных лабораторных экспериментах²⁸. В последние годы эти эффекты активно изучают в приложении к неравенству и бедности, ведь те многократно описанные исследователями состояния, сопровождающие карьерный или образовательный выбор непривилегированных и ведение жизни в целом, сильно напоминают эффекты когнитивного туннелирования. Это и апатия, нерешительность и безразличие к учебе и достижениям, иногда кристаллизирующиеся в антишкольной культуре (Fordham, Ogbu, 1986), которую можно рассматривать как «граничные условия» когнитивного туннелирования, и многие другие, очевидные с точки зрения исследователей «просчеты» представителей уязвимых групп в экономическом поведении, карьерных стратегиях и жизненном планировании.

Сендхил Мулланатан и Элдар Шафир, чьи работы привлекли существенное внимание исследователей неравенства к процессам когнитивного туннелирования, отмечают, с опорой на ряд исследований, что бедные часто живут в состоянии хронического стресса, повышающего уровень кортизола и способствующего тому, чтобы они дисприоритизировали собственные стратегические и долгосрочные нужды (Mullainathan, Shafir, 2013: 293). Во многом отталкиваясь от исследований Мулланатана и Шафира, Гильерме Лишан и Ананди Мани недавно провели масштабный эксперимент²⁹, в котором они, в серии последовательных тестов, изучали когнитивные показатели бразильских фермеров, находящихся в ситуации, изменяющейся во времени неопределенности, связанной с погодой и ее влиянием на урожай, а также графиком платежей; многие из них также испытывали нехватку ресурсов.

28. Типичный пример эксперимента: испытуемым предлагали на выбор высококалорийный торт и фрукты, и те из них, кого до этого попросили удерживать в памяти длинное число, существенно чаще делали «вредный» выбор, то есть их когнитивный контроль ослаб, и внимание перераспределилось таким образом, что «большая картина» их жизни и здоровья оказалась под угрозой.

29. Лишан и Мани изучили 2800 фермеров, проживающих в 47 муниципалитетах, и, сочетая «лабораторные» и естественные экспериментальные воздействия, провели серию тестов когнитивных способностей, отслеживая их изменения во времени (Lichand, Mani, 2020).

Результаты этого исследования показали, что неопределенность относительно скудных ресурсов и сама скудность действуют несколько по-разному, причем неопределенность оказывает более выраженное негативное воздействие на когнитивные способности, чем собственно нехватка ресурсов, — за исключением самых бедных, на которых недостаток ресурсов влияет сильнее, чем неопределенность. Масштабы негативных когнитивных эффектов стесненного положения, зафиксированные Лишаном и Мани, оказались очень велики. Например, снижение когнитивных способностей в результате применения техник «прайминга», то есть когда исследователи, перед тем как провести тест, разговаривали с респондентами о засухе, возбуждая в воображении последних тревогу по этому поводу, соответствовало разнице между когнитивными способностями людей с полным школьным образованием и тех, кто закончил лишь начальную школу, которые исследователи зафиксировали на той же выборке (Lichand, Mani, 2020: 27). А воздействие реальной засухи оказалось еще в два раза более выраженным.

Этот эксперимент позволяет понять, почему люди, находящиеся в стесненных обстоятельствах и в условиях неопределенности относительно жизненно важных обстоятельств, часто ведут себя «умно на пенни, но глупо на фунт» (Ibid.: 4). В каждый конкретный год лишь часть бразильских фермеров сталкивается с засухой, но угроза засухи является фундаментальным фактом жизни для всех них, и, как показали результаты исследования, негативно влияет на их способность делать правильный выбор во всем спектре их жизненных обстоятельств (Ibid.: 39). Лишан и Мани поясняют: «Если человек находится в ситуации, когда ему достаточно один раз заболеть, чтобы лишиться трудоспособности, или один раз не заплатить за квартиру, чтобы оказаться на улице, власть этих шоковых событий воцаряется в жизни людей, даже если сами эти устрашающие события так никогда и не происходят — и это оказывает негативные воздействия на все прочие жизненные решения» (Ibid.: 1).

Очень важно, что выявленные эффекты отсылают вовсе не к механизмам прямого воздействия экономики на когнитивные способности: в действительности в каждом конкретном случае мы имеем дело с комплексами из типичных экономических ситуаций, культурных паттернов восприятия и поведения и когнитивных процессов. Имеет значение уклад и мировоззрение людей, их «хозяйственная этика», и то, как эти культурные конструкции, с одной стороны, встроены в экономическую и институциональную реальность, а с другой стороны, через какие когнитивные процессы они работают и воспроизводятся. Поэтому в исследованиях неравенства необходимо уйти от одномерного видения, привычно различающего лишь «факторы» и «барьеры», то, что тянет людей «вверх» или «вниз» по лестнице стратификации, и в каждой ситуации видеть конкретные исторически специфические конфигурации надындивидуальных, индивидуальных и субиндивидуальных процессов.

Классово-специфические конфигурации культуры и познания

Такие конфигурации действительно обнаруживаются, когда социологи изучают культурные и когнитивные основания поведения представителей конкретных социальных групп в конкретных экономических и институциональных обстоятельствах. Например, основной успех классического труда Пола Уиллиса «*Learning to Labour*», в котором он изучал пути британской молодежи из рабочего класса на рынок труда, состоит в том, что ему удалось показать, что именно стоит за столь грандиозным и нечувствительным к деталям обобщением, как «классовое воспроизводство» (Willis, 1977).

Если мы обратимся к этому и подобным ему современным исследованиям, во многих случаях мы увидим, что, во-первых, за «классовым воспроизводством» всегда стоят конкретные историко-специфические конфигурации — культурные структуры, которые в тех или иных экономических и институциональных обстоятельствах формируют когнитивные процессы, ведущие к мотивации или демотивации и конкретным стратегиям, которые поэтому могут быть классово-специфическими. Например, в своем знаменитом исследовании Аннетт Ларо показала, насколько по-разному базовые когнитивные структуры и процессы формируются у детей, растущих в семьях, принадлежащих к разным классам. Впоследствии ни образование, ни доступ к другим символическим и экономическим благам не может компенсировать влияние этих базовых процессов на мобильность (Lareau, 2011)³⁰.

Во-вторых, эти конфигурации могут вести отнюдь не только к классовому воспроизводству: по данным Джесси Стрейб, в определенных обстоятельствах нарративы рабочего класса нередко оказываются мощным ресурсом вертикальной мобильности, а привычки и верования, типичные для среднего класса, напротив — причиной нисходящей мобильности (Streib, 2017). Так, респектабельная максима «*follow your passion*», созвучная идее Пьера Бурдьё о том, как привилегированные слои дистанцируются в своих жизненных стратегиях от приземленной «необходимости», которой одержимы непривилегированные, в условиях изменившихся рынков труда многих западных стран, часто способствует безответственным и неустойчивым жизненным траекториям и в конечном счете к нисходящей мобильности (Ibid.: 137–139). Не менее респектабельная идея считать развитие и личностный рост наивысшим благом часто входит в конфликт с растущим влиянием корпоративной культуры и из преимущества превращается в недостаток, негативно влияющий на карьерное продвижение (Ibid.: 141).

Иными словами, решающей с точки зрения мобильности оказывается конкретная историко-специфическая и укорененная в локальных контекстах конфигурация, а любой ее элемент, будь то культурный, экономический или когнитивный, взятый в отдельности, действует по-разному в разных контекстах. Такое видение

30. См. также интерпретацию находок Ларо с опорой на новую когнитивную социологию и эволюционную нейropsychологию (Abrutyn, Lizardo, 2020).

существенно отличается от широкого круга работ, до последнего времени составлявших мейнстрим исследований мобильности, во многом находившегося под определяющим влиянием работы Пьера Бурдьё. В этих работах культурные и когнитивные процессы, как правило, рассматривались как подчиненные экономическим и потому играющие роль «трансмиссии» (Alexander, 1995; Alexander, Smith, 2003). Бурдьё и многие другие исходили из того, что какие бы культурные структуры, классовые нарративы или устойчивые образцы поведения ни оказывались задействованы в формировании образовательной траектории и построении карьеры, те, что связаны с происхождением из рабочего класса, будут непременно тянуть индивида к нижним ярусам социальной стратификации. И наоборот: сколь угодно отвлеченные привычки и пристрастия элит, вроде увлечения театром и «высокой» культурой, в итоге окажутся средствами, ведущими «наверх» (Bourdieu, 1984; Бурдьё, Пассрон, 2007). Помимо функции передаточного звена роль культуры сводится к легитимации классового воспроизводства: благодаря ей непривилегированные признают, в сущности, невыгодное им воспроизводство и искренне считают его справедливым. Поэтому для описания процессов мобильности чаще всего используются понятия культурного капитала и габитуса, суть которых как раз и состоит в том, чтобы служить «линейной» трансмиссией между структурой экономических отношений и поведением людей.

Работы Стрейб и некоторых других исследователей показывают, что хотя многие механизмы культурной легитимации классового воспроизводства реальны и по-прежнему действуют, придавая респектабельность экономическому по своей природе превосходству и доминированию, в целом институциональное и культурное устройство современного мира настолько разнообразно и меняется настолько быстро, что привычки и культурно-когнитивные комплексы, которые вчера вели к успеху, сегодня могут увести «на дно». Поэтому даже если в отдельные исторические периоды и в отдельных социальных и пространственных локациях инструментальная замена социологически трудоемкой реконструкции классово-специфических конфигураций экономики, культуры и когнитивных процессов намного более простым в использовании понятием «культурного капитала» допустима и оправдана, то в целом это чрезмерное упрощение не только с точки зрения теории, но и в перспективе эмпирической корректности³¹.

Сказанное справедливо не только в тех случаях, когда мобильность меняет направление, но и когда — в терминах макрокартины — мы имеем дело с воспроизводством неравенства, потому что неравенство — проблема, приведенная в жизнь экономикой, но не сводящаяся к ней и в практическом отношении не могущая быть решенной одними лишь экономическими методами. А следовательно, необходимо преодолеть сглаживающие упрощения и изучать конкретные конфигурации экономических и институциональных условий, культурных структур и когнитивных процессов.

31. Это отмечали многие комментаторы Бурдьё, и, в частности, Ламон в работе: Lamont, 2017: 12–13.

Одним из таких упрощений является упомянутая выше теория культурного капитала. Другое упрощение, как и в случае корпуса работ Бурдьё, относящееся к крайне продуктивному в прочих аспектах подходу, содержится в теории рефлексивной самоидентичности Энтони Гидденса (Giddens, 1991). Гидденс выстраивает концепцию, согласно которой рефлексивность есть ключевой ингредиент построения жизни в новых институциональных условиях. Хотя неравенство не является его главной заботой, из его рассуждений вытекает, что индустриальный рабочий класс в целом наследует позиции и карьерные выборы, нежели выстраивает их рефлексивным образом.

Это хорошо сочетается с идеалами самоэффективности и личностного роста как добродетелями по преимуществу верхнего среднего класса, а также переключается с такими влиятельными теориями среднего уровня, как концепция вторичных эффектов неравенства Будона — Джексон (Boudon, 1974; Jackson et al., 2007). Подразумевается, что один из главных факторов воспроизводства неравенства — это разница в рефлексивности, которая приводит к тому, что непривилегированные проигрывают в качестве совершаемого выбора. Однако многие исследователи (в том числе мы в нашем лонгитуде «Траектории в образовании и профессии») показывают, что при выборе образования непривилегированные часто оказываются еще более рефлексивны, чем привилегированные, которым, в общем, с детства ясно, в какие университеты поступать и как выстраивать свою жизнь. Поэтому такие генерализации, как «рефлексивность», бессильны продвинуть нас в понимании реальных механизмов неравенства, пока мы не реконструировали, как именно она работает в каждом конкретном случае.

В своей ставшей довольно популярной книге «Coming Up Short: Working-Class Adulthood in an Age of Uncertainty» Дженнифер Сильва описывает, как молодые американцы начинают взрослую жизнь (Silva, 2013). Полученные ею результаты опровергают расхожие стереотипы о том, что выходцы из рабочего класса мало заботятся о своем образовании и карьере, они также частично идут вразрез с более ранними свидетельствами того, что самоанализ, столь необходимый для построения рефлексивного проекта самоидентичности (Giddens, 1991), это именно тот культурный ресурс, которого рабочий класс начисто лишен (Illouz, 2008; Lamont, 2000; Sennett, Cobb, 1993). В начале XXI века молодые американцы из рабочих семей с легкостью оперируют терминами «терапевтического нарратива», и многие из них посвящают массу усилий попыткам сделать правильный выбор в части образования и будущей профессии (Silva, 2013). Однако важна не рефлексивность и склонность к самоанализу как таковые, а то, какова конституция когнитивных процессов и эмоциональных драйверов действий, которые оказываются задействованы культурными паттернами в конкретных экономических и институциональных обстоятельствах.

Некоторые исследователи указывают на то, что даже когда выходцы из семей с низким социально-экономическим статусом прикладывают существенные усилия к получению хорошего образования и построению карьеры, часто они чрез-

мерно фокусируются на отдельных задачах — не столь значимых в общей картине — упуская из виду более широкие проблемы и перспективы. Так, Дженнифер Сильва показала, что те, кто получает высшее образование впервые в истории своей семьи, часто сосредотачиваются на отдельных тактических задачах и тратят массу усилий в попытке сделать безошибочный выбор, но подобная концентрация внимания ведет лишь к провалам в стратегической перспективе, поскольку ослабляет контроль и выбор в более широком круге проблем, а это приводит к промахам, имеющим серьезные последствия. Она пишет: «Молодые люди из рабочего класса чрезмерно верят в то, что выбор „правильного“ мейджора жизненно важен для будущего успеха. Вместо того чтобы рассматривать университетский диплом как подтверждение квалификации, они считают выбор специальности определяющим для всей их последующей траектории» (Silva, 2013: 48).

На этом примере ясно видно, что рефлексивность как таковая не является гарантией эффективного выбора. Точно так же дела обстоят со всеми другими отдельными культурными или когнитивными элементами, и наиболее показательными здесь будут «ценности». Выше я уже упоминал исследования, в которых показано, что одни и те же ценности работают по-разному в разных контекстах. Вдобавок к этому многие авторы отмечают, что сегодня непривилегированные вполне усвоили ценности среднего класса, как минимум на декларативном уровне — а именно так ценности обычно и измеряются в эмпирических исследованиях (Lamont, 2017). Бедные, мигранты, представители расовых и этнических меньшинств и другие, кому не так уж часто удается построить успешную карьеру, прекрасно знают, как правильно отвечать на вопросы вроде «Важно ли образование для карьеры?». Этот эффект вошел в историю исследований неравенства под названием «achievement-aspiration paradox». Как и во многих других случаях, парадокс тут кажущийся, ведь отдельный культурный элемент, тем более такой, как измеренные в опросе «ценности», редко может оказывать устойчивое причиняющее воздействие на социальную мобильность.

В своей книге Сильва детально разбирает частные истории неудач, и многие из них объединяет то, что в них можно усмотреть узкое и «смещенное» окно восприятия в сочетании с отсутствием видения широкой картины и низким когнитивным контролем. Можно предположить, что здесь мы снова имеем дело с эффектами когнитивного туннелирования. К примеру, Сильва описывает многие случаи, когда люди упускают важные шансы (проваленный тест на легкие наркотики, препятствующий получению отличной работы по квотам для бывших военнослужащих, — событие, нивелирующее вознаграждение за службу в Ираке) или допускают критические промахи (мелкий «криминальный рекорд», ставящий крест на карьере в сфере криминального правосудия, которой было посвящено образование).

У этой очень узнаваемой картины, для описания героев которой иногда используется довольно меткое русское слово «непутёвый», есть конкретные структурные причины, и это далеко не просто низкий уровень культурного капитала.

Указанные исследования выявляют устойчивые конфигурации смысловых структур (включая стратегии действий и способы рассуждения) и когнитивных механизмов, на которые эти структуры опираются и которые приводят в действие, — в типичных экономических и институциональных обстоятельствах: и во многих случаях это приводит к классово-специфичному ведению жизни.

«Энергетическое» измерение культуры и эмоциональные драйверы действия

Культурно-когнитивные комплексы, о которых идет речь, проявляют себя в сильно различающейся эмоциональной разметке, придающей смысл и притягательность тем или иным репертуарам действий. Из своего социального опыта мы хорошо знаем, что, например, там, где одни самозабвенно «вгрызаются в гранит науки», другие видят лишь скуку и тяготы, и в итоге это сказывается на успехе в учебе и построении карьеры. Как минимум начиная с работ Бурдье социологам хорошо известно, что люди с разным классовым бэкграундом, сидящие за одной партой в университете, часто делают разительно различающиеся карьеры. Раймон Будон классифицировал разницу в академических достижениях социально привилегированных и непривилегированных в качестве «первичных эффектов неравенства». Социально обусловленная эмоциональная конституция действия может оказаться ключом к этим процессам.

Если вынести за скобки все еще малоизученные генетические факторы воспроизводства неравенства, многие исследования дают основания предположить, что на микроуровне познания ключевую роль играют его «эмоциональные драйверы». Роль эмоций в познании продемонстрирована во многих процессах (Abrutyn, Lizardo, 2020; Damasio, 1994; Ignatow, 2007) от работы памяти (Levine, Burgess, 1997; Marzi, Regina, Righi, 2014) до управления вниманием (Abrutyn, Lizardo, 2020; Gray, 2001; Harlé, Shenoy, Paulus, 2013), и в социологии крепнет консенсус, что «эмоциональная собака виляет рациональным хвостом, а вовсе не наоборот» (Haidt, 2001)³². Таким образом, классовые различия в академических успехах могут объясняться различиями в аллокации эмоциональных драйверов действия — как части классово-специфичных культурно-когнитивных комплексов, рассмотренных в предыдущем подразделе.

Если так, эмоции играют центральную роль в формировании картины неравенства. Это происходит потому, что они связывают «внешние» — надындивидуальные механизмы признания, оценивания, уважения и престижа — с «внутренними» (но имеющими социальное происхождение и санкционирование) состояниями, такими как мотивация, интерес и самоуважение. И те и другие

32. Помимо корпуса работ по социологии культуры и познания, связанных с изучением эмоциональной составляющей социальных и когнитивных процессов, важнейший фронт в понимании проблемы образует совокупность подходов под знаком «4Е», акцентирующих ключевые свойства познания, игнорируемые в рамках «традиционного когнитивизма» (заглавие образовано от соответствующих им терминов: «embodied», «embedded», «extended», «enacted») (Kurakin, 2020: 68–69, 75, 85–86; Newen, De Bruin, Gallagher, 2018).

конституируются при определяющем участии эмоций: признание чьего-то гения и пренебрежение, отвращение или жалость к «ничтожеству», а с другой стороны, самоуважение или самобичевание, одержимость работой или опустошенность и безразличие к ней — феномены, для описания которых не обойтись без определений, содержащих отсылку к эмоциям. Поэтому с точки зрения социологического познания именно эмоции являются необходимым связующим звеном для понимания давно известного явления — тесной связи между этими «внешними» и «внутренними» состояниями. Если некто не шизофреник, для искреннего самоуважения требуется социальная санкция, которая может принимать разные формы — сложные и простые, исходить из настоящего или из прошлого, из ближайшего или отдаленного окружения, принимать прямые и институционально-опосредованные формы и т. д.

Социальные и культурные антропологи давно выявили эту двойную — укорененную в согласном действии социальной санкции и внутреннего убеждения — конструкцию идентичности. Наиболее важный пример здесь — теория ритуального перехода, более ста лет назад предложенная Арнольдом ван Геннепом (Ван Геннеп, 1999) и позднее развитая Виктором Тернером (Тэрнер, 1983). Эта модель, описывающая изменение социального статуса человека, стала очень влиятельной далеко за пределами домена так называемых первобытных обществ, и многократно привлекалась для объяснения самых разнообразных явлений современной жизни, связанных с изменением идентичности и статуса. Неудивительно, поэтому, что ключевым теоретическим ресурсом с точки зрения понимания работы эмоций, оказывается дюркгеймовская теория коллективных эмоций, выстроенная именно на этнографическом материале и на которой во многом базировался Тернер.

Для понимания неравенства это имеет ключевое значение, поскольку позволяет на микроуровне объяснить общность между престижем привилегированного социального положения и успехами в учебе и построении карьеры, многократно подтвержденную на макроуровне, например, в форме первичных эффектов неравенства³³ и в классово-специфичных паттернах учебной вовлеченности (Kelly, 2008).

В своем исследовании учеников элитных московских школ Тамара Кусимова показала, что в этих школах вовлеченность в эксцентричные, выраженно-интеллектуальные и лишенные всякой прагматики формы действия является одним из основных поведенческих паттернов (Кусимова, 2018). Фактически иногда они выглядят как социально-одобряемая «интеллектуальная одержимость», скорее порицаемая более широкой публикой³⁴. В противоположность этому выпускники ос-

33. Первичные эффекты неравенства — практически универсальный феномен, характерный для всех известных образовательных систем (см., например, результаты сравнительного проекта eduLIFE). В России роль и масштаб этих эффектов показаны на данных лонгитюда «Траектории в образовании и профессии»; они велики и при переходе после 9-го класса, и по окончании общего среднего образования (Бессуднов, Малик, 2016; Косякова и др., 2016; Хавенсон, Чиркина, 2019).

34. Один из информантов Тамары Кусимовой рассказывает: «Ты в какой-то момент тут во что-то влюбляешься — в литературу, в музыку, в историю. Ты в этом направлении, как крот, работаешь. Ты ходишь с книгой по Москве, и все на тебя смотрят как на дебила, но это хорошо» (Кусимова, 2018: 41).

новой школы, которые после 9-го класса пошли в СПО, рассуждают и действуют совсем по-другому. Например, в нашем лонгитюдном исследовании «Траектории в образовании и профессии» мы часто сталкивались с их попытками выбрать выгодную специальность, очень напоминаящими то, о чем на американских данных писала Сильва. Так, абитуриенты и молодые студенты колледжей иногда вычисляют, какие специализации подготовки номинально покрывают большее число профессий, считая, что такая калькуляция делает их образование более выгодным, по принципу: если одно и то же число потраченных лет и тысяч рублей ведет к приобретению большего числа профессий, то и выбрать следует его³⁵.

Контраст между этими двумя примерами задается тем, что в первом случае мы видим мощное эмоциональное инвестирование в предметы, связанные с познанием и учебой, которые, вероятно, смогут стать эмоциональными драйверами, хорошо конвертируемыми в построение успешной образовательной траектории. Тогда как во втором случае «рефлексивный подход» к образованию и карьере не опирается ни на какие эмоциональные драйверы.

И процессы социального оценивания, формирующие достоинство и социальное признание индивидов и социальных групп, и аллокация эмоциональных драйверов действия, формирующие их стратегии действия, в одних случаях ведущие к энтузиазму и успеху, а в других — к апатии и неудачам, имеют в своей основе эмоциональное измерение культуры. Ключевая перспективная задача поэтому состоит в том, чтобы разработать модели, описывающие культурные и эмоциональные процессы социального признания и формирования притягательности тех или иных способов действия и связывающие первое и второе между собой.

Социальные механизмы оценивания и формирования признания базируются на производстве и распределении коллективных эмоций — базовом социальном процессе, задействованном в самых разных явлениях социальной жизни. Они работают через серии социальных взаимодействий, как стандартизированных, так и спонтанных, подобных тем, что описаны Рэндаллом Коллинзом в его исследованиях ритуальных цепочек взаимодействия (Collins, 2004). Он, в частности, показал, как приватные и формальные взаимодействия между учеными, в ходе которых производится и перераспределяется «эмоциональная энергия», приводят к формированию идентичностей, и как эти идентичности — имеющие ключевое для их адекватного понимания эмоциональное измерение — определяют способности индивидов к действию и влияют на смысл этих действий (Коллинз, 2002; Куракин, 2018: 32–34).

В свою очередь, Ламон и её коллеги подробно изучили, как устроены взаимодействия, в которых формируется и укрепляется признание и непризнание, свя-

35. Респондент из субпанели качественных интервью «Меченый атом» лонгитюда ТрОП объясняет: «Там было много... множество специальностей, но есть дорожный механик, и есть просто автомеханик. Дорожный механик, как бы более расширено. И я в девятом классе советовался с дедушкой и с дядей. У меня дедушка раньше тоже занимался автоспортом, и он сказал: „Эта специальность более расширена. Поступай туда“. Ну я, послушав взрослых, поступил именно на дорожно-механическое».

занные с расовыми аспектами идентичности. Расизм столь действенен и устойчив во многом потому, что он воспроизводится в огромном количестве микровзаимодействий, включая те, в которых иногда не так-то просто разглядеть расовую или этническую подоплеку. Однако эти взаимодействия имеют типичные микросценарии с выраженным эмоциональным измерением, включающим как расово-дискриминирующее воздействие, так и типичные стратегии противодействия (Lamont et al., 2016). Пример таких взаимодействий — унижающие достоинство людей игнорирование в публичных местах, или подозрения в игнорировании, или упреждающие действия, направленные на эти подозрения, которые могут улаживаться или обостряться многими разными способами. Их изучение, как показали исследователи, многое говорит о микроструктурах неравенства в современных обществах.

Ричард Сеннетт уделил существенное внимание ритуалам неравенства и равенства, в том числе в исторической перспективе (Sennett, 2003). Эти ритуалы чрезвычайно многообразны; они существуют во всех обществах, но имеют разную структуру и могут быть как успешными, так и безуспешными с точки зрения эффекта закрепления равенства (или неравенства). То, что многие ритуалы и другие стандартизированные взаимодействия, связанные с неравенством, производят социальные связи, выяснили еще Марсель Мосс и Бронислав Малиновский (Годелье, 2007; Малиновский, 2004; Мосс, 1996а). Эти связи создает именно асимметрия между взаимодействующими, то есть неравенство конститутивно важно для социальной связности.

Как, однако, может быть социологически описан этот хрупкий баланс между коммуникацией, ведущей к разобщающему неравенству, и таким эмоционально насыщенным взаимодействием, где асимметрия престижа и статуса ведет к усилению социальных связей? Сеннетт дает виртуозный и впечатляющий ответ на этот вопрос, выстраивая модель ритуального взаимодействия на основе описания общения между музыкантами, исполняющими квинтет Брамса. Ритуалы, утверждает он, могут быть подобны совместному музицированию, где самое важное — наладить взаимность, которая непременно принимает выражения доминирования (ведения) и уступания, но при этом не ведет к отсутствию уважения, а наоборот: «Ритуалы в социальной жизни — это столь же сложные действия, связывающие людей воедино, с той лишь огромной разницей, что „социальный текст“ — это не нотная запись: он возникает через пробы и ошибки и так запечатлевается в памяти в форме традиции. <...> Взаимное не может значить равное ни в искусстве, ни в социальном ритуале, если под равным подразумевать распределенное поровну» (Sennett, 2003: 222). Эта музыкальная модель многое проясняет, но она едва ли масштабируема на разнообразные взаимодействия, связанные с неравенством. Процессы культурно эмоционального формирования идентичности и статуса и престижа многообразны и нуждаются в гораздо более подробном изучении. Однако это требует существенного развития теоретических ресурсов.

В своих предыдущих исследованиях я изучал потенциал дюркгеймианской теории коллективных эмоций, которая, с моей точки зрения, является наилучшим теоретическим ресурсом для решения этой задачи (Kurakin, 2010, 2014a, 2019b; Куракин, 2005, 2011б, 2018). Эта теория описывает, как в культуре конденсируются эмоции, порожденные формами социальной жизни, и как она поэтому способна энергизировать коллективное и индивидуальное действие. В частности, опираясь на эту теорию, я разработал модель «триггеров и нарративов», которая показывает, как в контексте культурных нарративов формируются эмоциональные аттракторы, управляющие восприятием (Kurakin, 2019a). Важной особенностью этой модели, благодаря которой она может оказаться хорошо применимой к проблематике неравенства, является то, что она выявляет широкий культурный контекст локального, как может показаться, действия. Таким образом, многократно описанные исследователями «ошибки» и «сбои» в стратегиях действия непривилегированных могут найти объяснения в широких культурных нарративах, придающих смысл классовым аспектам самопонимания общества.

В образовании связь между коллективными эмоциями, определяющими статус и престиж, и теми, что стоят за личной мотивацией и одухотворенностью, выражена очень сильно. Не потому ли многие современные университетские кампусы напоминают по своей архитектуре средневековые монастыри, представляя собой исключенные из окружающего ландшафта пространства? Отсылая к терминологии «сакральной социологии» и «общей экономики» Жоржа Батая, создание таких кампусов можно было бы назвать «тратой» (Батай, 2006), деянием, которому не так просто подобрать сугубо экономически-рациональное обоснование.

Эта исключительность и внеобыденность университета противостоит будничным городским пейзажам как сакральное пространство — профанному, создавая мощный эмоциональный заряд. Это хорошо соответствует глубоко укорененному нарративу о студенчестве, как лучших годах жизни: «времени грезы» в жизни человека³⁶. Согласно дюркгеймовской теории эмоций, подобно сакральным объектам и ритуалам «первобытных» обществ, интенсивные коллективные эмоции, сконденсированные в этих внеобыденных ландшафтах и царящих там особых традициях, способны создавать у вовлеченных в них участников особые состояния сознания, которые могут конвертироваться в интерес к науке, а могут и в студенческие вечеринки, не менее одиозные, чем сама студенческая жизнь (Armstrong, Hamilton, 2013).

Во «взрослой жизни» эмоции также являются ключевым измерением неравенства. Прежде всего это связано с феноменом признания. Новые культурсоциологи неравенства, как мы помним, утверждают, что *распределение* и *признание* — это два его базовых измерения (Lamont, 2017). И если механизмы неравенства, свя-

36. Любопытно, что для других таким внеобыденным временем, о котором вспоминают всю жизнь и которое часто задает основу идентичности, является служба в армии по призыву. Татуировки, наклейки на автомобили и шумные ритуалы праздников разных видов войск подтверждают это — как, впрочем, и данные некоторых опросов.

занные с распределением, во многом раскрыты экономистами и работающими под их влиянием социологами, то не менее важная сторона проблемы, связанная с признанием, требующая тщательного изучения культурных, когнитивных и эмоциональных механизмов, формирующих социальное санкционирование, а также связи признания с распределением, остается недостаточно изученной и поэтому представляет собой ключевой перспективный фронт исследований неравенства.

Распределение, достоинство и унижение: ускользающий баланс

Традиционная постановка вопроса в исследованиях неравенства ограничивается распределением. Это кажется самоочевидным: неравенство — это неравный доступ к тем или иным благам. Контринтуитивным образом, однако, признание — это более непосредственная и доступная наблюдению сторона неравенства, придающая ему — как я попытался показать в первом разделе этой статьи — его щемящий экзистенциальный смысл и социальные, и даже политические последствия. Поэтому неравенство — это гораздо больше, чем неравный доступ: это неравенство в достоинстве, фундаментальный социальный факт, состоящий в том, что одна социальная группа или отдельный индивид является более ценной, чем другая. Неравенство по-настоящему выходит на сцену и становится субъектом истории, именно когда оказывается, что ущемлено достоинство человека или целой социальной группы, и эта негативная социальная санкция в силу социальных и эмоциональных механизмов, описываемых в этом подразделе, переходит в плоть и кровь жизни людей, создавая в итоге тот самый онтологический разрыв в количестве и качестве жизни, который и придает истинную значимость неравенству.

Намного раньше социологов тесную связь между распределением и признанием осознали специалисты по социальной работе. Ричард Сеннетт, социолог, чья индивидуальная биография и история семьи тесно связана с социальной работой, посвятил этой проблеме уже упомянутую мною книгу «Respect in a World of Inequality» (Sennett, 2003). Разбирая практические проблемы американской социальной политики, их теоретическое осмысление и связанные с ним горячие дебаты, он показал, что одной из фундаментальных трудностей в социальной работе является вертикальная — то есть связанная с разницей в социальном признании и достоинстве — природа сочувствия, лежащего в основе действий социальных работников — как правило, людей, относящихся к среднему классу. Это сочувствие делает социальную поддержку унижительной, потому что лишает автономии объект этой поддержки. Зависимость, возникающая при этой «объективации» тех, кому адресована помощь, почти неминуемо вызывает унижение, потому что западные принципы меритократии, как показывает Сеннетт, делают зависимость одним из нескольких главных источников стыда и неуважения.

Некоторые участники дискуссий, описываемых Сеннеттом, считают, что сочувствие должно быть поэтому удалено из картины социальной политики. Сам

Сеннетт, похоже, склоняется к этой же позиции, в том числе опираясь на взгляды Ханны Арендт, которая считает, что в таких вопросах необходимо довериться «технике». Это прямоком выводит Сеннетта на идею безусловного базового дохода, которая обсуждается уже несколько веков, и накал этих обсуждений только растет. Сергей Гуриев, к примеру, выражает осторожный оптимизм в этом отношении, ссылаясь на результаты недавних экспериментов, которые позволяют надеяться, что введение безусловного базового дохода не приведет к социальному иждивенчеству и маргинализации широких социальных групп (Гуриев, 2018). Ростислав Капелюшников возражает, что эти эксперименты носят крайне ограниченный в своем масштабе характер, и потому отнюдь не ставят точку в дебатах, и в целом склоняется к противоположной точке зрения (Капелюшников, 2020). Я думаю, что исследования этого нововведения, обещающего в случае успеха привести к фундаментальным изменениям в экономике и социальной жизни, должны с необходимостью включать культуросоциологическую перспективу и охватывать проблемы достоинства, признания, уважения и конструкций культурно-когнитивных и эмоциональных драйверов разных социальных групп³⁷.

Наиболее важным общим выводом из этих рассуждений является то, что способы ведения жизни, характерные для разных социальных групп, образованы конфигурациями культурных паттернов и интегрированных с ними когнитивных процессов, но действенность этих комплексов, приводящая к успеху одни группы, а других влекущая в пучину ошибок и проблем, зависит от их встроенности в экономический и институциональный контекст. Классическим примером этой зависимости, который приводит и Сеннетт в своей книге, стала судьба коренного южноамериканского народа бороро, описанная Клодом Леви-Строссом в «Печальных тропиках» (Леви-Стросс, 2018). Бороро были процветающим и гордым племенем, с развитой космологической, знаниевой, пространственной и социальной структурой. Согласно Леви-Строссу, успех их формы жизни был связан с высокой когерентностью их культуры: как внутренней, так и внешней — выражающейся, например, в связи космологических явлений и их детальных интерпретаций — и далее находящих выражение в особенностях пространственного и социального устройства. Столкновение с европейскими колонизаторами нарушило эту когерентность и привело к быстрой деградации бороро — в отличие от многих других коренных народов, которые сумели «пересобрать» культуру из не столь ригидно, как у бороро, связанных элементов, выработав новые культурно-когнитивные конфигурации, в большей степени соответствующие изменившемуся институциональному ландшафту.

Это означает, что сугубо «распределительная» сторона неравенства утрачивает свою автономную роль и во все возрастающей степени начинает действовать в сочетании с конфигурациями культурных паттернов и когнитивных механизмов,

37. Это созвучно идее Ростислава Капелюшникова, что в целом «субъективной» стороне восприятия неравенства уделяется недостаточно внимания (Капелюшников, 2019). Анализ идеи безусловного базового дохода с позиций социальной теории см. в работе: Павлов, 2020.

которые мы рассмотрели в этой статье. Разрыв между стилями жизни, о которых говорит Гидденс, провозглашая приоритет «политики жизни» — это усиливаемая экономическими силами разница между культурно-когнитивными комплексами, хорошо совместимыми с институтами и экономикой, и теми, что не вписываются в них и ведут к ложным ориентирам и напрасной трате сил. Эти культурно-когнитивные комплексы можно уподобить нейромускульным связям, которые тонко отлажены у техничного спортсмена и позволяют ему совершать сложные комплексы точных движений, тогда как нетренированный человек на его месте совершает массу лишних движений и в итоге проигрывает неравную борьбу с гравитацией.

Заключительные замечания

Цель этой статьи — углубить понимание неравенства и его значимости за счет соединения перспектив, обычно разобщенных в силу дисциплинарного разделения труда. В качестве арены для этого синтеза выступает социология культуры и быстро набирающие силу инициативы, формирующие фронт новой культурсоциологии неравенства. Я надеюсь, что перспектива неравенства, ставящая во главу угла культурные и эмоциональные механизмы признания и достоинства людей и социальных групп и прослеживающая связь этих механизмов с когнитивными процессами, стоящими за стремлениями людей и социальной «энергетикой» их действий, будет полезна и экономистам, и социологам, работающим в парадигме рационального выбора, и когнитивным психологам, и исследователям социальной политики, и культурным историкам. Польза, на которую я рассчитываю, может состоять в том, чтобы ученые из разных частей обширного ландшафта исследований неравенства яснее видели цельную картину этого ландшафта и природу фундаментального феномена, какой представляет собой неравенство, и, ориентируясь на эту картину — и на исследования друг друга, — вместе продвигались к пониманию того, как разные части соединяются между собой и придают друг другу смысл.

Я выбрал в качестве отправной точки наиболее драматические эффекты неравенства — в попытке докопаться до его «нерва» и того, что на самом деле лежит в основе интереса к нему. Мы привыкли думать, что главная человеческая эмоция, стоящая за наукой и движущая ее вперед, это любопытство. Это удобная мысль: за особыми исключениями, любопытство этически, эстетически и политически нейтрально, и все дело начинает выглядеть так, будто наука — прямое продолжение антропологически-универсальных добродетелей человеческого рода. Однако это верно лишь до некоторой степени, и неравенство — как раз тот объект живого и вовлеченного интереса, чья притягательность не исчерпывается одним лишь любопытством: и для исследователей, и для социальных акторов, для которых оно является базовым фактом их жизни.

Один из самых влиятельных социологов нашего времени, Эндрю Эбботт, однажды задался вопросом об эмоциональных основаниях социальной науки. Для

удобства описания он обратился к известной классификации базовых эмоций, предложенной Полом Экманом. Перебрав эти эмоции одну за одной, Эбботт пришел к выводу, что для социологического интереса наиболее характерны две из них: грусть в форме ностальгии и гнев в форме «праведного возмущения». Ностальгия стоит за многими классическими работами, например, за теми, что противопоставляют традицию и модерн. Гнев и возмущение (outrage) — за центральным положением темы неравенства в социологии: «Возмущение — несомненно господствующая эмоция в дисциплине, на много десятилетий сделавшей неравенство своей наиболее важной темой» (Abbott, 2007: 93). Если мы теперь, следуя этому пронизательному наблюдению, перейдем от обобщения к конкретным истокам этого интереса в области истории идей, для этого едва ли найдутся лучшие кандидаты, чем учение Карла Маркса и его философско-теологические истоки.

Неравенство, отчуждение и грех

В наши дни, когда последовательное религиозное воспитание и образование получают немногие, трудно представить и сполна ощутить то великое отчаяние, какое христианский ум испытывает перед лицом греха, как первородного, так и вообще любого греха. В нем необратимое разлучение с тем, что могло и должно было бы стать самой нашей жизнью, пустота и отчаяние невосполнимой утраты. Его трудно ощутить сполна, но можно дедуцировать из всего универсума западной мысли, ведь интуиция греха пронизывает культуру и лежит в фундаменте основных институтов, таких как право, воспитание, образование и даже экономика. Экономические проблемы часто имеют этическую природу, например, как точно заметил А. Б. Гофман, «[з]наменитая теория прибавочной ценности (стоимости) Маркса, разработанная в политической экономии, в сущности, представляет собой не только и не столько экономическую, сколько этическую теорию» (Гофман, 2017: 2). Но в случае неравенства ключевую роль для всей последующей научной мысли имеет другая часть учения Маркса — теория отчуждения труда, ставшая именно тем «инородным» ядром всей его концепции, которая обеспечила ее философское бессмертие и ее реинкарнации в ипостаси неомарксизма в смежных дисциплинах, и в первую очередь, в социологии.

Когда Маркс пишет об отчуждении, он в точности следует именно этой интуиции греха. Как подчеркивает Эрих Фромм, «в атеистическом словаре понятие „отчуждение“ эквивалентно слову „грех“ на языке деистов: отказ человека от себя самого, от Бога в себе самом» (Фромм, 1992: 396). Трагедия отчуждения намного превосходит очевидную мысль (хотя она озвучивается не так часто, как стоило бы), что несправедливо, когда одни присваивают результаты труда других. Подлинный, онтологический смысл эксплуатации в том, что эта несправедливость отчуждает человека от собственной природы, или, выражая эту мысль в терминах, близких к исходным терминам Гегеля, производит отчуждение существования человека от его родовой сущности. Иными словами, неравенство искажает и кале-

чит, превращает человека в жалкое подобие того, для чего он рожден. Именно этот квазирелигиозный пафос сделал идею отчуждения столь сильной и влиятельной.

Даже если не следовать за Марксом во всех его выводах, трудно не увидеть, насколько важны его рассуждения для понимания природы неравенства. Если бы речь шла только о том, что кто-то ездит на лучшей машине, чем другой, или даже о том, что так случилось благодаря несправедливому распределению благ, неравенство превратилось бы в частную и процессуальную проблему практического регулирования. Однако, как и первородный грех, неравенство — это фундаментальный изъян, делающий невозможным гармоничное и счастливое существование людей, изъян в полной мере неустранимый, или устранимый ценой потери всего экономического и социального устройства.

Старая марксистская идея отчуждения, за которой социология никогда не может последовать во всей её полноте, тем не менее в истории социологии иногда оказывается путеводной. В случае современных исследований неравенства она, путем сложных теоретических преобразований, выводит на сцену культуру, потому что именно культура оказывается тем недостающим измерением проблемы, которое возвращает в рассмотрение драматические эффекты неравенства, превращающие его в фундаментальный факт социальной жизни. Это делает социологию культуры наиболее подходящей для междисциплинарного синтеза.

Выстроенная таким образом перспектива позволяет увидеть, как неравенство влияет на качество и ценность жизни, и даже на ее «количество»; на социальную мобильность и способность людей управлять своей жизнью и менять ее к лучшему; на связность общества, возможности и препятствия для формирования единой, открытой для всех культурной среды, включая действенный моральный и когнитивный консенсус и возможности для элементарной эмпатии; на формирование идентичности, достоинства и признания и на то, как они связаны со стратегиями действия и их успешностью. Неравенство калечит и расчеловечивает не столько из-за бедности и лишений, сколько из-за глубоко амбивалентного, внутренне противоречивого и отрицающего самое себя положения людей. Эта амбивалентность и влекомые ею глубоко расщепленные социальные основания жизни человека не позволяют ему выстроить позитивную и внутренне непротиворечивую идентичность и самопонимание, не несущие в себе мучительных конфликтов, стыда и имманентного унижения, затрудняет следование ясным моральным и эстетическим канонам и попросту закрывает людям дорогу к тому, что Аристотель называл прекрасной жизнью, а Агамбен жизнью, достойной быть прожитой.

Литература

Агамбен Дж. (2011). *Номо Сакер: суверенная власть и голая жизнь* / Пер. с ит. И. Левиной, О. Дубицкой, П. Соколова, М. Велижева, С. Козлова под ред. Д. Новикова. М.: Европа.

- Александр Дж., Смит Ф. (2010). Сильная программа в культурсоциологии: элементы структурной герменевтики / Пер. с англ. С. Джакуповой под ред. Д. Куракина // Социологическое обозрение. Т. 9. № 2. С. 11–30.
- Арендт Х. (2017). *Vita Activa*, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В. В. Бибикина. Москва: Ад Маргинем Пресс.
- Батай Ж. (2006). Проклятая часть: опыт общей экономики // Батай Ж. Проклятая часть: сакральная социология / Пер. с франц. А. В. Соловьева. М.: Ладомир. С. 109–236.
- Бауман З. (2019). Ретротопия / Пер. с англ. В. Л. Силаевой под науч. ред. О. А. Оберемко. Москва: ВЦИОМ.
- Бек У. (1994). От индустриального общества к обществу риска / Пер. с англ. А. Д. Ковалева // THESIS. № 5. С. 161–168.
- Бессуднов А., Куракин Д., Малик В. (2017). Как возник и что скрывает миф о всеобщем высшем образовании // Вопросы образования. № 3. С. 83–109.
- Бессуднов А., Малик В. (2016). Социально-экономическое и гендерное неравенство при выборе образовательной траектории после окончания 9-го класса средней школы // Вопросы образования. № 1. С. 135–167.
- Богданова Е. (2018). Рецензия: Michèle Lamont, Graziella Moraes Silva, Jessica S. Wellburn, Joshua Guetzkow, Nissim Mizrachi, Hanna Herzog, Elisa Reis. *Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil, and Israel*. Princeton, NJ: Princeton University Press // *Laboratorium*. Т. 10. № 3. С. 119–121.
- Бурдые П., Пассрон Ж.-К. (2007). Производство: элементы теории системы образования / Пер. с франц. Н. А. Шматко. М.: Просвещение.
- Ван Геннеп А. (1999). Обряды перехода: систематическое изучение обрядов / Пер. с франц. Ю. В. Ивановой и Л. В. Покровской. М.: Восточная литература.
- Вахштайн В. С. (2011). Пост-постсоветская социология: конец первого акта // Социология: теория, методы, маркетинг. № 2. С. 59–77.
- Ветлесен А. Ю. (2010). Философия боли / Пер. с норв. Е. Воробьевой. М.: Прогресс-Традиция.
- Годелье М. (2007). Загадка дара / Пер. с франц. А. Б. Щербаковой. М.: Восточная литература.
- Гофман А. Б. (2011). Социальная антропология Марселя Мосса // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: труды по социальной антропологии / Пер. с франц. А. Б. Гофмана. М.: КДУ. С. 7–54.
- Гофман А. Б. (2017). Справедливость как социологическая идея: от классики к современности // Личность. Культура. Общество. Т. XIX. № 1–2. С. 65–79.
- Гофман А. Б. (2018). О традиционности, идентичности и легитимности: социологические аспекты взаимосвязи // Горшков М. К. (ред.). *Россия реформирующаяся: ежегодник*. Вып. 16. М.: Новый Хронограф. С. 34–54.
- Грамши А. (1991). Тюремные тетради. Ч. 1 / Пер. с ит. Г. П. Смирнова, В. А. Дмитренко, П. А. Козлова, Е. Г. Молочковской, А. К. Ор под общ. ред. М. Н. Грецкого и Л. А. Никитич. М.: Политиздат.

- Гудков Л. Д. (2011). Абортивная модернизация. М.: РОССПЭН.
- Гуриев С. (2018). Эффективное неравенство // Атомный Эксперт. URL: <http://atomicexpert.com/page4214982.html> (дата доступа: 20.09.2020).
- Гуриев С. (2020). Неравенство справедливое и несправедливое // ЭКОНС: Экономический разговор. URL: <https://econs.online/articles/ekonomika/neravenstvo-spravedlivoie-i-nespravedlivoie/> (дата доступа: 20.09.2020).
- Давыдов Ю. Н. (2002). Исторический горизонт теоретической социологии // Давыдов Ю. Н. (ред.). История теоретической социологии. Т. 1. М.: Канон+. С. 7–27.
- Давыдов Ю. Н. (2008). Труд и свобода // Давыдов Ю. Н. Труд и искусство: избранные сочинения. М.: Астрель. С. 25–122.
- Дуглас М. (2000). Чистота и опасность / Пер. с англ. Р. Громовой под ред. С. Баньковской. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле.
- Дюркгейм Э. (2018). Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / Пер. с франц. В. Земсковой под науч. ред. Д. Куракина. М.: Элементарные формы.
- Жиран Р. (2000). Насилие и священное / Пер. с франц. Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение.
- Заславская Т. И. (2003). Социетальная трансформация российского общества. 2-е изд. М.: МВШСЭН.
- Зенкин С. Н. (2008). Свое, чужое и ничье (к проблеме памяти у Дж. Р. Р. Толкиена и Х. Л. Борхеса) // Отечественные Записки. Т. 43. № 4. С. 26–37.
- Илле М. Е., Соколов М. М. (2018). Статусная культура во времена экономической трансформации: потребление высокой культуры в Петербурге, 1991–2011 // Мир России. Социология. Этнология. Т. 27. № 1. С. 159–182.
- Кайуа Р. (2003). Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с франц. С. Н. Зенкина. М.: ОГИ.
- Калинин Р. Г., Девятко И. Ф. (2019). Кто заплатит за водопровод: социальный контекст восприятия дистрибутивной справедливости // Мониторинг общественного мнения. № 2. С. 95–114.
- Канеман Д. (2020). Думай медленно, решай быстро / Пер. с англ. А. Андреева, Н. Парфеновой, Ю. Деглиной. М.: АСТ.
- Капелюшников Р. И. (2019). Экономическое неравенство — вселенское зло? // Вопросы экономики. № 4. С. 91–106.
- Капелюшников Р. И. (2020). Универсальный базовый доход: есть ли у него будущее? Препринт WP3/2020/04. М.: НИУ ВШЭ.
- Кларк Г. (2018). Отцы и дети: фамилии и история социальной мобильности / Пер. с англ. Н. Эдельмана. М.: Изд-во Ин-та Гайдара.
- Коллинз Р. (2002). Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения / Пер. с англ. Н. С. Розова и Ю. Б. Вертгейм. Новосибирск: Сибирский хронограф.

- Константиновский Д. Л. (2008). Неравенство и образование: опыт социологических исследований жизненного старта российской молодежи (1960-е годы — начало 2000-х). М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга.
- Константиновский Д. Л., Вахштайн В. С., Куракин Д. Ю., Рощина Я. М. (2006). Доступность качественного среднего образования в России: возможности и ограничения. М.: Логос.
- Кордонский С. Г. (2008). Сословная структура постсоветской России. М.: Общественное мнение.
- Косякова Ю., Куракин Д. (2016). Имеют ли значение институты? Профессиональная гендерная сегрегация на этапе выхода на рынок труда в советской и постсоветской России // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 19. № 5. С. 127–145.
- Косякова Ю., Ястребов Г., Янбарисова Д., Куракин Д. (2016). Воспроизводство социального неравенства в российской образовательной системе // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 19. № 5. С. 76–97.
- Кузьминов Я. И., Набиуллина Э. С., Радаев В. В., Субботина Т. П. (1989). Отчуждение труда: история и современность. М.: Экономика.
- Куракин Д. (2005). Символические классификации и «железная клетка»: две перспективы теоретической социологии // Социологическое обозрение. Т. 4. № 1. С. 63–81.
- Куракин Д. (2011а). Модели тела в современном популярном и экспертном дискурсе: к культурсоциологической перспективе анализа // Социологическое обозрение. Т. 10. № 1–2. С. 56–74.
- Куракин Д. (2011б). Ускользающее сакральное: проблема амбивалентности сакрального и ее значение для «сильной программы» культурсоциологии // Социологическое обозрение. Т. 10. № 3. С. 41–70.
- Куракин Д. (2018). Предисловие к русскому переводу «Элементарных форм религиозной жизни» // Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тематическая система в Австралии / Пер. с франц. В. Земсковой под науч. ред. Д. Куракина. М.: Элементарные формы. С. 15–48.
- Кусимова Т. Б. (2018). Класс и статус: школьная среда как место воспроизводства различий (на примере селективной школы г. Москвы). Выпускная квалификационная работа. М.: НИУ ВШЭ.
- Леви-Стросс К. (2018). Печальные тропики / Пер. с франц. В. Елисеевой и М. Щукина. М.: АСТ.
- Малиновский Б. (2004). Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана / Пер. с англ. В. Н. Поруса. М.: РОССПЭН.
- Маркс К. (1974). Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42. М.: Политиздат. С. 41–174.
- Маркс К., Энгельс Ф. (1955). Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т. 3. М.: Политиздат.

- Мосс М. (1996а). Очерк о даре: форма и основание обмена в архаических сообществах // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: труды по социальной антропологии / Пер. с франц. А. Б. Гофмана. М.: Восточная литература. С. 83–222.
- Мосс М. (1996б). Техники тела // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / Пер. с франц. А. Б. Гофмана. М.: Восточная литература. С. 242–250.
- Мосс М. (1996в). Физическое воздействие на индивида коллективно внушенной мысли о смерти // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: труды по социальной антропологии / Пер. с франц. А. Б. Гофмана. М.: Восточная литература. С. 223–241.
- Овчарова Л. Н., Попова Д. О., Рудберг А. М. (2016). Декомпозиция факторов неравенства доходов в современной России // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3. С. 170–186.
- Павлов А. (2020). Бесплатные деньги в мышеловке надзорного капитализма: базовый доход и социальная теория // Социологическое обозрение. Т. 19. № 2. С. 198–224.
- Пикетти Т. (2015). К политической и исторической экономии: размышления о капитале в XXI веке / Пер. с франц. О. А. Кудри под ред. А. Ю. Володина // Экономическая история. № 4. С. 7–19.
- Пьянкова А. И., Фаттахов Т. А. (2017). Смертность по уровню образования в России // Экономический журнал ВШЭ. № 4. С. 623–647.
- Радаев В. В. (2002). Основные направления развития современной экономической социологии // Радаев В. В. (ред.). Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу. М.: РОССПЭН. С. 3–18.
- Рогозин Д. М. (2017). Столько не живут: миниатюры о столетних // Человек. № 2. С. 55–68.
- Рогозин Д. М. (2018). Что делать со стареющим телом? // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 21. № 2. С. 133–64.
- Рогозин Д. М. (2019). Старость в сельской России // Пугачева М. Г. (ред.). Пути России: границы политики: Сборник статей XXV Международного симпозиума. М.: Дело. С. 273–288.
- Рощина Я. М. (2016). Стил жизни в отношении здоровья: имеет ли значение социальное неравенство? // Экономическая социология. Т. 17. № 3. С. 13–36.
- Руссо Ж.-Ж. (2011). О причинах неравенства. М.: Нобель Пресс.
- Руткевич М. Н., Филиппов Ф. Р. (1970). Социальные перемещения. М.: Мысль.
- Самутина Н. В. (ред.). (2006). Фантастическое кино: эпизод первый. М.: Новое литературное обозрение.
- Тэрнер В. (1983). Символ и ритуал. М.: Наука.
- Федорова К., Маслов Б, Хархордин О. (ред.). (2019). Жить с достоинством. Санкт-Петербург: Изд-во ЕУСПб.

- Филиппов А. Ф. (2006а). Восстание картезианцев: к социологической характеристике фильма «Бегущий по лезвию» // Самутина Н. В. (ред.). Фантастическое кино: эпизод первый. М.: Новое литературное обозрение. С. 124–152.
- Филиппов А. Ф. (2006б). Социология пространства: общий замысел и классическая разработка проблемы // Логос 1991–2005. Избранное. Т. 1. М.: Территория будущего. С. 318–367.
- Филиппов А. Ф. (2013). Советская социология как полицейская наука // Новое литературное обозрение. № 5. С. 48–63.
- Филиппов А. Ф. (2019). В ожидании чуда: социология репликантов как политическая теология («Бегущий по лезвию 2049») // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. № 3. С. 69–101.
- Фромм Э. (1992). Концепция человека у К. Маркса / Пер. с англ. Э. М. Телятниковой // Фромм Э. Душа человека. М.: Республика. С. 375–414.
- Хавенсон Т. Е., Чиркина Т. А. (2018). Эффективно поддерживаемое неравенство. Выбор образовательной траектории после 11-го класса школы в России // Экономическая социология. Т. 19. № 5. С. 66–89.
- Хавенсон Т. Е., Чиркина Т. А. (2019). Образовательный выбор учащихся после 9-го и 11-го классов: сравнение первичных и вторичных эффектов социально-экономического положения семьи // Журнал исследований социальной политики. Т. 17. № 4. С. 539–54.
- Харькова Т. Л., Никитина С. Ю., Андреев Е. М. (2017). Зависимость продолжительности жизни от уровня образования в России // Вопросы статистики. № 8. С. 61–69.
- Чиркина Т. А. (2018). Социально-экономическое положение и выбор образовательной траектории учащимися: теоретические подходы к изучению взаимосвязи // Экономическая социология. Т. 19. № 3. С. 109–125.
- Шариков Д. Д. (2019). Новая социология культуры: от «ящиков с инструментами» к когнитивным процессам // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 22. № 3. С. 179–210.
- Шелер М. (1999). Ресентимент в структуре моралей / Пер. с нем. А. Н. Малинкина. Москва: Наука.
- Шкаратан О. И. (1970). Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР: историко-социологическое исследование. М.: Мысль.
- Шубкин В. Н. (1970). Социологические опыты. М.: Мысль.
- Abbott A. (2007). Against Narrative: A Preface to Lyrical Sociology // Sociological Theory. Vol. 25. № 1. P. 67–99.
- Abrutyn S., Lizardo O. (2020). Grief, Care, and Play: Theorizing the Affective Roots of the Social Self. URL: <https://osf.io/pkh7c/> (дата доступа: 20.09.2020).
- Alexander J. C. (1995). Fin de Siècle Social Theory: Relativism, Reduction, and the Problem of Reason. L.: Verso.
- Alexander J. C., Kivisto P., Sciortino J. (eds.). (2021). Populism in the Civil Sphere. Cambridge: Polity. (Forthcoming)

- Alexander J. C., Smith Ph.* (2003). The Strong Program in Cultural Sociology: Elements of a Structural Hermeneutics // *Alexander J. C. The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology*. N.Y.: Oxford University Press. P. 11–26.
- Armstrong E. A., Hamilton L. T.* (2013). *Paying for the Party: How College Maintains Inequality*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bessudnov A., McKee M., Stuckler D.* (2011). Inequalities in Male Mortality by Occupational Class, Perceived Status and Education in Russia, 1994–2006 // *European Journal of Public Health*. Vol. 22. № 3. P. 332–337.
- Blossfeld H-P., Shavit Y.* (eds.). (1993). *Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries*. Boulder: Westview Press.
- Boudon R.* (1974). *Education, Opportunity, and Social Inequality*. N.Y.: Wiley.
- Bourdieu P.* (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste* / Tr. by R. Nice. Cambridge: Harvard University Press.
- Breen R., Goldthorpe J. H.* (1997). Explaining Educational Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory // *Rationality and Society*. Vol. 9. № 3. P. 275–305.
- Chernysh M., Nikula J.* (eds.). (2020). *Social Distinctions in Contemporary Russia: Waiting for the Middle-Class Society?* L.: Routledge.
- Collins R.* (2004). *Interaction Ritual Chains*. Princeton: Princeton University Press.
- Damasio A. R.* (1994). *Descartes' Error: Emotion, Rationality and the Human Brain*. N.Y.: Putnam.
- Demintseva E.* (2020). No Title «Migrant Schools» and the «Children of Migrants»: Constructing Boundaries around and inside School Space // *Race Ethnicity and Education*. Vol. 23. № 4. P. 598–612.
- Foley D. E.* (1997). Deficit Thinking Models Based on Culture: The Anthropological Protest // *Valencia R. R.* (ed.). *The Evolution of Deficit Thinking. Educational Thought and Practice*. L.: The Falmer Press. P. 113–131.
- Fordham S., Ogbu J. U.* (1986). Black Students' School Success: Coping with the «Burden of „Acting White“» // *The Urban Review*. Vol. 18. P. 176–206.
- Furlong A., Cartmel F.* (2007). *Young People and Social Change: New Perspectives*. L.: Open University Press.
- Gajdosikienė I.* (2004). Oscar Lewis' Culture of Poverty : Critique and Further Development // *Sociologija*. № 1. P. 88–96.
- Gerber Th. P.* (1998). More Shock than Therapy: Market Transition, Employment, and Income in Russia, 1991–1995. *American Journal of Sociology*. Vol. 104. № 1. P. 1–50.
- Gerber Th. P.* (2002). Structural Change and Post-Socialist Stratification: Labor Market Transitions in Contemporary Russia // *American Sociological Review*. Vol. 67. № 5. P. 629–659.
- Gerber Th. P.* (2003). Loosening Links? School-to-Work Transitions and Institutional Change in Russia since 1970 // *Social Forces*. Vol. 82. № 1. P. 241–276.
- Gerber Th. P.* (2004). Tightening up: Declining Class Mobility during Russia's Market Transition // *American Sociological Review*. Vol. 69. № 5. P. 677–703.

- Giddens A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press.
- Gimpelson V. E., Treisman D. (2018). Misperceiving Inequality // *Economics and Politics*. Vol. 30. № 1. P. 27–54.
- Gray J. R. (2001). Emotional Modulation of Cognitive Control: Approach-Withdrawal States Double-Dissociate Spatial from Verbal Two-Back Task Performance // *Journal of Experimental Psychology: General*. Vol. 130. № 3. P. 436–452.
- Guriev S. (2018). Fairness and Support for the Reforms: Lessons from the Transition Economies // *SUERF Policy Note*. № 24. URL: <https://www.suerf.org/policynotes/1993/fairness-and-support-for-the-reforms-lessons-from-the-transition-economies> (дата доступа: 20.09.2020).
- Guriev S. (2020). Labor Market Performance and the Rise of Populism // *IZA World of Labor*. № 479. URL: <https://wol.iza.org/articles/labor-market-performance-and-the-rise-of-populism/long> (дата доступа: 20.09.2020).
- Guriev S., Papaioannou E. (2020). The Political Economy of Populism. URL: <https://ssrn.com/abstract=3542052> (дата доступа: 20.09.2020).
- Haidt J. (2001). The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgement // *Psychological Review*. Vol. 108. № 4. P. 814–834.
- Harlé K. M., Shenoy Pr., Paulus M. P. (2013). The Influence of Emotions on Cognitive Control: Feelings and Beliefs — Where Do They Meet? // *Frontiers in Human Neuroscience*. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00508/full> (дата доступа: 20.09.2020).
- Harrington M. (1962). *The Other America: Poverty in the United States*. N.Y.: Macmillan.
- Harvey D. L., Reed M. H. (1996). The Culture of Poverty: An Ideological Analysis // *Sociological Perspectives*. Vol. 39. № 4. P. 465–495.
- Holub R. (1992). *Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Postmodernism*. L.: Routledge.
- Ignatow G. (2007). Theories of Embodied Knowledge: New Directions for Cultural and Cognitive Sociology? // *Journal for the Theory of Social Behaviour*. Vol. 37. № 2. P. 115–135.
- Ignatow G. (2010). Morality and Mind-Body Connections. // *Hiltin S., Vaisey S. (eds.). Handbook of the Sociology of Morality*. N.Y.: Springer. P. 411–424.
- Ignatow G. (2012). Mauss's Lectures to Psychologists: A Case for Holistic Sociology // *Journal of Classical Sociology*. Vol. 12. № 1. P. 3–21.
- Illouz E. (2008). *Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions, and the Culture of Self-Help*. Berkeley: University of California Press.
- Ivaniushina V. A., Alexandrov D. A. (2018). Anti-School Attitudes, School Culture and Friendship Networks // *British Journal of Sociology of Education*. Vol. 39. № 5. P. 698–716.
- Jackson M. (2020). *Manifesto for a Dream: Inequality, Constraint, and Radical Reform*. Redwood City: Stanford University Press.

- Jackson M., Erikson R., Goldthorpe J. H., Yaish M. (2007). Primary and Secondary Effects in Class Differentials in Educational Attainment: The Transition to A-Level Courses in England and Wales // *Acta Sociologica*. Vol. 50. № 3. P. 211–229.
- Jackson M., Khavenson T., Chirkina T. (2020). Raising the Stakes: Inequality and Testing in the Russian Education System // *Social Forces*. Vol. 98. № 4. P. 1613–1635.
- Kelly S. (2008). Race, Social Class, and Student Engagement in Middle School English Classrooms // *Social Science Research*. Vol. 37. № 2. P. 434–448.
- Kivinen M. (2006). Classes in the Making? The Russian Social Structure in Transition // Therborn G. (ed.). *Inequalities of the World*. L.: Verso. P. 247–294.
- Kosyakova Y., Kurakin D. (2015). Do Institutions Matter? Occupational Gender Segregation at Labor Market Entry in Soviet and Post-Soviet Russia // Blossfeld H.-P., Skopek J., Triventi M., Buchholz S. (eds.). *Gender, Education and Employment: An International Comparison of School-to-Work Transitions*. Cheltenham: Edward Elgar. P. 304–324.
- Kosyakova Y., Kurakin D., Blossfeld H.-P. (2015). Horizontal and Vertical Gender Segregation in Russia-Changes upon Labour Market Entry before and after the Collapse of the Soviet Regime // *European Sociological Review*. Vol. 31. № 5. P. 573–590.
- Kosyakova Y., Yastrebov G., Yanbarisova D., Kurakin D. (2016). The Reproduction of Social Inequality within the Russian Educational System // Blossfeld H.-P., Buchholz S., Skopek J., Triventi M. (eds.). *Models of Secondary Education and Social Inequality: An International Comparison*. Cheltenham: Edward Elgar. P. 323–342.
- Kovas Yu., Haworth C. M. A., Dale Ph. S., Plomin R., Weinberg R. A., Thomson J. M., Fischer K. W. (2007). *The Genetic and Environmental Origins of Learning Abilities and Disabilities in the Early School Years*. Oxford: Blackwell.
- Kurakin D. (2010). Literature as a Meaningful Life Laboratory // *Integrative Psychological & Behavioral Science*. Vol. 44. № 3. P. 227–234.
- Kurakin D. (2014a). *How Root Metaphors Structure Meaningful Life by Means of Emotions: Theory and Empirical Illustration from the Sphere of Academic Ethics*. CCS Working Paper 2014-o8. New Haven: Yale University.
- Kurakin D. (2014b). *Russian Longitudinal Panel Study of Educational and Occupational Trajectories: Building Culturally-Sensitive Research Framework*. Working Paper WP 01/IE/2014. M.: HSE.
- Kurakin D. (2019a). The Cultural Mechanics of Mystery: Structures of Emotional Attraction in Competing Interpretations of the Dyatlov Pass Tragedy // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 7. № 1. P. 101–127.
- Kurakin D. (2019b). The Sacred, Profane, Pure, Impure, and Social Energization of Culture // Brekhus W. H., Ignatow G. (eds.). *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology*. N.Y.: Oxford University Press. P. 485–506.
- Kurakin D. (2020). Culture and Cognition: The Durkheimian Principle of Sui Generis Synthesis vs. Cognitive-Based Models of Culture // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 8. № 1. P. 63–89.

- Kuzminov Y. I., Sorokin P. S., Froumin I. (2020). How Can Education Contribute to Socioeconomic Development? Rethinking Human Capital for the Labour Market of the Future // *Bologna Process beyond 2020: Fundamental Values of the EHEA*. Bologna: Bologna University Press. P. 1–6.
- Lamont M. (1992). *Money, Morals and Manners*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lamont M. (2000). *The Dignity of Working Men: Morality and the Boundaries of Race, Class, and Immigration*. Cambridge: Harvard University Press.
- Lamont M. (2017). *Prisms of Inequality: Moral Boundaries, Exclusion, and Academic Evaluation*. Erasmus Prize Essay. Amsterdam: Praemium Erasmianum Foundation.
- Lamont M., Beljean St., Clair M. (2014). What is Missing? Cultural Processes and Causal Pathways to Inequality // *Socio-Economic Review*. Vol. 12. № 3. P. 573–608.
- Lamont M., Silva G. M., Welburn J. S., Guetzkow J., Mizrachi N., Herzog H., Reis E. (2016). *Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil, and Israel*. Princeton: Princeton University Press.
- Lamont M., Small M. L., Harding D. J. (2010). Introduction: Reconsidering Culture and Poverty // *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 629. № 1. P. 6–27.
- Lareau A. (2011). *Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life*. Berkeley: University of California Press.
- Levine L. J., Burgess St. L. (1997). Beyond General Arousal: Effects of Specific Emotions on Memory // *Social Cognition*. Vol. 15. № 3. P. 157–181.
- Lewis O. (1959). *Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty*. N.Y.: Basic Books.
- Lewis O. (1966). *La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty — San Juan and New York*. N.Y.: Random House.
- Lichand G., Mani A. (2020). *Cognitive Droughts*. University of Zurich, Department of Economics, Working Paper № 341. URL: <https://ssrn.com/abstract=3540145> (дата доступа: 20.09.2020).
- Lizardo O. (2014). Beyond the Comtean Schema: The Sociology of Culture and Cognition versus Cognitive Social Science // *Sociological Forum*. Vol. 29. № 4. P. 983–989.
- Lizardo O. (2017). Improving Cultural Analysis: Considering Personal Culture in Its Declarative and Nondeclarative Modes // *American Sociological Review*. Vol. 82. № 1. P. 88–115.
- Lizardo O., Sepulvado B., Stoltz D. S., Taylor M. A. (2020). What Can Cognitive Neuroscience Do for Cultural Sociology? // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 8. № 1. P. 3–28.
- Lucas S. R. (2009). Stratification Theory, Socioeconomic Background, and Educational Attainment: A Formal Analysis // *Rationality and Society*. Vol. 21. № 4. P. 459–511.
- Malik V. (2019). The Russian Panel Study «Trajectories in Education and Careers» // *Longitudinal and Life Course Studies*. Vol. 10. № 1. P. 125–144.
- Mareeva S. (2020). Socio-Economic Inequalities in Modern Russia and Their Perception by the Population // *Journal of Chinese Sociology*. Vol. 7. Art. 10.

- Martin J. L.* (2010). Life's a Beach but You're an Ant, and Other Unwelcome News for the Sociology of Culture // *Poetics*. Vol. 38. № 2. P. 228–243.
- Marzi T., Regina A., Righi S.* (2014). Emotions Shape Memory Suppression in Trait Anxiety // *Frontiers in Psychology*. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2013.01001/full> (дата доступа: 20.09.2020).
- Massey D. S.* (2007). *Categorically Unequal: The American Stratification System*. N.Y.: Russell Sage Foundation.
- Mast J. L.* (2020). Representationalism and Cognitive Culturalism: Riders on Elephants on Turtles All the Way down // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 8. № 1. P. 90–123.
- Minina E., Yanbarisova D., Pavlenko E.* (2020). Educational Choice of Russian High School Students in Grade Nine // *International Studies in Sociology of Education*. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09620214.2020.1728362> (дата доступа: 20.09.2020).
- Moyrihan D. P.* (1965). *The Negro Family: The Case for National Action*. Washington: U.S. Government Printing Office.
- Mullainathan S., Shafir E.* (2013). Decision Making and Policy in Context of Poverty // *Shafir E.* (ed.). *The Behavioral Foundations of Public Policy*. Princeton: Princeton University Press. P. 281–297.
- Newen A., De Bruin L., Gallagher S.* (eds.). (2018). *The Oxford Handbook of 4E Cognition*. Oxford: Oxford University Press.
- Piketty Th.* (2014). *Capital in the Twenty-First Century* / Tr. by A. Goldhammer. Cambridge: Harvard University Press.
- Polanyi M.* (1968). Life's Irreducible Structure // *Science, New Series*. Vol. 160. № 3834. P. 1308–1312.
- Prakhov I., Yudkevich M.* (2019). University Admission in Russia: Do the Wealthier Benefit from Standardized Exams? // *International Journal of Educational Development*. Vol. 65. P. 98–105.
- Raftery A. E., Hout M.* (1993). Maximally Maintained Inequality: Expansion, Reform, and Opportunity in Irish Education, 1921–75 // *Sociology of Education*. Vol. 66. № 1. P. 41–62.
- Ridgeway C. L.* (2011). *Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World*. Oxford: Oxford University Press.
- Rudakov V., Roshchin S.* (2019). The Impact of Student Academic Achievement on Graduate Salaries: The Case of a Leading Russian University // *Journal of Education and Work*. Vol. 32. № 2. P. 156–180.
- Sennett R.* (2003). *Respect in a World of Inequality*. N.Y.: W. W. Norton & Co.
- Sennett R., Cobb J.* (1993). *The Hidden Injuries of Class*. N.Y.: W. W. Norton & Co.
- Sharikov D. D.* (2020). Culture and Cognition: In Search of a Non-Reductionist Framework // *Sociology of Power*. Vol. 32. № 2. P. 104–124.
- Shorrocks A., Davies J., Lluberas R.* (2019). *Global Wealth Report 2019*. Zurich: Credit Suisse Research Institute.

- Silva J. M.* (2013). *Coming Up Short: Working-Class Adulthood in an Age of Uncertainty*. N.Y.: Oxford University Press.
- Smith S. S.* (2007). *Lone Pursuit: Distrust and Defensive Individualism among the Black Poor*. N.Y.: Russel Sage Foundation.
- Streib J.* (2017). The Unbalanced Theoretical Toolkit: Problems and Partial Solutions to Studying Culture and Reproduction but Not Culture and Mobility // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 5. № 1–2. P. 127–153.
- Swidler A.* (1986). Culture in Action: Symbols and Strategies // *American Journal of Sociology*. Vol. 51. № 2. P. 273–286.
- Therborn G.* (2006). Meaning, Mechanisms, Patterns, and Forces: An Introduction // *Therborn G.* (ed.). *Inequalities of the World*. L.: Verso. P. 1–59.
- Timonin S., Danilova I., Andreev E. M., Shkolnikov V.* (2017). Recent Mortality Improvement in Russia: Are Regions Following the Same Tempo? // *European Journal of Population*. Vol. 33. № 5. P. 733–763.
- Timonin S., Jasilionis D., Shkolnikov V., Andreev E. M.* (2020). New Perspective on Geographical Mortality Divide in Russia: A District-Level Cross-Sectional Analysis, 2008–2012 // *Journal of Epidemiology and Community Health*. Vol. 74. № 2. P. 144–150.
- Vaisey St.* (2009). Motivation and Justification: A Dual-Process Model of Culture in Action // *American Journal of Sociology*. Vol. 114. № 6. P. 1675–1715.
- Varlamova M., Sinyavskaya O.* (2020). Active Ageing Index in Russia: Identifying Determinants for Inequality // *Journal of Population Ageing*. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12062-020-09277-4> (дата доступа: 20.09.2020).
- Walker Ch.* (2007). Navigating a «Zombie» System: Youth Transitions from Vocational Education in Post-Soviet Russia // *International Journal of Lifelong Education*. Vol. 26. № 5. P. 513–531.
- Walker Ch.* (2009). From «Inheritance» to Individualization: Disembedding Working-Class Youth Transitions in Post-Soviet Russia // *Journal of Youth Studies*. Vol. 12. № 5. P. 531–545.
- Walker Ch.* (2010). *Learning to Labour in Post-Soviet Russia: Vocational Youth in Transition*. L.: Routledge.
- Wilkinson R., Pickett K.* (2011). *The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better*. L.: Allen Lane.
- Willis P. E.* (1977). *Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs*. Westmead: Saxon House.
- Yastrebov G., Kosyakova Y., Kurakin D.* (2018). Slipping Past the Test: Heterogeneous Effects of Social Background in the Context of Inconsistent Selection Mechanisms in Higher Education // *Sociology of Education*. Vol. 91. № 3. P. 224–241
- Zarefsky D.* (1986). *President Johnson's War on Poverty: Rhetoric and History*. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
- Zigler E., Valentine J.* (eds.). (1979). *Project Head Start: A Legacy of the War on Poverty*. N.Y.: The Free Press.

Tragedy of Inequality: Dehumanizing “*L’Homme Total*”

Dmitry Kurakin

Candidate of Sociological Sciences, Leading Research Fellow of the Centre for Fundamental Sociology, Director of the Center for Cultural Sociology and Anthropology of Education, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: dmitry.kurakin@hse.ru

Inequality is amongst the most fundamental and formidable social problems of modernity. It thus does not come as a surprise that it is a major theme that cuts through multiple areas of sociology. However, the major limitation of most social research on inequality is that its focus is often limited to the redistribution of resources, be them material or symbolic. Indeed, some of the most important effects of inequality, ones that make inequality so crucial to studies of modernity, go far beyond unfair access to certain goods. These reveal themselves in elements of social disintegration, lack of social cohesion, multidimensional social exclusion, marginalization of large social groups and gaps between their basic frames of references, which can reach the level of mutual impenetrability. To achieve an integrated perspective, this study follows the lead of quickly developing frontier approaches in the cultural sociology of inequality, and, following its leaders’ appeals, focuses on another dimension of inequality that is complementary to distribution — a social recognition of personal and social group identities. This allows us to assess how economic forces associated with inequality interact with cultural patterns and cognitive processes which persist in the behaviors of both individuals and social groups. Following this line of inquiry, this study focuses on cultural and emotional mechanisms of recognition and how it shapes people’s identity and dignity, and tries to tie these mechanisms to cognitive processes, which shape people’s aspirations and can “ignite” their actions. This study is ultimately intended as a kind of “manifesto” for the sociology of culture and inequality, and thus includes calls for wider intra- and inter-disciplinary input and collaboration in these areas.

Keywords: inequality, culture, emotions, cognition, recognition, dignity, identity, sociology of culture, economics, emergentism, boundary conditions, alienation

References

- Abbott A. (2007) Against Narrative: A Preface to Lyrical Sociology. *Sociological Theory*, vol. 25, no 1, pp. 67–99.
- Abrutyn S., Lizardo O. (2020) Grief, Care, and Play: Theorizing the Affective Roots of the Social Self. Available at: <https://osf.io/pkh7c/> (accessed 20 September 2020).
- Agamben G. (2011) *Homo Sacer: suverennaja vlast’ i golaja zhizn’* [Homo Sacer: Sovereign Power and the Naked Life], Moscow: Europa.
- Alexander J. C. (1995) *Fin de Siècle Social Theory: Relativism, Reduction, and the Problem of Reason*, London: Verso.
- Alexander J. C., Kivisto P., Sciortino J. (eds.) (2021) *Populism in the Civil Sphere*, Cambridge: Polity. (Forthcoming)
- Alexander J. C., Smith F. (2010) Sil’naja programma v kul’tursociologii: jelementy strukturnoj germenevtiki [The Strong Program in Cultural Sociology: Elements of a Structural Hermeneutics]. *Russian Sociological Review*, vol. 9, no 2, pp. 11–30.
- Alexander J. C., Smith Ph. (2003) The Strong Program in Cultural Sociology: Elements of a Structural Hermeneutics. Alexander J. C., *The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology*, New York: Oxford University Press, pp. 11–26.
- Arendt H. (2017) *Vita Activa, ili O dejatel’noj zhizni* [The Human Condition], Moscow: Ad Marginem Press.
- Armstrong E. A., Hamilton L. T. (2013) *Paying for the Party: How College Maintains Inequality*, Cambridge: Harvard University Press.

- Bataille G. (2006) Prokljataja chast': opyt obshhej jekonomiki [The Accursed Share: An Essay on General Economy]. *Prokljataja chast': sakral'naja sociologija* [The Accursed Share: Sacred Sociology], Moscow: Ladomir, pp. 109–236.
- Bauman Z. (2019) *Retrotopija* [Retrotopia], Moscow: VCIOM.
- Beck U. (1994) Ot industrial'nogo obshhestva k obshhestvu riska [From Industrial Society to the Risk Society]. *THESIS*, no 5, pp. 161–168.
- Bessudnov A., Kurakin D., Malik V. (2017) Kak vznik i chto skryvaet mif o vseobshhem vysshem obrazovanii [The Myth about Universal Higher Education: Russia in the International Context]. *Educational Studies Moscow*, no 3, pp. 83–109.
- Bessudnov A., Malik V. (2016) Social'no-jekonomicheskoe i gendernoe neravenstvo pri vybore obrazovatel'noj traektorii posle okonchanija 9-go klassa srednej shkoly [Socio-Economic and Gender Inequalities in Educational Trajectories upon Completion of Lower Secondary Education in Russia]. *Educational Studies Moscow*, no 1, pp. 135–167.
- Bessudnov A., McKee M., Stuckler D. (2011) Inequalities in Male Mortality by Occupational Class, Perceived Status and Education in Russia, 1994–2006. *European Journal of Public Health*, vol. 22, no 3, pp. 332–337.
- Blossfeld H-P., Shavit Y. (eds.) (1993) *Persistent Inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries*, Boulder: Westview Press.
- Bogdanova E. (2018) Recenzija [Review]: Michèle Lamont, Graziella Moraes Silva, Jessica S. Wellburn, Joshua Guetzkow, Nissim Mizrachi, Hanna Herzog, Elisa Reis. *Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil, and Israel*. Princeton, NJ: Princeton Univer. *Laboratorium*, vol. 10, no 3, pp. 119–121.
- Boudon R. (1974) *Education, Opportunity, and Social Inequality*, New York: Wiley.
- Bourdieu P. (1984) *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu P., Passeron J.-C. (2007) *Vosproizvodstvo: jelementy teorii sistemy obrazovanija* [Reproduction in Education, Society and Culture], Moscow: Prosveshhenie.
- Breen R., Goldthorpe J. H. (1997) Explaining Educational Differentials: Towards a Formal Rational Action Theory. *Rationality and Society*, vol. 9, no 3. P. 275–305.
- Caillois R. (2003) *Mif i chelovek. Chelovek i sakral'noe* [Myth and Man. Man and the Sacred], Moscow: OGI.
- Chernysh M., Nikula J. (eds.) (2020) *Social Distinctions in Contemporary Russia: Waiting for the Middle-Class Society?*, London: Routledge.
- Chirkina T. (2018) Social'no-jekonomicheskoe polozhenie i vybor obrazovatel'noj traektorii uchashhimisja: teoreticheskie podhody k izucheniju vzaimosvjazi [Review of Theoretical Approaches to the Study of the Relationship between Students' Socio-Economic Status and Educational Choice]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 19, no 3, pp. 109–125.
- Clark G. (2018) *Otcy i deti: familii i istorija social'noj mobil'nosti* [The Son Also Rises: Surnames and the History of Social Mobility], Moscow: Gaidar Institute Press.
- Collins R. (2002) *Sociologija filosofij: global'naja teorija intellektual'nogo izmenenija* [The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change], Novosibirsk: Sibirsky Khronograf.
- Collins R. (2004) *Interaction Ritual Chains*, Princeton: Princeton University Press.
- Damasio A. R. (1994) *Descartes' Error: Emotion, Rationality and the Human Brain*, New York: Putnam.
- Davydov Y. (2002) Istoricheskij gorizont teoreticheskoy sociologii [The Historical Horizon of Theoretical Sociology]. *Istorija teoreticheskoy sociologii. T. 1* [The History of Theoretical Sociology, Vol. 1] (ed. Y. Davydov), Moscow: Kanon+, pp. 7–27.
- Davydov Y. (2008) *Trud i svoboda* [Labor and Freedom]. *Trud i iskusstvo: izbrannye sochinenija* [Labor and Freedom: Selected Works], Moscow: Astrel, pp. 25–122.
- Demintseva E. (2020) No Title “Migrant Schools” and the “Children of Migrants”: Constructing Boundaries around and inside School Space. *Race Ethnicity and Education*, vol. 23, no 4, pp. 598–612.
- Douglas M. (2000) *Chistota i opasnost'* [Purity and Danger], Moscow: KANON-press-C, Kuchkovo pole.

- Durkheim E. (2018) *Jelementarnye formy religioznoj zhizni: totemicheskaja sistema v Avstralii* [The Elementary Forms of the Religious Life: Totemic System in Australia], Moscow: Elementary Forms.
- Fedorova K., Maslov B., Kharkhordin O. (eds.) (2019) *Zhit's dostoinstvom* [To Live with Dignity], Saint Petersburg: Izd-vo EUSPb.
- Filippov A. F. (2006) Sociologija prostranstva: obshhij zamysel i klassicheskaja razrabotka problem [The Sociology of Space: The General Idea and the Classical Development of the Problems]. *Logos 1991–2005. Izbrannoe. T. 1* [Logos 1991–2005: Selected Papers, Vol. 1], Moscow: Territoriya Budushhego, pp. 318–367.
- Filippov A. F. (2006) Vosstanie karteziancev: k sociologicheskoi harakteristike fil'ma "Begushhij po lezviu" [The Uprising of Cartesians: Toward a Sociological Characterization of Blade Runner]. *Fantasticheskoe kino: jepizod pervyj* [Sci-Fi Movies: Episode 1] (ed. N. Samutina), Moscow: New Literary Observer, pp. 124–152.
- Filippov A. F. (2013) Sovetskaja sociologija kak policejskaja nauka [Soviet Sociology as a Police Science]. *New Literary Observer*, no 5, pp. 48–63.
- Filippov A. F. (2019) V ozhidanii chuda: sociologija replikantov kak politicheskaja teologija ("Begushhij po lezviu 2049") [Waiting for a Miracle: The Sociology of Replicants as Political Theology (Blade Runner 2049)]. *State, Religion and Church in Russia and Worldwide*, no 3, pp. 69–101.
- Foley D. E. (1997) Deficit Thinking Models Based on Culture: The Anthropological Protest. The Evolution of Deficit Thinking. *Educational Thought and Practice* (ed. R. R. Valencia), London: The Falmer Press, pp. 113–131.
- Fordham S., Ogbu J. U. (1986) Black Students' School Success: Coping with the "Burden of 'Acting White'". *The Urban Review*, vol. 18, pp. 176–206.
- Fromm E. (1992) Marksova koncepcija cheloveka [Marx's Concept of Man]. *Dusha cheloveka* [The Heart of Man], Moscow: Respublika, pp. 375–414.
- Furlong A., Cartmel F. (2007) *Young People and Social Change: New Perspectives*, London: Open University Press.
- Gajdosikienė I. (2004) Oscar Lewis' Culture of Poverty: Critique and Further Development. *Sociologija*, no 1, pp. 88–96.
- Gerber Th. P. (1998) More Shock than Therapy: Market Transition, Employment, and Income in Russia, 1991–1995. *American Journal of Sociology*, vol. 104, no 1, pp. 1–50.
- Gerber Th. P. (2002) Structural Change and Post-Socialist Stratification: Labor Market Transitions in Contemporary Russia. *American Sociological Review*, vol. 67, no 5, pp. 629–659.
- Gerber Th. P. (2003) Loosening Links? School-to-Work Transitions and Institutional Change in Russia since 1970. *Social Forces*, vol. 82, no 1, pp. 241–276.
- Gerber Th. P. (2004) Tightening up: Declining Class Mobility during Russia's Market Transition. *American Sociological Review*, vol. 69, no 5, pp. 677–703.
- Giddens A. (1991) *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Cambridge: Polity Press.
- Gimpelson V. E., Treisman D. (2018) Misperceiving Inequality. *Economics and Politics*, vol. 30, no 1, pp. 27–54.
- Girard R. (2000) *Nasilie i svjashhennoe* [Violence and the Sacred], Moscow: New Literary Observer.
- Godelier M. (2007) *Zagadka dara* [The Enigma of the Gift], Moscow: Vostochnaja literatura.
- Gofman A. (2011) Social'naja antropologija Marselja Mossa [Marcel Mauss's Social Anthropology]. Mauss M., *Obshchestvo. Obmen. Lichnost': trudy po social'noj antropologii* [Societies, Exchange, Personality: Works in Social Anthropology], Moscow: KDU, pp. 7–54.
- Gofman A. (2017) Spravedlivost' kak sociologicheskaja ideja: ot klassiki k sovremennosti [Justice as a Sociological Idea: From Classic to Modern]. *Lichnost. Kultura. Obshchestvo*, vol. XIX, no 1–2, pp. 65–79.
- Gofman A. (2018) O tradicionnosti, identichnosti i legitimnosti: sociologicheskie aspekty vzaimosvjazi [On Traditionality, Identity, and Legitimacy: Sociological Aspects of Interconnection]. *Rossija reformirujushhajasja: ezhegodnik. Vyp. 16* [Russia Reformed, Issue 16] (ed. M. Gorshkov), Moscow: Novy Khronograf, pp. 34–54.
- Gramsci A. (1991) *Tjurennye tetradi. Ch. 1* [Prison Notebooks, Part 1], Moscow: Politizdat.

- Gray J. R. (2001) Emotional Modulation of Cognitive Control: Approach-Withdrawal States Double-Dissociate Spatial from Verbal Two-Back Task Performance. *Journal of Experimental Psychology: General*, vol. 130, no 3, pp. 436–452.
- Gudkov L. D. (2011) *Abortivnaja modernizacija* [The Abortive Modernization], Moscow: ROSSPEN.
- Guriev S. (2018) Fairness and Support for the Reforms: Lessons from the Transition Economies. *SUERF Policy Note*, no 24. Available at: <https://www.suerf.org/policynotes/1993/fairness-and-support-for-the-reforms-lessons-from-the-transition-economies> (accessed 20 September 2020).
- Guriev S. (2018) Jefferktivnoe neravenstvo [Effective Inequality]. *Atomic Expert*. Available at: <http://atomicexpert.com/page4214982.html> (accessed 20 September 2020).
- Guriev S. (2020) Labor Market Performance and the Rise of Populism. *IZA World of Labor*, no 479. Available at: <https://wol.iza.org/articles/labor-market-performance-and-the-rise-of-populism/long> (accessed 20 September 2020).
- Guriev S. (2020) Neravenstvo spravdlivoe i nespravdlivoe [Just and Unjust Inequality]. *EKONS: Ekonomicheskij razgovor*. Available at: <https://econs.online/articles/ekonomika/neravenstvo-spravdlivoe-i-nespravdlivoe/> (accessed 20 September 2020).
- Guriev S., Papaioannou E. (2020) The Political Economy of Populism. Available at: <https://ssrn.com/abstract=3542052> (accessed 20 September 2020).
- Haidt J. (2001) The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgement. *Psychological Review*, vol. 108, no 4, pp. 814–834.
- Harlé K. M., Shenoy Pr., Paulus M. P. (2013) The Influence of Emotions on Cognitive Control: Feelings and Beliefs — Where Do They Meet?. *Frontiers in Human Neuroscience*. Available at: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00508/full> (accessed 20 September 2020).
- Harrington M. (1962) *The Other America: Poverty in the United States*, New York: Macmillan.
- Harvey D. L., Reed M. H. (1996) The Culture of Poverty: An Ideological Analysis. *Sociological Perspectives*, vol. 39, no 4, pp. 465–495.
- Holub R. (1992) *Antonio Gramsci: Beyond Marxism and Postmodernism*, London: Routledge.
- Ignatow G. (2007) Theories of Embodied Knowledge: New Directions for Cultural and Cognitive Sociology?. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 37, no 2. P. 115–135.
- Ignatow G. (2010) Morality and Mind-Body Connections. *Handbook of the Sociology of Morality* (eds. S. Hiltin, S. Vaisey), New York: Springer, pp. 411–424.
- Ignatow G. (2012) Mauss's Lectures to Psychologists: A Case for Holistic Sociology. *Journal of Classical Sociology*, vol. 12, no 1, pp. 3–21.
- Ille M., Sokolov M. (2018) Statusnaja kul'tura vo vremena jekonomicheskij transformacii: Potreblenie vysokij kul'tury v Peterburge, 1991–2011 [Status Culture in the Times of Economic Transformation. Cultural Participation in Saint Petersburg, 1991–2011]. *Universe of Russia*, vol. 27, no 1, pp. 159–182.
- Illouz E. (2008) *Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions, and the Culture of Self-Help*, Berkeley: University of California Press.
- Ivaniushina V. A., Alexandrov D. A. (2018) Anti-School Attitudes, School Culture and Friendship Networks. *British Journal of Sociology of Education*, vol. 39, no 5, pp. 698–716.
- Jackson M. (2020) *Manifesto for a Dream: Inequality, Constraint, and Radical Reform*, Redwood City: Stanford University Press.
- Jackson M., Erikson R., Goldthorpe J. H., Yaish M. (2007) Primary and Secondary Effects in Class Differentials in Educational Attainment: The Transition to A-Level Courses in England and Wales. *Acta Sociologica*, vol. 50, no 3, pp. 211–229.
- Jackson M., Khavenson T., Chirkina T. (2020) Raising the Stakes: Inequality and Testing in the Russian Education System. *Social Forces*, vol. 98, no 4, pp. 1613–1635.
- Kahneman D. (2020) *Dumaj medlenno, reshaj bystro* [Thinking, Fast and Slow], Moscow: AST.
- Kalinin R., Deviatko I. (2019) Kto zaplatit za vodoprovod: social'nyj kontekst vosprijatija distributivnoj spravdlivosti [Who Should Pay for a Water Pipe: Social Context of Distributive Justice Perception]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 2, pp. 95–114.
- Kapeliushnikov R. (2019) Jekonomicheskoe neravenstvo — vselenskoe zlo? [Is Economic Inequality a Universal Evil?]. *Voprosy Ekonomiki*, no 4, pp. 91–106.

- Kapeliushnikov R. (2020) Universal'nyj bazovyj dohod: est' li u nego budushhee? [Universal Basic Income: Does It Have a Future?] (Working Paper WP3/2020/04), Moscow: HSE.
- Kelly S. (2008) Race, Social Class, and Student Engagement in Middle School English Classrooms. *Social Science Research*, vol. 37, no 2, pp. 434–448.
- Khar'kova T., Nikitina S., Andreev E. (2017) Zavisimost' prodolzhitel'nosti zhizni ot urovnja obrazovaniya v Rossii [Dependence of Life Expectancy on the Education Levels in Russia]. *Voprosy statistiki*, no 8, pp. 61–69.
- Khavenson T., Chirkina T. (2018) Jeffektivno podderzhivaemoe neravenstvo: vybor obrazovatel'noj traektorii posle 11-go klassa shkoly v Rossii [Effectively Maintained Inequality: The Choice of Postsecondary Educational Trajectory in Russia]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 19, no 5, pp. 66–89.
- Khavenson T., Chirkina T. (2019) Obrazovatel'nyj vybor uchashhihsja posle 9-go i 11-go klassov: sravnenie pervichnyh i vtorichnyh jeffektov social'no-jekonomicheskogo polozenija sem'i [Student Educational Choice after the 9th and 11th Grades: Comparing the Primary and Secondary Effects of Family Socioeconomic Status]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 17, no 4, pp. 539–54.
- Kivinen M. (2006) Classes in the Making? The Russian Social Structure in Transition. *Inequalities of the World* (ed. G. Therborn), London: Verso, pp. 247–294.
- Konstantinovskij D. (2008) *Neravenstvo i obrazovanie: opyt sociologicheskikh issledovanij zhiznennogo starta rossijskoj molodezhi (1960-e gody — nachalo 2000-h)* [Inequality and Education: A Sociological Study of the Commencement of Russian Youth (1960s — Early 2000s)], Moscow: Centr socialnogo prognozirovaniya i marketinga.
- Konstantinovskij D., Vakhshstein V., Kurakin D., Roshchina Y. (2006) *Dostupnost' kachestvennogo srednego obrazovaniya v Rossii: vozmozhnosti i ogranicheniya* [The Availability of Quality Secondary Education in Russia: Opportunities and Limits], Moscow: Logos.
- Kordonskij S. (2008) *Soslovnaja struktura postsovetsoj Rossii* [The Estates Structure of Post-Soviet Russia], Moscow: Obshhestvennoe mnenie.
- Kosyakova Y., Kurakin D. (2015) Do Institutions Matter? Occupational Gender Segregation at Labor Market Entry in Soviet and Post-Soviet Russia. *Gender, Education and Employment: An International Comparison of School-to-Work Transitions* (eds. H.-P. Blossfeld, J. Skopek, M. Triventi, S. Buchholz), Cheltenham: Edward Elgar, pp. 304–324.
- Kosyakova Y., Kurakin D. (2016) Imejut li znachenie instituty? Professional'naja gendernaja segregacija na jetape vyhoda na rynek truda v sovetskoj i postsovetsoj Rossii [Do Institutions Matter? Occupational Gender Segregation at Labor Market Entry in Soviet and Post-Soviet Russia]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 19, no 5, pp. 127–145.
- Kosyakova Y., Kurakin D., Blossfeld H.-P. (2015) Horizontal and Vertical Gender Segregation in Russia—Changes upon Labour Market Entry before and after the Collapse of the Soviet Regime. *European Sociological Review*, vol. 31, no 5, pp. 573–590.
- Kosyakova Y., Yastrebov G., Yanbarisova D., Kurakin D. (2016) The Reproduction of Social Inequality within the Russian Educational System. *Models of Secondary Education and Social Inequality: An International Comparison* (eds. H.-P. Blossfeld, S. Buchholz, J. Skopek, M. Triventi), Cheltenham: Edward Elgar, pp. 323–342.
- Kosyakova Y., Yastrebov G., Yanbarisova D., Kurakin D. (2016) Vosproizvodstvo social'nogo neravenstva v rossijskoj obrazovatel'noj sisteme [The Reproduction of Social Inequality in the Russian Educational System]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 19, no 5, pp. 76–97.
- Kovas Yu., Haworth C. M. A., Dale Ph. S., Plomin R., Weinberg R. A., Thomson J. M., Fischer K. W. (2007) *The Genetic and Environmental Origins of Learning Abilities and Disabilities in the Early School Years*, Oxford: Blackwell.
- Kurakin D. (2005) Simvolicheskie klassifikacii i "zheleznaja kletka": dve perspektivy teoreticheskoi sociologii [Symbolic Classifications and "Iron Cage": Two Perspectives in Theoretical Sociology]. *Russian Sociological Review*, vol. 4, no 1, pp. 63–81.
- Kurakin D. (2010) Literature as a Meaningful Life Laboratory. *Integrative Psychological & Behavioral Science*, vol. 44, no 3, pp. 227–234.

- Kurakin D. (2011) Modeli tela v sovremennom populyarnom i jekspertnom diskurse: k kul'tursociologicheskoj perspektive analiza [Models of the Body in Contemporary Popular and Expert Discourse: Toward a Cultural Sociological Perspective of Analysis]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 1–2, pp. 56–74.
- Kurakin D. (2011) Uskol'zajushhee sakral'noe: problema ambivalentnosti sakral'nogo i ee znachenie dlja "sil'noj programmy" kul'tursociologii [Eluding Sacred: Ambiguity of the Sacred and Its Importance for the "Strong Program" in Cultural Sociology]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 3, pp. 41–70.
- Kurakin D. (2014a) How Root Metaphors Structure Meaningful Life by Means of Emotions: Theory and Empirical Illustration from the Sphere of Academic Ethics (CCS Working Paper 2014-08), New Haven: Yale University.
- Kurakin D. (2014b) Russian Longitudinal Panel Study of Educational and Occupational Trajectories: Building Culturally-Sensitive Research Framework (Working Paper WP 01/IE/2014), Moscow: HSE.
- Kurakin D. (2018) Predislovie k russkomu perevodu "Jelementarnyh form religioznoj zhizni" [Preface to Russian Translation of "The Elementary Forms of the Religious Life"]. Durkheim E., *Jelementarnye formy religioznoj zhizni: totemicheskaja sistema v Avstralii* [The Elementary Forms of the Religious Life: Totemic System in Australia], Moscow: Elementary Forms, pp. 15–48.
- Kurakin D. (2019a) The Cultural Mechanics of Mystery: Structures of Emotional Attraction in Competing Interpretations of the Dyatlov Pass Tragedy. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 7, no 1, pp. 101–127.
- Kurakin D. (2019b) The Sacred, Profane, Pure, Impure, and Social Energization of Culture. *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* (eds. W. H. Brekhus, G. Ignatow), New York: Oxford University Press, pp. 485–506.
- Kurakin D. (2020) Culture and Cognition: The Durkheimian Principle of Sui Generis Synthesis vs. Cognitive-Based Models of Culture. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 8, no 1, pp. 63–89.
- Kusimova T. (2018) Klass i status: shkol'naja sreda kak mesto vosproizvodstva razlichij (na primere selektivnyh shkol g. Moskvy) [Class and Status: School Milieu as a Place of the Reproduction of Differences (The Case of Moscow Selective Schools)], Moscow: HSE.
- Kuzminov Y. I., Sorokin P. S., Froumin I. (2020) How Can Education Contribute to Socioeconomic Development? Rethinking Human Capital for the Labour Market of the Future. *Bologna Process beyond 2020: Fundamental Values of the EHEA*, Bologna: Bolonia University Press, pp. 1–6.
- Kuzminov Y., Nabiullina Y., Radaev V., Subbotina T. (1989) *Otchuzhdenie truda: istorija i sovremennost'* [The Alienation of Labor: History and Present Time], Moscow: Ekonomika.
- Lamont M. (1992) *Money, Morals and Manners*, Chicago: University of Chicago Press.
- Lamont M. (2000) *The Dignity of Working Men: Morality and the Boundaries of Race, Class, and Immigration*, Cambridge: Harvard University Press.
- Lamont M. (2017) *Prisms of Inequality: Moral Boundaries, Exclusion, and Academic Evaluation. Erasmus Prize Essay*, Amsterdam: Praemium Erasmianum Foundation.
- Lamont M., Beljean St., Clair M. (2014) What is Missing? Cultural Processes and Causal Pathways to Inequality. *Socio-Economic Review*, vol. 12, no 3, pp. 573–608.
- Lamont M., Silva G. M., Welburn J. S., Guetzkow J., Mizrahi N., Herzog H., Reis E. (2016) *Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil, and Israel*, Princeton: Princeton University Press.
- Lamont M., Small M. L., Harding D. J. (2010) Introduction: Reconsidering Culture and Poverty. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 629, no 1, pp. 6–27.
- Lareau A. (2011) *Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life*, Berkeley: University of California Press.
- Levi-Strauss C. (2018) *Pechal'nye tropiki* [Tristes Tropiques], Moscow: AST.
- Levine L. J., Burgess St. L. (1997) Beyond General Arousal: Effects of Specific Emotions on Memory. *Social Cognition*, vol. 15, no 3, pp. 157–181.
- Lewis O. (1959) *Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty*, New York: Basic Books.
- Lewis O. (1966) *La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty — San Juan and New York*, New York: Random House.

- Lichand G., Mani A. (2020) Cognitive Droughts (University of Zurich, Department of Economics, Working Paper No 341). Available at: <https://ssrn.com/abstract=3540145> (accessed 20 September 2020).
- Lizardo O. (2014) Beyond the Comtean Schema: The Sociology of Culture and Cognition versus Cognitive Social Science. *Sociological Forum*, vol. 29, no 4, pp. 983–989.
- Lizardo O. (2017) Improving Cultural Analysis: Considering Personal Culture in Its Declarative and Nondeclarative Modes. *American Sociological Review*, vol. 82, no 1, pp. 88–115.
- Lizardo O., Sepulvado B., Stoltz D. S., Taylor M. A. (2020) What Can Cognitive Neuroscience Do for Cultural Sociology?. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 8, no 1, pp. 3–28.
- Lucas S. R. (2009) Stratification Theory, Socioeconomic Background, and Educational Attainment: A Formal Analysis. *Rationality and Society*, vol. 21, no 4, pp. 459–511.
- Malik V. (2019) The Russian Panel Study “Trajectories in Education and Careers”. *Longitudinal and Life Course Studies*, vol. 10, no 1, pp. 125–144.
- Malinowski B. (2004) *Izbrannoe: Argonavty zapadnoj chasti Tihogo okeana* [Selected Works: Argonauts of the Western Pacific], Moscow: ROSSPEN.
- Mareeva S. (2020) Socio-Economic Inequalities in Modern Russia and Their Perception by the Population. *Journal of Chinese Sociology*, vol. 7, art. 10.
- Martin J. L. (2010) Life’s a Beach but You’re an Ant, and Other Unwelcome News for the Sociology of Culture. *Poetics*, vol. 38, no 2, pp. 228–243.
- Marx K. (1974) Jekonomicheskoe-filosofskie rukopisi 1844 goda [Economic and Philosophic Manuscripts of 1844]. Marx K., Engels F., *Sochinenija. T. 42* [Works, Vol. 42], Moscow: Politizdat, pp. 41–174.
- Marx K., Engels F. (1955) Nemeckaja ideologija [German Ideology]. *Sobranie sochinenij. T. 3* [Works, Vol. 3], Moscow: Politizdat.
- Marzi T., Regina A., Righi S. (2014) Emotions Shape Memory Suppression in Trait Anxiety. *Frontiers in Psychology*. Available at: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2013.01001/full> (accessed 20 September 2020).
- Massey D. P. (2007) *Categorically Unequal: The American Stratification System*, New York: Russell Sage Foundation.
- Mast J. L. (2020) Representationalism and Cognitive Culturalism: Riders on Elephants on Turtles All the Way down. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 8, no 1, pp. 90–123.
- Mauss M. (1996) Fizicheskoe vozdejstvie na individua kolektivno vnushennoj mysli o smerti [Physical Effects on the Individual of the Collectively Suggested Idea of Death]. *Obshchestva. Obmen. Lichnost’: trudy po social’noj antropologii* [Societies, Exchange, Personality: Works in Social Anthropology], Moscow: Vostochnaja literatura, pp. 223–241.
- Mauss M. (1996) Ocherk o dare: forma i osnovanie obmena v arhaicheskikh soobshhestvakh [The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies]. *Obshchestva. Obmen. Lichnost’: trudy po social’noj antropologii* [Societies, Exchange, Personality: Works in Social Anthropology], Moscow: Vostochnaja literatura, pp. 83–222.
- Mauss M. (1996) Tehniki tela [Body Techniques]. *Obshchestva. Obmen. Lichnost’: trudy po social’noj antropologii* [Societies, Exchange, Personality: Works in Social Anthropology], Moscow: Vostochnaja literatura, pp. 242–250.
- Minina E., Yanbarisova D., Pavlenko E. (2020) Educational Choice of Russian High School Students in Grade Nine. *International Studies in Sociology of Education*. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09620214.2020.1728362> (accessed 20 September 2020).
- Moynihan D. P. (1965) *The Negro Family: The Case for National Action*, Washington: U.S. Government Printing Office.
- Mullainathan S., Shafir E. (2013) Decision Making and Policy in Context of Poverty. *The Behavioral Foundations of Public Policy* (ed. E. Shafir), Princeton: Princeton University Press, pp. 281–297.
- Newen A., De Bruin L., Gallagher S. (eds.) (2018) *The Oxford Handbook of 4E Cognition*, Oxford: Oxford University Press.
- Ovcharova L., Popova D., Rudberg A. (2016) Dekompozicija faktorov neravenstva dohodov v sovremennoj Rossii [Decomposition of Income Inequality in Contemporary Russia]. *Journal of the New Economic Association*, no 3, pp. 170–186.

- Pavlov A. (2020) *Besplatnye den'gi v myshelovke nadzornogo kapitalizma: bazovyy dohod i social'naja teorija* [Free Money in a Mousetrap of Surveillance Capitalism: Basic Income and Social Theory]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 2, pp. 198–224.
- Piketty T. (2014) *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge: Harvard University Press.
- Piketty Th. (2015) K politicheskoy i istoricheskoy jekonomii: razmyshleniya o kapitale v XXI veke [Towards a Political and Historical Economy: Reflections on the Capital in the Twenty-First Century]. *Russian Journal of Economic History*, no 4, pp. 7–19.
- Polanyi M. (1968) Life's Irreducible Structure. *Science, New Series*, vol. 160, no 3834, pp. 1308–1312.
- Prakhov I., Yudkevich M. (2019) University Admission in Russia: Do the Wealthier Benefit from Standardized Exams?. *International Journal of Educational Development*, vol. 65, pp. 98–105.
- Pyankova A., Fattakhov T. (2017) Smertnost' po urovnyu obrazovaniya v Rossii [Mortality by Educational Level in Russia]. *HSE Economic Journal*, no 4, pp. 623–647.
- Radaev V. (2002) Osnovnye napravleniya razvitiya sovremennoj jekonomicheskoy sociologii [The Main Directions of the Development of Contemporary Economic Sociology]. *Jekonomicheskaja sociologija: novye podhody k institucional'nomu i setevomu analizu* [Economic Sociology: New Approaches to Institutional and Network Analysis] (ed. V. Radaev), Moscow: ROSSPEN, pp. 3–18.
- Raftery A. E., Hout M. (1993) Maximally Maintained Inequality: Expansion, Reform, and Opportunity in Irish Education, 1921–75. *Sociology of Education*, vol. 66, no 1, pp. 41–62.
- Ridgeway C. L. (2011) *Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World*, Oxford: Oxford University Press.
- Rogozin D. (2017) Stol'ko ne zhivut: miniatjury o stoletnih [People do not Live So Long: Short-Short Stories of Centenarians]. *Chelovek*, no 2, pp. 55–68.
- Rogozin D. (2018) Chto delat' so starejushhim telom? [What do We have to Do with an Ageing Body?]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 21, no 2, pp. 133–64.
- Rogozin D. (2019) Starost' v sel'skoj Rossii [Old Age in Rural Russia]. *Puti Rossii: granicy politiki* [Paths of Russia: The Borders of Politics] (ed. M. Pugacheva), Moscow: Delo, pp. 273–288.
- Roshchina Y. (2016) Stil' zhizni v otnoshenii zdorov'ja: imeet li znachenie social'noe neravenstvo? [Health-Related Lifestyle: Does Social Inequality Matter?]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 17, no 3, pp. 13–36.
- Rousseau J.-J. (2011) *O prichinah neravenstva* [On the Origin of Inequality], Moscow: Nobel Press.
- Rudakov V., Roshchin S. (2019) The Impact of Student Academic Achievement on Graduate Salaries: The Case of a Leading Russian University. *Journal of Education and Work*, vol. 32, no 2, pp. 156–180.
- Rutkevitch M., Filippov F. (1970) *Social'nye peremeshheniya* [Social Mobility], Moscow: Mysl.
- Samutina N. (ed.) (2006) *Fantasticheskoe kino: jepizod pervyj* [Sci-Fi Movies: Episode 1], Moscow: New Literary Observer.
- Scheler M. (1999) *Resentiment v strukture moralej* [Ressentiment], Moscow: Nauka.
- Sennett R. (2003) *Respect in a World of Inequality*, New York: W. W. Norton & Co.
- Sennett R., Cobb J. (1993) *The Hidden Injuries of Class*, New York: W. W. Norton & Co.
- Sharikov D. (2019) Novaja sociologija kul'tury: ot "jashhikov s instrumentami" k kognitivnym processam [The New Sociology of Culture: From Toolkits to Cognitive Processes]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 22, no 3, pp. 179–210.
- Sharikov D. D. (2020) Culture and Cognition: In Search of a Non-Reductionist Framework. *Sociology of Power*, vol. 32, no 2, pp. 104–124.
- Shkaratan O. (1970) *Problemy social'noj struktury rabochego klassa SSSR: istoriko-sociologicheskoe issledovanie* [The Issues of the Social Structure of Working Class in USSR: Historical and Sociological Study], Moscow: Mysl.
- Shorrocks A., Davies J., Lluberas R. (2019) *Global Wealth Report 2019*, Zurich: Credit Suisse Research Institute.
- Shubkin V. (1970) *Sociologicheskie opyty* [Sociological Essays], Moscow: Mysl.
- Silva J. M. (2013) *Coming Up Short: Working-Class Adulthood in an Age of Uncertainty*, New York: Oxford University Press.
- Smith S, pp. (2007) *Lone Pursuit: Distrust and Defensive Individualism among the Black Poor*, New York: Russel Sage Foundation.

- Streib J. (2017) The Unbalanced Theoretical Toolkit: Problems and Partial Solutions to Studying Culture and Reproduction but Not Culture and Mobility. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 5, no 1–2, pp. 127–153.
- Swidler A. (1986) Culture in Action: Symbols and Strategies. *American Journal of Sociology*, vol. 51, no 2, pp. 273–286.
- Therborn G. (2006) Meaning, Mechanisms, Patterns, and Forces: An Introduction. *Inequalities of the World* (ed. G. Therborn), London: Verso, pp. 1–59.
- Timonin S., Danilova I., Andreev E. M., Shkolnikov V. (2017) Recent Mortality Improvement in Russia: Are Regions Following the Same Tempo?. *European Journal of Population*, vol. 33, no 5, pp. 733–763.
- Timonin S., Jasilionis D., Shkolnikov V., Andreev E. M. (2020) New Perspective on Geographical Mortality Divide in Russia: A District-Level Cross-Sectional Analysis, 2008–2012. *Journal of Epidemiology and Community Health*, vol. 74, no 2, pp. 144–150.
- Turner V. (1983) *Simvol i ritual* [Symbol and Ritual], Moscow: Nauka.
- Vaisey St. (2009) Motivation and Justification: A Dual-Process Model of Culture in Action. *American Journal of Sociology*, vol. 114, no 6, pp. 1675–1715.
- Vakhshstein V. (2011) Post-postsovetskaja sociologija: konec pervogo akta [Post-Soviet Sociology: The End of Act 1]. *Sociology: Theory, Methods, Marketing*, no 2, pp. 59–77.
- van Gennep A. (1999) *Obrjady perehoda: sistematicheskoe izuchenie obrjadov* [The Rites of Passage], Moscow: Vostochnaja literatura.
- Varlamova M., Sinyavskaya O. (2020) Active Ageing Index in Russia: Identifying Determinants for Inequality. *Journal of Population Ageing*. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12062-020-09277-4> (accessed 20 September 2020).
- Vetlesen A. J. (2010) *Filosofija boli* [A Philosophy of Pain], Moscow: Progress-Traditsia.
- Walker Ch. (2007) Navigating a “Zombie” System: Youth Transitions from Vocational Education in Post-Soviet Russia. *International Journal of Lifelong Education*, vol. 26, no 5, pp. 513–531.
- Walker Ch. (2009) From “Inheritance” to Individualization: Disembedding Working-Class Youth Transitions in Post-Soviet Russia. *Journal of Youth Studies*, vol. 12, no 5, pp. 531–545.
- Walker Ch. (2010) *Learning to Labour in Post-Soviet Russia: Vocational Youth in Transition*, London: Routledge.
- Wilkinson R., Pickett K. (2011) *The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better*, London: Allen Lane.
- Willis P. E. (1977) *Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs*, Westmead: Saxon House.
- Yastrebov G., Kosyakova Y., Kurakin D. (2018) Slipping Past the Test: Heterogeneous Effects of Social Background in the Context of Inconsistent Selection Mechanisms in Higher Education. *Sociology of Education*, vol. 91, no 3, pp. 224–241.
- Zarefsky D. (1986) *President Johnson's War on Poverty: Rhetoric and History*, Tuscaloosa: University of Alabama Press.
- Zaslavskaya T. (2003) *Societal'naja transformacija rossijskogo obshhestva* [Social Transformation of Russian Society], Moscow: MSSES.
- Zenkin S. (2008) Svoe, chuzhoe i nich'e (k probleme pamjati u Dzh. R. R. Tolkiena i H. L. Borhesa) [One's, Other's, and Nobody's (Towards the Problem of Memory in J. R. R. Tolkien and J. L. Borges)]. *Otechestvennye Zapiski*, vol. 43, no 4, pp. 26–37.
- Zigler E., Valentine J. (eds.) (1979) *Project Head Start: A Legacy of the War on Poverty*, New York: The Free Press.

Постгород (III): политики соппространственности и новые медиальности*

Дмитрий Замятин

Доктор культурологии, главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского, факультет городского и регионального развития, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: dzamyatin@hse.ru

Один из наиболее значимых факторов, влияющих на режимы соппространственностей постгородских сообществ, — развитие новых городских медиа. Новые городские медиа символизируют, с одной стороны, сложный переход к новым постгородским сообществам и новым пространственным режимам их существования; с другой стороны, они являются базовым элементом вновь формирующихся политик соппространственности. Постполитическое трактуется феноменологически как нарастающее доминирование плоских коммуникативных онтологий в постурбанистических пространствах, характеризующихся распадом традиционных современных способов общения и коммуникации. Постгородская локальность определяется как медиальное со-бытие, центрирующее здесь-и-сейчас очередную картографию воображения, которую можно рассматривать в качестве постполитического действия. Детерриторизация постгородских сообществ происходит посредством «выглаживания» городских пространств, превращения их с помощью новых медиа в преимущественно «гладкие пространства». Формируются специфические локальные геокультуры нового, «ризоматического» типа, развитие которых опирается на постполитические транскрипции социализации и медиализации городских пространств. Аффективность постгородских соппространственностей проявляется в постепенном увеличении количества новых специфических городских акторов, ускользающих от традиционных государственных и муниципальных политик. Постполитическое может рассматриваться как сфера геосемиотического насилия, направленного на сверхкодирование соппространственных ситуаций. Картографирование соппространственностей воспроизводит Землю как тотальную хору онтологии постполитического. Номос постгорода постоянно формирует коммуникативную периферию с отсутствующим центром, любое сообщество может сигнализировать о транзакциях воображения, нацеленных на девальвацию систем «центр — периферия».

Ключевые слова: постгород, сообщество, новые медиа, постполитика, детерриторизация, соппространственность, геокультура, плоские онтологии, метагеография

* Исследование проведено в рамках работы проектной группы «Культурная и гуманитарная география города», созданной в соответствии с «Положением о конкурсе факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ на формирование проектных групп и поддержку проектной деятельности».

Цель настоящего исследования — продолжить изучение феномена постгорода в методологическом и онтологическом контексте, сконцентрировавшись на проблематике новой медиальности в условиях масштабных общественных и пространственных трансформаций. Как и в предыдущих исследованиях, в центре нашего внимания будут находиться понятия сопространственности и политик сопространственности, но теперь мы постараемся более подробно рассмотреть коммуникативные истоки и последствия становления плоских онтологий в постгородском пространстве. Первоочередные задачи исследования: 1) исследовать специфику формирования политик сопространственности в условиях быстрого развития новых городских медиа; 2) изучить возможности формирования локальных геокультур «ризоматического» типа в постполитическом ракурсе; 3) попытаться выявить взаимосвязи новой медиальности с реконфигурациями постгородских картографий воображения. Как и ранее, методологическим контекстом для решения всех этих задач являются понятия постполитики и постполитического.

Методология исследования в большой мере опирается на уже выполненное первичное изучение феномена постгородских политик сопространственности с использованием понятий картографий воображения, детерриторизации и ретерриторизации постгородского пространства. Наряду с этим здесь сделан новый методологический акцент, соединяющий философско-методологическую проблематику геокультур «ризоматического» типа в сфере постгородского развития с темами биополитики и трансгуманизма, становящимися все более актуальными для междисциплинарного поля социальных и гуманитарных наук. В соответствии с данным методологическим подходом ключевое значение для настоящего исследования имеют работы Ж. Делеза и Ф. Гваттари (Делез, Гваттари, 2008, 2010), К. Шмитта (Шмитт, 2008), Ж.-Ф. Лиотара (Лиотар, 2018), Д. Харауэй (Харауэй, 2005, 2016, 2018), П. Слотердайка (Слотердаик, 2005, 2007, 2010), М. Деланды (Деланда, 2018), Э. Свингедоува (Swyngedouw, 2007).

Развитие новых медиа как переход к постгородским сообществам

Постгородские сообщества представляют собой сложную проблему, поскольку достаточно трудно найти прямые и безусловные связи между ними и традиционными городскими сообществами, многочисленные исследования которых сформировали устойчивую концептуальную матрицу (Теннис, 1998; Парк, 2006, 2008а, 2008б, 2011; Вирт, 2005; Cohen, 1985; Гидденс, 2003; Луман, 2004; Верлен, 2001; Добрякова, 1999; Amit, 2002; Delanty, 2003; Бауман, 2008; Вахштайн, 2003, 2013; Blackshaw, 2009; Аксютин, Зеленова, 2009; Лейбович, Шушкова, 2010; Лейбович, Шушкова, Кабацков, 2012; Ледяев, 2012; Вейц, 2012; Пузанов, 2013; Димке, Корюхина, 2013; Новиков, Серова, Богоров, 2013; Тыканова, Хохлова, 2014; Юдин, Колошенко, 2014; Глазков, Зверева, 2014; Павлюткин, Юдин, 2015; Павлов, 2016). Вместе с тем пространства и пространственности, в рамках которых по преимуществу развиваются постгородские сообщества, принципиально отличаются от тех, в которых складывались

современные (модерные) городские сообщества, культуры и субкультуры (Нанси, 2004, 2009; Soja, 1996, 2000; Dear, 2000; Kelbaugh, 2000; Smith, 2001; Haas, 2008; Freeman, 2008; Westlund, 2014; Амин, Трифт, 2017; Smith, McQuarrie, 2017; Pasini, 2018; Сойя, 2007, 2008; Паченков, 2012; Зеленова, Кручинский, 2013). Можно даже сказать, что именно новое понимание пространства и пространственности ведет к становлению совершенно иных сообществ. Сущность постгородских сообществ фактически — сознательно или бессознательно — определяется во многом, если не во всем, другими онтологиями пространственного воображения. Здесь мы вновь предпочитаем говорить о постгородских сопостранственностях — ключевом феномене, отделяющем постгородские сообщества от городских сообществ как таковых — в традиционном и модерном их понимании (Замятин, 2018, 2019).

Один из наиболее значимых факторов, влияющих на режимы сопостранственностей постгородских сообществ, — это развитие новых городских медиа (Foth, Klaebe, Hearn, 2008; Митчелл, 2012; Маккуайр, 2014, 2018; Brighenti, 2011; Aliello, Tosoni, 2016; Mattern, 2017; Krajina, Stevenson, 2019; Куренной, 2012; Лапина-Кратасюк, 2013; Епанова, 2015; Зеленцов, 2015; Абашев, Печищев, 2018; Давыдов, Логунова, 2018; Ильина, 2018; Сарна 2019). Мы не будем останавливаться на общих характеристиках новых городских медиа, а попытаемся изучить взаимодействие и взаимосвязи формирования постгородских сообществ и новых городских медиа в контексте политик сопостранственности — важнейшего понятия, определяющего доминирующие фреймы постгородских исследований. Как подчеркивалось уже ранее, понимание политик сопостранственности гораздо шире традиционного понимания сущности и функций политики и политического; в то же время политики сопостранственности коррелируют с концептами не-политического и метаполитического, создавая тем самым поле потенциально амбивалентных интерпретаций тех или иных постгородских феноменологических ситуаций (Замятин, 2019). Так или иначе, новые городские медиа символизируют, с одной стороны, сложный и «размытый» переход к новым постгородским сообществам и новым пространственным режимам их существования; с другой стороны, они сами по себе являются базовым элементом вновь формирующихся политик сопостранственности — в контурах которых и проявляются постгородские сообщества.

Новые городские медиа понимаются здесь достаточно расширительно — не только как вполне очевидные новые способы коммуникации в больших городах и мегаполисах, прямо связанные с постоянно увеличивающимися возможностями интернета и социальных сетей, но и как новые пространственные коммуникации, имеющие совершенно иные онтологию и экзистенциальность и формирующие другие, постурбанистические среды (Boyer, 1992; Kittler, 1996; Кастельс, 2000; Wellman, 2001; Jeffres, 2002; Gumpert, Drucker, 2005; Macek, 2006; Gibson, Lowes, 2007; Crang, Crosbie, Graham, 2007; Ridell, Zeller, 2013; Matsaganis, Gallagher, Drucker, 2013; de Lange, de Waal, 2013; Корконосенко, 2012; Квят, 2014а). По всей видимости, быстрое развитие новых городских медиа основано на соответствующем росте

«экономики желаний», или либидинальной экономики, в терминологии Лиотара (Лиотар, 2018), что позволяет говорить о становлении бесконечной «вселенной» коммуникативных телесностей, оперирующих своими политиками — прежде всего политиками сопостранственностей. Постгородские сопостранственности репрезентируются в каждый момент времени постполитическими актами или действиями, фиксирующими и закрепляющими медиальность как виртуализированную телесность любой локации или локализации.

Феноменология постполитического и постурбанизм

Понятие постполитического требует особой осторожности в анализе применительно к постурбанистической реальности. На наш взгляд, можно привязывать становление постполитического именно к постгородским ситуациям и постгородскому пространству, однако онтология постполитики и постполитического в любом случае выходит за рамки постурбанизма (Žižek, 1999; Mouffe, 2005; Tsouvalis, 2016; Chandler, 2016; Дугин, 2004, 2009; Товбин, 2013; Замятин, 2019). Тем не менее в генетическом (диахроническом) смысле стоит сконцентрировать внимание на рождении постполитического в контексте постурбанизма — имея в виду, что развитие различных западных концепций политики и политического обязано древнегреческому полису как месту происхождения их первичной онтологии (Hansen, 1998; Arnason, Raaflaub, Wagner, 2013; Замятин, 2019). Вместе с тем полная аналогия здесь невозможна, поскольку сами понятия постполитического и постурбанизма рассматриваются нами, скорее, как переходные, пограничные когнитивные поля, в пределах которых постепенно будут возникать совершенно иные концепты, описывающие уникальные ситуации.

Итак, постполитическое трактуется нами феноменологически как нарастающее доминирование плоских коммуникативных онтологий (в терминологии Мануэля Деланды) (Деланда, 2018) в постурбанистических пространствах, характеризующихся распадом, разложением традиционных современных способов общения и коммуникации. Это означает, что постполитические отношения могут формироваться и развиваться не в рамках обычных онтологических иерархий, включающих в себя также и социокультурные, экономические и политические иерархии, а в тотально медиализированных средах, игнорирующих традиционные онтологии и предполагающих потенциальную сплошную коммуникабельность не только человеческого мира и человеческих сообществ, но также и любых органических и неорганических миров. Понятно, что репрезентации подобных постполитических плоских онтологий располагаются прежде всего в социальных сетях, в которых, с одной стороны, у профессиональных политиков могут быть миллионы подписчиков, не имеющих прямого отношения к политике (например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо или премьер-министр Индии Нарендра Моди), а с другой стороны, любой «не-политик» в традиционном смысле может заниматься формированием каких угодно «политик», привлекая множество сторонников.

Но мы неслучайно поставили слово «политики» в кавычки: традиционное понимание политики как таковой, безусловно, очень сильно расширяется, однако оно и радикально трансформируется, обретая принципиально новые смыслы и значения, никак фактически не сочетаемые с ее старым образом.

Постполитическое связано с другой, «плоско-онтологической» коммуникативностью, которая возникает на фоне нарастающей урбанистической дискоммуникации и дис-коммуникативности (Джейкобс, 2011; Сеннет, 2002; Апен, Archer, Bosman, 2006; Замятин, 2018). Плоско-онтологическая коммуникативность не предполагает традиционных «иерархических» коммуникативных актов в (пост) городских пространствах: они могут в действительности происходить, но практически они не имеют значения в постурбанистической реальности, становящейся по преимуществу как виртуально-коммуникативные сопостранственности. Урбанистические «эпифании» Джойса или «озарения» Беньямина теряют свой экзистенциальный смысл, поскольку онтологическая *со-бытийность* опространствляется гипермедiallyно; постурбанистические сопостранственности являются постполитической коммуникативностью, переносящей собственно коммуникативные интенсивности в «зоны невидимости», либидинальные пространства заочности.

Сопостранственность медиальных сообществ и новая метагеография

Постгородские сообщества сталкиваются с постполитическим как с всеприсутствующим феноменом повседневности, реализующейся в сопостранственных медиальностях — коммуникативных актах, как бы не заинтересованных, не преследующих собственно локальное понимание конкретных коммуникаторов, а скорее, строящих и расширяющих воображаемые картографии желаний, в рамках которых непосредственные тематические векторы расширения обозначают опосредованное замещение содержания любых политик в их традиционном или же современном смысле. Существенно, что сами постгородские сообщества, понимаемые нами как нечеткие, расплывчатые множества, коммуникативные, вновь возникающие и исчезающие, «облака», не имеющие прямой целью создание и проведение каких-либо политик, являются онтологическими практиками медиальности (Grusin, 2010; Bruhn, 2016; Foellmer, Lünenborg, Raetzsch, 2018), становящейся экзистенцией постурбанизма. Постгородская локальность, следствие таких практик, определяется как медиальное со-бытие, центрирующее здесь-и-сейчас очередную картографию воображения, которую можно рассматривать в качестве постполитического действия.

Постгородская реальность формируется новыми медиальными практиками, развертывающими множества сопостранственных картографий воображения; эти картографии, по сути, не принадлежат конкретным коммуникаторам, медиаторам или же коммуникативным сообществам (Замятин, 2019). Постполитические коммуникативные потоки могут быть осознаны как неопишуемые или безымян-

ные постольку, поскольку сами участники медиативных событий фиксируют тем самым свое *со-отсутствие* или *несовозможность политического*, трактуемого как тотальная онтология присутствия и присвоения имен и знаков, капитализируемых далее в форме конкретных политик и представляющих их политических акторов (Swyngedouw, 2007; Georgiou, 2010; Rodgers, Barnett, Cochrane, 2014; Lee, 2017; Замятин, 2018). Наличие и подтверждение самого медиативного события оказывается симультанным элементом совершенно различных воображаемых картографий, однако это сосуществование и взаимодействие различных картографий «гарантирует» развитие постгородских сообществ и их постполитических онтологий.

Постурбанизм в феноменологическом плане фактически локализует постполитическое как сопространственности медиальных сообществ, не предполагающих последовательное структурирование содержательно-тематических векторов и их репрезентаций. Соответственно, любые постгородские пространства — будь то «физическое» пространство мегаполиса, небольшого города или же «сельской местности» — характеризуются постоянно идущими процессами интенсивных «метафизических» сборок, построением неустойчивых, рассыпающихся и вновь возникающих ассамблежей (Делез, Гваттари, 2008, 2010; Деланда, 2018), в рамках которых онтологизируется проблематика ускользающих, убегающих топографий — со-отсутствующих для медиального сообщества любых размеров. По всей видимости, здесь можно говорить и о разрастании своего рода новой метагеографии, оперирующей нестабильными образно-географическими полями — на переходах между ними функционируют новые городские медиа как коллективные постполитические акторы, пытающиеся «описать неопишемое», трансгрессию локальностей, не закрепляемых более устойчивыми политиками «физической» со-вместности.

Детерриторизация постгородских сообществ и становление гладких пространств постполитического

Детерриторизация постгородских сообществ происходит посредством «выглаживания» городских пространств, превращения их с помощью новых медиа в преимущественно «гладкие пространства», пространства непрерывного «кочевания», передвижения, циклизации, в которых разворачиваются практически невидимые коммуникативные события, чья «поверхность» тем не менее форматируется типовыми матрицами всевозможных СМИ: «политика», «новости», «спорт», «еда», «развлечения», «культура», «дети» и т. д. (Гройс, 2012; Дзялошинский, 2012; Квят, 2014а, 2014б, 2014в). Можно сказать, что с помощью массовых коммуникативных матриц проводится первичное «рифление» расширяющихся гладких постгородских пространств, явно недостаточное для становления соответствующих процессов ретерриторизации городской среды. Территории городских агломераций и мегаполисов постоянно увеличиваются, продолжают расти показатели внешней урбанизированности и транспортные потоки, однако сами урбанизированные

территории становятся все в большей степени источниками развития множеств параллельных сообществ, формирующих свои «невидимые» политики, практически не контролируемые органами городской власти и управления (Young, 1986; Gilbert, 2002; Pursell, 2002; Falzon, 2004; Scott, Oelofse, 2005; Pattillo, 2007; Hou, 2010; Saunders, 2013; Avila, 2014; O'Brien, Matthews, 2016; Замятин, 2018, 2019).

Эти параллельные сообщества имеют свои автономные экономики желания, пользующиеся официальными экономическими возможностями, операциями, обмена, но способы их структурирования принципиально иные, ориентированы на гомогенизацию образно-географических полей в традиционных городских средах и создание новых образных политик, порождающих соппространственности как медиальные события. Постгородские сообщества выглядят в социальном контексте слабоструктурированными и слабосогласованными, внешне их консолидирующая деятельность может напоминать спонтанные флешмобы и не иметь какого-либо отношения к четко выраженным традиционным политическим действиям¹. Вместе с тем здесь можно говорить о специфических локальных геокультурах нового, «ризоматического» типа, развитие которых опирается на постполитические транскрипции социализации и медиализации городских пространств.

В известном смысле пространство постгорода может напоминать циклическое пространство кочующих племен (Делез, Гваттари, 2010; Харауэй, 2016), а сам постгород феноменологически можно приравнять к «телу-без-органов» в интерпретации Делеза и Гваттари, поскольку гладкие пространства постполитического стремятся к «выравниванию», «платоизации» любых политических аффектов или, в крайнем случае, к их минимизации. Исходя из вышесказанного, постгородские политики соппространственности непосредственно связаны со становлением новых медиальных интенсивностей, представляющих собой постоянное ускользание, убежание от «громоздких» традиционных форматов и ритуалов городского коммуницирования и сообщения. Парадоксальным образом большинство членов постгородских сообществ как бы постоянно убегают от традиционного общения, формируя зоны молчания, безмолвия, бессловесности и, как следствие, «невидимости». Наряду с этим постгородское пространство оказывается тотальным местом всевозможных контингентностей (Westwood, Williams, 1997; Graham, 1998; Yoshihara, 2010; Харман, 2012, 2015, 2017; Мейясу, 2015; Legeby, Pont, Marcus, 2015; Пикеринг, 2017; Barros-Grela, 2018), вездесущих случайностей, которые являются «ядрами коагуляции» новых медиальных сообществ — будь то online в социальных сетях, или же offline в городской сутолоке.

Специфика ретерриторизации постгородских пространств

Ретерриторизация городских пространств может быть обеспечена с помощью сверхкодирования не только внешне видимых процессов экономического, соци-

1. Наглядный пример подобной реакции — ситуация, сложившаяся вокруг московского общественного пространства «Яма» на Хохловской площади весной и летом 2019 г.

ального, культурного, коммуникативного потоков, но и процессов формирования «невидимого», бесконечных фрактальных коммуникативных локусов, чья цель — уход от процедур внешнего коммуницирования и соответствующего политического и управленческого контроля (Batty, Xie, 1996; Novak, 1997; Porada, 1997; Salingaros, 1998, 2003; Portugali, 2006; Fahy, Cinnéide, 2009; Vallance et al., 2011; Haas, Westlund, 2017; Николаева, 2012, 2014). Однако «невидимые» постгородские коммуникативные процессы, с одной стороны, постоянно декодируют любые внешние попытки какого-либо формального упорядочения и контроля, декодируя тем самым и процессы пространственного «рифления» городских сред, а с другой стороны, способствуют порождению своего рода неуловимых, ускользающих транскодирующих акторов, по сути, «безымянных», которые переписывают, стирают и вновь переписывают недолговечные «правила» постгородских ситуативных соппространственностей (Lévy, 2014: 45–69). Постгородские сообщества заинтересованы прежде всего в становлении анонимных коммуникативных полей (известный аналог — социальные сети, где коммуникатор, даже выступая под собственным именем, создает новую виртуальную личность, оказывающуюся лишенной настоящего, соответствующего ее профилю имени), выступающих в качестве сиюминутно возникающих и исчезающих мест сборки аффективных интенсивностей — именно эти интенсивности разрушают попытки построения сверхкодирования расширяющихся городских сред.

Аффективность постгородских соппространственностей поддерживается также рождением и постепенным увеличением количества новых специфических городских акторов — постоянных или временных жителей, чья деятельность и перемещения принципиально ускользают как от большинства традиционных городских кодировок, так и от любых попыток сверхкодирования, предпринимаемых в рамках государственных и муниципальных политик. Существенно, что это в основном не члены растущих иммигрантских диаспор, а скорее, люди, обладающие скрытым, латентным «трайбалистским» мышлением, направленным на поиски немногочисленных себе подобных в гладких городских пространствах (Antonio, 2000). Такое мышление может иметь и онтологический статус, подразумевающий аффектированное отношение к ретерриторизации в ее условном «первобытном» понимании: постгородское пространство становится полем бесчисленных кочевых траекторий и маршрутов, чьи цель и проведение заключаются в одновременном поиске-собрании «территории-Земли», мест постсовременной, соппространственной сакрализации и новых «членов племени», людей, осознающих постоянное ускользание как постномадизм самого бытия (Делез, Гваттари, 2010; Чатвин, 2007; Харауэй, 2016, 2018; Ноаге, 2014; Замятин, 2016). В известном смысле подобных людей можно назвать «онтологическими партизанами» городских пространств, однако сущность их неуловимого движения не только в условном символическом «сопротивлении», но и в попытках становления «племенных онтологий», чьи политики привязаны скорее к Земле, нежели к территории.

Постгородские территориальности функционируют как смешанные и перемешанные: наряду с постоянным пространственным «рифлением» и попытками сверхкодирования и перекодирования городских сред (например, установка идеологического памятника, снос старых кварталов и масштабная городская перепланировка, включение новых территорий в городскую черту с соответствующими обоснованиями) развиваются процессы «выглаживания» пространства с участием городских «онтологических партизан», стремящихся, так или иначе, к транскодированию старых территориальностей и воссозданию, хотя и условному, территориальностей, подобных первобытным машинам территориализации (Делез, Гваттари, 2007: 78–82). Это означает, что активизируются случайные, контингентные постгородские ассамбляжи с «перепутанными» и наложенными друг на друга разными по происхождению и возможностям сборки территориальностями; постгородское пространство оказывается нарастающим и почти незаметным «триумфом» плоских онтологий, поскольку любой масштабный проект властей и крупного бизнеса может быть, вне зависимости от скорости и удачности его реализации, «платоизирован», «выпущен» и декодирован как онтологическая предпосылка перехода к первичным земным территориальностям. Постоянные или временные жители постгородских пространств — а ими в таком случае могут быть как живые существа, так и представители органической и неорганической жизни — становятся равноправными и неотъемлемыми элементами постгородской машины, строящей одновременно и коннекции, соединения чужеродных друг другу интенсивностей, так и дизъюнкции симультанных сосуществований аффектированных сопостранственностей.

Геонорм воображения: ключевые черты формирования постгородских геокультур

Постгородские геокультуры, чье развитие является реакцией на сосуществование аффективных сопостранственностей, формируются как текущие, постоянно меняющие свои очертания системы территориальных знаков, причем эти знаки могут фиксировать разрывы между обозначаемым и обозначающим, позволяя тем самым создавать сложные «гео-логические» стратиграфии постгородских территориальностей. Такие стратиграфии не привязаны жестко к визуально значимым городским локусам — в режиме непрерывных смещений они транскрибируют знаковые дистанции, условно измеряющие интенсивности сопостранственных ситуаций. При этом сами постгородские сообщества не формируют те или иные, прямо соответствующие им специфические геокультуры, а скорее, используют и меняют их в зависимости от преобладающего характера целевых коммуникаций. Постгородские геокультуры фактически оказываются *транс-семиотической поверхностью*, обеспечивающей коммуникативные технологии перехода от одних территориальных представлений к другим.

Процессы декодирования городских сред основаны на тотальном переозначивании конкретных локусов, в ходе которого постгородские сообщества инвестируют свои желания в новые территориальности, балансирующие между де- и ретерриторизацией. Либидинальная экономика постгорода (Faubion, 2006) базируется прежде всего на политиках инвестирования в сами процедуры переозначивания, становящиеся автономной областью ментальной постгородской деятельности. Эту деятельность, вне зависимости от ее семиотического «наполнения», стремятся присвоить и кодифицировать как частные, негосударственные, так и крупные корпоративные и государственные акторы, целью которых может выступать разработка схем сверхкодирования подобных процессов. Постполитическое, в силу очевидного ориентирования, с одной стороны, на коннотативное поле понятия биополитики в транскрипции Фуко (Lazzarato, 2002; Braun, 2007; Новиков, 2007; Негри, 2008; Collier, 2009, 2011; Кобылин, 2011; Орлеанский, 2014), а с другой стороны, на вновь возникающие постгородские геокультуры, может рассматриваться здесь как сфера геосемиотического насилия, направленного на сверхкодирование соппространственных ситуаций.

По сути дела, постгородская реальность может трактоваться как абсолютно новая геополитическая действительность, поскольку ретерриторизованные знаки в процессах декодирования указывают на бесконечные «самовоспроизводящиеся» процедуры дизъюнкции и коннекции гладких и рифленых пространств, картографирующие специфические геокультурные воображения, благодаря которым Земля как таковая становится «само-становящейся», ее таковость есть сущность онтологизации соппространственностей. Любая политика, следовательно, становится соппространственной, формирующей очередную постгородскую реальность, где номос Земли очерчивается в ходе перманентных постномадических переозначиваний географических локусов (Шмитт, 2008; Джеймисон, 2009; Dean, 2006; Legg, 2011; Debrix, Barder, 2012; Шляков, 2015; Балаклеец, 2015; Minca, Rowan, 2016; Тупан, 2016; Замятин, 2016). Постгородские сообщества одновременно выступают здесь и как источник новых геополитических акций, и как объект этих же акций, становясь тем самым выражением шизофренического бытия либидинальной экономики пространства. В известном смысле постгород — это геонмос воображения, отождествляющего полис и хору в их античной интерпретации.

Геомашины постполитического: осмос постгородских ситуаций и плоские онтологии

Политики соппространственности, развивающиеся как имажинальные действия по декодированию традиционных территориальных политик, способствуют становлению новых геополитических номосов, выявляющих и реализующих, так или иначе, интенции постурбанистических трансформаций. Такие номосы можно называть территориальными машинами нового типа: интенсивные процессы детерриторизации происходят с помощью спаивания, слияния гладких и рифленых про-

странств, в результате чего формируются «сложностные» гибридные пространства геомеханосферы (Делез, Гваттари, 2010; Свирский, 2012; Аронсон и др., 2016). Соответственно, рано или поздно, начинаются также процессы перехода (постгородских) нетрадиционных геополитических акций в собственно геонимическую деятельность, характеризующуюся появлением ризоматических поселений, в рамках которых человеческие сообщества становятся трансгуманистическими (Харауэй, 2005; Bostrom, 2005; Bainbridge, 2005; Барад, 2018; Юдин, 2013; Аршинов, 2013; Буданов, 2013; Оттуа, 2014; Синельникова, 2017; Митрофанова, 2018). Множественные, бесконечные плоские онтологии, гибридирующие эти сообщества (они уже не являются чисто человеческими), оказываются фундаментом совершенно иных телесностей, превращающих земное пространство в свое онтологическое подобие — Земля разворачивается как глокальный фрактал самой себя (Слотердаик, 2005, 2007, 2010).

По существу, создается новое тело-без-органов, имманентное ризоме сопостранственностей, строящих гаптическое восприятие множественных картографий земного воображения. Это тело, невидимое для сообществ, но постоянно воображаемое ими, становится как геотрансценденция близи, максимально близкого, трансформируемого в даль и в наиболее удаленное, что, в свою очередь, ведет к осмотическому давлению, «осмотизации» любых номосов, могущих организоваться как точки или локусы каких-либо политик. Тело формируется как геомашина постполитического; такая машина «перерабатывает» всякий локус в гаптический горизонт, чье приближение-отдаление является феноменологией сообществ-хор, в которых пространственность уже отождествлена с сопостранственностью. Картографирование сопостранственностей воспроизводит Землю как тотальную хору онтологии постполитического.

Детерриторизованное тело становится ретерриторизованным в единстве бесконечных текучих раздвоений, воссоздающих сингулярности бытия-как-события. По сути дела, постгород в расширенном смысле является смешанным онтологическим воображением океанической (морской) стихии и стихии горной, геоизофрией глубины и высоты как хорических неслиянностей, чья сопостранственная сингулярность фиксирует номосы отдельных сообществ в качестве нераздельных элементов ризоматических состояний. Осмос постгородских ситуаций в условном математическом предделе становится космосом телесных картографий (Cregan, 2006; Pile, 2013), чья визуальность распадается, аннигилируется постоянными сборками метагеографических машин, предполагающих бесконечное производство пространства как тела самого себя. Политическое может рассматриваться в качестве онтологического локуса детерриторизованных потоков кодифицированных желаний (Olkowski, 2000; Diken, Laustsen, 2008; Purcell, 2013), воли к символическому, которые более не ретерриторизируются в формах тех или иных кодов и сборок. Постгородские сообщества фактически расщепляют «единое тело» политического, становящееся фрактальной поверхностью не-соединяемых сообщений самой пространственности.

Давление коммуникативных номосов: невидимые геополитики новых медиа

Новые медиа можно рассматривать как ситуативное воспроизводство сопостранственностей, являющееся ключевой репрезентацией постгородских сообществ. Интенсивные процессы детерриторизации делают постполитическое поле «шизофренической» медиальности, в рамках которой любое послание, информация, сообщение воображается и воспринимается в качестве «двойного топоса», аналога *double bind*, принадлежащего одновременно и максимально отелесненной близости постгородского жителя, и гиперотдаленной виртуальной реальности, которая выражает ускользающий постномадизм онтологий постгорода (фон Самсонов, 2010; Кондрау, 2016). Медиальность постгородских сообществ определяет политики сопостранственности как потоки декодирования городских сред (Smith, 2005; Nas, 2011; Krase, Shortell, 2011; Hickey, 2012; Hunter, 2012; Smith, Burch, 2012; Dembski, 2013; Zenker, Beckmann, 2013; Salesses, Schechtner, Hidalgo, 2013; Papadimitriou, Kyriaki, Apostolopoulou, 2015; Golan, 2015; Утехин, 2012; Ольденбург, 2014; Бредникова, Запорожец, 2014), становящихся аренами новых территориальных ассамблежей, где визуальные аспекты, оставаясь важными, отходят на второй план, уступая «невидимым», а-визуальным областям сенсорной коммуникативности, ориентирующейся во многом на звуковые реалии (Southworth, 1969; Kang, 2007; Kane, 2015; Чубукова, 2015; Nyerges, 2016; Liu, Kang, 2016; Sanchez et al., 2017; Майорова, 2017; Логутов, 2017; Косолапов, 2017; Steingo, Sykes, 2019); визуальный гео-графизм современного города оттесняется аффективной гео-акустикой постгородских пространств.

Сам характер новых медиа задает геонимическую сущность постгородских процессов, направленных на обход, уклонение от традиционных политических акций; номос постгорода постоянно формирует коммуникативную периферию с отсутствующим центром, любое сообщение может сигнализировать о трансакциях воображения, нацеленных на девальвацию систем «центр — периферия». В этой связи быстрое развитие новых медиа может интерпретироваться как своего рода новая геополитика, в которой и собственно политика, и ее географическая составляющая претерпели решающие метаморфозы: отныне не государства, политические и военные союзы, крупные транснациональные корпорации или же закулисные клубы влиятельных политических акторов формируют глобальные геополитические контексты, а скорее, безымянные, неописуемые постгородские сообщества, создающие осмотическое давление бесчисленных коммуникативных номосов, чье географическое положение есть дифференциальная функция хорического ускользания от символической капитализации любого «центра».

Рассредоточение, рассеивание всякой коммуникативной «центральности», означающее сосуществование, сопостранственное положение множеств условных шизофренических «империализмов» (Edwards, 1989; Herr, 2005; Robinson, 2007), не позволяющих утвердить некое общее «право на город» или же «право на тер-

риторию» любого иерархического уровня, поскольку потоки детерриторизации фиксируют бесконечное множество частных «невидимых» геополитик, не формирующих ключевые геополитические коды, а, наоборот, декодирующие любую изначальную попытку кодирования. Становление коммуникативной хоры (Деррида, 1996; Derrida, 1992; Livesey, 1994; Botz-Bornstein, 2002; Canniffe, 2006; Ямпольский, 2007: 39–44, 170–172; Дьяков, 2008; Cappelletti, Picone, Visconti, 2015; Романова, Якушников, 2016) постгородских сообществ может способствовать лишь попыткам сверхкодирования самих коммуникативных дистанций, обеспечивающих принципиальную бесконечную множественность сопостранственных ситуаций и положений. Транскодирование земных пространств постгородскими сообществами ведет к постполитическим трансформациям символического, чья онтология не может более трактоваться как глобальная экономика желаний; либидинальное инвестирование в постгородское геополитическое воображение порождает постоянную имперскую шизофрению всякого выхода за пределы сопостранственной реальности.

* * *

Итак, основные выводы исследования состоят в следующем:

- 1) Новая медиальность играет существенную роль в становлении постгородских политик сопостранственности; новые городские медиа являются базовым элементом формирующихся политик сопостранственности.
- 2) Постполитическое можно интерпретировать феноменологически как нарастающее доминирование плоских коммуникативных онтологий в постурбанистических пространствах, характеризующихся распадом традиционных современных способов общения и коммуникации.
- 3) Становление политик сопостранственности является одним из признаков формирования специфических локальных геокультур нового, «ризоматического» типа, развитие которых опирается на постполитические транскрипции социализации и медиализации городских пространств.
- 4) Номос постгорода постоянно формирует коммуникативную периферию с отсутствующим центром, любое сообщение может сигнализировать о трансакциях воображения, нацеленных на девальвацию систем «центр — периферия».

Литература

- Абашев В. В., Печищев И. М. (2018). Городские сетевые издания как агенты урбанизации // Знак: проблемное поле медиаобразования. № 4. С. 201–213.
- Аксюткина О. А., Зеленова Д. А. (2009). Через сопротивление к сообществу: самоорганизация сквоттеров ЮАР // Неприкосновенный запас. № 5. С. 199–215.
- Амин Э., Трифт Н. (2017). Города: переосмысляя городское / Пер. с англ. В. Николаева. Нижний Новгород: Красная ласточка.

- Аронсон О. В. и др. (2016). Парадигма сложности в перспективе философской стратегии Жюль Делеза: материалы круглого стола // *Философия науки и техники*. Т. 21. № 2. С. 149–181.
- Аришинов В. И. (2013). Трансгуманизм в перспективе эволюции сложности // *Философские науки*. № 8. С. 11–23.
- Балаклеец Н. А. (2015). Terra nullius и отношения власти в социальном пространстве // *Вестник Томского государственного университета*. № 396. С. 38–42.
- Барад К. (2018). Агентный реализм. Как материально-дискурсивные практики обретают значимость / Пер. И. Штейнер // *Крамар М., Саркисова К. (ред.). Опыты нечеловеческого гостеприимства: Антология*. М.: V-A-C press. С. 42–121.
- Бауман З. (2008). Город страхов, город надежд / Пер. с англ. А. Смирнова // *Логос*. № 3. С. 24–53.
- Бредникова О., Запорожец О. (ред.) (2014). Микроурбанизм: город в деталях. М.: Новое литературное обозрение.
- Буданов В. Г. (2013). Квантово-синергетическая антропология и проблемы искусственного интеллекта и трансгуманизма // *Философские науки*. № 9. С. 25–37.
- Вахштайн В. С. (2003). К проблеме темпоральных механизмов социальной организации пространства: анализ резидентальной дифференциации // *Социологическое обозрение*. Т. 3. № 3. С. 71–83.
- Вахштайн В. С. (2013). К концептуализации сообщества: кще раз о резидентности, или Работа над ошибками // *Социология власти*. № 3. С. 8–26.
- Вейц М. Е. (2012). Проекты паблик-арт как диалог между художниками и горожанами (на примере проекта «Критическая масса» // *Журнал исследований социальной политики*. Т. XV. № 1. С. 95–108.
- Верлен Б. (2001). Общество, действие и пространство. Альтернативная социальная география / Пер. с англ. С. Баньковской // *Социологическое обозрение*. Т. 1. № 2. С. 26–48.
- Вирт Л. (2005). Урбанизм как образ жизни // *Вирт Л. Избранные работы по социологии* / Пер. В. Г. Николаева. М.: ИНИОН РАН. С. 93–118.
- Гидденс Э. (2003). Устройство общества: очерк теории структуризации / Пер. с англ. И. Тюриной. М.: Академический Проект.
- Глазков К. П., Зверева Е. А. (2014). Любимый район: к вопросу о привязанности к городу // *Социология власти*. № 2. С. 165–189.
- Гройс Б. (2012). Публичное пространство: от пустоты к парадоксу. М.: Strelka Press.
- Давыдов С. Г., Логунова О. С. (2018). Сообщества московских районов в социальных медиа: контент и его модерация // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. № 1. С. 204–221.
- Деланда М. (2018). Новая философия общества: Теория ассамбляжей и социальная сложность / Пер. с англ. К. С. Майоровой. Пермь: Гиле Пресс, 2018.
- Делез Ж., Гваттари Ф. (2008). Анти-Эдип: капитализм и шизофрения / Пер. с франц. Д. Кралечкина. Екатеринбург: У-Фактория.

- Делез Ж., Гваттари Ф. (2010). Тысяча плато: капитализм и шизофрения / Пер. с франц. Я. И. Свирского. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель.
- Деррида Ж. (1996). Хора / Пер. с франц. Н. А. Шматко // Шматко Н. А. (ред.). Социо-Логос постмодернизма 97. М.: Институт экспериментальной социологии. С. 122–171.
- Джеймисон Ф. (2009). Заметки о «Номосе» / Пер. с англ. А. Корбута // Социологическое обозрение. Т. 8. № 2. С. 17–20.
- Джекобс Дж. (2011). Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. Л. Мотылева. М.: Новое издательство.
- Дзялошинский И. М. (2012). Коммуникационные процессы в обществе: институты и субъекты. М.: АПК и ППРО.
- Димке Д. В., Корюхина И. Ю. (2013). Поселок городского типа: временные ритмы деурбанизированного сообщества // Социология власти. № 2. С. 73–93.
- Добрякова М. С. (1999). Исследования локальных сообществ в социологической традиции // Социологические исследования. № 7. С. 125–133.
- Дугин А. Г. (2004). Философия политики. М.: Арктогея.
- Дугин А. Г. (2009). Четвертая политическая теория. СПб.: Амфора.
- Дьяков А. В. (2008). Хорология Деррида: заметки на полях // Хора. № 4. С. 81–90.
- Епанова Ю. В. (2015). Антропологический опыт городской навигации в эпоху цифровых медиа: к постановке проблемы // Вестник Самарского муниципального института управления. № 2. С. 167–173.
- Замятин Д. Н. (2016). Постномадизм: пространственные антропологии путешествий // Уральский исторический вестник. № 2. С. 17–26.
- Замятин Д. Н. (2018). Постгород: пространство и онтологические модели воображения // Политические исследования. № 3. С. 147–165.
- Замятин Д. Н. (2019). Постгород (II): картографии воображения и политики сопостранственности // Социологическое обозрение. Т. 18. № 1. С. 9–35.
- Зеленова Д. А., Кручинский В. В. (2013). Психогеография «городка из консервных банок»: практики государственного регулирования городской неформальности в современной ЮАР // Социология власти. № 3. С. 112–132.
- Зеленцов М. В. (2015). Городские медиа: условия функционирования // Вопросы теории и практики журналистики. Т. 4. № 3. С. 262–272.
- Ильина О. В. (2018). Новые городские медиа как субъект конструирования территориальной идентичности // Знак: проблемное поле медиаобразования. № 4. С. 215–223.
- Кастельс М. (2000). Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ВШЭ.
- Квят А. Г. (2014а). История зарубежных городских коммуникативных исследований // Медиаскоп. № 4.
- Квят А. Г. (2014б). Кафе без еды, фастфуд как медиа, временный парк: поствиртуальность и город 3.0 в России // Вестник Волгоградского государственного

- университета. Сер. 7. Философия. Социология и социальные технологии. № 3. С. 126–136.
- Квят А. Г. (2014в). Гетеротопия городского пикника с точки зрения теории публичной сферы: кроссдисциплинарное кейс-стади // Журнал социологии и социальной антропологии. № 4. С. 136–149.
- Кобылин И. И. (2011). Исток и сингулярность: Дж. Агамбен и М. Фуко о рождении биовласти // Философия и общество. № 3. С. 171–183.
- Кондрау Ж. (2016). Философские и антропологические основания дазайн-анализа / Пер. с нем. И. Казаковой // HORIZON: феноменологические исследования. Т. 5. Вып. 2. С. 315–427.
- Корконосенко С. Г. (ред.). (2012). Современный российский медиаполис. СПб.: СПбГУ.
- Косолапов Н. А. (2017). Обзор актуальных исследований звука в городе // Городские исследования и практики. Т. 2. № 4. С. 59–71.
- Куренной В. А. (2012). Новая городская романтика. Политические и культур-социальные аспекты новейшего российского протеста // Логос. № 2. С. 30–45.
- Лапина-Кратасюк Е. Г. (2013). Проблема городского пространства в теориях сетевого общества и культуре новых медиа // Вестник РГГУ. Серия: Культурология. Искусствоведение. Музеология. № 7. С. 97–104.
- Ледяев В. Г. (2012). Социология власти: теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах. М.: Издательский дом ВШЭ.
- Лейбович О. Л., Шушкова Н. В. (2010). Власть и городские сообщества в социальном пространстве большого города (на материалах г. Перми) // Мир России: Социология, этнология. Т. 19. № 2. С. 118–130.
- Лейбович О. Л., Шушкова Н. В., Кабацков А. Н. (2012). Этническое и экономическое: этюд о фоновых практиках // Вестник ПГИИК. № 13–14. С. 55–64.
- Лиотар Ж.-Ф. (2018). Либицинальная экономика / Пер. с фр. В. Е. Лапицкого под ред. С. Л. Фокин. М.: Изд-во Ин-та Гайдара.
- Логутов А. В. (2017). Звуковые практики и материальность городского пространства // Городские исследования и практики. Т. 2. № 4. С. 39–51.
- Луман Н. (2004). Общество как социальная система / Пер. с нем. А. Антоновского. М.: Логос.
- Майорова К. С. (2017). Urban Sound Studies: новые горизонты городских исследований // Городские исследования и практики. Т. 2. № 4. С. 11–20.
- Маккуайр С. (2014). Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство / Пер. с англ. М. Коробочкина. М.: Strelka Press.
- Маккуайр С. (2018). Геомедиа: сетевые города и будущее общественного пространства / Пер. с англ. И. Третьякова. М.: Strelka Press.
- Мейясу К. (2015). После конечности: эссе о необходимости контингентности / Пер. с франц. Л. Медведевой. М.: Кабинетный ученый.
- Митрофанова А. Д. (2018). Киборг как код новой онтологии. Политические и эпистемологические аспекты гибридных тел // Логос. № 4. С. 109–128.

- Митчелл У. Дж. (2012). Я++: человек, город, сети / Пер. с англ. Д. Симановского. М.: Strelka Press.
- Нанси Ж.-Л. (2009). Непроизводимое сообщество / Пер. с франц. Ж. Горбылевой и Е. Троицкого. М.: Водолей.
- Нанси Ж.-Л. (2004). Бытие единичное множественное / Пер. с франц. В. В. Фурс под ред. Т. В. Щитцовой. Минск: И. Логвинов.
- Негри А. (2008). Труд множества и ткань биополитики / Пер. с англ. И. Борисовой // Синий диван. № 12. С. 79–82.
- Николаева Е. В. (2014). Фракталы городской культуры. СПб.: Страта.
- Николаева Е. В. (2012). Города как фрактальные перекрестки мира // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. № 3. С. 92–106.
- Новиков А. В., Серова Е. И., Богоров В. Г. (2013). Самопознание города. Раздел D — «Данные» // Археология периферии. М.: Московский урбанистический форум. С. 380–405.
- Новиков Д. В. (2007). Два языка Джорджо Агамбена // Социологическое обозрение. Т. 6. № 1. С. 38–40.
- Ольденбург Р. (2014). Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества / Пер. с англ. А. Широкаковой. М.: Новое литературное обозрение.
- Орлеанский Н. Н. (2014). Пространственный аспект биополитической концепции М. Фуко // Сравнительная политика. Т. 5. № 4. С. 24–28.
- Оттуа Ж. (2014). Трансгуманизм это гуманизм? // Человек. № 6. С. 46–53.
- Павлов А. В. (2016). Локальные городские сообщества в социальных сетях: между «соседской» и «гражданской» коммуникацией // Лабиринт. № 5. С. 45–56.
- Павлюткин И. В., Юдин Г. Б. (2015). Сообщество как данность и сообщество как процесс: стратегии изучения малых городов // Laboratorium. Т. 7. № 3. С. 88–105.
- Парк Р. Э. (2006). Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок / Пер. с англ. С. Баньковской // Социологическое обозрение. Т. 5. № 1. С. 11–18.
- Парк Р. (2008а). Город как социальная лаборатория // Филиппов А. Ф. (ред.). Социологическая теория: история, современность, перспективы. СПб.: Владимир Даль. С. 30–46.
- Парк Р. (2008б). Организация сообщества и романтический характер // Филиппов А. Ф. (ред.). Социологическая теория: история, современность, перспективы. СПб.: Владимир Даль. С. 46–55.
- Парк Р. (2011). Город: предложения по исследованию человеческого поведения в городской среде // Парк Р. Избранные очерки / Пер. с англ. В. Г. Николаева. М.: ИНИОН РАН. С. 19–56.
- Паченков О. В. (2012). Публичное пространство города перед лицом вызовов современности // Новое литературное обозрение. № 5. С. 419–439.
- Пикеринг Э. (2017). Новые онтологии / Пер. с англ. Н. Кочинян // Логос. Т. 27. № 3. С. 153–173.

- Пузанов К. А. (2013). Территориальные границы городских сообществ // Социология власти. № 3. С. 27–38.
- Романова А. П., Якушенков С. Н. (2016). Хоррористический ландшафт Хоры, или Платон vs Тернер // Вопросы философии. № 12. С. 73–81.
- Самсонов Э. фон (2010). Тело, машина и искусство: «Я очень хотела бы радикализации понятий, и даже своего рода архаической радикализации». Беседа с Элизабет фон Самсонов / Пер. с нем. М. А. Степанова // ХОРА. № 1–2. С. 150–156.
- Сарна А. Я. (2019). Городской шаман. Техномистицизм в современной культуре // Макарыч М. В. (укл.). Тэарэтычныя і прыкладныя аспекты этналагічных даследаванняў. Мінск: БНТУ. С. 12–17.
- Свирский Я. И. (2012). «Сложностное» мышление в контексте философских стратегий Ж. Делеза и Ф. Гваттари // Вестник Российского университета дружбы народов. № 1. С. 37–47.
- Сеннет Р. (2002). Падение публичного человека / Пер. с англ. О. Исаевой, Е. Рудницкой, Вл. Софронова, К. Чухрукидзе. М.: Логос.
- Синельникова Л. Н. (2017). Ризома и дискурс интермедиальности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. Т. 21. № 4. С. 805–821.
- Слотердаjk П. (2005). Сферы: Микросферология. Т. 1: Пузыри / Пер. с нем. К. В. Лощевского. СПб.: Наука.
- Слотердаjk П. (2007). Сферы: Макросферология. Т. 2: Глобусы / Пер. с нем. К. В. Лощевского. СПб.: Наука.
- Слотердаjk П. (2010). Сферы: Плюральная сферология. Т. 3: Пена / Пер. с нем. К. В. Лощевского. СПб.: Наука.
- Сойя Э. У. (2007). Дигитальные сообщества, Сим-сити и гиперреальность повседневной жизни / Пер. с англ. А. Броницкой. ПРОЕКТ International. № 15. С. 127–141.
- Сойя Э. У. (2008). Как писать о городе с точки зрения пространства? / Пер. с англ. А. Смирнова // Логос. № 3. С. 130–140.
- Теннис Ф. (1998). Общность и общество / Пер. с нем. А. Н. Малинкина // Социологический журнал. № 3–4. С. 207–229.
- Товбин К. М. (2013). Постполитика в традиционалистском изложении // Politbook. № 3. С. 179–191.
- Тыканова Е. В., Хохлова А. М. (2014). Траектории самоорганизации локальных сообществ в ситуациях оспаривания городского пространства // Социология власти. № 2. С. 104–122.
- Утехин И. (2012). Публичность и ритуал в пространстве постсоветского города. М.: Strelka Press.
- Харауэй Д. (2005). Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х гг. / Пер. А. Гараджи // Дипуэлл К., Бредихина Л. М. (ред.). Гендерная теория и искусство. Антология: 1970–2000. М.: РОССПЭН. С. 322–377.

- Харауэй Д. (2016). Антропоцен, Капиталоцен, Плантациоцен, Ктулуцен: создание племени // Художественный журнал. № 99. С. 8–16.
- Харауэй Д. (2018). Тентакулярное мышление: антропоцен, капиталоцен, ктулуцен / Пер. А. Писарева, К. Полуэктовой-Кример, Д. Престес, И. Штейнер // Крамар М., Саркисов К. (ред.). Опыты нечеловеческого гостеприимства. М.: V-A-C press. С. 180–228.
- Харман Г. (2012). О замещающей причинности / Пер. с англ. А. Маркова // Новое литературное обозрение. № 2. С. 75–90.
- Харман Г. (2015). Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера / Пер. с англ. А. Морозова и О. Мышкина. Пермь: Гиле Пресс.
- Харман Г. (2017). Сети и ассамбляжи: возрождение вещей у Латуры и Деланда / Пер. с англ. А. Писарева // Логос. Т. 27. № 3. С. 1–35.
- Чатвин Б. (2007). Тропы песен / Пер. с англ. Т. Азаркович под ред. О. Никифорова. М.: Paulsen.
- Чубукова М. А. (2015). Особенности звуковой среды Арбатского района г. Москвы // Городские исследования и практики. Пилотный номер. С. 67–79.
- Шляков А. В. (2015). Смысловые «корни» номадизма // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и практики. № 8. Ч. II. Тамбов: Грамота. С. 210–212.
- Шмитт К. (2008). Номос Земли в праве народов *Jus publicum Europaeum* / Пер. с нем. К. Лощевского и Ю. Коринца под ред. Д. Кузницына. СПб.: Владимир Даль.
- Юдин Б. Г. (2013). Трансгуманизм — наше будущее? // Человек. № 4. С. 5–13.
- Юдин Г. Б., Колошенко Ю. А. (2014). Стратегии производства туристического опыта в малом городе: локальное сообщество и символическое конструирование в городе Мышкин // Лабиринт. № 5. С. 5–14.
- Ямпольский М. Б. (2007). Ткач и визионер: очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре. М.: Новое литературное обозрение.
- Aliello G., Tosoni S. (2016). Going About the City: Methods and Methodologies for Urban Communication Research Introduction // International Journal of Communication. Vol. 10. P. 1252–1262.
- Amen M. M., Archer K., Bosman M. M. (eds.). (2006). Relocating Global Cities: From the Center to the Margins. Boulder: Rowman & Littlefield.
- Amit V. (ed.). (2002). Realizing Community: Concepts, Social Relationships and Sentiments. L.: Routledge.
- Antonio R. J. (2000). After Postmodernism: Reactionary Tribalism // American Journal of Sociology. Vol. 106. № 1. P. 40–87.
- Arnason, J. P., Raaflaub K. A., Wagner P. (eds.). (2013). The Greek Polis and the Invention of Democracy: A Politico-Cultural Transformation and Its Interpretations. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Avila E. (2014). L.A.'s Invisible Freeway Revolt: The Cultural Politics of Fighting Freeways // Journal of Urban History. Vol. 40. № 5. P. 831–842.

- Bainbridge W. S. (2005). Transhumanism Heresy // *Journal of Evolution and Technology*. Vol. 14. № 2. P. 1–10.
- Barros-Grela E. (2018). Past Future Cityscapes: Narratives of the Post-Human in Post-Urban Environments // *Maurer Y., Koren-Kuik M. (eds.). Cityscapes of the Future: Urban Spaces in Science Fiction*. Leiden: Brill. P. 28–48.
- Batty M., Xie Y. (1996). Preliminary Evidence for a Theory of the Fractal City // *Environment and Planning A: Economy and Space*. Vol. 28. № 10. P. 1745–1762.
- Blackshaw T. (2009). *Key Concepts in Community Studies*. L.: SAGE.
- Blokland T., Savage M. (eds.). (2008). *Networked Urbanism: Social Capital in the City*. Aldershot: Ashgate.
- Bostrom N. (2005). A History of Transhumanist Thought // *Journal of Evolution and Technology*. Vol. 14. № 1. P. 1–25.
- Botz-Bornstein Th. (2002). Khora or Idyll? The Space of the Dream // *Philosophical Forum*. Vol. XXXIII. № 2. P. 173–194.
- Boyer M.C. (1992). The Imaginary Real World of CyberCities // *Assemblage*. № 18. P. 114–127.
- Braun B. (2007). Biopolitics and the Molecularization of Life // *Cultural Geographies*. Vol. 14. № 1. P. 6–28.
- Brighenti A. M. (2012). New Media and Urban Motilities: A Territoriologic Point of View // *Urban Studies*. Vol. 49. № 2. P. 399–414.
- Bruhn J. (2016). What is Mediality, and (How) does it Matter? Theoretical Terms and Methodology // *Bruhn J. The Intermediality of Narrative Literature*. L.: Palgrave Macmillan. P. 13–40.
- Canniffe E. (2006). *Urban Ethic: Design in the Contemporary City*. L.: Routledge.
- Capozzi R., Picone A., Visconti F. (2015). The City Built in Elementary Parts: An Alternative to Delirium of Post-metropolis // *Archnet*. Vol. 9. № 2. P. 137–151.
- Chandler D. (2016). Post-political Ontologies and the Problems of Anti-anthropocentrism: Reply to Tsouvalis // *Global Discourse*. Vol. 6. № 1–2. P. 40–42.
- Cohen A. P. (1985). *The Symbolic Construction of Community*. L.: Routledge.
- Collier S. J. (2009). Topologies of Power: Foucault's analysis of Political Government beyond «Governmentality» // *Theory, Culture & Society*. Vol. 26. № 6. P. 78–108.
- Collier S. J. (2011). *Post-Soviet Social: Neoliberalism, Social Modernity, Biopolitics*. Princeton: Princeton University Press.
- Crang M., Crosbie T., Graham S. (2007). Technology, Time-Space, and the Remediation of Neighbourhood Life // *Environment and Planning A: Economy and Space*. Vol. 39. № 10. P. 2405–2422.
- Cregan K. (2006). *The Sociology of the Body: Mapping the Abstraction of Embodiment*. L.: SAGE.
- de Lange M., de Waal M. (2013). Owning the City: New Media and Citizen Engagement in Urban Design // *First Monday*. Vol. 18. № 11. P. 1–13.
- Dean M. (2006). A Political Mythology of World Order: Carl Schmitt's Nomos // *Theory Culture Society*. Vol. 23. № 5. P. 1–22.

- Dear M. J.* (2000). *The Postmodern Urban Condition*. Oxford: Blackwell.
- Debrix F., Barder A. D.* (2012). *Beyond Biopolitics: Theory, Violence, and Horror in World Politics*. L.: Routledge.
- Delanty G.* (2003). *Community*. L.: Routledge.
- Dembski S.* (2013). In Search of Symbolic Markers: Transforming the Urbanized Landscape of the Rotterdam Rijnmond // *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 37. № 6. P. 2014–2034.
- Derrida J.* (1992). Response to Daniel Libeskind // *Research in Phenomenology*. Vol. 22. № 1. P. 88–94.
- Diken B., Laustsen C. B.* (2008). Nomadism and the Ghetto // *Mouritsen P., Jørgensen K. E.* (eds.). *Constituting Communities: Political Solutions to Cultural Conflict*. L.: Palgrave Macmillan. P. 236–252.
- Edwards L. R.* (1989). Schizophrenic Narrative // *Journal of Narrative Technique*. Vol. 19. № 1. P. 25–30.
- Edwards P.* (2006). Citizenship Inc.: Negotiating Civic Spaces in Post-urban America // *Critical Survey*. Vol. 18. № 3. P. 19–36.
- Fahy F., Cinnéide M. Ó.* (2009). Re-Constructing the Urban Landscape through Community Mapping: An Attractive Prospect for Sustainability? // *Area*. Vol. 41. № 2. P. 167–175.
- Falzon M.-A.* (2004). Paragons of Lifestyle: Gated Communities and the Politics of Space in Bombay // *City & Society*. Vol. 16. № 2. P. 145–167.
- Faubion J.* (2006). Hyperreal Athens: Phantasmatic Memory and the Reproduction of Civic Alienation // *Culture & Memory*. Special Issue of Modern Greek Studies (Australia and New Zealand). P. 175–190.
- Foellmer S., Lünenborg M., Raetzsch C.* (eds.). (2018). *Media Practices, Social Movements, and Performativity: Transdisciplinary Approaches*. L.: Routledge.
- Foth M., Klæbe H. G., Hearn G. N.* (2008). The Role of New Media and Digital Narratives in Urban Planning and Community Development // *Body, Space & Technology*. Vol. 7. № 2. P. 1–18.
- Freeman J.* (2008). Great, Good, and Divided: The Politics of Public Space in Rio de Janeiro // *Journal of Urban Affairs*. Vol. 30. № 5. P. 529–556.
- Georgiou M.* (2010). Identity, Space and the Media: Thinking through Diaspora // *Revue Européenne des Migrations Internationales*. Vol. 26. № 1. P. 17–35.
- Gibson T. A., Lowes M. D.* (2007). *Urban Communication: Production, Text, Context*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Gilbert P. K.* (ed.). (2002). *Imagined Londons*. Albany: SUNY Press.
- Golan A.* (2015). The Street as Urban Icon? Tel Aviv's Rothschild Boulevard // *Urban Geography*. Vol. 36. № 5. P. 721–734.
- Graham S.* (1998). The End of Geography or the Explosion of Place? Conceptualizing Space, Place and Information Technology // *Progress in Human Geography*. Vol. 22. № 2. P. 165–185.
- Grusin R.* (2010). *Premediation: Affect and Mediality after 9/11*. L.: Palgrave Macmillan.

- Gumpert G., Drucker S. J. (2005). Communication and Urban Life // *Intermedia*. Vol. 33. № 2. P. 18–23.
- Haas T. (ed.). (2008). *New Urbanism and beyond: Designing Cities for the Future*. N.Y.: Rizzoli.
- Haas T., Westlund H. (eds.). (2017). *In the Post-Urban World: Emergent Transformation of Cities and Regions in the Innovative Global Economy*. L.: Routledge.
- Hansen M. H. (1998). *Polis and City-State: An Ancient Concept and Its Modern Equivalent*. Copenhagen: Munksgaard.
- Herr Ch. T. (2005). The Color of Schizophrenia // Lopez A. J. (ed.). *Postcolonial Whiteness: A Critical Reader on Race and Empire*. Albany: SUNY Press. P. 137–155.
- Hickey A. T. (2012). *Cities of Signs: Learning the Logic of Urban Spaces*. N.Y.: Peter Lang.
- Hoare A. E. (2014). The View from the Traveler Site: Post-nomadic Subjects and the Material Relations of Permanent Temporary Dwelling // *Opticon* 1826. № 16. P. 1–16.
- Hou J. (ed.). (2010). *Insurgent Public Space: Guerrilla Urbanism and the Remaking of Contemporary Cities*. L.: Routledge.
- Jeffres L. W. (2002). *Urban Communication Systems: Neighborhoods and the Search for Community*. Cresskill: Hampton Press.
- Hunter W. C. (2012). Projected Destination Image: A Visual Analysis of Seoul // *Tourism Geographies*. Vol. 14. № 3. P. 419–433.
- Kane B. (2015). Sound Studies without Auditory Culture: A Critique of the Ontological Turn // *Sound Studies*. Vol. 1. № 1. P. 2–21.
- Kang J. (2007). *Urban Sound Environment*. L.: Routledge.
- Kelbaugh D. (2000). Three Paradigms: New Urbanism, Everyday Urbanism, Post Urbanism — An Excerpt from *The Essential Common Place* // *Bulletin of Science, Technology and Society*. Vol. 20. № 4. P. 285–289.
- Kittler F. (1996). The City is a Medium // *New Literary History*. Vol. 27. № 4. P. 717–729.
- Krajina Z., Stevenson D. (eds.). (2019). *The Routledge Companion to Urban Media and Communication*. L.: Routledge.
- Krase J., Shortell T. (2011). On the Spatial Semiotics of Vernacular Landscapes in Global Cities // *Visual Communication*. Vol. 10. № 3. P. 367–400.
- Lazzarato M. (2002). From Biopower to Biopolitics // *Pli: The Warwick Journal of Philosophy*. Vol. 13. P. 99–113.
- Lee Ch. (ed.). (2017). *Spectral Spaces and Hauntings: The Affects of Absence*. L.: Routledge.
- Legeby A., Pont M. D., Marcus L. (2015). Streets for Co-presence? Mapping Potentials // Karimi K., Vaughan L., Sailer K., Palaiologou G., Bolton T. (eds.). *SSS10: Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium*. L.: University College London. P. 108:1–108:17.
- Legg S. (ed.). (2011). *Spatiality, Sovereignty and Carl Schmitt: Geographies of the Nomos*. L.: Routledge.
- Lévy J. (2014). *Inhabiting* // Lee R. et al. (eds.). *The SAGE Handbook of Human Geography*. L.: SAGE. P. 45–68.

- Liu F., Kang J.* (2016). A Grounded Theory Approach to the Subjective Understanding of Urban Soundscape in Sheffield // *Cities*. Vol. 50. P. 28–39.
- Livesey G.* (1994). Fictional Cities // *Pérez-Gómez A., Parcell S.* (eds.). *Chora 1: Intervals in the Philosophy of Architecture*. Montréal: McGill-Queen's University Press. P. 109–122.
- Macek S.* (2006). *Urban Nightmares: The Media, the Right, and the Moral Panic over the City*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Matsaganis M., Gallagher V., Drucker S.* (eds.). (2013). *Communicative Cities in the 21st Century*. N.Y.: Peter Lang.
- Mattern S.* (2017). *Code and Clay, Data and Dirt: Five Thousand Years of Urban Media*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Minca C., Rowan R.* (2016). *On Schmitt and Space*. L.: Routledge.
- Mouffe C.* (2005). *On the Political*. L.: Routledge.
- Nas P. J. M.* (ed.). (2011). *Cities Full of Symbols: A Theory of Urban Space and Culture*. Leiden: Leiden University Press.
- Novak M.* (1997). Transmitting Architecture — the Transphysical City // *Kroker A., Kroker M.* (eds.). *Digital Delirium*. Montreal: New World. P. 1–11.
- Nyerges A.* (2016). Hearing Hart Crane: In the Shape of New York's Noise // *Sound Studies*. Vol. 2. № 2. P. 107–118.
- O'Brien D., Matthews P.* (eds.). (2016). *After Urban Regeneration: Communities, Policy and Place*. Bristol: Policy Press.
- Olkowski D.* (2000). Deleuze and Guattari: Flows of Desire and the Body // *Silverman H. J.* (ed.). *Philosophy and Desire*. L.: Routledge. P. 171–209.
- Papadimitriou D., Kyriaki K., Apostolopoulou A.* (2015). Destination Personality, Affective Image, and Behavioral Intentions in Domestic Urban Tourism // *Journal of Travel Research*. Vol. 54. № 3. P. 302–315.
- Pasini R.* (2018). *Landscape Paradigms and Post-urban Spaces: A Journey Through the Regions of Landscapes*. B.: Springer.
- Pattillo M.* (2007). *Black on the Block: The Politics of Race and Class in the City*. Chicago: Chicago University Press.
- Pile S.* (1996). *The Body and the City: Psychoanalysis, Space and Subjectivity*. L.: Routledge.
- Porada M.* (1997). Virtual «Genius loci»; or, The Urban Genius of the Lieu // *Martens B.* (ed.). *Challenges of the Future: 15th eCAADe Conference Proceedings* (Vienna, Austria, 17–20 September 1997). Vienna: Österreichischer Kunst- und Kulturverlag. P. 1–4.
- Portugali J.* (2006). Complexity Theory as a Link between Space and Place // *Environment and Planning A: Economy and Space*. Vol. 38. № 4. P. 647–664.
- Purcell M.* (2002). Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban Politics of the Inhabitant // *GeoJournal*. Vol. 58. № 2–3. P. 99–108.
- Purcell M.* (2013). A New Land: Deleuze and Guattari and Planning // *Planning Theory & Practice*. Vol. 14. № 1. P. 20–38.

- Ridell S., Zeller F.* (2013). Mediated Urbanism: Navigating an Interdisciplinary Terrain // The International Communication Gazette. Vol. 75. № 5–6. P. 437–451.
- Robinson W. I.* (2007). Beyond the Theory of Imperialism: Global Capitalism and the Transnational State // Societies Without Borders. Vol. 2. № 1. P. 5–26.
- Rodgers S., Barnett C., Cochrane A.* (2014). Media Practices and Urban Politics: Conceptualizing the Powers of Media-Urban Nexus // Environment and Planning D: Society and Space. Vol. 32. № 6. P. 1054–1070.
- Salesses P., Schechtner K., Hidalgo C. A.* (2013). The Collaborative Image of the City: Mapping the Inequality of Urban Perception // PLOS ONE. Vol. 8. № 7. Art. e0119352.
- Salingaros N. A.* (1998). Theory of the Urban Web // Journal of Urban Design. Vol. 3. № 1. P. 53–71.
- Salingaros N. A.* (2003). Connecting the Fractal City. Keynote speech, 5th Biennial of Towns and Town Planners in Europe (Barcelona, April 2003).
- Sanchez G. M. E., Van Renterghem T., Sun K., De Coensel B., Botteldooren D.* (2017). Using Virtual Reality for Assessing the Role of Noise in the Audio-Visual Design of an Urban Public Space // Landscape and Urban Planning. № 167. P. 98–107.
- Saunders P.* (2013). Urban Politics: A Sociological Interpretation. L.: Routledge.
- Scott D., Oelofse C.* (2005). Social and Environmental Justice in South African Cities: Including «Invisible Stakeholders» in Environmental Assessment Procedures // Journal of Environmental Planning and Management. Vol. 48. № 3. P. 445–467.
- Smith A.* (2005). Conceptualizing City Image Change: The «Re-imaging» of Barcelona // Tourism Geographies. Vol. 7. № 4. P. 398–423.
- Smith D. J., Burch S.* (2012). Enacting Identities in the EU-Russia Borderland: An Ethnography of Place and Public Monuments // East European Politics & Societies. Vol. 26. № 2. P. 400–424.
- Smith M. P.* (2001). Transnational Urbanism: Locating Globalization. Oxford: Blackwell.
- Smith M. P., McQuarrie M.* (eds.). (2017). Remaking Urban Citizenship: Organizations, Institutions, and the Right to the City. L.: Routledge.
- Soja E. W.* (1996). Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Oxford: Blackwell.
- Soja E. W.* (2000). Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Oxford: Blackwell.
- Southworth M.* (1969). The Sonic Environment of Cities // Environment and Behavior. Vol. 1. № 1. P. 49–70.
- Souza e Silva A. de* (2006). From Cyber to Hybrid: Mobile Technologies as Interfaces of Hybrid Spaces // Space & Culture. Vol. 9. № 3. P. 261–278.
- Steingo G., Sykes J.* (eds.). (2019). Remapping Sound Studies. Durham: Duke University Press.
- Swyngedouw E.* (2007). The Post-Political City // Urban Politics Now: Re-imagining Democracy in the Neoliberal city. Rotterdam: Netherland Architecture Institute (NAI) Publishers. P. 58–76.

- Tsouvalis J.* (2016). Latour's Object-Orientated Politics for a Post-Political Age // *Global Discourse*. Vol. 6. № 1–2. P. 26–39.
- Tynan A.* (2016). Desert Earth: Geophilosophy and the Anthropocene // *Deleuze Studies*. Vol. 10. № 4. P. 479–495.
- Vallance S., Perkins H. C., Bowring J., Dixon J. E.* (2011). Almost Invisible: Glimpsing the City and its Residents in the Urban Sustainability Discourse // *Urban Studies*. Vol. 49. № 8. P. 1695–1710.
- Wellman B.* (2001). Physical Place and Cyber Place: The Rise of Networked Individualism // *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 25. № 2. P. 227–252.
- Westlund H.* (2014). Urban Futures in Planning, Policy and Regional Science: Are We Entering a Post-Urban World? // *Built Environment*. Vol. 40. № 4. P. 447–457.
- Westwood S., Williams J.* (eds.). (1997). *Imagining Cities: Scripts, Signs, Memory*. L.: Routledge.
- Yoshihara N.* (2010). *Fluidity of Place: Globalization and the Transformation of Urban Space*. Melbourne: Trans Pacific Press.
- Young I. M.* (1986). The Ideal of Community and the Politics of Difference // *Social Theory and Practice*. Vol. 12. № 1. P. 1–26.
- Zenker S., Beckmann S. C.* (2013). My Place is not Your Place: Different Place Brand Knowledge by Different Target Groups // *Journal of Place Management and Development*. Vol. 6. № 1. P. 6–17.
- Žižek S.* (1999). Carl Schmitt in the Age of Post-Politics // *Mouffe Ch.* (ed.). *The Challenge of Carl Schmitt*. L.: Verso. P. 18–37.

Post-City (III): Co-spatiality Politics and New Mediality

Dmitry Zamyatin

Chief Research Fellow, Vysokovsky Graduate School of Urbanism, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: dzamyatin@hse.ru

One of the most significant factors influencing the co-spatialities regimes of post-urban communities is the development of new urban media. On the one hand, new urban media symbolizes the complex transition to new post-urban communities and new spatial regimes of their existence; on the other hand, they are the basic element of the newly emerging policies of co-spatialities. From the phenomenological point of view, post-politics is treated as the growing dominance of flat communicative ontologies in post-urban spaces, characterized by the disintegration of the traditional modern methods of communication. A post-urban locality is defined as a medial co-being, centering the next here-and-now cartography of imagination, which can be considered as a post-political action. The de-territorialization of post-urban communities takes place through the “smoothing” of urban spaces, turning them into mostly “smooth spaces” with the help of the new media. Specific local geo-cultures, a new, “rhizomatic” type whose

development is based on the post-political transcription of socialization and medialization of urban spaces, are formed. The affectivity of post-urban co-spatialities is manifested in the gradual increase in the number of new specific urban actors that herald the slipping away of traditional state and municipal policies. The post-political can be considered as a sphere of geo-semiotic violence aimed at the over-coding of co-spatial situations. The mapping of co-spatialities reproduces the Earth as a total chora of post-political ontology. The post-city nomos constantly forms a communicative periphery with the missing center, where any message can signal the transactions of imagination aimed at the devaluation of "center-periphery" systems.

Keywords: post-city, community, new media, post-politics, de-territorization, co-spatiality, geo-culture, flat ontologies, meta-geography

References

- Abashev V., Pechishhev I. (2018) Gorodskie setevye izdanija kak agenty urbanizacii [Urban Network Publications as Agents of Urbanization]. *Sign: Problem Field of Media Education*, no 4, pp. 201–213.
- Aksyutina O., Zelenova D. (2009) Cherez soprotivlenie k soobshhestvu: samoorganizacija skvotterov JuAR [Through Resistance to the Community: Self-organization of South African Squatters]. *Neprikosnovenny Zapas*, no 5, pp. 199–215.
- Aliello G., Tosoni S. (2016) Going About the City: Methods and Methodologies for Urban Communication Research Introduction. *International Journal of Communication*, vol. 10, pp. 1252–1262.
- Amen M. M., Archer K., Bosman M. M. (eds.) (2006) *Relocating Global Cities: From the Center to the Margins*, Boulder: Rowman & Littlefield.
- Amin A., Thrift N. (2017) *Goroda: pereosmysljaja gorodskoe* [Cities: Reimagining the Urban], Nizhny Novgorod: Krasnaya lastochka.
- Amit V. (ed.) (2002) *Realizing Community: Concepts, Social Relationships and Sentiments*, London: Routledge.
- Antonio R. J. (2000) After Postmodernism: Reactionary Tribalism. *American Journal of Sociology*, vol. 106, no 1, pp. 40–87.
- Arnason, J. P., Raaflaub K. A., and Wagner P. (eds.) (2013) *The Greek Polis and the Invention of Democracy: A Politico-Cultural Transformation and Its Interpretations*, Chichester: Wiley-Blackwell.
- Aronson O. et al. (2016) Paradigma slozhnosti v perspektive filosofskoj strategii Gilles Deleuze: materialny kruglogo stola [The Complexity Paradigm in the Perspective of Gilles Deleuze's Philosophical Strategy: Materials of the Round Table]. *Philosophy of Science and Technology*, vol. 21, no 2, pp. 149–181.
- Arshinov V. I. (2013) Transgumanizm v perspektive jevoljucii slozhnosti [Transhumanism in the Perspective of Complexity Evolution]. *Philosophical Science*, no 8, pp. 11–23.
- Avila E. (2014) L.A.'s Invisible Freeway Revolt: The Cultural Politics of Fighting Freeways. *Journal of Urban History*, vol. 40, no 5, pp. 831–842.
- Bainbridge W. S. (2005) Transhumanism Heresy. *Journal of Evolution and Technology*, vol. 14, no 2, pp. 1–10.
- Balakleets N. (2015) Terra nullius i otnoshenija vlasti v social'nom prostranstve [Terra Nullius and Power Relations in Social Space]. *Bulletin of Tomsk State University*, no 396, pp. 38–42.
- Barad K. (2018) Agentnyj realizm. Kak material'no-diskursivnye praktiki obretajut znachimost' [Agent-Based Realism: How Material-Discursive Practices Gain Significance]. *Opyty nechelovecheskogo gostepriimstva: Antologija* [Experiences of Non-human Hospitality: Anthology] (eds. M. Kramar, K. Sarkisova), Moscow: V-A-C Press, pp. 42–121.
- Barros-Grela E. (2018) Past Future Cityscapes: Narratives of the Post-Human in Post-Urban Environments. *Cityscapes of the Future: Urban Spaces in Science Fiction* (eds. Y. Maurer, M. Koren-Kuik), Leiden: Brill, pp. 28–48.
- Batty M., Xie Y. (1996) Preliminary Evidence for a Theory of the Fractal City. *Environment and Planning A: Economy and Space*, vol. 28, no 10, pp. 1745–1762.
- Bauman Z. (2008) Gorod strahov, gorod nadezhd [City of Fears, City of Hopes]. *Logos*, no 3, pp. 24–53.

- Blackshaw T. (2009) *Key Concepts in Community Studies*, London: SAGE.
- Blokland T., Savage M. (eds.) (2008) *Networked Urbanism: Social Capital in the City*, Aldershot: Ashgate.
- Bostrom N. (2005) A History of Transhumanist Thought. *Journal of Evolution and Technology*, vol. 14, no 1, pp. 1–25.
- Botz-Bornstein Th. (2002) Khora or Idyll? The Space of the Dream. *Philosophical Forum*, vol. 33, no 2, pp. 173–194.
- Boyer M.C. (1992) The Imaginary Real World of CyberCities. *Assemblage*, no 18, pp. 114–127.
- Braun B. (2007) Biopolitics and the Molecularization of Life. *Cultural Geographies*, vol. 14, no 1, pp. 6–28.
- Brednikova O., Zaporozhec O. (eds.) (2014) *Mikrourbanizm: gorod v detaljah* [Micro-urbanism: The City in Detail], Moscow: New Literary Observer.
- Brighenti A. M. (2012) New Media and Urban Motilities: A Territoriologic Point of View. *Urban Studies*, vol. 49, no 2, pp. 399–414.
- Bruhn J. (2016) What is Mediality, and (How) does it Matter? Theoretical Terms and Methodology. *The Intermediality of Narrative Literature*, London: Palgrave Macmillan, pp. 13–40.
- Budanov V. (2013) Kvantovo-sinergeticheskaja antropologija i problemy iskusstvennogo intellekta i transgumanizma [Quantum-Synergetic Anthropology and Problems of Artificial Intelligence and Transhumanism]. *Philosophical Science*, no 9, pp. 25–37.
- Canniffe E. (2006) *Urban Ethic: Design in the Contemporary City*, London: Routledge.
- Capozzi R., Picone A., Visconti F. (2015) The City Built in Elementary Parts: An Alternative to Delirium of Post-metropolis. *Archnet*, vol. 9, no 2, pp. 137–151.
- Castells M. (2000) *Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo i kul'tura* [The Information Age: Economy, Society and Culture], Moscow: HSE.
- Chandler D. (2016) Post-political Ontologies and the Problems of Anti-anthropocentrism: Reply to Tsouvalis. *Global Discourse*, vol. 6, no 1–2, pp. 40–42.
- Chatwin B. (2007) *Tropy pesen* [The Songlines], Moscow: Paulsen.
- Chubukova M. (2015) Osobennosti zvukovoj sredy Arbatskogo rajona g. Moskvy [Features of the Sound Environment of the Arbatsky District of Moscow]. *Urban Research and Practices*, pilot no, pp. 67–79.
- Cohen A. P. (1985) *The Symbolic Construction of Community*, London: Routledge.
- Collier S. J. (2009) Topologies of Power: Foucault's analysis of Political Government beyond "Governmentality". *Theory, Culture & Society*, vol. 26, no 6, pp. 78–108.
- Collier S. J. (2011) *Post-Soviet Social: Neoliberalism, Social Modernity, Biopolitics*, Princeton: Princeton University Press.
- Condrau G. (2016) Filosofskie i antropologicheskie osnovanija dazajn-analiza [Philosophical and Anthropological Foundations of Dasein Analysis]. *HORIZON: Phenomenological Research*, vol. 5, no 2, pp. 315–427.
- Crang M., Crosbie T., Graham S. (2007), Technology, Time-Space, and the Remediation of Neighbourhood Life. *Environment and Planning A: Economy and Space*, vol. 39, no 10, pp. 2405–2422.
- Cregan K. (2006) *The Sociology of the Body: Mapping the Abstraction of Embodiment*, London: SAGE.
- Davydov S., Logunova O. (2018) Soobshhestva moskovskih rajonov v social'nyh media: kontent i ego moderacija [Communities of Moscow Districts in Social Media: Content and Its Moderation]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 1, pp. 204–221.
- Dean M. (2006) A Political Mythology of World Order: Carl Schmitt's Nomos. *Theory, Culture & Society*, vol. 23, no 5, pp. 1–22.
- Dear M. J. (2000) *The Postmodern Urban Condition*, Oxford: Blackwell.
- Debrix F., Barder A. D. (2012) *Beyond Biopolitics: Theory, Violence, and Horror in World Politics*, London: Routledge.
- DeLanda M. (2018) *Novaja filosofija obshhestva: teorija assambljazhej i social'naja slozhnost'* [New Philosophy of Society: Theory of Assemblages and Social Complexity], Perm: Gile Press.
- Delanty G. (2003) *Community*, London: Routledge.

- Deleuze G., Guattari F. (2008) *Anti-Edip: kapitalizm i shizofreniya* [Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia], Yekaterinburg: U-Faktoriya.
- Deleuze G., Guattari F. (2010) *Tysyacha plato: kapitalizm i shizofreniya* [A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia], Ekaterinburg: U-Faktoriya; Moscow: Astrel.
- Dembski S. (2013) In Search of Symbolic Markers: Transforming the Urbanized Landscape of the Rotterdam Rijnmond. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 37, no 6, pp. 2014–2034.
- Derrida J. (1992) Response to Daniel Libeskind. *Research in Phenomenology*, vol. 22, no 1, pp. 88–94.
- Derrida J. (1996) Hora [Chora]. *Socio-Logos postmodernizma* 97 [Socio-Logos of Postmodernism 97] (ed. N. Shmatko), Saint Petersburg: Aletya, pp. 122–171.
- Diken B., Laustsen C. B. (2008) Nomadism and the Ghetto. *Constituting Communities: Political Solutions to Cultural Conflict* (eds. P. Mouritsen, K. E. Jørgensen), London: Palgrave Macmillan, pp. 236–252.
- Dimke D., Korzukhina I. (2013) Poselok gorodskogo tipa: vremennye ritmy deurbanizirovannogo soobshchestva [Urban-type Settlement: Temporary Rhythms of a Deurbanized Community]. *Sociology of Power*, no 2, pp. 73–93.
- Dobriakova M. (1999) Issledovaniya lokal'nykh soobshchestv v sociologicheskoy traditsii [Research of Local Communities in the Sociological Tradition]. *Sociological Studies*, no 7, pp. 125–133.
- Dugin A. (2004) *Filosofiya politiki* [The Philosophy of Politics], Moscow: Arktogetya.
- Dugin A. (2009) *Chetvertaya politicheskaya teoriya* [The Fourth Political Theory], Saint Petersburg: Amfora.
- Dyakov A. (2008) Horologiya Derrida: Zametki na poljah [Derrida's Horology: Notes in the Margins]. *Chora*, no 4, pp. 81–90.
- Dzaloshinsky I. (2012) *Kommunikatsionnye processy v obshchestve: instituty i sub'ekty* [Communication Processes in Society: Institutions and Subjects], Moscow: APK i PPRO.
- Edwards L. R. (1989) Schizophrenic Narrative. *Journal of Narrative Technique*, vol. 19, no 1, pp. 25–30.
- Edwards P. (2006) Citizenship Inc.: Negotiating Civic Spaces in Post-urban America. *Critical Survey*, vol. 18, no 3, pp. 19–36.
- Epanova Y. (2015) Antropologicheskij opyt gorodskoj navigatsii v jepohu cifrovyykh media: k postanovke problemy [Anthropological Experience of Urban Navigation in the Era of Digital Media: Towards the Problem Statement]. *Bulletin of the Samara Municipal Institute of Management*, no 2, pp. 167–173.
- Fahy F., Cinnéide M. Ó. (2009) Re-constructing the Urban Landscape through Community Mapping: An Attractive Prospect for Sustainability?. *Area*, vol. 41, no 2, pp. 167–175.
- Falzon M.-A. (2004) Paragons of Lifestyle: Gated Communities and the Politics of Space in Bombay. *City & Society*, vol. 16, no 2, pp. 145–167.
- Faubion J. (2006) Hyperreal Athens: Phantasmatic Memory and the Reproduction of Civic Alienation. *Culture & Memory*, Special Issue of Modern Greek Studies (Australia and New Zealand), pp. 175–190.
- Foellmer S., Lünenborg M., Raetzsch C. (eds.) (2018) *Media Practices, Social Movements, and Performativity: Transdisciplinary Approaches*, London: Routledge.
- Foth M., Klæbe H. G., Hearn G. N. (2008) The Role of New Media and Digital Narratives in Urban Planning and Community Development. *Body, Space & Technology*, vol. 7, no 2, pp. 1–18.
- Freeman J. (2008) Great, Good, and Divided: The Politics of Public Space in Rio de Janeiro. *Journal of Urban Affairs*, vol. 30, no 5, pp. 529–556.
- Georgiou M. (2010) Identity, Space and the Media: Thinking through Diaspora. *Revue Européenne des Migrations Internationales*, vol. 26, no 1, pp. 17–35.
- Gibson T. A., Lowes M. D. (2007) *Urban Communication: Production, Text, Context*, Lanham: Rowman & Littlefield.
- Giddens A. (2003) *Ustroenie obshchestva: ocherk teorii strukturatsii* [The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration], Moscow: Akademicheskyy Proekt.
- Gilbert P. K. (ed.) (2002) *Imagined Londons*, Albany: SUNY Press.
- Glazkov K., Zvereva E. (2014) Ljubimyy rajon: k voprosu o privjazannosti k gorodu [Favorite District: On the Issue of Attachment to the City]. *Sociology of Power*, no 2, pp. 165–189.

- Golan A. (2015) The Street as Urban Icon? Tel Aviv's Rothschild Boulevard. *Urban Geography*, vol. 36, no 5, pp. 721–734.
- Graham S. (1998) The End of Geography or the Explosion of Place? Conceptualizing Space, Place and Information Technology. *Progress in Human Geography*, vol. 22, no 2, pp. 165–185.
- Groys B. (2012) *Publichnoe prostranstvo: ot pustoty k paradoksu* [Public Space: from Emptiness to Paradox], Moscow: Strelka Press.
- Grusin R. (2010) *Premediation: Affect and Mediality After 9/11*, London: Palgrave Macmillan.
- Gumpert G., Drucker S.J. (2005) Communication and Urban Life. *Intermedia*, vol. 33, no 2, pp. 18–23.
- Haas T. (ed.) (2008) *New Urbanism and beyond: Designing Cities for the Future*, New York: Rizzoli.
- Haas T., Westlund H. (eds.) (2017) *In the Post-Urban World: Emergent Transformation of Cities and Regions in the Innovative Global Economy*, London: Routledge.
- Hansen M. H. (1998) *Polis and City-State. An Ancient Concept and its Modern Equivalent*, Copenhagen: Munksgaard.
- Haraway D. (2005) Manifest kiborgov: nauka, tehnologija i socialisticheskij feminizm 1980-h gg. [Manifesto of Cyborgs: Science, Technology and Socialist Feminism of the 1980s]. *Gendernaja teorija i iskusstvo: Antologija: 1970–2000* [Gender Theory and Art: Anthology, 1970–2000] (eds. K. Dipwell, L. Bredikhina), Moscow: ROSSPEN, pp. 322–377.
- Haraway D. (2016) Antropocen, Kapitalocen, Plantaciocen, Ktulucen: sozdanie plemeni [Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin]. *Khudozestvennyy Zhurnal*, no 99, pp. 8–16.
- Haraway D. (2018) Tentakuljarnoe myshlenie: Antropocen, kapitalocen, htulucen [Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene]. *Opyty nechelovecheskogo gostepriimstva: Antologija* [Experiences of Non-human Hospitality: Anthology] (eds. M. Kramar, K. Sarkisov), Moscow: V-A-C press, pp. 180–228.
- Harman G. (2012) O zameshhajushhej prichinnosti [On Substitutive Causality]. *New Literary Observer*, no 2, pp. 75–90.
- Harman G. (2015) *Chetverojakij ob'ekt: metafizika veshhej posle Hajdeggera* [The Quadruple Object: The Metaphysics of Things after Heidegger], Perm: Gile Press.
- Harman G. (2017) Seti i assambljazhi: vozrozhdenie veshhej u Latour i Delanda [Networks and Assemblages: The Rebirth of Things in Latour and DeLanda]. *Logos*, vol. 27, no 3, pp. 1–35.
- Herr Ch. T. (2005) The Color of Schizophrenia. *Postcolonial Whiteness: A Critical Reader on Race and Empire* (ed. A. J. Lopez), Albany: SUNY Press, pp. 137–155.
- Hickey A. T. (2012) *Cities of Signs: Learning the Logic of Urban Spaces*, New York: Peter Lang.
- Hoare A. E. (2014) The View from the Traveler Site: Post-nomadic Subjects and the Material Relations of Permanent Temporary Dwelling. *Opticon* 1826, no 16, pp. 1–16.
- Hottois G. (2014) Transgumanizm jeto gumanizm? [Transhumanism is Humanism?]. *Chelovek*, no 6, pp. 46–53.
- Hou J. (ed.) (2010) *Insurgent Public Space: Guerrilla Urbanism and the Remaking of Contemporary Cities*, London: Routledge.
- Hunter W. C. (2012) Projected Destination Image: A Visual Analysis of Seoul. *Tourism Geographies*, vol. 14, no 3, pp. 419–433.
- Illina O. (2018) Novye gorodskie media kak sub'ekt konstruirovaniya territorial'noj identichnosti [New Urban Media as a Subject of Territorial Identity Construction]. *Sign: Problematic Field of Media Education*, no 4, pp. 215–223.
- Jacobs J. (2011) *Smert' i zhizn' bol'shih amerikanskih gorodov* [The Death and Life of Great American Cities], Moscow: Novoe izdatel'tvo.
- Jameson F. (2009) Zametki o "Nomose" [Notes on the Nomos]. *Sociological Review*, vol. 8, no 2, pp. 17–20.
- Jeffres L. W. (2002) *Urban Communication Systems: Neighborhoods and the Search for Community*, CressKil: Hampton Press.
- Kane B. (2015) Sound Studies without Auditory Culture: A Critique of the Ontological Turn. *Sound Studies*, vol. 1, no 1, pp. 2–21.
- Kang J. (2007) *Urban Sound Environment*, London: Routledge.

- Kelbaugh D. (2000) Three Paradigms: New Urbanism, Everyday Urbanism, Post Urbanism — An Excerpt from *The Essential Common Place*. *Bulletin of Science, Technology and Society*, vol. 20, no 4, pp. 285–289.
- Kittler F. (1996) The City is a Medium. *New Literary History*, vol. 27, no 4, pp. 717–729.
- Kobylin I. (2011) Istok i singularnost': J. Agamben i M. Foucault o rozhdenii biovlasti [The Source and Singularity: G. Agamben and M. Foucault on the Birth of Bio-power]. *Philosophy and Society*, no 3, pp. 171–183.
- Korkonosenko S. (ed.) (2012) *Sovremennyy rossijskij mediapolis* [Modern Russian Media City], Saint Petersburg: SPSU.
- Kosolapov N. (2017) Obzor aktual'nyh issledovanij zvuka v gorode [The Review of Contemporary Studies of Sound in the City]. *Urban Research and Practices*, vol. 2, no 4, pp. 59–71.
- Krajina Z., Stevenson D. (eds.) (2019) *The Routledge Companion to Urban Media and Communication*, London: Routledge.
- Krase J., Shortell T. (2011) On the Spatial Semiotics of Vernacular Landscapes in Global Cities. *Visual Communication*, vol. 10, no 3, pp. 367–400.
- Kurennoy V. (2012) Novaja gorodskaja romantika: politicheskie i kul'tur-social'nye aspekty novjshego rossijskogo protesta [New Urban Romance. Political and Cultural-Social Aspects of the Latest Russian Protest]. *Logos*, no 2, pp. 30–45.
- Kvyat A. (2014) Geterotopija gorodskogo piknika s tochki zrenija teorii publichnoj sfery: krossdisciplinarnoe kejs-stadi [Heterotopia of the Urban Picnic from the Point of View of the Theory of the Public Sphere: A Cross-disciplinary Case Study]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, no 4, pp. 136–149.
- Kvyat A. (2014) Istoriya zarubezhnyh gorodskih kommunikativnyh issledovanij [History of Foreign Urban Communicative Research]. *Mediascope*, no 4.
- Kvyat A. (2014) Kafe bez edy, fastfud kak media, vremennyy park: postvirtual'nost' i gorod 3.0 v Rossii [A Café without Food, Fast Food Media, a Temporary Park: Post-virtuality and the City 3.0 in Russia]. *Bulletin of Volgograd State University. Series 7: Philosophy. Sociology and Social Technologies*, no 3, pp. 126–136.
- Lange M. de, Waal M. de (2013) Owning the City: New Media and Citizen Engagement in Urban Design. *First Monday*, vol. 18, no 11, pp. 1–13.
- Lapina-Kratasyuk E. (2013) Problema gorodskogo prostranstva v teorijah setevogo obshhestva i kul'ture novykh media [The Problem of Urban Space in Network Society Theories and New Media Culture]. *RSUH Bulletin. Series: Cultural Studies. Art Criticism. Museology*, no 7, pp. 97–104.
- Lazzarato M. (2002) From Biopower to Biopolitics. *Pli: The Warwick Journal of Philosophy*, no 13, pp. 99–113.
- Ledyayev V. (2012) *Sociologija vlasti: teoriya i opyt jempiricheskogo issledovaniya vlasti v gorodskih soobshhestvakh* [Sociology of Power: Theory and Experience of Empirical Research of Power in Urban Communities], Moscow: HSE.
- Lee Ch. (ed.) (2017) *Spectral Spaces and Hauntings: The Affects of Absence*, London: Routledge.
- Legeby A., Pont M. D., Marcus L. (2015) Streets for Co-presence? Mapping Potentials. *SSS10: Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium* (eds. K. Karimi, L. Vaughan, K. Sailer, G. Palaologou, T. Bolton), London: University College London, pp. 108:1–108:17.
- Legg S. (ed.) (2011) *Spatiality, Sovereignty and Carl Schmitt: Geographies of the Nomos*, London: Routledge.
- Leibovich O., Shushkova N. (2010) Vlast' i gorodskie soobshhestva v social'nom prostranstve bol'shogo goroda (na materialah g. Permi) [Power and Urban Communities in the Social Space of a Large City (Based on the Materials of Perm)]. *World of Russia: Sociology, Ethnology*, vol. 19, no 2, pp. 118–130.
- Leibovich O., Shushkova N., Kabatskov A. (2012) Jetnicheskoe i jekonomicheskoe: jetjud o fonovykh praktikah [Ethnic and Economic: A Study of Background Practices]. *Bulletin of PGILK*, no 13–14, pp. 55–64.
- Lévy J. (2014) Inhabiting. *The SAGE Handbook of Human Geography* (eds. R. Lee R., N. Castree, R. Kitchin, V. Lawson, A. Paasi, Ch. Philo, S. Radcliffe, S. M. Roberts, Ch. W. J. Withers), London: SAGE, pp. 45–68.

- Liu F., Kang J. (2016) A Grounded Theory Approach to the Subjective Understanding of Urban Soundscape in Sheffield. *Cities*, vol. 50, pp. 28–39.
- Livesey G. (1994) Fictional Cities. *Chora 1: Intervals in the Philosophy of Architecture* (eds. A. Pérez-Gómez, S. Parcell), Montréal: McGill-Queen's University Press, pp. 109–122.
- Logutov A. (2017) Zvukovye praktiki i material'nost' gorodskogo prostranstva [Sound Practices and Materiality of Urban Space]. *Urban Research and Practices*, vol. 2, no 4, pp. 39–51.
- Luhmann N. (2004) *Obshchestvo kak social'naja sistema* [Society as a Social System], Moscow: Logos.
- Lyotard J.-F. (2018) *Libidinal'naja jekonomika* [Libidinal Economics], Moscow: Gaidar Institute Press.
- Macek S. (2006) *Urban Nightmares: The Media, the Right, and the Moral Panic over the City*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Matsaganis M., Gallagher V., Drucker S. (eds.) (2013) *Communicative Cities in the 21st Century*, New York: Peter Lang.
- Mattern S. (2017) *Code and Clay, Data and Dirt: Five Thousand Years of Urban Media*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Mayorova K. (2017) Urban Sound Studies: novye gorizonty gorodskih issledovanij [Urban Sound Studies: New Horizons of Urban Research]. *Urban Research and Practices*, vol. 2, no 4, pp. 11–20.
- McQuire S. (2014) *Medijnyj gorod: media, arhitektura i gorodskoe prostranstvo* [Media City: Media, Architecture and Urban Space], Moscow: Strelka Press.
- McQuire S. (2018) *Geomedia: setevye goroda i budushhee obshchestvennogo prostranstva* [GeoMedia: Network Cities and the Future of Public Space], Moscow: Strelka Press.
- Meillassoux Q. (2015) *Posle konechnosti: jesse o neobходимosti kontingentnosti* [After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingent], Moscow: Kabinetny Ucheny.
- Minca C., Rowan R. (2016) *On Schmitt and Space*, London: Routledge.
- Mitchell W. J. (2012) *Ja++: chelovek, gorod, seti* [I++: Man, City, Networks], Moscow: Strelka Press.
- Mitrofanova A. (2018) Kiborg kak kod novej ontologii: politicheskie i jepistemologicheskie aspekty gibridnyh tel [Cyborg as the Code of a New Ontology: Political and Epistemological Aspects of Hybrid Bodies]. *Logos*, no 4, pp. 109–128.
- Mouffe C. (2005) *On the Political*, London: Routledge.
- Nancy J.-L. (2004) *Bytie edinichnoe mnozhestvennoe* [Being Single Multiple], Minsk: I. Logvinov.
- Nancy J.-L. (2009) *Neproizvodimoe soobshchestvo* [Unproductive Community], Moscow: Vodoley.
- Nas P. J. M. (ed.) (2011) *Cities Full of Symbols: A Theory of Urban Space and Culture*, Leiden: Leiden University Press.
- Negri A. (2008) Trud mnozhestva i tkan' biopolitiki [The Labour of the Set and the Fabric of Biopolitics]. *Siny Divan*, no 12, pp. 79–82.
- Nikolaeva E. (2012) Goroda kak fraktal'nye perekrestki mira [Cities as Fractal Intersections of the World]. *Labyrinth*, no 3, pp. 92–106.
- Nikolaeva E. (2014) *Fraktaly gorodskoj kul'tury* [Fractals of Urban Culture], Saint Petersburg: Strata.
- Novak M. (1997) Transmitting Architecture — The Transphysical City. *Digital Delirium* (eds. A. Kroker, M. Kroker), Montreal: New World, pp. 1–11.
- Novikov A., Serova E., Bogorov V. (2013) Samopoznanie goroda. Razdel D: "Dannye" [Self-Knowledge of the City. Section D: "Data"]. *Arheologija periferii* [Archeology of the Periphery], Moscow: Moskovsky Urbanistichesky Forum, pp. 380–405.
- Novikov D. (2007) Dva jazyka Dzjordzhio Agambena [Two Languages of Giorgio Agamben]. *Russian Sociological Review*, vol. 6, no 1, pp. 38–40.
- Nyerges A. (2016) Hearing Hart Crane: In the Shape of New York's Noise. *Sound Studies*, vol. 2, no 2, pp. 107–118.
- O'Brien D., Matthews P. (eds.) (2016) *After Urban Regeneration: Communities, Policy and Place*, Bristol: Policy Press.
- Oldenburg R. (2014) *Tret'e mesto: kafe, kofejni, knizhnye magaziny, bary, salony krasoty i drugie mesta "tusovok" kak fundament soobshchestva* [Third Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Beauty Salons and Other Places "Hangouts" as the Foundation of the Community], Moscow: New Literary Observer.
- Olkowski D. (2000) Deleuze and Guattari: Flows of Desire and the Body. *Philosophy and Desire* (ed. H. J. Silverman), London: Routledge, pp. 171–209.

- Orleansky N. (2014) Prostranstvennyj aspekt biopoliticheskoy koncepcii M. Fuko [Spatial Aspect of M. Foucault's Biopolitical Concept]. *Comparative Politics*, vol. 5, no 4, pp. 24–28.
- Pachenkov O. (2012) Publichnoe prostranstvo goroda pered licom vyzovov sovremennosti [Public Space of the City in the Face of Modern Challenges]. *New Literary Observer*, no 5, pp. 419–439.
- Papadimitriou D., Kyriaki K., Apostolopoulou A. (2015) Destination Personality, Affective Image, and Behavioral Intentions in Domestic Urban Tourism. *Journal of Travel Research*, vol. 54, no 3, pp. 302–315.
- Park R. E. (2006) Gorodskoe soobshhestvo kak prostranstvennaja konfiguracija i moral'nyj porjadok [Urban Community as a Spatial Configuration and Moral Order]. *Russian Sociological Review*, vol. 5, no. 1, pp. 11–18.
- Park R. E. (2008) Organizacija soobshhestva i romanticheskij harakter [Community Organization and Romantic Character]. *Sociologicheskaja teorija: istorija, sovremennost', perspektivy* [Sociological Theory: History, Current State, Perspectives] (ed. A. F. Filippov), Saint Petersburg: Vladimir Dal, pp. 46–55.
- Park R. E. (2008) Gorod kak social'naja laboratorija [The City as a Social Laboratory]. *Sociologicheskaja teorija: istorija, sovremennost', perspektivy* [Sociological Theory: History, Current State, Perspectives] (ed. A. F. Filippov), Saint Petersburg: Vladimir Dal, pp. 30–46.
- Park R. E. (2011) Gorod: Predlozhenija po issledovaniju chelovecheskogo povedenija v gorodskoj srede [City: Proposals for the Study of Human Behavior in the Urban Environment]. *Izbrannye ocherki* [Selected Essays], Moscow: INION RAN, pp. 19–56.
- Pasini R. (2018) *Landscape Paradigms and Post-urban Spaces: A Journey Through the Regions of Landscapes*, Berlin: Springer.
- Pattillo M. (2007) *Black on the Block: The Politics of Race and Class in the City*, Chicago: Chicago University Press.
- Pavlov A. (2016) Lokal'nye gorodskie soobshhestva v social'nyh setjah: mezhdru "sosedskoj" i "grazhdanskoj" kommunikacii [Local Urban Communities in Social Networks: between "Neighbor" and "Civil" Communication]. *Labyrinth*, no 5, pp. 45–56.
- Pavlyutkin I., Yudin G. (2015) Soobshhestvo kak dannost' i soobshhestvo kak process: strategii izuchenija malyh gorodov [Community as a Given and Community as a Process: Strategies for Studying Small Cities]. *Laboratorium*, vol. 7, no 3, pp. 88–105.
- Pickering A. (2017) Novye ontologii [New Ontologies]. *Logos*, vol. 27, no 3, pp. 153–173.
- Pile S. (1996) *The Body and the City: Psychoanalysis, Space and Subjectivity*, London: Routledge.
- Porada M. (1997) Virtual "Genius loci"; or, The Urban Genius of the Lieu. *Challenges of the Future: 15th eCAADe Conference Proceedings* (Vienna, Austria, 17–20 September 1997) (ed. B. Martens), Vienna: Österreichischer Kunst- und Kulturverlag, pp. 1–4.
- Portugali J. (2006) Complexity Theory as a Link between Space and Place. *Environment and Planning A: Economy and Space*, vol. 38, no 4, pp. 647–664.
- Purcell M. (2002) Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban Politics of the Inhabitant. *GeoJournal*, vol. 58, no 2–3, pp. 99–108.
- Purcell M. (2013) A New Land: Deleuze and Guattari and Planning. *Planning Theory & Practice*, vol. 14, no 1, pp. 20–38.
- Puzanov K. (2013) Territorial'nye granicy gorodskih soobshhestv [The Territorial Boundaries of Urban Communities]. *Sociology of Power*, no 3, pp. 27–38.
- Ridell S., Zeller F. (2013) Mediated Urbanism: Navigating an Interdisciplinary Terrain. *The International Communication Gazette*, vol. 75, no 5–6, pp. 437–451.
- Robinson W. I. (2007) Beyond the Theory of Imperialism: Global Capitalism and the Transnational State. *Societies Without Borders*, vol. 2, no 1, pp. 5–26.
- Rodgers S., Barnett C., Cochrane A. (2014) Media Practices and Urban Politics: Conceptualizing the Powers of Media-Urban Nexus. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 32, no 6, pp. 1054–1070.
- Romanova A. P., Yakushenkov S. N. (2016) Hororisticheskij landschaft Hory, ili Plato vs Turner [Hororist Landscape of Chora; or, Plato vs Turner]. *Voprosy Filosofii*, no 12, pp. 73–81.
- Salesses P., Schechtner K., Hidalgo C. A. (2013) The Collaborative Image of the City: Mapping the Inequality of Urban Perception. *PLOS ONE*, vol. 8, no 7.

- Salingaros N. A. (1998) Theory of the Urban Web. *Journal of Urban Design*, vol. 3, no 1, pp. 53–71.
- Salingaros N. A. (2003) Connecting the Fractal City (Keynote speech, 5th Biennial of Towns and Town Planners in Europe (Barcelona, April 2003)).
- Samsonov von E. (2010) Telo, mashina i iskusstvo: "Ja ochen' hotela by radikalizacii ponjatij, i dazhe svoego roda arhaicheskoj radikalizacii". Beseda Elizabeth von Samsonov [Body, Machine and Art: "I would very much like to radicalize concepts, and even a kind of archaic radicalization". Conversation with Elizabeth von Samsonov]. *Chora*, no 1–2, pp. 150–156.
- Sanchez G. M. E., Van Renterghem T., Sun K., De Coensel B., Botteldooren D. (2017) Using Virtual Reality for Assessing the Role of Noise in the Audio-visual Design of an Urban Public Space. *Landscape and Urban Planning*, no 167, pp. 98–107.
- Sarna A. (2019) Gorodskoj shaman: tehnomisticizm v sovremennoj kul'ture [Urban Shaman: Technomysticism in Modern Culture]. *Tjearjetychnyja i prykladnyja aspekty jetnalagichnyh dasledavannyja* [Theoretical and Applied Aspects of Ethnological Research] (ed. M. Makarych), Minsk: BNTU, pp. 12–17.
- Saunders P. (2013) *Urban Politics: A Sociological Interpretation*, London: Routledge.
- Schmitt C. (2008) *Nomos Zemli v prave narodov Jus publicum Europaeum* [Nomos of the Earth in the Law of Peoples Jus publicum Europaeum], Saint Petersburg: Vladimir Dal.
- Scott D., Oelofse C. (2005) Social and Environmental Justice in South African cities: Including "Invisible Stakeholders" in Environmental Assessment Procedures. *Journal of Environmental Planning and Management*, vol. 48, no 3, pp. 445–467.
- Sennett R. (2002) *Padenie publicnogo cheloveka* [The Fall of Public Man], Moscow: Logos.
- Shlyakov A. (2015) Smyslovye "korni" nomadizma [Semantic "Roots" of Nomadism]. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie: voprosy teorii i praktiki*. T. 8. Ch. II [Historical, Philosophical, Political and Legal Sciences, Cultural Studies and Art Criticism: Questions of Theory and Practice, Vol. 8, Part 2], Tambov: Gramota, pp. 210–212.
- Sinelnikova L. (2017) Rizoma i diskurs intermedial'nosti [Rhizome and Discourse of Intermediality]. *Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Linguistics*, vol. 21, no 4, pp. 805–821.
- Sloterdijk P. (2005) *Sfery: Mikrosferologija*. Vol. 1: *Puzyri* [Spheres: Microspherology, Vol. 1: Bubbles], Saint Petersburg: Nauka.
- Sloterdijk P. (2007) *Sfery: Mikrosferologija*. Vol. 2: *Globusy* [Spheres: Microspherology, Vol. 2: Globes], Saint Petersburg: Nauka.
- Sloterdijk P. (2010) *Sfery: Mikrosferologija*. Vol. 3: *Pljural'naja sferologija* [Spheres: Microspherology, Vol. 3: The Plural Spherology], Saint Petersburg: Nauka.
- Smith A. (2005) Conceptualizing City Image Change: The "Re-imaging" of Barcelona. *Tourism Geographies*, vol. 7, no 4, pp. 398–423.
- Smith D. J., Burch S. (2012) Enacting Identities in the EU-Russia borderland: An Ethnography of Place and Public Monuments. *East European Politics & Societies*, vol. 26, no 2, pp. 400–424.
- Smith M. P. (2001) *Transnational Urbanism: Locating Globalization*, Oxford: Blackwell.
- Smith M. P., McQuarrie M. (eds.) (2017) *Remaking Urban Citizenship: Organizations, Institutions, and the Right to the City*, London: Routledge.
- Soja E. W. (1996) *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*, Oxford: Blackwell.
- Soja E. W. (2000) *Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions*, Oxford: Blackwell.
- Soja E. W. (2007) Digital'nye soobshhestva, Sim-siti i giperreal'nost' povsednevnoj zhizni [Digital Communities, SIM-city and Hyperreality of Everyday Life]. *PROEKT International*, no 15, pp. 127–141.
- Soja E. W. (2008) Kak pisat' o gorode s tochki zrenija prostranstva? [Writing the City Spatially]. *Logos*, no 3, pp. 130–140.
- Southworth M. (1969) The Sonic Environment of Cities. *Environment and Behavior*, vol. 1, no 1, pp. 49–70.
- Souza e Silva A. de (2006) From Cyber to Hybrid: Mobile Technologies as Interfaces of Hybrid Spaces. *Space & Culture*, vol. 9, no 3, pp. 261–278.
- Steingo G., Sykes J. (eds.) (2019) *Remapping Sound Studies*, Durham: Duke University Press.

- Svirsky Y. (2012) "Slozhnostnoe" myshlenie v kontekste filosofskih strategij G. Deleuze i F. Guattari ["Complexity" Thinking in the Context of the Philosophical Strategies of G. Deleuze and F. Guattari]. *Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia*, no 1, pp. 37–47.
- Swyngedouw E. (2007) The Post-Political City. *Urban Politics Now: Re-imagining Democracy in the Neoliberal City*, Rotterdam: Netherland Architecture Institute (NAI) Publishers, pp. 58–76.
- Tönnies F. (1998) Obshhnost' i obshhestvo [Community and Society]. *Sociological Journal*, no 3–4, pp. 207–229.
- Tovbin K. (2013) Postpolitika v tradicionalistskom izlozhenii [Post-politics in a Traditionalist Presentation]. *Politbook*, no 3, pp. 179–191.
- Tsouvalis J. (2016) Latour's Object-Oriented Politics for a Post-Political Age. *Global Discourse*, vol. 6, no 1–2, pp. 26–39.
- Tykanova E., Khokhlova A. (2014) Traektorii samoorganizatsii lokal'nyh soobshhestv v situatsijah osparivaniya gorodskogo prostranstva [Trajectories of Self-organization of Local Communities in Situations of Contesting Urban Space]. *Sociology of Power*, no 2, pp. 104–122.
- Tynan A. (2016) Desert Earth: Geophilosophy and the Anthropocene. *Deleuze Studies*, vol. 10, no 4, pp. 479–495.
- Utekhin I. (2012) *Publichnost' i ritual v prostranstve postsovetskogo goroda* [Publicity and Ritual in the Space of a Post-Soviet City], Moscow: Strelka Press.
- Vakhshstein V. (2003) K probleme temporal'nyh mekhanizmov social'noj organizatsii prostranstva. Analiz rezidental'noj differentsiatsii [On the Problem of Temporal Mechanisms of Social Organization of Space. Analysis of Resident Differentiation]. *Russian Sociological Review*, vol. 3, no 3, pp. 71–83.
- Vakhshstein V. (2013) K konceptualizatsii soobshhestva: eshhe raz o rezidentnosti ili rabota nad oshibkami [Toward the Conceptualization of Community: Once Again about Residency or Working on Mistakes]. *Sociology of Power*, no 3, pp. 8–26.
- Vallance S., Perkins H. C., Bowring J., Dixon J. E. (2011) Almost Invisible: Glimpsing the City and its Residents in the Urban Sustainability Discourse. *Urban Studies*, vol. 49, no 8, pp. 1695–1710.
- Veits M. (2012) Proekty publik-art kak dialog mezhdru hudozhnikami i gorozhanami (na primere proekta "Kriticheskaja massa" [Public Art Projects as a Dialogue between Artists and Citizens (The Case of the "Critical Mass" Project)]. *Journal of Social Policy Research*, vol. 15, no 1, pp. 95–108.
- Wellman B. (2001) Physical Place and Cyber Place: The Rise of Networked Individualism. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 25, no 2, pp. 227–252.
- Werlen B. (2001) Obshhestvo, dejstvie i prostranstvo: al'ternativnaja social'naja geografija [Society, Action and Space: Alternative Social Geography]. *Russian Sociological Review*, vol. 1, no 2, pp. 26–48.
- Westlund H. (2014) Urban Futures in Planning, Policy and Regional Science: Are We Entering a Post-Urban World?. *Built Environment*, vol. 40, no 4, pp. 447–457.
- Westwood S., Williams J. (eds.) (1997) *Imagining Cities: Scripts, Signs, Memory*, London: Routledge.
- Wirth L. (2005) Urbanizm kak obraz zhizni [Urbanism as a Way of Life]. *Izbrannye raboty po sociologii* [Selected Works on Sociology], Moscow: INION RAN, pp. 93–118.
- Yampolsky M. (2007) *Tkach i visioner: ocherki istorii reprezentatsii, ili O material'nom i ideal'nom v kul'ture* [The Weaver and the Visionary: Essays on the History of Representation; or, On the Material and Ideal in Culture], Moscow: New Literary Observer.
- Yoshihara N. (2010) *Fluidity of Place: Globalization and the Transformation of Urban Space*, Melbourne: Trans Pacific Press.
- Young I. M. (1986) The Ideal of Community and the Politics of Difference. *Social Theory and Practice*, vol. 12, no 1, pp. 1–26.
- Yudin B. (2013) Transgumanizm — nashe budushhee? [Transhumanism — Our Future?]. *Chelovek*, no 4, pp. 5–13.
- Yudin G., Koloshenko Y. (2014) Strategii proizvodstva turistskogo opyta v malom gorode: Lokal'noe soobshhestvo i simvolicheskoe konstruirovanie v gorode Myshkin [Strategies for Producing Tourist Experiences in a Small City: Local Community and Symbolic Construction in the City of Myshkin]. *Labyrinth*, no 5, pp. 5–14.

- Zamyatin D. (2016) Postnomadizm: prostranstvennie antropologii puteshestvij [Post-Nomadism: A Spatial Anthropologies of Travels]. *Ural Historical Journal*, no 2, pp. 17–26.
- Zamyatin D. (2018) Postgorod: prostranstvo i ontologicheskie modeli voobrazheniya [Post-City: Space and Ontological Models of Imagination]. *Political Studies*, no 3, pp. 147–165.
- Zamyatin D. (2019) Postgorod (II): kartografii voobrazheniya i politiki sprostranstvennosti [Post-city (II): Cartographies of Imagination and Co-spatiality Politics]. *Russian Sociological Review*, vol. 18, no 1, pp. 9–35.
- Zelenova D., Kruchinsky V. (2013) Psihogeografija “gorodka iz konservnyh banok”: praktiki gosudarstvennogo regulirovanija gorodskoj neformal’nosti v sovremennoj JuAR [Psychogeography of the “Tin Can Town”: Practices of State Regulation of Urban Informality in Modern South Africa]. *Sociology of Power*, no 3, pp. 112–132.
- Zelentsov M. (2015) Gorodskie media: uslovija funkcionirovanija [Urban Media: Operating Conditions]. *Questions of Journalism Theory and Practice*, vol. 4, no 3, pp. 262–272.
- Zenker S., Beckmann S. C. (2013) My Place is not your Place: Different Place Brand Knowledge by Different Target Groups. *Journal of Place Management and Development*, vol. 6, no 1, pp. 6–17.
- Žižek S. (1999) Carl Schmitt in the Age of Post-Politics. *The Challenge of Carl Schmitt* (ed. Ch. Mouffe), London: Verso, pp. 18–37.

Безопасность, гуманизм и варварство: Дж. Ст. Милль о принципе невмешательства

Арсений Куманьков

Кандидат философских наук, академический руководитель образовательной программы «Философия и история религии» (ФГН, НИУ ВШЭ), доцент факультета гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: akumankov@hse.ru

Дарья Чаганова

Студентка магистерской программы «Философская антропология», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: d-chaganova@mail.ru

Данный текст предваряет русский перевод статьи британского политического философа, этика и логика Джеймса Стюарта Милля «Несколько слов о невмешательстве». Написанная в 1859 году, она расширяет и трансформирует представление о критериях, ограничивающих действие принципа невмешательства: если в эссе «О свободе» философ описывает принцип невмешательства в частную жизнь для сохранения свобод, то в «Нескольких словах» он, в целом придерживаясь тех же взглядов, рассматривает ситуации на международной арене, когда интервенция необходима. Авторы останавливаются на особенностях войны, характерной для эпохи Милля, его рефлексии над военными действиями в контексте освободительных движений и восстаний, в связи с чем поднимается вопрос о легитимности вмешательства правительства одной страны в дела другой для оказания помощи — если, например, наблюдаются нарушения прав человека. Анализируются рассуждения Милля о справедливом военном вмешательстве: в описанных случаях философ допускает возможность применения силы, однако только со стороны цивилизованных государств. Авторы уделяют внимание разделению Миллем цивилизованных народов и варваров; в этой дихотомии последние характеризуются как неспособные самостоятельно стремиться к свободе, и потому нуждающиеся в интервенции со стороны просвещенных стран. В связи с этим прослеживается, как рассуждения Милля приводят к оправданию гуманитарных интервенций, обусловленных «обязанностью защищать». Переведенная статья предлагается как актуальный для философии войны источник, вновь обостряющий проблему суверенитета, так как современная военная практика ставит политиков и исследователей перед вопросом гуманитарного вмешательства: стоит ли пренебрегать неприкосновенностью суверенитета, если «попирается сама гуманность»?

Ключевые слова: Дж. Ст. Милль, философия войны, этика войны и мира, право интервенции, военное вмешательство, принцип невмешательства, варварство, либерализм

Эти идеи основывались на истинных принципах международной нравственности и изменениях, приносимых разницею во времени и обстоятельствах.

Дж. Ст. Милль. «Автобиография»
(Милль, 1896: 235)

Джон Стюарт Милль известен в русскоязычном научном сообществе сразу в нескольких ипостасях: как теоретик либерализма, как утилитарист, позитивист, специалист по логике. И все же нельзя сказать, что в настоящее время он относится к числу популярных авторов. Новых работ о нем появляется крайне мало, и почти не защищаются диссертации, посвященные его философии.

При этом в дореволюционной России Милль был хорошо освоенным автором. Все важнейшие его сочинения быстро переводились, выдерживали по несколько изданий, получали критические отзывы и до сих пор существуют именно в переводах того времени. В частности, Миллем занимались и переводили его Н. Г. Чернышевский (1949), П. И. Новгородцев (1996: 192–198), А. И. Герцен (1906: I–XII) и многие другие известные отечественные мыслители. Особое внимание публикациям Милля уделяли журналы «Современник» и «Вестник Европы» (см.: Козьминых, 2011: 88–94). П. Н. Ткачев так выразил этот повышенный интерес к британскому мыслителю: «Наша апатичная литература принимает такое живое участие в этом прославленном мыслителе, что из-за него... произошел даже кровавый (в метафорическом смысле) разрыв между двумя покойными журналами» (Ткачев, 1935: 312), имея в виду полемику, разгоревшуюся летом 1865 года между журналами «Современник» и «Русское слово». Авторам «Современника» пришлось тогда защищать Милля от обвинений в поддержке мальтузианства.

В советские годы Миллю уделяли меньше внимания, представляя его преимущественно в качестве объекта критики Маркса, идеалиста и сторонника буржуазного реформизма (Трахтенберг, 1959: 89; Субботин, Суперфин, 1974: 262). Мы предлагаем русскоязычному читателю перевод одного из эссе Дж. Ст. Милля, «Несколько слов о невмешательстве», которое вышло из печати в 1859 году, в один год с хорошо известным и можно даже сказать популярным эссе «О свободе». На русском языке этот текст, посвященный вопросам международных отношений и в особенности проблеме моральной легитимации военных интервенций, публикуется впервые.

Текст интересен не только в силу того, что принадлежит классическому автору. Милль в эпоху европейского умиротворения долгого XIX века, но также революционных движений, Большой игры и готовящейся Гонки за Африку, затрагивает вопрос о моральном обосновании использования военной силы. Предлагаемые им аргументы и ситуации, которые он определяет как *casus belli*, т. е. дающие нравственное оправдание вооруженному вторжению, для современной этической теории войны или международного права выглядят вполне обычными. Милль же в своей небольшой работе систематизирует их и рассуждает о вещах, которые

в его время могли восприниматься как ненужное идеалистическое морализаторство. Например, он высказывается, хотя и крайне скуп, по вопросам гуманитарной интервенции. Или выступает как апологет республиканизма и (негативной) свободы, но при этом призывает к высшей степени сдержанности в интервенциях под лозунгами освобождения и борьбы с деспотизмом. В то же время это текст, полный политической страсти своего времени: в нем тесно сплетены парламентские баталии и апология британской культурной гегемонии, империализм, колониализм и фритредерство. Эссе, таким образом, позволит получить более точное представление о политической и моральной философии Милля и в целом о либерализме XIX века, а заодно почувствовать дух эпохи.

Чтобы лучше понять особенности военной рефлексии Милля, следует сказать несколько слов о типе войны, наиболее характерном для европейцев в то время. Процессы государственной централизации в Европе XVI–XVII веков во многом связано с серьезными трансформациями в военной сфере. С одной стороны, само укрепление монархий было связано с попытками преодолеть политическую децентрализацию средневекового мира и ограничения, которые подобная система накладывала на военное дело. По словам нидерландо-израильского историка и политического теоретика Мартина ван Кревельда, «если бы не необходимость воевать, почти наверняка было бы гораздо труднее добиться централизации власти в руках великих монархов» (Кревельд, 2006: 413). С другой — установление государственной монополии на физическое насилие означало постепенное вытеснение из военной сферы всех негосударственных игроков: римских пап, свободных городов, банд наемников, феодалов разного уровня. Война превратилась в практику, право на которую закреплялось исключительно за государством. И единственным законным участником ее отныне была армия, со временем превратившаяся в регулярную. Нападения же на обывателей, сельское или городское население, перестали быть целью боевых действий, хотя, естественно, и не исчезли полностью.

Значимое изменение произошло и в оценке статусов участников войны. Средневековое, теологическое учение о войне, берущее начало в сочинениях Амвросия Медиоланского и Аврелия Августина, делило противоборствующие стороны на грешников и мудрых; отпавших от справедливости и защитников праведности. Моральные и правовые позиции, на которых находились противники, разнились, при этом один выступал зачастую в позиции идущего против закона агрессора (то есть ведущего наступательную войну) или же (в правовой терминологии) обидчика, поступающего против божественной воли и причиняющего несправедливость (*iniuria illata*). Один отошел от Бога, другой — боролся за Него на Земле, поэтому мог наказывать и карать врага. Отцы Церкви работали над артикуляцией принципов *jus ad bellum*, по которым возможно определить справедливое вступление в войну; наказание и восстановление справедливости стали ключевым компонентом созданного ими христианского учения о войне.

На смену теологической, пунитивной парадигме войны, усилиями таких авторов, как Гуго Гроций, Самуэль Пуфендорф, Эмер де Ваттель, пришла легалистская

парадигма. Вот как последний выражает характерное для Нового времени представление о международном устройстве: «нации свободны, независимы, равны и каждая судит по своей совести о должном» (Ваттель, 1960: 32). Каждое государство обладает правом ведения войны. Возможность применения военной силы, использование собственного решения для реализации или защиты *raison d'état* — это один из элементов самоидентификации государства. Теперь уже никто не обладает властью и правом судить другого. Это положение, в котором, как в Гоббсовом естественном состоянии, сохраняется «право всех на все», а соблюдение договоров и поддержание мира зависят от интересов и благоразумия участников политических игр.

Итак, война эпохи модерна — это ограниченная, или, как назвал ее Карл Шмитт, оберегаемая война (*gehegt Krieg*), с характерным для нее представлением о законном враге (*iustus hostis*). Главное действующее лицо здесь государство, а основной инструмент — регулярная армия. При этом цель войны состоит не в уничтожении противника, а в заключении с ним мира на выгодных для себя условиях. Наиболее глубокую теоретическую проработку такое понятие войны находит в неоконченном сочинении прусского генерала Карла фон Клаузевица «О войне». Однако стоит иметь в виду, что подобное состояние было характерно исключительно для европейского континента и впоследствии для Северной Америки. Все прочие территории были зоной, где за соблюдением норм межгосударственного права и военных обычаев следили менее строго или вовсе их игнорировали.

Если говорить о непосредственном контексте, в котором Милль писал эссе о невмешательстве, то следует обратить внимание на несколько моментов. На некоторые из них указывает сам автор. Во-первых, это революционные и освободительные движения первой половины XIX века: освобождение Греции, приобретение независимости Бельгией, весна народов и в особенности восстание в Венгрии. Здесь предмет беспокойства Милля: свобода, пути и средства ее приобретения. Во-вторых, стоит иметь в виду, что Милль живет во время четвертой волны глобализации (по Герану Терборну [Therborn, 2000: 161], в эпоху европейского империализма и колониализма). Милль был далеко не последним человеком, содействующим процветанию Британской империи. К моменту написания эссе он 35 лет прослужил в Британской Ост-Индской компании, где занимался вопросами управления туземными княжествами. Стоит отметить также и деятельность его отца, Джеймса Милля, который также служил в Ост-Индской компании и написал для нее трехтомную «Историю Британской Индии». Наконец, немаловажный контекст задается парламентской борьбой 30–50-х годов, в особенности деятельностью лорда Генри Джона Палмерстона, которого Милль атаковал во многих своих сочинениях.

1859 год был для Милля одновременно удивительно продуктивным и омраченным чередой личных трагедий. 3 ноября 1858 года умерла его супруга, Гарриет Тейлор-Милль, с которой Джон Стюарт Милль был очень близок. Событие это Милль характеризовал не иначе как катастрофу, или жестокое несчастье. Милль

потерял в лице Гарриет Тейлор-Милль не только близкого друга, но и соавтора — супруга помогала мужу в работе над рядом важнейших текстов. Задуманное еще в начале 1850-х годов эссе «О свободе» приобрело свой настоящий вид благодаря совместным усилиям четы Миллей. «Нет ни одной фразы, которую бы мы сообщали не исправляли по несколько раз... Что касается идей, то трудно указать, какая часть из них принадлежит более жене моей, чем мне», — писал Милль в «Автобиографии» (Милль, 1896: 225–226). Издание вышло уже после смерти жены, в 1859 году, и посвящено ее памяти.

Также в 1858 году вследствие Восстания сипаев 1857 года Ост-Индская компания в соответствии с решением парламента лишилась административных функций в Индии, и Милль, противившийся подобному решению, вышел на пенсию, впрочем, весьма значительную. Но положение дел в Индии и система колониального правления останутся центральными темами для политической мысли Милля. К ним он обращается и в эссе «О свободе», и в «Рассуждениях о представительном правлении», и в публикуемом переводе «Нескольких слов о невмешательстве».

Помимо эссе «О свободе» в 1859 году выходят из печати «Мысли о парламентской реформе» и два тома сборника публиковавшихся ранее статей «Рассуждения и исследования: политические, философские и исторические» (Mill, 1859b). Впоследствии «Рассуждения и исследования» дополнились еще двумя томами. Отметим, что это собрание сочинений с поразительной скоростью было выпущено порусски (Милль, 1864–1865). Впрочем, русское издание содержало менее половины статей, включенных в оригинальное издание, но восполняло это изъятие включением программного текста «Утилитаризм», который впервые появился в виде трех статей в 1861 году. И уже в самом конце 1859 года, в декабрьском номере «Журнала Фрейзера» вышла небольшая заметка «Несколько слов о невмешательстве» (Mill, 1859a: 766–776).

«Журнал Фрейзера для города и деревни» был одним из важнейших печатных органов сторонников тори. И все же радикал Милль сотрудничал с журналом на протяжении нескольких лет. В «Нескольких словах о невмешательстве» Милль рассуждает о нормах международной морали и применении столь важного для его либеральной политической философии принципа невмешательства при решении вопросов войны и мира. В «Автобиографии» он указывает на ряд вызовов, которые требовали, по его мнению, ответа и разъяснения:

Меня побудило написать эту статью желание защитить Англию от обвинения, которому она обыкновенно подвергалась на континенте. Ей ставят в упрек, что она в иностранной политике руководствуется только эгоистическими побуждениями. Я хотел выяснить англичанам причины, послужившие предлогом к такому обвинению, указать на тот не совсем возвышенный образ действий, каким руководились их государственные деятели во внешней политике, имея в виду только английские интересы: как, например, лорд Пальмерстон, который в это самое время противился прорытию Суэцкого канала. (Милль, 1896: 234)

Тем не менее значение эссе о невмешательстве не сводится к решению злободневных вопросов британских парламентских баталий 1850-х годов и не измеряется одним лишь стремлением Милля улучшить международную репутацию Великобритании. Текст содержит ряд замечаний, ценных не только для прояснения мысли Милля, но и актуальных для современной этики войны и дискуссии о мировой политике. На некоторых из этих заключений мы остановимся специально.

В эссе «О свободе» Милль сформулировал главный принцип построения общественных отношений: «Люди, индивидуально или коллективно, могут справедливо вмешиваться в действия индивидуума только ради самосохранения... каждый член цивилизованного общества только в таком случае может быть справедливо подвергнут какому-нибудь принуждению, если это нужно для того, чтобы предупредить с его стороны такие действия, которые вредны для других людей» (Милль, 1900: 208). Применяя принцип невмешательства к политической сфере, первый вывод, который мы должны сделать: запрещаются наступательные, агрессивные войны, но допустимыми остаются оборонительные. И действительно, Милль поддерживает перенос принципа невмешательства с уровня частных или внутригосударственных отношений на международный уровень. В эссе о невмешательстве он уточняет содержание возникающих ограничений: «...нечестиво начинать агрессивную войну во имя любого нашего интереса, кроме тех случаев, когда необходимо предотвратить явно грозящую нам несправедливость» (Милль, 2020: 294). В этом предпочтении Милль наследует классическим интуициям философии войны, считая справедливой оборонительную войну и осуждая инициирование вооруженных конфликтов ради достижения выгоды. Таким образом, захватнические войны, приобретение территорий или защита своих интересов при помощи вооруженного насилия — все это оказывается абсолютно нелегитимным, не соответствующим принципам свободного общения народов.

При этом в «Нескольких словах», равно как и в ряде других работ, образы английской политической добропорядочности и справедливой войны зачастую накладываются друг на друга. Верность принципу невмешательства, по мнению Милля, типична для англичан. Во внешней политике Британия исходит из положения о «самостоятельности каждого народа»: «Она не посягает на другие страны и не вынашивает в их отношении агрессивных планов... если другие страны не будут вмешиваться в ее дела, она не намерена вмешиваться в их» (Там же: 282). В целом тон Милля при описании Британии и англичан в эссе таков, что невозможно воспринимать характеристику его русского биографа М. И. Туган-Барановского иначе, как ироничную: «Типичный англичанин, проживший почти всю жизнь в Англии, он был совершенно лишен английского шовинизма» (Туган-Барановский, 2015: 125).

Сразу же отметим, что принцип невмешательства Милль не считает универсальным. Действие принципа невмешательства возможно, по мысли Милля, только среди народов, способных нести взаимные обязательства, среди тех, кто ценит свою свободу настолько, чтобы уважать свободу других. Область его применения

сжимается, таким образом, до «цивилизованных народов, членов равноправного сообщества наций, такого как христианская Европа» (Милль, 2020: 294). Право на вмешательство дано только высокоразвитым странам, которые, как полагает Милль, используют его только для достижения благих целей. Это первое важное ограничение принципа невмешательства. В международных отношениях действуют два рода правил: между цивилизованными государствами и в отношении варварских народов. Британский философ объясняет это двумя причинами: во-первых, он полагает варварские формирования неспособными соблюдать основы международных отношений. Во-вторых, Милль отказывает варварам в рациональности, которая позволила бы им самостоятельно распоряжаться своей свободой. Он утверждает, что вмешательство в дела варварских стран может стать шагом к обретению ими свободы, однако сначала им нужно стать культурно и институционно к этому готовыми. Возвращаясь к ограничениям принципа невмешательства, подчеркнем, что установление господства одного цивилизованного народа над другим безнравственно, но иногда оправданно подчинение варварского народа цивилизованным. Конечно, при условии, что это пойдет во благо подчиненному народу. Варвары в политической системе Милля остаются в состоянии пассивного ожидания «спасения»: не знающие того, что для них есть благо, они лишаются агентности и исключаются из поля политических действий. Нациям, способным к просветительскому вмешательству, в некотором смысле вменяется ответственность проведения интервенций.

Оппозиция «цивилизация — варварство» имеет решающее значение для Милля. Эгалитаризм Милля не столь радикален, каким он мог казаться в его время. Люди неравны, и определяется это интеллектуальными способностями и воспитанием, их культурным уровнем. Именно эти свойства определяют способность быть свободным и обладать политической субъектностью. Показательно в этом отношении, что даже неравенство в голосах на выборах в британский парламент он предлагает учредить по принципу воспитания, а не объема собственности, как это было принято. В «Мыслях о парламентской реформе» Милль иллюстрирует эту идею следующим образом: «Нет такого человека, который в любом деле, касающемся его самого, предпочел бы, чтобы его делами управлял человек не с большим, а с меньшим знанием и интеллектом. Нет такого человека, который, при необходимости вверить заботу о своих интересах одновременно и тому и другому, не пожелал бы наделить большей силой голос более образованного и более культурного из них» (Mill, 1977: 324).

Подробнее о характерном для британского империализма противопоставлении цивилизации и варварства, метрополии и колонии и роли отца и сына Миллей в становлении британской концепции свободы можно прочесть в недавнем исследовании К. Е. Коктыша. Очень точное и крайне полезное для понимания глобальной политики середины XIX в., оно все же нуждается в дополнении, усиливающим вывод, к которому приходит автор. Милль-младший не только автор идей, позволивших британскому купцу выстроить свою империю (Коктыш, 2019: 59).

Он представитель интеллектуального, прогрессистского, позитивистского крыла группы апологетов британского империализма. Не выбор в пользу свободы мирового рынка, но именно интеллектуальное осмысление ценности этого акта должно было свидетельствовать о европеизации элиты завоеванных стран и ее избавлении от традиционализма.

Принцип невмешательства помимо цивилизационно-интеллектуального знает и еще одно исключение. Вернее, целый ряд исключений, объединенных в группу политико-военных обстоятельств, каждое из которых блокирует действие этого принципа. Милль не излагает свое учение о справедливых причинах войны систематически, некоторые случаи моральной легитимации войны он сопровождает лишь кратким комментарием, но за него работу по систематизации оснований для военного вмешательства провел Майкл Доил, один из ключевых современных исследователей либеральной политической теории войны. В книге «Вопрос о вмешательстве: Джон Стюарт Милль и обязанность защищать» Доил обобщает и классифицирует все рассмотренные Миллем исключения из принципа невмешательства. В результате получается перечень справедливых причин войны, упомянутых Миллем: 1) самооборона и всемирная гражданская война (имеется в виду борьба с деспотизмом); 2) наличие силы, сохранившейся после войны и представляющей угрозу безопасности; 3) затянувшаяся гражданская война; 4) гуманитарная интервенция; 5) поддержка в борьбе за осуществление права на самоопределение; 6) контринтервенция; 7) милосердный империализм (Doyle, 2015: 17). В каждом из этих случаев моральные обстоятельства таковы, что либо ценность военного вмешательства превышает ценность невмешательства (первые четыре причины), либо отсутствуют условия для реализации принципа невмешательства — например, он уже был нарушен одной из сторон — соответственно, принцип невмешательства можно игнорировать (оставшиеся три причины) (Ibid.: 51).

Признание права на самооборону и на защиту своих граждан было и остается общим местом в теории справедливой войны (впрочем, очевидность его может и должна быть исследована; примером тому служит: Rodin, 2002). Право на защиту границ прямо связано с идеей суверенитета, и в либерально-утилитарном контексте объясняется тем, что государство обязано обеспечить безопасность своих граждан. Это основная его задача, предусмотренная общественным договором. Гораздо более интересный случай представляет идеологическая борьба, которая в XIX в. в восприятии Милля сводится к конкуренции деспотизма и либерализма. Но Милль видит в соперничестве идеологий нечто большее, нежели столкновение равных по своему статусу и притязаниям левиафанов, которые всегда находятся в «положении гладиаторов, направляющих оружие друг на друга» (Гоббс, 1991: 88). Для Милля эта идеологическая борьба сродни религиозным войнам раннего Нового времени: «Если [Британия]... окажется под угрозой нападения со стороны коалиции континентальных деспотов (случай вполне возможный), ей следует считать народную партию каждой страны континента своим естественным союзником: либералы должны стать для нее тем, чем были Европейские протестанты

для правительства королевы Елизаветы» (Милль, 2020: 296–297). Подобная угроза трансформирует политическую реальность таким образом, что сопротивление деспотизму, возможно, даже проактивное, получает нравственное обоснование.

Второй пункт, отмеченный Дойлом, связан с ситуациями, когда государство получает право вести войну до тех пор, пока не уничтожит серьезную опасность, которую может представлять политический или военный лидер противника. Как сформулировал это Милль: «...когда нация в свою защиту начала войну с деспотом и была на редкость удачлива, чтобы не только успешно оказать сопротивление, но и после диктовать условия мира, она вправе заявить, что не заключит договор с правителем, чье существование как таковое будет служить постоянной угрозой ее безопасности и свобод» (Там же: 297). Как справедливо замечает Дойл, для Милля как человека XIX века примером такой угрозы был Наполеон (Doyle, 2015: 147). Недостаточно отправить его на Эльбу в почетную ссылку: необходимо нанести ему абсолютное поражение и изолировать, чтобы избавить Европу от рисков его возвращения к политике и войне. Подобные обстоятельства оправдывают послевоенные усилия по миростроительству, что в современных условиях означает законность оккупации и политической реконструкции.

Интервенция получает моральное обоснование также и в силу гуманитарных оснований. Для Милля они связаны в первую очередь с ситуацией, когда в каком-либо государстве идет затяжная гражданская война и отсутствуют надежды на скорое ее разрешение или для победы одной из сторон придется применить чрезмерное насилие. Сочувствие населению этой страны позволяет соседям вмешаться в гражданскую войну и содействовать переговорному процессу для поиска мирного урегулирования конфликта. Этот контекст затяжной гражданской войны важен еще и потому, что здесь Милль буквально бросает одну фразу, которая современным авторам позволяет причислить его к сторонникам гуманитарной интервенции. Милль говорит о «жестокости, несовместимой со всякой человечностью» (Милль, 2020: 294). В данном случае мы сталкиваемся не с риском, но уже с начавшейся гуманитарной катастрофой, и опять же получаем право прекратить ее с оружием в руках.

Наконец, когда баланс системы международной безопасности нарушается, это делает бессмысленным сохранение верности принципу невмешательства. «Доктрина невмешательства, чтобы стать законным принципом морали, должна быть принята всеми правительствами» (Там же: 297), в противном случае она не действует. По мнению Милля, это происходит главным образом, когда часть населения некой страны борется против деспотического правительства за отделение и независимость. Поддержать войну за освобождение в таком случае допустимо, поскольку правительство своими действиями спровоцировало вооруженное восстание, т.е. действовало агрессивно. Ситуация может усугубиться, если правительство призовет себе на помощь чью-либо армию. Здесь имеет место, замечает Милль, симпатия одного деспотизма к другому, поэтому опять же получает моральную санкцию военный ответ на вторжение союзника правительства, пытаю-

щегося сохранить свою деспотическую власть вопреки свободолюбивым устремлениям части его подданных.

Несколько в ином контексте Милль рассматривает случай интервенции на территории, заселенные «варварами», т. е. народами Азии и Африки. Здесь сама неспособность варваров мыслить в категориях политической морали и дикость устройства их социальной жизни заставляет просвещенные страны брать на себя бремя заботы о них и содействовать обеспечению их блага. Цивилизованный империализм не нарушает принцип невмешательства, поскольку варварские народы не способны следовать этому принципу. Эхом отражаются у Милля кантовские рассуждения о просвещении как выходе из несовершеннолетия. Позволим себе объемную цитату из эссе «О свободе»:

Принцип равно неприменимый [помимо детей] и к обществам, находящимся в таком состоянии, которое справедливо может быть названо состоянием младенческим. В этом младенческом состоянии обществ обыкновенно встречаются столь великие препятствия для прогресса, что едва ли и может быть речь о предпочтении тех или других средств к их преодолению, и в этом случае достижение прогресса может оправдывать со стороны правителя такие действия, которые не согласны с требованиями свободы, потому что в противном случае всякий прогресс, может быть, был бы совершенно недостижим. Деспотизм может быть оправдан, когда идет дело о народах варварских и когда при этом его действия имеют целью прогресс и на самом деле приводят к прогрессу. (Милль, 1990: 210)

Именно таким образом Милль обосновывает в эссе о невмешательстве в колониальные войны Франции в Северной Африке или Великобритании в Индии — они служат благу, безопасности и прогрессу местных обществ, а потому необходимы.

Легко заметить, что основным сценарием, в котором обоснованным становится нарушение принципа невмешательства, Милль считал гражданскую войну или борьбу за освобождение. Часто одно было связано с другим. Несколько в ином контексте рассуждения Милля оказываются востребованными в современной литературе о праве и этике войны. В 1977 году М. Уолцер опубликовал книгу «Справедливые и несправедливые войны» (Walzer, 1977). Книга дала новый импульс развитию теории справедливой войны, а одна из ее глав была посвящена обсуждению аргументов Милля в пользу интервенционизма. Уолцер выступил в качестве более жесткого критика войны, нежели английский философ. Помимо самообороны он считал войну допустимой в случае борьбы за национальное освобождение, контринтервенции и в ситуации, когда военная сила применяется для защиты людей от порабощения или уничтожения, т. е. когда война оправдывается гуманитарными основаниями. Таким образом, из семи миллевских справедливых причин Уолцер оставил четыре. И все же Милль был нужен Уолцеру в качестве одного из авторов легалистской парадигмы. Уолцер воспринимал британского классика в качестве сторонника миропорядка, ключевая роль в котором отведена

национальным государствам или политическим сообществам, претендующим на учреждение государства (Ibid.: 87–91). И действительно, по замыслу Милля, принцип невмешательства необходим для защиты государственного суверенитета, во всяком случае, если речь идет о цивилизованных нациях. Но за полтора столетия с написания «Нескольких слов о невмешательстве», и даже за четыре десятилетия с момента первой публикации «Справедливых и несправедливых войн» глобальный политический контекст изменился.

В своем исследовании о влиянии Милля на Уолцера и современную теорию справедливой войны Эндре Бегби замечает, что в 70-е годы XX в. «государства были одержимы идеей интервенции и, похоже, готовы были использовать малейший повод, чтобы начать ее... Сегодня, однако, наша проблема заключается в том, что государства не слишком-то готовы заниматься интервенциями» (Begby, 2003: 60). Соответственно, прочтение Милля исключительно как одного из теоретиков легалистской парадигмы, строящейся вокруг права государства на защиту своего суверенитета, было бы сейчас явным ограничением. Текст Милля содержит достаточно ресурсов для того, чтобы служить в качестве ориентира и для современной дискуссии о праве и этике войны, проблематизирующей статус государственных границ и суверенитета¹.

Следует ли считать границы неприкасаемыми, а суверенитет трактовать как возможность действовать абсолютно свободно (т. е. не испытывая внешнего воздействия, принуждения) в рамках собственных границ? Политическая практика последних лет показывает, что на этот вопрос современные политические сообщества не могут ответить однозначно утвердительно. Характер угроз и проблем, которые им приходится решать, таков, что не воинственность соседей, но необходимость реагировать на масштабные гуманитарные катастрофы или террористическую деятельность, а также стремление восстановить историческую правду составляют основной перечень причин военных и полувоенных интервенций. Обязанность защищать человеческое достоинство воспринимается зачастую как основополагающий мотив при принятии решения о начале войны. За прояснением феномена этого военного гуманитаризма следует обращаться в том числе и к классическим текстам либеральной мысли. Предлагаемое читателю эссе Милля — один из них.

Литература

- Ваттель Э. де (1960). Право народов, или Принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и суверенов. М.: Госюриздат.
- Герцен А. И. (1906). Джон Стюарт Милль и его книга «On Liberty» // Покровский В. И. Личность и общество (по Миллю). Казань: Типо-литография Окружного штаба.

1. Подробнее о значении идей Милля для современной теории справедливой войны см.: Куманьков, 2015.

- Гоббс Т. (1991). Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Пер. с англ. А. Гутермана // Гоббс Т. Сочинения. Т. 2. М.: Мысль. С. 3–545.
- Козьминых Е. С. (2011). Политико-правовые идеи Дж. Ст. Милля в восприятии либералов «Вестника Европы» // Вестник Пермского университета. № 2. С. 88–94.
- Коктыш К. Е. (2019). Английский концепт свободы: опыт деконструкции // Политика. № 2. С. 48–65.
- Кревельд М. ван (2006). Расцвет и упадок государства / Пер. с англ. под ред. Ю. Кузнецова и А. Макеева. М.: ИРИСЭН.
- Куманьков А. Д. (2015). Этика военной интервенции: аргумент Дж. Ст. Милля и его современное значение // Vox. № 18. С. 1–15.
- Милль Дж. Ст. (1864). Рассуждения и исследования политические, философские и исторические. Часть I. СПб.: Типография А. С. Голицына.
- Милль Дж. Ст. (1865). Рассуждения и исследования Дж.-С. Милля. Часть II. Вып. 1–2. СПб.: Типография А. С. Голицына.
- Милль Дж. Ст. (1896). Автобиография: история моей жизни и убеждений. М.: Издание магазина «Книжное Дело».
- Милль Дж. Ст. (1900). Утилитарианизм. О свободе. СПб.: И. П. Перевозников.
- Милль Дж. Ст. (2020). Несколько слов о невмешательстве / Пер. с англ. А. Куманькова и Д. Чагановой // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 281–299.
- Новгородцев П. И. (1996). Введение в философию права: кризис современного правосознания. М.: Наука.
- Субботин А. Л., Суперфин Л. Г. (1974). Милль Джон Стюарт // Прохоров А. М. (ред.). Большая советская энциклопедия. Т. 16. М.: Советская энциклопедия.
- Ткачев П. Н. (1935). Избранные сочинения на социально-политические темы в семи томах. Т. 5. М.: Издательство Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев.
- Трахтенберг О. В. (1959). Очерки по истории философии и социологии Англии XIX в. М.: Изд-во Московского ун-та.
- Туган-Барановский М. И. (2015). Джон Стюарт Милль: его жизнь и научно-литературная деятельность. М.: Директ-Медиа.
- Doyle M. (2009). A Few Words on Mill, Walzer, and Nonintervention // Ethics & International Affairs. Vol. 23. № 4. P. 349–369.
- Doyle M. (2015). The Question of Intervention John Stuart Mill and the Responsibility to Protect. New Haven: Yale University Press.
- Mill J. S. (1859a). A Few Words on Non-Intervention // Fraser's Magazine. Vol. LX. № CCCLX. P. 766–776.
- Mill J. S. (1859b). Dissertations and Discussions: Political, Philosophical and Historical. Vol. 1–2. L.: J. W. Parker.
- Mill J. S. (1977). Thoughts on Parliamentary Reform // Mill J. S. The Collected Works of John Stuart Mill. Vol. XIX: Essays on Politics and Society. Part 2. Toronto: University of Toronto Press. P. 311–339.

Rodin D. (2002). War and Self-Defense. Oxford: Clarendon Press.

Therborn G. (2000). Globalizations: Dimensions, Historical Waves, Regional Effects, Normative Governance // International Sociology. Vol. 15. № 2. P. 151–179.

Walzer M. (1977). Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. N.Y.: Basic Books.

Safety, Humanism, and Barbarism: J. S. Mill on the Principle of Non-Intervention

Arseniy Kumankov

PhD in History of Philosophy (HSE), Academic Supervisor of Master Programme "Philosophy and History of Religion", Associate Professor, Faculty of Humanities, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: akumankov@hse.ru

Daria Chaganova

Master Student, Master Programme "Philosophical Anthropology", National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: d-chaganova@mail.ru

The paper considers the Russian translation of the article "A Few Words on Non-Intervention" written by British political philosopher and logician John Stuart Mill, and whose article, published in 1859, transforms the criteria restricting the principle of non-interference. Thus, in the essay "On Freedom", the rule of non-interference into private life is described, but in "A Few Words on Non-Intervention", Mill expands the principle to the international level, taking into consideration those situations allowing for intervention. The authors highlight the features of war contemporary to Mill, and articulate his military reflection in connection with the phenomenon of national liberation movements and revolts. They analyze Mill's question if it is legitimate for one government to somehow intervene in the affairs of another. The logic of just military intervention for Mill in the cases described opens up the possibility for the use of force, but only for the civilized States. The philosopher divides the civilized nations from barbarians, where the latter are characterized as incapable of striving for freedom and therefore needing intervention from civilized countries. In this regard, the logic of the article leads to a strategy of humanitarian war caused by rhetoric of the "responsibility to protect". The first Russian translation of "A Few Words on Non-Intervention" is proposed as a relevant source for the philosophy of war, raising the issue of sovereignty. It is stated that modern military practice poses the question of humanitarian intervention: is it worth neglecting sovereignty if we face a "scandal to humanity"?

Keywords: John Stuart Mill, philosophy of war, ethics of peace and war, right to intervene, armed intervention, non-intervention principle, barbarism, liberalism

References

Crevelde M. van. (2006) *Rascvet i upadok gosudarstva* [The Rise and Decline of the State], Moscow: IRISEN.

- Doyle M. (2009) A Few Words on Mill, Walzer, and Nonintervention. *Ethics & International Affairs*, vol. 23, no 4, pp. 349–369.
- Doyle M. (2015) *The Question of Intervention John Stuart Mill and the Responsibility to Protect*, New Haven: Yale University Press.
- Herzen A.I. (1906) Dzhon Stjuart Mill' i ego kniga "On Liberty" [John Stewart Mill and His Book "On Liberty"]. Pokrovsky V., *Lichnost' i obshchestvo (po Millju)* [Person and Society (According to Mill)], Kazan: Tipo-litografija Okruzhnago Shtaba.
- Hobbes T. (1991) Leviatan, ili Materija, forma i vlast' gosudarstva cerkovnogo i grazhdanskogo [Leviathan; or, The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil]. *Sochinenija. T. 2* [Collected Works, Vol. 2], Moscow: Mysl, pp. 3–545.
- Koktysh K. (2019) Anglijskij koncept svobody: opyt dekonstrukcii [English Concept of Freedom: Experience of Deconstruction]. *Politija*, no 2, pp. 48–65.
- Kozminykh E. (2011) Politiko-pravovye idei Dzh. St. Millja v vospriyatii liberalov "Vestnika Evropy" [J. S. Mill's Political and Legal Thoughts in the Perception of "Vestnik Evropy" Liberals]. *Vestnik Permskogo Universiteta*, no 2, pp. 88–94.
- Kumankov A. (2015) Jetika voennoj intervencii: argument Dzh. St. Millja i ego sovremennoe znachenie [Ethics of Military Intervention: J. S. Mill's Argument and its Contemporary Meaning]. *Vox*, no 18, pp. 1–15.
- Mill J. S. (1859) A Few Words on Non-Intervention. *Fraser's Magazine*, vol. LX, no CCCLX, pp. 766–776.
- Mill J. S. (1859) *Dissertations and Discussions: Political, Philosophical and Historical*, London: J. W. Parker.
- Mill J. S. (1864) *Rassuzhdenija i issledovanija politicheskie, filosofskie i istoricheskie. Chast 1* [Dissertations and Discussions: Political, Philosophical and Historical, Part 1], Saint Petersburg: A. S. Golitsyn.
- Mill J. S. (1865) *Rassuzhdenija i issledovanija D.-S. Millja. Chast 2. Vyp. 1–2* [Dissertations and Discussions: Political, Philosophical and Historical, Part 2, Issues 1–2], Saint Petersburg: A. S. Golitsyn.
- Mill J. S. (1896) *Avtobiografija: istorija moej zhizni i ubezhdenij* [Autobiography: A History of My Life and Beliefs], Moscow: Kniznoe delo.
- Mill J. S. (1900) *Utilitarianizm. O svobode* [Utilitarianism; On Liberty], Saint Petersburg: I. P. Perevoznikov.
- Mill J. S. (1977) Thoughts on Parliamentary Reform. *The Collected Works of John Stuart Mill, Vol. XIX: Essays on Politics and Society, Part 2*, Toronto: University of Toronto Press, pp. 311–339.
- Novgorodtsev P. (1996) *Vvedenie v filosofiju prava: krizis sovremennogo pravosoznaniya* [Introduction to Philosophy of Law: Crisis of the Modern Legal Consciousness], Moscow: Nauka.
- Rodin D. (2002) *War and Self-Defense*, Oxford: Clarendon Press.
- Subbotin A., Superfin L. (1974) Mill' Dzhon Stjuart [Mill, John Stewart]. *Bol'shaja Sovetskaja Enciklopedija. T. 16* [Great Soviet Encyclopedia, Vol. 16], Moscow: Sovetskaja enciklopedija.
- Therborn G. (2000) Globalizations: Dimensions, Historical Waves, Regional Effects, Normative Governance. *International Sociology*, vol. 15, no 2, pp. 151–179.
- Tkachev P. (1935) *Izbrannye sochinenija na social'no-politicheskie temy. T. 5* [Collected Works on Social-Philosophical Subjects in Seven Volumes, Vol. 5], Moscow: Izdatel'stvo vsesojuznogo obshchestva politkatorzhan i ssyl'no-poselencev.
- Trahtenberg O. (1959) *Ocherki po istorii filosofii i sociologii Anglii XIX v.* [Essays on History of 19th Century English Philosophy and Sociology], Moscow: MSU.
- Tugan-Baranovsky M. (2015) *Dzhon Stjuart Mill': ego zhizn' i nauchno-literaturnaja dejatel'nost'* [John Stewart Mill: His Life and Academic and Literary Activity], Moscow: Direkt-Media.
- Vattel E. de (1960) *Pravo narodov, ili Principy estestvennogo prava, primenjaemye k povedeniju i delam nacij i suverenov* [The Law of Nations; Or, Principles of the Law of Nature Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns], Moscow: Gosjurizdat.
- Walzer M. (1977) *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, New York: Basic Books.

Несколько слов о невмешательстве*

Джон Стюарт Милль

Арсений Куманьков
(переводчик)

Кандидат философских наук, академический руководитель образовательной программы «Философия и история религии» (ФГН, НИУ ВШЭ), доцент факультета гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: akumankov@hse.ru

Дарья Чаганова
(переводчик)

Студентка магистерской программы «Философская антропология», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: d-chaganova@mail.ru

Данный текст является переводом статьи британского философа и политика Джона Стюарта Милля «A Few Words on Non-intervention», опубликованной в журнале Фрейзера («Fraser's Magazine for Town and Country») в декабре 1859 года. В ней Милль рассматривает критерии, позволяющие в международных отношениях игнорировать доктрину невмешательства во имя блага и свободы народов. Выступая апологетом внешней политики Британской империи, Милль критикует английских политиков своего времени и выделяет три случая, позволяющих назвать военную интервенцию легитимной. Во-первых, отказ от доктрины невмешательства возможен, когда необходимо противостоять гуманитарным катастрофам, таким как рабство. Во-вторых, при определенных условиях интервенция может способствовать обретению народом свободы и права на самоопределение. В-третьих, интервенция может стать средством в борьбе против тирании. Перевод статьи на русский язык осуществлен впервые.

* Статья впервые опубликована в декабре 1859 года в консервативном Журнале Фрейзера (Fraser's Magazine). Перевод выполнен по изданию: Mill J. S. (1859). A Few Words on Non-intervention // Fraser's Magazine for Town and Country. Vol. LX. № CCCLX. P. 766–776.

Сверка перевода осуществлена по изданию: Mill J. S. (1984). A Few Words on Non-intervention // Mill J. S. Collected Works of John Stuart Mill. Vol. XXI. Toronto: University of Toronto Press. P. 111–124. Комментарии к статье данного издания были учтены при подготовке перевода, однако зачастую содержат библиографическую информацию и напрямую отражены в переводе не будут.

Также при переводе учтены комментарии Майкла Дойла к оригинальному тексту Милля: Doyle M. W. (2015). The Question of Intervention: John Stuart Mill and the Responsibility to Protect. New Haven: Yale University Press.

Примечательно, что на страницах журнала даны подзаголовки-обобщения основной мысли того или иного отрывка статьи. Структурно она затрагивает такие разделы, как «Идеи английской внешней политики на континенте» (pp. 766–767), «Неверное представление о национальных чувствах [National Feelings]» (pp. 768–769), «Вопрос о Суэцком перешейке» (pp. 770–771), «Британское отношение к туземному [Native] рабству в Индии» (pp. 772–773) и, наконец, «Как одно свободное правительство может [may] содействовать другому» (pp. 774–776).

Здесь и далее примечания принадлежат Дарье Чагановой. Слова в квадратных скобках вставлены переводчиками.

Ключевые слова: философия войны, справедливая война, интервенция, доктрина невмешательства, Британская империя, Ост-Индская компания, рабство, свобода, международная мораль

Есть в Европе страна, не уступающая величайшим странам широтой своего владычества, намного превосходящая любую другую в богатстве и обретенной благодаря ему силе, во внешней политике провозглашающая принцип самостоятельности каждого народа. Она не посягает на другие страны и не вынашивает в их отношении агрессивных планов. Издревле могущественные державы имеют обыкновение покушаться на слабых и бороться за власть с равными себе по силе. Но не эта страна. Она будет стоять на своем и не потерпит посягательств на свои права, но если другие страны не будут вмешиваться в ее дела, она не намерена вмешиваться в их. Любая ее попытка оказать влияние на другие страны (даже путем убеждения) более служит другим, чем ей самой: будь то посредничество в международных конфликтах, прекращение бескомпромиссных гражданских войн, примирение враждующих сторон, содействие мягкому обращению с побежденными или, наконец, недопущение на государственном уровне преступлений и злодеяний, попирающих саму гуманность, таких как работорговля. Эта страна не только не желает выгоды за счет других, но не желает также и отношений, в которых все остальные будут чувствовать себя зависимыми. Она не заключает договоров, выгодных в коммерческом отношении только ей одной. Если же агрессия варваров втягивает эту страну в войну, которая успешно заканчивается, и ее победоносные войска обеспечивают ей возможность установить порядок свободной торговли, все, что ни потребует она для себя, она потребует и для всего рода человеческого. Бремя войны она несет сама, а плодами победы братски делится со всем человечеством. Ее порты и рынки так же свободны, как воздух и небо: доступ к ним открыт для всех ее соседей без каких-либо сборов, а если таковые все же установлены, они обычно соразмерны тому, что платят ее собственные граждане. И эта страна не вмешивается, даже если ее соседи оставляют все себе и упорствуют в зависти и недальновидности, вытесняя ее торговцев и товары.

Страна, ведущая дела таким образом, столь необычна для мира, что многие, сталкиваясь с ней, не способны в это поверить. Так, по одному из парадоксальных случаев, с которыми мы часто сталкиваемся в делах человеческих, именно на эту страну — в том, что касается ее внешней политики — возводят хулу как на образец эгоизма и самовозвеличивания, как на страну, которая не думает ни о чем другом, кроме как перехитрить и превзойти в военном искусстве своих соседей. Не способный угнаться за этой страной и потерявший самообладание враг или самовлюбленный соперник может, вероятно, выдвинуть подобное обвинение. Но что оно должно получить поддержку обывателей и стать общепризнанным — это способно удивить даже тех, кто глубоко погрузился в пучины человеческих предразсудков. Впрочем, именно такое мнение о внешней политике Англии наиболее

распространено на континенте. Давайте не будем обольщаться, что все это лишь бесчестное притворство врагов или тех, кто получает выгоду, разжигая ненависть к нам, — например, всех протекционистских писателей и глашатаев всех деспотов и пап. Чем более безупречной и похвальной будет наша политика, тем с большей уверенностью мы можем ожидать, что она будет искажена и оклеветана этими почтенными особами. К несчастью, это мнение разделяют не только те, кто находится под их влиянием, но и множество незаинтересованных лиц придерживается его со всем упорством предрассудка. Это убеждение настолько закрепилось в их умах, что, когда англичанин пытается переубедить их, даже привычная вежливость не позволяет им скрыть полное неверие в его слова. Они полностью убеждены, будто среди того, что говорят или делают английские государственные деятели на внешнеполитической арене, нет ничего, что не было бы обусловлено исключительно английскими интересами. Напротив, любые оправдания кажутся им смехотворной и неприкрытой попыткой обмануть их. Даже самые дружественные по отношению к нам думают, что делают большое одолжение, допуская, будто виноват не столько английский народ, сколько английское правительство и аристократия. Даже когда мы следуем своим собственным интересам, прямо заявляя, что честность — наилучший способ вести политику, они не отдают нам должного. Они считают, что наши истинные цели всегда отличаются от озвучиваемых нами; и это абсолютно надуманное и неблагоприятное предположение о нашей корыстности кажется им более правдоподобным, нежели нечто столь невообразимое, как отсутствие у нас корыстных мотивов. Можно привести один пример из множества подобных: мы обложили самих себя налогом в двадцать миллионов (что является, по оценкам наших соседей, чудовищной суммой), чтобы избавить негров от рабства¹, чем подвергли опасности (как всем казалось) и подорвали само существование (по мнению большинства) наших колоний в Вест-Индии². В тот момент появилось

1. Один из первых эпизодов освобождения рабов случился примерно за 20 лет до выхода данной статьи. Именно в 1833 году на территории всей Британской империи начали вводить в действие статью (Slavery Abolition Act 1833) об упразднении рабства, предполагающую уничтожить перехваченные суда, занимавшиеся работорговлей. США, Пруссия и Россия категорически отказались от этой идеи, некоторые страны охарактеризовали этот шаг как «пиратство» (Martin M. [1844]. *The British Colonial Library, Comprising a Popular and Authentic Description of All the Colonies of the British Empire*. Vol. IV. L.: H. G. Bohn. P. xxxii).

Действия по отмене рабства и начались со стороны Англии, и активно ей продвигались с августа 1834 года (Lucas Ch. P. [1913]. *A Historical Geography of the British Colonies: West Africa*. Oxford: Clarendon Press. P. 394), однако некоторое время распространялись только на колонии Вест-Индии. Исключение составляли все земли Ост-Индии: рабство сохранялось на Шри-Ланке и землях от острова Цейлон до острова Св. Елены вплоть до 1843 года (Major A. [2012]. *Slavery, Abolitionism, and Empire in India, 1772–1843*. Liverpool: Liverpool University Press. P. 182). Компенсация за рабов (освобождение которых датируется 7 июля 1835 года) каждого поместья на островах тщательно высчитывалась, и общая сумма выплаты оценивалась в 20 миллионов фунтов стерлингов. Этот долг был окончательно выплачен Великобританией лишь в 2015 году.

2. Вест-Индские колонии — колонии Англии на западе в Атлантическом океане, Карибском море и Мексиканском заливе, территориально противопоставляющиеся восточным (Ост-Индским). В их число входили Карибские, Багамские острова, Маврикий и некоторые континентальные земли, которые имели плотную экономическую связь с Северной Америкой (Edwards B. [1794]. *The History, Civil*

и укоренилось мнение, будто наши искренние заявления служили лишь для того, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество, а нашим самопожертвованием мы пытались достичь неких скрытых целей, которые нельзя ни понять, ни описать, но которые подрывают силы других государств. Лисица, потерявшая свой хвост, была бы обоснованно заинтересована в том, чтобы убедить соседей избавиться и от своих: но мы, по убеждению *наших соседей*³, добровольно отрезали наш великолепный хвост — самый большой и превосходный из всех существующих — в надежде получить некое необъяснимое преимущество от того, что склоним остальных сделать то же самое.

Безрассудно пытаться не обращать на все это внимания, лишь убеждая самих себя, что это не наша вина и что те, кто не верит *нам*, не поверят, даже если покойник воскреснет из мертвых. Страны, как и люди, должны заподозрить, что причина заключается в них самих, если обнаружилось, что мнение о них в действительности куда хуже, нежели они (как им казалось) того заслуживают; и им следует осознать, что они в какой-то мере виноваты, если почти каждый, кроме них самих, считает их коварными и лицемерными. Дело не только в том, что Англия была успешнее других в достижении привлекательной для всех цели, которую она должна была, по их мнению, преследовать в столь безудержной и безостановочной погоне. В самом деле, это представление становится предпосылкой, питающей их предубеждения. Естественно, что победу одерживают те, кто боролся за нее; что выдающиеся успехи являются плодами больших усилий; и людям нравится думать, будто в случаях, когда соперники оказываются поверженными, хотя мы явно воздержались от привычных средств для достижения превосходства над ними, были искусно использованы средства борьбы куда более изысканные и коварные. Этот предрассудок заставляет их во всем искать свидетельства, которые поддержали бы объяснение нашего поведения эгоизмом. Если же наш обычный образ действий не соответствует этому объяснению, они внимательно высматривают отклонения в нем, полагая, что указывают на наши скрытые замыслы. Более того, они буквально воспринимают все наши высказывания, в которых мы критически оцениваем себя. Подобные высказывания можно часто услышать от английских государственных деятелей и почти никогда от представителей других стран — отчасти из-за того, что англичане, в отличие от других народов, настолько стесняются открыто признавать свои добродетели, что вместо этого готовы выставить напоказ свои пороки, и отчасти из-за просчетов английских политиков, беспечных до такой степени, что ни один чужеземец не поверит им. Они беспокоятся о впечатлении, которое они производят на иностранцев, но совершают глупые ошибки, полагая, что умы их неаристократических соотечественников могут быть заняты лишь низменными вещами, и потому всегда уместно, если не необходимо, отдавать предпочтение именно таким вещам.

and Commercial, of the British Colonies in the West Indies. Vol. 2. L.: John Stockdale. P. 397–399). Полный список островов: Ibid: 2.

3. Здесь и далее передан курсив Дж. Ст. Милля.

Следовательно, все, кто говорят или действуют от имени Англии, связаны самыми строгими обязательствами, исходящими одновременно из чувства благоразумия и долга, — не допустить ни повода для неправильного понимания, чтобы самым решительным образом препятствовать мании изображать основания наших действий в неприглядном свете и избежать лживого целенаправленного вычленения какого-то конкретного случая, демонстрирующего наши дурные принципы, а не те, которыми мы обычно руководствуемся. В настоящее время наши действующие политики грубым образом игнорируют оба эти спасительные предостережения.

Сейчас мы испытываем один из таких критических моментов, которые происходят даже не раз в поколение, когда и цепь всех событий в Европе, и курс европейской истории на долгие времена могут зависеть от политики и положения Англии. В такой момент сложно сказать, что именно — речи или действия наших государственных мужей — играют на руку нашим врагам, придавая их несправедливому представлению о характере и политике нашего народа оттенок справедливости.

Для начала обратим внимание на огрехи в речах. Как — во время европейского кризиса наших дней — выражается в каждой речи любой английский министр или уважаемый общественный деятель, обращаясь к парламенту или своим избирателям? Все они вечно повторяют избитый *припев*: «Мы не вмешивались, потому что это не соответствовало английским интересам»; «Мы не должны вмешиваться в дела, к которым английские интересы не имеют отношения»⁴. Англия, таким образом, выставлена как страна, где самые выдающиеся государственные мужи не стесняются провозглашать в качестве руководящего принцип: не шевельнуть и пальцем для помощи другим, пока в этом нет личной выгоды. А ведь никто из этих людей не вынес бы обвинений, которые вызывало бы применение этого принципа в частной жизни. Следует многое сказать по поводу доктрины, согласно которой страна должна быть готова помочь своим соседям освободиться от угнетения и обрести свободные учреждения. И также многое может быть сказано сторонниками мнения, что одна страна не вправе судить и действовать за другую, и что каждый должен быть предоставлен самому себе и искать выгоду или подчинился неблагоприятным обстоятельствам в соответствии со своими возможностями.

4. Это обобщение Милля не носит характер апелляции к конкретной речи кого-либо из представителей правительства. Главным объектом нападок служит все же 37-й (на момент публикации статьи) премьер-министр Великобритании, бывший министр иностранных дел Генри Джон Темпл, виконт Палмерстон. Аргументация статьи в целом направлена против тезисов Палмерстона о том, что Англия в своей политике должна руководствоваться своими интересами, не заводя принципиальных врагов, но определяя их, исходя из британского интереса. Особенно в этом контексте известно выражение лорда Палмерстона, произнесенное за десять лет до выхода статьи Милля: «...наши [британские] интересы вечны и непреходящи, и именно ими мы обязаны руководствоваться» (перевод Д. Ч.). Эти тезисы о «вечной» природе британских интересов в качестве фактора политики были проинесены в речи Г. Дж. Палмерстона против его критиков в палате общин 1 марта 1848 г. См.: Palmerston's Reply to His Critics in House of Commons, March 1, 1848, Hansard (UK Parliament Official Report), 3rd Series, xcvi, pp. 121–123. Цит. по: Doyle. Op. cit. P. 13.

ми и разумением. Но из всех позиций, которые страна может занять по вопросу об интервенции, самая подлая и худшая — заявить, что вмешательство возможно только в том случае, когда оно может послужить ее собственным интересам. Все остальные народы вправе сказать: «Похоже, что невмешательство не является для вас делом принципа. Вы воздерживаетесь от вмешательства не потому, что признаете его несправедливым. Вы не находите оснований для вмешательства, если оно будет выгодно только тем, в чьи дела вы вмешиваетесь; они и думать не должны, что вы каким-то образом обеспокоены их благом. Благо других не входит в список вещей, что вас заботят; но вы готовы вмешаться, если это поможет вам обернуть что-либо в свою пользу». Такова очевидная интерпретация используемого нами языка.

Едва ли существует необходимость говорить, обращаясь к англичанам, что наши правители и политики в действительности не это имеют в виду. Их язык есть неверное отражение их мыслей. Подразумевают же они лишь часть из того, что, как кажется, говорят. Они действительно отвергают вмешательства во имя блага других народов. И отвергают совершенно искренне и со всей серьезностью. Но они вовсе не подразумевают того, что якобы содержится во второй части их высказывания, — готовность вмешаться, если таким образом они сделают что-либо во имя интересов Англии. Они озабочены не интересами Англии, а ее защитой. Они хотят сказать, что готовы действовать, когда безопасность Англии находится под угрозой или какие-либо ее интересы подвергаются враждебным или несправедливым нападениям. Это то, что делают все народы, достаточно могущественные для собственной защиты; и никто не ставит под сомнение их право поступать так. Это общепринятое право самообороны. Но если мы подразумеваем это, почему, ради всего святого, мы используем все имеющиеся возможности сказать вместо этого нечто совершенно иное? Не самооборона, но самовозвеличивание — вот смысл, который слушающие нас иностранцы вкладывают в наши слова. По мнению иностранцев, мы заявляем о свободе вмешательства в их дела не только ради защиты того, что мы имеем (на самом деле выступая против несправедливости, а не против честного соперничества), но чтобы снова и снова приумножать наши владения. Когда наши действия не позволяют наиболее предвзятым наблюдателям поверить, что мы собираемся или были бы готовы создать торговые монополии, это никак не влияет на их мнение, а, напротив, заставляет их думать, будто мы выбрали более хитрый способ достижения этой цели. Среди политиков континента (в первую очередь среди тех, кто считает себя особенно осведомленным) утвердилось мнение, будто само существование Англии зависит от беспрестанного приобретения новых рынков для наших производителей; что погоня за ними — для нас дело жизни и смерти; и что мы без тени сомнения готовы пренебречь своей обязанностью перед публичной или международной моралью, если возникла бы альтернатива сделать паузу в гонке хоть на один миг. Было бы излишним указывать, что такое мнение коренится в глубоком невежестве и неправильном понимании законов национального благосостояния и всех аспектов финансового положения

Англии, но такие невежество и заблуждение, к несчастью, очень распространены на континенте. Заметно все же, как медленно они сдаются перед доводами разума; но, вероятно, последующие поколения все еще будут давать нам оценку, находясь под их влиянием. Слишком ли многого требует от наших действующих политиков просьба иногда иметь это в виду? Сообразно ли какой-либо благой цели выражаться так, как если бы мы не гнушались заявлений о чем-то таком, что мы не только не решимся сделать, но и сама мысль об этом даже не пришла бы нам в голову? Почему мы должны отказываться от роли несравненно самой добросовестной из всех наций — роли, на которую могли бы по праву претендовать? Пожалуй, из всех стран, достаточно могущественных, чтобы угрожать соседям, наша — единственная, которая из одних только соображений совести воздержалась бы от этого. Мы — единственный народ, для которого — вне зависимости от классового положения — выгода или слава страны не воспринимаются в качестве оправдания несправедливых деяний; народ, который с ревностным подозрением и жестокой критикой оценивает действия своего правительства, которые в других странах были бы, несомненно, встречены аплодисментами, поскольку они привели бы к приобретению территорий или распространению политического влияния. Являясь в действительности лучше, чем другие страны, по крайней мере, в негативной части международной морали⁵, давайте прекратим говорить о себе хуже, чем мы есть.

Но если мы должны быть осторожными в наших речах, в тысячу раз важнее быть осторожными в наших делах. Важно также не допустить предательства со стороны какого-либо из наших правителей, который по некоторому частному вопросу станет действовать вопреки нашим устоявшимся принципам. Подобное же поведение, воспринимаемое как истинно присущее нам, подтвердило бы наветы наших злейших врагов и оправдало бы их представления о том, что мы не только не считаемся с благом других стран, но и в действительности находим несовместимыми их благо и наше собственное; и что мы пойдем на все, дабы помешать другим заполучить преимущества, которыми мы можем обладать сами. Подобный

5. Пассаж о негативной части международной морали перекликается с концепцией негативной и позитивной свободы, играющей ключевую роль в теории Дж. Ст. Милля и описанной в эссе «О свободе». Более концентрированно учение о видах свободы представлено в работе 1958 года английского философа И. Берлина «Две концепции свободы». Под свободой в негативной смысле, или под негативной «частью» свободы в сфере частных и внутриполитических взаимоотношений, понимается область человеческой жизнедеятельности (частного лица или группы людей), свободная от какого-либо внешнего вмешательства: «Быть свободным в этом смысле значит „не испытывать чужого вмешательства“» (Берлин И. [2001]. *Философия свободы*. М.: Новое литературное обозрение. С. 47). Так, в этом случае по аналогии с внутриполитической сферой негативная международная мораль трактуется как комплекс действий (в их число входит также отказ осуществлять какие-либо действия) и заявлений какого-либо государства, направленный на невмешательство во внутренние дела других участников международных отношений. Эта трактовка, кроме того, связана с утилитаристским пониманием *негативной* справедливости и *негативной* морали, подразумевающим не-причинение вреда другим (опять же, во внутриполитической сфере, но экстраполируя на международный уровень). См.: Lyons D. (1994). *Rights, Welfare, and Mill's Moral Theory*. N.Y.: Oxford University Press. P. 118.

зловредный промах (едва ли возможно удержаться, чтобы не назвать его безумным) мы, кажется, совершаем в отношении Суэцкого канала⁶.

Во Франции сложилось общее мнение, будто усиленное давление, оказанное на Константинополь Англией, чтобы расстроить этот проект, — это в действительности единственное непреодолимое препятствие на пути к его осуществлению. И, к несчастью, публичные заявления нашего нынешнего премьер-министра не только подтверждают это убеждение, но и оправдывают утверждение, будто мы выступаем против проекта, так как, по мнению нашего правительства, он был бы губителен для интересов Англии⁷. Если мы продолжим держаться этого курса и подобных оснований, то — приняв во внимание, что у стран есть обязанности по отношению к благу всего человечества (пусть даже негативные) — трудно сказать, что сильнее будет бросаться в глаза: безрассудство или аморальность нашего поведения.

В отношении этого проекта — осуществимость которого еще надо обсуждать — никто и не пытался отрицать, что, если предположить его реализованным, он благоприятствовал бы торговле и, следовательно, послужил бы стимулом для развития производства, содействовал бы укреплению связей между народами и, соответственно, распространению цивилизации, что вознесло бы его до уровня великих индустриальных совершенствований современности. Открытие новых способов сокращения трудозатрат и экономии в сфере промышленности — вот

6. Здесь мы видим выпад Милля в сторону лорда Палмерстона и его критики проекта Суэцкого канала. Постройка канала была экономически и логистически выгодным шагом, предложенным в 1850-х годах французским инженером Фердинандом де Лессепсом. Строительство велось акционерной компанией Суэцкого канала при поддержке французского правительства (в частности, лично Наполеона III), Египта и индивидуальных акционеров с 1859 по 1869 г. (См. речи самого де Лессепа об идее и противоречиях, возникавших вокруг строительства Суэцкого канала: *De Lesseps F.* [2011]. *History of the Suez Canal: A Personal.* Cambridge: Cambridge University Press.) Хотя канал на Суэцком перешейке значительно сокращал время транспортировки товаров и в целом позволял построить более выгодный торговый путь (за счет отсутствия необходимости обгибать Африку по пути из Индийского океана в Европу), проект критиковали власти Великобритании и Османской империи. Противники проекта, помимо экономических соображений, указывали на невозможность или чрезвычайную сложность выполнения поставленных задач, а также ориентировались на устаревшие сведения о том, что объема воды в канале будет недостаточно для прохода глубоководных судов. Эта информация была опровергнута австрийским инженером Алоисом Негрелли (см.: *Водозовов В. В.* [1901]. Суэцкий канал // *Андреевский И. Е.* [ред.]. *Энциклопедический словарь.* Т. 32. СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. С. 163–165). В Британии были распространены опасения, что она понесет экономические потери вследствие постройки канала через Суэцкий перешеек и потеряет власть над Индией. Турецкое правительство беспокоило перспектива освобождения Египта из-под османского владычества. Милль же часто обращал внимание на то, что Г. Дж. Палмерстон видит в постройке Суэцкого канала угрозу экономическим и стратегическим целям только лишь Великобритании, и противопоставлял ему свой тезис о том, что Англия не должна из соображений личной выгоды становиться врагом всего человечества. Это прослеживается и в данной статье, и в автобиографии Дж. Ст. Милля: *Mill J. S.* (1981). *Autobiography // Mill J. S. Autobiography and Literary Essays* / Ed. J. M. Robson, J. Stillinger. Toronto: University of Toronto Press. P. 263–264.

7. После того, как стало известно о планах строительства Суэцкого канала, лорд Палмерстон не раз выражал свою негативную оценку последствий этого для Британии. Это прослеживается также в критических письмах его современников; см.: *Lange D. A.* (1857). *Lord Palmerston and the Isthmus of Suez Canal: Two Letters Addressed to the Editor of «The Times».* L.: Richardson Brothers.

задача, на решение которой в настоящее время направлено почти все изобретательское мастерство человечества; и этот проект, будучи осуществленным, позволит избежать плавания вокруг континента на одной из крупнейших магистралей мировых грузоперевозок. Легкий доступ к торговле является главным источником той материальной цивилизации, которая в более отсталых регионах земли выступает в качестве необходимого условия и механизма, приводящего мораль в движение. А этим проектом мы практически наполовину сокращаем дистанцию, говоря на языке коммерции, между развитыми нациями и самыми важными и ценными из неразвитых. Атлантический Телеграф⁸ расценивается как предприятие мирового значения, поскольку он упрощает передачу торговой информации. Суэцкий канал сократил бы сроки доставки самих товаров, а это, вероятно, в какой-то степени послужило бы расширению их многообразия.

Давайте предположим — впрочем, на сегодняшний день гипотеза слишком «не-английская», чтобы стать чем-то большим, чем предположением, — но давайте все же предположим, что английская нация увидела в этом великом благе для цивилизованного и нецивилизованного мира опасность или угрозу для некоего особого интереса Англии. Предположим, например, будто [английская нация] испугалась, что сокращение пути облегчит доступ иностранных флотов к ее восточным владениям. Это предположение вменяет нашей нации необычайный уровень малодушия и глупости; в противном случае, как можно было не понять, что средство, которое облегчило бы неприятелю доступ к нам, содействовало бы также и прибытию помощи; что в наших восточных морях уже и до этого были французские эскадры, и мы уже вели с ними морские баталии почти сто лет назад; что лишишь мы возможности защитить от них Индию, мы бы, несомненно, наблюдали их появление там и без всякого канала; и что наша способность сопротивляться врагу зависит не от возникновения больших или меньших препятствий на пути его наступления, но от той силы, что мы способны противопоставить ему, когда он прибудет. Давайте же предположим, однако, что успех этого проекта в каком-то отношении принес бы Англии больше вреда, чем блага, которое она, будучи материально главенствующей державой, получила бы от мощного развития коммерческих связей. Давайте допустим это, но тогда я спрошу: и что дальше? Есть ли на свете такая мораль, христианская или светская, которая обосновывает право одной страны препятствовать всему остальному человечеству в получении какого-либо великого блага, ибо последствия этого в каком-то непредвиденном случае могут причинить ей неудобства? Свободна ли нация настолько, чтобы в качестве практической максимы принять идею, что благое для человечества — плохо для нее самой, и действовать соответствующим образом? О чем же свидетельствует

8. Имеется в виду Трансатлантический телеграфный кабель, проект которого был готов уже в 1847 году, воплощение которого, однако, постоянно переносилось. На момент написания Миллем своего очерка все еще предпринимались попытки проложить кабель через Атлантический океан. Телеграф работал с перебоями и постоянно ломался. См.: *Hearn C. G. (2004). Circuits in the Sea: the Men, the Ships, and the Atlantic Cable. Westport: Greenwood.*

заявление, что ее интерес и интерес человечества несовместимы, как не о том, что она предстает по крайней мере врагом рода человеческого? И какое основание имеет она для жалобы, если человеческий род, в свою очередь, обнаруживает себя *ее* врагом? Безнравственность этого принципа, принятого и воплощенного какой-либо страной, позволила бы остальным странам мира объединиться в союз против нее и ни в коем случае не опускать оружия, пока они, если и не разрушат ее до основания, то хотя бы надломят ее мощь настолько, чтобы лишить ее способности когда-либо снова ставить собственные интересы выше общего благосостояния человечества.

Однако этот принцип чужд британцам. Они склонны видеть свое преимущество в том, чтобы содействовать росту богатства и распространению цивилизации, а не в том, чтобы сдерживать их. Сопротивление проекту по строительству Суэцкого канала никогда не было национальной идеей. С ее обычным безразличием к внешней политике общественность вообще не задумывалась об этом, но оставила этот вопрос, как она оставляет все, что связано с внешней политикой (за исключением ситуаций, особо ее волнующих), в руках тех, кто по воле случая принял на себя соответствующие полномочия, будучи основательно связанными лишь с внутренней политикой. Что бы ни было совершено от имени Англии по делу Суэцкого канала, было совершено определенными лицами; а вероятнее всего — по большей части одним человеком; едва ли кто-то из его соотечественников разделяет его устремления, а большинство из тех, кто уделил хоть какое-то внимание этому вопросу (к сожалению, их число очень мало), были, судя по всему, с ним не согласны.

Но (как говорят) этот проект не может быть воплощен. А если так, зачем нам беспокоиться по этому поводу? Если проект ни к чему не приведет, то к чему демонстрировать необоснованную безнравственность и добровольно подвергать себя осуждению, чтобы помешать его воплощению? Абсолютно неуместно рассуждать, будет ли он успешным или потерпит неудачу; не говоря уж о том, что, если он непременно потерпит крах, в нашем сопротивлении помимо той же безнравственности будет еще и определенная доля безрассудства, поскольку, исходя из озвученного выше предположения, мы открыто признаем перед миром уверенность в том, что наш интерес несовместим с его благом, в то время как если бы крах проекта принес нам хоть какую-то пользу, мы бы, несомненно, получили ее, держа язык за зубами.

Что касается личного мнения автора, он — в той мере, в которой он рассмотрел это дело — склонен согласиться с теми, кто полагает, что этот проект не может быть воплощен, во всяком случае, с помощью имеющихся средств и ресурсов. Но это — забота акционеров. Британское правительство не считает, что оно хотя бы отчасти обязано запрещать частным лицам, пусть даже британским гражданам, тратить их средства на сомнительные спекуляции, к тому же не гарантирующие серьезной общественной пользы в случае успеха. И если бы они, рискуя собственностью, подали пример другим, и проект, пусть и убыточный для тех, кто в числе

первых взялся за него, при них или при следующих руководителях, в полной мере обеспечил бы ожидаемую конечную выгоду для всего мира, это было бы не первым и даже не сотым случаем, когда убыточное предприятие имело такой результат.

Кажется, нет никакой надобности пересматривать всю доктрину невмешательства в дела других стран, если сказать, что ранее она уже рассматривалась как настоящая моральная проблема. В последнее время мы кое-что слышали о готовности воевать во имя идеи. Воевать за идею, если война агрессивная, а не оборонительная, — такое же преступление, как воевать за территорию или прибыль, поскольку навязывать наши идеи другим людям столь же малооправданно, как и заставлять их подчиняться нашей воле в любом другом отношении. Но, несомненно, есть случаи, когда допустимо идти на войну, даже не претерпев нападения или его угрозы; и очень важно, чтобы страны определили, что именно это за случаи. Существует не так много вопросов, требующих большего внимания со стороны нравственных и политических философов, чтобы установить правила или критерии, посредством которых можно однозначно и здраво оценить, оправданно ли вмешательство в дела других стран или (что иногда также вызывает вопросы) воздержание от него. Кто бы ни попытался сделать это, ему придется столкнуться с множеством фундаментальных различий, еще незнакомых общественности и в целом упущенных из виду теми, кто в потугах возмущенной нравственности пишет об этой проблеме. Велика разница (например) между случаем, когда вовлеченные страны равны или почти равны по уровню цивилизованности, и случаем, когда одна из них высокоразвита, другая же стоит на очень низком уровне социального развития. Предполагать, что между двумя цивилизованными странами и в отношениях цивилизованных стран с варварами могут действовать одинаковые международные обычаи и одинаковые правила международной морали, — значит глубоко заблуждаться. И в такое заблуждение не может впасть ни один государственный деятель, хотя это могут сделать те, кто критикует их, будучи в безопасности и не неся никакой ответственности. Среди множества причин, не позволяющих применять одни и те же правила к столь разным ситуациям, две следующие наиболее значимы. Во-первых, нормы общепринятой международной морали подразумевают взаимность. Но от варваров не стоит ждать взаимности. На них нельзя положиться в соблюдении каких бы то ни было правил. Их умы не способны на столь значительное усилие, равно как и их воля не будет подчиняться высоким мотивам. Во-вторых, варварские страны еще не вышли из того периода, когда быть завоеванными и подчиненными иностранцам, вероятно, служит их же благому. Независимость и национальное самосознание, столь необходимые для должного роста и развития народов более совершенных, таким странам обычно наносят вред. Священные обязанности, которые появляются у цивилизованных наций благодаря независимости и обособленности друг от друга, не связывают их в отношениях с теми, для кого обособленность и независимость либо однозначно являются злом, либо, в лучшем случае, сомнительным благом. Римляне были во-

все не самыми невинными завоевателями, однако разве было бы лучше для Галлии и Испании, Нумидии и Дакии никогда не стать частями Римской Империи? Если кто-то называет политику по отношению к варварам нарушением права народов, это означает лишь то, что говорящий это никогда не разбирался в данном вопросе. Это вполне может быть нарушением основополагающих моральных принципов; но варвары как *нация* не имеют прав, за исключением права на такое обращение, которое в кратчайший срок поможет им стать нацией. Есть лишь один вид моральных законов, регулирующий взаимодействие между цивилизованным и варварским правительством, и это — общепринятые правила отношений человека с человеком.

Таким образом, получается, что критические замечания, которым так часто подвергаются действия французов в Алжире или англичан в Индии, строятся на ошибочном основании. Не установлено единого критерия для оценки их действий; они избегают замечаний и осуждения в той форме, которая могла бы действительно служить во благо. В то же время их оценивают по критериям, которые никак не могут повлиять на тех, кто непосредственно вовлечен в происходящее и осознает, что их нельзя (а если можно было бы, то не стоило бы) оценивать, поскольку в результате этой оценки ни один человек не оказался бы лучше, а многие предстали бы намного хуже. Не может быть так, чтобы у цивилизованного правительства не было варварских соседей; а раз у него есть таковые, оно не может всегда довольствоваться оборонительной позицией, просто сопротивляясь агрессии. Сохраняя выдержку достаточно долго, оно вынуждено либо завоевать их, либо подчинить их своей власти и настолько сломить их дух, что они постепенно погрузятся в состояние зависимости от него. Так что, когда это случится, они на самом деле уже не будут питать отвращения к своему подчиненному положению. Но цивилизованному правительству пришлось сделать столь многое, чтобы установить или, наоборот, низвергнуть местные правительства, и местное население настолько привыкло полагаться на власть правительства цивилизованного, что последнее стало морально ответственным за все зло, которое оно позволяет им делать. Это история отношений британского правительства с индийскими государствами. Наше правительство не было в безопасности в своих собственных владениях в Индии, пока не свело к нулю военную мощь этих государств. А деспотическое правительство существует только благодаря своей военной мощи. Когда мы уничтожили их мощь, мы были вынуждены, в силу необходимости, предложить им свою военную силу взамен. Мы, чтобы дать им возможность обойтись без огромных армий, обязались расположить на индийских территориях свои войска (а они, в свою очередь, обязались принять их) в таком количестве, что это сделало нас фактически хозяевами страны. Мы поручились, что эти войска будут исполнять роль силы, защищающей князя от всех внешних и внутренних врагов. Но получив, таким образом, защиту цивилизованной власти и освободившись от страха гражданского восстания или иностранного завоевания — то есть от всего, что умеряет и сдерживает пыл азиатского деспота — местные правительства либо своим гнетом и грабительством

опустошали страну, либо впадали в состояние такого безвольного слабоумия, что каждый их подданный, лишенный возможности для своей защиты нанять телохранителей, становился добычей всякого, кто имел в распоряжении банду головорезов. Британское правительство сочло это плачевное состояние своей заботой, что было обусловлено тем положением, в которое ради собственной безопасности оно поставило себя по отношению к местным правительствам. Если бы оно позволило этому продолжаться бесконечно, то его заслуженно бы считали одним из самых страшных политических злоумышленников. В некоторых случаях (к несчастью, не во всех) оно пыталось предостеречь себя от таких бед с помощью специальной статьи в договоре, обязав князя реформировать свою администрацию и в будущем править в соответствии с рекомендацией Британского правительства. Среди договоров, в которые была включена такая статья, был и тот договор с Аудом⁹. Пятьдесят лет, и даже более, Британское правительство допускало полное игнорирование этой договоренности, часто не без увещаний, а иногда и угроз, но так и не осуществив их. В течение этого полувека Англия несла моральную ответственность за то сочетание тирании и анархии¹⁰, образ которого ужасает всех, кто узнает об этом со слов очевидцев¹¹. Действие, которым правительство Британской Индии в конце концов освободило себя от договоров, столь грубо нарушенных, и выразило решимость выполнить давно взятое на себя обязательство — дать народу Ауда подходящее правительство, — было вовсе не политическим преступлением, как его столь часто по незнанию называют, но преступно запоздалым воплощением крайней необходимости. Тот факт, что руководство Ост-Индской кампании, ничего не сделав за целое столетие, в Англии столкнулось с огромным общественным неодобрением, служит одним из наиболее ярких примеров, иллюстрирующих предыдущую часть данной статьи о предрасположенности английской общественности неблагоприятно рассматривать любое действие для приобретения территории или дохода за счет других государств, а также становиться на

9. Ауд (Oude) — влиятельное в XVIII — первой половине XIX в. княжество на севере Индии, активно участвовавшее в борьбе против Британской Ост-Индской кампании. После аннексии (1856 г.) Англией Ауд стал очагом Индийского народного восстания 1857–1859 гг. (об этом см.: *Осинов А. М.* [1957]. Великое восстание в Индии. 1857–1859. М.: Учпедгиз; *Sen S.* [1992]. *The Historiography of the Indian Revolt of 1857*. Calcutta: Punthi-Pustak). Скорее всего, имеется в виду договор о протекторате над Аудом между Англией (представители — политик Генри Уэлсли и подполковник Скотт) и правителем Ауда — навабом-визирем Улом Моумалаком (Ool Momaualuck), подписанный в октябре-ноябре 1801 года и включавший 9 статей (см.: *Dundas Campbell L.* [1809]. *The Asiatic Annual Register; Or, A View of the History of Hindustan and of the Politics, Commerce and Literature of Asia, For the Year 1806*. V. 8. L.: Blacks & Parry. P. 228–258).

10. Не всегда справедливый подход навабов к правлению областью подтверждается не только эссе Дж. Ст. Милля, но и многими другими источниками. Например, в договоре 1837 года упоминается, что земля навабов будет изъята, если анархия и несправедливое правление продолжатся (см.: *Doyle*. Op. cit. P. 106). Индийский исследователь Радрангшу Мукерджи, цитируя Томаса Меткалфа, пишет, что навабы Ауда лишь «развлекались вином, женщинами и поэзией» (*Mukherjee R.* [1979]. *Awadh in Revolt, 1857–1859*. Delhi: Oxford University Press. P. 33). См. больше в: *Sullivan E. P.* (1983). *Liberalism and Imperialism*. J. S. Mill's Defense of the British Empire // *Journal of the History of Ideas*. Vol. 44. № 4. P. 599–617.

11. В тексте: «by men who knew it well». См. комментарий Майкла Дойла (*Doyle*. Op. cit. P. 107).

сторону любого правительства, сколь угодно недостойного, если оно может сотворить хотя бы малейшее подобие несправедливости в отношении нашей страны.

Но среди цивилизованных народов, членов равноправного сообщества наций, такого как христианская Европа, этот вопрос предполагает иной угол рассмотрения и должен быть решен на основе совершенно других принципов. Было бы оскорбительно по отношению к читателю обсуждать безнравственность захватнических войн или захват территорий, пусть даже совершенный в результате законной войны; это же относится к установлению господства одного цивилизованного народа над другим, если речь не идет о добровольном согласии последнего. В этом отношении мнения порядочных людей сходятся, как и в том, что нечестиво начинать агрессивную войну во имя любого нашего интереса, кроме тех случаев, когда необходимо предотвратить явно грозящую нам несправедливость. Споры же вызывает вопрос о вмешательстве в регулирование внутренних дел другой страны; вопрос о том, можно ли оправдать участие одной страны в гражданских войнах и столкновениях партий в другой; и, главным образом, может ли она оправданно помочь народу другой страны в борьбе за свободу или навязать некоей стране определенное правительство или учреждения — лучшие для самой страны или необходимые для безопасности ее соседей.

Из поставленных вопросов случай вооруженной борьбы народа за свободу кажется самым неоднозначным, или, хотя бы теоретически, может породить противоречивые моральные суждения. Другие упомянутые случаи едва ли нужно обсуждать. Людям, пишущим в свободной стране, нет необходимости утруждать себя, чтобы заклеить помощь правительству другой страны в угнетении народа — к сожалению, наиболее часто встречающийся случай иностранной интервенции. Правительство, нуждающееся в иностранной поддержке, чтобы принудить к подчинению собственных граждан, не должно существовать; а помощь, оказываемая ему иностранцами, — это не что иное, как симпатия одного деспотизма к другому. Требуется отдельного рассмотрения случай затяжной гражданской войны, в которой противостоящие друг другу стороны настолько равны по силе, что нет никакой вероятности быстрого решения конфликта; а если и есть, то победившая сторона не может даже надеяться на то, чтобы удержать побежденных в подчинении иначе как жестокостью, несовместимой со всякой человечностью и губительной для долговременного благосостояния страны. Похоже, еще не получила признания доктрина, согласно которой в этом исключительном случае страны-соседи (или один могущественный сосед с молчаливого согласия остальных) имеют основания требовать, чтобы противостояние сторон прекратилось, а примирение было достигнуто на справедливых условиях и по взаимному согласию. Современное поколение стало свидетелем того, как интервенция подобного рода неоднократно практиковалась с таким общим одобрением, что ее легитимность¹², мож-

12. В тексте: «legitimacy». Аргумент в пользу подобного вмешательства иностранных сил в долгий конфликт (гражданскую войну) на одной территории состоит в человеколюбии и сочувствии не столько комбатантам, сколько мирному населению, пострадавшему в ходе гражданских войн. Здесь

но сказать, стала максимой того, что называют Международным правом. Именно такими были вмешательства европейских держав в дела Греции и Турции; Турции и Египта¹³. Случай с Голландией и Бельгией — еще более яркий пример тому¹⁴. К той же категории относится интервенция Англии в Португалию несколько лет назад, которая, вероятно, не была столь запоминающейся, как другие, поскольку в действительности она была осуществлена без привлечения военной силы. Тогда эта интервенция казалась скверной и бесчестной поддержкой правительства в борьбе с народом, отложенной ровно до того момента, когда народная партия получила заметное преимущество и была готова вот-вот свергнуть правительство или сократить срок его пребывания у власти. Но если когда-либо политическое действие, выглядящее скверным вначале, и могло быть оправдано результатом — то именно в этом случае: ведь, как выяснилось, интервенция не предоставила партии власть, но на самом деле подействовала как исцеляющее средство. Не прошло и нескольких лет, как предводители так называемого восстания стали почетными и преуспевающими слугами трона, против которого они недавно сражались.

Что касается вопроса, оправдана ли помощь одной страны народу другой в борьбе против его правительства за свободные учреждения, ответ будет зависеть от того, исходит ли гнет, от которого этот народ пытается освободиться, от местного или иностранного правительства (рассматривая любое правительство, которое поддерживается извне, как одно из иностранных). Если борьба ведется только с местными правителями и местной силой, которой они могут заручиться, то ответ, который я должен дать на вопрос о легитимности интервенции, — как

Милль опирается на теорию права Эмера де Ваттеля, см.: *Pitts J.* (2013). *Intervention and Sovereign Equality: Legacies of Vattel // Welsh J., Recchia S.* (eds.). *Just and Unjust Military Intervention: European Thinkers from Vitoria to Mill.* Cambridge: Cambridge University Press. P. 132–153.

13. Греция начала борьбу за независимость от Османской империи (во время правления султана Махмуда II) в 1821 году. В конфликте со стороны Турции участвовал Египет, Грецию поддерживали Англия, Франция и Россия. В 1827 году Англия (согласно Лондонской конвенции 6 июля 1827 года) начала поддержку борьбы Греции за отделение, послав войска под командованием Эдварда Кодрингтона. Египетские же войска поддерживали сторону Османской империи с 1824 года (по решению хедива Мухаммеда Али). См.: *Hellenic Army General Staff* (1998). *An Index of Events in the Military History of the Greek Nation.* Athenes: Hellenic Army General Staff, Army History Directorate. P. 51–54. В 1927 году турецкий флот был разбит союзниками с греческой стороны, однако в связи с поддержкой противоборствующих в конфликте сторон, а также в условиях разногласий России, Франции и Англии Османская империя объявила войну России, в связи с чем окончательно освобождение Греции было принято турецкой стороной лишь в 1829 г. по Адрианопольскому мирному договору после поражения в Русско-турецкой войне. См.: *Brewer D.* (2001). *The Greek War of Independence: The Struggle for Freedom from Ottoman Oppression and the Birth of the Modern Greek Nation.* N.Y.: The Overlook Press.

14. Бельгия отделилась от Объединенного королевства Нидерландов в 1830 году. Этому способствовали дипломатические и риторические усилия представителей Франции и Англии — Ф. П. Г. Гизо и лорда Г. Дж. Палмерстона, будущего премьер-министра Англии. Отдельно стоит упомянуть о поддержке, которую высказали участники Лондонской конференции. См.: *Fishman J. S.* (1988). *Diplomacy and Revolution: The London Conference of 1830 and the Belgian Revolt.* Amsterdam: CHEV. Притом в другом своем эссе, «Рассуждения о представительном правлении», Милль пишет, что у бельгийцев, несмотря на различие в расе и языке, гораздо более сильно ощущается чувство *общей* национальной идентичности, нежели голландской или французской. См.: *Mill J. S.* (1977). *Considerations on Representative Government // Mill J. S. Essays on Politics and Society.* Toronto: University of Toronto Press. P. 546.

правило, «нет». Причина в следующем: едва ли найдется подтверждение тому, что вмешательство, даже успешное, может пойти на благо самому народу. Единственная хоть сколько-нибудь ценная проверка того, готовы ли люди к общественным учреждениям, состоит в том, чтобы они — или их большая часть — храбро приняли тяжелый труд и опасность ради своего освобождения. Я знаю все, что можно на это возразить. Я знаю, можно настаивать, что добродетелям свободных людей нельзя научиться в школе рабства, и что если народ не готов к свободе, его нужно сначала освободить, чтобы дать хоть шанс подготовиться к ней. И звучало бы убедительно, если бы обсуждаемая интервенция могла действительно дать ему свободу. Но проблема в том, что дарованная чужими руками свобода не будет ни настоящей, ни устойчивой, если у народа недостаточно любви к свободе, чтобы вырвать ее из рук местных угнетателей. Ни один народ не мог быть свободным, если только он не решил быть таковым; потому что ни его правители, ни какая-либо партия в стране не могли бы заставить его стать свободным. Если народ — особенно тот, чья свобода еще не окрепла — не ценит ее достаточно, чтобы бороться за нее против любых сил, которые только могут быть собраны по всей стране (даже владельцами публичных доходов), то вопрос лишь в том, через сколько лет или месяцев этот народ будет поработен. Либо выбранное им правительство, либо какой-то военачальник или группа заговорщиков, которые замышляют свержение правительства, быстро положат конец всем общественным учреждениям, если им не будет выгоднее сохранить их, заставив согласиться с сокращением их функций; ведь пока дух свободы в народе слаб, те, кто держит в руках исполнительную власть, легко подчинят *любые* учреждения целям деспотизма. У этой прискорбной проблемы нет надежного решения — даже в стране, которая самостоятельно добилась свободы, как сейчас ярко демонстрируют события как в Старом, так и в Новом Свете: если свободы добились *за* народ, у него мало шансов избежать такой участи. Когда же народу не повезло с правительством, при котором чувства и добродетели, необходимые для поддержания свободы, не могли развиваться сами по себе, наибольший шанс на их пробуждение появляется только благодаря напряженной борьбе за то, чтобы освободиться собственными силами. Люди привязываются к тому, ради чего они долго сражались и шли на жертвы; они учатся ценить то, что особенно занимало их мысли; и борьба, в которой многие были призваны посвятить себя служению своей стране, — это школа, обучающая их ценить интерес страны выше собственного.

Если страна со свободным правительством поддерживает попытки другой страны добиться того же от местных правителей иначе, как моральным одобрением ее позиции, эту поддержку редко — я бы даже сказал никогда — нельзя признать разумной или правильной. Конечно, мы должны исключить любой случай, когда поддержка иного рода является законной мерой самообороны. Если эта страна, которая своей свободой постоянно бросает упрек деспотизму и выступает с призывом его отбросить, окажется под угрозой нападения со стороны коалиции континентальных деспотов (случай вполне возможный), ей следует считать народ-

ную партию каждой страны континента своим естественным союзником: либералы должны стать для нее тем, чем были Европейские протестанты для правительства королевы Елизаветы¹⁵. Итак, опять же, когда нация в свою защиту начала войну с деспотом и была на редкость удачлива, чтобы не только успешно оказать сопротивление, но и после диктовать условия мира, она вправе заявить, что не заключит договор с правителем, чье существование как таковое будет служить постоянной угрозой ее безопасности и свободе. Эти исключения с большей ясностью представляют основания правила [невмешательства]; поскольку они зависят не от каких-либо ошибок в основаниях [этого правила], но от соображений, превосходящих по своему значению эти основания и подчиняющихся другому принципу¹⁶.

Но случай, когда народ борется с чужеземным гнетом или против местной тирании, поддерживаемой иностранными военными силами, представляет основания для невмешательства в совершенно ином свете; ибо в данном случае этих оснований нет как таковых. Народ, наиболее привязанный к свободе, готовый защищать и эффективно использовать свободные учреждения, может оказаться неспособен к успешной борьбе за них против военной мощи другой, гораздо более могущественной страны. Помочь угнетенному народу в этом случае — значит восстановить несправедливо и насильственно нарушенный баланс сил, от которого зависит постоянное поддержание свободы в стране, а не нарушить его. Доктрина невмешательства, чтобы стать законным принципом морали, должна быть принята всеми правительствами. Деспоты должны подчиниться ей, как и свободные государства. Пока они этого не сделают, ее признание свободными странами сводится к весьма прискорбной ситуации: злодей может помогать злодею, справедливый же не должен помогать справедливому. Вмешательство ради обеспечения невмешательства всегда законно, всегда морально, если не сказать, что всегда

15. Противостояние либерализма и деспотизма для Милля — конфликт глобального масштаба, всемирная гражданская война. Милль приравнивает его по степени принципиальности и жестокости к Религиозным войнам XVI–XVII веков между католиками и протестантами. В этом пассаже Милль имеет в виду королеву Елизавету I, которая, будучи англиканкой, не раз оказывала помощь протестантам в борьбе. Поддержку от нее получали представители самых разных направлений протестантизма: кальвинисты Нидерландов, французские гугеноты и немецкие лютеране. Елизавете I всячески способствовали в борьбе с поборниками католицизма королевский посол во Франции, сэр Николас Трокмортон [Throckmorton] и французский король Генрих IV, лидер гугенотов. Милль в данном случае подчеркивает, что идеология, как и вера, может служить фактором, объединяющим поверх государственных границ и интернационализирующим борьбу (см.: Owen J. [2005]. When Do Ideologies Produce Alliances? // *International Quarterly*. Vol. 49. № 1. P. 73–99).

16. В тексте: «These exceptions do but set in a clearer light the reasons of the rule; because they do not depend on any failure of those reasons, but on considerations paramount to them, and coming under a different principle». Это важный и, можно даже сказать, «поворотный» момент статьи: Милль в данном и последующем предложениях дает объяснение, почему аргументативная модель справедливого вмешательства меняется. До этого были описаны ситуации, в которых принцип невмешательства сохранял свое значение, но его перевешивали другие моральные принципы, и они делали возможной интервенцию. Внешние соображения моральной и иной природы в таких случаях «превосходили по своему значению» сами основания правила: грубо говоря, здесь мы сталкиваемся с тем, что исключение подтверждает правило. Далее же Милль описывает ситуации, когда принцип невмешательства фактически перестает действовать. — Прим. А. Куманькова.

благоразумно. Хотя было бы ошибкой *предоставить* свободу народу, который не ценит этого дара, правильно будет утверждать, что не стоит с помощью иностранного принуждения препятствовать ему в стремлении к свободе, если он ценит ее. Возможно, было бы неправильным для Англии (даже не учитывая вопроса о благоразумии) поддержать Венгрию в ее благородной борьбе против Австрии¹⁷; хотя австрийское правительство в Венгрии было, в каком-то смысле, иностранным гнетом. Но когда русский деспот¹⁸ (после того как венгры показали, что они близки к победе в этой борьбе) вмешался и, объединив свои силы с австрийскими, вернул венгров, связанных по рукам и ногам, их рассерженным угнетателям, было бы благородно и добродетельно со стороны Англии заявить, что так не должно быть, и если Россия оказала помощь злодею, то Англия поможет справедливой стороне. Возможно, это [заявление] не соотносится с тем, что каждая нация должна нести ответственность за свою безопасность, ведь Англия взялась за эту задачу в одиночку. Но Англия и Франция могли бы осуществить ее вместе; и если бы это им удалось, русское вооруженное вторжение никогда не состоялось бы или обернулось бы катастрофой для одной только России; в то время как все, чего добились эти державы своим бездействием, — необходимость бороться с Россией пять лет спустя¹⁹ в более тяжелых обстоятельствах и без Венгрии в качестве союзника. Первая же страна, у которой достаточно могущества для того, чтобы ее услышали, а также хватит духа и мужества провозгласить, что ни один солдат какой-либо державы в Европе не должен сделать и выстрела по восставшим подданным другой, станет кумиром для друзей свободы по всей Европе. Одно это заявление обеспечит практически немедленное освобождение каждого народа, достаточно желающего свободы, чтобы ее поддерживать; и страна, сделавшая такое заявление, скоро окажется во главе союза свободных народов, столь сильного, чтобы бросить вызов усилиям любому по величине объединению деспотов и уничтожить его. Это столь славная награда, что рано или поздно ее заполучит какая-нибудь свободная страна; и не так далеко то время, когда Англия будет вынуждена взять на себя эту героическую роль из соображений собственной безопасности, если не возьмет ее в силу своего героизма.

17. Венгерская революция перешла в активную фазу позже Греческой и Бельгийской — в 1848 году — и отличалась от них из-за прямого иностранного вмешательства. Венгерское восстание почти завершилось успехом — весной 1849 года была установлена независимость Венгрии, а Л. Кошут объявлен президентом. Однако в том же году руководство венгерской армии должно было объявить о своей капитуляции перед объединенными австрийскими и российскими войсками, призванными на помощь. См. об участии российской стороны в этой кампании: *Алабинъ П.* (1888). Четыре войны: походные записки въ 1849, 1853, 1854–56, 1877–78 годах. Самара: Типография И. П. Новикова.

18. В целом имеется в виду император Николай I, но непосредственное участие в подавлении восстания принимал русский генерал И. Ф. Паскевич. Это вмешательство было результатом просьбы о помощи со стороны австрийского императора Франца Иосифа I по условиям Варшавского договора 1849 г.

19. Имеется в виду столкновение с Россией на стороне Турции в Крымской войне 1853–1856 гг. В 1854 году Англия и Франция вмешались в уже идущий русско-турецкий конфликт.

A Few Words on Non-intervention

John Stuart Mill

Arseniy D. Kumankov (translator)

PhD in History of Philosophy (HSE), Academic Supervisor of Master Programme "Philosophy and History of Religion", Associate Professor, Faculty of Humanities, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: akumankov@hse.ru

Daria N. Chaganova (translator)

Master Student, Master Programme "Philosophical Anthropology", National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: d-chaganova@mail.ru

The essay "A Few Words on Non-intervention" by British philosopher and politician John Stuart Mill, published in *Fraser's Magazine for Town and Country* in December, 1859, has been translated into Russian for the first time for this issue of the *Russian Sociological Review*. Here, Mill justifies the foreign policy of the British Empire, and considers the criteria when the doctrine of non-intervention may be ignored in the sphere of international relations. There are three cases that make legitimate military intervention possible: (1) the overcoming of the doctrine of non-intervention when it is necessary to confront humanitarian disasters such as slavery; (2) an intervention allowing people to be given their freedom and to protect their right of self-determination; (3) an intervention as a tool to fight against tyranny.

Keywords: John Stuart Mill, philosophy of war, just war, intervention, doctrine of non-intervention, British Empire, East India Company, slavery, freedom, international morality

Возникновение клерикальной корпорации на Западе XI–XIII вв. и в России XVII–XVIII вв.*

Евгений Лютко

Диакон, приглашенный сотрудник Лаборатории исследования церковных институций,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Адрес: Лихов пер., д. 6, стр. 1, г. Москва, Российская Федерация 127051
E-mail: e.i.lutjko@gmail.com

Традиционные христианские конфессии — например католицизм или православие — в исследовательской литературе, в современных законодательствах или же на уровне бытового сознания понимаются в первую очередь в качестве клерикальных корпораций. Это корпоративное прочтение современного Христианства оказывает влияние и на понимание самого феномена религии, как это происходит, например, в знаменитом эссе П. Бурдьё о «поле религии». Не в меньшей мере это прочтение обуславливает и восприятие христианства как исторического феномена, который в рамках подобной репрезентации предстает в качестве корпорации на любом отрезке своего исторического существования. В этой статье обосновывается утверждение, что «клерикальная корпорация» не является изначально присущей христианству формой социальной организации, а является историческим явлением, в разное время охватывающим различные конфессиональные контексты. Так, в частности, возникновение клерикальной корпорации фиксируется в рамках асинхронной сравнительно-исторической перспективы на примерах западноевропейского католицизма XI–XIII вв. и Русского православия XVII–XVIII вв.

Ключевые слова: клерикальная корпорация, корпоративный сдвиг, Григорианская реформа, Синодальная реформа, русский раскол

Одним из наиболее проблемных аспектов гуманитарных наук является принципиальная несводимость опыта различных контекстов и затруднительность их обработки в рамках единой познавательной процедуры. Эта проблема в наибольшей степени ощутима, например, при применении европейского исследовательского концепта «религии» к опыту неевропейских духовных практик. Так, например, один из авторитетных социологов современности Пьер Бурдьё на раннем этапе своей карьеры также предложил свое понимание религии, которое не только повлияло на его позднейшие исследования (первое употребление концепта «поля»), но и стало одной из наиболее влиятельных концептуализаций религии в целом (Bourdieu, 1971). Многочисленные критики Бурдьё замечают, что в своем эссе французский социолог, в рамках описания универсального понятия «религии», экстраполировал даже не некий обобщенный «европейский опыт», но конкретный опыт католической Франции: очень особенный конфессионально-политический контекст, в котором Католическая церковь является, в сущности «религиозным

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10143). Организация выполнения проекта — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

монополистом» и противопоставлена «лаицизированной» гражданской бюрократии и интеллектуалам¹. Абстрагируясь от историко-биографического плана (влияние Церкви на юного Бурдьё и т. д.), в критических по отношению к Бурдьё теоретических исследованиях этот аргумент кристаллизуется как указание на принципиальное неразличение институциональной и не-институциональной религии (Dianteill, 2004; Rey, 2014).

В этом исследовании мы не преследуем цели решить проблему применения категории института в рамках изучения феномена религии. Обратим, однако, внимание на то, что своим эссе о «поле религии», безусловно, ставшим классическим не только «социологическим», но и «религиоведческим» исследованием, Бурдьё артикулировал определенную «эпистемологию религии», которая отчасти базировалась на его исследовательском, а отчасти на бытовом опыте: «Формирование поля религии является результатом монополизации корпорацией специализированных служителей культа права сношения со сверхчувственным миром» (Бурдьё, 2005: 19)². В этом определении *институциональной* (допустим эту оговорку, несмотря на то что ее не делает Бурдьё) религии кристаллизуется опыт ее критического восприятия, который восходит к Марксу, или даже к философам эпохи Просвещения. И ключевым — *конфликтным* — словом здесь является понятие «корпорации», наличие которого обозначает присвоение капитала определенного типа, осуществленное ограниченным кругом связанных между собой лиц. Однако является ли эта «корпоративная оптика» универсальным инструментом рассмотрения религии как исторического феномена? Учитывая, что она формовалась по преимуществу как рефлексия европейского христианства, можем ли мы сказать, что она способна охватить исторический феномен Христианства? Или, иначе говоря, можем ли мы предположить, что христианство — по преимуществу характеризуется наличием «корпорации религиозных специалистов», осуществляющих владение «религиозным капиталом»? В этой статье мы попытаемся обосновать отрицательный ответ на этот вопрос. И предложим тезис о «корпоративном сдвиге», который может быть выявлен в истории Христианства в рамках различных территориально-политических контекстов. Мы укажем на изоморфизм процессов, характерный для западноевропейского Христианства XI–XIII вв. и России XVII–

1. Бурдьё экстраполировал свой опыт взаимодействия с Католической церковью на свою концептуализацию религии (см.: Turner, 2011: 230). Тернер там же, деликатно оправдывая Бурдьё, замечает, что само понятие «социологии религии» во французском контексте было инструментом церковной социологии: посещение богослужений, численность приходов, клира и т. д. (см. также: Ситников, 2017).

2. Перевод смысловой. См. оригинал: «En tant qu'elle est l'aboutissement de la monopolisation de la gestion des biens de salut par un *corps de spécialistes religieux*, socialement reconnus comme les détenteurs exclusifs de la compétence spécifique qui est nécessaire à la production ou à la reproduction d'un corpus délibérément organisé de savoirs secrets (donc rares), la constitution d'un champ religieux est corrélative de la dépossession objective de ceux qui en sont exclus et qui se trouvent constitués par là même en tant que *ïaïcs* (ou profanes, au double sens du terme) déposés du capital religieux (comme travail symbolique accumulé) et reconnaissant la légitimité de cette dépossession du seul fait qu'ils la méconnaissent comme telle» (Bourdieu, 1971: 300–301).

XVIII вв., позволяющий говорить об асинхронном становлении «корпорации религиозных специалистов» в рамках европейского христианства.

Однако прежде чем приступить к решению этой задачи, мы начнем с определения понятия «корпорация». В этом исследовании корпорация понимается как *социальная структура, объединяющая многих, но функционирующая как единство*³. В свою очередь, «антонимом» корпорации в случае этого исследования будет пониматься феномен *группы* как множества индивидов, не объединенных ничем, кроме схватывающего их исследовательского объекта⁴.

Критерии сравнения

Как уже было сказано выше, в этом исследовании мы планируем провести асинхронное сравнительно-историческое исследование процессов становления церковной корпорации⁵ на Западе XI–XIII вв. и в России XVII–XVIII вв. Естественно, встает вопрос об изначальной правомочности подобного подхода — ведь к различиям политического, культурного и социального контекстов прибавляется еще и хронологический фактор, что грозит окончательно лишить основания попытку увидеть какую-либо структурную изоморфность социальных процессов⁶. Вместе с тем нельзя не упомянуть о довольно развитой традиции говорить об отношениях между обобщенными «Западом» и «Россией» с использованием категории «отставание». Такая эпистемологическая установка (истоки которой можно обнаружить еще в мысли т.н. «западников» в рамках дискуссий XIX в.) и соответствующий ей исследовательский подход реализуется в выявлении и сравнении тех или иных

3. Мы отталкиваемся от классической работы американского правоведа Р. Л. Раймонда, где он, в частности, отмечает: «The germ of the corporate idea lies merely in a mode of thought; in thinking of several as a group, as one» (Raymond, 1906: 350).

4. В этом смысле термин «группа» в данном исследовании приближается к понятию «условной или формальной группы», принятому в психологических исследованиях. В случае как с восточным, так и с западным контекстами мы можем столкнуться с приложением к исследуемым нами корпоративным реалиям категории «сословие». Мы в данном исследовании принципиально стремимся абстрагироваться от этой оптики. Во-первых, в силу того, что *ordo* на Западе и «сословие» на Востоке не могут рассматриваться в качестве синонимов ни в языковом, ни в юридическом смысле. Прежде всего потому, что Западный контекст, по причине священнического celibata, не предполагал передачи статуса по наследству. Во-вторых, представление о «сословии», применительно к русскому контексту, является остро дебатлируемым понятием «хронологический диапазон», к которому различные исследователи относят генезис духовного сословия, варьируется от конца XVII века (Стефанович, 2002: 231–232) до середины XIX (Freeze, 1977: 18–19), и нам не хотелось бы включать эту дискуссию. Именно по этой причине в данной статье используется максимально инструментальное понятие «корпорации».

5. Термины «церковная корпорация», «клерикальная корпорация» и «корпорация религиозных специалистов» употребляются здесь как синонимы.

6. В частности, асинхронная сравнительная перспектива во многом заставляет «двигаться по целине» и оставлять без внимания построения, устанавливающие связи в рамках синхронного сопоставления. А такие подходы имеют место. Так, например, оптика «дисциплинаризации», применяемая к процессам на Западе XVI–XVII вв. (Gorski, 2003), как показывают исследования, вполне применима и к российскому контексту (Живов, 2012). Однако, как мы показываем в этой статье, синхронное сравнение не исчерпывает возможности компаративистского метода.

процессов в России и на Западе, относящихся к различным этапам исторического развития⁷. В случае этого исследования мы не можем окончательно «примкнуть» к подобной исследовательской перспективе в силу ее изначально «оценочного» характера (что выражается в самом употреблении понятия «отставание» — будь то попытки «осудить» или «оправдать»). Вместе с тем мы находим ее убедительным обоснованием для принципиальной возможности выявления асинхронных социально-исторических изоморфизмов, наличие которых отнюдь не позволяет давать однозначные оценки, но, напротив, указывает на всю сложность и многофакторность сравнительно-исторической перспективы.

Сравнительное исследование требует от нас установки критериев, при помощи которых мы будем устанавливать соответствие исследуемых контекстов. Мы обозначим их, отталкиваясь от предложенного выше определения понятия корпорации. «Множество, функционирующее как единство» на самом первичном уровне «демонстрирует» единство в языке — то есть искать мы будем следующее — это 1) *самоописывающее понятие* — момент зарождения корпорации, когда группа впервые оказывается на уровне риторики объединена единым наименованием. 2) Вторым «объединительным» элементом, в ситуации дискурсивного единства, обеспеченного самоописывающим понятием, является *«корпоративная повестка»* — то есть то, что объединяет корпорацию в исторической или, если угодно, в политической плоскости. 3) Наконец, третьим критерием становления корпорации является, момент распознавания в корпорации способности к трансформации в «худшую» или «лучшую» сторону, то есть ее способности «лучше» или «хуже» справляться с корпоративной повесткой, в зависимости от систематических мер воздействия — иными словами, *«способность к реформации»*⁸.

Самоописывающее понятие

Средневековый Запад

Вопрос о том, когда на средневековом Западе духовенство было распознано в качестве единой группы, является дискуссионным, то есть предполагает уточнение, в зависимости от которого ответ может варьироваться от VI до XII веков. Как отмечают исследователи, в III–VI вв. как на Востоке, так и на Западе обобщающее абстрактное понятие о духовенстве как группе практически не используется (Faivre, 1983: 220; Hübner, 2005: 26). Только в текстах Исидора Севильского (560–636) на-

7. После В. О. Ключевского, возможно, первого, кто предложил серьезное теоретическое обоснование для перспективы «отставания», наиболее ярким представителем этого исследовательского направления может быть Б. Н. Миронов. См. его обобщение истории «модернизации» в России с отсылками к сравнительной перспективе (Миронов, 2015).

8. Российский контекст является гораздо менее изученным, нежели западноевропейский, поэтому там, где, при разговоре о Западе мы можем обойтись ссылкой на соответствующую литературу, применительно к России требуется аргументация, имеющая опору в источниках. Этим обуславливается диспропорция между «западной» и «восточными» составляющими этого асинхронного сравнительно-исторического наблюдения.

мечается систематизация и стабилизация «клерикальной общности» (*clerus*), что, впрочем, все еще не означает перехода к характерному для современности техническому использованию понятия «духовенство» (Биркин, 2018: 34, 40).

Однако более выраженным терминологическим проявлением концентрации клерикальной корпорации является трансформация понятия *ecclesia*, которая происходит в начале второго тысячелетия. Если ранее понятие *ecclesia* предполагало всеобщность христиан, а *Ecclesia Romana* обозначало конкретную поместную церковь, наиболее значимую среди прочих церквей (как Востока, так и Запада), то уже в посланиях папы Григория VII (ок. 1020–1085) устанавливается иная топография: актуализируется понятие *christianitas*, которым обозначается общность христиан, понятие же *ecclesia* с этих пор по преимуществу используется для обозначения клерикальной корпорации (см.: Ladner, 1947: 410–412).

Похожим образом, и это особенно актуально для этого исследования, трансформируются понятия *Corpus Mysticum* и *Corpus Christi*. Первоначально *Corpus Mysticum* — это богословский термин, относящийся к Таинству Евхаристии, в то время как *Corpus Christi*, в соответствии с терминологией ап. Павла, относилось к Церкви. Начиная с XII вв. термины, по сути, меняются местами: *Corpus Mysticum* переходит к обозначению Церкви, а евхаристическое Тело Христово обозначается как *Corpus Christi Verum* (Lubac, 1949: 117–119). Исследователи интерпретируют стремление подчеркнуть связь церковной корпорации с таинственной жизнью Церкви как средство заявить особые «политические» права ее земного главы — Римского понтифика (Ladner, 1947: 414–415). Как бы то ни было, только очень ярко выраженный «корпоративный интерес» мог заставить пойти на такую существенную трансформацию ключевой богословской терминологии. В этом смысле новое прочтение таких понятий, как *ecclesia* и *Corpus Mysticum*, свидетельствует о том, что церковная корпорация, «примеряющая» эти понятия в качестве своих денотатов, переживает стремительную концентрацию. Именно эта богословская трансформация сделала возможным решительный шаг к вершине средневековой эклесиологии — провозглашению тождества между Церковью в богословском смысле и ареалом власти Римского понтифика, выразившейся в булле «Unam Sanctam» в 1302 г. (Lubac, 1949: 13).

Россия Нового времени

В отличие от западного материала, вопрос о церковной корпорации в Русском контексте не исследован ни на историко-понятийном, ни на семантико-символическом уровне⁹. Однако надо отметить, что в источниках до XVII века мы не на-

9. Здесь имеются в виду исследовательские, преимущественно исторические проекты, так или иначе фокусирующиеся на языковых трансформациях, прежде всего «история понятий» Козеллека и «истории политических языков» Покока. В этом исследовании мы предпринимаем попытку «анализа языковых форм исторического самосознания политических обществ», то есть больше примыкаем к традиции Джона Покока. (См.: Атнашев, Велижев, 2015: 26.)

ходим понятия, которое бы устойчиво соответствовало современному понятию «*духовенство*» или распространенной «корпоративной» коннотации понятия «*церковь*»¹⁰.

«Архиепископы и епископы, архимандриты и игумены, и пустынники, и духовные старцы, и протопопы, и попы, и со всеми освященными соборы всего нашего российского царствия» (Базиле, Юрасов, 2018: 52) — таким образом предстает российская церковная иерархия в деяниях Стоглавого собора (1551). Если попытаться систематизировать словоупотребление различных наименований духовенства, то необходимо заметить, что 1) не существует единого понятия, объединившего бы все уровни и типы духовенства. 2) Центральным элементом является «освященный собор», в зависимости от ситуации к нему добавляются чины: «архиепископы и епископы» и т. д.; представленная выше формулировка была, судя по всему, наиболее полной. Самым распространенным обозначением второй ступени священства является обозначение «*попы*», два раза, судя по всему, в синонимичном значении встречается понятие «*клирицы*» (Базиле, Юрасов, 2018: 226). Понятие «*священнический чин*» является устойчивым, хотя его коннотация чаще всего предполагает понятие о состоянии, лишь в редких случаях — понятие о группе.

Понятие «*духовные*» в собирательном смысле использует Иван Грозный в переписке с Курбским (вторая половина XVI в.), впрочем, имея в виду прежде всего высшее духовенство (Лихачев, 1979: 30). В другом месте, описывая злодеяния Романа Галичского, Иван Грозный говорит о его преступлениях против «игуменов, и попов, и чернцов» (Там же: 17). Во «Временнике Ивана Тимофеева» (начало XVII в.) встречается собирательное понятие «*духовные*» (Адрианова-Перетц, 1951: 43), «*священные*» (Там же: 151), триада «*священные — иноки — бельца*» (Там же: 78), а также оппозиция «*священные — простые*» (Там же: 53)¹¹.

Мы не знаем точно, когда в языке появляется понятие «*духовный чин*» — первое выражение, «схватывающее» церковную иерархию воедино, однако в «Соборном уложении» (1649) оно встречается дважды. И оба вхождения относятся к главе

10. В этом разделе, исследуя русский контекст, мы не обращались к категории «*церковь*», что, казалось бы, напрашивается, особенно учитывая, что выше мы рассматривали семантическую трансформацию этого понятия на Западе. Понятие «*церковь*» (в значении «*собрание верующих во Христа, христианская Церковь*» (Срезневский, 1893: 1446)), безусловно, было воспринято на Руси из византийского интеллектуального контекста (так, из 8 примеров, выделенных Срезневским для иллюстрации указанного значения, только 2 относятся не к переводной литературе). Однако выраженная полисемичность этого понятия в период XII–XVII вв. (Срезневский выделяет 10 значений) и отсутствие исследования по его употреблению в этот период заставили нас обратить внимание на иные «самоописывающие понятия» для прояснения выдвигаемой в тексте гипотезы. Что касается более позднего периода, то анализ словоупотребления в рамках XVIII–XIX веков привел нас к выводу, что корпоративное прочтение понятия «*церковь*» в русском контексте становится устойчивым лишь в начале XIX века (Лютко, 2019).

11. Примечательно, что понятие «*церковь*» не встречается во «Временнике» в корпоративном смысле. Только в классическом значении религиозного сооружения и в характерном для средневекового употребления понятии «*религия*», «*религиозное благочестие*»: «Се глаголю не яко бы церковью царя яко играти якоказушу, но самоизвольную его о вере твердость известую, паче же нестоящих бежанье обнажаю, вере сих слабость» (Адрианова-Перетц, 1951: 16).

о «Монастырском приказе» (Софроненко, 1957: 186–187). Как отмечают исследователи, учреждение «Монастырского приказа» ознаменовало подчинение духовенства (кроме патриарха) государству, действующему через институт (Горчаков, 1868: 69; Cherniavsky, 1966: 6, Скрипкина, 2014: 5–6). Учитывая данные, которые мы только что выявили — а именно возникновение при разговоре о «Монастырском приказе» единого понятия о духовенстве, — мы могли бы сказать, что государство не просто «подчинило» себе церковь как некий объективно существующий институт. Скорее речь может идти о том, что государство «распознало» общность «духовного чина», которая в дальнейшем подлежала все более последовательному государственному подчинению.

Таким образом, стабилизация понятия «духовный чин» является языковым отражением социальной трансформации, которую П.С. Стефанович назвал «становлением духовного сословия» (Стефанович, 2002: 231–232). Само понятие «духовное сословие» не встречается в языке ранее первой половины XIX в. (Freeze, 1977: 18–19), однако если учесть, что социальное явление может начать формироваться задолго до возникновения описывающего его понятия, по сути, это наблюдение корректно. Возникновение представления о социальной связанности представителей церковной иерархии между собой, их обособленности в среде прочих социальных групп явилось фундаментом для того явления, которое через более чем два века получит наименование «отношений церкви и государства».

Понятие о духовном чине на многие десятилетия останется нормативным обозначением для церковной иерархии, оно используется в Духовном регламенте, о нем же говорится в Духовно-учебном уставе 1814 г. Однако в XVIII в. в русском языке появится слово, которое до сих пор является самым емким самоописывающим понятием для священнослужителей всех уровней.

Понятие «духовенство», вероятнее всего, является заимствованием из польского языка (*duchowieństwo*) и не встречается непосредственно в русских текстах в современном «корпоративном» смысле вплоть до XVIII в.¹² Редким прецедентом употребления этого слова является фраза из церковно-славянского перевода Толковой Псалтири Брюнона (1535), где понятие «духовенство» использовано для перевода латинского *religione*, которое может быть переложено на современный русский как «вера», «религия» или «благочестие» и не имеет прямого отношения к духовенству как группе: «Тяжчаише есть пред Богом, аще в его *духовенстве* согрешитися» (Бархударов, 1977: 381). Понятие о «духовенстве» использует Посошков (1724), однако оно еще не вполне соответствует современному значению — речь идет скорее о современном понятии «священство» (как форме деятельности): «Аще книга „Отеческаго Завещания“ принята к печати будет, еже аз сыну своему, Николаю, сочиних, то надлежит готовящемуся во презвитерство и ее дать читать, понеже тамо положено отчасти, как презвитеру *духовенство* свое вести» (Посошков, 1937: 113). Спустя год после предполагаемого написания текста Посошкова,

12. Словарь XI–XVII вв. предлагает единственное упоминание в современном смысле: цитата послания Папы к польскому королю из Львовской летописи (1438 г.) (Бархударов, 1977: 381).

в «Описании порядка, держанного при погребении» Петра I» архиеп. Феофана (Прокоповича), духовенство появляется уже в привычном нам смысле и далее постепенно входит в обиход (Прокопович, 1725: 2).

Корпоративная повестка

Говоря о корпоративной повестке, мы имеем в виду не только само знание, которое, становясь «корпоративной повесткой» неизбежно переживает унификацию, но и возникновение того инструментария, при помощи которого осуществляется трансляция этого знания от центра к периферии.

Средневековый Запад

Эпоху Григорианской реформы иногда называют «первой европейской революцией» (Ullmann, 1970; Cantor, 1994; Leyser, 1994; Cushing, 1998; Moore, 2000; Verderber, 2013). Одним из элементов этой революции было возникновение системы подготовки клириков. Первые попытки решить этот вопрос централизованно, относятся к XII в., IV Латеранский собор, который может быть назван «пастырским собором», зафиксировал акцент на этой проблематике (Ryan, 1984: 172), но только изданная в 1298 г. конституция «Cum ex eo», как кажется, достигает ощутимого результата (Boyle, 1962: 264). В соответствии с этой конституцией ставленники, уже посвященные в младшие клирикальные степени, могли покидать свои приходы для обучения в университете на полном обеспечении епархии. Условием получения епархиальной стипендии было последующее рукоположение. Хотя конституция прямо не предполагала этого, подчас возможность отлучиться от своего прихода и получить университетское образование имели даже действующие священники (Rodes, 1977: 160; Bellito, 2009: 40).

Конституция во многом трансформировала имущественные отношения внутри епархии — в этом смысле она опиралась на уже существующий корпоративный консенсус в среде епископата, ведь, с одной стороны, образование будущих клириков осуществлялось за счет тех средств, которые ранее были бы изъяты в пользу епархии, а с другой, места получения образования — университеты — были в значительной степени независимы от епископа, и соблюдение епископатом условий этой конституции (а оно зафиксировано в историографии [см.: Boyle, 1988])¹³, в сущности, свидетельствовало о преодолении «феодалного» формата епархиальных отношений.

Кроме того, конституция была революционной в плане унификации «норм», формирования и, что более важно, распространения представлений о должном и не должном поведении клириков. С одной стороны, содержание образовательной программы не уточнялось (в отличие от тридентского постановления

13. Хотя высказывается и критический взгляд на конституцию, в соответствии с которым представление о ее эффективности является преувеличенным (Haines, 1969; Rodes, 1977: 160).

о семинариях), но с другой, сам факт институционализированного приобщения к университетскому куррикулуму преобразовывал сообщество клириков. Образованные священнослужители становились носителями нормативного понимания *cura pastoralis*, лежащего в основании церковно-корпоративной повестки, которую они, на правах местных экспертов, распространяли в среде своих сослужителей, не имевших университетского образования (Shinners, 1988: 405).

Другим «инфраструктурным» инструментом распространения корпоративной повестки стали тексты, для обозначения которых в 1950-е гг. Л. Бойл ввел понятие *pastoralia* — своего рода священнические инструкции, призванные повысить уровень образования духовенства¹⁴. Учитывая, что авторами этих текстов были университетские профессора¹⁵, то есть те, кто должен был учить будущих и действующих клириков в соответствии с «Cum ex eo», в распространении этого жанра видится реализация попытки сделать университетское учение о пастырстве доступным для широких групп клириков.

Россия Нового времени

Как в случае со Средневековым Западом, в России Нового времени мы наблюдаем зарождение регулярного клерикального образования и возникновение специальной литературы, посвященной обязанностям священнослужителя. О систематическом образовании клириков как реальной перспективе впервые речь заходит в самом начале XVIII века. Перед смертью патриарха Адриана в 1700 г. молодой царь Петр обращается к нему со следующими словами: «Священники ставятся, грамоте мало умеют, еже бы их таинств научати и ставити в той чин. На сие надобно человек и не единого, кому сие творити; и определить место, где быти тому» (Воскресенский, 1945: 33).

«Духовный регламент» предполагал учреждение епархиальных семинарий (Духовный регламент, 2014: 334–344), которые, впрочем, далеко не сразу стали пользоваться популярностью среди детей духовенства. Даже в 1776 г. в Москве только около 100 священников имели семинарское образование (Freeze, 1977: 103). В течение XVIII в. сеть образовательных учреждений для детей духовенства (а именно они рассматривались в качестве кандидатов в клир) развивается, и вскоре после духовно-академической реформы 1808–1814 гг. число образованных священников достигает 50%¹⁶.

В конце XVII века в России появляется первое сочинение, которое было опубликовано как нормативный текст для всех священнослужителей Московского государства, — «Учительное известие» (1699) (Служебник, 1705). Несмотря на то

14. О средневековой *pastoralia*: Boyle, 1985; Goering, 2010.

15. См., например, о труде Уильяма из Пагулы (ум. 1332) «Oculus Sacerdotis», который стал самым популярным учебником для английского духовенства: Boyle, 1995.

16. Так, известно, что в 1835 г. 42%, а в 1860 г. 82% священников в Российской империи являлись выпускниками семинарий (Freeze, 2014: 156–159).

что сам текст «Известия» имел вполне прослеживаемую генеалогию и историю (Петровский, 1911), опубликован он был именно как первый текст, обязательный для всей клерикальной корпорации, для всех, кто участвовал в совершении Божественной Литургии. Впоследствии подобным же текстом стала книга «О должностях пресвитеров приходских (1776)» (Конисский, 2004).

Примечательно, что, являясь асинхронным процессом, становление клерикальной корпорации на Западе и Востоке характеризовалось одним и тем же «жестом»: возникновением системы дистрибуции нормативных текстов. Только если в случае с Западом речь еще не могла идти о дистрибуции единого печатного «образцового» текста (как кажется, именно с этим связан феномен многообразных *pastoralia*), то в России к концу XVII в. уже имелась возможность использовать более эффективные способы публикации — печатный станок.

Объект реформы

Средневековый Запад

Становление церковной корпорации на Западе начиная с XI в. сопровождается трансформацией идеи «реформы» и возникновением ее современного понимания — как «объединяющего призыва к действию» (Kieckhafer, 1988: 285)¹⁷. Именно тогда возникает современное представление о реформе как «прогрессивной» трансформации, «обновлении к лучшему» (*reformatio in melius*). В эпоху папы Григория V раскрывается пространство того, что исследователи называют «риторикой реформы», т. е. артикуляция всевозможных несовершенств и способов их преодоления, сочетающаяся с призывами обратиться к апостольским векам для поиска образца¹⁸. Положение духовенства (широкий перечень вопросов, начиная от клерикального celibata и проблем образования и заканчивая отъемом права на ношение оружия) является ключевой темой для этой риторики. Риторика реформы как проявление клерикальной корпорации обретает наиболее последовательное выражение в начале XV в., когда объектом реформы впервые начинает мыслиться сама Церковь, как это происходит, например, в проекте Пьера Д'Альи «De reformatione Ecclesiae» (Pascoe, 2005).

Россия Нового времени

Если мы хотим схожим образом проследить связь между становлением клерикальной корпорации и терминологической трансформацией, нужно иметь в виду, что само понятие «реформа» (равно как и его ближайшие синонимы «преобразование» и «усовершенствование») в современном смысле в русском языке начинает упо-

17. «Rallying cry for action». Ср. с пониманием концепта реформы в первом тысячелетии: Ladner, 1959.

18. О риторике реформ см. одноименные главы книг: Constable, 1998: 125–168; Cushing, 2005: 111–139.

требляться только в самом конце XVIII в. Вместе с тем аналогичную или в значительной степени схожую трансформацию в русском языке переживает понятие «исправление». Это понятие встречается в языке до XVII в. во множестве значений, одним из которых было «улучшение» (в том числе в том значении, в котором используется современное слово «реформа»), т. е. то значение, которое станет одним из двух нормативных в XVIII и XIX вв., и то, которое со временем вовсе уйдет из языка¹⁹. Именно «исправление» как «улучшение» — в самом техническом смысле (как улучшение институтов, сообществ) — в конце XVIII в. заменяется понятием «реформы». Таким образом формируется современная сетка понятий, связанных с «исправлением».

Возвращаясь к XVI–XVII вв., необходимо заметить (и удерживать во внимании), что, как и *reformatio* до XII в., «исправление» в этот период является не конкретным понятием, а скорее языковым инструментом-вектором, обозначающим устремление чего бы то ни было в первоначальное, должное состояние (Бархударов, 1979: 290–291)²⁰. Вместе с тем в эпоху Раскола, хотя мы еще не видим закрепления характерных для XVIII в. языковых значений понятия «исправление», можно заметить то, что без всяких сомнений может быть названо возникновением «риторики исправления».

Один из ярких текстов эпохи, по большей части посвященный «исправлению» в самом широком смысле, — окружное послание ростовского митрополита Ионы, одного из наиболее авторитетных иерархов эпохи, от 1652 г., где, возможно, впервые «исправление» связывается с конкретными элементами корпоративной повестки: в рамках «исправления» священники призываются наставлять паству²¹. «Исправление», таким образом, предстает не в качестве пожелания монарха (или предложения монарху), предпринятого монархом (как это было, например, в тексте Стоглава²²), но в качестве определенной программы, разворачивающейся на различных уровнях иерархического подчинения.

Впрочем, настоящим поэтом исправления, переведшим интенсивность дискуссии об этом явлении на новый уровень, заслуженно считают патриарха Никона. Именно в его лексиконе появляется фраза «исправление духовных дел»: «В прежних, де, давних летех ко благочестивым царем христианским греческаго царствия о исправлении духовных дел и пустынницы возвещали, а он, де, уд соборные и апостольские церкви ни за какие вины не отторгнутый, толко своею волею оставил

19. Русско-немецкий словарь 1776 г. дает два перевода слова «исправление» — «verbesserung» и «correction» (Гельтергоф, 1771: 395). Современный Толковый словарь С. А. Кузнецова практически не позволяет истолковать «исправление» как «улучшение» (Кузнецов, 2000: 402).

20. См. подробный анализ взаимоотношения значений «reformatio» и «исправления» для раннего Нового времени (Гришин, 2009). Е.С. Гришин развивает эту тему в диссертации (Grishin, 2017: 31–32).

21. См. подробнее: Michels, 1999: 107.

22. «и бе чудно зрение, яко весь богоспасаемый град красящеся отец пришествием, Богу бо тех подвижшу на исправление церковное и на утверждение православные веры» (Базиле, Юрасов, 2018: 40).

паству, а попечения о истин не оставил, и впредь о каком *духовном деле, требующем исправления*, услышит, молчать не учнет» (Гиббенет, 1882: 192)²³.

Е. С. Гришин замечает, что, несмотря на то что «справы» проводились и раньше, именно Никон в позднейшей историографии впервые именуется реформатором. По его мнению, здесь имеет место аналогия с западным контекстом — реформатором называют того, чья деятельность привела к разделению (Гришин, 2009: 29). Развивая эту мысль и учитывая, что инструментализация понятия *reformatio* (во всяком случае ее первый этап), как было показано выше, относится к XI–XIII вв., мы могли бы предположить, что реформатором может быть назван тот, кто создает «корпорацию», то есть то «тело», от чего впоследствии можно «отделиться». Если вспомнить тот факт, что Григорианская реформа сопровождалась оформлением великого раскола 1054 г., изоморфизм становления «церковной корпорации» на Западе и Востоке становится ясно различимым: в основании бытия корпорации лежит момент расхождения с теми, кто по тем или иным причинам (оправданным или не оправданным с богословской точки зрения) не желает оказаться «инкорпорированным», раскол и корпорация — это сопровождающие друг друга явления²⁴.

«Духовный регламент» стал первым законодательным документом, на уровне программы провозглашавший *«исправление»* как политическую программу:

Между многими, по долгу Богоданный Нам власти, попеченьми о *исправлении народа Нашего*, и прочих подданных Нам Государств, посмотри и на духовный чин, и видя в нем много нестроения и великую в делах его скудость, не суетный на совести Нашей возымели Мы страх, да не явимся неблагодарни Вышнему, аще толикая от Него получив благопоспешества во *исправлении как воинского, так и гражданского чина*, пренебрежем *исправление и чина духовного*. (Сперанский, 1830, т. 6: 314)

Здесь необходимо заметить, что именно из текста об «исправлении чина духовного», принадлежащего перу ключевого автора эпохи — арх. Феофана (Прокоповича), прочие «чины» империи впервые узнавали о том, что и они ранее были подвергнуты «исправлению». Ведь до «Духовного регламента» понятие об «*исправлении*» в столь откровенно «реформаторском» значении нигде не встречается

23. Таким образом Никон отвечал на замечание от царя «письмами своими возмущати недостойт» весной 1659 г.

24. По мнению Михелса, одного из наиболее авторитетных исследователей этого вопроса на сегодняшний день, причина раскола заключалась не столько в конкретных мерах, предпринимаемых реформаторами, сколько в новом стиле управления, который они практиковали: «It appears that the Russian Schism resulted from official church policies. By suddenly and drastically intruding into age-old local and personal autonomies, the Church generated popular opposition to its reforms. Rejection of the Nikonian reforms was therefore largely a response by communities as well as individuals to the Church's insistence on controlling the religious affairs of Muskovy's hinterlands» (Michels, 1999: 220). Впрочем, кажется важным отметить, что это исследование не должно быть интерпретировано как поиск причин расколов 1054 и 1650-х гг. в Европе и России. То, что мы можем констатировать, так это хронологическое совпадение становления корпоративности и факта церковного раскола.

в текстах законодательного характера²⁵. Таким образом, «Духовный регламент» не может быть рассмотрен как сугубо «церковный» или «духовный» документ, каким он, как правило, рассматривается в церковно-исторической литературе. Это был один из текстов, внедрявших новые политико-философские конструкты в ткань российского законодательства, и, вероятно, одним из наиболее значительных был концепт «исправления», в том значении, в котором он позднее будет использовать понятия «реформы/преобразования/усовершенствования». Впрочем, еще более значимым кажется то, что первым объектом, в отношении к которому эта реформаторская риторика впервые применяется в Российском контексте, был духовный чин — церковная корпорация.

Заключение

Подводя итог исследованию, мы можем констатировать наличие изоморфизма между Средневековым Западом и Россией Нового времени в процессе становления церковной корпорации. Говорить об этом изоморфизме можно исключительно осторожно, оговариваясь, что речь не идет о традиционной «синхронной» сравнительно-исторической перспективе. Указанный изоморфизм был прослежен на трех уровнях: церковная корпорация обнаруживается как 1) обозначающее ее понятие, 2) она получает корпоративную повестку, 3) она становится первым социальным объектом, который может быть подвергнут трансформативному преобразованию в сторону качественного улучшения: «*reformatio*» или «исправления».

Описание процесса становления клерикальной корпорации (особенно в случае Средневекового Запада), таким образом, позволяет «историзировать» критико-социологическое понимание религии и предположить связь между приобретенным корпоративным характером Католической церкви во втором тысячелетии и той религиоведческой оптикой, которая возникает в XIX веке (и носителем которой являлся П. Бурдьё).

С другой стороны, после проведенного исследования мы можем констатировать несводимость становления клерикальной корпорации к одному образцу: несмотря на выявленные сходства (а именно им было посвящено исследование), существовали и значительные различия в протекании этого процесса. Так, кроме того, что указанный процесс имел место в контексте разных эпох (то есть не был исторически синхронным), мы видим, что «лидеры» корпоративной концентрации различались на Западе и Востоке: если на Западе это был римский пон-

25. Так, еще в 1714 г. понятие «исправление» употребляется в нехарактерном для современного языка значении «назначение» или «мероприятие»: «Из тех взятых денег, что в расход порознь и по каким указам и на какие дачи и всель те деньги употреблены в расход, в каждое *исправление*, на которое они собираются...» (Сперанский, 1830, т. 5: 83); в 1716 г. в значении «совершение; осуществление»: (из архиерейской присяги) «обещаваюся... посещать же не ради лихоимания и чести, но Апостольски и во Господе, како пребывают вернии в вере и во *исправлении* дел благих» (Там же: 194). Таким образом, если указанное понятие и используется до 1721 г., то гораздо чаще в своих более архаичных значениях, нежели в том, в котором оно будет преимущественно пониматься в XVIII в.

тифик, то в России роль монарха была значительной, если не решающей. Это обстоятельство связано с тем, что, несмотря на развитие гражданской бюрократии в XVIII–XIX вв., монарх в России никогда не мыслился в качестве исключительно «светского» правителя. Эта эkkлесиологическая предпосылка (которая до сих пор подчас мыслится через категорию «цезаропапизма») обуславливает значительное затруднение, которое возникает при попытках сопоставлять католическую и православную эkkлесиологии и политические теологии²⁶.

Проведенное исследование позволяет также задаться вопросом о соотношении силы и глубины «корпоративного сдвига», затронувшего церковную иерархию на Западе и Востоке. Несмотря на то что более подробное исследование этого вопроса — дело будущего, можно предположить, что клерикальное безбрачие, утвердившееся на Западе в результате Григорианской реформы, делает черты клерикальной корпорации на Западе «рельефнее», чем более поздний и менее радикальный процесс на Востоке²⁷.

Проведенное исследование может также стать основанием для более взвешенного подхода к сравнению различных конфессиональных контекстов. Так, в частности, понятия «клерикализм» и «антиклерикализм», являющиеся значимыми элементами дискуссии о религиозных вопросах как в традиционно католических странах Запада, так и в России, не могут быть свободно переносимы из одного контекста в другой именно в силу различных траекторий становления клерикальной корпорации и, соответственно, различных характеристик, которые эти корпорации имеют на сегодняшний день. Если на Западе под «клерикализмом» понимается обособленность клерикальной корпорации и монополизация власти в области тех или иных церковных решений (Чёрный, 2018), то в России понятие о «клерикализме» используется как недовольство исключительными отношениями между светскими и церковными лидерами, в ситуации, когда последовательное разграничение между сакральным и секулярным никогда (за исключением советской эпохи) в действительности не было востребовано ни одной из сторон.

Литература

- Адрианова-Перетц В. П. (ред.). (1951). *Временник Ивана Тимофеева*. М., Л.: Изд-во АН СССР.
- Атнашев Т., Велижев М. (2015). Context is king: Джон Покок-историк политических языков // *Новое литературное обозрение*. Т. 134. № 4. С. 21–44.
- Базиле М., Юрасов А. В. (ред.). (2018). *Стоглав: Тест. Словоуказатель*. М., СПб.: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив.
- Бархударов С. Г. (ред.). (1977). *Словарь русского языка XI–XVII вв.* Вып. 4: Г — Д. М.: Наука.

26. См. о сакральности царской власти в России: Cherniavsky, 1961; Бежанидзе, 2011.

27. Вплоть до гипотезы о формировании в результате Григорианской реформы «третьего гендера» (third gender) (Swanson, 1999).

- Бархударов С. Г. (ред.). (1979). Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 6: Зипун — Иянуарий. М.: Наука.
- Бежанидзе Г. В. (2011). Представления о сакральности царской власти в Русской церкви в Новое время // Русское богословие: традиция и современность. Вып. 1. М.: Изд-во ПСТГУ. С. 75–89.
- Биркин М. Ю. (2018). Принципы формирования идентичности клира в трактате «О церковных службах» Исидора Севильского // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. № 83. С. 26–47.
- Бурдые П. (2005). Генезис и структура поля религии / Пер. с фр. О. И. Кирчик // Бурдые П. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя. С. 7–74.
- Воскресенский Н. А. (1945). Законодательные акты Петра I. Том 1. М., Л.: Изд-во АН СССР.
- Гельтергоф Ф. (1771). Российской Целлариус, или Этимологической российской лексикон. М.: Императорский Московский университет.
- Георгий (Конисский, архиеп.) (2004). О должностях пресвитеров приходских. М.: Сретенский монастырь.
- Гиббенет Н. А. (1882). Историческое исследование дела Патриарха Никона. Ч. 1. СПб.: Тип-я Министерства внутренних дел.
- Гришин Е. С. (2009). «Реформа» или «исправление»? К пониманию церковных изменений середины XVII в. // Долбилов М., Rogozный П. (ред.). Православие: Конфессия, институты, религиозность (XVII–XX вв.). СПб.: Изд-во ЕУСПб. С. 15–29.
- Горчаков М. (1868). Монастырский приказ. СПб.: А. Траншель.
- Живов В. М. (2012). Два этапа дисциплинарной революции в России XVII и XVIII столетия // Cahiers du monde russe. Т. 53. № 2–3. Р. 349–374.
- Кузнецов С. А. (ред.). (2000). Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт.
- Лихачев Д. С. (ред.). (1979). Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Ленинград: Наука.
- Лютько Е. (2019). Становление «церковной субъектности» в России на примере нормативных текстов о православном духовенстве (XVIII–XIX вв.) // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. № 3. С. 237–252.
- Миронов Б. Н. (2015). Российская империя: от традиции к модерну. СПб.: Дмитрий Буланин.
- Петровский А. В. (1911). Учительное известие при славянском Служебнике // Христианское чтение. Т. 235. Ч. 2. С. 552–572. Т. 236. Ч. 1. С. 917–936. Т. 236. Ч. 2. С. 1206–1221.
- Посошков И. Т. (1937). Книга о скудости и богатстве. М.: Соцэкгиз.
- Розениток-Хюсси О. (2002). Великие революции: автобиография западного человека. М.: ББИ.

- Ситников А. В. (2017). Методы изучения религии в социальной теории П. Бурдьё // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. № 17. С. 38–50.
- Скрипкина Е. В. (2014). Законодательная политика Алексея Михайловича в отношении русской православной церкви // Вестник Томского государственного университета. История. №. 1. С. 5–8.
- Служебник (1705). М.: Синодальная типография.
- Софроненко К. А. (ред.). (1957). Соборное уложение царя Алексея Михайловича. М.: Государственное издательство юридической литературы.
- Сперанский М. М. (ред.). (1830). Полное собрание законов Российской империи: Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г. Т. 1–45. СПб.
- Срезневский И. И. (1893). Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 3. Ч. 2. СПб.: Тип-я Императорской Академии наук.
- Стефанович П. С. (2002). Приход и приходское духовенство в России в XVI–XVII веках. М.: Индрик.
- Феофан (Прокопович), архиеп. (1725). Описание порядка держанного при погребении высокославных и вечнодостойнейших памяти всепресветлейшего державнейшего Петра Великого. СПб.
- Черный А. И., свящ. (2018). «Новое богословие священства», или богословский антиклерикализм // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. №. 80. С. 52–63.
- Bellito C. M. (2009). Revisiting Ancient practices: Priestly training before Trent // Begley R. B., Koterski J. W. (eds.). *Medieval Education*. N.Y.: Fordham University Press. P. 35–49.
- Bourdieu P. (1971). Genèse et structure du champ religieux // *Revue française de sociologie*. № 12. P. 295–334.
- Boyle L. E. (1962). The Constitution «Cum ex eo» of Boniface VIII: Education of Parochial Clergy // *Mediaeval Studies*. Vol. 24. P. 263–302.
- Boyle L. E. (1985). The Fourth Lateran Council and Manuals of Popular Theology // Hefner T. J. (ed.). *The Popular Literature of Medieval England*. Knoxville: University of Tennessee Press. P. 30–43.
- Boyle L. E. (1995). The Oculus Sacerdotis and some other works of William of Pagula // *Transactions of the Royal Historical Society*. Vol. 5. P. 81–110.
- Cantor N. F. (1994). The Gregorian World Revolution // Cantor N. F. (ed.). *The Civilization of the Middle Ages*. N.Y.: Harper Collins. P. 243–276.
- Cherniavsky M. (1961). *Tsar and People: Studies in Russian myths*. New Haven: Yale University Press.
- Cherniavsky M. (1966). The Old Believers and the New Religion // *Slavic Review*. Vol. 25. № 1. P. 1–39.

- Coulter D.* (2004). Church Reform and the «White Clergy» in Seventeenth-Century Russia // *Kotilaine J., Poe M.* (eds.). *Modernizing Muscovy: Reform and Social Change in Seventeenth-Century Russia*. L.: Routledge. P. 182–208.
- Cushing K. G.* (1998). *Papacy and Law in the Gregorian Revolution: The Canonistic Work of Anselm of Lucca*. Oxford: Oxford University Press.
- Gorski Ph.* (2003). *The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe*. Chicago: University of Chicago Press.
- Dianteill E.* (2004). Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion: A Central and Peripheral Concern // *Swartz L. D., Zolberg V.* (eds.). *After Bourdieu*. Dordrecht: Springer. P. 65–85.
- Faivre A.* (1983). Clerc/laïc: histoire d'une frontière // *Revue des sciences religieuses*. Vol. 57. № 3. P. 195–220.
- Freeze G.* (1977). *The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth Century*. Cambridge: Harvard University Press.
- Freeze G.* (2014). *The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform*. Princeton: Princeton University Press.
- Goering J. W.* (2010). Leonard E. Boyle and the Invention of Pastoralia // *Stansbury R. J.* (ed.). *A Companion to Pastoral Care in the Late Middle Ages (1200–1500)*. Leiden: Brill. P. 7–20.
- Grishin E.* (2017). *Becoming a Schismatic: The Concepts of the «Schism» and «Schismatic» in the Church and State Discourses of Seventeenth and Eighteenth-century Russia*. PhD Thesis. Kansas: University of Kansas.
- Haines R. M.* (1969). The Education of the English Clergy During the Later Middle Ages: Some Observations on the Operation of Pope Boniface VIII's Constitution Cum Ex Eo (1298) // *Canadian Journal of History*. № 4. P. 1–22.
- Hübner S. R.* (2005). *Der Klerus in der Gesellschaft des spätantiken Kleinasien*. München: Franz Steiner.
- Ladner G.* (1947). Aspects of Mediaeval thought on Church and State // *Review of Politics*. № 9. P. 403–422.
- Leyser K.* (1994). *Communications and Power in Medieval Europe: The Gregorian Revolution and beyond*. London: A&C Black.
- Lubac H. de.* (1949). *Corpus mysticum: l'eucharistie et l'Eglise au Moyen Age*. Paris: Aubier.
- Michels G. B.* (1999). *At War with the Church: Religious Dissent in Seventeenth-Century Russia*. Stanford: Stanford University Press.
- Moore R. I.* (2000). *The First European Revolution, c. 970–1215*. Oxford: Blackwell.
- Morris C.* (1989). *The Papal Monarchy: The Western Church from 1050 to 1250*. Oxford: Clarendon Press.
- Raymond R. L.* (1906). The Genesis of the Corporation // *Harvard Law Review*. Vol. 19. № 5. P. 350–365.
- Rey T.* (2014). *Bourdieu on Religion: Imposing Faith and Legitimacy*. L.: Routledge.

- Rodes R. E. (1977). *Ecclesiastical Administration in Medieval England: The Anglo-Saxons to the Reformation*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Ryan J. J. (1984). Review: *Pastoral Care, Clerical Education and Canon Law, 1200–1400* by Leonard E. Boyle // *The Catholic Historical Review*. Vol. 70. № 1. P. 171–173.
- Shinners J. R. (1988). University Study Licenses and Clerical Education in the Diocese of Norwich, 1325–35 // *History of Education Quarterly*. Vol. 28 № 3. P. 387–410.
- Swanson R. N. (1999). Angels Incarnate: Clergy and Masculinity from Gregorian Reform to Reformation // Hadley D. (ed.). *Masculinity in Medieval Europe*. L.: Routledge. P. 170–187.
- Turner B. (2011). Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion // Susen S., Turner B. (eds.). *The Legacy of Pierre Bourdieu: Critical Essays*. L.: Anthem Press. P. 223–246.
- Ullmann W. (1970). *The Growth of Papal Government in the Middle Ages: A Study of the Ideological Relation to Lay Power*. L.: Methuen.

Emergence of the Clerical Corporation in Western Europe (11–13th Centuries) and in Russia (17–18th Centuries)

Eugene Lyutko

Deacon, Visiting Fellow, Ecclesiastical Institutions Research Laboratory, St. Tikhon's Orthodox University
Address: Lihov per., 6, str. 1, Moscow, Russian Federation 127051
E-mail: e.i.lyutko@gmail.com

Traditional Christian confessions — for example, in Catholicism or in Orthodoxy — in scholarly literature, in modern legislation, or at the level of everyday consciousness, are understood primarily as clerical corporations. This corporate reading of modern Christianity also influences the understanding of the phenomenon of religion itself, as it happens, for example, in the famous essay on the “field of religion” by P. Bourdieu. This reading also determines the perception of Christianity as a historical phenomenon as well, which, within the framework of such a representation, appears as a corporation at every moment of its historical existence. This article argues that a “clerical corporation” is not a form of social organization that was originally inherent in Christianity, but a historical phenomenon that embraces various confessional contexts at different times. In particular, the emergence of a clerical corporation is fixed within the framework of an asynchronous comparative perspective relying on the examples of Western European Catholicism of the 11th — 13th centuries, and Russian Orthodoxy of the 17th — 18th centuries.

Keywords: clerical corporation, corporate shift, Gregorian reform, Synodal reform, Russian schism

References

- Adrianova-Perets V. (ed.) (1951) *Vremennik Ivana Timofeeva* [The Temporary of Ivan Timofeev], Moscow: USSR Academy of Sciences.
- Atnashev T., Velizhev M. (2015) Context is king: Dzhon Pokok-istorik politicheskikh iazykov [Context is King: John Pocock — Historian of Political Languages]. *New Literary Observer*, no 4, pp. 21–44.
- Barkhudarov S. (ed.) (1977) *Slovar' russkogo iazyka XI–XVII vv. Vyp. 4: G — D* [Dictionary of the Russian Language of the 11th — 17th Centuries, Vol. 4: G–D], Moscow: Nauka.

- Barkhudarov S. (ed.) (1979) *Slovar' russkogo iazyka XI–XVII vv. Vyp. 6: Zipun — lianuarii* [Dictionary of the Russian Language of the 11th — 17th centuries, Vol. 6: Zipun–lianuarii], Moscow: Nauka.
- Bazile M., Yurasov A. (eds.) (2018) *Stoglav: Test. Slovoukazatel* [Stoglav: Text. Index], Moscow: Tsentr gumanitarnykh initsiativ.
- Bellito C. M. (2009) Revisiting Ancient Practices: Priestly Training before Trent. *Medieval Education* (eds. R. B. Begley, J. W. Koterski), New York: Fordham University Press, pp. 35–49.
- Bezhanidze G. (2011) Predstavleniia o sakral'nosti tsarskoi vlasti v Russkoi Tserkvi v Novoe vremia [Representations of the Sacredness of Royal Power in the Russian Church in Modern Times]. *Russkoe bogoslovie: traditsiia i sovremennost'* [Russian Theology: Tradition and the Present], Moscow: St. Tikhon's Orthodox University, pp. 75–89.
- Birkin M. (2018) Printsipy formirovaniia identichnosti klira v traktate "O tserkovnykh sluzhbakh" Isidora Sevil'skogo [Principles of the Formation of Clerical Identity in Isidore's of Seville Treatise On Ecclesiastical Offices]. *St Tikhon's University Review. Series II: History. History of the Russian Orthodox Church*, no 83, pp. 26–47.
- Bourdieu P. (1971) Genèse et structure du champ religieux. *Revue française de sociologie*, no 12, pp. 295–334.
- Boyle L. E. (1962) The Constitution "Cum ex eo" of Boniface VIII: Education of Parochial Clergy. *Mediaeval Studies*, vol. 24, pp. 263–302.
- Boyle L. E. (1985) The Fourth Lateran Council and Manuals of Popular Theology. *The Popular Literature of Medieval England* (ed. T. J. Heffernan), Knoxville: University of Tennessee Press, pp. 30–43.
- Boyle L. E. (1995) The Oculus Sacerdotis and Some Other Works of William of Pagula. *Transactions of the Royal Historical Society*, no 5, pp. 81–110.
- Bourdieu P. (2005) Genезis i struktura polia religii [Genesis and Structure of the Field of Religion]. *Sotsial'noe prostranstvo: polia i praktiki* [Social Space: Fields and Practices], Saint Petersburg: Aleteya, pp. 7–74.
- Cantor N. (1994) The Gregorian World Revolution. *The Civilization of the Middle Ages* (ed. N. F. Cantor), New York: Harper Collins, pp. 243–276.
- Cherniavsky M. (1961) *Tsar and People: Studies in Russian Myths*, New Haven: Yale University Press.
- Cherniavsky M. (1966) The Old Believers and the New Religion. *Slavic Review*, no 25, pp. 1–39.
- Cherny A. (2018) "Novoe bogoslovie sviashchenstva", ili Bogoslovskii antiklerikalizm ["New Theology of the Priesthood"; or, Theological anticlericalism]. *St Tikhon's University Review. Series I: Theology. Philosophy*, no 80, pp. 52–63.
- Coulter D. (2004) Church Reform and the "White Clergy" in Seventeenth-Century Russia. *Modernizing Muscovy: Reform and Social Change in Seventeenth-Century Russia* (eds. J. Kotilaine, M. Poe), London: Routledge, pp. 182–208.
- Cushing K. G. (1998) *Papacy and Law in the Gregorian Revolution: The Canonistic Work of Anselm of Lucca*, Oxford: Oxford University Press.
- Gorski Ph. (2003) *The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe*, Chicago: University of Chicago Press.
- Dianteuill E. (2004) Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion: A Central and Peripheral Concern. *After Bourdieu* (eds. L. D. Swartz, V. Zolberg), Dordrecht: Springer, pp. 65–85.
- Faivre A. (1983) Clerc/laïc: histoire d'une frontière. *Revue des sciences religieuses*, vol. 57, no 3, pp. 195–220.
- Freeze G. (1977) *The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth Century*, Cambridge: Harvard University Press.
- Freeze G. (2014) *The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform*, Princeton: Princeton University Press.
- Gibbenet N. A. (1882) *Istoricheskoe issledovanie dela Patriarkha Nikona. T. 1* [Historical Study of the Case of Patriarch Nikon, Vol. 1], Saint Petersburg.
- Goering J. W. (2010) Leonard E. Boyle and the Invention of Pastoralia. *A Companion to Pastoral Care in the Late Middle Ages (1200–1500)* (ed. R. J. Stansbury), Leiden: Brill, pp. 7–20.
- Gorchakov M. (1868) *Monastyrskii prikaz* [Monastery Prikaz], Saint Petersburg.

- Grishin E. (2017) *Becoming a Schismatic: The Concepts of the "Schism" and "Schismatic" in the Church and State Discourses of Seventeenth and Eighteenth-Century Russia* (PhD Thesis), Kansas: University of Kansas.
- Grishin E. (2009) "Reforma" ili "ispravlenie"? K ponimaniu tserkovnykh izmenenii serediny XVII v. ["Reform" or "Correction"? Toward the Understanding of Church Changes in the Middle of the XVII Century]. *Pravoslavie: Konfessii, instituty, religioznost' (XVII–XX vv.)* [Orthodoxy: Confession, Institutions, Religiosity (17th — 20th Centuries)] (eds. M. Dolbilov, P. Rogoznyi), Saint Petersburg: European University Press, pp. 15–29.
- Haines R. M. (1969) The Education of the English Clergy During the Later Middle Ages: Some Observations on the Operation of Pope Boniface VIII's Constitution Cum Ex Eo (1298). *Canadian Journal of History*, no 4, pp. 1–22.
- Hübner S. R. (2005) *Der Klerus in der Gesellschaft des spätantiken Kleinasien*, München: Franz Steiner.
- Konissky G. (2004) *O dolzhnostiakh presviterov prikhodskikh* [On the Duties of Parish Priests], Moscow: Sretensky Monastery.
- Ladner G. (1947) Aspects of Mediaeval Thought on Church and State. *Review of Politics*, no 9, pp. 403–422.
- Leyser K. (1994) *Communications and Power in Medieval Europe: The Gregorian Revolution and beyond*, London: A&C Black.
- Likhachev D. (ed.) (1979) *Perepiska Ivana Groznogo s Andreem Kurbskim* [Correspondence of Ivan the Terrible with Andrei Kurbsky], Leningrad: Nauka.
- Lubac H. de (1949) *Corpus mysticum: l'eucharistie et l'Eglise au Moyen Age*, Paris: Aubier.
- Lyutko E. (2019) Stanovlenie "tserkovnoi subektnosti" v Rossii na primere normativnykh tekstov o pravoslavnom dukhovenstve (XVIII–XIX vv.) [Emergence of "Church Subjectivity" in Russia, Based on the Normative Texts about Orthodox Clergy (18th — 19th Centuries)]. *State, Religion and Church*, no 3, pp. 237–252.
- Michels G. B. (1999) *At War with the Church: Religious Dissent in Seventeenth-Century Russia*, Stanford: Stanford University Press.
- Mironov B. N. (2015) *Rossiiskaia imperiia: ot traditsii k modernu* [Russian Empire: From Traditional to Modern Society], Saint Petersburg: Dmitry Bulanin.
- Moore R. I. (2000) *The First European Revolution, c. 970–1215*, Oxford: Blackwell.
- Morris C. (1989) *The Papal Monarchy: The Western Church from 1050 to 1250*, Oxford: Clarendon Press.
- Petrovsky A. (1911) Uchitel'noe izvestie pri slavianskom Sluzhebнике [Instructive Notification in the Slavonik Missal]. *Khristianskoe chtenie*, vol. 235, no 2, pp. 552–572; vol. 236, no 1, pp. 917–936; vol. 236, no 2, pp. 1206–1221.
- Pososhkov I. (1937) *Kniga o skudosti i bogatstve* [Book of Poverty and Wealth], Moscow.
- Prokopovich F. (1725) *Opisanie poriadka derzhannogo pri pogrebenii vysokoslavnyiia i vechnodostoisheishiiia pamiati vsepresvetleishago derzhavneishago Petra Velikogo* [Description of the Order Held during the Burial of the Highly Orthodox and Ever-Lasting Memory of the Most Blessed Sovereign Peter the Great], Saint Petersburg.
- Raymond R. L. (1906) The Genesis of the Corporation. *Harvard Law Review*, vol. 19, no 5, pp. 350–365.
- Rey T. (2014) *Bourdieu on Religion: Imposing Faith and Legitimacy*, London: Routledge.
- Rodes R. E. (1977) *Ecclesiastical Administration in Medieval England: The Anglo-Saxons to the Reformation*, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Rosenstock-Huessy E. (2002) *Velikie revoliutsii: avtobiografiia zapadnogo cheloveka* [Out of Revolution: Autobiography of Western Man], Moscow: Biblical Theological Institute.
- Ryan J. J. (1984) Review: *Pastoral Care, Clerical Education and Canon Law, 1200–1400* by Leonard E. Boyle. *Catholic Historical Review*, vol. 70, no 1, pp. 171–173.
- Shinners J. R. (1988) University Study Licenses and Clerical Education in the Diocese of Norwich, 1325–35. *History of Education Quarterly*, vol. 28, no 3, pp. 387–410.
- Sitnikov A. (2017) Metody izucheniia religii v sotsial'noi teorii P. Burd'e [Approaches to the Study of Religion in Pierre Bourdieu's Social Theory]. *RUDN Journal of Sociology*, no 17, pp. 38–50.
- Skripkina E. (2014) Zakonodatel'naia politika Alekseia Mikhailovicha v otnoshenii russkoi pravoslavnoi tserkvi [Legislative Policy of Tsar Alexei Mikhailovich with Respect to Russian Orthodox Church]. *Tomsk State University Journal of History*, vol. 1, pp. 5–8.

- Sofronenko K. (ed.) (1957) *Sobornoe ulozhenie tsaria Alekseia Mikhailovicha* [The Council Code of Tsar Alexei Mikhailovich], Moscow: State Publishing House of Legal Literature.
- Sreznevsky I. (1893) *Materialy dlia slovaria drevnerusskogo iazyka. T. 3. Chast 2* [Materials for the Dictionary of the Old Russian Language, Vol. 3, Part 2], Saint Petersburg.
- Stefanovich P. (2002) *Prihod i prihodskoe dukhovenstvo v Rossii v XVI–XVII vekakh* [Parish and Parish Clergy in Russia in the 16–17th Centuries], Moscow: Indrik.
- Swanson R. N. (1999) Angels Incarnate: Clergy and Masculinity from Gregorian Reform to Reformation. *Masculinity in Medieval Europe* (ed. D. Hadley), London: Routledge, pp. 170–187.
- Turner B. (2011) Pierre Bourdieu and the Sociology of Religion. *The Legacy of Pierre Bourdieu: Critical Essays* (ed. S. Susen, B. Turner), London: Anthem Press, pp. 223–246.
- Ullmann W. (1970) *The Growth of Papal Government in the Middle Ages: A Study of the Ideological Relation to Lay Power*, London: Methuen.
- Voskresensky N. (1945) *Zakonodatel'nye akty Petra I. T. 1* [Legislative Acts of Peter I, Vol. 1], Moscow: USSR Academy of Sciences.
- Zhivov V. (2012) Dva etapa distsiplinarnoi revoliutsii v Rossii XVII i XVIII stoletii [Two Stages of Disciplinary Revolution in Russia: The Seventeenth and Eighteenth Centuries]. *Cahiers du monde russe*, vol. 53, no 2–3, pp. 349–374.

Преодоление жанровой системы «толстого журнала» как социально-политическое конструирование: об одной публикации С. С. Аверинцева

Александр Марков

Профессор, Российский государственный гуманитарный университет
Адрес: Миусская площадь, д. 6, ГСП-3, Москва Российская Федерация 125993
E-mail: markovius@gmail.com

Одной из первых публикаций религиозно-философского содержания в советской прессе была статья в двух частях С. С. Аверинцева, посвященная сравнительному изучению византийской, древнерусской и западной духовности, с приложением нового перевода псалмов. Публикация специальных и методически выверенных рассуждений в популярном толстом журнале была вызвана смягчением церковно-государственных отношений, но значение этой публикации превышает ее тематическую сторону. Аверинцев предпринял в ней пересмотр той системы жанров и цензурных стратегий, на которых и держалась индустрия советского толстого журнала и, шире, советской литературы. Такое радикальное преодоление всех привычных рамок производства текста было поддержано оригинальностью перевода и многих рассуждений статьи. Некоторые рассуждения самой формой прямо направлены не на обоснование отдельных идей, но на критику советского литературного производства. Такой радикальный проект позволил Аверинцеву обосновать собственную социально-политическую программу, несмотря на то что он специально не занимался вопросами социальных наук. Скрытый спор с советской журналистикой и с русской идеалистической мыслью, в частности либеральной программой Георгия Федотова, которая оказалась зависима по идейному содержанию от форм старой журналистики, позволил Аверинцеву создать ряд продуктивных идей о границах политического, которые могли бы стать основой постсоветской дискуссии о миссии и ответственности политика.

Ключевые слова: С. С. Аверинцев, толстый журнал, цензура, либерализм, литературное производство, религиозная философия, царство, церковно-политические идеи, церковь как субъект политики

Постановка проблемы

Социология литературы, социология чтения или социология идей, эти разработанные и узнаваемые области обычно имеют дело с некоторым готовым полем, в котором установлены правила игры. Деформации этого поля только подтверждают, что без правил, пусть даже неожиданных и противоречащих обыденному здравому смыслу, само существование поля невозможно — можно дальше выяснять его свойства, но не подвергать сомнению его существование. Сюжет, о котором пойдет речь в этой статье, имеет в виду необычную ситуацию, которую

проще было бы описать как кризис институтов времен перестройки и встречное движение — стремительный стихийный подъем общественной активности. Однако метафора встречающих процессов ничего не может сказать о специфике самих институтов, а лишь создает ложное представление о некоем как будто возникшем поле публичности, на котором и разыгралась драма кризиса институтов и идей, — что обыденный здравый смысл сразу обозначит как кризис ценностей. На самом деле процесс был гораздо интереснее: трансформация институтов подразумевала их невольную рефлексию, которую мы рассмотрим на примере отказа толстых журналов от цензурных механизмов одновременно с попытками интеллектуалов создать механизмы и нормы публичности. Мы постараемся понять, как менялось качество поля при превращении традиционных литературных «жанров» в «форматы».

Определение «толстый журнал» подразумевает один из самых устойчивых форматов литературного производства в России, от «Библиотеки для чтения» О. Сенковского до современных изданий. При этом если в Англии или Франции уже в середине XIX века был бум другого формата, иллюстрированного еженедельника, то в России такие издания, как «Нива» и «Огонек», появляются довольно поздно и при всей читательской востребованности не определяют литературный процесс. Косность этой модели отвечала сформировавшейся в России к середине XIX века экономической модели поставки эксклюзива при подписном кредитовании на фоне относительной инертности общественных запросов (Волюшина, 2017: 22). Можно сказать, что толстый журнал, соединявший публикацию эксклюзивных новинок литературы, литературную критику и знакомство с социально-экономическими явлениями современного мира, не просто сообщал, какой бывает литература, но и какие форматы бытования текстов отличают литературу от не-литературы. Когда культурный читатель говорит, что графический роман — не литература, что необходимо отличать роман от повести, или что эссе обычно краткие и необязательные в сравнении с очерками, он или она поневоле воспроизводит ту ценностную шкалу, которую внушил толстый журнал самой своей формальной организацией, расположением и «видом» материалов в рубриках.

Формат толстого журнала воспроизводился и в русском зарубежье, и в самиздате, где сохранялась та же рубрикация и тот же канон текстовых форматов: стихи должны даваться подборкой, очерк должен быть подробным и документальным, а повесть, в отличие от романа, уместаться в один или два номера. Власть формата толстого журнала над текстами не была поколеблена даже авангардными экспериментами (Черняк, 2014: 340–341), подрывавшими любые прежние представления о литературе: сам авангард рутинизировался в журналах как новый авангард, неоавангард, например «шестидесятничества» Аксенова или Вознесенского, а не становился необратимым фактом литературы, размыкающим журнальные рамки ее функционирования, как отчасти было возможно в старом авангарде (Швец, 2020). Дело в том, что экспертная власть выражалась не только в отборе лучшего, но и в собственной инерции авторитетной экспертизы, требовавшей от иннова-

ций уместности ради лучшей их критической рецепции (Воробьева, 2014: 132). Тогда и конкуренция и другие стимулы литературного процесса не меняли режимы распределения, на чем настаивал авангард со всеми лозунгами «искусства улиц», но поддерживали устойчивость производства (Вичкитова, 2018: 70–72), так что в журнале были уместны как популистские, так и элитистские лозунги, которые всё равно уже были нейтрализованы инерцией границ жанров, что всё это — одинаково часть официального поля смыслов. Соответственно, читатель угадывал скорее зияния и бреши в этом поле, чем возможности трансформации поля.

Толстый журнал воспринимался читателями как наиболее оперативная форма выхода, обеспечивающая не просто качественную, но своевременную экспертизу. Внутри советской культуры он противостоял не иллюстрированному еженедельнику, такому как «Огонек», с экспериментальными форматами и отчасти принципами стенгазеты или дайджеста при организации материала, а ежегоднику-альманаху (Снигирева, Подчиненов, 2018: 60–62), который концентрировал то, что признавалось литературой и высказыванием о литературе, то есть поддерживал канон литературного производства, но менее оперативно. Еженедельник мог печатать немало качественных литературных произведений, но воспринимался не как узел литературного производства, а, как самое большее, его отражение. Поэтому статус ежемесячного журнала как экспертной площадки не менялся даже в постсоветскую эпоху, требовавшую плюральности высказываний (Черняк, 2009: 68): всем участникам литературного процесса было проще опираться на имеющиеся узлы производства, чем создавать новые, где они поневоле столкнулись бы с множеством проблем, от слабости инфраструктуры до неопределенности репутационного ресурса.

Но если власть толстого журнала над социальными представлениями о литературе более-менее ясна даже по таким предварительным наблюдениям, то, как именно работал отбор текстов, как происходило движение журнала в области дозволенного и недозволенного и как это воспринималось читателем, уже не так прозрачно. Сразу оговорим, что мы не исследуем восприятие публикой литературы как таковой, а движемся в противоположном направлении: нам интересно, как именно толстый журнал превращал поле литературы в часть поля публичного ответственного суждения. Конечно, была система ожиданий со стороны читателей, как правило, понимавших, что журнал обходит цензурные ограничения — поэтому для подцензурных журналов существовала техника прочтения намеков — например, что затрагивание тех или иных тем говорит о либеральном или консервативном повороте и позволяет поэтому угадывать и общие тенденции политического развития страны. Для неподцензурных журналов, например в предреволюционное время, в эмиграции или самиздате, существовала другая техника: угадывание того, какое собственное направление представляет журнал, как он его выстраивает, в отличие от других партий или литературных рупоров. Такой журнал, в отличие от подцензурного, занятого проведением «опасных материалов», замаскированных подзаголовками, контекстуализацией в номере, примечаниями

или редактурой («журнальный вариант» произведения, обычно сокращенный), чтобы сделать общее сообщение журнала приемлемым для цензора, скорее играл с читателем — чтобы удержать аудиторию, он должен был быть на шаг впереди читательской аудитории.

Сделаем еще несколько предварительных замечаний. Интеллигентный читатель знал, по крайней мере на уровне интуиции и собственного социального опыта столкновения, что редактор всегда вмешивается в текст публикуемого произведения. Он распознавал это и по особенностям форматирования и аннотирования, начиная с той самой пометки «журнальный вариант», и по собственной практике вхождения в литературную культуру — кто писал школьные сочинения «как надо», сталкивался с замечаниями по проектам, чертежам и курсовым работам, делал стенгазету и капустник, иначе говоря, реализовывал повседневную интеллектуальную культуру интеллигента, прекрасно представлял, как работает власть компетентного редактора. Конечно, у такого интеллигента были и другие ниши для интеллектуальной культуры, от любительского ремесленничества или коллекционирования до знакомства с новинками науки или музейными коллекциями, но это были именно досуговые практики, мыслившиеся как перемена, а не производственная норма. В газетах и тонких журналах эти практики могли быть интегрированы в само издание, строго дозировано (страницы юмора или репродукции картин), тогда как в толстых журналах если и допускались, то как компромисс, ничтожный в сравнении с той системой преодоления географических и культурных границ, которые показывал толстый журнал (Полищук, 2017: 65), например, представляющий в данном номере литературу народов СССР. Что значил бы отказ канонического журнала, например, от воспроизведения авторских элементов оформления рукописи, в сравнении с такой масштабностью охвата. Также, что самое важное, власть редактора (под «редактором» имеется в виду не конкретный человек, а система), во многом определявшая в том числе и порядок знакомства с чужой мыслью и представления своей мысли в интеллектуальной среде (Магун, 2008), поддерживалась не только способом работы толстого журнала, но и работой других литературных институций, таких как книжные магазины (Метельков, 2019: 140), где выкладка по жанрам следовала узнаваемой модели представления жанров в журналах. Тем самым система была организована так, чтобы читатель был полностью вовлечен в проект литературного и интеллектуального производства, не проблематизируя его, в то время как перестроечная ситуация проблематизировала весь проект. Интеллигентный читатель, привыкший обращать внимание на нюансы, угадывать, что будет дозволено, не мог не понять, что происходит что-то непривычное на уровне работы самих фильтров допуска статей. Он обнаруживал непривычные жанровые стратегии, провоцирующие не своим содержанием, а заставляющие недоумевать о резонах редактора как держателя нормы контроля. Мы постараемся показать, говоря несколько метафорически, как неожиданные публикации в толстых журналах обрушили привычную систему интеллектуального производства, показав ее недостаточность для публичной дискуссии.

Нас интересует период резкого взлета тиражей журналов в период перестройки, когда привычное поведение советского читателя, определяемое групповой принадлежностью (военные читают газету «Красная Звезда», а городская интеллигенция читает журнал «Новый мир»), в сочетании с отказом от цензуры дало взрывной эффект, сошедший на нет в 1990-е годы. Собственно, мы и исследуем, как именно система распознавания намеков, эзопова языка, умолчаний и стоящей за опубликованным борьбой автора с редактором, стала из группового достояния интеллигенции достоянием более широкого читателя как раз в период перестроенного превращения подцензурных журналов в неподцензурные. Такое исследование позволит нам понять, каким образом многочисленная советская интеллигенция овладевала техниками, понимание которых требует доступа к журнальной кухне, к эзотерическому слою литературного производства. Именно эти техники, а точнее, иллюзия обладания ими, поддерживали верность всей интеллигенции толстому журналу как коллективному идентификатору.

Крушение советской системы литературного производства, и это последнее, что следует оговорить, не следует понимать как некоторый демонтаж с заменой устаревшего на новое. Скорее, это определенный прорыв ожиданий, когда они не просто позволяют распознать политику редакции, но опережают ее. Например, значительная часть толстых журналов в перестройку начинает публиковать «возвращенную» литературу: романы и стихи эмигрантских писателей разных волн, от Алданова до Довлатова, но читательский спрос не довольствуется такими встроеными в готовую рамку публикациями, пусть даже нужно было среди рубрик журнала ввести новую, например «Наследие». Читатели уже требуют репринтов, с сохранением неудобной для чтения дореволюционной орфографии и суженого наборного шрифта, а потом даже стилизаций под дореволюционные издания современных авторов (Марков, 2019а: 67).

Как ни странно, такое ответное движение возрождало вовсе не дореволюционную утопию, а в рамках пересмотра отношений литературы и власти как отношений владения оружием ограниченного набора жанров с той и другой стороны (Файбышенко, 2018: 120), восстанавливало авангардную интермедальность (Марков, Файбышенко, 2016: 20), заменяющую жанр «форматом». Иначе говоря, власть редактора-цензора над горизонтом читательских ожиданий вытеснялась непосредственным решением читателя соучаствовать в производстве экспертного знания. Мы ставим вопрос: как читатель стал экспертом и почему толстые журналы как хабы производства и продвижения новой литературы не вытесняются другими форматами, ведь экспертное знание в конце концов всегда удел немногих? Нынешние же небольшие тиражи толстых журналов вполне могут объясняться экспертной позицией читателя, а не ориентацией на социальные интуиции разделяемого миллионами людей опыта. Скорее нужно объяснить аномалию миллионных тиражей в перестройку как такое завышение ожиданий, превращающее всех читателей как бы в спортивных болельщиков, сопереживающих новым победам, скажем, возвращению произведений, но и требующих, в конце концов, новых ме-

дийных стратегий подлинности, символом которой становится репринт возвращенной литературы.

Материалы и методы

Мы выбрали кейс публикации одного из признанных ученых-гуманитариев в толстом журнале перестроечной эпохи. Выбирая его, мы исходили из того, что жесты академического взаимодействия (скрытая полемика, встраивание себя в дисциплинарную рамку, метакритика дисциплин) в системе журнальной редакторской власти становились жестами производства статуса знания как такового в литературе. Поэтому интересно, как перестроечный запрос на подлинное, запрос болельщиков, как мы только что их определили, причем болельщиков в отсутствие яркого соперничества команд — борьба между журналами была не так важна в сравнении с возвращением произведений, Солженицына печатали равно «Новый мир» и «Наш современник», представлявшие противоположные литературно-политические партии и общественные идеологические группы — способствовал становлению представления о парадигмальном смысле культуры. В отличие от советского понимания культуры как системы норм, которая обеспечивает в том числе потребление читателями толстых журналов искомых смыслов, новое понимание культуры подразумевало открытие в ней подлинного, экзистенциального содержания, что стало значимо и для всей постсоветской культурологии.

Далее, наш пример интересен тем, что он наглядно доказывает, как именно социальные ожидания, связанные с толстым журналом, такие как просвещение, знакомство с новинками, агитационное поддержание единства советской многонациональной литературы и культуры, достигли в перестройку своего предела, за которым мог появиться запрос на экспертное знание. Экспертное знание, пришедшее на смену редакторской власти, когда журнал отбирает лучшее в наследии, а читатель знает, что в журнале он сможет найти лучшее и объяснить, почему это — лучшее, не столько отменяет, сколько пересобирает старые ожидания. Читатель, говорящий, что именно в этом журнале сейчас печатается лучшая городская проза, ведет себя так же, как читатель, говоривший до перестройки, что понимает, что это самая большая смелость для редактора опубликовать такого-то автора. Этот читатель угадывает, где именно редактор смог угодить ему или ей, просто в перестройку это угадывание стало альтернативным, можно было объяснять не только поведение советского редактора вообще, корректируемое разве что довольно эксплицитной идеологической программой журнала («деревенский», «городской», «военный», «молодежный»), но и поведение отдельных редакций. Но именно это позволяет уже мыслить не редактора, а всю редакцию как экспертный пул.

Наконец, нам важно, что ученый, выступая в перестроечном журнале как носитель специального, но при этом подлинного знания, причем не досугового, а именно магистрального, вполне сознательно превращает академические жесты

и приемы аргументации в способы конструирования литературной политики. Ученый в литературе оказывается тем самым носителем подлинного эксклюзивного знания, который может намекать на различные неожиданные для позднего советского читателя области знания, от социальной теории в применении к прежним эпохам, истории ментальностей в духе «Анналов» или «истории людей» до теологии как метасемиотики, объясняющей, в чем смысл самих старых и новых смыслов. Но продвижение этого знания показывало, как именно власть редактора оказывается неустойчивой в сравнении с экспертной властью, регулирующей уже не бытование текстов, а бытование смыслов. Поэтому мы выбрали для рассмотрения С. С. Аверинцева, а не Д. С. Лихачева или Л. М. Баткина, так как его академические жесты были наиболее эрудированы, и широта его эрудиции как раз совпала с широтой литературных предпочтений журнала «Новый мир». Журнал, печатавший одновременно А. Битова и В. Белова, мог опубликовать автора, одинаково хорошо знавшего сирийскую гимнографию, неотомизм, францисканство и древнерусские жития.

Итак, наш кейс — одна из самых интеллектуально смелых публикаций эпохи перестройки, публикация Аверинцевым перевода Шестопсалмия как приложения к статье в массовом толстом журнале (Аверинцев, 1988б: 237–239). Мы доказываем, что данная публикация была не просветительским актом, а литературным жестом и, более того, утверждением определенной социально-политической концепции, как раз основанной на подрыве советской нормы журнального производства. Этот перевод и статья образовали концепцию христианской культуры как системы не до конца переводимых языков, объединяющих эмоциональные и правовые принципы. Такая концепция противостояла различным формам расхожего историзма, утверждающим прошлое только как прецедент или как точку отталкивания, но также подрывала изнутри советский журнально-просветительский проект, позиционируя религиозно-философскую аргументацию как экспертную.

Эта публикация (Аверинцев, 1988а, 1988б) опрокидывала прежнее редакторское всевластие даже на уровне подачи ее читателям. Эта публикация не встраивалась в сетку жанровых подразделений толстого журнала: несмотря на близость культурно-историческому очерку, она вобрала в себя свойства остальных обязательных для каждого номера толстого журнала жанров. А именно в этом очерке были черты исторического романа, умеющего представить мотивации людей далекого прошлого и их представления о чужом, непривычном или враждебном, что было читателю привычно при чтении исторических романов, но не очерка и публицистики, где решения о далеком прошлом читателю подсказываются сразу как готовые, прецедент это, пример или урок. Здесь Аверинцев, опираясь на академический жест парадоксального вывода как главной ценности гуманитарного научного знания, когда сверхинертность византийской культуры понималась им как место радикальных эстетических инноваций (Гусев, 2018: 236–238), превратил его в литературный жест, показывая читателям недостаточность их ожиданий и не-

обходимость понимать прошлое подлинно до радикальности, не в сетке уроков и прецедентов.

В очерк также входила и поэзия, как перевод Псалмов в приложении, так и поэтические цитаты в основном тексте, служившие не иллюстрации прозаически обозначенных тезисов, не способом лучше запомнить мысль автора, как это было бы в советском подцензурном журнале, но аргументативным жестом. Эти поэтические цитаты нужно было внимательно прочесть, только тогда становилось понятно, как рассуждение будет двигаться дальше. Автономия поэтического жанра от редакторской власти, помещающей стихи в «подборки», утверждалась вместе с требованием к читателю внимательно следить за перипетиями лирического сюжета. Здесь С. С. Аверинцев выступал наследником А. Ф. Лосева, в чьей версии платонизма обретающие автономию понятия, превозносимые как ключи к онтической структуре мира, превращались в характерологию античной культуры с ее лиричностью и драматургией (Крочак, 2017: 85). Опять академический жест реконструкции интеллектуальной культуры прошлого как системы оказывался жестом борьбы за автономию литературы.

При этом тема власти, которая неизбежно сопровождает разговор о типах культуры как определяющих, в том числе поведение властителя, оказалась усилена переводом псалмов царя Давида, раскрывающих внутренние переживания властителя, что не просто отвечало ожиданиям тогдашней публики узнать что-то о скрытой стороне власти, но разоблачало прежние редакторские стратегии, в которых момент власти редактора над текстом был скрыт: было известно, что есть редакторский фильтр, но где он работает, не было известно. Новая публичность перестройки требовала постулирования свободы слова, но очевидно, что для устоявшегося издания, такого как толстый журнал, это означало не отказ от редактирования, а усложненное описание работы самого фильтра, например раскрытие редакционных планов (что редакция собирается печатать в ближайших номерах). Аверинцев, показывая, какова специфика «византийской» и «русской» власти, предполагал новую игру с читателем, демонстрирующую, что власть в конце концов может оказаться способной на самоотречение и покаяние, а значит, на внезапное снятие этих фильтров. По сути, в разговоре о Византии и Руси он моделировал опыт гражданского действия, хотя это вроде бы был разговор о старом добром прошлом, но на практике, как мы увидим, это привело вначале к росту, а потом, при дальнейшей специализации читательского интереса и дифференциации способов работы с медиа в зависимости от политических и вкусовых ожиданий, уже к падению тиражей.

Наконец, в очерке была и критика, последний устойчивый жанр толстых журналов наравне с «поэзией», «прозой» и «очерком и публицистикой». Аверинцев, критикуя традиции исследования христианской культуры времен высокого модерна, например Освальда Шпенглера или Георгия Федотова, действовал не только как академический ученый, говорящий, что «устарело» из сказанного в такой-то книге, но и как литературный критик в российской традиции, который сначала

ставит вопрос, насколько обобщенную и верную концепцию происходящего (социальной реальности) дает данное произведение, а потом уже разбирается, насколько хорошо, качественно писатель делает свою работу, не получается ли его текст поспешным, вторичным, поверхностным, недостоверным, внутренне противоречивым. Эти два аспекта были соединены в советской критике, где вопрос о литературном качестве не отделялся от вопроса о «художественных обобщениях», чему и противостояла академическая герменевтика Аверинцева, отделявшая содержание от формы (Балакшина, 2018: 456–457, 2019: 114–116) и превращавшаяся здесь в жест утверждения автономии художественного эксперимента, хотя вроде бы речь шла о предметах, предельно далеких от литературного процесса, о Шпенглере и Федотове.

Вопреки обычаям советских редакторов отсекал околотекстовые элементы в журнальном варианте, такие как посвящения или экскурсии, в очерке Аверинцева все они были акцентированы, и так академический жест ученых ссылок и экскурсов превратился в жест литературной автономии. Сходное отстаивание, но только не литературной, а этической автономии «семейных» или «домашних» привычек в культуре Аверинцев проделывал уже в постсоветское время (Марков, 2018: 157). Примечания Аверинцева, по сути, создавали новые умственные установки (ср.: Кузьмин, 2018: 175–176), и тем самым интеллигентный читатель уже не мог удержаться в прежнем режиме ожидания, что именно ему или ей разрешили узнать из мировой культуры, но становился вовлеченным читателем, требовавшим и новых форматов (пусть даже, как мы говорили выше, хронологически «старых», включая Закон Божий), и заинтересованно распознававшего свою социальную роль и социальные возможности. Что имеется в виду под последним, под социальной заинтересованностью читателя, раскрывает анализ первых четырех примечаний:

«Этот мотив ежевоскресных пиров Владимира удержан, как известно, поэзией русских былин» (Аверинцев, 1988а: 210). В научной или научно-популярной книге это была бы ссылка на дополнительный исторический источник, и вынесение источника в примечание говорило бы о его сравнительной маловажности, академический жест ограничился бы размещением факта в поле академического распределения обязанностей между исследователями. А здесь источник оказывается частью начала общественной дискуссии — что пиры были не просто предметом институционального дизайна, но функционирования институтов в общественном поле, и тем самым режим заинтересованности читателя в литературе, режим болельщика, оказывается и режимом сохранения казавшихся утраченными социальных институтов, режимом, грубо говоря, «религиозного возрождения».

«То есть, разумеется, на этот праздник равные права у всех трех наций, вышедших из единого лона Киевской Руси: русских, украинцев и белорусов. Вещи самоочевидные как-то странно оговаривать, но, наверное, надо» (Там же: 211). В очерке или публицистике это было бы просто уточнением рабочего политического понятия, «Русь», которое далее используется в аргументации, жестом академической корректности. В данной публикации это не уточнение понятия, а жест,

показывающий, что власть редактора недостаточна для всех уточнений, что они не создаются регламентированностью работы журнального института, а требуют острающего голоса.

«Так, архитектура Дворцовой капеллы в Аахене знаменательно повторяет формы римско-византийского искусства Равенны, ставшие символом имперского величия как такового» (Там же: 213). Как академическое примечание оно бы просто показывало границы проникновения потестарной символики. Но как жест в литературном журнале это примечание говорит о «знаменательности», о том, что простые закономерности, подконтрольные вниманию редактора или среднего читателя, еще не гарантируют правильную работу социальных механизмов. Скорее, мы должны заинтересованно смотреть, насколько социальные механизмы заработали в производстве данной потестарной символики.

«Строго говоря, Армения стала христианским государством на годы ранее Медиоланского эдикта Константина. Но это частная оговорка, оттеняющая общую картину» (Там же: 214). Как академический жест это могло бы быть примечание к историческому роману, отводящее обвинение автора в невежестве. Но, оказавшись в литературном журнале, он означает, что общая картина складывается независимо от тех жестов, которые обеспечивают журнальное производство правильного знания, фактическую корректность всех высказываний в журнале. Так мы видим, как примечания размыкают текст в сторону общественной дискуссии, превращая выученные навыки эстетического восприятия в провокативный повод задуматься о других вещах, таких как социальные эффекты литературы, специфика персонализации при восприятии литературы и необходимые и достаточные условия для появления социального, политического или правового воображения.

Такие примечания были запущены как механизмы расшатывания общего способа представления авторитетных текстов в советских изданиях, где примечания нейтрализовывали и нормализовывали тексты другой эпохи, в то время как основная задача статьи была решена, как мы и покажем, переводом Шестопсалмия. Статья Аверинцева (Аверинцев, 2008а, 2008б) делится на две части, первая из которых посвящена социально-политическому проекту, общему для Византии и Руси, а другая — столь же общему правовому проекту. В обоих случаях непреодолимые культурные различия стран только позволяют увидеть общность проекта, показав, что если где-то политика, экономика или право реализуются не так, как изначально ожидалось, то это вовсе не особенности отдельных проектов, а особенности ситуации, которую нельзя исследовать рутинизированными дискурсивными средствами, обычной журнально-редакторской эрудицией, но требуется особое заинтересованное внимание. Аверинцев всегда исходил из того, что формы рационализма являются также формами аскетической умеренности (Седатова, 1997: 188), хотя об аскетизме не писал специальных исследований, не только по советским цензурным соображениям, но и чтобы не рутинизировать его как тактику, заставляющую забыть о других ей подобных. Поэтому прежде чем мы поймем, что означает перевод Шестопсалмия как новый жест литературной поли-

тики, мы должны сначала рассмотреть, как формировались академические жесты Аверинцева, а потом уже — как они стали журнальными жестами, изменившими навсегда редакторские и экспертные обычаи журнала, способствовав созданию читателей-болельщиков и коллективов редакторов-экспертов.

Обсуждение 1. Академические жесты

Образцом академических жестов, преодолевающих бытовые привычки восприятия в пользу критического, как ни странно, для Аверинцева были поэтические жесты, встроенные в плотный социальный контекст, так что при всей их рутинности они вдруг приобретали критический смысл. В статье 1977 года (Аверинцев, 1977), вошедшей, как и рассматриваемый нами цикл в один из итоговых сборников ученого (Аверинцев, 2005), наш автор исследует, как христианская гимнография не вырабатывала собственные формы в том числе культового пользования, большинство из которых, вроде сопровождения пения танцами, были отвергнуты ортодоксией, а вписывалась в готовые форматы. Первым таким гимном был «Педагог» Климента Александрийского, гимн-перечисление имен, что вполне соответствовало античному обычаю: «В этом гимне нет ничего, что оскорбило бы вкус интеллигентного греческого читателя-язычника» (Аверинцев, 1977: 441). Это вполне соответствует тому, как существовал советский толстый журнал, отвечающий вкусу интеллигентов, но при этом способный эксплуатировать их эмоциональную культуру и намекать на те новые знания, которые при определенной заинтересованности можно вытянуть. Но Аверинцев усиливает жест, сравнивая компромиссность поэтики гимна с изображениями «музицирующего Орфея на стенах и сводах катакомб» (Там же: 442), что уже намекает на то, что предельная архаизация, архаический образ Орфея, и может стать предметом той самой заинтересованности в «форматах». Далее Аверинцев как раз описывает своего рода разрушение жанра в пользу формата: «В обоих случаях мы ощущаем старинное изящество и молодую свежесть чувства, но одновременно слабую согласованность того и другого, необязательность избранного языка форм, неотчетливость художественного идеала и стоящего за ним мировосприятия» (Там же: 442–443) — если жанр, контролируемый редактором, требует сильной согласованности всех составляющих, то формат как раз подразумевает необязательность языка в сравнении с заинтересованным ожиданием смысла.

Следующую стадию, гимны Григория Богослова, Аверинцев охарактеризовал как кабинетное творчество (Там же: 443), что вроде бы должно говорить о том, что академический жест здесь затрагивает и внимательного, и невнимательного читателя: кабинетную поэзию можно читать про себя, но всё равно воспринимать. Но здесь же Аверинцев говорит, что этот универсализм с точки зрения читательского потребления оказался совсем не универсализмом для церковной политики, для которой не нужны кабинетные усилия. Так академический жест самого Аверинцева превратился в литературный: то, что нам казалось окончательным этапом

развития литературы, нашедшей всех своих читателей, оказывается лишь момент той их социальной заинтересованности, которая пробуждается этим произведением. Но чтобы социальная жизнь была, нужно оспорить «кабинетный», предписываемый условной системой литературного функционирования, где редакторы определяют, что для интеллигенции, а что для народа, характер литературы и показать ее некабинетный смысл. Аверинцев так и пишет, что некоторые патетические отрывки из проповедей Григория были без изменений «вставляемы в каноны», и оказалось, «что они прекрасно подходят к новой оправе» (Там же: 444), что означает оформление, некий формат, систему читательских эстетических ожиданий, а не контролируемый редакторами и обычаями литературного производства жанр.

Следующим героем Аверинцева стал Синесий Киренский, гражданский политик, интеллектуал и христианский епископ, впрочем, не особо стремившийся беречь чистоту веры, — его избрали как ученого и опытного администратора, не требуя сверх этого. Синесий, напоминает Аверинцев, «возводивший свой род к Гераклу, составил свои славословия Христу на антикварном дорийском диалекте, и притом в таком тоне, точно он обращается не к Галилеянину, а к одному из олимпийцев» (Там же: 445) — иначе говоря, эстетическое решение Синесия мотивировано биографически, принадлежностью к дорическим гераклидам. Аверинцев иронизирует над биографическими мотивациями творчества, это академический жест недоверия к любым автонарративам и самовосхвалению, жест критики в гуманитарных науках. Но поневоле Аверинцев указывает, что система готовых жанров уже не работает в сравнении с динамикой социальной реальности: «Новое мировоззрение не могло принять из чужих рук готовую красоту. Синесий уклонялся от решающего выбора тогда, когда выбор истории был уже сделан» (Там же: 447). Выбор истории — это то, о чем позволяет говорить только экспертное знание, а не литературная культура, и хотя советская критика могла говорить об исторической необходимости, но никогда не сказала бы о новом мировоззрении как осуществляющем выбор, а не налаживающем литературное производство.

При этом Аверинцев замечает, что Синесий смотрелся бы как свой среди симпатизирующих христианству неоплатоников, «когда они сочиняли речи оракулов, в которых устами древних божеств восхвалялся Христос, но порицались христиане», равно как своим и среди гуманистов «вроде Марсилио Фичино и Муциана Руфа, любящих прославлять Христа, как Юпитера, и Деву Марию, как Цереру» (Там же: 446). Хотя с историко-культурной позиции единственное, что объединяет неоплатоников и Фичино — убежденность в реальности *prisca theologia*, начальных эзотерических религиозных представлений, равно легитимирующих и высокие (как бы философские) формы языческого богопочитания, и христианский культ — все же остальное у них различно, но *prisca theologia* и есть то самое содержание творчества, которое не подчиняется редакторской власти, какой-либо мировоззренческой цензуре, и потому может получить своих «болельщиков».

Далее Аверинцев разворачивает свою мысль как предположение, которое никак не может быть проверено историей, что гимнография Синесия могла бы стать нормой богослужения, если бы синтез язычества и христианства был осуществлен на эстетических основаниях, и Христос просто украсил своим блеском гармоничный мир античных статуарных богов. Тогда эта гимнография просто пришла бы в упадок, завершив цикл своего существования исключительно индивидуалистическими высказываниями и индивидуальным кабинетным культом. Но, как замечает автор, к счастью, «путь человечества зависит от вещей более насущных, чем мечтания теософски настроенных любителей красоты» (Там же: 447). По сути, эта гипотеза, будучи академическим жестом моделирования социальных эффектов жанра, показывает, что социальные ожидания могут получить эстетический ответ, что и делали толстые журналы доперестроечного времени, но тогда они и оказываются просто носителями индивидуальных необязательных высказываний. Аверинцев задолго до перестройки тем самым говорил о необходимости смены жанровых ожиданий на форматное взаимодействие в рамках реальных социальных практик, а не частного планируемого синтеза.

Наконец, последний герой этой статьи Аверинцева — Роман Сладкопевец. Приводя житийные легенды, что Роман выпил свиток со священными текстами, и благодаря этому научился создавать звучные песнопения, Аверинцев усматривает в этом разрыв между библейской нормой эмоциональности и ремесленными ограничениями метода Романа, которые можно реконструировать только гипотетически: «К сожалению, мы почти ничего не знаем о его предшественниках и старших товарищах, но они, несомненно, были. Развитие византийской литургической культуры в IV–V веках не могло не потребовать некоторых достижений и в области церковной поэзии» (Там же: 449). Опять же академический жест, указывающий на недостаток информации, превращается в литературный жест, что мы можем представить эмоции, отлившиеся в новые жанры, созданные Романом, как новые форматы социального участия в литургии: «Облик этих гимнов отмечен ровной, умиротворенной монотонностью; их содержание всегда примерно одно и то же — образ космической литургии, в которой участвуют ангельские чины и воинства, Богородица и святые, предстательствующие за людей» (Там же).

Другой академический жест Аверинцева — указание на соединение в поэзии Романа Сладкопевца церемониальности и глубоко интимного переживания (Там же: 450). Аверинцев этим и объясняет, почему от Романа Сладкопевца в реальном богослужении остался не жанр, не сами его произведения, а формат, шапки, передающие публике узнаваемую тему размышлений. У него «[с]обытие приобретает облик мистерии, но оно изображается именно как событие» (Там же: 451), иначе говоря, оно превращается в некоторую норму мистического производства, и любая материальность изображаемого только поддерживает его статус. Но в этом жанре есть потенциал формата, эмоционально понятного публике, так, репортажно излагая обстоятельства предательства Иуды, Роман не жалеет грозных характеристик для героя, «сурово и беспощадно изобличает предателя», но при этом

шапка содержит мольбу о милости ко всем. Таким образом, жанр представляет собой утверждение властной нормы контроля (слова «сурово» и «беспощадно» для советского человека однозначно напоминали о времени государственного террора), тогда как формат подразумевает уже глубоко всеми усвоенную проблему, принадлежащую всеобщему порядку эмпатии, отличающемуся от навязанного порядка. В конечном счете Аверинцев описывает торжество формата как торжество новой эпохи: «Там, где Роман Сладкопевец предварял рассказ размышлением о его смысле, потомки отсекали рассказ и оставляли одно размышление. Время для картинных повествований и драматичных сценок прошло; наступило время для размышлений и славословий» (Там же: 453). Таким образом, уже в этой работе 1977 года Аверинцев показывает, как академические жесты достигают предела, но достигнув предела, они указывают и на необходимость обновления культурного производства.

Заметим, что в этой статье Аверинцев говорил о ситуации ранневизантийской литературы как кризисной: проза архаического гимна с его вроде бы спонтанным выражением неоформленного чувства, свойственной только прозе внутренней речью, оказывается вовсе не современной, а, наоборот, «салонной», а поэзия патетически написанного классического гимна — «кабинетной», так что только ее превращение в прозу проповеди может спасти поэзию как эстетический факт. Но чтобы спасти эстетический факт, нужно отказаться от привычного производства жанров, со строгой сеткой контроля над их границами. Конечно, торжество формата не было для Аверинцева последним словом, он указывает, что аскетическое смягчение библейской образности, в случае бытования наследия Романа Сладкопевца, и было тем последним словом. По сути, не инерция жанров, а аскетически настроенные группы, например монашество, оказываются теми экспертными группами, которые производят правильные смыслы. Таким образом, Аверинцев, освещая целые столетия истории христианской литературной культуры, предвосхитил ситуацию создания коллективных экспертных групп вместо прежней власти редактора.

Обсуждение 2. Академически-литературные жесты

В статьях о Византии и Руси Аверинцев прежде всего противопоставляет византийскую триумфалистскую и русскую аскетическую концепцию власти. Византийская власть определяет, как литература должна состояться в качестве института влияния, превращая литературную вовлеченность, позицию «болельщика», в ресурс поддержания империи. Тогда как русская власть оказывается слабой властью, не-властью, о чем мы дальше скажем, сопоставляя позицию Аверинцева и Библия. Но именно эта слабая власть превращает литературные высказывания не в способ поддержать систему, а в способ осуществить миссию смысла как раз в моменты сбоя системы, внутри разрывов, привлекая усиленное внимание публики. Если в Византии система ожиданий вполне регулировалась общим устрой-

ством культуры, то на Руси она оказывается непредсказуемой и требующей взятия каким-то очередным деятелем всей полноты экспертной ответственности на себя.

В начале первой статьи Аверинцев говорит о риске подмены смысла при интерпретации, исходя из того, что тектонические сдвиги в истории меняют сам способ отношения к социальному или политическому опыту, и здесь о смысле может сказать не вовлеченный участник истории, а только эксперт; причем эксперт множественный — Аверинцев разделяет экспертную платформу с воображаемым читателем. «Как раз тогда, когда цитата многовековой давности чересчур хорошо укладывается в наши историософские рассуждения, благоразумно переспросить себя: а что, если мы незаметно для себя подменили ее смысл?» (Аверинцев, 1988а: 210). Речь, разумеется, не о том банальном факте, что непрофессионал, в отличие от эксперта, может не заметить, что значение слов меняется. Речь о другом, о том, что только экспертный пул может опознать все те цитаты, которые при неправильном истолковании породят неуместные историософские рассуждения.

Дальше выясняется, что смысл не столько деконтекстуализируется, сколько постоянно реконтекстуализируется в сложном существовании факта в постоянно меняющихся исторических контекстах. «Сейчас же за пределами исторического момента он попадает в новый контекст новых фактов, сплетается с ними в единую ткань, становится компонентом рисунка, проступающего на этой ткани и на глазах усложняющегося, и тогда смысл его имеет уже не столько границы объема, сколько опорные динамические линии, куда-то ведущие и куда-то указывающие» (Там же). Тем самым оказывается, что никакие прежние способы производства смысла уже не работают, и академический жест учета нюансов, значимых для интерпретации более сложных композиций или процессов, превращается в литературный жест, показывающий, что самостоятельное существование текста, ткани, только и обеспечивает порождение как жанров, так и форматов, как указаний, так и руководств. Такая метакритика семиотики (Макуренкова, 2016: 173) осуществляется переводом Шестопсалмия, показывающим, как именно возможно полностью самостоятельное существование текста, в меняющейся обстановке подрывающее как позиции старых редакторов, так и старых «болельщиков».

Шестопсалмие (ᾠδὴ ψαλμὸς) — особая часть византийского суточного богослужения, восходящая к монашеской практике ночного покаяния, покаянных мыслей и надежды на милосердие. Обычай ночного раскаяния в культуре воспроизводился независимо от этой практики, достаточно указать на «Воспоминание» Пушкина, в котором никаких сюжетов из этих псалмов нет. При этом Шестопсалмие могло вполне становиться образцом для лирической эмоции, каталогизирующей готовые лирические жанры и форматы и позволяющей смотреть на них со стороны (Фоминых, 2015: 210–213). Тем самым при обычном обращении, без перевода, Шестопсалмие было бы только поводом для частных академических жестов и комментариев о литературе, что мы и видим, когда оно воспринимается как образец простого интимного переживания (Дячина, Лодейнопольский, 2013).

Но Аверинцев выполняет перевод, исходя прежде всего из того, что это текст авторизованный, приписанный царю Давиду, следовательно, показывающий особую норму авторской власти, отличающейся от авторства внутри литературного процесса. Покаяние оказывается не эпизодом, по-разному представляемым в различных жанрах, но физиологической потребностью, желанием души и тела, так что правильное исполнение покаяния ставит под вопрос и форматные ожидания. Смысл покаяния не раскрывается в простом энтузиастическом вовлеченном чтении покаянного цикла, но требует особой коллективной аскетической экспертизы.

Этому утверждению коллективной экспертизы как чаемой культурной нормы способствовала магистральная аргументация рассматриваемого диптиха. Согласно Аверинцеву, триумфализм и политический цинизм Византии, культ успеха каждого нового императора-авантюриста, противоположен слабости русской власти, некоторому пораженчеству от Бориса и Глеба до легенды о Федоре Кузьмиче. Эту мысль о безвластии русской власти много развивал В. В. Биbihин (Биbihин, 2000: 72–76), знаменательным образом опираясь на стихи Аверинцева, как на утверждение коллективной экспертизы посвященных, понимающих поэзию, а не на его статьи, содержащие специальную внутридисциплинарную полемику. Здесь Биbihин, конечно, исходил уже из состоявшейся перестройки как слома любых ожиданий от текстов (Павлов, 2019б: 180), не только жанровых, но и форматных. Но версия Аверинцева все же отличается от версии Биbihина (Павлов, 2019а), потому что Биbihин имел дело уже только со множественностью приемов аргументации (Неретина, 2018: 288), а не со множественностью жанров и форматов, как Аверинцев. Таким образом, где есть рассуждение о слабой власти, там только и может появиться мысль о коллективной экспертизе, поскольку только она может разобраться не только с отдельными аргументами и с литературной ситуацией, но именно с этой множественностью приемов аргументации, когда мы не знаем, что от какого текста ожидать.

Византийская и русская традиция различаются не только в отношении к власти, но и в отношении к Шестопсалмию, о чем сам Аверинцев не говорит ни слова. В Византии этот цикл как слова о карающем Боге-судии читает публично предстоятель: игумен монастыря или епископ в своей епархии, кто и может ходатайствовать как Моисей перед Богом за весь свой народ. Именно он, как своеобразный редактор, отвечает за смысловое производство. В русской же традиции Шестопсалмие читает простой чтец, человек из церковного народа, что вполне может соответствовать соборности в расхожем понимании после Хомякова (Бирюков, 2005: 8) как включающей момент экспертизы частных мнений, в чем очевиден перенос на социальное взаимодействие сомнений богослова (Петрова, 2019: 122), борющегося со своими мнениями ради истины. Получается, что педагогические идеи Хомякова, для которого воспитание в истине означало способность принять ее очевидность независимо от режимов ее производства и потребления (Гасак, 2019: 211–217) оказываются основой этого нового подхода, для которого каждое случайное лицо может стать предстоятелем, взять на себя ответственность экспер-

та среди других экспертов, которые вдруг оказались заняты другими вопросами во взаимодействии с другими «форматами» жизни.

О такой постхюмской соборности, позволяющей не только предстоятелю или властителю, но и любому случайному лицу выступить ходатаем за церковный народ на Страшном Суде, Аверинцев говорит в финале статьи, прямо перед переводом. Аверинцев вспоминает понятие *clementia*, означающее в западных традициях благородную милость правителя, которым может быть и епископ, к подданному, и утверждает, что такого понятия по-русски нет. «Имеется в виду такой случай, когда носитель власти какого-либо рода, практикуя эту власть, иначе говоря, практикуя насилие, ограничивает это насилие пределами абсолютно необходимого, щадя каждого, кого он может пощадить без урона для своей власти, ограждая себя от безудержности, от того, что Августин назвал похотью власти. В этом больше выдержки, самоуважения, чувства меры, чем доброты» (Аверинцев, 1988б: 236). Иначе говоря, на Западе власть оказывается прежде всего некоторой непрерывной практикой насилия, в отличие от традиции Византии, где эта практика постоянно прерывалась, требуя аскетической ответственности сильной или слабой власти, иначе говоря, того режима усиленной вовлеченности, который сопровождается сломом всех систем символического производства при сохранении всех значений отдельных символов.

Об аскетическом оспаривании непрерывного производства текстов или ценностей властью Аверинцев пишет в начале второй статьи диптиха, где замечает, что сам идеал Христа, то кроткого в общении с грешниками, то сурового в обращении с торговцами в храме, не мог создать некоторую непрерывность осуществления власти по некоторым правилам, но постоянно требовал разрывов. В результате стремление средневекового правителя уподобиться Христу ставится под вопрос самой фактичностью Христа. Точно так же и стремление журналов перестройки вписаться в формат читательских ожиданий публикацией «наследия» и «запрещенного» было поставлено под вопрос самой фактичностью литературы, имеющей собственные законы, в которых разбираются только вовлеченные эксперты, а не просто любой случайный человек.

Аверинцев пишет, что на Западе этот вопрос был решен созданием договорной этики и особой аскетической вежливости, подразумевавшей политическую осмотрительность, по крайней мере, политическую приемлемость каждого твоего решения для окружающих, ценящих твою вежливость; иначе говоря, экспертное знание было с самого начала иммунизировано, что, заметим, обеспечило, быструю смену журнальных форм и такого косного существования толстого журнала на Западе быть не могло, разве что отдельных проектов, ассоциирующихся с самим экспертным благополучием. Хотя в русской мысли есть не менее мощная традиция осмотрительности и ситуативной ритуализованности мысли (Резниченко, 2018: 40), она опиралась не столько на иммунизацию экспертного знания, сколько наоборот, на постановку его под вопрос во всех рискованных экспериментах

русского модерна с журнальными форматами, литературными жанрами и вообще интеллектуальной культурой.

В следующем абзаце Аверинцев вспоминает Иоанна Богослова, которого в западной живописи принято изображать нежным и миловидным юношей, как бы иммунизированно-невинным, в то время как Евангелие однозначно говорит о его доходящей до гнева ревности о вере, о его суровом характере, и тогда его поведение любви оказывается борьбой со своим характером, рискованным экспериментом, ломающим любые привычные ситуации. Ссылка на Иоанна Богослова не случайна — это отсылка к историософии Владимира Соловьева, к «Трем разговорах», в которой православная традиция отождествляется с традицией Иоанна Богослова, и значит, требование братской любви из посланий Иоанна Богослова отождествляется с работающим принципом экспертно-насыщенной соборности, когда каждый отвечает за всех, и «старец», как достигший совершенства в этой любви, может говорить от лица всего церковного народа как представитель уже вполне осуществившегося экспертного знания — не случайно Аверинцев критиковал позицию Достоевского за то, что он, отвергая «чудо, тайну и авторитет», невольно отвергает любое экспертное знание (Аверинцев, 1994: 3).

Понимание русской власти не столько как разрывающейся между суровостью и милосердием, между двумя крайностями, но сколько ищущей с помощью коллективной экспертизы норму этого милосердия, незримый град (Кнорре, 2017: 255–256), Аверинцев отстаивает и дальше в статье. Там, где не существовало институционализации разрывов, например, традиции государственных переворотов, как в Византии, там каждый отдельный правитель оказывался ответствен за все нравственные несоответствия, разрывы и пороки, и поэтому мог внутренне уходить в глубочайшее покаяние. Аверинцеву не так важно, насколько удачной была покаянная дисциплина Ивана Грозного, для него существенно, что покаянная дисциплина не поддерживалась готовыми институтами, и следовательно, была заведомо вынесена за пределы институционального строительства или рутины институционального контроля.

Скрыто споря без ссылки с несколько модернизирующей концепцией «трагедии русской святости» Георгия Федотова (Федотов, 2000: 159–170), в которой победа сторонников локального монастырского землевладения (иосифлян) над сторонниками международного исихастского идеала (нестяжателями) означала авторитарный поворот на Руси, победу авторитарного иерархического контроля над соборностью, предвещая и политику Ивана Грозного, и культурный изоляционизм, и ликвидацию любых демократических институтов ради поддержания безжалостно работающей системы экономической устойчивости, того самого подконтрольного производства ценностей материальных и символических, — Аверинцев дает свою версию событий, переводя разговор от жанров контроля к форматам ожидания, оспаривая их исходя из вполне осуществившейся аскетической соборности. Он указывает, что в этих группах монахов-политиков были самые разные люди, и те позиции, которые ими были заявлены, были не социально-по-

литическими в рамках политических ожиданий, но аскетическими, парадоксально взламывающими любые ожидания, такими как «акривия» (строгость) и «икономия» (снисходительность). Поэтому, когда Иосиф Волоцкий безжалостен не только к своим противникам, но даже к своим ктиторах, а Нил Сорский милосерден до абсурдного самопожертвования (в завещании, заметим, он запрещал хоронить свое тело), то это, согласно Аверинцеву (Аверинцев, 1988б: 235–236), не позиции политической дискуссии, но превращение аскетического идеала в норму коллективного взаимодействия среди сторонников.

Хотя поднимаемая Аверинцевым тема дуализма русского отношения к власти (либо рай, либо ад, но не среднее гражданское благополучие) была обычной для интеллектуальной мысли от Бердяева до Лотмана и Успенского, в том числе в дискуссиях об отношении народа, нации, общины и братства (Кочетков, 2019: 239) и взаимоотношении соответствующих нормативных текстов (Филоненко, 2018: 163), она трактуется Аверинцевым необычно, исходя из того, что форматов политического ожидания в русской культуре уже нет, выбор уже произошел, и поэтому остается только совместное экспертное делание зла или делание покаяния. «Божье и Антихристово подходят друг к другу вплотную, без всякой буферной территории между ними; все, что кажется землей и земным, — на самом деле или Рай, или Ад; и носитель власти стоит точно на границе обоих царств. То есть это не просто значит, что он несет перед Богом особую ответственность, — такая тривиальная истина известна всем. Нет, сама по себе власть, по крайней мере власть самодержавная, — это нечто, находящееся либо выше человеческого мира, либо ниже его, но во всяком случае в него как бы и не входящее» (Аверинцев, 1988б: 236). По сути, и в переводе Шестопсалмия Аверинцев стремится передать эту ситуацию уже осуществляемого суда, не признающего никаких стратегий поведения, включая стратегию речевой интонационной стилизации: стиль и стилизация уже выработаны церковной практикой декламирования.

Далее Аверинцев пишет: «Нет ничего более странного, чем публицистика начальных времен русского абсолютизма» (Там же), имея в виду, что в этой публицистике, обращенной к власти, или исходящей от самой власти, например от Ивана Грозного, власть мыслится как область уже состоявшегося явления Бога, как область благословения или область проклятия, но не как нейтральная область. Тем самым власть уже невозможна как власть цензурных фильтров, которые обеспечивают некоторую нейтральность, но только как власть уже состоявшегося признания ситуации, а не энтузиастического ее ожидания. Именно такое признание ситуации через несколько лет отчасти подорвало, наравне с экономическими обстоятельствами, тиражи толстых журналов. Все согласилось, что литература автономна и существует сама по себе, уйдя в собственную метафизику, не зависит от читательского внимания, не распоряжается читательскими ожиданиями с помощью жанровой сетки и не вовлекает читателя с помощью форматов.

Как пример радикального отождествления власти с областью inferнального проклятия Аверинцев приводит советы Ивана Пересветова государю брать при-

мер с турецкого султана Мехмета II, хотя перед нами совершенно гуманистический политический вкус: для многих гуманистов, включая византийских, завоеватель Константинополя был просвещенным и гуманным правителем. Но Аверинцев, иначе смотревший на многие вещи, чем специалисты по итальянскому гуманизму, такие как Леонид Баткин (Марков, 2019b), считывает этот гуманистический совет иначе: речь идет не о соревновании правителей за звание просвещенного и гуманного, а о том примере, определиться по отношению к которому — и значит, каким-то образом осуществить свою власть. Шестопсалмие тогда оказывается самоопределением Давида, не зависящим от зрителей, от публики, предшествующим любому соревнованию и в гуманизме, и в тирании. Поэтому дальше важно выяснить, а что Аверинцев делает в переводе, отстаивая автономию литературы и превращая «болельщиков» в соборных экспертов.

Обсуждение 3. Литературные жесты

Первые два псалма Шестопсалмия (в Шестопсалмие входят псалмы по счету Септуагинты 3, 37, 62, 87, 102, 142) изображают страдающего праведника, пережившего в том числе измену друзей, и это как раз лучше всего отвечает началу первой статьи, где говорится, что даже самые дружелюбные способы отношения к истории рискуют приписать ей не тот смысл (Аверинцев, 1988а: 210–211). История постоянно оказывается не той, смыслы уже по прошествии самого малого времени оказываются не теми, что кажутся, и это отвечает главному настроению этих первых двух частей цикла.

Шестопсалмие переводил и важный для Аверинцева Георгий Федотов (Аверинцев, 1994: 5), чей перевод был опубликован посмертно в малотиражном эмигрантском издании (Федотов, 1952). В обоих переводах главенствует стремление сохранить ритмичность, отказавшись от заведомо непонятного калькирования иврита (вроде «от лица безумия моего»). Хотя оба исследователя имели образцовое классическое образование, в переводе они ориентировались не на передачу всех особенностей подлинника, и не на выбор между Масоретским текстом и Септуагинтой при расхождениях, а на бережное следование привычному церковнославянскому тексту, его приемам убедительности и его укорененности в традиции русской литературы.

Псалмы тогда оказывались не столько альтернативой русской поэзии, сколько форматом форматов, который не только не исчерпывается переводами псалмов, но и позволяет посмотреть на русскую поэзию как на иногда весьма рутинную и инертную по своей топике в сравнении с парадоксальными заявлениями псалмов о происходящем и возможном. Но различия помогают нам понять метод Аверинцева как метод борьбы с готовыми жанрами литературного производства и форматами литературного высказывания.

Если и в церковнославянском, и у Федотова говорится, что тьмы людей, то есть враждебная праведнику толпа стоит вокруг, в церковнославянском «окрест напа-

дающих на мя», у Федотова «отовсюду нападающих на меня», то Аверинцев предпочитает «отовсюду обступивших меня», имея в виду, что эти грешники угрожают праведнику не столько войной, сколько подрывом его нравственного благосостояния. Тем самым открывается новая концепция власти, не столько мобилизующей против превосходящей силы врагов, сколько открывающей необходимость аскетического поддержания себя. Так демократическая аскетическая норма оказывается противопоставлена любой вертикальной мобилизации, даже в целях символического производства.

Если в церковнославянском было сказано «не имея в устах моих обличения» (соответствует еврейскому и греческому выражению: не может подать встречного иска), то у Федотова мы читаем «безответный», у Аверинцева «не имеет отповеди». Иначе говоря, Федотов понимал ситуацию так, что праведника мучают и не дают ему даже слова сказать, по обычаю современного ему тоталитарного государства. Аверинцев же мыслит, что противники достаточно гнусны, но поскольку это кара Божия, то простая отповедь неуместна. Аверинцев как раз конструирует ситуацию той самой уже упоминавшейся «вежливости святого», которой, как он утверждает, нет в русской культуре и которую мы бы не ожидали встретить в тексте псалмов с их резкими контрастами. Он взламывает привычную систему энтузиастичных ожиданий, что рано или поздно литература на всё даст ответ, и говорит о ситуации взаимодополнительности экспертного знания в коллективе.

В третьем псалме цикла описывается ситуация праведника, который даже в самой стесненной ситуации оказывается вместе с Богом, и Бог ему заменяет любые сокровища, враги же повержены, разбиты и даже память их стерта. Здесь важен спор Аверинцева с Федотовым, увидевшим в решении князя Владимира не вводить смертную казнь по образцу Византии «отблеск евангельского света», в то время как князь просто следовал обычаю Руси штрафовать за любое преступление, а не убивать (Аверинцев, 1988а: 212). Для Федотова отказ от смертной казни знаменует торжество Нового Завета как политического проекта с его запретом на месть, триумф с отблесками евангельской божественной славы, а для Аверинцева — просто продолжение прежних социальных обычаев взаимодействия, вопреки попыткам ввести новый «жанр» социального контроля. Поэтому гебраизм про врагов, которые «предаются в руки оружия» (в значении «будут истреблены оружием»), Федотов передает «будут преданы мечу», имея в виду до-новозаветную этику, а Аверинцев — «преданы будут силе меча», имея в виду собственные законы социального взаимодействия, где есть сила меча как социальный факт.

В четвертом псалме цикла описывается ситуация кающегося монарха, который испытал на себе весь гнев Божий, то, что Аверинцев говорит в конце второй статьи, возвращаясь к теме начала первой статьи: «Для русских антиномии, заключенные во власти над людьми, в самом феномене власти, оставались из века в век — чуть ли не с тех пор, как Владимир усомнился в своем праве казнить — не столько задачей для рассудка, сколько мучением для совести» (Там же). Вопрос о власти, говорит Аверинцев, был разрешен только в евангельском образе Царя,

Царство которого не от мира сего. Поэтому темную строку церковнославянского «вознес же ся, смирихся, и изнемогах», где современный читатель, привыкший к метафорам, не распознает образ высоты как опасности, ненадежного положения, Федотов переводил «терплю, смиряюсь и изнемогаю», имея в виду, что человек становится аскетом, царь совершает осознанный политический выбор изменить свое нравственное поведение, и тем самым соответствует ожиданиям неба и правильному образу поведения своего сословия. Аверинцев же передает это же самое выражение описательно: «несу бремя ужасов Твоих и изнемогаю», что отвечает вполне развиваемой им концепции власти как невыносимого бремени уже состоявшегося или близкого при дверях суда, уже несомненной кары, которая может быть вынесена только соборно, как форма ответственности, не связанная ни с какими ожиданиями.

Наконец, последние два псалма цикла говорят, что медитация над величием Бога, который как царь окружен ангелами и слугами, позволяет справиться с врагами по отдельности. И прямо в абзаце, предваряющем публикацию перевода псалмов, Аверинцев говорит в статье: «Наша опасность заключена в вековой привычке перекладывать чуждое бремя власти на другого, отступаться от него, уходить в ложную невинность безответственности. Наша надежда заключена в самой неразрешенности наших вопросов, как мы их ощущаем. Неразрешенность принуждает под страхом моральной и умственной гибели отыскивать какой-то иной, высший, доселе неведомый уровень (как у Ахматовой: „Никому, никому не известное, но от века желанное нам“). Неразрешенные вопросы обращены к будущему...» (Аверинцев, 1988б: 237). Аверинцев и переводит, имея в виду такое размышление о будущем, которое требует морально-аскетической ответственности, «размышляю о всех деяниях Твоих», где у Федотова «рассуждаю», а в церковнославянском «поучаюсь». Для христианского либерала Федотова правитель должен отличить ветхозаветную этику от новозаветной, тогда как Аверинцев убежден, что прежде такого различия следует принять бремя власти во всей его тяжести и не оставлять размышлений. Так литературный жест окончательно утверждается как жест коллективной идентификации, не только противоречащий советскому цензурному литературному производству, но и превращающий форматные энтузиастические ожидания в частные жесты, частные формы заинтересованности в интеллектуальной подлинности, даже если они захватывают миллионы новых подписчиков журнала.

Утверждения Аверинцева, которые в другом контексте можно было бы счесть перформативными, проповедническими, вроде напоминания об угрозе безответственности, оказывались в данном случае новой функцией журнала по аккумуляции разделяемого всеми опыта встречи с властью с «человеческим лицом». Тогда еще не произошла экспертная специализация бывших читателей толстых журналов, о которой мы говорили, «все» (образованная публика) были готовы читать толстые журналы, как и газеты, поскольку политическая вовлеченность становится не результатом твоей социальной позиции, а некоторой общей нормой. Аве-

ринцев работал с этими ожиданиями, показывая, что интимизация власти тоже имеет границы, и далеко не все ее свойства, которые воспроизводятся в одной культуре, могут воспроизводиться в другой просто по структурным причинам, из-за внутреннего устройства таких вещей, как «вежливость» или «самоотречение». Он работал уже с новой ситуацией, когда «вежливость» или «героизм» перестали маскировать «произвол» редактора, а смогли описывать социально-политическую реальность прошлого и настоящего. Это и позволяло, используя прежние привычки читателей искать в журнале то, что прошло фильтры, показывать, что социальная жизнь требует не частного разоблачения чьего-то умысла, а общего целеполагающего действия, где и «вежливость», и «героизм» приобретают настоящий смысл. Перевод Псалмов показывал большую универсальность этих понятий и тем самым позволял читателям разделять тот опыт, который они бы иначе сочли относящимся только к прошлому. Но сама работа форматов, как мы уже говорили, сделала эту ситуацию общего гражданского действия лишь уникальным моментом в новейшей истории нашей страны, а не нормой.

Выводы

Журнальная публикация в СССР была средством встраивания содержания в готовую систему жанровых и идеологических ожиданий; распад этой системы привел к неожиданному использованию журнала как площадки интеллектуального эксперимента. На примере одного из самых ярких примеров высокой журналистики эпохи перестройки, публикации перевода Шестопсалмия, было показано, как энтузиазм читательских ожиданий, встречая границы в самой организации власти, которая вдруг оказывалась безвластием, должен был смениться аскетической соборной ответственностью экспертной группы, будущих сравнительно немногих оставшихся читателей.

Было доказано, что публикация Аверинцевым поэтического перевода в приложении к научно-популярной статье не была решением просветительской задачи или созданием отдельной иллюстрации к уже сказанному в ней, ведь тогда это было бы следованием канону журнального производства. Наоборот, создавалась возможность посмотреть на журнальное производство извне, одновременно разработав средства для аргументированного выражения сложных содержаний. Во вроде бы простом переводческом иллюстративном приложении была проделана уникальная работа по созданию работающей религиозно-философской аргументации после многих десятилетий безмолвия.

Несомненны многочисленные параллели между содержательными утверждениями Аверинцева в статье и предпринятыми переводческими решениями. Так, анализ понятий аскетического опыта оказывается дополнен соответствующей интерпретацией псалмов, а исследование специфики средневековых форм социальной организации было поддержано раскрытием в переводе коммуникативных стратегий псалмов, показом, как в них изобретается собеседник, в том числе пра-

витель. Так идея аскетической ответственности правителя, которую Аверинцев объявил устойчивой особенностью русской культуры, оказывается не какой-то определяющей культуру константой, а, напротив, способом подрыва высказываний о власти и их цензурно-производственного обеспечения.

Ключом к пониманию проекта Аверинцева как метакритики устойчивых жанров толстого журнала ради пересмотра отношений между словом и властью, между жанром и готовыми ожиданиями властных решений, в том числе и в литературе, стал предпринятый Аверинцевым в более ранних исследованиях анализ раннехристианской поэзии, Климента, Синесия, Григория Назианзина и Романа Сладкопевца, преодолевавших жанры античной поэзии и форматы античной социальной жизни. В этой схеме «журнальное» соответствует «эллинистическому», а действия этих поэтов оказываются тем ощущением властного проповеднического слова, которое само способно создать социальную норму, и потому не должно поддерживать рутинизированные практики насилия в виде распределения форматов и соответствующего цензурного соблюдения их границ.

Но самое существенное, что Аверинцев выступает в статейном диптихе как теоретик перевода, понимающий соотношение между различными христианскими культурами Средневековья как «трудность его осуществления». Перевод Псалмов должен был отчасти преодолеть эти трудности и показать действительное соотношение между различными эмоциональными культурами Средневековья в связи с различием рецепции политико-правовых идей. Аверинцев в своей критике соотношения эмоциональной и правовой культуры в каждом случае противостоит любым историцистским обобщениям, настаивающим на производстве эмоционального опыта, в том числе и «новому историзму», хотя он и не дает ссылок на соответствующие работы, рассуждая о разделяемом в покаянии, а не о производимом опыте.

В результате журнальный формат публикации позволяет выработать религиозно-философские аргументы, отличающиеся от всех прежних официальных стратегий аргументации. Тем самым литературное явление (журнальное существование текстов) становится явлением интеллектуальной истории, а не ресурсом производства систем контроля. Скрыто споря с советскими теоретиками литературы и медиевистами, но также с Леонидом Баткиным и Георгием Федотовым, Аверинцев оспаривал наивное отношение к журналистике и публицистике, требуя выработки рефлексивного отношения к средствам интеллектуального производства. Для этой рефлексии надо хотя бы мысленно допустить определенный литературный радикализм, далее, хотя бы мысленно, допустить и аскетизм в отношениях с властью и в употреблении собственной власти, хотя бы власти над словом, только после этого общественно-политическая дискуссия о природе власти, соборности или народе вообще становится возможной.

Итак, в рассматриваемый период журналы переизобретали и способы редакторской работы, и способы работы с читательскими ожиданиями быстрее, чем это подразумевали нормы журнального производства. Процесс был резкий и, можно

сказать, обвальный, к выступлению интеллектуала в литературном журнале оказались предъявлены повышенные требования. Нужно было показать не только поучительность исторических примеров, что любят делать русские интеллектуалы, но нельзя было и просто вырабатывать новые понятия для описания социальной реальности, как это принято во французской интеллектуальной традиции. Оказалось, что надо пересоздавать поле социального действия, и для этого использовать не прямое перформативное слово, а сложный механизм превращения перформативного слова в экспертное, а экспертного — в нормативное, ощущаемое как правильное описание разделяемого опыта. Этот механизм, вобравший оригинальные культурологию и перевод, разрушал прежние редакторские фильтры, не пропускавшие неожиданных трактовок исторических событий или культурных явлений, которые могли бы быть сочтены тревожащими советского читателя и потому опасными. Но именно эта ощущаемая на уровне интуиции работа и должна была позволить принять рассказ о Византии и Руси как части нового ответственного разделяемого опыта социального действия, не сводящегося к поучительным примерам или перформативным эффектам политического красноречия. По сути, Аверинцев произвел рефлексивное действие внутри журнального производства, показав, как можно превратить фильтры соответствия норме в демонстрацию множественности норм и потому их необходимости здесь и сейчас. Причем разделяемость нормы всеми совпала с предельным возрастанием публичности толстых журналов в это время. Это оказалось уникальным совпадением, от которого можно отсчитывать новейшую историю медиа и интеллектуализма, как уникальными были многие другие процессы того времени, но без знания этого совпадения мы будем хуже понимать причины складывания нынешнего статуса российского интеллектуала.

Литература

- Аверинцев С. С. (1977). У истоков поэтической образности византийского искусства // Лазарев В. Н., Подобедова О. И. (ред.). Древнерусское искусство: проблемы и атрибуции. М.: Наука. С. 421–454.
- Аверинцев С. С. (1988а). Византия и Русь: два типа духовности. Статья первая: Наследие священной державы // Новый мир. № 7. С. 210–220.
- Аверинцев С. С. (1988б). Византия и Русь: два типа духовности. Статья вторая: Закон и милость // Новый мир. № 9. С. 227–239.
- Аверинцев С. С. (1994). Точка зрения адвоката дьявола // Искусство кино. № 4. С. 3–6.
- Аверинцев С. С. (2005). Другой Рим. СПб.: Амфора.
- Балакишина Ю. В. (2018). Теология и филология: основания и проблемы диалога // Теология и образование. № 1. С. 456–462.
- Балакишина Ю. В. (2019). Герменевтика С. С. Аверинцева: истоки, принципы, своеобразие // Вестник СФИ. Т. 32. С. 110–127.

- Бибихин В. В. (2000). Власть России // Наше положение: образ настоящего. М.: Издательство гуманитарной литературы. С. 67–79.
- Бирюков Н. И. (2005). Соборность как религиозный и политический идеал // Философские науки. № 6. С. 5–17.
- Вичкитова А. (2016). Роль «толстых журналов» в современном русском литературном процессе // Социологическое обозрение. 2016. Т. 15. № 3. С. 68–90.
- Волошина С. М. (2017). Некрасов и Краевский: редакторская политика и коммерция // «Разумное, доброе, вечное...»: проблемы производства, сохранения и распространения культуры в России от некрасовской эпохи до современности. Ярославль: Академия-76. С. 21–26.
- Воробьева Е. И. (2014). «Толстые журналы» как системообразующий фактор в поле современной литературы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. Т. 11. № 4. С. 127–134.
- Гасак Д. С. (2019). Принципы христианского просвещения в трудах А. С. Хомякова и И. В. Киреевского // Вестник СФИ. № 31. С. 204–234.
- Гусев Е. И. (2018). Статьи С. С. Аверинцева о византийской культуре первой половины 80-х годов XX века // Русская филология: ученые записки Смоленского государственного университета. Т. 18. Смоленск: СмолГУ. С. 235–245.
- Дячина М. В., Лодейнопольский М. (2013). Шестопсалмие: его идейный смысл, позиция // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. № 6. С. 167–168.
- Кнорре Е. Ю. (2017). Образ идеальной революции: «китежский текст» в творчестве М. Пришвина, С. Есенина, Н. Клюева в период революции и гражданской войны // Полонский В. В. (ред.). Перелом 1917 года: революционный контекст русской литературы. М.: ИМЛИ РАН. С. 247–258.
- Кочетков Г. (2019). Братства как явление постконстантиновской эпохи (материалы доклада) // Вестник СФИ. № 30. С. 239–246.
- Крочак Ю. (2017). Роль А. Ф. Лосева в формировании взглядов С. С. Аверинцева на русско-византийские культурные связи // Соловьевские исследования. № 3. С. 78–88.
- Кузьмин П. А. (2018). Взгляд Аверинцева на соотношение знака и действительности: Знамение пререкаемое // Социальная политика и социология. Т. 17. № 2. С. 170–177.
- Магун А. В. (2008). Res publica sive nullius // Неприкосновенный запас. № 1. С. 232–241.
- Макуренкова С. А. (2016). Вечная тема рока: Шекспир и Чехов // *Tradiție și inovație în cercetarea filologică*. Vol. 1. Bălți. С. 172–177.
- Марков А. В. (2018). Об одной предпосылке искусствovedения С. С. Аверинцева // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствovedение. № 3. С. 155–160.
- Марков А. В. (2019а). Медиальность и интермедиальность усадьбы в постсоветской русской поэзии // Культура и образование. № 2. С. 58–68.

- Марков А. В. (2019б). «Единая плоть»: одна скрытая полемика Баткин — Аверинцев — Баткин // Новое литературное обозрение. Т. 160. С. 171–180.
- Марков А. В., Файбышенко В. Ю. (2016). Небо и событие: «Тайная вечеря» Осипа Мандельштама // Артикульт. № 4. С. 19–23.
- Метельков А. С. (2019). Литературно-художественные журналы: комплексный взгляд на природу явления // Текст. Книга. Книгоиздание. № 21. С. 129–142.
- Неретина С. С. (2018). О приемах мыслящей речи В. В. Библихина // Политическая концептология: журнал междисциплинарных исследований. № 4. С. 284–289.
- Павлов И. И. (2019а). Онтология власти как онтология истории: политическая философия Владимира Библихина // Социологическое обозрение. Т. 18. № 3. С. 195–223.
- Павлов И. И. (2019б). Перестройка и девяностые в герменевтике Владимира Библихина // Философский журнал. Т. 12. № 2. С. 174–187.
- Петрова Л. А. (2019). Концепция соборности А. С. Хомякова в контексте представлений о единстве и множественности в византийской философии // Христианское чтение. № 2. С. 119–131.
- Полищук Я. (2017). Кризис советского метанарратива (современная ситуация восточнославянских литератур) // Acta Polono-Ruthenica. Т. 22. № 3. С. 61–71.
- Резниченко А. И. (2018). «Об одном символе»: истоки и параллели. Статья первая. О смыслах имен. С. Н. Дурылин и Вяч. И. Иванов // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. № 4. С. 33–50.
- Седакова О. А. (1997). Рассуждение о методе // Новое литературное обозрение. № 27. С. 177–190.
- Снигирева Т. А., Подчиненов А. В. (2018). Феномен российского литературно-художественного журнала. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та.
- Файбышенко В. Ю. (2018). Власть слов: теология политическая и теология поэтическая в анализе одного сюжетного паттерна // Артикульт. № 3. С. 105–124.
- Федотов Г. П. (1952). Шестопсалмие // Вестник РХД. Т. 6. С. 21–25.
- Федотов Г. П. (2000). Святые древней Руси. М.: Мартис.
- Филоненко А. С. (2018). Творчество митрополита Антония Сурожского в контексте современного богословия // Гілея: науковий вісник. № 128. С. 162–167.
- Фоминых Т. Н. (2015). Рецепция Гераклита в книге стихотворений В. И. Стражева «О печали светлой» // Русская литература. № 2. С. 203–215.
- Черняк М. А. (2009). Серебро в глянцевой упаковке, или Миф о Серебряном веке в современной беллетристике // Вестник Герценовского университета. № 1. С. 66–71.
- Черняк М. А. (2014). Новейшая литература и вызовы массовой культуры: к вопросу о синтезе «высоких» и «низких» жанров // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. № 2–3. С. 340–346.
- Швец А. В. (2020). «Стихокартины» Каменского: перформативный жест и его материальное воплощение // Новый филологический вестник. Т. 2. № 53. С. 228–238.

Overcoming the Genre System of the “Thick Journal” as a Socio-political Construction: Referring to One Publication by S. Averintsev

Alexander Markov

Professor, Russian State University for the Humanities

Address: Miusskaya square, 6, GSP-3, Moscow, Russian Federation 125993

E-mail: markovius@gmail.com

One of the first publications of religious and philosophical content in the Soviet press was a two-part article by S. S. Averintsev, dedicated to a comparative study of Byzantine, Old Russian, and Western spirituality, with the appendix of a new translation of psalms. The publication of special and methodically-verified arguments in the popular thick magazine was caused by the softening of church-state relations, but the significance of this publication exceeds its thematic side. In this publication, Averintsev undertook a revision of the system of genres and censorship strategies on which the industry of the Soviet thick journal and broader Soviet literature rested. Such a radical rollover of the usual framework for the production of the text was supported by the originality of the translation and by most of the arguments of the article. Some of the reasoning was not directly aimed at individual statements, but at criticizing Soviet literary production. Such a radical project allowed Averintsev to justify his own socio-political program, despite the fact that he did not work in the social sciences. However, a hidden intention against both Soviet journalism and Russian idealistic thought, and the liberal program of Georgy Fedotov in particular, which was blamed as ideologically dependent on the forms of old journalism, allowed Averintsev to develop a series of productive ideas about the political boundaries that could become the basis of the post-Soviet discussion about the mission and liability of the political class.

Keywords: Averintsev, thick journal, censorship, liberalism, literary production, religious philosophy, kingdom, ecclesio-political ideas, ecclesiastical policy

References

- Averintsev S. (1977) U istokov poeticheskoi obraznosti vizantiiskogo iskusstva [At the Origins of the Poetic Imagery of Byzantine Art]. *Drevnerusskoe iskusstvo: problemy i atributsii* [Old Russian Art: Problems and Attributions], Moscow: Nauka, pp. 421–454.
- Averintsev S. (1988) Vizantiia i Rus': dva tipa dukhovnosti. Stat'ia pervaiia: Nasledie sviashchennoi derzhavy [Byzantium and Russia: Two Types of Spirituality, Part One: The Legacy of the Holy Power]. *Novy mir*, no 7, pp. 210–220.
- Averintsev S. (1988) Vizantiia i Rus': dva tipa dukhovnosti. Stat'ia vtoraiia: Zakon i milost' [Byzantium and Russia: Two Types of Spirituality, Part Two: Law and Grace]. *Novy mir*, no 9, pp. 227–239.
- Averintsev S. (1994) Tochka zrenija advokata d'javola [Advocatus Diaboli on Dostoevsky]. *Iskusstvo kino*, no 4, pp. 3–6.
- Averintsev S. (2005) *Drugoi Rim* [The Second Rome], Saint Petersburg: Amfora.
- Balakshina Y. (2018) Teologiya i filologiya: osnovaniia i problemy dialoga [Theology and Philology: Foundations and Problems of Dialogue]. *Theology and Education*, no 1, pp. 456–462.
- Balakshina Y. (2019) Germenevtika S. S. Averintseva: istoki, printsipy, svoeobrazie [Hermeneutics of S. Averintsev: Sources, Principles, Originality]. *Quarterly Journal of St. Philaret's Institute*, no 32, pp. 110–127.
- Bibikhin V. (2000) Vlast' Rossii [Power of Russia]. *Nashe polozhenie: obraz nastoiashchego* [Our position: The Image of the Present], Moscow: Izdatel'stvo gumanitarnoi literatury, pp. 67–79.
- Biriukov N. (2005) Sobornost' kak religiozniy i politicheskii ideal [Sobornost as a Religious and Political Ideal]. *Russian Journal of Philosophical Sciences*, no 6, pp. 5–17.

- Cherniak M. (2009) Serebro v gliantsevoi upakovke, ili Mif o Serebrianom veke v sovremennoi belletristike [Silver in a Glossy Package; or, The Myth of the Silver Age in Contemporary Fiction]. *Universum: Bulletin of the Herzen University*, no 1, pp. 66–71.
- Cherniak M. (2014) Noveishaia literatura i vyzovy massovoi kul'tury: k voprosu o sinteze "Vysokikh" i "Nizkikh" zhanrov [The Modern Literature and Challenges of Mass Culture: On the Synthesis of "High" and "Low" Genres]. *Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod*, no 2–3, pp. 340–346.
- Diachina M., Lodeinopolsky M. (2013) Shestopsalmie: ego ideinyi smysl, kompozitsiia [Hexapsalmos: Its Ideological Meaning, Composition]. *Bulletin of Orel State University. Series: New Humanitarian Research*, no 6, pp. 167–168.
- Faibyshechenko V. (2018) Vlast' slov: teologiya politicheskaya i teologiya poeticheskaya v analize odnogo siuzhetnogo patterna [Power of Words: Political Theology and Poetic Theology in the Analysis of a Single Plot Pattern]. *Artikult*, no 3, pp. 105–124.
- Fedotov G. (1952) Shestopsalmie [Hexapsalmos]. *Vestnik RChD*, vol. 6, pp. 21–25.
- Fedotov G. (2000) *Sviatyie drevnei Rusi* [Old Russian Saints], Moscow: Martis.
- Filonenko A. (2018) Tvorchestvo mitropolita Antoniiia Surozhskogo v kontekste sovremennogo bogosloviia [Works of Metropolitan Anthony of Sourozh in the Context of Contemporary Theology]. *Gileia: nauchnyi visnik*, no 128, pp. 162–167.
- Fominykh T. (2015) Retseptsiia Geraklita v knige stikhotvorenii V. I. Strazheva "O pechali svetloi" [The Reception of Heraclitus in the Book of Poems by V. Strazhev "On the Sorrow of Light"]. *Russkaya Literatura*, no 2, pp. 203–215.
- Gasak D. (2019) Printsipy khristianskogo prosveshcheniia v trudakh A. S. Khomiakova i I. V. Kireevskogo [The Principles of Christian Enlightenment in the Works of A. Khomyakov and I. Kireevsky]. *Quarterly Journal of St. Philaret's Institute*, no 31, pp. 204–234.
- Gusev E. (2018) Stat'i S. S. Averintseva o vizantiiskoi kul'ture pervoi poloviny 80-kh godov XX veka [Articles by S. Averintsev on the Byzantine Culture of the First Half of the 1980s]. *Russkaia filologiya: uchenye zapiski Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta. T. 18* [Russian Philology: Transactions of the Smolensk State University, Vol. 18], Smolensk: SSU, pp. 235–245.
- Knorre E. (2017) Obraz ideal'noi revoliutsii: "kitezhskii tekst" v tvorchestve M. Prishvina, S. Esenina, N. Kliueva v period revoliutsii i grazhdanskoi voiny [Image of the Ideal Revolution: The "Kitezh Text" in the Works of M. Prishvin, S. Esenin, N. Klyuyev during the Revolution and Civil War]. *Perelom 1917 goda: revoliutsionnyi kontekst russkoi literatury* [Fracture of 1917: Revolutionary Context of Russian Literature], Moscow: IWL RAS, pp. 247–258.
- Kochetkov G. (2019) Bratstva kak iavlenie postkonstantinovskoi epokhi (materialy doklada) [Brotherhoods as a Phenomenon of the Post-Constantine Era (Report Materials)]. *Quarterly Journal of St. Philaret's Institute*, no 30, pp. 239–246.
- Krochak Y. (2017) Rol' A. F. Loseva v formirovanii vzgliadov S. S. Averintseva na russko-vizantiiskie kul'turnye svyazi [The Role of A. Losev in Shaping S. Averintsev's Views on Russian-Byzantine Cultural Ties]. *Solovyov Studies*, no 3, pp. 78–88.
- Kuzmin P. (2018) Vzgliad Averintseva na sootnoshenie znaka i deistvitel'nosti: Znamenie prekekaemoe [Averintsev's View on the Relationship between Sign and Reality: A Sign that can be Argued]. *Social Policy and Sociology*, vol. 17, no 2, pp. 170–177.
- Magun A. (2008) Res publica sive nullius. *Neprikosnovenny Zapas*, no 1, pp. 232–241.
- Makurenkova S. (2016) Vechnaia tema roka: Shekspir i Chekhov [The Eternal Topic of Fate: Shakespeare and Chekhov]. *Tradiție și inovație în cercetarea filologică*, vol. 1, pp. 172–177.
- Markov A. (2018) Ob odnoi predposylke iskusstvovedeniia S. S. Averintseva [On a Premise of S. Averintsev's Art Criticism]. *RSUH/RGGU Bulletin, Series: Philosophy. Sociology. Art Studies*, no 3, pp. 155–160.
- Markov A. (2019) "Edinaia plot'": odna skrytaia polemika Batkin — Averintsev — Batkin ["One Flesh": One Latent Polemic Batkin — Averintsev — Batkin]. *New Literary Observer*, vol. 160, pp. 171–180.
- Markov A. (2019) Medial'nost' i intermedial'nost' usad'by v postsovetsskoi russkoi poezii [Mediality and Intermediality of the Estate in Post-Soviet Russian Poetry]. *Culture and Education*, no 2, pp. 58–68.

- Markov A., Faibysenko V. (2016) Nebo i sobytie: "Tainaia vecheria" Osipa Mandel'shtama [Sky and Event: "The Last Supper" by Osip Mandelstam]. *Artikult*, no 4, pp. 19–23.
- Metelkov A. (2019) Literaturno-khudozhestvennye zhurnaly: kompleksnyi vzgliad na prirodu iavleniia [Literary-Art Magazines: A Complex Look at the Nature of the Phenomenon]. *Tekst, Kniga, Knigoizdaniye*, no 21, pp. 129–142.
- Neretina S. (2018) O priemakh mysliaichei rechi V. V. Bibikhina [On the Methods of V. Bibikhin's Thinking Speech]. *Political Conceptology*, no 4, pp. 284–289.
- Pavlov I. (2019) Ontologiya vlasti kak ontologiya istorii: politicheskaya filosofiya Vladimira Bibikhina [Ontology of power as an ontology of history: the political philosophy of Vladimir Bibikhin]. *Russian Sociological Review*, vol. 18, no 3, pp. 195–223.
- Pavlov I. (2019) Perestroika i devianostye v germeneytike Vladimira Bibikhina [Perestroika and the 1990s in the Hermeneutics of Vladimir Bibikhin]. *Philosophy Journal*, vol. 12, no 2, pp. 174–187.
- Petrova L. (2019) Kontseptsia sobornosti A. S. Khomiakova v kontekste predstavlenii o edinstve i mnozhestvennosti v vizantiiskoi filosofii [A. Khomyakov's Concept of Collegiality in the Context of Ideas about Unity and Plurality in Byzantine Philosophy]. *Christian Reading*, no 2, pp. 119–131.
- Polishchuk Y. (2017) Krizis sovetskogo metanarrativa (sovremennaya situatsiya vostochnoslavianskikh literatur) [The Crisis of the Soviet Metanarrative (Current Situation of East Slavic Literature)]. *Acta Polono-Ruthenica*, vol. 22, no 3, pp. 61–71.
- Reznichenko A. (2018) "Ob odnom simvole": istoki i paralleli. Stat'ia pervaya: O smyslakh imen. S. N. Durylin i Viach. I. Ivanov ["On One Symbol": Sources and Parallels. Part 1: About the Meanings of Hames. S. Durylin and V. Ivanov]. *RSUH/RGGU Bulletin, Series: Philosophy. Sociology. Art Studies*, no 4, pp. 33–50.
- Sedakova O. (1997) Rassuzhdenie o metode [Reflection on the Method]. *New Literary Observer*, vol. 27, pp. 177–190.
- Shvets A. (2020) Stihokartiny V. Kamenskogo: performativnyj zhest i ego material'noe voploshchenie [V. Kamensky's Poems: Performative Gesture and Its Material Embodiment]. *New Philological Bulletin*, vol. 2, no 53, pp. 228–238.
- Snigireva T., Podchinenov A. (2018) *Fenomen rossiiskogo literaturno-khudozhestvennogo zhurnala* [Phenomenon of the Russian Literary-Art Journal], Ekaterinburg: Ural State University Press.
- Vichkitova A. (2016) Rol' "tolstykh" zhurnalov v sovremennom russkom literaturnom protsesse [The Role of "Thick" Journals in the Modern Russian Literary Process]. *Russian Sociological Review*, vol. 15, no 3, pp. 68–90.
- Voloshina S. (2017) Nekrasov i Kraevskii: redaktorskaya politika i kommertsia [Nekrasov and Kraevsky: Editorial Policy and Commerce]. "Razumnoe, dobroe, vechnoe...": problemy proizvodstva, sokhraneniia i rasprostraneniia kul'tury v Rossii ot nekrasovskoi epokhi do sovremennosti ["Reasonable, Good, Eternal...": Problems of Production, Preservation and Dissemination of Culture in Russia from the Nekrasov Era to the Present], Yaroslavl: Academia-76, pp. 21–26.
- Vorobieva E. (2014) Tolstye zhurnaly kak sistemoobrazuiushchii faktor v pole sovremennoi literatury [Thick Journals as a System-Forming Factor in the Field of Modern Literature]. *Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature*, vol. 11, no 4, pp. 127–134.

Кто использует понятие моральной паники? Библиометрический анализ научных публикаций*

Оксана Михайлова

Аспирантка аспирантской школы по социологическим наукам, стажер-исследователь
Центра исследований современного детства, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: oxanamikhailova@gmail.com

В данной статье изложены результаты библиометрического анализа научной области, образованной вокруг понятия «моральная паника». Для того чтобы прояснить особенности ее текущего состояния, был осуществлен анализ материалов базы научного цитирования Web of Science за 1972–2019 годы. По итогам этого анализа были выявлены тематические направления, а также наиболее влиятельные страны, дисциплины, организации и авторы. Показано, что на данный момент доминируют в изучении моральной паники социологи. Самые цитируемые работы по моральной панике связаны с онлайн-исследованиями. Также результаты свидетельствуют в пользу того, что эрозии данного концепта, которой опасались многие исследователи, не произошло — количественно среди публикаций преобладают эмпирические исследования, касающиеся детей и молодежи. Вместе с тем по результатам анализа можно заключить, что исследования моральной паники находятся в процессе развития, так как по количеству публикаций среди теоретических и методологических работ в основном преобладают те, в которых теория моральной паники интегрируется с другими концептами и теориями. Предполагается, что подход к библиометрическому анализу, который был реализован в этой статье, будет полезен для осуществления ревизии других полей, образованных вокруг дискуссионных в социологии понятий, имеющих междисциплинарное происхождение.

Ключевые слова: моральная паника, моральные паники, библиометрия, концепт, концептуальный анализ, онлайн-исследования

Распространение понятий в научном дискурсе, как правило, сопровождается стремительным ростом литературы, в которой они фигурируют. Сейчас многие исследовательские области насчитывают тысячи, а некоторые и миллионы работ, вместе с тем чем крупнее становится исследовательская область, тем сложнее она поддается обзору и систематизации (van Nunen et al., 2018: 248). Научные поля, где имеются сотни работ, могут анализироваться вручную, тогда как более объемные с точки зрения количества публикаций уже требуют применения искусственного

* Автор выражает благодарность своему научному руководителю А. В. Быкову и рецензенту за их ценные комментарии к тексту статьи.

интеллекта для обработки всей имеющейся информации по теме. Библиометрический анализ является техникой, которая позволяет проанализировать на макроуровне значительные объемы литературы. Эта техника дает возможность получить статическую и динамическую картину научной области: могут быть выявлены наиболее влиятельные авторы, публикации, журналы, страны и организации, изучены паттерны коллаборации. Кроме того, при помощи библиометрии возможно выделение лидирующих научных направлений и существующих лакун — как содержательных, так и географических.

Библиометрический анализ применялся для изучения множества исследовательских полей, среди которых — и социологические (Akbaritabar, Casnici, Squazzoni, 2018; Kronegger et al., 2012; Mali, Kronegger, Ferligoj, 2010). На мой взгляд, библиометрия особенно значима для социологических исследований, поскольку позволяет решать задачи, связанные с систематизацией социологического знания. Так, в социологической теории есть понятия, имеющие междисциплинарное происхождение и получающие свое развитие сразу в нескольких дисциплинарных областях. Подобные понятия требуют ревизии и контроля со стороны тех, кто их использует. Необходимость этой ревизии обусловлена желанием сохранить способность концепта к различению. В настоящей статье библиометрия была применена для анализа междисциплинарного понятия «моральная паника» (МП). Этот концепт одновременно появился в работах социологического и криминологического характера¹, а спустя годы стал использоваться представителями других научных областей: коммуникационных исследований, психологии и др. Он также стал употребляться и в ненаучных контекстах, например в СМИ. В связи с тем, что понятие МП приобрело популярность сразу в нескольких дисциплинах, исследователи поднимают вопросы о состоянии исследовательского поля, целесообразности его ревизии или вовсе отказа от концепта из-за особенностей его происхождения (Altheide, 2009; Garland, 2008; Hunt, 1997; Krinsky, 2013; McRobbie, Thornton, 1995; Miller, 2016). В частности, они указывают на трудности операционализации этого понятия, ценностную окрашенность и необходимость ограничения круга эмпирических явлений, к которым оно применяется (Cohen, 2011: 34, 35, 40; David et al., 2011: 217–226; Monod, 2017: 29; Rohloff, Wright, 2010: 405–407)².

Осуществляя библиометрический анализ исследовательского поля МП, я стремлюсь частично прояснить перспективы, которые имеет использование этого понятия в социологии. В силу того, что употребление концепта в определенном контексте связано с вкладываемыми в него смыслами, выявление контекстов позволяет определить возможные пути развития этого понятия в социологической теории. Также знание о том, кто помимо социологов использует термин «мораль-

1. В 1971 г. выходит работа Д. Янга «The Role of the Police as Amplifiers of Deviancy, Negotiators of Reality and Translators», где употребляется этот термин, а в 1972 году увидела свет книга по итогам кандидатской диссертации С. Коэна «Mods and Rockers», в которой излагается теория МП (Cohen, 2011).

2. Так, например, ведется спор относительно того, насколько это понятие уместно для обсуждения массовых реакций на антропогенные катастрофы (Ungar, 2001).

ная паника», даст представление о междисциплинарных влияниях, оказываемых на значение этого понятия. Кроме того, выявление организационного, странового и журнального распределения сил может продемонстрировать границы поля МП и определить тех, кто эти границы создает. Помимо вклада в социологическое знание о концепте в настоящей статье предлагается подход к изучению судьбы понятий, который позволяет проследить внутри- и междисциплинарные влияния на их развитие.

Предыдущие исследования узусов понятия «моральная паника» в научных публикациях не опирались на систематический анализ корпуса работ (Garland, 2008; Krinsky, 2013; McLaughlin, 2014; Ефанов, 2019), что могло вести к недостаточно обоснованным заключениям об использовании концепта. В этом исследовании предпринята попытка сделать заключения о состоянии области исследований МП более доказательными. Соответственно, систематически анализируются все публикации по этой теме, которые хранятся в базе научного цитирования Web of Science (WoS). Было изучено 1296 публикаций из этой базы за 1972–2019 годы, которые можно найти по поисковому запросу «moral panic*». Научные работы анализировались при помощи сетевого анализа, контент-анализа и тематического качественного анализа.

Сначала в статье рассматриваются отечественные и зарубежные работы, связанные с анализом употребления термина МП, затем описывается методология анализа и эмпирическая база исследования. Далее представляются результаты анализа и в заключение приводятся и обсуждаются выводы.

Исследования специфики использования понятия МП в научном и ненаучном дискурсах

МП может быть определена как коллективная реакция, которая является результатом веры в существование людей с несоответствующим текущим моральным нормам поведением («народные дьяволы»)³, которые угрожают сохранности общества (Cohen, 2011). Употребление этого концепта изучалось в медиа, научном и публичном контекстах (Altheide, 2009; Garland, 2008; Hunt, 1997; Krinsky, 2013; McRobbie, Thornton, 1995; Miller, 2016; Ефанов, 2019). В узусе прессы данное понятие было рассмотрено Д. Альтеиде (Altheide, 2009), который осуществил качественный контент-анализ его использования в американских и британских СМИ.

3. Понятие «народный дьявол» является частью классического определения МП, предложенного С. Коэном. В качестве примеров народных дьяволов можно привести потребителей психоактивных веществ, гомосексуальных и транссексуальных людей, ВИЧ-инфицированных, бездомных, беженцев, мигрантов, террористов, а также представителей новых религиозных движений. Среди исследователей МП пока не сформировалось консенсуса относительно причин, которые приводят к тому, что тот или иной субъект или группа субъектов становятся народными дьяволами, поэтому, несмотря на то что в большинстве случаев народными дьяволами оказывались маргинальные социальные группы, нельзя утверждать, что все народные дьяволы становятся таковыми в силу собственной маргинальности.

В результате было выявлено, что о моральной панике пишут преимущественно в печатной прессе, на телевидении же данный концепт употребляется редко. Кроме того, он более свойственен узусу критически настроенной публики и фигурирует в риторике о психоактивных веществах и сексе. Совместно с другими темами, для которых понятие МП также релевантно, например терроризм, оно употребляется реже. К сожалению, исследование Альтеиде имеет ограничения с точки зрения возможной переносимости выводов на другие страны, поскольку он изучил только американские и британские СМИ. В статье также не хватает анализа употребления понятия в «новых» медиа, которые в не меньшей степени формируют новостную повестку, что и «старые». Таким образом, получается, что мы до сих пор не имеем комплексного представления об использовании в печатных СМИ этого концепта в разных странах, а также не знаем, какую роль в наполнении значения этого понятия играют «новые» медиа.

Использование понятия МП социологами проанализировали Д. Гарланд, Ч. Крински, Е. Маклаффлин и А. Ефанов. Гарланд обнаружил у этого концепта фрейдистские и дюркгеймианские корни (Garland, 2008). Наиболее распространенным узусом в научной литературе Гарланд называет представление об МП как о преувеличенной социальной реакции. Эта реакция на руку определенным индивидуальным и коллективным акторам, которые и способствуют ее распространению. В свою очередь, существенно меньше внимания уделяется психологическим и моральным корням МП. Кроме того, Гарланд пишет, что данное понятие всегда является внешним по отношению к изучаемой группе. Он размещает этот концепт среди таких социологических терминов, как «отрицание», «культурная травма», «реакции общества риска». Крински выделяет две волны использования МП с точки зрения разработанности понятия (Krinsky, 2013): в 1970–1980-е годы лишь небольшое количество исследователей работали над развитием концепта, но уже в первой половине 1990-х их число увеличилось. Маклаффлин описывает, как развивалось данное понятие в публикациях Д. Янга (McLaughlin, 2014), который распространил его на криминологию. Однако Янг относился к концепту амбивалентно: то признавая выигрышные стороны понятия для криминологии, то подвергая сомнению его ценность. Ефанов анализирует употребление МП в нескольких российских социологических работах, посвященных социологии молодежи (Ефанов, 2019). Несмотря на то что исследования Гарланда, Крински, Маклаффлина и Ефанова проясняют некоторые из контекстов употребления понятия МП в научном дискурсе, нельзя быть уверенным в полноте и валидности полученных результатов, так как в этих исследованиях не анализируется весь спектр работ (по рассматриваемой теме) и не описывается эксплицитная стратегия их отбора и анализа.

Использование понятия МП в обыденном языке проанализировали А. Макробби, С. Л. Торнтон и Т. Миллер (McRobbie, Thornton, 1995). В результате их исследования было выяснено, что приобретение понятием МП популярности среди неакадемической публики привело к изменениям в поведении медиа, полицейских, «народных дьяволов», бизнесменов и аудиторий СМИ. Медиа и полицейские

стали предпринимать меры для предупреждения развития МП, работая с потребителями медиаконтента. «Народные дьяволы» получили больше доступа к созданию собственной новостной повестки, что сделало возможным противостояние их демонизации. Бизнесмены осознали выгоды, которые они могут получить в результате стигматизации потребления определенной продукции в ходе МП. Негативно маркированные общественными опасениями товары получили новую рыночную нишу, за счет того, что интерес к их потреблению возник у андеграундной публики и молодежи. В связи с совокупностью перечисленных выше социальных изменений Макробби, Торнтон и Миллер призывают к ревизии старых теоретических представлений об МП, не уделявших большого внимания публике. Реакция последней рассматривалась как монолитная, скоординированная.

Миллер описывает употребление концепта МП в публичной сфере (Miller, 2016). Изначально, по его словам, это понятие ассоциировалось с прогрессивной критической риторикой, поэтому стало использоваться в таком известном медицинском журнале, как *The Lancet*, завоевало уважение среди ЛГБТ-активистов, а также приобрело свое место в лексиконе либертарианцев. Его популярность связывается с распространением идей об обществе риска и с тем, что многие МП сконцентрированы вокруг молодежи, практики которой всегда вызывали недоверие у старших поколений. Одновременно отмечается недооцененность потенциала концепта для рефлексии относительно милитаризма. Работы Макробби, Торнтон и Миллера отражают динамику, а также спектр направлений, в которых используется понятие МП в ненаучной среде. Однако анализ, который был проведен исследователями, не в полной мере прозрачен, поскольку авторы не уделяют внимание в тексте его процедуре. Соответственно, как и в случае с изучением данного концепта в научном дискурсе, мне кажется необходимым провести исследование с использованием более эксплицитно прописанной методологии, что позволит уточнить представление о контекстах его употребления в публичном дискурсе.

Комплексный анализ применения понятия МП в СМИ, социологии и криминологии осуществил А. Хант (Hunt, 1997). В социологии и криминологии он выделяет три теоретических направления, в которых используется данный концепт (теория групповых интересов, теория инжиниринга элиты и теория грассрутов). К середине 1980-х понятие стало употребляться за пределами академического мира: концепт упоминается в СМИ в связи со СПИДом, насилием над детьми, агрессией футбольных болельщиков, зависимостью от психоактивных веществ, подростковыми преступлениями и суррогатным материнством. С течением времени количество коннотаций понятия в СМИ расширилось. Хант считает, что социологи должны следить за увеличением числа значений, которые приписываются этому понятию в медиа, поскольку употребление понятия МП в СМИ не только воздействует на степень моральности языка медиа, но и влияет на употребление понятия в академическом мире. Время, описанное Хантом (1990-е годы), характеризовалось восприятием СМИ МП как культурного феномена, превалирова-

нием его понимания в рамках теории грассрутов⁴. Хант, рассматривая в рамках одной научной статьи применение понятия сразу в трех типах источников, так же как и другие исследователи, не уделяет должного внимания методологии исследования. К сожалению, это не позволяет нам сделать окончательные выводы о месте понятия МП в научном и медийном контекстах на основе результатов его работы.

На мой взгляд, каждый из контекстов употребления этого концепта — научный, медийный и относящийся к публичной сфере — требует отдельной методологии анализа, поскольку обладает своей инфраструктурой для словоупотребления. В этой статье я обращаюсь только к научному дискурсу как пространству использования понятия МП, поскольку именно он дал толчок использованию понятия МП в других сферах. Концентрируясь на материалах базы научного цитирования WoS, в которой публикуются работы представителей разных стран, я стремлюсь сделать исследование более валидным. Однако я понимаю, что результаты подобного подхода также обладают ограничениями, в первую очередь связанными со спектром публикаций, которые включены в WoS. Они будут более подробно описаны в части статьи, посвященной обсуждению результатов. С точки зрения методологии данное исследование, как и работа Альтеиде, опирается на контент-анализ. В то же время, помимо изучения того, в каких контекстах используется понятие МП, мною выделяются наиболее авторитетные авторы, журналы, организации и страны, которые его используют. Таким образом, контент-анализ употребления дополняется сетевым анализом. Контент-анализ в этой статье служит в том числе иллюстрацией к тематическому анализу публикаций, позволяя продемонстрировать слова-маркеры каждого направления. Далее будут более подробно описаны методология данного исследования и эмпирическая база.

Методология библиометрического анализа и эмпирическая база

Для анализа употребления понятия МП в научной литературе был осуществлен поиск статей по ключевому слову «moral panic*» на английском языке в базе данных WoS. По итогам поиска было обнаружено 1296 статей. Из рисунка 1 становится понятным, что большинство этих работ было издано уже в XXI веке. Такая ситуация может быть связана с особенностями WoS как базы, к тому же это может объясняться динамикой публикаций по МП. Сопоставление изменения количества публикаций по этому концепту во времени в трех базах научного цитирования (WoS, Scopus и Google Scholar) показывает, что текущая литература, связанная с данным понятием, преимущественно, выпускалась после 2000-х годов. Кроме того, необходимо отметить, что темпоральная динамика использования самого

4. Согласно теории грассрутов, политики и медиа не могут внушать опасения относительно того, что уже не вызывает тревогу у людей (Hunt, 1997: 636). Соответственно, МП протекают из существующего публичного опасения, и СМИ лишь его отражает. Эта теория считается теорией «снизу», в отличие от теории элит или групп интересов, в которых опасение формируется определенными группами, обладающими ресурсами, и затем массово тиражируется агентами распространения МП.

термина и его контекстов не может быть исследована посредством анализа только лишь базы WoS, на которую я опираюсь в этой статье, потому что по представленному сопоставлению баз видно, что пики и падения процента публикаций в трех базах не совпадают. Для получения более достоверного знания об употреблении понятия в динамике следует осуществить триангуляцию источников из нескольких баз.

При помощи программы Vosviewer были построены 4 сети цитирования между авторами, странами, организациями, журналами. Далее они были визуализированы. Размер узла в этих сетях отражает количество цитирований, которое имеет актор, а цвет — среднее взвешенное годов выпуска публикаций, принадлежащих ему. Связями послужили нормированные цитирования акторами друг друга. Вдобавок были использованы данные по областям, в которых публиковались работы по МП⁵.

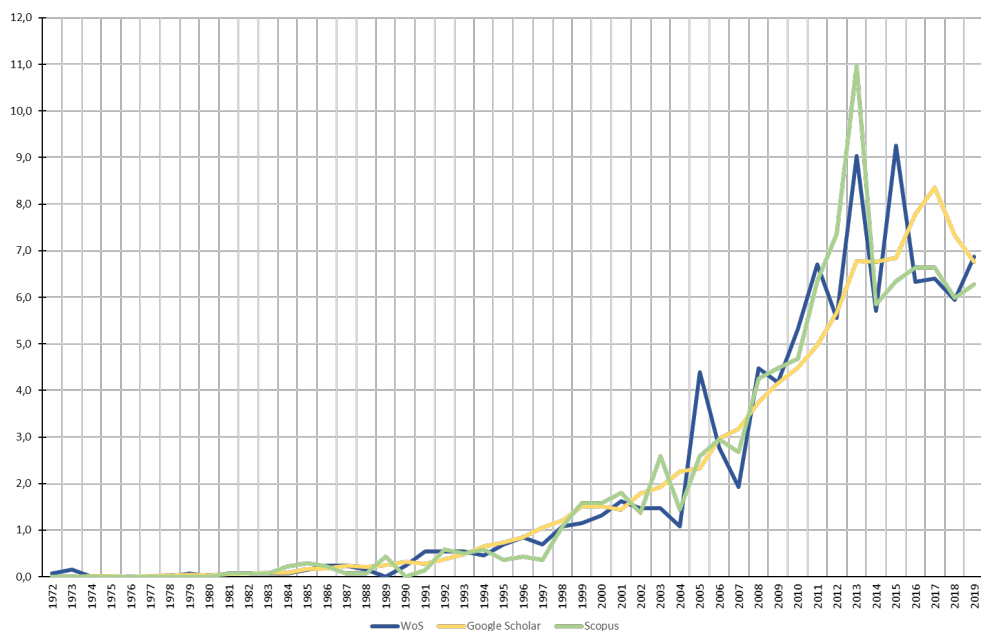


Рис. 1. Динамика % публикаций, выпущенных в трех базах научного цитирования (% от общего количества публикаций за весь временной период)

Анализ аннотаций был осуществлен при помощи программы для текстовой обработки — Automap. Очистка включала в себя удаление символов, цифр, пробелов, пунктуации, «стоп-слов» (служебные части речи, местоимения и т. д.), стематизацию. Также были укрупнены категории слов⁶. Единицей анализа стала одна

5. Области определяются WoS автоматически.

6. Например, слова «terrorist» и «terrorism» были объединены в категорию «terrorism».

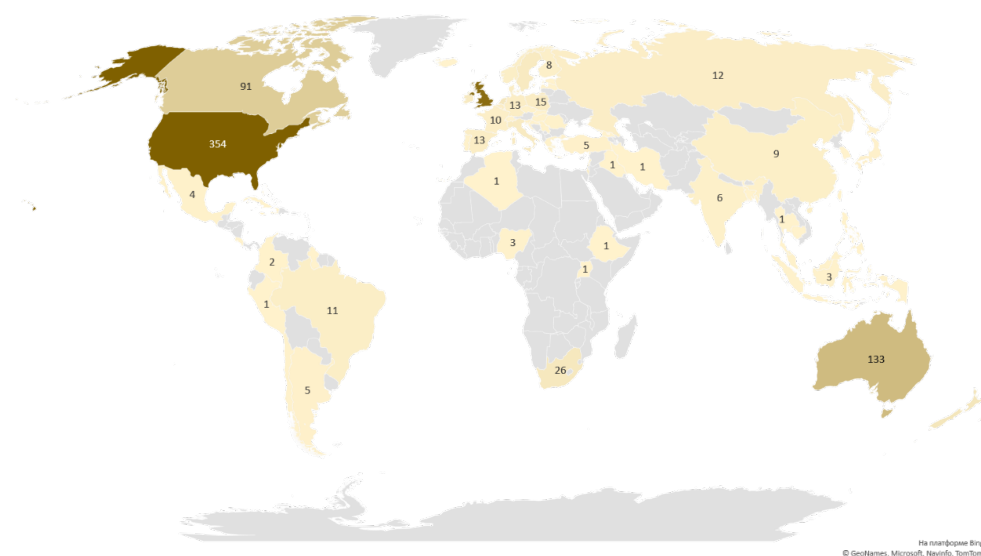
аннотация. Всего в аннотациях упоминаются 5853 стемы. Я остановилась именно на аннотациях для выявления контекстов употребления понятия МП, а не на ключевых словах, несмотря на то что обычно для выделения контекстов используются ключевые слова (Maltseva, Batagelj, 2020). Это обусловлено тем, что ключевые слова были предложены только к половине статей в собранной базе. Кроме того, аннотации более насыщены в смысловом отношении по сравнению с ключевыми словами. Соответственно, предполагалось, что их анализ даст более грубую картину использования понятия, нежели анализ аннотаций.

Кто пишет о моральной панике?

Описание того, кто выпускает публикации об МП, было разделено на несколько блоков в соответствии с типами акторов, которые используют это понятие: страны и территории, области, организации, журналы и авторы.

Страны и территории. Об МП пишут исследователи из 70 стран (рис. 2). Из них 29 находятся в Европе, 14 — в Азии, 8 — в Северной Америке, 4 — в Южной Америке, 3 — в Африке и 1 — в Океании. Такое распределение по континентам демонстрирует наличие географического неравенства в данной исследовательской области. 68,56% стран произвели от 1 до 9 публикаций, 25,7% — от 10 до 39 публикаций и 5,6% — более чем 90 публикаций. Большой разрыв в публикационной активности между странами и территориями-лидерами и всеми остальными дает возможность предположить, что лидеры в исследованиях МП сформировались достаточно давно, и скорее всего в ближайшее время текущее распределение сил не изменится. Авторы из США дают наибольшее количество публикаций (354), также много работ создано англичанами (285) и австралийцами (133). Зафиксированный мной страновой и территориальный паттерн публикационной активности не отличается от общего для социологии в данный период. Иными словами, область исследований моральной паники отражает общие тренды развития социологических исследований, несмотря на совместную работу над этим понятием исследователей из разных дисциплин.

Таблица 1 показывает пять стран и территорий-лидеров по количеству работ, посвященных МП. Все они англоязычны, что скорее всего объясняется тем, что аннотации в моей выборке тоже были отобраны на английском языке. Кроме того, заметно, что экономическое развитие страны сопутствует ее продуктивности в области исследований МП, так как все страны, располагающиеся в топе по количеству публикаций, относятся к G7 (Большая семерка). Подобный паттерн преобладания индустриализированных стран среди лидеров по количеству публикаций наблюдается и в других исследовательских полях (Nunen et al., 2018: 4).

Рис. 2. Страновое распределение количества публикаций⁷

Лидером по цитированию других работ и цитируемости являются США: это означает, что публикации исследователей из этой страны больше всего цитируются, и сами исследователи из этой страны много цитируют авторов публикаций из других стран. Также значительным количеством цитирований обладают работы английских, австралийских, голландских и бельгийских авторов (табл. 1).

Таблица 1. Страны и территории-лидеры по цитируемости публикаций⁸

№	Страна	Цитируемость
1	США	672
2	Англия	502
3	Австралия	331
4	Нидерланды	167
5	Бельгия	147

Работы, принадлежащие авторам из стран и территорий-лидеров по цитируемости публикаций, в основном были выпущены в 2016–2017 годах (рис. 3). Это означает, что в области исследований МП сейчас наиболее значимы свежие публикации, более старые работы обладают меньшей актуальностью у современных исследователей МП. Помимо этого заметно, что цитируют друг друга в большей мере

7. Чем темнее цвет территории на карте, тем больше работ было выполнено авторами, принадлежащими к ней. Цифровые значения отражают количество выпущенных работ.

8. Здесь и далее в количество цитирований входят только работы, индексируемые в WoS.

в поле исследований МП именно страны — лидеры по количеству публикаций, то есть США, Англия, Канада, Шотландия. Также плотные связи в плане цитирования наблюдаются между Италией, Данией, Бельгией и Новой Зеландией. Поскольку количество работ, выпущенных странами, и цитируемость сильно коррелируют (r -Пирсона = 0,92), можно говорить о том, что продуктивность страны в области исследований МП связана с высокой значимостью (цитируемостью) публикаций этой страны в поле.

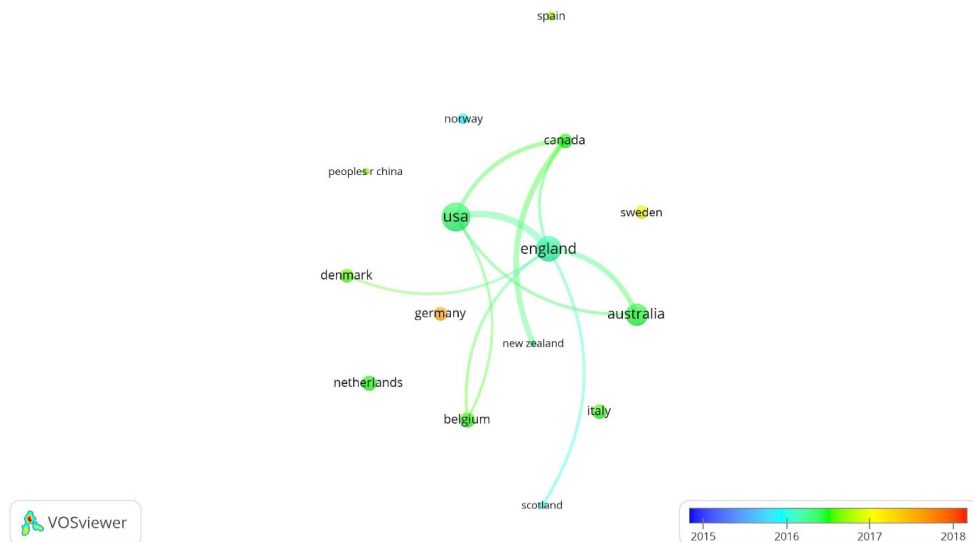


Рис. 3. 20 наиболее цитируемых стран⁹

Научные области. Всего об МП опубликовали работы представители 95 научных областей. Это как исследователи, принадлежащие к монодисциплинарным направлениям: психологии, социологии, культурологии, криминологии, антропологии, археологии, химии, неврологии и т.д., так и участники междисциплинарных проектов, например, исследования женщин, города, этничности и семьи.

Научные публикации, в которых упоминается МП, были преимущественно написаны в социологии (22,9%), криминологии (14%), междисциплинарных социальных науках (11%) и исследованиях коммуникации (9%) (рис. 4 и табл. 2). Лидерство социологии по числу публикаций устойчиво во времени, хотя заметно, что с 1970–1990-х годов оно стало менее абсолютным, а в последующие годы произо-

9. Размер узла отражает количество цитирований, которое приходится на одну страну. Цвет — среднее взвешенное годов выпуска публикаций, опубликованных авторами из этой страны. Связи между странами представляют собой цитирование авторами из одной страны авторов из другой страны. Толщина связей отражает их вес, то есть количество цитирований странами друг друга. Сеть ненаправленная (направления цитирования не указаны). Всего между этими странами имеется 141 связь, но визуализированы только 10 наиболее сильных.

шла заметная фрагментация поля. Другие области, в которых наиболее активно используется это понятие, — ротируются. Так, в 1972–2009-е годы концепт МП был широко распространен наряду с социологией — в криминологии, тогда как в 2010–2019-е годы он стал больше употребляться в междисциплинарных социально-научных исследованиях, нежели в криминологии.

Если сопоставить начало фрагментации поля исследований МП с количеством публикаций, в которых фигурировало это понятие (рис. 1), то можно предположить, что именно распространение понятия МП вне социологического языка описания позволило стать ему более известным в научном сообществе. По стремительности роста количества работ, выпущенных в области коммуникационных исследований, а также падению объемов публикаций криминологов можно предположить, что в будущем понятие МП останется в основном элементом социологического языка, будет менее популярным в криминологии и станет более широкоупотребимым среди исследователей коммуникаций. Также, возможно, нас ожидает приращение публикаций с обращением к концепту среди представителей биомедицинских социальных исследований ввиду особой актуальности этого направления.

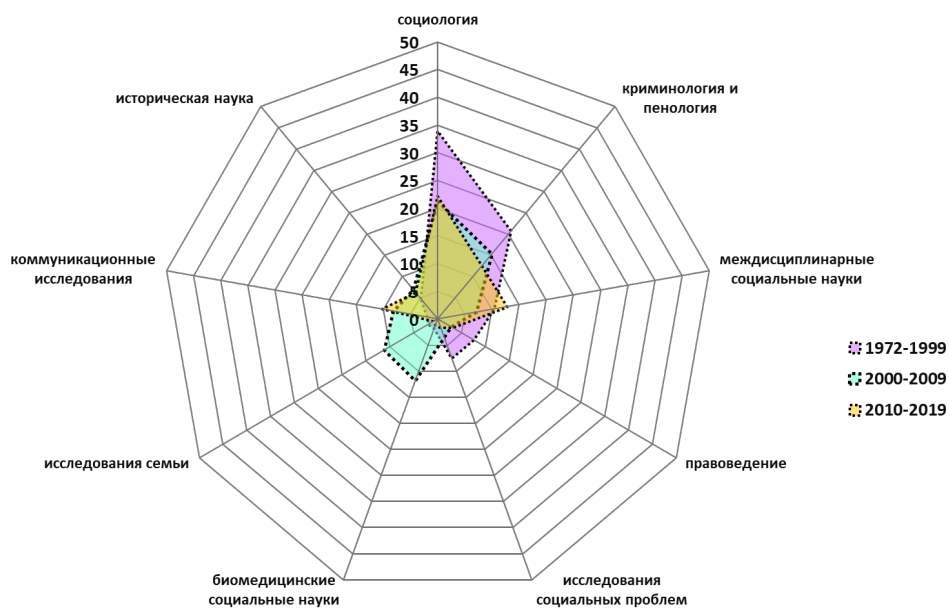


Рис. 4. Профиль исследований моральной паники по областям в темпоральной перспективе (данные в %)

Таблица 2. Области — лидеры по числу опубликованных работ (данные в %)

№	Область	1972–1999	2000–2009	2010–2019
1	Социология	33,96	21,25	22,18
2	Криминология и пенология	20,76	15,31	12,53
3	Междисциплинарные социальные науки	10,38	7,19	12,76
4	Правоведение	7,55	2,81	3,22
5	Исследования социальных проблем	7,55	3,44	1,72
6	Биомедицинские социальные науки	1,89	11,88	1,26
7	Исследования семьи	1,89	11,25	0,81
8	Коммуникационные исследования	1,89	8,13	10,23
9	Историческая наука	4,72	6,88	6,21

Организации. В общей совокупности об МП писали представители 801 организации. 65,8% из них выпустило по одной публикации; 32,2% — от 2 до 9; 2% — от 10 до 24. По распределению публикаций по организациям заметно, что, в отличие от странового неравенства, организационное неравенство в поле исследований МП менее выражено. В нем имеется небольшое количество лидеров, объем работ которых сопоставим с медианой количества работ, выпущенных одной организацией в этой области. Больше всего публикаций (табл. 3) было произведено Эдинбургским университетом (24), на втором месте по количеству научных работ находится университет Сиднея (17), а на третьем — университет Торонто (16). Организации — лидеры по количеству публикаций соответствуют странам и территориям с точки зрения географической привязки.

Таблица 3. Организации — лидеры по количеству публикаций

№	Организации	Кол-во
1	Университет Эдинбурга	24
2	Университет Сиднея	17
3	Университет Торонто	16
4	Университет Оксфорда	15
5	Университет Шеффилда	14

Среди организаций, обладающих наибольшим влиянием (исходя из цитируемости), находятся американские, британские, австралийские университеты и корпорации (табл. 4). Также значимы китайские, австралийские и польские организации. Лидирует по цитируемости и цитированию Microsoft Research. Однако эта корпорация не является организацией с наибольшим количеством выпущенных публикаций, то же характерно и для других лидеров по цитируемости. Наиболее влиятельные организации отличаются тем, что их работы были выпущены в 2014–

2017 годах, организации с меньшей цитируемостью научных работ опубликовали их позже — в 2018–2019 либо в 2014–2015 годах. Самые плотные связи в плане цитирования наблюдаются между организациями — лидерами по цитируемости.

Таблица 4. Организации — лидеры по цитируемости публикаций

№	Организации	Цитируемость
1	Microsoft Research	114
2	Университет Сиднея	109
3	Университет Нью-Йорка	106
4	Университет Оксфорда	105
5	Университет Южного Уэльса	104

Источники. Всего по данным WoS, работы, которые используют термин МП, были опубликованы в 780 источниках. В 72,8% изданий было выпущено по одной статье, в 25,8% — от 2 до 9 и в 1,3% — от 10 до 36. Больше всего статей, посвященных МП, было издано в Culture, Health & Sexuality (табл. 5). Вероятно, это связано с популярностью эмпирического контекста здоровья в исследованиях МП. Кроме того, лидируют по количеству публикаций три криминологических журнала и один социологический. Поскольку среди журналов, в которых публикуется наибольшее количество работ, посвященных моральной панике, много узкоотраслевых, на мой взгляд, это демонстрирует, что понятие является специализированным, маргинальным концептом, не широко распространенным в социологическом мейн-стриме.

Таблица 5. Журналы — лидеры по количеству публикаций

№	Журналы	Кол-во публикаций
1	Culture, Health & Sexuality	36
2	Crime, Media, Culture	19
3	Deviant Behavior	19
4	The British Journal of Criminology	17
5	The British Journal of Sociology	14

Наиболее цитируемым журналом, в котором представлены статьи по МП, является Journal of Behavioral Addictions. Как можно заметить, сначала журналы, в которых публиковались работы, связанные с этим понятием, были общедисциплинарными, но в последние годы публикации, посвященные МП, стали появляться в журналах, связанных с тематикой здоровья. В текущий топ по цитируемости публикаций входят также два журнала, связанные с исследованиями медиакommunikаций: International Journal of Communication и Feminist Media Stud-

ies. Вдобавок в нем находятся журналы, относящиеся к социологии и социальной политике в области спорта. Источники — лидеры по числу публикаций, связанных с МП, сильно отличаются от высокоцитируемых изданий. В отличие от лидеров по цитируемости, в число журналов — лидеров по количеству публикаций не входят американские, но имеются британские источники. Наиболее активно цитируем в поле исследований МП журнал *Crime, Media, Culture* (рис. 5). Этот журнал не преобладает над другими по цитируемости вне научного дискурса об МП, но занимает значимое место среди тех, кто пишет об МП.

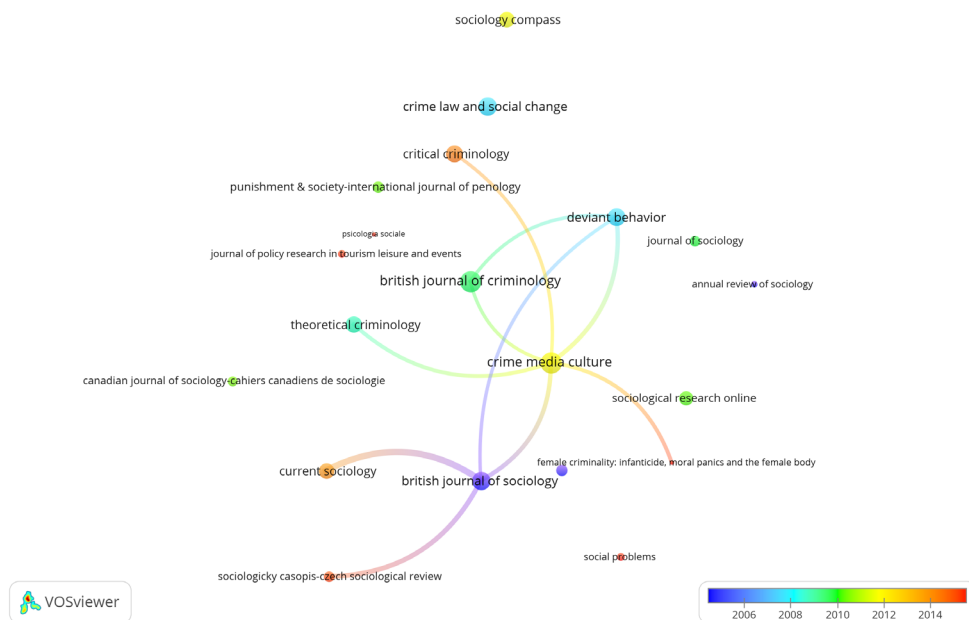


Рис. 5. 29 наиболее цитируемых журналов¹⁰.

10. Размер узла отражает количество цитирований, которое приходится на один журнал. Цвет — среднее взвешенное годов выпуска публикаций, вышедших в этом журнале. Связи между журналами представляют собой цитирование в публикациях одного журнала публикаций из другого. Толщина связей отражает их вес, то есть количество цитирований журналами друг друга. Сеть ненаправленная (направления цитирования не указаны). Всего между этими журналами имеется 100 связей, но визуализированы только 15 наиболее сильных.

Таблица 6. Журналы — лидеры по цитируемости публикаций

№	Журналы	Цитируемость
1	Journal of Behavioral Addictions	155
2	International Journal of Communication	124
3	Feminist Media Studies	122
4	American Journal of Sociology	77
5	International Journal of Sport Policy and Politics	34

Авторы. В общей совокупности об МП писали 1650 авторов. 90,2% — выпустили одну публикацию, от 2 до 9 — 9,8%. Больше всего работ у Марка Смита — 9. Авторы — лидеры по числу публикаций писали о моральной панике у работников социальных служб (Смит, Клэптон, Кри и Пилгрим), связи агрессии и игры в видеоигры (Фергюсон) и развитии теории моральной паники (Монод) (табл. 7).

Таблица 7. Авторы — лидеры по количеству публикаций

№	Авторы	Кол-во публикаций
1	Марк Смит	9
2	Гэрри Клаптон	8
3	Вивьен Кри	8
4	Кристофер Фергюсон	8
5	Сара Монод	8
6	Дэвид Пилгрим	8

Всего две работы с наибольшим цитированием выпустила Нэнси Бейм (табл. 8), ее статьи цитировали 114 раз. Чуть менее цитируемы публикации Терезы Сенфт (105), Эммы Джейн (103), Джорджа Дуранда (77), Мейси Дугласа (77) и Карен Прен (77). Т. Сенфт и Н. Бейм написали совместную работу про селфи (Senft, Baym, 2015). Эта статья как раз и обладает высоким цитированием в поле. Публикация Э. Джейн посвящена репрезентациям e-bile в интернете (форма гендеризованного кибербуллинга) (Jane, 2014). Дуглас, Дуранд и Прен опубликовали статью, которая посвящена анализу политики по отношению к иммигрантам в США, в которой обсуждаются причины, по которым эта политика была неудачной (Massey, Durand, Pren, 2016). Исследования других высокоцитируемых авторов посвящены анализу насилия в онлайн-играх и игровой аддикции (Billieux et al., 2017), политической обстановке в Германии (Grimm, 2015), криминологическим исследованиям преступных группировок (Morgan, Dagistanli, Martin, 2010), теории МП (Cree, Clapton, Smith, 2015), социальной работе (Cree, Clapton, Smith, 2016), потреблению психоактивных веществ (Warf, 2014), социальным сетям и школьникам (Segool et al., 2016), миграции (Taylor, 2014).

Таблица 8. Авторы — лидеры по цитируемости публикаций

№	Авторы	Цитируемость
1	Нэнси Бейм	114
2	Тереза Сенфт	105
3	Джейн Эмма	103
4	Дуранд Джордж	77
5	Дуглас Мейси	77
6	Прен Карен	77

По распределению тематик наиболее цитируемых авторов заметно, что большинство из них пишут об МП в контексте онлайн-исследований — например, таких как игровая зависимость, агрессия, размещение селфи, другие тематические контексты менее популярны. Если посмотреть на цитирование в динамике, то заметно, что цифровой контекст стал получать популярность с 2010-х годов. Внутри поля больше всего цитирует другие работы и цитируем сам Венугопал Раеш (профессор Лондонской школы экономики), занимающийся вопросами этничности и исследованием отношений между государством и бизнесом. Наиболее цитируемые авторы в поле МП не специализируются на изучении этого концепта, как демонстрируют их CV. Вероятно, это подкрепляет уже озвученное в результате анализа журналов предположение, что исследования МП все же являются относительно маргинальными и пока не формируют самостоятельного исследовательского направления.

Что пишут о моральной панике?

Помимо тех акторов, которые производят работы в связи с понятием МП, используя тематическое кодирование и контент-анализ, были выявлены содержательные тематические блоки в теоретических, методологических и эмпирических работах, посвященных этому концепту. Далее эти блоки будут кратко описаны.

Теоретические и методологические работы. Было выделено 9 тематических направлений, в связи с которыми пишут об МП в теоретических и методологических публикациях (рис. 6). По итогам анализа корпуса статей сделан вывод, что больше всего публикаций в нем посвящено двум темам: интеграции теории МП с другими концептами (27%) и анализу роли СМИ в производстве МП (28%). Количественное преобладание публикаций, связанных с обновлением теории МП, над другими понятиями и теоретическими направлениями, вероятно, показывает, что исследователи МП предпринимают постоянные попытки для укрепления позиций понятия в разных теоретических рамках и ищут ему устойчивое место. Меньше всего статей в ней посвящено социально-психологическим подходам. В свою очередь, су-

щественное количество статей, связанных с анализом роли СМИ в развитии МП, скорее всего демонстрирует проработанность этого аспекта исследований МП.

В целом среди всех тематических направлений наименее наполненными научными публикациями стали категории работ, связанных с измерением моральной паники (2%) и критикой и демонстрацией ограничений (2%). Возможно, незначительность количества статей, предлагающих новые подходы к измерению МП, связана со сложностями в операционализации понятия в эмпирических исследованиях, о которых упоминают многие. Небольшое количество работ, посвященных критике и демонстрации ограничений понятия, показывает, что в области МП еще имеется потенциал для критики и подкрепляет предположение о том, что теория моральной паники находится еще в стадии развития и поиска своей ниши.

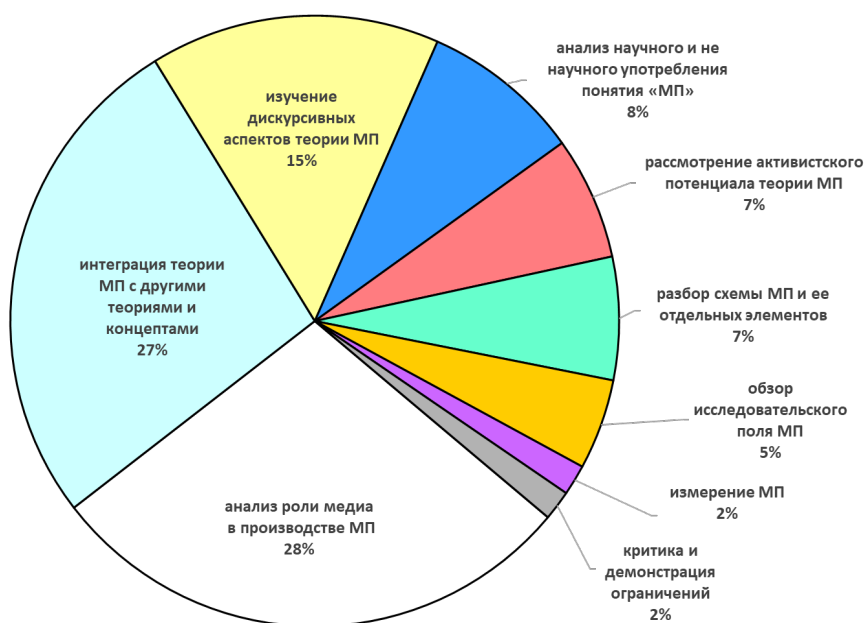


Рис. 6. Распределение теоретико-методологических статей по тематическим направлениям

Эмпирические исследования. Было выделено 18 тематических направлений эмпирических публикаций, в рамках которых используется понятие моральной паники (рис. 7). Больше всего статей в моем корпусе оказалось посвящено детям и молодежи, преступлениям, гендеру, образованию и науке. Меньше всего — аддиктивному поведению, технологическим рискам, расе и этничности, культуре, терроризму и катастрофам, эзотерике и религии, спорту и животным. Спорт, животные, катастрофы, а также технологические риски немногочисленны скорее всего потому, что являются свежими сюжетами для исследователей МП. По вопросу

этих эмпирических контекстов использования понятия еще не достигнуто консенсуса, поэтому и публикаций по ним не так уж и много. Тогда как дети и молодежь находились в ядре теории С. Козна и поэтому наибольшее количество работ все же пока посвящено именно этому эмпирическому объекту.

Необходимо заметить, что все тематические направления эмпирических исследований зачастую пересекаются между собой. Так, например, тема детей и молодежи возникает совместно с религией и эзотерикой — в частности, когда идет речь о сатанинском ритуальном насилии. Эта тема вдобавок пересекается с сексуальностью и преступлениями. Таким образом, дальнейшие изменения в распределении направлений, связанных с исследованиями МП, будут реляционными, т. е. вместе с ростом эмпирических объектов, связанных со здоровьем, скорее всего увеличится присутствие тематик города, политики, преступлений, детей, миграции, сексуальности, а также спорта.



Рис. 7. Распределение эмпирических исследований по тематическим направлениям¹¹

Заключение и обсуждение

В этой статье я воспользовалась библиометрическим анализом для выяснения того, кто и в каких контекстах пишет об МП в академических текстах. Анализировались публикации в базе научного цитирования WoS, написанные с 1972 по 2019 год. По результатам исследования были выявлены области и страны, в которых

11. В категорию «прочее» объединены те публикации, которые соответствуют темам, занимающим в выборке менее 4%.

выпускаются академические работы с использованием концепта, журналы, институты, наиболее цитируемые авторы, а также тематические направления, в которых понятие фигурирует в эмпирических и теоретико-методологических статьях.

Обобщая полученную информацию об области, можно сказать, что сейчас понятие МП далеко не настолько популярно среди ученых, как это было в 2000-е годы, хотя до 2000-х годов оно также не было востребовано. Пик использования пришелся на то время, когда употребление понятия вышло за рамки социологического и криминологического дискурсов и стало особенно актуальным для биомедицинских социальных исследований.

На данный момент социология все еще превалирует над другими дисциплинами в использовании концепта МП. Данный факт свидетельствует о том, что о моральной панике в научном дискурсе преимущественно принято высказываться в социологическом ключе, и социологические статьи и журналы являются центральными для обсуждения этого понятия. Заметно также, что в термине в большей мере продолжают подчеркиваться социологические компоненты, тогда как психологические и криминологические его особенности остаются на периферии. Полученный мною вывод соответствует заключению об узусах понятия МП, которое делает Гарланд. Этот исследователь утверждает, что в научных публикациях психологическим и моральным корням данного понятия уделяется недостаточно внимания (Garland, 2008). Возможно, такая ситуация связана с тем, что в психологии с понятием МП конкурируют другие концепты, например «массовая истерия». Для того чтобы укрепить позиции этого понятия в научном языке, мне кажется необходимым провести анализ его психологических аспектов и связанной с ними теории. Вероятно также, что ввиду нынешней эпидемиологической ситуации в мире (пандемии коронавируса) использование этого понятия в социальных биомедицинских исследованиях снова возрастет. Предпосылки к этому уже есть, поскольку в последние годы, как показал мой анализ, статьи по МП стали особенно часто публиковаться в журналах, посвященных исследованиям здоровья.

Несмотря на то что с точки зрения использования понятия МП в различных дисциплинах возможна определенная динамика, распределение стран — лидеров исследований в этой области, скорее всего, не поменяется в ближайшее время — если, конечно, не произойдут более глобальные трансформации в социологическом ландшафте. К лидирующим сейчас в области исследований МП относятся США и Великобритания, институты этих стран также превалируют по количеству цитирований среди организаций. Сосредоточение исследовательского потенциала в США и Великобритании означает, что академическая культура этих государств оказывает значительное влияние на смысловое содержание понятия МП. Соответственно, исследователи из других стран в меньшей степени способны оказывать влияние на дефиницию этого понятия в научном дискурсе — по крайней мере, в том его сегменте, который находит свое отражение в журналах WoS. Таким образом, может оказаться, что данный концепт не получает всестороннего развития из-за того, что к работе с ним преимущественно подключены США и Великобри-

тания. Возможно также, что эта страновая привязка обусловлена тем, что в США и Великобритании понятие МП широко используется не только в научной литературе, но и в СМИ, вследствие чего существование данного понятия в научном дискурсе поддерживается его употреблением в ненаучном. Поэтому возможно, что популяризация понятия МП в других странах зависит от интереса к нему со стороны местных СМИ. Кроме того, страновое доминирование оказывает воздействие на внешнюю валидность теории МП. Поскольку исследования с использованием данного концепта сосредотачиваются в США и Великобритании, мы не так хорошо осведомлены о том, как это понятие работает в других странах. В случаях, когда североамериканский или европейский исследователь проводит свое исследование в других регионах мира, его позиция по отношению к изучаемым феноменам может находиться под влиянием европейской школы, которая была им пройдена. Однако требуется дополнительный анализ такого рода смещений, чтобы с полной уверенностью говорить об их наличии.

Журналы, которые больше других публикуют статьи, посвященные МП, и наиболее цитируемы, относятся к узкоспециализированным. По результатам исследования журналом, который цитируется наибольшим количеством источников в поле МП, стал *Crime, Media, Culture*, что, возможно, демонстрирует одну из особенностей исследований МП — разработку воздействия медиа на пролиферацию паники и небольшое внимание к аудитории — рецептору. Такой вывод согласуется с озвученным ранее заключением относительно областей, в которых пишут о понятии. Так, Критчер замечает, что исследования МП не фокусируются на реакции аудитории на нее, вместо этого придается значение медиа воздействию (Critcher, Pearce, 2013). В дальнейшем предполагаемому дисциплинарному сдвигу в исследованиях МП скорее всего будут способствовать и изменения в журналах, на страницах которых появляются статьи, посвященные понятию. На мой взгляд, как уже упоминалось, это будут скорее источники в области социально-медицинских исследований, чем общесоциологические.

По работам наиболее цитируемых авторов заметно, что чаще всего ссылаются в исследованиях МП на тех, кто пишет об этом феномене в контексте онлайн-исследований (игровая зависимость, агрессия, размещение селфи), в то время как другие тематические контексты менее популярны. МП упоминают прежде всего в связи с теоретическим развитием этой темы, анализом роли СМИ в производстве МП, проблемами детей и молодежи и преступлениями. Таким образом, заметно, что МП, будучи концептом, введенным в результате кейс-стади молодежи, продолжает преимущественно использоваться в исследованиях этой социальной группы. Другие эмпирические исследования представлены в меньшей мере, соответственно, можно предположить, что, несмотря на опасения исследователей, эрозии понятия МП не происходит (Best, 2016). Сопоставление с результатами анализа узусов данного концепта в прессе демонстрирует, что в научном дискурсе в сравнении с дискурсом медиа (Altheide, 2009) превалируют иные контексты использования понятия. Однако заметно, что некоторые из тем, которые представ-

лены в научном дискурсе (сексуальность, гендер, животные, культуры), все же соотносятся с критической левой активистской повесткой. Последняя, вероятно, способствовала тому, что эти темы и области исследований, с ними связанные, стали возникать в научном дискурсе и, возможно, в дальнейшем будут благоприятствовать его распространению (Miller, 2016). Также мне не удалось зафиксировать явных признаков доминирования ни одной из выделенных Хантом моделей объяснения моральной паники (Hunt, 1997). Несмотря на то что на данный момент эрозии понятия МП, судя по имеющимся данным, нет, если концепт будет развиваться, то скорее всего количество эмпирических контекстов расширится, а их взаимное соотношение изменится.

Наряду с уже наличествующими дискуссионными аспектами теории МП, о которых сообщалось в начале этой статьи, мне кажется значимым акцентировать внимание на недостаточной развитости узусов МП в связи с социально-психологическим подходом к изучению этого понятия. Возможно, что для того, чтобы связь между публикой и СМИ имела более основательные объяснения в социологической теории, необходимо вернуться к исследованиям катастроф, поскольку именно их Козн скомбинировал с социологическими теориями в своей концепции МП. Соответствующие исследования могут поспособствовать лучшему прогнозированию развития моральных паник, а значит и возможностям их превенции.

Ограничения исследования

К числу ограничений тех выводов, которые были получены в рамках этого исследования, относится спектр работ, включенных в эмпирическую базу (только публикации из базы цитирования WoS). Поиск работ по МП за тот же временной период в базах Google Scholar и Scopus показывает, что WoS содержит 2,22% публикаций от общего числа аналогичных в Google Scholar¹² и 93,5% от Scopus. Кроме того, при осуществлении контент-анализа я руководствовалась только аннотациями, поэтому количественные показатели упоминаемости слов, вероятно, могут варьироваться в зависимости от единицы анализа. Также понятно, что аналитический подход, который был применен в этом исследовании, не учитывает смыслы, которые сами авторы вкладывают в обнаруженные нами узусы. Скорее всего, интервьюирование этих авторов могло бы дополнить полученные нами результаты.

12. Необходимо заметить, что сильное различие в количестве публикаций между Google Scholar и WoS обусловлено характером работ, которые индексируются этими базами. Google Scholar содержит, в отличие от WoS, и ненаучные публикации, а также диссертации. Вдобавок научные работы, которые фиксируются в WoS, обладают более высоким качеством, нежели те, что хранятся в Google Scholar.

Литература

- Ефанов А. А. (2019). Развитие концепта «моральные паники» в социокультурной ретроспективе // *Культура в фокусе научных парадигм*. № 9. С. 11–16.
- Altheide D. L. (2009). *Moral Panic: From Sociological Concept to Public Discourse* // *Crime, Media, Culture*. Vol. 5. № 1. P. 79–99.
- Aliakbar A., Casnici N., Squazzoni F. (2018). The Conundrum of Research Productivity: A Study on Sociologists in Italy // *Scientometrics*. Vol. 114. № 3. P. 859–882.
- Best J. (2016). The Problems with Moral Panic: The Concept's Limitations // *Krinsky C.* (ed.). *The Ashgate Research Companion to Moral Panics*. L.: Routledge. P. 67–78.
- Billieux J., King D. L., Higuchi S., Achab S., Bowden-Jones H., Hao W., Long J., Lee H. K., Potenza M. N., Saunders J. B., Poznyak V. (2017). Functional Impairment Matters in the Screening and Diagnosis of Gaming Disorder // *Journal of Behavioral Addictions*. Vol. 6. № 3. P. 285–289.
- Cohen S. (2011). *Folk Devils and Moral Panics*. L.: Routledge.
- Cree V., Clapton G., Smith M. (2015). *Revisiting Moral Panics*. Bristol: Policy Press.
- Cree V., Clapton G., Smith M. (2016). Standing Up to Complexity: Researching Moral Panics in Social Work // *European Journal of Social Work*. Vol. 19. № 3–4. P. 354–367.
- Critcher C. (2008). Moral Panic Analysis: Past, Present and Future // *Sociology Compass*. Vol. 2. № 4. P. 1127–1144.
- Critcher C., Pearce, J. (2013). A Missing Dimension: The Social Psychology of Moral Panics // *Krinsky C.* (ed.). *The Ashgate Research Companion to Moral Panics*. L.: Routledge. P. 371–386.
- David M., Rohloff A., Petley J., Hughes J. (2011). The Idea of Moral Panic: Ten Dimensions of Dispute // *Crime, Media, Culture*. Vol. 7. № 3. P. 215–228.
- Franc M., Kronegger L., Ferligoj A. (2010). Co-Authorship Trends and Collaboration Patterns in the Slovenian Sociological Community // *Corvinus Journal of Sociology and Social Policy*. Vol. 1. № 2. P. 29–50.
- Garland D. (2008). On the Concept of Moral Panic // *Crime, Media, Culture*. Vol. 4. № 1. P. 9–30.
- Grimm R. (2015). The Rise of the German Eurosceptic Party Alternative für Deutschland: Between Ordoliberal Critique and Popular Anxiety // *International Political Science Review*. Vol. 36. № 3. P. 264–278.
- Hunt A. (1997). «Moral Panic» and Moral Language in the Media // *British Journal of Sociology*. Vol. 48. № 4. P. 629–648.
- Jane E. A. (2014). «Your a Ugly, Whorish, Slut»: Understanding E-bile // *Feminist Media Studies*. Vol. 14. № 4. P. 531–546.
- Kaidesoja T. (2018). Building Middle-Range Theories from Case Studies // *Studies in History and Philosophy of Science*. Vol. 78. P. 23–31.
- Krinsky C. (2013). Introduction: The Moral Panic Concept // *Krinsky C.* (ed.). *The Ashgate Research Companion to Moral Panics*. L.: Routledge. P. 1–14.

- Kronegger L., Mali F., Ferligoj A., Doreian P. (2012) Collaboration Structures in Slovenian Scientific Communities // *Scientometrics*. Vol. 90. № 2. P. 631–647.
- Maltseva D., Batagelj V. (2020). Towards a Systematic Description of the Field Using Keywords Analysis: Main Topics in Social Networks // *Scientometrics*. Vol. 123. № 1. P. 357–382.
- Massey D. S., Durand J., Pren K. A. (2016). Why Border Enforcement Backfired // *American Journal of Sociology*. Vol. 121. № 5. P. 1557–1600.
- McLaughlin E. (2014). See also Young, 1971: Marshall McLuhan, Moral Panics and Moral Indignation // *Theoretical Criminology*. Vol. 18. № 4. P. 422–431.
- McRobbie A., Thornton S. L. (1995). Rethinking «Moral Panic» for Multi-Mediated Social Worlds // *British Journal of Sociology*. Vol. 46. № 4. P. 559–574.
- Miller T. (2016). Tracking Moral Panic as a Concept // Krinsky C. (ed.). *The Ashgate Research Companion to Moral Panics*. L.: Routledge. P. 37–54.
- Monod S. W. (2017). *Making Sense of Moral Panics: A Framework for Research*. Cham: Springer.
- Morgan G., Dagistanli S., Martin G. (2010). Global Fears, Local Anxiety: Policing, Counterterrorism and Moral Panic Over «Bikie Gang Wars» in New South Wales // *Australian New Zealand Journal of Criminology*. Vol. 43. № 3. P. 580–599.
- Rodger J. J. (2012). Loïc Wacquant and Norbert Elias: Advanced Marginality and the Theory of the De-civilising Process // Squires P., Lea J. (eds.). *Criminalisation and Advanced Marginality: Critically Exploring the Work of Loic Wacquant*. Bristol: Policy Press. P. 87–106.
- Segool N. K., Goforth A. N., Bowman N., Pham A. (2016). Social Networking Practices in School Psychology: Have Moral Panic Concerns Been Overstated? // *Journal of Applied School Psychology*. Vol. 32. № 1. P. 66–81.
- Senft T. M., Baym N. K. (2015). What does the Selfie Say? Investigating a Global Phenomenon // *International Journal of Communication*. Vol. 9. P. 1588–1606.
- Taylor C. (2014). *Investigating the Representation of Migrants in the UK and Italian Press: A Cross-Linguistic Corpus-Assisted Discourse Analysis* // *International Journal of Corpus Linguistics*. Vol. 19. № 3. P. 368–400.
- Thompson B., Greek C. (2012). Mods and Rockers, Drunken Debutants, and Sozzled Students: Moral Panic or the British Silly Season? // *SAGE Open*. Vol. 2. № 3: P. 1–13.
- Ungar S. (2001). Moral Panic versus the Risk Society: The Implications of the Changing Sites of Social Anxiety // *British Journal of Sociology*. Vol. 52. № 2. P. 271–291.
- Van Nunen K., Genserik Reniers J. L., Ponnet K. (2018). Bibliometric Analysis of Safety Culture Research // *Safety Science*. Vol. 108. P. 248–258.
- Warf B. (2014). High Points: An Historical Geography of Cannabis // *Geographical Review*. Vol. 104. № 4. P. 414–438.
- Young J. (2009). Moral Panic: Its Origins in Resistance, Ressentiment and the Translation of Fantasy into Reality // *British Journal of Criminology*. Vol. 49. № 1. P. 4–16.

Who Uses the Moral Panic Concept? A Bibliometric Analysis of Moral Panic Scientific Literature

Oxana Mikhaylova

PhD student, Research Assistant, Center for Modern Childhood Research, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: oxanamikhailova@gmail.com

In this paper, the bibliometric approach was used for the investigation of the research field organized around the concept of moral panic. To examine the current condition of the moral panic field, we analyzed the papers published in the WoS from 1972–2019. As a result of our study, the thematic areas, and the most influential actors in the field were revealed and described. Today, the moral panic field is dominated by sociologists. Among the leaders in terms of citations are authors from financially-developed countries. This shows that there is an economic inequality in the production of papers. The most cited are publications devoted to online studies. The results of this research demonstrate that there is no noticeable erosion among the empirical contexts, where the concept is used because children and youth are still the most popular object of moral panic studies. They are the classical objects for moral panic papers. At the same time, it could be argued that this field is still in the process of development because the theoretical and empirical papers that prevail are connected with the integration of the moral panic theory with other theories and concepts. We suppose this approach to the conceptual analysis developed in this paper could be useful for the revision of other fields developed around controversial concepts in sociology.

Keywords: moral panic, moral panics, bibliometric analysis, concept, conceptual analysis

References

- Aliakbar A., Casnici N., Squazzoni F. (2018) The Conundrum of Research Productivity: A Study on Sociologists in Italy. *Scientometrics*, vol. 114, no 3, pp. 859–882.
- Altheide D. L. (2009) Moral Panic: From Sociological Concept to Public Discourse. *Crime, Media, Culture*, vol. 5, no 1, pp. 79–99.
- Best J. (2016) The Problems with Moral Panic: The Concept's Limitations. *The Ashgate Research Companion to Moral Panics* (ed. C. Krinsky), London: Routledge, pp. 67–78.
- Billieux J., King D. L., Higuchi S., Achab S., Bowden-Jones H., Hao W., Long J., Lee H. K., Potenza M. N., Saunders J. B., Poznyak V. (2017) Functional Impairment Matters in the Screening and Diagnosis of Gaming Disorder. *Journal of Behavioral Addictions*, vol. 6, no 3, pp. 285–289.
- Cohen S. (2011) *Folk Devils and Moral Panics*, London: Routledge.
- Cree V., Clapton G., Smith M. (2015) *Revisiting Moral Panics*, Bristol: Policy Press.
- Cree V. E., Clapton G., Smith M. (2016) Standing Up to Complexity: Researching Moral Panics in Social Work. *European Journal of Social Work*, vol. 19, no 3–4, pp. 354–367.
- Critcher C. (2008) Moral Panic Analysis: Past, Present and Future. *Sociology Compass*, vol. 2, no 4, pp. 1127–1144.
- Critcher C., Pearce, J. (2013) A Missing Dimension: The Social Psychology of Moral Panics. *The Ashgate Research Companion to Moral Panics* (ed. C. Krinsky), London: Routledge, pp. 371–386.
- David M., Rohloff A., Petley J., Hughes J. (2011) The Idea of Moral Panic: Ten Dimensions of Dispute. *Crime, Media, Culture*, vol. 7, no 3, pp. 215–228.
- Efanov A. (2019) Razvitiye kontsepta "moral'nyye paniki" v sotsiokul'turnoy retrospektive [Development of the "Moral Panic" Concept in a Sociocultural Retrospective]. *Kultura v fokuse nauchnykh paradigm*, no 9, pp. 11–16.
- Franc M., Kronegger L., Ferligoj A. (2010) Co-Authorship Trends and Collaboration Patterns in the Slovenian Sociological Community. *Corvinus Journal of Sociology and Social Policy*. vol. 1, no 2, pp. 29–50.

- Garland D. (2008) On the Concept of Moral Panic. *Crime, Media, Culture*, vol. 4, no 1, pp. 9–30.
- Grimm R. (2015) The Rise of the German Eurosceptic Party Alternative für Deutschland: Between Ordoliberal Critique and Popular Anxiety. *International Political Science Review*, vol. 36, no 3, pp. 264–278.
- Hunt A. (1997) “Moral Panic” and Moral Language in the Media. *British Journal of Sociology*, vol. 48, no 4, pp. 629–648.
- Jane E. A. (2014) “Your a Ugly, Whorish, Slut”: Understanding E-bile. *Feminist Media Studies*, vol. 14, no 4, pp. 531–546.
- Kaidesoja T. (2018) Building Middle-Range Theories from Case Studies. *Studies in History and Philosophy of Science*, vol. 78, pp. 23–31.
- Krinsky C. (2013) Introduction: The Moral Panic Concept. *The Ashgate Research Companion to Moral Panics* (ed. C. Krinsky), London: Routledge, pp. 1–14.
- Kronegger L., Mali F., Ferligoj A., Doreian P. (2012) Collaboration Structures in Slovenian Scientific Communities. *Scientometrics*, vol. 90, no 2, pp. 631–647.
- Maltseva D., Batagelj V. (2020) Towards a Systematic Description of the Field Using Keywords Analysis: Main Topics in Social Networks. *Scientometrics*, vol. 123, no 1, pp. 357–382.
- Massey D. S., Durand J., Pren K. A. (2016) Why Border Enforcement Backfired. *American Journal of Sociology*, vol. 121, no 5, pp. 1557–1600.
- McLaughlin E. (2014) See also Young, 1971: Marshall McLuhan, Moral Panics and Moral Indignation. *Theoretical Criminology*, vol. 18, no 4, pp. 422–431.
- McRobbie A., Thornton S. L. (1995) Rethinking “Moral Panic” for Multi-Mediated Social Worlds. *British Journal of Sociology*, vol. 46, no 4, pp. 559–574.
- Miller T. (2016) Tracking Moral Panic as a Concept. *The Ashgate Research Companion to Moral Panics* (ed. C. Krinsky), London: Routledge, pp. 37–54.
- Monod S. W. (2017) *Making Sense of Moral Panics: A Framework for Research*, Cham: Springer.
- Morgan G., Dagistanli S., Martin G. (2010) Global Fears, Local Anxiety: Policing, Counterterrorism and Moral Panic Over “Bikie Gang Wars” in New South Wales. *Australian New Zealand Journal of Criminology*, vol. 43, no 3, pp. 580–599.
- Rodger J. J. (2012) Loïc Wacquant and Norbert Elias: Advanced Marginality and the Theory of the De-Civilising Process. *Criminalisation and Advanced Marginality: Critically Exploring the Work of Loïc Wacquant* (eds. P. Squires, J. Lea), Bristol: Policy Press, pp. 87–106.
- Segool N. K., Goforth A. N., Bowman N., Pham A. (2016) Social Networking Practices in School Psychology: Have Moral Panic Concerns Been Overstated?. *Journal of Applied School Psychology*, vol. 32, no 1. 66–81.
- Senft T. M., Baym N. K. (2015) What does the Selfie Say? Investigating a Global Phenomenon. *International Journal of Communication*, vol. 9, pp. 1588–1606.
- Taylor C. (2014) Investigating the Representation of Migrants in the UK and Italian Press: A Cross-Linguistic Corpus-Assisted Discourse Analysis. *International Journal of Corpus Linguistics*, vol. 19, no 3, pp. 368–400.
- Thompson B., Greek C. (2012) Mods and Rockers, Drunken Debutants, and Sozzled Students: Moral Panic or the British Silly Season?. *SAGE Open*, vol. 2, no 3, pp. 1–13.
- Ungar S. (2001) Moral Panic versus the Risk Society: The Implications of the Changing Sites of Social Anxiety. *British Journal of Sociology*, vol. 52, no 2. pp. 271–291.
- Van Nunen K., Genserik Reniers J. L., Ponnet K. (2018) Bibliometric Analysis of Safety Culture Research. *Safety Science*, vol. 108, pp. 248–258.
- Warf B. (2014) High Points: An Historical Geography of Cannabis. *Geographical Review*, vol. 104, no 4, pp. 414–438.
- Young J. (2009) Moral Panic: Its Origins in Resistance, Ressentiment and the Translation of Fantasy into Reality. *British Journal of Criminology*, vol. 49, no 1, pp. 4–16.

Цифровой экологический активизм как новая форма экологического участия населения*

Полина Ермолаева

Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Адрес: ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, Российская Федерация 420008
E-mail: polina.ermolaeva@gmail.com

Юлия Ермолаева

Младший научный сотрудник виртуальной научно-исследовательской
лаборатории «РНФ-17-45-ВП», Казанский (Приволжский) федеральный университет
Научный сотрудник, Федеральный научно-исследовательский
социологический центр Российской академии наук (г. Москва)
Адрес: ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, Российская Федерация 420008
E-mail: mistelfrayard@mail.ru

Ольга Башева

Кандидат социологических наук, научный сотрудник виртуальной научно-исследовательской
лаборатории «РНФ-17-45-ВП», Казанский (Приволжский) федеральный университет
Научный сотрудник, Федеральный научно-исследовательский
социологический центр Российской академии наук (г. Москва)
Адрес: ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, Российская Федерация 420008
E-mail: OlgaAUsacheva@yandex.ru

В данной статье авторы предприняли попытку комплексного анализа и систематизации основных подходов к исследованию цифрового экологического активизма в зарубежной и отечественной литературе. Авторы пришли к выводу, что при концептуализации цифрового экологического активизма акценты ставятся либо на специфике цифровых технологий, порождающих такую деятельность, либо на структуре экологической активности самой по себе. В данной работе, объединяя оба подхода, под цифровым экологическим активизмом авторы понимают добровольную коллективную деятельность на основе общих экологических интересов и ценностей, реализуемую публично и бескорыстно посредством использования новых информационно-коммуникационных технологий. В статье рассмотрены основные особенности цифрового экологического активизма, к которым относятся, с одной стороны, изменение парадигмы взаимодействия акторов, при которой они становятся не только потребителями информации, но и ее активными производителями. С другой стороны, цифровые практики способствуют отчуждению пользователей от реального протестного движения, ограничивающихся только виртуальными способами взаимодействия; при этом такая форма участия доступна не всем гражданам, что порождает новые формы цифрового неравенства и социальные дистанции. Авторами были рассмотрены типы цифрового гражданского участия, к которым относятся «кликтивизм», метаголосование, самоутверждение, электронное финансирование, политиче-

* Статья подготовлена в рамках гранта Президента РФ № МК-3338.2019.6 на тему «Построение качественной модели по оценке освоения россиянами новых форм цифрового городского участия в решении социально-экологических проблем и конфликтов».

ская защита прав потребителей, цифровые петиции, «ботивизм», активизм данных и «хактивизм». В работе критически осмысливаются как уже устоявшиеся, так и зарождающиеся теоретические подходы к исследованию цифрового экологического активизма, такие как теория сетевого общества Кастельса, подход делиберативной демократии, «науки граждан», социально-психологических теорий к объяснению экологического поведения, цифровой инвайронментальной гуманитаристики. Предложено авторское видение возможных вариантов синтеза данных подходов при исследовании экологического онлайн-активизма для российского научного контекста.

Ключевые слова: цифровой активизм, цифровой экологический активизм, краудсорсинг, интернет-технологии, цифровое общество, онлайн-сообщества, цифровая гуманитаристика, наука граждан

Одним из новых вызовов для современного российского общества стала «информационная революция» — распространение новейших цифровых технологий, которые вносят множество изменений в социальный ландшафт страны. Например, появление новых типов социальных отношений и практик, основанных на обезличенном виртуальном гражданском участии — «цифровом активизме», а также роботизация и автоматизация общественных сфер, виртуализации инфраструктуры в городах и т. д. (Вартанова, 2017).

На государственном уровне принимаются новые целевые программы, изменяется законодательная база в области информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Это программы: «Цифровая экономика» (2017–2024 гг.), «Информационное общество» (2011–2020 гг.), «Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года» и другие. Так, стратегия развития Москвы как цифрового города «Умный город-2030» определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления и развития в сфере цифровых технологий в Москве до 2030 года. Один из принципов Умного города Москвы (вторым из девяти) — участие жителей в управлении городом, а именно — создание условий для активного участия граждан в жизни общества и в принятии решений по городским вопросам, открытое цифровое правительство (Правительство Москвы, 2019).

На микроуровне в городах изменяются формы гражданского участия, стремительно растет доля российских пользователей виртуальных городских сообществ, электронного правительства, открытых геопорталов, краудсорсинговых платформ (ФОМ, 2018). Данные технологии увеличивают степень открытости и прозрачности процедуры принятия решений государственными органами власти, в значительной мере оптимизируют обмен информацией, открывают совершенно новые возможности для вовлечения граждан в процесс участия в жизни города.

Одним из наиболее ярких примеров появления новых социальных практик, основанных на возможностях применения ИКТ в российских городах, стала социально-экологическая сфера. По данным ученых (Ермолаева, 2017; Ermolaeva et al., 2020; Перелет, 2018), разные группы, решая свои проблемы, все чаще обращаются к возможностям современных механизмов обратной связи — электронного пра-

вительства, открытых геопорталов, краудсорсинговых платформ, краудфандинга и сетевых виртуальных сообществ.

Краудсорсинговые экологические проекты стали особенно популярны в России в периоды чрезвычайных ситуаций (ЧС). К примеру, летние пожары 2010 года показали, что в России «отсутствует система менеджмента информации, которая позволила бы органам власти и гражданам своевременно принимать эффективные решения в условиях ЧС. Данную функцию взяли на себя социальные сети и блогеры: они не только предложили общественности свидетельства очевидцев, фотографии и видеоролики трагических событий и т. д., но и создали электронные проекты, позволяющие координировать организацию гражданских инициатив в оказании помощи пострадавшим» (Морозова, Мирошниченко, 2011: 96). Это, например, «Карта помощи пострадавшим от пожаров», направленная на оказание помощи в местах бедствий (см., например: Asmolov, 2014). Еще одним примером может стать краудфандинговый проект по сбору общественных средств экологических инициатив по спасению о. Байкал (Усачева, 2012). Количество таких проектов в России за последние годы неуклонно растет, как и их государственное финансирование.

Однако производство научного знания не успевает за стремительно происходящими изменениями в обществе. В российской научной литературе огромное число работ в области цифрового гражданского участия связано с исследованиями онлайн-форм политического участия, а также гражданским подъемом 2010–2012 годов — с выборами в Государственную думу в 2011 году, пожарами в Центральной России, наводнением в Крымске в 2012 году и т. д. (Невский, 2015; Усачева, 2012; Usacheva, 2013; Соколов, 2013; Соколов, Дементьев, 2012, 2014). Много работ посвящено теме политического краудсорсинга и краудфандинга (Шуровьески, 2007; Хиппель, 2011; Бейкер, 2012; Хау, 2012). Отечественные исследования информационно-коммуникационных аспектов экологической деятельности довольно фрагментарны и представлены текстами Е. В. Морозовой (2014) и В. Б. Гольбрайха (2016а, 2016б, 2017, 2018). Вопросы цифрового активизма затрагиваются в рамках анализа механизмов интернет-мобилизации в условиях природных бедствий (Яницкий, 2012, 2013; Усачева, 2012), большое внимание уделяется сетевизации экологической политики (Морозова, Терешина, Ермолов, 2014).

Однако несмотря на то что в России с каждым годом появляется все больше экологических краудсорсинговых проектов, сетевых сообществ, виртуальных гражданских площадок, обзор литературы показал, что цифровой экологический активизм оказывается недооцененной и малоизученной темой.

В связи с этим целью данной работы является метаанализ российских и зарубежных теоретико-методологических подходов к исследованию цифрового экологического активизма. В частности, нам важно показать, как в зарубежном и российском научном пространстве концептуализируется цифровой экологический активизм, в чем его особенность по сравнению с офлайн- (традиционным) гражданским участием, какие формы он принимает, в чем его преимущества и риски и какие устоявшиеся и новые теоретические рамки используются учеными.

Основным методом исследования стал анализ современных научных статей, опубликованных в русскоязычных и англоязычных реферируемых журналах (Elibrary, Science Direct, Taylor and Francis Online, Google Scholar, Web of Science) по следующим ключевым словам: цифровой экологический активизм, электронное участие граждан, электронная демократия, гражданские приложения в области экологии, цифровые экологические сетевые сообщества, информационное общество, сетевая коммуникация, краудсорсинг, краудфандинг, социальные сети, сетевая мобилизация, слактивизм, хактивизм и т. д. Всего в анализ попало более 100 статей. Метаанализ был проведен в мае-июле 2019 года.

Цифровой экологический активизм: в лабиринтах понятия

Современную форму гражданского участия чаще всего связывают с новыми медиа и называют «цифровым активизмом» (Матвеева, 2018: 621). Несмотря на уже более чем 10-летний период развития активистских практик в цифровом пространстве, этот термин в академических кругах продолжает оставаться неоднозначным.

Согласно одному из существующих научных направлений, под категорией цифрового активизма понимается «гражданская деятельность, реализующаяся посредством как стационарных, так и мобильных устройств с доступом к Интернету» (Юусе, 2010: 101). Под это определение попадает и такое явление, как хактивизм — электронные формы гражданского неповиновения, хакерские атаки, пропаганда в Сети. П. Гербаудо под онлайн-активизмом понимает использование всех цифровых СМИ в политических целях (Gerbaudo, 2017).

В целом можно говорить о двух подходах к анализу цифрового активизма: 1) с акцентом на универсализм цифровых технологий, 2) с акцентом на деятельность активистов (Kaun, Uldam, 2017). Эта двойственность подталкивает исследователей к более глубокому изучению цифровых активистских практик. Гарет (Garrett, 2006: 203) призывает первично фокусироваться на «мобилизационных структурах», и уже потом на технических аспектах цифрового активизма. Интернет-технологии в данном смысле уместно понимать триедино — как источник по предоставлению информации, коммуникационный медиум и проводник в виртуальные публичные арены (Polat, 2005).

Как отмечает А. В. Матвеева,

отсутствие научного консенсуса в отношении точного определения данного феномена объясняется в первую очередь тем, что в настоящее время цифровая активность изучается в рамках широкого спектра дисциплин, включающего антропологию, социологию, политологию, медийные и коммуникационные исследования, а также исследования в области искусства и дизайна. Таким образом, данное проблемное поле содержит богатый, но в то же время весьма разрозненный объем знаний с разнообразными научными подходами, терминологией и исследовательскими фокусами. (Матвеева, 2018: 623)

В данной работе, объединяя оба подхода, под цифровым экологическим активизмом мы будем понимать добровольную коллективную деятельность на основе общих экологических интересов и ценностей, реализуемую публично и бескорыстно посредством использования новых ИКТ. Вслед за Н. Курниаваном и С. Раем, мы будем считать, что эта форма социального движения использует возможности новых ИКТ для минимизации рисков и повышения качества окружающей среды, а также роста экологической осознанности населения (Kurniawan, Rye, 2014).

Цифровой экологический активизм: основные особенности и формы проявления

Современные ИКТ предлагают населению принципиально новые возможности для выражения гражданской позиции и осуществления коллективной мобилизации, создавая децентрализованные, сетевые структуры без видимой организационной иерархии (Garrett, 2006). «Интернет-активистская среда в целом характеризуется анонимностью, разнородностью, динамизмом и свободой, она обладает лучшей масштабируемостью и адаптивностью» (Центр ГРАНИ, 2012). Новые технологии также стали инновационным источником саморазвития граждан, освоения навыков экологического мониторинга и саморефлексии в отношении полученной информации, повышения экологического знания и осведомленности (González-Bailón et al., 2011); а сетевые связи цифровых активистов — источниками различных ресурсов в офлайне, способствуя коллективным гражданским действиям, таким, например, как краудсорсинг (Zuo et al., 2016). Так, активисты используют переносные сенсоры для измерения качества воздуха в городе в реальном времени, выгружают данные об этом в Сеть и визуализируют в гугл-картах (Baruch, May, Yu, 2016; Ventura, Mallet, Issarny, 2018). Подобные практики применяются для пересмотра экологических данных, предоставленных государством, которые не учитывают/игнорируют экологические проблемы и конфликты.

Но несправедливо было бы не указать на то, что помимо перечисленных возможностей цифровизации, описываемых технооптимистами, существуют ограничения цифрового экологического участия, которые обсуждаются технопессимистами, считающими, что цифровые практики «способствуют отчуждению пользователей от реального протестного движения, ограничиваясь только виртуальными способами взаимодействия» (Ушкин, 2015: 4). Они отмечают, что такая форма участия доступна не всем гражданам, и это порождает новые формы цифрового неравенства и социальные дистанции (город-село, возрастные и инфраструктурные ограничения и т.д.).

Эти сложности цифрового активизма учитываются в том числе в различных типологиях цифрового действия, которые включают, например, «быстрый активизм» («fast activism», Harlow, Harp, 2012), описывающий действия участников «в моменте» — без выхода на улицы, подписывая петиции онлайн и прочих реальных действий. В. Б. Гольбрайх, вслед за западными исследователями, описывает

этот феномен в терминах «слактивизма» («ленивого активизма», или «пассивизма»), то есть как участие, отличающееся низким риском и низкими затратами, заменяющее традиционное политическое (Гольбрайх, 2016). «В отличие от реального активизма, который требует усилий, временных затрат и зачастую связан с риском, слактивизм просто имитирует участие и приносит моральное удовлетворение» (Мартынов, 2012: 24). Его участники могут как быстро присоединиться, так и быстро покинуть виртуальные площадки. «При этом интернет-активизм зависит от ответственной позиции инициатора, поскольку часто виртуальное сообщество или группа не готовы разделить и организационных издержек» (Демакова, Маковецкая, Скрыкова, 2014: 154).

Таким образом, разнообразие форм цифрового участия открывает исследователям новые перспективы изучения этого феномена, включая оценку его сильных и слабых сторон в достижении реальных результатов, на которые направлена активистская деятельность.

Все эти особенности цифрового гражданского участия проявляются при его дифференциации на разные типы в зависимости от характера и степени активности участников. Одним из наиболее комплексных подходов к типологизации активистского действия можно считать модель классификации политических действий Милбрата (Milbrath, 1981; 1965), согласно которой переосмыслены цифровые действия, которые составляют только часть комплекса гражданских социальных практик (Orlikowski, 2002). Иерархия Милбрата выделяет три класса политических и цифровых действий в зависимости от силы включенности, сферы влияния и используемых ресурсов — зрительские/наблюдательские (spectator), транзитные (transitional) и гладиаторские (gladiatorial) действия. Всего Милбратам было названо десять видов цифровой активности: «кликтивизм», метаголосование, самоутверждение, электронное финансирование, политическая защита прав потребителей, цифровые петиции, «ботивизм», активизация данных, разоблачение и «хактивизм» (Milbrath, 1985).

По Милбарту, уровни иерархии цифрового активизма варьируются в зависимости от доступных цифровых ресурсов, которые включают технические навыки, технологические артефакты, социальные сети, доступ к интернету и коммуникациям (Selander, Jarvenpaa, 2016). Так, хакер может создать огромный хаос единичными усилиями, а мобилизовать миллион протестующих смогут массовые ретвитты места и времени проведения демонстрации. Показатель эффективности цифровой активности может выражаться в потенциале воздействия отдельного человека. Не все онлайн-действия «зрителей» вызовут официальный отклик, если не будет задействовано значительное количество людей, в то время как «гладиаторские» действия представляют минимальному количеству субъектов обширную власть.

«Кликтивизм», метаголосование, (само)утверждение относятся к классу «наблюдательских» действий. «Кликтивизм» считается одной из самых низших форм вовлечения граждан в онлайн-активность, потому что он не привлекает их к ре-

альной ответственности и отчасти обезличен, и в некоторых случаях даже считается спорной формой онлайн-активизма (Majchrzak et al., 2013), хотя зачастую слактивизм как проявление маленьких дел многих людей приводит к большим результатам — широкому резонансу о проблеме или реальной мобилизации.

Активисты, в том числе и экологических движений, призывают пользователей Сети делать перепосты для масштабирования поднимаемых ими проблем и ставить лайки под постами в надежде получить видимый индикатор одобрения. Так, движение «Сделаем» («Let's do it!»), возникшее в 2008 году в Эстонии с целью очищения страны от мусора, получило глобальное распространение благодаря сетевому масштабированию; и в 2012 году к гражданской кампании «Всемирная уборка» присоединились порядка 80 стран (Delfi, 2012), включая Россию. При этом влияние лайков и репостов можно учитывать как реальный вклад в конкретных случаях, поскольку в ряде государств, включая Россию, подобные действия в Сети могут быть рассмотрены как административные правонарушения, попадая, например, под статьи о возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства (Коммерсантъ, 2018).

Кликтивистские действия включают в себя подписание интернет-петиций, копирование и использование статусов или сообщений из социальных сетей, изменение личных данных или аватара в социальных сетях для выражения той или иной гражданской позиции. В основном кликтивизмом занимаются отдельные группы в социальных сетях для аккумуляции гражданской активности. Сторонники этой формы действия считают, что она увеличивает воздействие сообщения, значит, его необходимо учитывать, а оппоненты — что сводит активность к простому «щелчку мыши» практически без участия или приверженности делу. Н. Бейм, например, считает, что кликтивизм усиливает страх выделиться из толпы и занять сильную позицию, а также препятствует решительным действиям (Baum, 2013).

Такая форма онлайн-действия, как *репост/ретвит* постов, сделанных другими пользователями в социальных сетях, называется метаголосованием. Она масштабирует идеи, ценности и информацию; при этом влияние зависит от размера социальных сетей и количества вовлеченных участников, а также от характеристик личности, участвующей в данном виде активности (Katona, Zubcsek, Sarvary, 2011). В эту же форму активизма входит комментирование как создание оригинального контента с помощью рационализации доводов или призывов к действию.

(Само)утверждение направлено на создание контента, которое информирует других с помощью видео- и аудиоизображений или текстовых средств массовой информации о цифровой активности. Деятельность варьируется от создания оригинальных сообщений в социальных сетях или твитов до отправки сообщений правительству. Для создания контента требуется больше навыков, чем в случае кликтивизма (нажатие кнопки «Мне нравится») или ретвитирования мема. Сила потенциального воздействия зависит от контекста (Milbrath, 1985). В России контент о событиях, продуктах и правилах экологически ответственного поведения

на таких экологических порталах, как Greenpeace.ru, 4fresh.ru, Lookbio.ru и в авторских блогах экологов, например, Романа Саблина «Зеленый драйвер» (greendriver.ru) и Алексея Чистопашина (chistopashin.ru), всегда собирает отклики пользователей в виде комментариев, которые означают кредит доверия.

«Транзитные» действия являются переходными между «наблюдательскими» и «гладиаторскими». С одной стороны, они требуют больше ресурсов, чем наблюдательские, и оказывают более сильное воздействие на социум, но с другой стороны, по уровню и масштабу влияния они уступают «гладиаторским». Формами переходной цифровой активности являются защита прав потребителей, цифровые петиции, «ботивизм» и электронное финансирование.

Действия по защите прав потребителей поддерживают фирмы и услуги, соответствующие уровню требований пользователей онлайн-сообществ к качеству такого рода услуг, и бойкотируют фирмы, которые таким стандартам не соответствуют (Teorell, Torcal, Montero, 2007). Комментарии и претензии распространяются через социальные сети или мобильные приложения (см., например: 2ndvote.com). Воздействие варьируется в зависимости от объема комментариев (Newman, Bartels, 2011). Как правило, действия по защите прав потребителей оказывают влияние на деятельность коммерческих организаций. К примеру, в России популярен портал «РОСКОНТРОЛЬ» (roscontrol.com), на котором представлены тесты продуктов, которые осуществляют независимые лаборатории, там же доступны отзывы потребителей.

Цифровые петиции рассматриваются как форма деятельности, требующая гарантированного ответа от правительства. Так, в США, где впервые появляется эта форма активности, в случае, если петиция соберет 100 000 подписей, в течение 30 дней администрация должна дать на нее ответ. В Великобритании сходная система, представляющая трехэтапный процесс: гражданин создает петицию и объединяется с пятью сторонниками, готовыми подписать петицию, которая будет опубликована в Интернете. После того как петиция опубликована, она должна собрать 10 000 подписей для гарантированного ответа со стороны правительства. Если петиция наберет 100 000 подписей, она может быть обсуждена в парламенте. Члены парламента также могут выбрать любую петицию с любым количеством подписей, если они считают, что это интересно обсудить или ответить на нее. Как правило, только граждане могут создавать петиции. Инициатор должен сначала создать петицию, а затем собрать достаточное количество подписей посредством других видов цифровой и офлайн-активностей.

В России работает несколько площадок для петиций и сбора подписей под ними (Change.org, Avaaz.org, Демократор). Все они способствуют созданию довольно большого общественного резонанса. Так, в 2017 году в России цифровые петиции помогли закрыть свалку бытовых отходов в подмосковном Кучине, Greenpeace смог сохранить Холодненское месторождение на берегу Байкала, не допустив работы на нем, сберечь леса в Сибири от уничтожения, фонд WWF сумел защитить от браконьерства ряд видов из Красной книги и расширил акцию «Час

Земли». И тем не менее лишь петиции, опубликованные на официальной площадке «Российская общественная инициатива», собрав необходимый порог подписей, должны быть рассмотрены экспертной рабочей группой при правительстве.

«Ботивизм». Термин «ботивист» (бот + активист) описывает использование ботов (автоматических цифровых действий, или искусственного интеллекта), которые могут подталкивать участников к политическим действиям или реагировать на онлайн-троллинг в социальных сетях (Salge, Karahanna, 2018). Ботивист может призывать к действию, запрашивать средства, сообщать новости или использовать активность группы для большего охвата (Savage et al., 2016). Например, Urban Spectrum — приложение, которое позволяет напрямую регистрировать проблемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты в режиме реального времени. Другое приложение «Экология в вопросах и ответах» анализирует запросы и выдает ответы о распространенных проблемах, с которыми сталкивается потребитель в быту. Бот в приложении Open Recycle Bot консультирует и помогает пользователю посчитать потребление и экономию электроэнергии, регулировать и учитывать тип материалов для переработки и их количество, загружать фото сырья, рассчитывать экономию энергии в кВт-ч и в минутах или часах работы бытовых приборов. В исследовании «участия» ботов в протестах против коррупции в Бразилии в 2016 году обнаружилось, что они могут быть центральными участниками политической деятельности в социальных сетях, в частности в Twitter, и лишь немногие участники поймут, что пользователи, с которыми они коммуницировали, не были людьми (Dewey, 2016).

Электронное финансирование включает в себя онлайн-операции с денежными средствами: пожертвования, майнинг криптовалют, онлайн-аукционы по сбору средств и т. д. (Young, 2018; Pozzebon, Cunha, Coelho, 2016). Электронное финансирование не является прямым действием, поскольку денежные средства используются как инструмент для реализации других действий. Примером электронного финансирования в области экологического активизма является платформа Ecoscrowd — проект по сбору средств на закупку коробок для производителей манго в Буркина-Фасо.

Цифровые «гладиаторские» действия, согласно Милбрату, включают работу с данными и хактивизм. По степени влияния на реальность данная категория цифрового активизма является самой «агрессивной».

«Активизм данных» (data activism) представляет собой организацию добровольной работы с разными видами данных (открытыми государственными и негосударственными источниками, научными данными и т. д.). Одной из форм «активизма данных» является движение за получение доступа к данным крупных корпораций, таких как Facebook, Google и Amazon, а также правительства (Elmer, 2015). Другая ветвь подобного активизма фокусируется на филантропии — свободном обмене данными среди ученых и аналитиков. «Филантропия в данных» изменяет баланс социальной несправедливости. Например, Loss of the Night — краудсорсинговый научный проект, оценивающий видимость звезд и загрязнение

атмосферы. Также реализуется проект Litterbase — интерактивная онлайн-база данных картографирования загрязнения пластиковым мусором Мирового океана с помощью данных, которые собирают ученые и население.

Третья область касается открытых данных. Добровольцы, некоммерческие организации работают с порталами государственных, научных данных для достижения своих целей, создают данные или выступают с запросами о получении тех или иных данных (например, уровня загрязнений определенными промышленными объектами) от государства и негосударственных организаций, чтобы отстоять право на открытую информацию, которая пока доступна только элитам (Baack, 2015). Это необходимо тогда, когда правительства отказываются открывать те или иные данные жителям. В таких случаях создаются хранилища для совместного использования данных, которые попадают туда посредством копирования открытых данных с помощью сбора ботами или копирования данных вручную, включая создание скриншотов экрана. Гражданские хакатоны (форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей сообща решают какую-либо проблему за определенное время) по работе с открытыми данными реализовывались в мире неоднократно. Среди них известны проекты Datafordemocracy.org, Datarefuge.org, Opendataday.org. Однако гражданское участие в работе с данными часто ограничивается теми, кто обладает или данными, и/или навыками анализа. Потенциальное воздействие здесь очень велико и затрагивает граждан, правительства, исследователей, журналистов и ученых (Milan, Velden, 2016). Однако влияние может варьироваться из-за качества и доступности данных. Активисты изменяют правительственные данные, открывая их для публичного использования.

«Хактивизм» — это хакерство (получение данных без официального доступа к системе) для достижения индивидуальных или коллективных социальных, экологических или политических целей. Потенциальное влияние такого рода цифровой активности велико и может отразиться на правительстве, гражданах и промышленности. Хактивисты делятся на три категории — кибертеррористы, гражданские хакеры и «патриотические» хакеры (Denning, 2001). *Кибертерроризм* — это действие, осуществляемое посредством взлома, распространения вирусов и вредоносных программ, вандализма на веб-сайтах и выполнения цифровых атак. *Гражданские хакеры* — это свободно организованные группы, создающие и обновляющие цифровые системы на благо сообщества и на законных основаниях. «*Патриотические*» хакеры сосредотачивают свои усилия на вражеских странах и их гражданах. Они не спонсируются государством и могут считать себя способными действовать там, где государство не может. Они националистичны и считают себя «киберполицией» (Green, 2016). Однако в Интернете пока не было зафиксировано ни одного случая кибератаки, которая была бы мотивирована защитой экологии.

Цифровой экологический активизм: теоретические координаты

В литературе по цифровому экологическому участию концептуально все теоретические рамки можно разделить на те, что направлены на объяснение феноменов экологического гражданского участия, экоактивизма, экологических общественных движений и цифровых/новых медиатехнологий. Традиционно для социологов и социальных экологов (например: Морозова, Терешина, Ермолов, 2014) более характерно исследование экологического гражданского участия и сетевизации экодвижений и того, как экоактивисты используют ресурсы цифровых технологий для своей мобилизации; в то время как для представителей исследований новых медиа и цифровых технологий (например: Ciszek, 2016) более привычен акцент на природе ИКТ как феномена, порождающего новые виды практик. Ниже предлагаем рассмотреть и критически осмыслить как уже устоявшиеся, так и только зарождающиеся методологические подходы к исследованию цифрового экоактивизма.

Представители социологической школы, включая социальных экологов, географов, исследователей социальных движений, чаще всего обращаются к возможностям сетевых теорий, теорий общественных (экологических) движений и экомобилизации, теории делиберативной демократии, теорий по исследованию экоповедения, установок и практик субъектов экодвижений. Каждая из данных теорий концентрируется на различных аспектах исследования цифрового экоактивизма и коллективного поведения, дополняя друг друга.

Пожалуй, наиболее широко применяемая теоретическая рамка — сетевой подход, основанный на идеях М. Кастельса (Castells, 2007, 2012) о гибридном пространстве автономной коммуникации, который подразумевает, что индивиды, не завися от социальных и политических институтов, налаживают горизонтальные связи, а реализация цифрового активизма происходит в двух плоскостях: рождаются они в цифровом пространстве, а развиваются уже офлайн (Castells, 2007). Таким образом, производство знания и информации в онлайн-пространстве постоянно происходит под влиянием офлайн- и онлайн-коммуникаций. Таким образом, Кастельс видит двойственную природу сетей — как социальных сетей между людьми и информационными технологиями. По мнению Кастельса, основными характеристиками новых форм активизма являются их аполитичность, мульти-модальность, вирусное распространение, горизонтальная иерархия, избирательность, саморефлексия, локальность и глобальность, делиберативный характер управления.

Научный дискурс представлен разными позициями в отношении возможностей и ограничений подхода Кастельса для исследования цифровых форм общественных движений. Одни ученые (например: Ilten, McInerney, 2019) полагают, что идеи Кастельса представляют интерес, поскольку на протяжении длительного времени формы общественных движений изучались вне процесса цифровизации общества. Другие (например: Fuchs, 2012) считают, что подход Кастельса крайне техноцентричен в том отношении, что он объясняет сложные процессы граждан-

ской мобилизации через развитие информационных технологий, а не структуру сложных антагонистических взаимоотношений между субъектами, в чем и состоит упрощение подхода Кастельса. По мнению этой группы ученых, предположения Кастельса спекулятивны и не находят подтверждения при проверке гипотез на базе эмпирических исследований, в частности с позиции самих активистов, действующих на цифровых платформах.

Идеи Кастельса нашли применение и были творчески переработаны в исследованиях российских социальных экологов, согласно которым «сети являются одновременно и формой организации, и ресурсом, публичной площадкой для диалога между различными группами интересов, средствами формирования и поддержания экологической идентичности» (Морозова, Терешина, Ермолов, 2014). Сетевой подход используется для анализа связей между индивидуальными и коллективными акторами и их влияния на структуру общественных движений, где сеть представляет собой не только структуру, но и источник социального капитала субъектов, взаимной поддержки и обучения (Усачева, 2012; Башева, 2020). В рамках исследований сетевого экоактивизма российские авторы (Яницкий, Усачева, 2012) используют термин «сети гражданской мобилизации» и относят его «к информационным сетям, создаваемым самими их пользователями с применением ИКТ для информирования общества и мобилизации его ресурсов в критической ситуации (социальный конфликт, техногенная или экологическая катастрофа и т. п.). Основные функции таких сетей — «координация деятельности гражданских сил, формирование и поддержание чувства коллективной идентичности и, наконец, снижение зависимости общества от государства и официальных СМИ» (Усачева, 2012: 56).

В своих работах российские социальные экологи через призму сетевого подхода Кастельса исследовали деятельность экологических движений, групп активистов и НКО (например: Яницкий, 2013; Усачева, 2012). В этом отношении сетевая теория Кастельса и его гипотезы о цифровизации гражданского общества нашли эмпирическую проверку и теоретическую адаптацию применительно к российскому контексту. Однако, несмотря на попытки российских социальных экологов совместить исследования экологического активизма и процессов информатизации общества через возможности сетевой теории, все же акцент смещен на структуру и процессы экологической деятельности. В то же время сам процесс цифровизации экопрактик, включая исследование новых его форм — экологического краудсорсинга, краудфандинга, онлайн-приложений, а также цифровизации экологических практик, в динамике и с позиции самих участников данных изменений практически не изучены (можно встретить единичные работы, например: Башева, 2020; Ермолаева, Башева, 2019; Ермолаева, 2019).

В последнее время на Западе стало появляться все больше исследований цифрового экоактивизма в парадигме квантифицированного анализа социальных сетей (social network analysis; например: Ackland, O'Neil, 2006, 2011), однако в россий-

ском научном ландшафте работ по онлайн-экоактивизму в данной теоретической рамке пока не представлено.

Другая большая группа работ по цифровому экоучастию характерна в большей степени для представителей социологической школы и выполнена с позиции партисипаторной парадигмы.

Это в первую очередь идеи концепции делиберативной демократии (Coleman, Przybylska, Sintomer, 2015; Mercier, Landemore, 2012), подразумевающие, что современное государство активно использует институты гражданского общества, поддерживает демократическое сообщество и сообщество экспертов с целью одобрения обществом и принятия совместных политических решений. Делиберативная демократия состоит из элементов, которые могут быть классифицированы как условия, средства и цели (Hendriks, 2009). К ним относят: равноправие (равный доступ к публичным аренам, праву голоса и праву быть избранными), инклюзию (любой может быть включен в процесс), прозрачность (любой процесс легитимизируется публично). Совместные действия инклюзивны, интерактивны, основаны на взаимном уважении и предполагают горизонтальные модели коммуникации. Обычно данную теоретическую рамку применяют при анализе эффективности и прозрачности порталов для подачи электронных петиций, обсуждения законопроектов, онлайн-голосования (например: Gronlunda et al., 2009).

Основная критика данного подхода состоит в том, что новые коммуникационные технологии рассматриваются как мобилизационные инструменты вовлечения населения в социальную политику без должного внимания к процессам еще большей сегрегации и дифференциации населения через неравный доступ к Интернету и «цифровые разрывы». Согласно Б. Латуру (Latour, 2004; 2005), производство знания исторически концентрировалось в руках научной элиты, которая исключала всех остальных из данной сферы, категоризируя их в терминах объектов исследования, нежели агентов в процессе наукотворчества.

Для преодоления данной эксклюзии и монополии знания стали появляться целые направления партисипаторных исследований. Одним из таких стремительно развивающихся подходов стала «наука граждан» (citizens design science: Mueller, Tírrpins, Bryan, 2012), которая вовлекает представителей общественности вместе с учеными в создание и управление гражданскими проектами, в том числе в сфере цифрового экоактивизма. Предложено несколько руководящих принципов научного проектирования с гражданами: пользователи могут помогать ученым в роли производителей знания; жителями практикуется гражданское участие через мобильные средства; ученые проводят обучение по реализации проектов с гражданами. Центральная идея данной концепции — привлечение широкой общественности к предложениям, разработке, управлению, анализу и обмену при научных исследованиях. Роль ученых заключается в том, чтобы делиться своими знаниями и навыками с волонтерами и поддерживать реализацию проектов, возглавляемых гражданами. Представители общественности могут получить непосредственный опыт работы в качестве ученых, а ученые — обучать широкую общественность

практике исследований. На пользователей ложится ответственность за оценку качества информации и принятие решения о ее достоверности, что повышает потребность в подходах к обучению, которые могут дать людям возможность критически взаимодействовать с онлайн-ресурсами.

Несмотря на свои научные и образовательные достоинства, «наука граждан» сталкивается с рядом проблем. Во-первых, большинство гражданских научных проектов привлекают людей в качестве сборщиков данных или аналитиков, но не вовлекают их во все аспекты научного процесса, что не делает их полноценными авторами и субъектами производства научного знания. Как отмечают Мюллер с соавторами (Mueller, Tippins, Bryan, 2012), очень редко граждане действительно становятся полноценными свидетелями ученого в действии. Еще одна проблема, с которой сталкивается «наука граждан», — это участие в научной деятельности молодежи, доля которой по сравнению с людьми среднего и пенсионного возраста меньше, а именно они могут быть носителями наиболее свежих идей и более масштабно оснащены гаджетами (Villasclaras-Fernandez et al., 2013). В данном научном направлении используются два основных типа взаимодействия с гражданами: веб-платформы для инициирования проектов и краудфандинга, такие как Kickstarter (www.kickstarter.com) и Planeta (Planeta.ru), они позволяют людям организовывать лично проекты по сбору средств, однако не предоставляют модель научного исследования.

Для объяснения микропроцессов в структурах цифрового гражданского участия — установок, ценностей, мотивации виртуальных эоактивистов, в научной среде все больше стало появляться исследований (хотя по сравнению с офлайн-средой несравнимо меньше), которые обращаются к социально-психологическим теориям, таким как теория активации нормы (Norm Activation Theory: Schwartz, 1973), теория «ценности — убеждения — нормы» (Value-Belief-Norm Theory: Stern, 2000), теория запланированного поведения (Theory of Planned Behavior: Ajzen, 1991), теория «установки — поведение — контекст» (Attitudes-Behavior-Context Theory: Stern, 1999), теория самоэффективности (Rice, 2006). Данные теории сконцентрированы на анализе схожих компонентов: выгод и издержек, вознаграждений и санкций от коллективных скоординированных действий индивидов в Сети, установок, ценностей и поведения субъектов. Однако в большинстве этих теорий в фокусе внимания находится какая-то одна независимая переменная, посредством которой происходит объяснение сложных процессов экологического поведения субъекта (Ермолаева, Ермолаева, 2019).

К примеру, исследователи (Park, Yang, 2012) анализируют факторы участия онлайн-эоактивистов в Китае через возможности теории запланированного действия. Ученые приходят к выводу, что на вовлечение в виртуальные экопрактики большое влияние имеют субъективные нормы и самоэффективность эоактивистов, а также такие переменные, как групповая идентификация, значимость экопроблем, доступ к Интернету. В отличие от других похожих (западных) исследований (например: Noland, 2017), данная работа представляет интерес тем, что

опровергает связь экологических установок с намерением (intention) участвовать в экопрактиках, в то время как такие факторы, как лично воспринимаемая самоэффективность (perceived self-efficacy) и групповая идентификация, имеют большее значение для экоактивистов при принятии решений участвовать в онлайн-экопрактиках.

Ключевой потенциал данных теорий при объяснении природы цифрового экологического активизма заключается в том, что они направлены на понимание сложной природы проэкологической деятельности субъектов: конфигурации и веса компонентов, влияющих на экоактивность населения для последующего моделирования и прогнозирования развития данных моделей поведения в разных социокультурных контекстах.

Основные недостатки исследований, которые использовали рамки социально-психологических теорий при объяснении онлайн-экоактивизма, заключаются, во-первых, в том, что объяснительные возможности данных теорий были протестированы на небольших выборках с существенными социально-демографическими перекосами в сторону более молодых и более образованных слоев населения; во-вторых, количественные данные слабо объясняют причины и глубинные мотивы, которые стоят за полученными закономерностями, и нуждаются в дополнении данными качественных исследований.

Представители исследований новых медиа и цифровых технологий, в отличие от социологической школы, рассматривают информационные технологии как инструмент, способствующий формированию новых гражданских практик, включая экологический активизм. Исследователи из данной группы анализируют то, как ИКТ трансформируют гражданские практики, как происходит процесс появления общественных движений на базе онлайн-платформ, а также как социальные сети воспроизводят активистские практики (Ilten, McInerney, 2019). Однако технологический детерминизм, характерный для представителей данной школы, исключает из исследовательского поля более широкие процессы, связанные с социальным конструированием медиа, расстановкой политических сил между владельцами цифровой инфраструктуры и пользователями, влиянием цифровых технологий на социально-экономические процессы, цифровые разрывы среди активистов и т. д. До сих пор нет работ, которые бы анализировали исторические аспекты развития цифрового активизма и цифровизации общественных движений, но без которых сложно оценить процессы, происходящие в этой сфере в пространственно-временном континууме (Rucht, 2014).

В рамках технического детерминизма «свежим» для академического сектора подходом к анализу функциональных возможностей ИКТ при воспроизводстве экологических практик населения является юзабилити-тестирование (UX-исследование) экологических онлайн-платформ (Nielsen, 2012). Данный подход преимущественно используется при тестировании рыночных технических продуктов, но может быть также задействован при анализе функциональных возможностей онлайн-платформ, их технических ограничений, которые препятствуют

переводу экологических инициатив пользователей в практическую плоскость поверх цифровых барьеров.

В данной группе работ можно встретить теории новых медиа, влияющих на формирование онлайн-сообществ и сетей (например: Ciszek, 2016), теории социального конструирования технологий (например: Hess et al., 2007) и другие. Все эти подходы уже довольно хорошо представлены в зарубежной литературе, в то время как подход цифровой инвайронментальной гуманитаристики (digital environmental humanities: Travis, Holm, 2016; Doueihi, 2013) еще пока недостаточно осмыслен, хотя имеет большой потенциал, поскольку пытается интегрировать анализ сложной палитры взаимоотношений между участниками экологических процессов и интернет-технологий во взаимозависимости и динамике. Цифровая инвайронментальная гуманитаристика — новое междисциплинарное направление, изучает социально-экологические процессы как социокультурные явления. Оно исследует ландшафты, языки, систему верований для объяснения различных систем субъективных смыслов, практик и опытов, исторической памяти, значений мест и среды обитания, партисипаторные возможности новых технологий для экологической мобилизации граждан. Сюда, например, можно отнести работы по анализу аспектов экологической справедливости в ракурсе цифровизации общества, влияния экологического краудсорсинга на снижение роли и «обесценивание» сообщества профессиональных экологов и т. д. (Sinclair, Poplawski, 2018; Posthumus, Sinclair, 2016; Doueihi, 2011; Cresswell et al., 2015). Цифровая инвайронментальная гуманитаристика направлена на критический анализ воспроизводства разных форм экологического и социального неравенства под влиянием ИКТ. В отличие от других теоретических рамок, большое внимание учеными здесь уделяется пространственно-временному анализу экологических практик в Сети.

Основные выводы

В эпоху развития «цифрового общества» с повсеместным распространением портативных компьютеров, смартфонов с выходом в Интернет, с камерой и фотоаппаратом, функцией геопозиционирования и специализированными мобильными приложениями с возможностью оповещения населения о городских проблемах в режиме реального времени расширились формы гражданского участия в городском планировании.

Однако, несмотря на возрастающую востребованность у россиян новейших ИКТ и освоение новых практик в решении социально-экологических проблем, исследования показали, что цифровой экологический активизм все еще мало изучен в российском научном ландшафте. Для преодоления данного пробела мы предприняли попытку комплексного анализа и систематизации основных подходов к исследованию цифрового экологического активизма в зарубежной и отечественной литературе.

Мы пришли к выводу, что при концептуализации цифрового экологического активизма зарубежные исследователи ставят акценты либо на специфике цифровых технологий, порождающих такую деятельность, либо на структуре экологической активности самой по себе. Отсутствие консенсуса при определении цифрового экологического активизма связано с междисциплинарностью данного феномена и, как следствие, использованием разных научных подходов к его анализу. В данной работе под цифровым экологическим активизмом понимается добровольная коллективная деятельность на основе общих экологических интересов и ценностей, реализуемая публично и бескорыстно посредством использования новых ИКТ.

Возможности цифровых форм экологического участия неоднозначны. С одной стороны, происходит изменение парадигмы взаимодействия акторов, при которой они становятся не только потребителями информации, но и ее активными производителями, соответственно, происходит расширение каналов влияния гражданского общества на процессы принятия решений. С другой стороны, цифровые практики отчуждают пользователей от реальных протестных действий; при этом такая форма участия доступна не всем гражданам, порождая новые формы цифрового неравенства и социальные дистанции.

Все эти особенности цифрового гражданского участия проявляются при его дифференциации в зависимости от характера и степени активности участников в онлайн-практиках. Одним из наиболее комплексных подходов к группировке активистов является модель Милбрата, согласно которой можно выделить три класса цифровых действий — зрительские, транзитные и гладиаторские. Всего им было выделено десять видов цифровой активности: «кликтивизм», метаголосование, самоутверждение, электронное финансирование, защита прав потребителей, цифровые петиции, «ботивизм», активизм данных и «хактивизм».

Изучение цифровой экологической активности происходит в рамках широкого спектра дисциплин — социологии, социальной экологии, антропологии, географии, цифровой гуманитаристики, коммуникативистики и т. д. Для представителей социологической школы единицей анализа выступает экологическое движение, в то время как для исследователей медиа и цифровых технологий таковой являются цифровые технологии. Представители социологической школы чаще всего обращаются к возможностям сетевых теорий, теорий общественных (экологических) движений и экомобилизации, теории делиберативной демократии, теорий по исследованию экоповедения, установок и практик субъектов экодвижений. Представители исследований новых медиа и цифровых технологий — к теориям новых медиа, социального конструирования технологий, цифровой инвайронментальной гуманитаристики. Разный предметный фокус, характерный для данных дисциплин, порождает методологические «дыры» и сложности в изучении феномена цифрового экологического активизма, замедляя интериоризацию подходов из разных дисциплин и взаимное обогащение концептуального поля.

Авторы полагают, что синтезирование данных теоретико-методологических подходов (как это уже происходит в случае с развитием цифровой инвайронментальной гуманитаристикой) позволит разрешить проблему игнорирования фактов и процессов, которые не вписываются в рамки одной науки, а также научно оценить возможности и ограничения данных подходов при проведении эмпирических исследований «цифрового активизма» в России.

Одним из возможных вариантов продуктивной «научной коллаборации» данных подходов может быть использование цифровой инвайронментальной гуманитаристики как общей теоретической рамки, которая позволит критически рассмотреть особенности производства и воспроизводства знания и экологических практик активистов в онлайн- и офлайн-пространствах в их концептуальном единстве, а также осмыслить возможные коммуникационные разрывы и прочие цифровые барьеры при (ре)транслировании экологического знания и практик из онлайн- в офлайн-пространство и обратно. При последующем анализе, чтобы более предметно рассмотреть данные цифровые барьеры и то, как они препятствуют переводу экологических инициатив пользователей в офлайн, разумно обратиться к изучению ИКТ как к техническому инструменту для мобилизации экологических ресурсов через теории социального конструирования технологий, методологию юзабилити-тестирования онлайн-платформ. В случае если исследователям важно вскрыть структуру и динамику взаимоотношений между активистами и участниками экологических платформ, в том числе с позиции самих акторов, есть смысл использовать разновидности сетевого подхода, включая квантифицированный акторно-сетевой анализ, который в российском научном сообществе пока недооценен. Для объяснения сложной конфигурации установок, мотиваций и ценностей субъектов по включению в экологические практики онлайн, а также факторов, которые оказывают влияние на процессы экоучастия, будут полезны социально-психологические теории объяснения экодеятельности. При дифференциации онлайн-активистов методологически любопытным для российского контекста может оказаться тестирование возможностей и ограничений типологии Милбарта. При этом совершенно очевидно, что предложенные выше методологические конфигурации не являются универсальным рецептом, а скорее приглашают читателей к творческому процессу тренировки социологического воображения при осмыслении процессов цифрового экоучастия в зависимости от тех исследовательских вопросов, которые они ставят перед собой.

Литература

- Алексеева А. (2012). Кафель: наша жизнь — гибрид виртуального и физического пространства. URL: <https://ria.ru/interview/20120622/679289114.html> (дата доступа: 12.01.2018).
- Башева О. А. (2020). Цифровой активизм как новый метод гражданской мобилизации // Научный результат: социология и управление. Т. 6. №. 1. С. 41–57.

- Бэйкер Д. (2012). Инновация модели бизнеса через «краудсорсинг» с использованием социальных сетевых платформ // Проблемы управления в социальных системах. № 6. С. 87–99.
- Бурдые П. (2007). Социология социального пространства. СПб.: Алетейя.
- Вартанова Е. Л., Вырковский А. В., Смирнов С. С., Макеенко М. И. (2017). Индустрия российских медиа: цифровое будущее. М.: МедиаМир.
- Гольбрайх В. Б. (2016а). Экологический активизм: новые формы политического участия // Дука А. В. (ред.). Власть и элиты. Т. 3. СПб.: Интерсоцис. С. 98–120.
- Гольбрайх В. Б. (2016б). Экологические общественные инициативы в интернете как новая практика политического участия // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 4. С. 340–350.
- Гольбрайх В. Б. (2017). Экологический активизм: новые формы политического участия // Асочаков Ю. В. (ред.). Глобальные социальные трансформации XX — начала XXI в. (к 100-летию Русской революции): Материалы научной конференции IX Ковалевские чтения (9–11 ноября 2017 года). СПб.: Скифия-принт. С. 315–316.
- Гольбрайх В. Б. (2018). Члены экологических групп в социальных медиа: цифровое участие и интересы // Петербургская социология сегодня. № 9. С. 91–119.
- Градосельская Г. В. (2004). Сетевые измерения в социологии. М.: Новый учебник.
- Демакова К., Маковецкая С., Скрякова Е. (2014). Неполитический активизм в России // Pro et Contra. Май — август. С. 148–163.
- Ермолаева П. О. (2017). Метаанализ применения новых информационно-коммуникационных технологий в цифровизации социально-экологического гражданского участия // Устойчивое развитие регионов: опыт, проблемы, перспективы: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Казань: Академия наук Республики Татарстан. С. 441–444.
- Ермолаева Ю. В. (2019). Мобильные приложения управления отходами и гражданский цифровой активизм // Шайхисламов Р. Б. (ред.). Социальные технологии работы с молодежью в условиях становления цифрового общества: Сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Уфа: РИЦ БашГУ. С. 102–103.
- Ермолаева П. О., Башева О. А. (2019). Электронные формы взаимодействия власти и гражданского общества // Электронный экономический вестник. № 2. С. 28–34.
- Ермолаева П. О., Ермолаева Ю. В. (2019). Критический анализ зарубежных теорий экологического поведения // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 4. С. 323–346.
- Коммерсантъ (2018). Декриминализация репостов собирает лайки. 04.10.2018. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3759645> (дата доступа: 19.09.2019).
- Мартынов К. (2012). От slackтивизма к республике: почему интернет-революции становятся реальностью // Логос. № 2. С. 19–27.

- Матвеева А. В. (2018). Особенности гражданского участия в условиях современного цифрового пространства // Форум молодых ученых. № 5. Т. 21. С. 620–625.
- Морозова Е. В., Мирошниченко И. В. (2011). Сетевые сообщества в условиях чрезвычайных ситуаций: новые возможности для граждан и для власти // Полис: политические исследования. № 1. С. 140–152.
- Морозова Е. В., Терешина М. В., Ермолов Н. Г. (2014). Тенденции развития экологической политики в современном мире // Научный журнал КубГАУ. № 101. С. 1528–1544.
- Невский А. (2015). Крымск-2012: мобилизация волонтеров в контексте политических протестов // Политика аполитичных: гражданские движения в России 2011–2013 годов. М.: Новое литературное обозрение. С. 391–407.
- Никовская Л. И. (2017). Гражданский активизм и публичная политика в России: состояние и вызовы. URL: <https://openbooks.itmo.ru/ru/file/6554/6554.pdf> (дата доступа: 19.09.2019).
- Перелет Р. А. (2018). Экологические аспекты цифровой экономики // Мир новой экономики. Т. 12. № 4. С. 39–45.
- Правительство Москвы (2019). Стратегия «Умный город-2030»: вводные материалы и общие принципы. URL: <https://storage.strategy24.ru/files/strategy/201903/724ca9541151bd969b96ed594f37a103.pdf> (дата доступа: 19.09.2019).
- Рябченко Н. А., Гнедаш Н. А. (2016). Цифровой активизм: новые медиа, гражданские приложения и технологические сообщества как основания для социально-политических изменений. URL: <https://openbooks.itmo.ru/ru/file/4078/4078.pdf> (дата доступа: 19.09.2019).
- Соколов А. В. (2013). Интернет-пространство: новые возможности для политического участия // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. № 4. С. 98–115.
- Соколов А. В., Дементьев А. А. (2013). Киберактивизм: проект «Роспил» как новая форма политической активности // Верченков Л. Н., Ефременко Д. В., Тищенко В. И. (ред.). Социальные сети и виртуальные сетевые сообщества. М.: ИНИОН РАН. С. 174–190.
- Соколов А. В., Дементьев А. А. (2014). Краудфандинг в российской политике // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. № 1. С. 106–124.
- Усачева О. А. (2012). Сети гражданской мобилизации // Общественные науки и современность. № 6. С. 35–42.
- Усачева О. А. (2013). Интернет как новая площадка для гражданской самоорганизации // Верченков Л. Н., Ефременко Д. В., Тищенко В. И. (ред.). Социальные сети и виртуальные сетевые сообщества. М.: ИНИОН РАН. С. 264–280.
- Ушкин С. Г. (2015). Влияние виртуальных социальных сетей на протестную активность в российском обществе. Автореф. дис. к.социол.н. Саранск.
- ФОМ (2018). Интернет в России: динамика проникновения. Зима 2017–2018 гг. URL: <https://fom.ru/SMI-i-internet/13999> (дата доступа: 19.09.2019).

- Хиппель Э. (2011). Потребительские инновации — новая парадигма развития // *Деловое совершенство*. № 5.
- Центр ГРАНИ (2012). Российский неполитический активизм: наброски к портрету героя. Отчет о результатах исследования активизма в России. URL: http://grany-center.org/sites/default/files/files/page/otchet_aktivizm.pdf (дата доступа: 19.09.2019).
- Чучкевич М. М. (1999). Что такое сетевая организация? М.: Изд-во Института социологии РАН.
- Шуровьески Д. (2007). *Мудрость толпы*. М.: Вильямс.
- Яницкий О. Н. (2009). Социальный капитал российского экологического движения // *Социологический журнал*. № 4. С. 5–21.
- Яницкий О. Н. (2013). Экологические катастрофы: структурно-функциональный анализ. URL: <http://www.isras.ru/publ.html?id=2794> (дата доступа: 19.09.2019).
- Delfi (2012). Всемирную уборку-2012 начали Словения и Португалия. 25.03.2012. URL: <https://rus.delfi.ee/daily/estonia/vsemirnuyu-uborku-2012-nachali-sloveniia-i-portugaliya?id=64126145> (дата доступа: 19.09.2019).
- Ackland R., O'Neil M. (2011). Online Collective Identity: The Case of the Environmental Movement // *Social Networks*. Vol. 33. № 3. P. 177–190.
- Ackland R., O'Neil M., Bimber B. (2006). New Methods for Studying Online Environmental-Activist Networks. Paper presented to 26th International Sunbelt Social Network Conference, Vancouver.
- Ajzen I. (1991). The Theory of Planned Behavior // *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50. № 2. P. 179–211.
- Asmolv G. (2014). Virtual Rynda — The Atlas of Help: Mutual Aid as a Form of Social Activism. URL: <http://globaldigitalactivism.org/index.html%3Fp=17.html> (дата доступа: 19.09.2019).
- Baack S. (2015). Datafication and Empowerment: How the Open Data Movement Re-articulates Notions of Democracy, Participation, and Journalism // *Big Data & Society*. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951715594634> (дата доступа: 19.09.2019).
- Baldassarri D., Diani M. (2007). The Integrative Power of Civic Networks // *American Journal of Sociology*. Vol. 113. № 3. P. 735–780.
- Baruch A., May A., Yu D. (2016). The Motivations, Enablers and Barriers for Voluntary Participation in an Online Crowdsourcing Platform // *Computers in Human Behavior*. Vol. 64. P. 923–931.
- Baym N. K. (2013). Data not Seen: The Uses and Shortcomings of Social Media Metrics. URL: <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4873/3752> (дата доступа: 19.09.2019).
- Bison I., Diani M. (2004). Organizations, Coalitions, and Movements // *Theory and Society*. Vol. 33. № 3–4. P. 281–309.
- Bonfadelli H. (2002). The Internet and Knowledge Gaps: A Theoretical and Empirical Investigation // *European Journal of Communication*. Vol. 17. № 1. P. 65–84.

- Brenig C., Accorsi R., Müller G.* (2015). Economic Analysis of Cryptocurrency Backed Money Laundering. URL: http://aisel.aisnet.org/ecis2015_cr/20/ (дата доступа: 19.09.2019).
- Castells M.* (2000). *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Castells M.* (2007). Communication, Power and Counter-Power in the Network Society // *International Journal of Communication*. Vol. 1. P. 238–266.
- Castells M.* (2009). *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Castells M.* (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet age*. Cambridge: Polity Press.
- Ciszek E.* (2016). Digital Activism: How Social Media and Dissensus Inform Theory and Practice // *Public Relations Review*. Vol. 42. № 2. P. 314–321.
- Coleman S., Przybylska A., Sintomer Y.* (2015). *Deliberation and Democracy: Innovative Processes and Institutions*. New York: Peter Lang.
- Constantinides P., Henfridsson O., Parker G. G.* (2018). Platforms and Infrastructures in the Digital Age // *Information Systems Research*. Vol. 29. № 2. P. iii–vi.
- Cresswell T., Dixon D., Bol P., Entrikin N.* (2015). Imagining and Practicing the Geohumanities: Past, Present, Future // *GeoHumanities*. Vol. 1. № 1. P. 1–19.
- Denning D. E.* (2001). Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign Policy // *Arquilla J., Ronfeldt D.* (eds.). *Networks and Networks: The Future of Terror, Crime and Militancy*. Santa Monica: RAND Corporation. P. 239–288.
- Dewey C.* (2016). The Next Frontier of Online Activism is «Woke» Chatbots. URL: <https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/08/11/the-next-frontier-of-online-activism-is-woke-chatbots/> (дата доступа: 19.09.2019).
- Doueihi M.* (2013). About Digital Humanism. URL: <http://www.inaglobal.fr/en/ideas/article/about-digital-humanism> (дата доступа: 15.04.2016).
- Elmer G., Langlois G., Redden J.* (2015). *Compromised Data: From Social Media to Big Data*. L.: Bloomsbury.
- Ermolaeva P., Ermolaeva Y., Kuznetsova I., Basheva O., Korunova V.* (2020). Environmental Issues in Russian Cities: Towards the Understanding of Regional and National Mass Media Discourse // *Russian Journal of Communication*. Vol. 12. № 1. P. 48–65.
- Fuchs C.* (2012). Some Reflections on Manuel Castells' book «Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age» // *TripleC: Cognition, Communication, Co-operation*. Vol. 10. № 2. P. 775–797.
- Garrett R. K.* (2006). Protest in an Information Society: A Review of Literature on Social Movements and New ICTs // *Information, Communication and Society*. Vol. 9. № 2. P. 202–224.
- Gerbaudo P.* (2017). From Cyber-Autonomism to Cyber-Populism: An Ideological History of Digital Activism // *TripleC: Cognition, Communication, Co-operation*. Vol. 15. № 2. P. 477–489.

- González-Bailón S., Borge-Holthoefer J., Rivero A., Moreno Y. (2011). The Dynamics of Protest Recruitment through an Online Network // *Scientific Reports*. Vol. 1. URL: <https://www.nature.com/articles/srep00197.pdf> (дата доступа: 19.09.2019).
- Green K. (2016). People's War in Cyberspace: Using China's Civilian Economy in the Information Domain // *Military Cyber Affairs*. Vol. 2. № 1. P. 4–8.
- Gronlund K., Strandberg K., Himmelroos S. (2009). The Challenge of Deliberative Democracy Online: A Comparison of Face-to-Face and Virtual Experiments in Citizen Deliberation // *Information Polity*. Vol. 14. № 3. P. 187–201.
- Habermas J. (1981). *Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Harlow S., Harp D. (2012). Collective Action on the Web // *Information, Communication & Society*. Vol. 15. № 2. P. 196–216.
- Hendriks C. (2009). Deliberative Governance in the Context of Power // *Policy and Society*. Vol. 28. № 3. P. 173–184.
- Hess D., Breyman S., Campbell N., Martin B. (2007). Science, Technology, and Social Movements. URL: <https://www.dhi.ac.uk/san/waysofbeing/data/data-crone-wyatt-2007b.pdf> (дата доступа: 27.05.2019).
- Horst H. (2016). Ethnography in a Digital World // *Pink S., Horst H., Postill J., Hjorth L., Lewis T., Tacchi J. Digital Ethnography: Principles and Practices*. L.: SAGE. P. 1–28.
- Horst H., Miller D. (2012). The Digital and the Human: A Prospectus for Digital Anthropology // *Horst H., Miller D. (eds.). Digital Anthropology*. L.: Berg. P. 3–35.
- Ilten C., McInerney P. (2019). Social Movements and Digital Technology A Research Agenda // *Digital STS: A Field Guide for Science & Technology Studies*. URL: https://digitalsts.net/wp-content/uploads/2019/03/14_Social-Movements.pdf (дата доступа: 27.05.2019).
- Janze C. (2017). Are Cryptocurrencies Criminals Best Friends? URL: <https://aisel.aisnet.org/amcis2017/InformationSystems/Presentations/2/> (дата доступа: 19.09.2019).
- Joyce M. (2010). *Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change*. N.Y.: Idebate Press.
- Katona Z., Zubcsek P. P., Sarvary M. (2011). Network Effects and Personal Influences: The Diffusion of an Online Social Network // *Journal of Marketing Research*. Vol. 48. № 3. P. 425–443.
- Kaun A., Uldam J. (2017). Digital Activism: After the Hype // *New Media and Society*. Vol. 20. № 6. P. 2099–2106.
- Knorr A. (2011). From Cyber to Digital Anthropology to an Anthropology of the Contemporary. Working Paper for the EASA Media Anthropology Network's 38th e-Seminar (22 November — 6 December 2011).
- Kurniawan N. I., Rye S. A. (2014). Online Environmental Activism and Internet Use in the Indonesian Environmental Movement // *Information Development*. Vol. 30. № 3. P. 200–212.
- Latour B. (2004). *Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy*. Cambridge: Harvard University Press.

- Latour B.* (2005). From Realpolitik to Dingpolitik: Or How to Make Things Public? // *Latour B., Weibel P.* (eds.). *Making Things Public: Atmospheres of Democracy*. Cambridge: MIT Press. P. 14–41.
- Lievrouw L. A.* (2011). *Alternative and Activist New Media*. Malden: Polity Press.
- Majchrzak A., Faraj S., Kane G. C., Azad B.* (2013). The Contradictory Influence of Social Media Affordances on Online Communal Knowledge Sharing // *Journal of Computer-Mediated Communication*. Vol. 19. № 1. P. 38–55.
- Marin B., Mayntz R.* (1991). *Policy Network: Empirical Evidence and theoretical Considerations*. Frankfurt am Main: Campus.
- Mercier H., Landemore H.* (2012). Reasoning is for Arguing: Understanding the Successes and Failures of Deliberation // *Political Psychology*. Vol. 33. № 2. P. 243–258.
- Milan S., Velden L.* (2016). The Alternative Epistemologies of Data Activism // *Digital Culture & Society*. Vol. 2. № 2. P. 57–74.
- Milbrath L. W.* (1965). *Political Participation: How and Why do People Get Involved in Politics?* Chicago: Rand McNally.
- Milbrath L. W.* (1981). *Political Participation* // *Long S. L.* (ed.). *The Handbook of Political Behavior*. Vol. 4. New York: Plenum Press. P. 197–240.
- Milbrath L. W.* (1985). *Environmentalists, Vanguard for a New Society*. Albany: State University of New York Press.
- Mueller J., Hangxin L., Chirkin A., Klein B., Schmitt G.* (2018). Citizen Design Science: A Strategy for Crowd-Creative Urban Design // *Cities*. Vol. 72. Part A. P. 181–188.
- Mueller M., Tippins D., Bryan L.* (2012). The Future of Citizen Science // *Democracy and Education*. Vol. 20. № 1. P. 1–11.
- Newman B. J., Bartels B. L.* (2011). Politics at the Checkout Line: Explaining Political Consumerism in the United States // *Political Research Quarterly*. Vol. 64. № 4. P. 803–817.
- Nguyen D.* (2017). *Public Discourses and Political Online Communication* // *Nguyen D.* *Europe, the Crisis, and the Internet: A Web Sphere Analysis*. Cham: Palgrave Macmillan. P. 71–129.
- Nielsen J.* (2012). The Most Important Usability Activity. URL: <https://www.nngroup.com/articles/the-most-important-usability-activity/> (дата доступа: 20.01.2017).
- Noland A.* (2017). *Clicks, Likes, and Shares: Using the Theory of Planned Behavior, Self-Efficacy, and Impression Management to Predict Digital Activism Activities*. PhD Dissertation. James Madison University.
- Olesen T.* (2005). Transnational Publics: New Space of Social Movement Activism and the Problem of Global Long-Sightedness // *Current Sociology*. Vol. 53. № 3. P. 419–440.
- Orlikowski W. J.* (2002). Knowing in Practice: Enacting a Collective Capability in Distributed Organizing // *Organization Science*. Vol. 13. № 3. P. 249–273.
- Park N., Yang A.* (2012). Online Environmental Community Members' Intention to Participate in Environmental Activities: An Application of the Theory of Planned Behavior in the Chinese Context // *Computers in Human Behavior*. Vol. 28. № 4. P. 1298–1306.

- Polat R. K. (2005). The Internet and Political Participation: Exploring the Explanatory Links // *European Journal of Communication*. Vol. 20. № 4. P. 435–459.
- Posthumus S., Sinclair S. (2016). Digital? Environmental: Humanities // *Christenson J., Heise U., Niemann M. (eds.)*. Routledge Companion to the Environmental Humanities. L.: Routledge. P. 369–377.
- Pozzebon M., Cunha M. A., Coelho T. R. (2016). Making Sense to Decreasing Citizen Ep-articipation through a Social Representation Lens // *Information and Organization*. Vol. 26. № 3. P. 84–99.
- Rucht D. (2004). The Quadruple «A»: Media Strategies of Protest Movements since the 1960s // *Donk W. van de, Loader B. D., Nixon P. G., Rucht D. (eds.)*. Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements. L.: Routledge. P. 29–56.
- Salge C. A. D. L., Karahanna E. (2018). Protesting Corruption on Twitter: Is It a Bot or is It a Person? // *Academy of Management Discoveries*. Vol. 4. № 1. P. 32–49.
- Savage S., Monroy-Hernández A., Hollerer T. (2016). Botivist: Calling Volunteers to Action using Online Bots. Microsoft Research. URL: <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/botivist-calling-volunteers-to-action-using-online-bots/> (дата доступа: 19.09.2019).
- Schwartz S. H. (1973). Normative Explanations of Helping Behavior: A Critique, Proposal, and Empirical Test // *Journal of Experimental Social Psychology*. Vol. 9. № 4. P. 349–364.
- Selander L., Jarvenpaa S. L. (2016). Digital Action Repertoires and Transforming a Social Movement Organization // *MIS Quarterly*. Vol. 40. № 2. P. 331–352.
- Shirk J. L., Ballard H. L., Wilderman C. C., Phillips T., Wiggins A., Jordan R., McCallie E., Minarchek M., Lewenstein B. V., Krasny M. E., Bonney R. (2012). Public Participation in Scientific Research: A Framework for Deliberate Design // *Ecology and Society*. Vol. 17. № 2. P. 29–48.
- Sinclair S., Poplawski V. (2018). Digital Environmental Humanities: Strong Networks, Innovative Tools, Interactive Objects // *Resilience*. Vol. 5. № 2. P. 156–171.
- Stern P. C. (1999). Information, Incentives and Pro-environmental Consumer Behavior // *Journal of Consumer Policy*. Vol. 22. № 2. P. 461–468.
- Stern P. C. (2000). New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior // *Journal of Social Issues*. Vol. 56. № 3. P. 407–424.
- Teorell J., Torcal M., Montero J. R. (2007). Political Participation: Mapping the Terrain // *Deth J. W., Montero J. R., Westholm A. (eds.)*. Citizenship and Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis. L.: Routledge. P. 334–357.
- Toerpe K. (2013). The Rise of Citizen Science // *The Futurist*. Vol. 47. № 4. P. 25–30.
- Travis C., Holm P. (2016). The Digital Environmental Humanities: What is It and Why do We Need It? // *Travis C. (ed.)*. The Digital Arts and Humanities: Neogeography, Social Media and Big Data Integrations and Applications. Cham: Springer. P. 187–204.
- Usacheva O. (2013). Urban Social Movements under Disaster Conditions (the Case of Krymsk). URL: <https://www.ssa-rss.ru/files/File/PublikaciiROS/RussianSociologyIn-ThePeriodOfCrisisCritiqueAndChanges.pdf> (дата доступа: 19.09.2019).

- Ventura R., Mallet V., Issarny V. (2018). Assimilation of Mobile Phone Measurements for Noise Mapping of a Neighborhood // *Journal of the Acoustical Society of America*. Vol. 144. № 3. P. 1279–1292.
- Villasclaras-Fernandez E.D., Sharples M., Kelley S., Scanlon E. (2013). Supporting Citizen Inquiry: An Investigation of Moon Rock // *Hernández-Leo D., Ley T., Klamma R., Harrer A.* (eds.). *Scaling up Learning for Sustained Impact: Proceedings of the 8th European Conference, on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2013* (Paphos, Cyprus, September 17–21, 2013). Berlin: Springer. P. 383–395.
- Weber G., Schaefer K., Prossinger H., Gunz P., Mitteroecker P., Horst S. (2001). Virtual Anthropology: The Digital Evolution in Anthropological Sciences // *Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science*. Vol. 20. № 2. P. 69–80.
- White M. (2010). Clicktivism is Ruining Leftist Activism. URL: <https://www.common-dreams.org/views/2010/08/12/clicktivism-ruining-leftist-activism> (дата доступа: 19.09.2019).
- Young A. (2018). Using ICT for Social Good: Cultural Identity Restoration through Emancipatory Pedagogy // *Information Systems Journal*. Vol. 28. № 2. P. 340–358.
- Zuo J., Xia H., Liu S., Qiao Y. (2016). Mapping Urban Environmental Noise Using Smartphones // *Sensors*. Vol. 16. № 10. Art. 1692.

Digital Environmental Activism as the New Form of Environmental Participation

Polina Ermolaeva

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Department of Sociology, Kazan Federal University
Address: Kremlevskaya str., 18, Kazan, Russian Federation 420008
E-mail: polina.ermolaeva@gmail.com

Yulia Ermolaeva

Junior Research Fellow, Virtual Research Lab "RSF-17-45-VP", Kazan Federal University
Address: Kremlevskaya str., 18, Kazan, Russian Federation 420008
E-mail: mistelfrayard@mail.ru

Olga Basheva

Candidate of Sociological Sciences, Research Fellow, Virtual Research Lab "RSF-17-45-VP", Kazan Federal University
Research Fellow, Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences
Address: Kremlevskaya str., 18, Kazan, Russian Federation 420008
E-mail: OlgaAUsacheva@yandex.ru

The article provides a comprehensive study and systematization of the main approaches and theories to the study of digital environmental activism based on a related-literature analysis. The authors came to the conclusion that, in the conceptualization of a digital environmental

activism, researchers place emphasis either on the features of the digital technologies that drive such activity, or on the basis of the environmental mobilization itself. In this work, combining both approaches with digital environmental activism, the authors understand the voluntary collective activity around common environmental interests and values that are implemented publicly and voluntarily through the use of new informational and communication technologies. The article discusses the main features of digital environmental activism, which include, on the one hand, the enhancement of environmental knowledge, and the change in the paradigm of interaction between actors in which they become not only consumers of information, but also its active producers. On the other hand, digital practices contribute to the alienation of users from the real protest movement by limiting them to virtual means of interaction; additionally, this form of participation is not accessible to all citizens, thereby generating new forms of digital inequality and social distances. The authors examined various types of digital participation which include clicktivism, meta-voting, self-affirmation, e-finance, political consumer protection, digital petitions, botivism, data activity, and hacktivism. The authors critically assess both established and new theoretical approaches to the study of digital eco-activism such as Castells' theory of network society, deliberative democracy, "citizen science", socio-psychological theories to explain environmental behavior, and Digital Environmental Humanities. The author's vision of possible options for data synthesis in the study of environmental online activism for the Russian scientific context is proposed.

Keywords: digital activism, digital environmental activism, crowdsourcing, Internet technologies, digital society, online communities, digital humanities, citizen science

References

- Ackland R., O'Neil M. (2011) Online Collective Identity: The Case of the Environmental Movement. *Social Networks*, vol. 33, no 3, pp. 177–190.
- Ackland R., O'Neil M., Bimber B. (2006) New Methods for Studying Online Environmental-Activist Networks (Paper presented to 26th International Sunbelt Social Network Conference, Vancouver).
- Ajzen I. (1991) The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 50, no 2, pp. 179–211.
- Alekseeva A. (2012) Kastel's: nasha zhizn' — gibril virtual'nogo i fizicheskogo prostranstva [Castells: Our Life is a Gybrid of Virtual and Physical Space]. Available at: <https://ria.ru/interview/20120622/679289114.html> (accessed 12 January 2018).
- Asmolv G. (2014) Virtual Rynda — The Atlas of Help: Mutual Aid as a Form of Social Activism. Available at: <http://globaldigitalactivism.org/index.html%3Fp=17.html> (accessed 19 September 2019).
- Baack S. (2015) Datafication and Empowerment: How the Open Data Movement Re-articulates Notions of Democracy, Participation, and Journalism. *Big Data & Society*. Available at: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951715594634> (accessed 19 September 2019).
- Baldassarri D., Diani M. (2007) The Integrative Power of Civic Networks. *American Journal of Sociology*, vol. 3, no 3, pp. 735–780.
- Baruch A., May A., Yu D. (2016) The Motivations, Enablers and Barriers for Voluntary Participation in an Online Crowdsourcing Platform. *Computers in Human Behavior*, vol. 64, pp. 923–931.
- Basheva O. (2019) Elektronnyye formy vzaimodeystviya vlasti i grazhdanskogo obshchestva [Electronic Forms of Interaction between Government and Civil Society]. *Economic Bulletin*, no 2, pp. 28–34.
- Basheva O. (2020) Tsifrovoy aktivizm kak novyy metod grazhdanskoy mobilizatsii [Digital Activism as a New Method of Civil Mobilization]. *Scientific Result: Sociology and Management*, vol. 6, no 1, pp. 41–57.
- Baym N. K. (2013) Data not Seen: The Uses and Shortcomings of Social Media Metrics. Available at: <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4873/3752> (accessed 19 September 2019).

- Beyker D. (2012) Innovatsiya modeli biznesa cherez "kraudorsoring" s ispol'zovaniem sotsial'nykh setevykh platform [Innovating a Business Model through Crowdsourcing Using Social Networking Platforms]. *Problemy upravleniya v sotsialnykh sistemakh*, no 6, pp. 87–99.
- Bison I., Diani M. (2004) Organizations, Coalitions, and Movements. *Theory and Society*, vol. 33, no 3–4, pp. 281–309.
- Bonfadelli H. (2002) The Internet and Knowledge Gaps: A Theoretical and Empirical Investigation. *European Journal of Communication*, vol. 17, no 1, pp. 65–84.
- Bourdieu P. (2007) *Sociologija social'nogo prostranstva* [Sociology of Social Space], Saint Petersburg: Aleteya.
- Brenig C., Accorsi R., Müller G. (2015) Economic Analysis of Cryptocurrency Backed Money Laundering. Available at: http://aisel.aisnet.org/ecis2015_cr/20/ (accessed 19 September 2019).
- Castells M. (2000) *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Castells M. (2007) Communication, Power and Counter-Power in the Network Society. *International Journal of Communication*, vol. 1, pp. 238–266.
- Castells M. (2009) *Communication Power*, Oxford: Oxford University Press.
- Castells M. (2012) *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*, Cambridge: Polity Press.
- Chuchkevich M. (1999) *Chto takoe setevaja organizacija?* [What is a Network Organization?], Moscow: RAN Institute of Sociology.
- Ciszek E. (2016) Digital Activism: How Social Media and Dissensus Inform Theory and Practice. *Public Relations Review*, vol 42, no 2, pp. 314–321.
- Coleman S., Przybylska A., Sintomer Y. (2015) *Deliberation and Democracy: Innovative Processes and Institutions*, New York: Peter Lang.
- Constantinides P., Henfridsson O., Parker, G. G. (2018) Platforms and Infrastructures in the Digital Age. *Information Systems Research*, vol. 29, no 2, pp. iii–vi.
- Cresswell T., Dixon D., Bol P., Enrikin N. (2015) Imagining and Practicing the Geohumanities: Past, Present, Future. *GeoHumanities*, vol. 1, no 1, pp. 1–19.
- Delfi (2012) Vsemirnuyu uborku-2012 nachali Sloveniya i Portugaliya [Slovenia and Portugal Started the 2012 World Cleaning]. 25.03.2012. Available at: <https://rus.delfi.ee/daily/estonia/vsemirnuyu-uborku-2012-nachali-sloveniya-i-portugaliya?id=64126145> (accessed 19 September 2019).
- Demakova K., Makoveckaya S., Skryakova E. (2014) Napoliticheskij aktivizm v Rossii [Non-political Activism in Russia]. *Pro et Contra*, May–August, pp. 148–163.
- Denning D. E. (2000) Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign Policy. *Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime and Militancy* (eds. J. Arquilla, D. Ronfeldt), Santa Monica: RAND Corporation, pp. 239–288.
- Dewey C. (2016) The Next Frontier of Online Activism is "Woke" Chatbots. Available at: <https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/08/11/the-next-frontier-of-online-activism-is-woke-chatbots/> (accessed 19 September 2019).
- Doueihi M. (2013) About Digital Humanism. Available at: <http://www.inaglobal.fr/en/ideas/article/about-digital-humanism> (accessed 15 April 2016).
- Elmer G., Langlois G., Redden J. (2015) *Compromised Data: From Social Media to Big Data*, London: Bloomsbury.
- Ermolaeva P. (2017) Meta-analiz primeneniya novykh informacionno-kommunikacionnykh tehnologij v cifrovizacii social'no-jekologicheskogo grazhdanskogo uchastija [A Meta-analysis of the Use of New Information and Communication Technologies in the Digitalization of Social and Environmental Civic Participation]. *Ustojchivoe razvitiye regionov: opyt, problemy, perspektivy* [The Sustainable Development of the Regions: Experiences, Problems, Prospects], Kazan: Tatarstan Academy of Sciences, pp. 441–444.
- Ermolaeva P. (2019) Mobil'nyye prilozheniya upravleniya otkhodami i grazhdanskiy tsifrovoy aktivizm [Mobile Applications of Waste Management and Civic Digital Activism]. *Sotsial'nyye tekhnologii raboty s molodezh'yu v usloviyakh stanovleniya tsifrovogo obshchestva: Sbornik statey IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Social Technologies of Working with Youth in the Context of the Digital Society: Proceedings of the IV International Scientific-Practical Conference] (ed. R. Shaykhislamov), Ufa: RITS BashGU, pp. 102–103.

- Ermolaeva P., Ermolaeva Y. (2019) Kriticheskij analiz zarubezhnyh teorij jekologicheskogo povedenija [Critical Analysis of Foreign Theories of Ecological Behavior]. *Monitoring Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 4, pp. 323–346.
- Ermolaeva P., Ermolaeva Y., Kuznetsova I., Basheva O., Korunova V. (2020) Environmental Issues in Russian Cities: Towards the Understanding of Regional and National Mass Media Discourse. *Russian Journal of Communication*, vol. 12, no 1, pp. 48–65.
- FOM (2018) Internet v Rossii: dinamika proniknovenija. Zima 2017–2018 gg [Internet in Russia: Dynamics of Penetration. Winter 2017–2018]. Available at: <https://fom.ru/SML-i-internet/13999> (accessed 19 September 2019).
- Fuchs C. (2012) Some Reflections on Manuel Castells' book "Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age". *TripleC: Cognition, Communication, Co-operation*, vol. 10, no 2, pp. 775–797.
- Garrett R. K. (2006) Protest in an Information Society: A Review of Literature on Social Movements and New ICTs. *Information, Communication and Society*, vol. 9, no 2, pp. 202–224.
- Gerbaudo P. (2017) From Cyber-Autonomism to Cyber-Populism: An Ideological History of Digital Activism. Available at: <https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/773> (accessed 19 September 2019).
- Golbraikh V. (2016) Ekologicheskij aktivizm: novyye formy politicheskogo uchastiya [Ecological Activism: New Forms of Political Participation]. *Vlast' i elity. T. 3* [Power and Elites, Vol. 3] (ed. by A. Duka), Saint Petersburg: Intersocis, pp. 98–120.
- Golbraikh V. (2016) Ekologicheskiye obshchestvennyye initsiativy v Internete kak novaya praktika politicheskogo uchastiya [Ecological Civil Initiatives as a New Practice of Political Participation]. *Bulletin of Tomsk State University: Philosophy, Sociology, Political Science*, no 4, pp. 340–350.
- Golbraikh V. (2017) Ekologicheskij aktivizm: novyye formy politicheskogo uchastiya [Environmental Activism: New Forms of Political Participation]. *Global'nyye sotsial'nyye transformatsii XX — nachala XXI vv.* [Global Social Transformations of the 20th — Early 21st Centuries] (ed. Y. Asochakov), Saint Petersburg: Scythia-Print, pp. 315–316.
- Golbraikh V. (2018) Chleny ekologicheskikh grupp v sotsial'nykh media: tsifrovoye uchastiye i interesy [Members of Environmental Groups in Social Media: Digital Participation and Interests]. *Petersburg Sociology Today*, no 9, pp. 91–119.
- González-Bailón S., Borge-Holthoefer J., Rivero A., Moreno Y. (2011) The Dynamics of Protest Recruitment through an Online Network. *Scientific Reports*, vol. 1. Available at: https://www.researchgate.net/publication/221852493_The_Dynamics_of_Protest_Recruitment_Through_an_Online_Network (accessed 19 September 2019).
- Gradoselskaya G. (2004) *Setevye izmereniya v sociologii* [Network Measurements in Sociology], Moscow: Novy uchebnik.
- GRANY Center (2012) Rossiyskiy nepoliticheskij aktivizm: nabroski k portretu geroya [Russian Non-political Activism: Outlines of the Portrait of the Hero]. Available at: <http://grany-center.org/content/nonpolitic> (accessed 19 September 2019).
- Green K. (2016) People's War in Cyberspace: Using China's Civilian Economy in the Information Domain. *Military Cyber Affairs*, vol. 2, no 1, pp. 4–8.
- Gronlunda K., Strandberga K., Himmelroosb S. (2009) The Challenge of Deliberative Democracy Online: A Comparison of Face-to-Face and Virtual Experiments in Citizen Deliberation. *Information Polity*, vol. 14, no 3, pp. 187–201.
- Habermas J. (1981) *Theorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Harlow S., Harp D. (2012) Collective Action on the Web. *Information, Communication & Society*, vol. 15, no 2, pp. 196–216.
- Hendriks C. (2009) Deliberative Governance in the Context of Power. *Policy and Society*, vol. 28, no 3, pp. 173–184.
- Hess D., Breyman S., Campbell N., Martin B. (2007) Science, Technology, and Social Movements. Available at: <https://www.dhi.ac.uk/san/wayssofbeing/data/data-crone-wyatt-2007b.pdf> (accessed 19 September 2019).
- Horst H. (2016) *Ethnography in a Digital World*. Pink S., Horst H., Postill J., Hjorth L., Lewis T., Tacchi J., *Digital Ethnography: Principles and Practices*, London: SAGE, pp. 1–28.

- Horst H., Miller D. (2012) The Digital and the Human: A Prospectus for Digital Anthropology. *Digital Anthropology* (eds. H. Horst, D. Miller). London: Berg, pp. 3–35.
- Howe J. (2012) *Kraudsorsing: Iollektivnyy razum kak instrument razvitiya biznesa* [Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business], Moscow: Alpina Publisher.
- Ilten C., McInerney P. (2019) Social Movements and Digital Technology: A Research Agenda. *Digital STS: A Field Guide for Science & Technology Studies*. Available at: https://digitalsts.net/wp-content/uploads/2019/03/14_Social-Movements.pdf (accessed 19 September 2019).
- Janze C. (2017) Are Cryptocurrencies Criminals Best Friends?. Available at: <https://aisel.aisnet.org/amcis2017/InformationSystems/Presentations/2/> (accessed 19 September 2019).
- Joyce M. (2010) *Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change*, New York: Idebate Press.
- Katona Z., Zubcsek P. P., Sarvary M. (2011) Network Effects and Personal Influences: The Diffusion of an Online Social Network. *Journal of Marketing Research*, vol. 48, no 3, pp. 425–443.
- Kaun A., Uldam J. (2017) Digital Activism: After the Hype. *New Media and Society*, vol. 20, no 6, pp. 2099–2106.
- Khippel E. (2011) Potrebitel'skiye innovatsii — novaya paradigma razvitiya [Consumer Innovation — A New Development Paradigm]. *Business Excellence*, no 5.
- Knorr A. From Cyber to Digital Anthropology to an Anthropology of the Contemporary (Working Paper for the EASA Media Anthropology Network's 38th e-Seminar (22 November — 6 December 2011)).
- Kommersant (2018) Dekriminalizatsiya repostov sobirayet layki [Decriminalization of Reposts Collects Likes], 04.10.2018. *Kommersant*. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/3759645> (accessed 19 September 2019).
- Kurniawan N. I., Rye S. A. (2014) Online Environmental Activism and Internet Use in the Indonesian Environmental Movement. *Information Development*, vol. 30, no 3, pp. 200–212.
- Latour B. (2004) *Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy*, Cambridge: Harvard University Press.
- Latour B. (2005) From Realpolitik to Dingpolitik; Or, How to Make Things Public?. *Making Things Public: Atmospheres of Democracy* (eds. B. Latour, P. Weibel), Cambridge: MIT Press, pp. 14–41.
- Lievrouw L. A. (2011) *Alternative and Activist New Media*, Malden: Polity Press.
- Majchrzak A., Faraj S., Kane G. C., Azad, B. (2013) The Contradictory Influence of Social Media Affordances on Online Communal Knowledge Sharing. *Journal of Computer-Mediated Communication*, vol. 19, no 1, pp. 38–55.
- Marin B., Mayntz R. (1991) *Policy Network: Empirical Evidence and Theoretical Considerations*, Frankfurt am Main: Campus.
- Matveeva A. (2018) Osobennosti grazhdanskogo uchastija v usloviyah sovremennogo cifrovogo prostranstva [Features of Civic Participation in the Modern Digital Space]. *Forum molodykh uchenykh*, vol. 21, no 5-2, pp. 620–625.
- Mercier H., Landemore H. (2012) Reasoning is for Arguing: Understanding the Successes and Failures of Deliberation. *Political Psychology*, vol. 33, no 2, pp. 243–258.
- Milan S., Velden L. (2016) The Alternative Epistemologies of Data Activism. *Digital Culture & Society*, vol. 2, no 2, pp. 57–74.
- Milbrath L. W. (1965) *Political Participation: How and Why do People Get Involved in Politics?*, Chicago: Rand McNally.
- Milbrath L. W. (1985) *Environmentalists, Vanguard for a New Society*, Albany: SUNY Press.
- Milbrath, L. W. (1981) Political Participation. *The Handbook of Political Behavior* (ed. S. L. Long), Boston: Springer, pp. 197–240.
- Morozova E., Tereshina M., Ermolov N. (2014) Tendentsii razvitiya ekologicheskoy politiki v sovremennom mire [Trends in the Development of Environmental Policy in the Modern World]. *Scientific Journal of KubSAU*, no 101, pp. 1528–1544.
- Moscow Government (2019) Strategiya "Umnyj gorod-2030": vvodnye materialy i obshhie principy [Strategy "Smart City-2030": Introductory Materials and General Principles]. Available at: <https://storage.strategy24.ru/files/strategy/201903/724ca9541151bd969b96ed594f37a103.pdf> (accessed 19 September 2019).

- Mueller J., Hangxin L., Chirkin A., Klein B., Schmitt G. (2018) Citizen Design Science: A Strategy for Crowd-Creative Urban Design. *Cities*, vol. 72, part A, pp. 181–188.
- Mueller M., Tippins D., Bryan L. (2012) The Future of Citizen Science. *Democracy and Education*, vol. 20, no 1, pp. 1–11.
- Nevsky A. (2015) Krymsk 2012: mobilizacija volonterov v kontekste politicheskikh protestov [Krymsk 2012: Mobilization of Volunteers in the Context of Political Protests]. *Politika apolitichnyh: grazhdanskije dvizhenija v Rossii 2011–2013 godov* [Politics of the Apolitical: Civic Movements in Russia, 2011–2013], Moscow: New Literary Observer, pp. 391–407.
- Newman B. J., Bartels B. L. (2011) Politics at the Checkout Line: Explaining Political Consumerism in the United States. *Political Research Quarterly*, vol. 64, no 4, pp. 803–817.
- Nguyen D. (2017) Public Discourses and Political Online Communication. *Europe, the Crisis, and the Internet: A Web Sphere Analysis*, Cham: Palgrave Macmillan, pp. 71–129.
- Nielsen J. (2012) The Most Important Usability Activity. Available at: <https://www.nngroup.com/articles/the-most-important-usability-activity/> (accessed 20 January 2017).
- Nikovskaya L. (2017) Grazhdanskij aktivizm i publichnaja politika v Rossii: sostojanie i vyzovy [Civic Activism and Public Policy in Russia: State and Challenges]. Available at: <https://openbooks.itmo.ru/ru/file/6554/6554.pdf> (accessed 19 September 2019).
- Noland A. (2017) *Clicks, Likes, and Shares: Using the Theory of Planned Behavior, Self-Efficacy, and Impression Management to Predict Digital Activism Activities* (PhD Dissertation), James Madison University.
- Olesen T. (2005) Transnational Publics: New Space of Social Movement Activism and the Problem of Global Long-Sightedness. *Current Sociology*, vol. 53, no 3, pp. 419–440.
- Orlikowski W. J. (2002) Knowing in Practice: Enacting a Collective Capability in Distributed Organizing. *Organization Science*, vol. 13, no 3, pp. 249–273.
- Park N., Yang A. (2012) Online Environmental Community Members' Intention to Participate in Environmental Activities: An Application of the Theory of Planned Behavior in the Chinese Context. *Computers in Human Behavior*, vol. 28, no 4, pp. 1298–1306.
- Perelet R. (2018) Jekologicheskie aspekty cifrovoj jekonomiki [Environmental Aspects of the Digital Economy]. *The World of New Economy*, vol. 12, no 4, pp. 39–45.
- Polat R. K. (2005) The Internet and Political Participation: Exploring the Explanatory Links. *European Journal of Communication*, vol. 20, no 4, pp. 435–459.
- Posthumus S., Sinclair S. (2016) Digital? Environmental: Humanities. *Routledge Companion to the Environmental Humanities* (eds. J. Christenson, U. Heise, M. Niemann), London: Routledge, pp. 369–377.
- Pozzebon M., Cunha M. A., Coelho T. R. (2016) Making Sense to Decreasing Citizen Eparticipation through a Social Representation Lens. *Information and Organization*, vol. 26, no 3, pp. 84–99.
- Rucht D. (2004) The Quadruple "A": Media Strategies of Protest Movements since the 1960s. *Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements* (eds. W. van de Donk, B. D. Loader, P. G. Nixon, D. Rucht), London: Routledge, pp. 29–56.
- Ryabchenko N., Gnedash N. (2016) Cifrovoj aktivizm: novye media, grazhdanskije prilozhenija i tehnologicheskie soobshhestva kak osnovanija dlja social'no-politicheskikh izmenenij [Digital Activism: New Media, Civic Applications and Technological Communities as the Basis for Socio-political Changes]. Available at: <https://openbooks.itmo.ru/ru/file/4078/4078.pdf> (accessed 19 September 2019).
- Salge C. A. D. L., Karahanna, E. (2018) Protesting Corruption on Twitter: Is It a Bot or is It a Person?. *Academy of Management Discoveries*, vol. 4, no 1, pp. 32–49.
- Savage S., Monroy-Hernández A., Hollerer T. (2016) Botivist: Calling volunteers to Action using Online Bots. Microsoft Research. Available at: <https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/botivist-calling-volunteers-to-action-using-online-bots/> (accessed 19 September 2019).
- Schwartz S.H. (1973) Normative Explanations of Helping Behavior: A Critique, Proposal, and Empirical Test. *Journal of Experimental Social Psychology*, vol. 9, no 4, pp. 349–364.
- Selander L., Jarvenpaa S. L. (2016) Digital Action Repertoires and Transforming a Social Movement Organization. *MIS Quarterly*, vol. 40, no 2, pp. 331–352.

- Shirk J. L., Ballard H. L., Wilderman C. C., Phillips T., Wiggins A., Jordan R., McCallie E., Minarchek M., Lewenstein B. V., Krasny M. E., Bonney R. (2012) Public Participation in Scientific Research: A Framework for Deliberate Design. *Ecology and Society*, vol. 17, no 2, pp. 29–48.
- Sinclair S., Poplawski V. (2018) Digital Environmental Humanities: Strong Networks, Innovative Tools, Interactive Objects. *Resilience*, vol. 5, no 2, pp. 156–171.
- Sokolov A. (2013) Internet-prostranstvo: novye vozmozhnosti dlja politicheskogo uchastija [Internet Space: New Opportunities for Political Participation]. *Bulletin of Perm University. Political Science*, no 4, pp. 98–115.
- Sokolov A., Dementiev A. (2013) Kiberaktivizm: proekt “Rospil” kak novaja forma politicheskoy aktivnosti [Cyberactivism: The Rospil Project as a New Form of Political Activity]. *Social'nye seti i virtual'nye setevye soobshhestva* [Social Networks and Virtual Networked Communities] (eds. L. Verchenov, D. Efremenko, V. Tishchenko), Moscow: INION RAN, pp. 174–190.
- Sokolov A., Dementiev A. (2014) Kraudfanding v rossijskoj politike [Crowdfunding in Russian Politics]. *Moscow State University Bulletin. Series 18: Sociology and Political Science*, vol. 18, no 1, pp. 106–124.
- Stern P. C. (1999) Information, Incentives and Pro-environmental Consumer Behavior. *Journal of Consumer Policy*, vol. 22, no 2, pp. 461–468.
- Stern P. C. (2000) New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. *Journal of Social Issues*, vol. 56, no 3, pp. 407–424.
- Surowiecki J. (2007) *Mudrost' tolpy* [The Wisdom of Crowds], Moscow: Williams.
- Teorell J., Torcal M., Montero J. R. (2007) Political Participation: Mapping the Terrain. *Citizenship and Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis* (eds. J. W. Deth, J. R. Montero, A. Westholm), London: Routledge, pp. 334–357.
- Toerpe K. (2013) The Rise of Citizen Science. *The Futurist*, vol. 47, no 4, pp. 25–30.
- Travis C., Holm P. (2016) The Digital Environmental Humanities: What Is It and Why Do We Need It?. *The Digital Arts and Humanities: Neogeography, Social Media and Big Data Integrations and Applications* (ed. C. Travis), Cham: Springer, pp. 187–204.
- Usacheva O. (2012) Seti grazhdanskoj mobilizacii [Networks of Civil Mobilization]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 6, pp. 35–42.
- Usacheva O. (2013) Internet kak novaja ploshhadka dlja grazhdanskoj samoorganizacii [Internet as a New Platform for Civic Self-Organization]. *Social'nye seti i virtual'nye setevye soobshhestva* [Social Networks and Virtual Networked Communities] (eds. L. Verchenov, D. Efremenko, V. Tishchenko), Moscow: INION RAN, pp. 264–280.
- Usacheva O. (2013) Urban Social Movements under Disaster Conditions (the Case of Krymsk). Available at: <https://www.ssa-rss.ru/files/File/PublikaciiROS/RussianSociologyInThePeriodOfCrisisCritiqueAndChanges.pdf> (accessed 19 September 2019).
- Vartanova E., Vyrkovsky A., Smirnov S., Makeenko M. (2017) *Industrija rossijskikh media: cifrovoe budushhee* [Russian Media Industry: Digital Future], Moscow: MediaMir.
- Ventura R., Mallet V., Issarny V. (2018) Assimilation of Mobile Phone Measurements for Noise Mapping of a Neighborhood. *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 144, no 3, pp. 1279–1292.
- Villasclaras-Fernandez E.D., Sharples M., Kelley S., Scanlon E. (2013) Supporting Citizen Inquiry: An Investigation of Moon Rock. *Scaling up Learning for Sustained Impact: Proceedings of the 8th European Conference, on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2013* (Paphos, Cyprus, September 17–21, 2013) (eds. D. Hernández-Leo, T. Ley, R. Klamma, A. Harrer), Berlin: Springer, pp. 383–395.
- Weber G., Schaefer K., Prossinger H., Gunz P., Mitteroecker P., Horst S. (2001) Virtual Anthropology: The Digital Evolution in Anthropological Sciences. *Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science*, vol. 20, no 2, pp. 69–80.
- White M. (2010) Clicktivism is Ruining Leftist Activism. Available at: <https://www.commondreams.org/views/2010/08/12/clicktivism-ruining-leftist-activism> (accessed 19 September 2019).
- Yanitsky O. (2009) Social'nyj kapital rossijskogo jekologicheskogo dvizhenija [Social Capital of the Russian Environmental Movement]. *Sociological Journal*, no 4, pp. 5–21.

- Yanitsky O. (2013) *Jekologicheskie katastrofy: strukturno-funkcional'nyj analiz* [Environmental Disasters: Structural and Functional Analysis]. Available at: <http://www.isras.ru/publ.html?id=2794> (accessed 19 September 2019).
- Young A. (2018) Using ICT for Social Good: Cultural Identity Restoration through Emancipatory Pedagogy. *Information Systems Journal*, vol. 28, no 2, pp. 340–358.
- Zuo J., Xia H., Liu S., Qiao Y. (2016) Mapping Urban Environmental Noise Using Smartphones. *Sensors*, vol. 16, no 10, art. 1692.

Зондаж богоносца

ЮДИН Г. Б. (2020). ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, ИЛИ ВЛАСТЬ ЦИФР. СПБ.: ЕУ СПБ. 174 С. ISBN 978-5-94380-294-2

Артемий Магун

Профессор, Европейский университет в Санкт-Петербурге,
директор Центра практической философии «Стасис», главный редактор журнала «Стасис»
Адрес: Гагаринская ул., д. 6/1, литера А, Санкт-Петербург, Российская Федерация 191187
E-mail: amagun@eu.spb.ru

Статья является одновременно развернутой рецензией на книгу Г. Б. Юдина «Общественное мнение, или Власть цифр» и рассуждением о самом феномене общественного мнения в контексте репрессивных тенденций современного общества, с позиций критической теории. С опорой на Т. Адорно, автор показывает, что опросы общественного мнения являются не только результатом отчуждающего овеществления, но и исходного субъективизма, который превращает отношения субъекта с обществом в отстраненную, созерцающую и судящую установку. Субъективация сочетается, таким образом, с объективацией. В соответствии с тезисом Юдина показывается, что социальная наука, если она не хочет быть инструментом бюрократического господства, должна опираться на диалектическую логику.

Ключевые слова: общественное мнение, Левада-Центр, критическая теория, диалектика в социологии, Г. Б. Юдин, квантификация, овеществление

Критика теории и практики «общественного мнения»

Книга Г. Юдина «Общественное мнение, или Власть цифр», вышедшая в серии Европейского университета «Азбука понятий», представляет собой, в соответствии с концепцией серии, историю понятия «общественное мнение» (строго говоря, «публичное мнение», *public opinion*). Рассказывается в ней не только о значении термина, но и о самом феномене, к которому тот относится: в частности, о технологиях исследования общественного мнения, о прецедентах его удачных и неудачных оценок. Но кроме того, книга содержит еще и острую политическую полемику против... видимо, как раз общественного же мнения, особенно российского, которое ошибочно полагает *опросы* общественного мнения чем-то прогрессивным, современным и полезным для демократического общества. На самом же деле, хотя эти опросы возникли и широко практикуются в США, это не означает их прогрессивности и демократичности. То есть, безусловно, пишет Юдин, что опросы соответствуют процедуре всеобщих, индивидуальных и тайных *выборов* и таких же референдумов (по сути, опросы это и есть, по замыслу Гэллапа, «перманентные референдумы» (с. 130–133)). Но выборы и референдумы, вопреки доксе, не являются на самом деле ядром демократического режима, а, наоборот, представляют

собой относительно авторитарный аспект либеральных демократий: Юдин называет его «плебисцитарным», в том смысле, что начальники (поочередно) правят и периодически спрашивают народ, все ли в порядке.

Поэтому подчеркнутая опора властей «на опросы общественного мнения не только не способствует, но и прямо противоречит подлинным формам демократического правления — дебатам, дискуссиям, коллективному самоуправлению, демонстрациям, революциям и вообще любым видам организованного коллективного действия» (с. 22).

Тому есть несколько причин.

Во-первых, люди опрашиваются индивидуально, а учитываются глобально, в результате чего фабрикуется достоверность некоего объективно существующего, но невидимого монстра («Общество», «Публика», «Народ»), в котором я участвую, но с которым ничего нельзя поделать. Опросы предполагают образ общества как агрегата индивидов, игнорируя его разнородность, не учитывая тех коммуникативных механизмов, которые цементируют общество. Юдин разделяет «буржуазную» концепцию общественного мнения, где последнее возникает в результате дискуссий — она была характерна для XIX века, — и «демократическую» концепцию, где никто ничего не обсуждает, и суммирование идет индивидуально — это как раз та концепция, что воплотилась в опросах общественного мнения в духе Гэллапа.

Во-вторых, предполагается, что у людей уже есть мнения по задаваемым вопросам, и опрос заставляет индивида искусственно определиться в неопределенной ситуации, фиксирует, приговора к месту его, возможно, случайное настроение, создает проблему и проблематизацию там, где они не были осознаны или отсутствовали вовсе. Все это наделяет тех, кто задает вопросы, огромной властью, которой, конечно, обладают не лично социологи, но в целом политическо-экспертный класс.

В-третьих, в отличие от выборов, опросы не затрагивают всех, опрашиваются лишь немногие, что опять же предполагает объективную природу мнения, бессознательно живущего в тебе как представителе некой социальной группы, и лишает тебя, при учете твоего «мнения», какого-либо участия в его выработке: это выборы минус участие в выборах, сумма предпочтений, не требующая от гражданина минимально ответственного поступка.

В Америке опросы, не только политические, обладают тем негативным эффектом, что предъявляют политическую позицию или потребительский выбор в миним объективной форме, как кивок на других: например, «12% американцев считают, что надо запретить атомную энергию», или «50% американцев считают, что Трамп продан русским», вместо того, чтобы автор просто выразил и объяснил свое собственное мнение. Подобная мифология цифр потенциально ведет к безответственности и сокрытию субъектных установок в оценке реальности.

Но пафос Юдина направлен в большей степени не на США, хотя они и распространили первыми столь опасную практику, а на родину автора и читателя.

Именно в путинской России опросы общественного мнения, столь недавно реабилитированные и ранее с энтузиазмом распространяемые прогрессивными интеллектуалами критического толка (а не конформистами вроде Гэллапа), встали на службу политической власти откровенно авторитарного типа. Здесь, как показывает Юдин, опросы не дублируют или предсказывают выборы, как в США, а попросту, во многих случаях, *заменяют* их. И поскольку российское общество действительно расколото по отношению к поддержке правящего режима, опросы являются, помимо прочего, гениальным способом заткнуть рот критикам властей (в основном городскому образованному классу): им постоянно напоминают, что они в количественном меньшинстве и что большинство стоит на консервативно-реакционных позициях (обычно довольно близко к тексту воспроизводя по всем вопросам точки зрения телеведущих центральных каналов ТВ). Губернаторы в России смещаются и даже войны начинаются или не начинаются в зависимости от опросов, то есть не от *воли* народа, а от его гипостазированного «мнения».

Лидеры российского государства, отнюдь не будучи по своим убеждениям демократами, берут на вооружение элементы современного функционирования демократии на Западе — выборы и опросы. Хотя выборы выхолащиваются (в отсутствие значимой конкуренции) и формализуются — тем не менее как ритуальная форма и механизм минимального вовлечения граждан в легитимацию режима они важны. А вот опросы, то есть по идее механизм предвосхищения и эмуляции выборов, как раз используются на полном серьезе, *содержательно*, а не формально, и для этого поддерживается диверсификация опросных фирм, от консервативного (по установкам исследователей) опросного центра ФСО до правополиберального Левада-Центра. Все это вместе обеспечивает и плебисцитарность, и научно-технологическую рациональность режима, не теряющего тем самым «концерта» между властью и народом (если, конечно, оба наши «концерта», выборы и опросы, нормально работают).

Юдин отмечает, что опросы играют социально-конструктивную роль, то есть сами формируют то мнение, которое претендуют «измерять» (с. 20–21). Но тут следует дальше обсудить, к чему этот процесс содержательно ведет в России и в подобных западных странах.

Случай Левада-Центра

В России, как и во многих других странах, опросы зачастую выявляют раскол населения на «прогрессивное» и «отсталое», в противовес ранее принятому делению общества на классы и партии. Квантификация позволяет и на Западе объяснять электоральные поражения системных либеральных партий «популизмом». Но в России опросы, тесно связанные с идеологическим процессом, особенно ярко высвечивают проблему «непросвещенного народа».

Например, в недавнем исследовании Левада-Центра выясняется, что часть населения считает российский режим движением к «авторитарной диктатуре», дру-

гая — большая часть — видит в нем развитие демократии, а еще одна группа испугана ростом анархии (Гудков, 2020). Зная примерно установки исследователей, мы понимаем, почему они предложили опрашиваемым именно эти варианты: они представляют соответственно прогрессистское и консервативное крыло общества.

В России опросная наука приобрела интересное содержательное наполнение — гипертрофированное продолжение тех же самых тенденций. Ю. Левада, Л. Гудков и Б. Дубин, социальные теоретики 1970–80-х годов, работавшие во многом неформально, даже подпольно, и не допущенные в СССР к проведению опросов, создали в перестройку ведущий российский центр по исследованию общественного мнения. С самого начала они не только демонстрировали высочайший уровень методологического профессионализма, но в то же время проверяли и подтверждали в этих исследованиях свою научную теорию, сформулированную в духе когда-то популярных на Западе «теорий массового общества». Наряду с этой критически ориентированной теорией авторы своеобразно использовали и гораздо более аффирмативную теорию Парсонса¹. По Леваде и его соавторам, получалось, что «советский человек», то есть типичный и наиболее распространенный представитель населения, это внутренне отсталое и агрессивное существо, безнадежно испорченное вредной левой политикой СССР. Это якобы устойчивая диспозиция, реформировать ее сложно. Особый акцент при этом ставится на «простоте» и «массовидности» (Левада, 1993: 24) советского и постсоветского человека, что показывает, что речь идет об очередном столкновении просвещенной публики с народом. Когда на выборах стали побеждать консервативные партии с националистическими лозунгами, теория Левада-Центра оказалась эмпирически подтвержденной, и не перестает подтверждаться по сей день. Измеряешь, тестируешь «общественное мнение», «публичность», а вместо них получаешь темный, но несущий (неприятную) истину, народ. Выходит, такое народничество с обратным знаком. Вообще-то такой научный пафос и даже методологический активизм не очень типичны для полстеров — скорее, это яркое и неоднозначное явление именно российской идеологической жизни. Юдин не останавливается на этом интересном случае в самой книге, по-видимому, в порядке самоцензуры (а жаль), но высказывается по ней в других публикациях.

Так, например, в блоге на сайте «Эха Москвы» он в 2019 году писал:

Проблема, на самом деле, не в методологии, а в идеологии. Левада-Центр не может не видеть этих возражений — там работают квалифицированные коллеги, которые прекрасно понимают, что вопрос надо просто выкинуть.

1. О Левада-Центре и истоках его мышления см. подробнее недавнюю статью Гульназ Шарафутдиновой, где она, в частности, указывает на исследования тоталитарной личности в США в 1940–1950-х годах, а также на теорию систем Парсонса, в соответствии с которой психология советского человека должна была быть направлена на поддержание советского же режима (Sharafutdinova, 2019: 180). Впрочем, внимательное чтение «Советского простого человека» говорит о совсем другом применении Парсонса: советское общество противопоставляется, в критическом смысле, функционально интегрированному западному.

Однако они не могут справиться с желанием провести со своими респондентами «тест Сталина», чтобы вывести на свет их тоталитарную сущность, обнаружить жуткий Народ-Сталин. Потому что в «ЛЦ» смотрят на мир через призму довольно странной и противоречивой схемы «человека советского». Смысл этой схемы, грубо говоря, в том, что в России был, есть и будет тоталитаризм, ничего другого тут быть не может, за исключением коротких перерывов. Эта схема плоха тем, что пользуется теми представлениями о стране, которые выработало поколение Юрия Левады, и накладывает их на совершенно иные исторические обстоятельства. Она живет прошлым и не дает в упор заметить, что мы живем в совершенно другом политическом режиме, с совершенно другими проблемами и вызовами — хотя для этого достаточно выглянуть в окно. Неудивительно, что поколение диссидентов инстинктивно выбирает тот способ отношения к государству, который помогал ему выжить полвека назад. Удивительно, что это удается выдавать за «социологию». (Юдин, 2019)

И у Левада-Центра, и в других российских исследованиях общественного мнения имеет место порочный круг положительной обратной связи: публикация результатов усиливает те тенденции, о которых идет речь, элиты оправдывают идиотизм телевизионных передач ссылкой на дикость народа, и народ еще больше «дичает». Очевидно, что большую роль здесь играет и абсолютизированный капитализм, приведший к коммерциализации средств массовой информации.

Эмпирически результаты Левада-Центра достаточно объективны и репрезентативны, как правило, верно предсказывают результаты выборов и т. д. Их вопросы при этом зачастую провокативны («Считаете ли Вы, что феминисток нужно подвергать смертной казни?», «Как Вы думаете, оправданны ли человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок?» и т. п.). Такие вопросы не всегда отвечают стандартам объективной социальной науки, но в более общем плане они как раз являются интересным новшеством: полстеры Левада-Центра, по собственному признанию, проводят такими вопросами своеобразные эксперименты, стараются выявить своеобразную «зону ближайшего развития» масс. Но в отличие от Л. Выготского (Выготский, 1984), который понимал под этим понятием самореализацию субъекта, левадовцы зондируют, готов ли субъект к полной деградации и моральному апокалипсису².

Проблема данного типа социологии не в том, что она неверно отражает действительность — она ее отражает, и даже с критическим опережением — но в том, что их система вопросов обусловлена взглядом либерального интеллигента на народ и что она конституирует свой предмет по контрасту с собой. Потому что оптика интеллигентного полстера (заложенная в сам инструмент, с его встроенным субъективизмом: вменением людям свободно формируемых рациональных «мнений» по всем вопросам) находит в своем материале не то, что искала, а скорее

2. Л. Гудков: «Мы в ситуации, которая больше всего напоминает Германию перед приходом Гитлера»; «Весьма вероятно, возможна полная деградация страны» (Велехов, Гудков, 2016).

опровержение того, что искала. Так же как приборы фиксируют сопротивление себе в твердых объектах, так же как ядерная физика приводит к постройке атомной бомбы, основанной на нарушающей границы атомов ядерной реакции. Вот так и получается, что просвещенная наука плодит, в социальном своем приложении, дикость, и сама становится, вопреки себе, идеологией варварства (авторитарного правления).

Общественное мнение в контексте идеологии позднего модерна

Вернемся, однако, к книге Юдина. В чем ее общетеоретический посыл? Он не до конца ясен, но, по-видимому, заключается в критике опросов общественного мнения как не только и не столько научного, а скорее политического института, который конструирует реальность вместо того, чтобы ее описывать (подобно и естественным наукам, в понимании Б. Латура).

Возникновение современного общественного мнения тесно связано с появлением исследований общественного мнения. Это может показаться странным, ведь мы привыкли думать, что объект исследования существует независимо от того, изучаем мы его или нет: задача науки состоит в том, чтобы «открыть» некий новый предмет и его закономерности. Однако природа научного знания не так проста, как кажется. Современные исследователи науки и технологий (STS) сходятся в том, что говорить о существовании какого-либо научного объекта можно лишь тогда, когда он «изобретен», то есть определен и описан наукой. Некоторые из таких объектов могут появляться и исчезать вместе с эволюцией науки. Точно так же дело обстоит и с общественным мнением. Хотя это понятие существовало до современных опросов, появление исследований общественного мнения полностью изменило представления о том, чем оно является. Поскольку опросы прочно вошли в повседневную жизнь рядовых членов общества, вместе с исследованиями общественного мнения около восьмидесяти лет назад возникло и совершенно новое «общественное мнение». (С. 20–21)

За «общественным мнением» стоит плебисцитарная политическая власть, и именно отношения власти и остаются последним термином (*terminus ad quem*) в данной дискуссии. «Власть цифр» заключается в том, что за наукообразной риторикой кроется пропаганда. «Цифры обладают для нас совершенно особой магией. В рекламе достаточно заявить, что «80% докторов рекомендуют» или «что-то становится на 65% чище», и аудитория склонна воспринимать эти цифры как достоверные авторитетом науки факты — хотя за ними порой может практически ничего не стоять» (с. 139).

Риторическая роль арифметики в публичной дискуссии подмечена совершенно верно. В то же время как политический теоретик я использую замечательную книгу Юдина, чтобы поставить более широкий вопрос о причинах и глобально-историческом контексте, в котором возникает вот этот плебисцитарно-социологиче-

ский режим власти. У Юдина порой утверждается, что вся наука устроена так же, как опросная «социология» (как в выше приведенной цитате), но иногда проскакивает мысль, что опросы — это какая-то псевдонаука или недонаука, и поэтому ее данные на самом деле необъективны. Потому он столь настойчиво утверждает³, что опросы общественного мнения — это не социология, что социология к ним не имеет отношения и что «социологами» полстеров называют лишь в нашей стране, тем самым придавая ореол научности дисциплине скорее прикладной, технологичной и медийной (так же как «психологами» называют психотерапевтов, «политологами» политических комментаторов в СМИ и т. д.). И тут трудно спорить.

Но в то же время возникновение и триумф опросов есть квантификация общественного мнения, наукообразная объективация человеческой воли и гипостазирование народа (публики) в качестве потусторонней вещи-в-себе. Все это вместе есть, во-первых, феномен гегемонии позитивной науки картезианского образца, а во-вторых, феномен *реификации*, происходящий из логики капиталистических отношений. Оба этих феномена подробно описаны в социальной теории Франкфуртской школы (критической теории), и именно эта теория как нельзя лучше подходит для осмысления феномена, которому посвящена книга Юдина. В ней эта теория не упоминается, но это, безусловно, связано с ее жанром, который и не предполагает макротеоретических и историософских построений. Хорошо, что есть жанр рецензии.

Резюмирую вкратце, о чем идет речь.

Начиная с XVII века (Ф. Бэкон, Р. Декарт и т. д.) европейская наука формирует особое, объективирующее отношение к действительности. Предметы превращаются в мертвые, инертные вещи, лишенные качеств в пользу количеств, подчиняющиеся только слепым действующим причинам, вовлеченные в механические взаимодействия, которые можно потом использовать в технических приспособлениях.

Это отношение к действительности постепенно переходит с предметов вообще на людей. Рационализация авторитарной власти началась сразу тогда же в XVII веке (полиция, камералистика, количественные методы в учете населения, экономическая калькуляция), но достигла пика к XX веку, когда статистика легла в основу и госуправления, и даже публичной дискуссии. Возникают новые наукообразные идеологии, основанные не на открыто защищаемых политических позициях, а на якобы объективных законах истории и экономики. Это, казалось бы, должно привести к карикатурному «тоталитаризму» государств-машин, по типу «Метрополиса» Ланга, но в реальности развитие было диалектическим, и наряду с объективизацией общественных отношений в этот же период шла культивация свободной субъективности на индивидуальном уровне, как бы параллельно количественному учету (демократия, права человека, психоанализ).

3. Одна из главок даже так и называется «Социология против общественного мнения» (с. 107).

Маркс, который обратил внимание на фетишизм буржуазного сознания и превращение человеческих отношений в отношения вещей, мыслил диалектически, но не оставил нам последовательной критики сциентизма, а его соавтор Энгельс и другие даже увлеклись им. Вебер, со своей стороны, убедительно критиковал абстрактную рациональность, но не провел диалектического анализа ее *объективных* предпосылок. Только Д. Лукач всерьез разобрался, о чем идет речь, заложив основы критической теории, самой критической из теорий XX века.

С точки зрения Лукача, победа абстрактной рациональности над обществом есть следствие буржуазного (капиталистического) способа производства, при котором сама рабочая сила используется как товар, а человеческое действие — овеществляется. «Овеществление» предметов в сознании есть тогда функциональный эффект коммодификации труда, превращения его в товар. Все становится «товаром» в буржуазном сознании. И сциентизм, с его объективацией социальных фактов, есть идеология, обслуживающая и воспроизводящая эту товарную оптику.

Превращение всех предметов в товары, их квантификация и низведение до фетишистских меновых стоимостей есть не только интенсивный процесс, который оказывает воздействие в этом направлении на любую форму предметности жизни (как мы смогли показать это применительно к проблеме рабочего времени), но одновременно и неотделимым отсюда образом является распространением этих форм на целостность общественного бытия. Для капиталиста эта сторона процесса равносильна усилению количественности в объектах его калькуляции и спекуляции. (Лукач, 2003: 255)

Вслед за Лукачем эту аргументацию об овеществлении развивали и повторяли представители Франкфуртской школы, во многом отходя от лукачевского марксизма. Так, Адорно и Хоркхаймер не нуждались в структурной критике науки, поскольку выдвигали аргумент от истории, более ницшеанский, нежели марксистский: стремление субъекта доминировать над природой обратилось в какой-то момент против самого субъекта, он сам стал объектом доминирования (доигрался!), жертвой собственного мифа. Этим объясняется, считали Адорно и Хоркхаймер, успех нацизма с его тотальным подчинением общества.

Овеществление означает у Лукача и Франкфуртской школы одновременно два разных эффекта. С одной стороны, социальные феномены, например, ценности, интересы, эмоции людей превращаются в инертные вещи, и им (а не «совокупностям общественных отношений») приписываются их свойства. С другой — овеществляются абстрактные тенденции, не имеющие видимого воплощения, например, нация, экономические законы, «Европа» и т. д.: сама деятельность человека предстает ему неузнанной как независимая от него. Неудивительно, что в современном английском преобладает это второе значение: оно постепенно объединилось с номиналистическим настроем английской культуры и зачастую служит для опровержения философского взгляда на вещи. Герберт Маркузе, критиковавший овеществление под именем «одномерности», привязки предмета к наличному его

существованию, как раз защищал абстрактные понятия, универсалии от позитивистской критики: эти абстракции помещают объект в ценностный горизонт будущего (Маркузе, 1994). Поэтому разговор о реификации в этом втором значении имеет смысл, только если одновременно применяется первое значение. Так, общественное мнение выступает как автономное объективное явление только при условии отчуждения, переживаемого индивидом: изоляция и подсчет людей в качестве индивидов с их «мнениями» (овеществление 1) делает возможным существование фантомных сущностей вроде «общественного мнения» или «народа», познать которые можно только внешним, количественным образом (овеществление 2). Заметим, что овеществление 2 это не просто ошибка и что реальность всеобщих понятий («добро», «народ» и т. д.) — следствие отсутствия общности людей в реальной жизни. Всеобщие понятия полезны и как симптом отчуждения, и как полагание некоего идеала.

Ни у Лукача, ни у Адорно с Хоркхаймером аргументация не сводится к овеществлению и опредмечиванию. Есть, как я уже отметил, параллельный процесс, при котором, наоборот, каждый субъект превозносится, отчуждение его в механическом труде критикуется, и более того, общество развитого капитализма предъявляет себя как результат демократического выбора и вообще «свободное общество», в сугубо субъективно-произвольном смысле «свободы». Но спецификой такой субъективности является, говорит Лукач, «созерцательное» отношение субъекта к действительности (даже там, где он в чем-то участвует, он делает это из отстраненной позиции). «Квантификация есть овеществляющая и овеществленная оболочка, которая покрывает собой истинную сущность объектов; вообще она может иметь значимость объективной формы предметности лишь постольку, поскольку субъект, который находится в контемплативном или (мнимо) практическом отношении к предмету, не заинтересован в сущности этого предмета» (Лукач, 2003: 252).

Ту же линию мощно продолжают Адорно и Хоркхаймер, которые показывают (Адорно, Хоркхаймер, 1997), как объективизм для граждан происходит из субъективизма деспота, и в известной степени граждане, будучи совершенно угнетены, все равно отождествляют себя именно с деспотом, занимают деспотическую позицию по отношению к природе. Действительно, современный человек старается выгородить себе маленький деспотический мирок (отношения с домочадцами или домашними животными), даже будучи подчинен во всех других отношениях.

Второе и третье поколения Франкфуртской школы, в лице Ю. Хабермаса и А. Хоннета, решительно продолжили критику сциентизма в общественной мысли. У Хабермаса эта критика вылилась в тезис о колонизации жизненного мира и технологизации публичной сферы, а Хоннет даже написал специальную книгу «Овеществление» (Honneth, 2012), где описал его разрушительное воздействие на взаимное признание людей в качестве свободных деятельных личностей. Нетрудно, однако, увидеть, что у этих более поздних авторов на второй план уходит именно критика субъективизма буржуазного общества, и овеществление прочитывается

буквально, односторонне — как господство объективирующей и квантифицирующей рационализации.

Вернемся теперь к общественному мнению. Дело не только в том, что его фиксируют, считают и тем самым конструируют. Дело не в меньшей мере в том, что речь идет именно о «мнении», в том, что общество рассматривается в демократическом капитализме не только как объект управления, но и как совокупность мнений, образующая коллективного субъекта, пусть пассивного (подобно привязанному к мачте Одиссею), но тем не менее обладающего свободой оценки и позиционирования. Когда Адорно размышляет об общественном мнении, он критикует его именно по этой линии, а вовсе не по более очевидной линии превращения людей в вещи и цифры (Adorno, 2005). Определенное действие диалектически: объективирующее и механизмирующее отчуждение работает только через посредство якобы автономных изолированных *субъектов*. При этом происходит что-то вроде диалектического синтеза, потому что отделенный от объективности «свободный» субъект мнения сам становится подозрительно похож на автомат (то есть механизированный объект): вся его свобода сводится к «да», «нет», «скорее да», «скорее нет» и «не знаю».

В своем эссе «Исследования общественного мнения и публичность» Адорно пишет: «Исследование общественного мнения совершает попытку, абстрактную и изолированную, изолировать в свою очередь, то есть выделить, сугубо субъективный момент индивидуального мнения и выдать этот феномен, который на деле является неприкрытым отражением социальной объективности, с ее юридической структурой, за основу социальной реальности» (Adorno, 2005: 123). При этом «публичность», сведенная к технологии, не предоставляя возможности реального общения, оборачивается чисто созерцательной установкой пассивной «публики»: «Народ был глубоко пассивной, воображаемой аудиторией машины общественного мнения, которая сообщала ему объективно наиболее важные, политические новости, примерно так же, как аудитория театра, которая требует ее развлекать. А теперь он стал придатком этой машины» (Ibid.: 121). И: «Право людей на публичность превратилось в распределяемую им дозу публичности: там, где они должны были быть ее субъектами, они превратились в ее объекты» (Ibid.).

В совокупности получается, что опросы общественного мнения одновременно выполняют две противоположных операции. Они одной рукой полагают общество как набор субъектов, якобы свободно формирующих просвещенное мнение, которое должно учитывать демократическое правительство, а другой рукой реифицируют это мнение, превращают его в объект тестового измерения (по-французски «зондаж»), в логике физически понимаемой «природы», черного ящика, о котором мы получаем извне те или иные достоверные, но заранее неизвестные, сведения.

Примерно так же устроены современные выборы. Выборы трактуют волю народа как такой черный ящик, чтобы познать который, необходимо каждый раз проводить эксперимент. Но выборы, как я уже отметил, все же направлены на выявление конкретной *воли* народа, он выступает не столько как предмет, сколько

как оракул (*vox populi vox dei*). А опросы научно опредмечивают этот оракул и воспринимая его как набор уже сформированных, наблюдаемых свойств-мнений. Начиная с позднего Средневековья, народ на Западе понимается как воплощение Бога (Канторович, 2013), как высшая инстанция легитимности, которая не отдает прямых приказов (как в общем-то и сам Бог) лишь в силу своего слишком большого размера. В эпоху Ренессанса примерно так же начинает пониматься и природа в целом, поэтому наука Нового времени делает двойной ход: подчиняет и объективизирует (представляет) природу, но в то же время представляет ей, говорит от лица ее высшей истины. Сдвиг от изучения природы к изучению «публики», которая в буквальном смысле что-то говорит, лишь усилил этот двойной эффект — но не надо забывать, и Юдин со своими двумя публичными мнениями (буржуазным и демократическим) это подчеркивает, что «публика» — это некая просвещенная и просвеченная версия старого «народа» (*publicum* от *populus*), потому она все время и норовит скатиться к «популизму». В ней остается какая-то загадка.

Получается, что сущность опросов общественного мнения двойственна и противоречива. Эти опросы — нервный узел, *симптом* капиталистической демократии. Они воплощают в себе диалектический синтез (в плохом смысле) ее противоречий, объективизируя ее субъективизированное (тогда как выборы, наоборот, субъективизируют объективизированное). При этом подобное отрицание отрицания не работает как обратная операция, то есть объективация отнюдь не снимает проблемы, заложенной в субъективации, а усугубляет ее. Субъективное мнение не становится благодаря измерению более осмысленным или лучше увязанным с глубинным ходом истории, потому что оно фиксируется на том же поверхностном уровне, где вырабатывается, без осознания своей классовой, функциональной природы и тех проблем, в ответ на которые оно возникает. Овеществление производится по тем же законам, что и овеществление природы, которое как раз производится от лица субъекта, и таким образом сохраняется позиция абсолютной субъективности, незаинтересованного взгляда, который лишь перемещается в фигуру самого полстера и его заказчика. Тем не менее благодаря синтетической *форме* операции опросы общественного мнения создают *видимость* истины, видимость того, что объективация устраняет односторонность субъективации, и мы видим общество таким, каково оно на самом деле.

У Лукача, когда он критикует распад буржуазного общества на созерцательно-го субъекта и поработенный объект, тоже есть точка диалектического синтеза, которую автор «Истории и классового сознания» считает истинной, настоящей. Это у него пролетариат — объект, который обнаруживает собственную субъективность и восстает. Так получается потому, что в этой точке субъект-объект чувствует и осознает *негативность* системы, невозможность своей позиции, и его субъективация означает волю выпрыгнуть из системы. Ничего подобного обычно не происходит при выборах (кроме протестных) и никогда не происходит при опросах общественного мнения (кроме случаев отказа отвечать на дурацкие

вопросы), поэтому они несут в себе только *видимость* синтеза, или частичный синтез. Если же «опросить» пролетариат (как это сегодня обычно и делается), то возникает ложь, потому что человек, во-первых, сведенный в своей деятельности к инструменту и испытывающий фрустрацию по этому поводу, ставится в положение буржуа, который может академично и толерантно высказывать «мнения» по различным вопросам, в которых ничего особенно не понимает. В лучшем случае пролетарий использует этот опрос для выражения своего негативизма, но и тогда мы не особенно продвинемся в истинном понимании ситуации (так как подлинная интрига заключается тут в *отношении*, в которое с этим пролетарием вступают буржуазный эксперт и полупролетаризированный интервьюер).

Впрочем, наличие в России такой «сильной» трактовки опросов, как социология Левада-Центра, делает симптоматику пусть не снятой, но более заметной, чем обычно: по крайней мере, здесь показывается, что предельное овеществление объекта исследования делает последний почти неспособным к каким-либо мнениям вообще, результат противоречит процедуре, и абстрактно-научообразное прочтение сложного общества верно высвечивает *негативность* ситуации. Эта негативность, как известно, приписывается «идентичности» информантов (Гудков, 2004), но на самом деле заложена, хотя и в меньшей степени, в самой процедуре опроса, и в самой позиции социолога-эксперта. Вообще говоря, по Гегелю (Гегель, 1997), любая идентичность негативна по определению, поэтому неудивительно, что отрицательное выходит наружу под идентифицирующим, отождествляющим взглядом абстрактной рациональности.

Диалектика субъективности и объективности, о которой идет речь, имеет не только структурный, но и исторический смысл. Юдин в своей книге упоминает, что «мнение» ранее было термином, подчиненным «знанию» и рассматривалось скорее пренебрежительно (с. 35). Выдвижение в XVIII веке «публичного мнения» на роль альтернативной ценности, своего рода нового духа государств, было новацией, оправдывавшей процесс, который мы сегодня назвали бы демократизацией. Общественное мнение формировало множественные, негосударственные центры власти. В своей книге «Демократия, или Демон и Гегемон» (Магун, 2016; та же серия «Азбука понятий», что у книги Юдина) я писал, что почти все основные исторические понятия переживают в период XVIII–XIX веков переворачивание, *инверсию* прежнего значения. Так, например, «демократия» ранее считалась одним из худших режимов и противопоставлялась умеренному сдержанному правлению, а потом стала синонимом лучшего режима и официальным названием смешанного правления. Точно так же и «общественное мнение» содержит в себе переворачивание традиционных метафизических иерархий (где начиная с Платона «докса», мнение, противостоит «эпистеме», знанию), хотя инверсия не будет полной: «докса» была уже к этому времени переоценена в рамках теологии (православие: орте докса). Тем не менее ясно, что общественное мнение — результат инверсии понятий, которая выдвигала подчиненную сферу «публичности» (она же профанность), с ее «мнениями», на роль судебной и критической инстанции. Мнение по

определению произвольно и несет в себе момент безответственности: может быть так, а может и эдак, поэтому иногда говорят о «досужем мнении». Кроме того, «мнения», изучаемые опросами, в то же время являются свернутыми аффектами: это не только оценки фактов, но также ценности и установки, хотя на уровне общества они предстают как снизу идущие и непрявленные *устремления*.

Мнение предполагает случайного эмпирического *субъекта*, который произвольно решает, что хорошо и что плохо. Но поскольку *подсчет* мнений уже не субъективен, а объективен, и поскольку речь идет не о пламенном подрыве государства, а о вписывании субъекта в своего рода реестр возможных мнений, энциклопедию государства, постольку мы возвращаемся от доксы к эпистеме, новой эпистеме доксы, истине неистинного существования, предопределенности произвола.

За что критиковать этот новый синтетический порядок? Юдин показывает, что он авторитарен (плебисцитарное правление элит) и неистинен (люди высказывают не-свои мнения, а распределяются по определенным государством ячейкам). Но в то же время он по-своему объективен, рационален и свободен (у людей есть все-таки право выбора из имеющихся альтернатив). Поэтому он может поворачиваться к нам разными своими гранями. Что несет режим, основанный на общественном мнении, на Западе, где он основан на честных выборах? Он несет в себе прежде всего власть *чередования*, дизъюнктивного синтеза, где политика объективно детерминирована вплоть до взаимно дополнительных альтернатив, и индивид зажат в тиски энциклопедии, анкеты, где вопросы задает не он. Но произвол власть имущих здесь минимален.

А что несет такой режим в нелиберальных государствах вроде России, где он, по сути, заменяет собой выборы? Тут он авторитарен, то есть в гораздо большей степени *субъективен*, чем на Западе. Темной массой правят вожди-манипуляторы, объективируя ее, но воплощая своим поведением тот произвол, который заложен в идее «мнения». Содержанием политики становится национализм — тревога за коллективное «Я», за поддержание своей субъектности, в обществе, где содержание внутренней политики все равно на 90% подчиняется объективной логике международных норм. И эта тревога идентичности, испытываемая лидерами, как бы делегируется ими вниз, «общественному мнению», предоставляя им алиби и предоставляя им возможность сохранять рациональную объективность поведения. Мы имеем классическую ситуацию, описанную психоанализом на материале индивидуальности: субъект расщеплен и переживает свою собственную волю как якобы объективно-материальные, «бессознательные» аффекты. То же в нашем случае происходит со всей страной: внешне спокойный и тактически рациональный «вождь» ведет гиперэмоциональную политику, ссылаясь на рессентимент общества, подпитку которого через СМИ организует сам⁴.

4. См. подробнее об этом в: Magun, 2016.

Подведем итог. Книга Юдина является и историко-понятийным, и критически-полемическим текстом. Обе эти свои задачи она решает отлично. Но что делать? Книга в конце дает несколько альтернативных сценариев, не все из которых автор одинаково поддерживает. Например, очевидно, что проект Дж. Фишкина об институционализации дискуссий вместо тупого индивидуального голосования (фактически институционализация фокус-групп) (Fishkin, 1991) очень привлекателен — но у кого будет политическая воля его реализовать? Возможно, у потенциальной новой власти, которая когда-нибудь возникнет в России и захочет отменить плебисцитарные выборы и опросы. При этом в краткой перспективе, несмотря на всю критику, книга не призывает отменить опросы общественного мнения — скорее поставить их на свое место. Хотя с пафосом критики я в целом согласен, местами хочется даже защитить полстеров от автора.

Во-первых, все-таки гораздо лучше, что они есть, чем если бы их, в нашей политической констелляции, не было — то есть власть имущие вообще не интересовались бы установками населения (вспомним поздний Советский Союз, который действительно пострадал от отсутствия соцопросов, и отсюда особая роль опросов в современной РФ). Опросы — своеобразная дань олигархического капитализма демократии. Аналогичным образом современная естественная наука, при всем ее наивном догматизме, все-таки лучше отражает природу, чем чисто умозрительная средневековая физика.

Во-вторых, карикатурно-типизирующая картина «мнений» в известной степени совпадает с карикатурными же представлениями о себе самих граждан. Тот же Адорно, как известно, в 1940–1950-х годах участвовал в эмпирическом исследовании «авторитарной личности» в США (Адорно, 2001), которое вообще-то по своей разоблачительной установке в отношении обывателей было вполне в духе Левада-Центра и в свое время стало мишенью яростной критики: критики, граничащей с аллергической реакцией на приход чужака, да еще левого идеолога, в «объективную» эмпирическую науку⁵. Но, в отличие от Левада-Центра, Адорно придает своим результатам диалектическую трактовку. Он говорит, что эмпирическая классификация всяких неприятных типов личности, которую они дают, работает только при условии самотипизации, которую проводят над собой сами испытуемые! И высшей точкой исследования для него является поиск «нетипизируемых» людей, тех, кто не вписывается в стереотипные категории. Вот этой позитивной задачи не хватает негативной социологии, даже столь экспериментальной, как у Левада-Центра.

В-третьих, полстеры все-таки используют в своей деятельности не только индивидуальное анкетирование, но и фокус-группы. Это «качественный», понимающий инструмент, который гомологичен не выборам, а демократическим экспериментам типа Фишкина (Юдин относится к фокус-группам скептически, но, похоже, не к идее, а к их реальному бытованию).

5. Г. Шарафутдинова верно упоминает это исследование Адорно как один из источников вдохновения для теории Левады и Со: Sharafutdinova, 2019: 176.

В-четвертых, Юдин почти не упоминает о современных методах статистической обработки опросов. Хотя люди опрашиваются индивидуально, данные математически обрабатываются так, чтобы можно было сделать вывод о влиянии социальных характеристик людей на их ответы. Через регрессионные модели, отражающие влияние на ответы людей их различных групповых идентичностей, исследователь может увидеть макроструктуру общества. Поэтому, хотя на «входе» мы имеем абстрактно-агрегативную модель, на «выходе» мы получаем, если не классы, то некоторые объективные структуры, которые социальные аналитики ставят в соответствие реальным социально-экономическим условиям жизни людей. Пусть это и не классовый анализ в марксистском духе (класс может существовать «в себе» и в мнениях не проявляться, его как раз стоило бы изучать «левадовскими» методами провокации и выявления ЗБР), но нечто направленное в ту же сторону.

То есть социологи опросов, в тех частых случаях, когда они не только технологи, но и ученые, стараются изнутри преодолеть ограничения своего метода. Но познание действительности как она есть требует, чтобы они включали в познание критический самоанализ своего собственного исследовательского взгляда как социального факта. А это автоматически привело бы к анализу «общественного мнения» как внутренне расколотого: между фактом и ценностью, между сущим и потенциальным, между сознательным и бессознательным, а попросту говоря, между просвещенным и непросвещенным. Для того чтобы вскрыть этот разрыв, необходима социальная наука диалектического типа.

Литература

- Адорно Т. (2001). Исследование авторитарной личности. М.: Серебряные нити.
- Адорно Т., Хоркхаймер М. (1997). Диалектика Просвещения: философские фрагменты / Пер. с нем. М. Кузнецова. М., СПб.: Медиум, Ювента.
- Велехов Л., Гудков Л. (2016). Лев Гудков: «Это катастрофа. Но медленная». URL: <https://www.svoboda.org/a/28005133.html> (дата доступа: 12.09.2020).
- Выготский Л. (1984). Проблема возраста // *Выготский Л. Собрание сочинений*. Т. 4. М.: Педагогика. С. 244–269.
- Гегель Г. В. Ф. (1997). Наука Логики. Книга 1. СПб: Наука.
- Гудков Л. (2004). Негативная идентичность. М.: Новое литературное обозрение.
- Гудков Л. (2020). Представления о политической системе. URL: <https://www.levada.ru/2020/09/08/predstavleniya-o-politicheskoy-sisteme/> (дата доступа: 20.09.2020).
- Канторович Э. Х. (2015). Два тела короля / Пер. с англ. М. А. Бойцова и А. Ю. Серегиной. М.: Изд-во ин-та Гайдара.
- Левада Ю. А. (ред.). (1993). Советский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х. М.: Мировой океан.
- Лукач Г. (2003). История и классовое сознание / Пер. с нем. С. Земляного. М.: Логос-Альтера.

- Магун А. (2016). Демократия: Демон и Гегемон. СПб: ЕУ СПб.
- Маркузе Г. (1994). Одномерный человек / Пер. с англ. А. Юдина, Ю. Данько, А. Жаровского. М.: REFL-book.
- Юдин Г. (2019). Десять тезисов о любви к Сталину. URL: <https://echo.msk.ru/blog/grishayudin/2410897-echo/> (дата доступа: 12.09.2020).
- Adorno Th. W. (2005). Opinion Research and Publicness / Transl. by A. J. Perrin, L. Jarkko // *Sociological Theory*. Vol. 23. № 1. P. 116–123.
- Fishkin J. (1991). *Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform*. New Haven: Yale University Press.
- Honneth A. (2012). *Reification: A New Look at the Old Idea*. Oxford: Oxford University Press.
- Magun A. (2016). Hysterical Machiavellianism: Russian Foreign Policy and the International Non-Relation // *Theory and Event*. Vol. 19. № 3.
- Sharafutdinova G. (2019). Was There a «Simple Soviet» Person? Debating the Politics and Sociology of «Homo Sovieticus» // *Slavic Review*. Vol. 78. № 1. P. 173–195.

The Probing of God-Bearer

Artemy Magun

Professor, Director of the Stasis Center for Practical Philosophy, European University at Saint-Petersburg
Address: 6/1A Gagarinskaya Street, 191187 St. Petersburg
E-mail: amagun@eu.spb.ru

The article is simultaneously an extended review of the book by Grigory Yudin entitled *Public Opinion; or, The Power of Numbers* (EUSPb Press, 2020) and an essay on the phenomenon of public opinion in the light of the repressive tendencies of contemporary society from the standpoint of critical theory. Relying mostly on Adorno, the author shows that public opinion polls are not only the result of the alienating reification, but also an effect of the basic subjectivism which turns the relationship between the subject and society into a detached, contemplative, and judgmental attitude. The objectivization coincides with subjectivization. Thus, in accordance with Yudin's book, social science, if it wants to be more than an instrument of bureaucratic domination, has to rely on dialectical logic.

Keywords: public opinion, Levada Center, critical theory, dialectic in sociology, Grigory Yudin, quantification, reification.

References

- Adorno T. W. (2001) *Issledovanie avtoritarnoj lichnosti* [The Authoritarian Personality], Moscow: Serebrjanye niti.
- Adorno Th. W. (2005) Opinion Research and Publicness. *Sociological Theory*, vol. 23, no 1, pp. 116–123.
- Adorno T. W., Horkheimer M. (1997) *Dialektika Prosveshhenija: filosofskie fragmenty* [Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments], Moscow: Medium, Yuventa.
- Fishkin J. (1991) *Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform*, New Haven: Yale University Press.

- Gudkov L. (2004) *Negativnaja identichnost'* [Negative Identity], Moscow: New Literary Pbserver.
- Gudkov L. (2020) Predstavleniya o politicheskoy sisteme [Views of the Political System]. Available at: <https://www.levada.ru/2020/09/08/predstavleniya-o-politicheskoy-sisteme/> (accessed 20 September 2020).
- Hegel G. W. F. (1997) *Nauka Logiki. Kniga 1* [Science of Logic, Book 1], Saint Petersburg: Nauka.
- Honneth A. (2012) *Reification: A New Look at the Old Idea*, Oxford: Oxford University Press.
- Kantorowicz E. (2013) *Dva tela korolja* [The King's Two Bodies], Moscow: Gaidar Institute Press.
- Levada Y. (ed.) (1993) *Sovetskij prostoj chelovek: opyt social'nogo portreta na rubezhe 90-h* [Soviet Simple Man: An Attempt of the Social Portrait at the Turn of the 1990s], Moscow: Mirovoy okean.
- Magun A. (2016) *Demokratija: Demon i Gegemon* [Democracy: Demon and Hegemon], Saint Petersburg: EU Press.
- Magun A. (2016) Hysterical Machiavellianism: Russian Foreign Policy and the International Non-Relation. *Theory and Event*, vol. 19, no 3.
- Marcuse G. (1994) *Odnomernyj chelovek* [One-Dimensional Man], Moscow: REFL-book.
- Sharafutdinova G. (2019) Was There a "Simple Soviet" Person? Debating the Politics and Sociology of "Homo Sovieticus". *Slavic Review*, vol. 78, no 1, pp. 173–195.
- Velekhov L., Gunkov L. (2016) Lev Gudkov: "Jeto katastrofa. No medlennaja" [Lev Gudkov: "This is a Disaster. But Slow-Moving"]. Available at: <https://www.svoboda.org/a/28005133.html> (accessed 12 September 2020).
- Vygotsky L. (1984) Problema vozrasta [Age Problem]. *Sobranie sochinenij. T. 4* [Collected Works, Vol. 4], Moscow: Pedagogika, pp. 244–269.
- Yudin G. (2019) Desjat' tezisov o ljubvi k Stalinu [Ten Theses on the Love of Stalin]. Available at: <https://echo.msk.ru/blog/grishayudin/2410897-echo/> (accessed 12 September 2020).

Новая критическая теория или аналитический эмпиризм?

ROSA H. (2020). RESONANZ: EINE SOZIOLOGIE DER WELTBEZIEHUNG. 3. AUFL. BERLIN: SUHRKAMP. 815 S.
ISBN 978-3-518-29872-5

Дмитрий Катаев

Доктор социологических наук, профессор кафедры философии, социологии и теологии,
Институт истории, права и общественных наук, Липецкий государственный
педагогический университет им. П. П. Семёнова-Тянь-Шанского
Адрес: ул. Ленина, д. 42, корп. 2, г. Липецк, Российская Федерация 398020
E-mail: dmitrikataev@rambler.ru

«Если ускорение является проблемой современного общества, то резонанс — возможно, решением» — ключевой тезис «социологии отношения к миру», или «социологии хорошей жизни», Хартмута Розы, ставшей одной из самых ярких и неоднозначных критических теорий начала нынешнего столетия. Содержание, рецепция, критика концепции резонанса, результирующие дискуссии, ставшие поводом для возобновления «методологического спора о позитивизме» в немецком теоретическом поле, являются предметом рассмотрения настоящей статьи. Первая часть статьи посвящена рассмотрению концепции резонанса как теоретического инструмента новой критической социологии в качестве альтернативы господствующему в мейнстримной социологии ресурсно-ориентированному подходу, не способного измерить качество человеческой жизни и отношения «субъект — мир». Во взаимосвязи с другими работами автора проанализирован основной замысел Х. Розы — создание обновленной критической теории резонансных отношений. Для этой цели Х. Роза тематизирует диалектику нормативного и дескриптивного содержания резонанса и отчуждения как неотъемлемых элементов современных форм жизни и состояния человека, дихотомию «хорошей» и «плохой жизни», дифференциацию горизонтальной, диагональной и вертикальной «осей резонанса» и их роль в построении «отношения к миру». Во второй части освещены основные направления критики «социологии отношения к миру» и концепции резонанса. Особое внимание уделено новому «методологическому спору», так как именно он связан с другим проектом «большой теории» начала XXI века — «интегративной социологией» Х. Эссера, являющейся обновленной теорией рационального выбора, трансформировавшейся в аналитико-эмпирическую социологию в противовес новой критической теории Х. Розы. Наконец, в заключении будет предпринята попытка определения места обеих альтернатив с точки зрения традиции вебероведения, поскольку обе спорящие стороны явно и косвенно ссылаются на классика. Вопросы о том, является ли концепция Хартмута Розы новой социологической парадигмой, или же речь идет о разновидности социологической теории, мы оставляем открытыми.

Ключевые слова: социология отношения к миру, резонанс, отчуждение, ускорение, критическая теория, методологический спор, вебероведение

Хартмут Роза, профессор Йенского университета, директор коллегия имени Макса Вебера в Эрфурте, является ярким представителем современной теоретической социологии в Германии. Как и другие выдающиеся немецкие социальные

теоретики, такие как Никлас Луман или Юрген Хабермас, он — заметная фигура в немецких медиа, участвующая в публичных обсуждениях. «Социология отношения к миру» с ее центральной концепцией резонанса стала одной из самых ярких и неоднозначных теорий начала нынешнего столетия. Помимо широкой огласки, многочисленных рецензий и откликов в прессе «Новая критическая теория» (как называют ее сам автор и его критики) стала предметом как минимум двух теоретических дискуссий. Во-первых, Х. Роза стал невольным (заочным) участником нового «методологического спора», или «спора о позитивизме» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) (Wagner, 2019), получившего также название «спор Эссера — Хиршауера» (Esser-Hirschauer-Kontroverse) (Römer, 2019). Во-вторых, сама концепция резонанса и социологии отношения к миру подверглась серьезной теоретической ревизии.

Поскольку ни одна социально-теоретическая дискуссия в Германии не обходится без упоминания классика немецкой и мировой социологии Макса Вебера, то в юбилейный год (150 лет со дня смерти) релевантным для нашего рассмотрения является прояснение статуса веберовской исследовательской программы на фоне данных обсуждений, а также выяснение положения концепции Х. Розы с точки зрения вебероведения. Также одной из причин обращения к веберовской топике стали рецепция и (ре)актуализация классика как автором «новой критической теории» (причисление его к основоположникам социологии отношения к миру), так и его главным оппонентом Х. Эссером (апелляция к объективности «эмпирической науки о действительности», попытка предстать «модернизированным Вебером»).

Резонанс и «Социология отношения к миру»

Книгу «Резонанс: социология отношения к миру» (первое издание 2016 г.) следует рассматривать как продолжение, обобщение и концептуализацию монографий «Ускорение: изменения временных структур модерна» (Rosa, 2005), «Отношения к миру в эпоху ускорения: унтуры новой критики общества» (Rosa, 2012), «Ускорение и отчуждение: проект критической теории эпохи позднего модерна» (Rosa, 2013), а также других статей и работ, посвященных критике ускорения, общества экономического роста, отчуждения, овеществления и других центральных категорий социологии Х. Розы. В отличие от простой формы присвоения, идея преобразования (Anverwandlung) мира играет ключевую роль. Резонанс является именно «вспышкой надежды на трансформацию и реакцию в безмолвном мире» (Rosa, 2020: 750). Отправной точкой систематического проекта концепции резонанса остается ускоренное общество и сопутствующие изменения в субъективных отношениях к миру (Weltbeziehung), которые являются одновременно «следствием» и «причиной» ускорения (Ibid.: 14). Резонанс становится одновременно дескриптивным и нормативным термином, который может не только выявлять и критиковать существующие отношения к миру, но и предстает политико-этиче-

ской программой против ускоряющегося общества. Автор называет ее «социологией отношения к миру» (Ibid.: 20), а в равной степени — «социологией хорошей жизни».

Все работы Розы отличает необычный и оригинальный для социологии стиль, содержание и структура изложения. Работа содержит достаточно объемное введение, в котором автор формулирует основные идеи, раскрывает ключевые понятия, объясняет ход и логику исследовательской стратегии. Это относится, например, также и к трижды переизданному учебнику «Социологические теории» (Rosa, Strecker, Kottman, 2018), в котором история дисциплины рассматривается как рефлексия трансформационного дискурса (индивидуализации, доместикации, рационализации и дифференциации) в эпоху раннего, развитого и позднего модерна. Книга «Резонанс: социология отношения к миру» не является исключением. Первые 83 страницы посвящены довольно подробному рассмотрению ключевых понятий и определений, основным тезисам и идеям книги, которые в дальнейшем подробно рассматриваются и анализируются автором. Первую главу он посвящает основным элементам отношений к миру. Отношение к миру определяется не видом деятельности или объектами *per se*, а прежде всего миром опыта и способом его освоения, которые зависят, во-первых, от диспозиций субъекта (телесных, биографических, эмоциональных, психических и социальных), во-вторых, от институциональных, контекстуальных и физических конфигураций мира, и, в-третьих, от вида отношений между первыми двумя (резонанса и/или отчуждения как базисных категорий теории). Во второй части Роза довольно подробно анализирует горизонтальные, диагональные и вертикальные резонансные оси, для каждой из которых характерны резонансные сферы с обилием примеров из литературы, поэзии (15 источников в библиографическом описании), сообщений СМИ и т. д., с целью доказать, что социальная жизнь изобилует возможностями резонанса и в то же время их сокращает. В третьей части производится резонансно-теоретическая реконструкция модерна. Наконец, в четвертой автор переходит к формулировке критической теории отношения к миру, или к критике социальных условий удавшихся или неудавшихся вариантов подобных отношений к миру.

Главный тезис своей работы Хартмут Роза формулирует в начале книги: «Если ускорение является проблемой, то резонанс — возможно, решением», при этом он дистанцируется от роли «гуру замедления», которую, как он пишет, «невольно получил благодаря многочисленным выступлениям в СМИ» (Rosa, 2020: 13). Он очерчивает целый круг проблем, которые не способна решить современная ресурсно-ориентированная социология: «Бесцельная и нескончаемая необходимость ускорения ведет в конечном итоге к проблемному, нарушенному или патологическому отношению к миру субъектов и обществу в целом» (Ibid.: 14). Эти нарушения рассматриваются современной социологией как известные глубокие кризисы современности: экологии, демократии и индивидуальной психики. Первый связан с нарушением отношения человека с окружающей средой или природой; второй — отношения с социальным миром; третий — с патологией субъективного отноше-

ния к себе. Нарушенное отношение к миру — не только следствие необходимости ускорения современных обществ, но и одновременно причина; таким образом, мы имеем дело с усиливающимся, проблемным замкнутым циклом. Он определяет социальное ускорение как основной принцип и базовый опыт современности.

Согласно Розе, основной недостаток классической критической теории заключается в отрицании существующей повседневности и в том, что она не предлагает стандарты для хорошей и полноценной жизни. Этот недостаток он стремится устранить своей концепцией резонанса. Введение физического термина неслучайно, так как это способ быть связанным с миром через вибрации. По его собственным словам, резонансные отношения возникают через «процессы трансформации или взаимного «созвучия» (Ibid.: 282). Так что резонанс — это обратная связь между субъектом и миром. Успешная жизнь является результатом трансформации мира, «в которой субъекты не только позволяют прикоснуться к себе, но и в то же время... касаются других, то есть они могут достичь мира, взаимодействуя» (Ibid.: 283). Возможность резонансных переживаний совместно с другими людьми, а также при взгляде на природу или чтении стихотворения, свидетельствует, таким образом, об успешности жизни.

Х. Роза убежден, что концепцию резонанса мы можем использовать как теоретический инструмент критической социологии для осмысления существующих социальных условий. Отправной точкой данного подхода является понимание, что для полноценной жизни нам необходимы надежные и стабильные оси резонанса по всем трем направлениям — социальному, материальному и экзистенциальному (Роза, 2018: 44). Таким образом, то, в чем мы действительно нуждаемся, это последовательная критика условий существования резонанса, так как удавшаяся (полноценная) жизнь не находится в поле зрения современной социологии и, соответственно, не обладает инструментарием для исследования контекстов ее реализации. Цель, соответственно, сказать больше систематического и субстанциального об удавшейся (полноценной) жизни, не теряя почвы эмпирически обоснованной социальной науки, без дрейфа в сторону спекуляций, чистой философии, эзотерики или религии (Rosa, 2020: 19). Исследование предметного поля жизни (ее качества и полноценности) становится возможным через отношение к миру (*Weltbeziehung*), которое определяется двумя модусами: опытом мира (*Welterfahrung*) и освоением мира (*Weltaneignung*). Таким образом, социология отношения к миру операционализирует вопрос об удавшейся (полноценной) и неудавшейся (неполноценной) жизни как вопрос об удавшемся и неудавшемся отношении к миру.

Так что же такое резонанс? Однозначного ответа Хартмут Роза не дает. Резонанс, как и отчуждение, являются «основными категориальными понятиями систематической социологии отношения к миру» (Ibid.: 281). Это музыкальная метафора — камертоны, которые заставляют друг друга звучать и вибрировать. Применительно к человеческим отношениям в мире это означает: две сущности вибрируют, касаются друг друга, так что их можно понимать как «отвечающие друг другу, но в то же время говорящие своим собственным голосом, то есть как

«резонирующие в ответ». Резонанс может возникнуть с любыми объектами: между людьми и вещами, людьми и музыкой, людьми и природой, людьми и Богом или людьми и искусством. Резонансные отношения преобразуют субъект и мир, они ничего не оставляют без изменения. Понятие резонанса как метафоры подходит для описания качеств отношения и имеет чрезвычайно высокий потенциал для исследования всех сфер человеческой жизни, декларирует Роза. Поэтому он стремится разработать и обосновать резонанс как основное социально-философское понятие и как социально-научную категорию.

Дефиницию резонанса Роза дает лишь на 298-й странице книги и выносит в отдельную форму, и уже в оставшихся трех частях стремится описать отношение к форме жизни как резонансное. Итак, резонанс определяется четырьмя ключевыми элементами: во-первых, аффективным воздействием ($Af \leftarrow f\ddot{u}hrung$), т. е. чувством, что нас действительно что-то тронуло, и эмоцией ($E \rightarrow motion$) как опытом ответного (в противоположность исключительно инструментальному) эмоционального движения личности; во-вторых, резонанс это не эхо, а реакция (обратная связь)¹. Эта реакция предполагает, что обе стороны разговаривают своим собственным голосом, когда затрагиваются «значимые оценки»². Резонанс подразумевает момент конститутивной недоступности. В-третьих, отношения резонанса предполагают, что субъект и мир в достаточной мере «закрыты», соответственно, они достаточно консистентны, чтобы говорить своим собственным голосом, и в то же время достаточно открыты, чтобы можно было на них аффективно воздействовать и их преобразовывать. В-четвертых, резонанс это не эмоциональное состояние, а модус отношения. Он нейтрален по отношению к эмоциональному содержанию. В многочисленных интервью, уже после издания книги, Х. Роза говорит о таких дополнительных характеристиках резонанса, как трансформирующий эффект, имманентная непредсказуемость и неподконтрольность.

С одной стороны, автор рассматривает резонанс как транскультурный феномен, потому что таковой присутствует в каждом человеческом обществе, с другой стороны, резонанс есть результат конкретной социокультурной ситуации (Ibid.: 255). Вследствие своей физической природы субъекты вступают в постоянные обменные отношения с окружающей средой посредством своих естественных процессов, таких как прикосновение, еда, дыхание, питье или контакт с другими субъектами, например, в любви, разговоре, смехе, плаче или в обмене взглядами (Ibid.: 83). Все эти моменты являются основополагающими для объектов. Кроме того, он привлекает результаты исследований зеркальных нейронов, чтобы подкрепить свой тезис о резонансных отношениях между миром и субъектом и подчеркнуть

1. В немецком Роза употребляет *Antwortbeziehung* (ответное отношение, однако в английском он использует *response* (реакция)).

2. Здесь сильное влияние на Розу оказал Чарльз Тейлор: «другой» должен быть пережит как источник «значимой оценки». Только в этом случае мы чувствуем, что у этого другого есть что-то важное, что он может нам что-то сказать или чему-то нас научить. В качестве «другого» могут выступать самые разные явления: человек, музыкальное произведение, гора или, например, историческое событие» (Роза, 2018: 43), см. подробнее: Rosa, 2020: 188ff.

антропологическую и биологическую основу резонансного процесса (Ibid.: 246). Если бы Роза поставил здесь точку, то его определение резонанса незначительно отличалось бы от его трактовки Н. Луманом: «Понятие резонанса указывает на то, что системы реагируют только в соответствии со своей собственной структурой на события окружающей среды» (Luhmann, 1988: 269), более того, «если бы не существовало селективности резонанса или сопряжения, система не смогла бы устанавливать различие относительно среды, и поэтому не существовала бы сама по себе» (Ibid.: 41).

Однако резонанс следует понимать не только как «дескриптивную концепцию» для «базовых человеческих потребностей и способностей» (Rosa, 2020: 293). Розу не устраивает понимание резонанса как «натуралистически замкнутого» понятия (Ibid.: 255) и для того, чтобы разработать социологическую концепцию резонанса, он концептуализирует свои наброски из более ранних текстов. Субъект может взять на себя «активную» часть резонансных отношений, если у него есть «ожидание самоэффективности». Он должен осмелиться вмешаться в мир, трансформировать и изменить его, не желая при этом его контролировать или подчинить. В то же время отношения с миром должны быть значимыми для субъекта «ради себя самого», «внутренние интересы» необходимы для резонансных отношений. Социальное признание и автономия остаются важными для развития обоих моментов. Другим условием является «согласованность» «значимых оценок» (Ibid.: 291) субъектов с их действиями. Значимые оценки — концепция, которую Роза заимствует у Тейлора — придают частям мира значение и определяют «утверждение и отрицание мира». В резонансных отношениях мир влияет на субъекта, так же как и субъект влияет на мир. Это «идея вибрирующего провода» (Ibid.: 279), в котором субъект и мир взаимодействуют друг с другом. Субъект подвержен влиянию мира как пассивного, в то время как эмоционально проявляет и выражает себя в активной роли. Будь то эмоции счастья или скорби — для ситуации резонанса это не имеет значения.

Чтобы выполнить свое собственное требование создания «социологии резонансных отношений», Роза разрабатывает целую систему различных резонансных сфер современности (Ibid.: 186). Предмет этой социологии отношения к миру — результат культурных картин мира, социальных практик, индивидуальных физиологических и физических диспозиций. Он различает «горизонтальное измерение» (межлическое пространство) с резонансными сферами семьи, дружбы и политики, «диагональное» измерение, которое включает отношение к вещам в таких областях, как работа, школа, спорт или потребление, и «вертикальное измерение» (Ibid.: 331), куда относятся всеобъемлющие идеи или жизнь в соответствии с измерениями религии, природы, искусства и истории. В дальнейшем Х. Роза предпочитает говорить о социальных, материальных и экзистенциальных «осях резонанса» (Роза, 2018: 43). Кроме того, если в анализируемой монографии «оси резонанса» предстают как равнозначные, то уже в последующих интервью и статьях Роза считает приоритетными экзистенциальные «оси резонанса», по-

сколькx люди ищут и находят их» потому, что эти оси соотносят и связывают их с жизнью или бытием, или вселенной как таковой. В этих измерениях он выделяет свои специфические «потенциалы резонанса и отчуждения». С одной стороны, современность предоставляет повышенную вероятность резонанса, потому что она чрезвычайно повышает самоэффективность субъектов, — современность как «увеличение резонансной чувствительности» (Rosa, 2020: 624). Однако, с другой стороны, — именно (поздние) современные условия ускоренного общества ограничивают и предотвращают резонанс — таким образом, модерн представляет собой «историю катастрофы резонанса». Для подкрепления своего тезиса Роза привлекает множество авторов из философии, литературы и социологии. В области социологии он в первую очередь ищет связи с критикой политической экономии (Маркс, Лукач), ранней критической теорией (Беньямин, Маркузе, Фромм, Адорно) и другими классиками социологии (Дюркгейм, Зиммель, Вебер) (Ibid.: 517–599).

«Социальное... ускорение» является «ядром модерна, соответственно, модернизации и динамизации... материальных, социальных и духовных отношений, продолжающихся и по сей день» (Ibid.: 673). Это замыкает круг постановки проблемы во введении к работе. Ускорение в настоящее время систематически подрыывает установление разнообразных резонансных отношений и создает состояние «динамической стабилизации», в котором у субъектов больше нет времени и стабильности фиксированных осей резонанса. Резонанс испытывается акторами только временно, на мгновение. В конкуренции между капиталистическими экономикой инструментальные отношения являются более значимыми по сравнению с резонансными для самоутверждения акторов. В таком обществе депрессия и выгорание все чаще бывают явлением «безмолвия мира», которое относится и к «психологическому кризису». Поэтому Роза заявляет: «Резонанс остается обещанием современности, но отчуждение является его реальностью» (Ibid.: 624).

Для «социологии отношения к миру» значимым является определение связи между резонансом и отчуждением. В начале книги связь между резонансом и отчуждением не определялась как диалектическая, отчуждение понимается исключительно негативно и представляется им дуалистически: как контраст с резонансом — либо отношение является резонансным, либо оно отчуждается (Ibid.: 163, 178, 199). В конце первой части книги этот подход претерпевает существенные изменения. Теперь Роза говорит о «диалектике резонанса и отчуждения» (Ibid.: 316). Резонанс возможен только применительно к той части мира, которая говорит своим собственным голосом, и обязательно идет рука об руку с моментами недоступности и противоречия. Способность резонировать основана на предыдущем опыте незнакомого, раздражающего и неподходящего, но прежде всего недоступного, чего-то, чего нельзя получить и ожидать (Ibid.: 322). Отчуждение преобладает, потому что только опыт отчуждения может привести к резонансу. Поэтому понимание Розой резонанса — это не чистая гармония или полная трансформация мира, всегда остаются моменты «непредсказуемого и неконтролируемого». Пар-

тнер обязательно должен оставаться контрагентом, так как трансформация мира возможна только в том случае, если есть что-то, что можно изменить.

Эта переоценка отчуждения также меняет концепцию резонанса: до сих пор этот термин всегда использовался для описания формы успешной жизни, отсюда и его чисто позитивный характер, за что его впоследствии критиковали как слишком простое и схематичное обобщение. Теперь Роза впервые говорит об «инструментальном резонансе», «идеологическом резонансе» и «резонансном моделировании» (Ibid.: 319), которые стоят на пути чисто положительного и прогрессивного определения резонанса.

Отношения отрицательного резонанса «либо вредны для самих субъектов, либо имеют нормативно нежелательные, и даже катастрофические побочные следствия» (Ibid.: 73). Для Розы соотношение резонансов играет важную роль, особенно когда резонанс превращается в инструмент «успешной» жизни в смысле успешного накопления ресурсов. Потому что здесь он подрывает свои собственные конститутивные условия, как бы объективируется и, таким образом, становится функциональным элементом отчужденных отношений с миром» (Ibid.: 319). Например, резонанс в трудовых отношениях или потреблении в значительной степени объективируется, и эти отношения уже нельзя назвать резонансными. Резонанс становится средством, ресурсом или инструментом для увеличения диапазона конкурентных отношений (Ibid.: 620, 674).

В конце своей книги, однако, Роза дистанцируется от различия между «отрицательным и положительным резонансом» и вместо этого предлагает, чтобы резонансные отношения «всегда воспринимались как принципиально позитивная форма встречи с миром, а отношения отчуждения... как переживания безразличия или переживания отталкивания» (Ibid.: 744). Безумное проявление насилия в конечном итоге является признаком отвратительного и инструментального отношения к миру, подобно тому, как национал-социализм устанавливает «фиктивный резонанс» (Ibid.: 371), поскольку вызван «патологией» последнего. Отношения между резонансом и отчуждением, как и отношения между резонансом и «фиктивным резонансом» или «резонансной патологией», остаются, однако, непроясненными.

Для экспликации основного тезиса и обозначенных проблем йенский профессор прибегает к методу: «(авто)биографического повествования», за который неоднократно подвергался критике со стороны представителей различных социологических направлений. Первый случай художников Густава и Винсента показывает значимость предмета хорошей жизни и недостаточность традиционных моделей объяснения (Густав концентрируется на ресурсах: подбирает холст, краски и др., и ему не хватает времени на выполнение проекта; Винсент, напротив, сразу же начинает выполнять проект на клочке бумаги и добивается успеха). Роза таким образом очерчивает проблемное поле социологии хорошей жизни. Утилитарная, ресурсно-ориентированная трактовка различных вариаций теорий рационального выбора, как и его количественное измерение, явно не предлагают удовлетвори-

тельного объяснения данного случая. Выделение и измерение индикаторов счастья вроде немецких три «G» (Gesundheit, Geld, Gemeinschaft): здоровье, деньги, общность (стабильные социальные отношения), или образования и престижа (Ibid.: 16), показывает лишь обеспеченность ресурсами, но не качество жизни, которое определяется отношением к миру. Для этого Х. Роза приводит второй случай. На примере Анны и Ханны автор концепции резонанса показывает, что в одинаковых *социальных ситуациях* (выделено Розой) и в одинаковых социальных условиях речь может идти о качественно различных социальных отношениях: есть две замужние женщины с детьми примерно одинакового возраста, с формально одинаковым стилем и способом ведения жизни: утро — работа — фитнес — дом. Однако Анна счастлива, и жизнь ее полна резонанса, а жизнь Ханны — нет. Значимость этого примера подчеркивается также Мартином Хартманом, который, пусть и несколько иронично, делает его ключевым в своем обзоре «социологии отношения к миру» Х. Розы: «Жизнь Анны полна резонанса... Ханна, напротив, чувствует себя потерянной... и в ее жизни нет резонанса. Основной тезис новой книги Розы можно резюмировать в этих нескольких словах» (Hartmann, 2016).

Для Розы такое повествование, во-первых, соответствует цели книги: «точнее выяснить сущность и природу осей резонанса и точнее определить их литературными метафорами» (Rosa, 2020: 26) и в целом прояснить биографически раскрывающиеся отношения к миру. Во-вторых, — благодаря этим ситуациям, а также третьему дихотомическому примеру с Дорианом и Адрианом (двумя братьями-близнецами, которые в одинаковых институциональных условиях социализации обнаруживают совершенно различные стратегии освоения мира) он показывает недостатки и ограниченность теорий рационального выбора (Ibid.: 31, 47, 60), относимых им к мейнстримной социологии. Адриан после окончания школы изучает юриспруденцию и становится прокурором, регулярно занимается фитнесом, он убежденный атеист с научной картиной мира, успешно спекулирует на бирже, во время отпуска отправляется в познавательные путешествия, в повседневной жизни предпочитает эффективность и надежность. Дориан, напротив, изучает искусство, германистику и историю, становится учителем, играет до изнеможения в футбол, играет в театре, католик, в повседневной жизни предпочитает личное взаимодействие и интимность.

Любой из описанных случаев будет рассмотрен ресурсно-ориентированной социологией в рамках предпочтения индивидуальной стратегии действия с точки зрения оптимизации ресурсов (Ibid.: 34). При этом в основе выбора, совершаемого в свободное время акторами, между посещением театра или игрой на бирже лежит один и тот же принцип расчета: в первом случае это эффективность вложения денежных средств, во втором — соображения признания и престижа. Результирующее же различие, связанное с «отношением субъект–мир», остается вне исследовательского поля мейнстримной социологии. Х. Роза убежден в невозможности измерить качество человеческой жизни опциями ресурсов, в то время как

основные направления социологии занимаются как раз измерением наблюдаемого неравенства и его субъективных оценок.

Социология отношения к миру представляется критикой исторически реализованных отношений резонанса и таким образом становится модифицированной и обновленной формой критической теории. Поэтому «концепция резонанса может преодолеть традиционное противостояние теорий и философий, основанных на идее идентичности, с концепциями, опирающимися на идею различия. Резонанс требует не идентичности, а преобразующего переживания различия» (Ibid.: 313).

Критика

Многочисленные комментарии, рецензии, критика и опровержение критики, дискуссии и отклики уже на протяжении четырех лет подтверждают, что книга «Резонанс: социология отношения к миру» стала ярким и знаковым событием в немецкой социологии. В конце книги Х. Роза сформулировал ответ потенциальным критикам и проблематизировал некоторые уязвимые моменты своей теории резонанса (Ibid.: 739–762). Это, однако, не уберегло автора от обилия критических выпадов в его сторону. Помимо рецензий в прессе, упоминаний в статьях социология с ключевой концепцией хорошей жизни стала предметом углубленного изучения в коллективной монографии «Резонансы и диссонансы. Критическая теория Хартмута Розы в дискуссии» (Peters, Schulz, 2019). Спектр оценок варьируется от признания его (вкуче с предыдущими работами) одним из основоположников концепции резонанса (Wetzel, 2017: 61) наряду с Н. Луманом, Ч. Тейлором и В. Миллером до обличения в «фельетонизме», «мессиянстве», «писательстве» и пр. Обобщая, выделим четыре направления критики:

1) *Избыточность понятия резонанса*. Резонанс предстает как всеохватывающая «магическая формула поздней современности», которая формулируется в ответ на несправедливость современности («отчуждение»). Зачарованный мир романтизма был как бы расколдован модерном, и теперь нам понадобится новое околдовывание этого самого мира, обычно изображаемого в виде позднего модерна. Ключевое понятие резонанса одновременно слишком перегружено и в то же время ограничено. Примеры вибраций в дружбе, общении, религии и литературе, феноменологический анализ дыхания, еды, голоса, взглядов, ходьбы, сна, смеха, плача и любви «растягивают» и размывают итоговые контуры ключевого понятия, отмечает М. Хартман (Hartmann, 2016). Академический наставник Х. Розы, философ Чарльз Тейлор (Taylor, 2017: 55), лояльно, но все же критично указывает на корни происхождения теории резонанса в языке романтизма. В данной связи такие выделяемые Розой имманентные свойства резонанса, как *непредсказуемость* и *неподконтрольность*, для сторонников его теории не имеют смысла и одновременно являются очень уязвимыми для его оппонентов. Действительно, переживание резонанса как такового может быть определено как непредсказуемое, или неподкон-

трольное, в плане его возникновения или невозникновения, но условия возникновения и появления резонанса могут и должны быть исследованы, как считает Д. Ветцель (Wetzel, 2017: 54). Попытка описать при помощи резонанса практически все социальные отношения, как и политико-этическое требование быть открытым для резонанса, послужили поводом для достаточно обоснованной критики за «мессианство». С. Витте в традициях психоаналитической культур-социологии анализирует концепцию резонанса как «обещание спасения» после «бесконфликтного, первоначального единства» (Witte, 2017: 291). Х. Эссер считает, что благодаря продолжению критической теории в сферах психоанализа и безрезонансного отчуждения на месте Розы можно представить себе Папу римского Франциска (Esser, 2019: 582).

2) Теоретические лакуны: *капитализм, господство, неравенство*. Роза не включает в структуру «Новой критической теории» понятие власти. Он обходится эмансипаторным требованием вернуть самоэффективность безвластным» (Rosa, 2020: 757) и вслед за Фуко поднимает вопрос, может ли власть производить резонанс, предотвращать его или принуждать к нему. Это замечание можно найти только в конце книги в качестве ремарки как ответ на возможную критику концепции. Справедливо в данной связи замечание Д. Ветцеля, что это не «чисто эмпирический вопрос, а вопрос теоретической архитектуры» (Wetzel, 2017: 54). Социологическая концепция резонанса должна включить власть в свою теоретическую конструкцию, чтобы достичь лучшей и более реалистичной способности диагностировать общества позднего модерна. По мнению Хартмана (Hartmann, 2016), если Роза видит себя последователем критической теории и предлагает ее новую форму, то игнорирование центральных для нее вопросов эксплуатации, неравенства, несправедливости, равно как и господства, недопустимо для этого направления. Сама постановка проблемы не соответствует основным постулатам и положениям классической критической теории, так как заявленная цель — выявление условий хорошей жизни, не соответствует классическому утверждению Т. Адорно о том, что «в неправильной жизни не может быть жизни правильной» (Адорно, 2000: 4), считает критик Розы. Это понятие не подходит критической теории в качестве ее ключевого термина, ибо неясно, что происходит с резонансными переживаниями в капитализме: усложнение или блокировка. Впоследствии Ханна Мейснер справедливо отметит, что резонанс обычно является привилегией определенных статусных позиций (белый-мужской-средний класс). Этой отсылкой к социальному неравенству и властным отношениям она подчеркивает значительный пробел в концепции Розы (Meissner, 2017). Другие противоречия современного капитализма также не находят места в новой критической теории. Тине Хаубнер (Haubner, 2017) анализирует концепцию труда Х. Розы с точки зрения ее взаимосвязи с капиталистическим способом производства. Несмотря на все отчуждение, в концепции Х. Розы наемный труд дает возможность испытать резонанс, кроме того, он не принимает во внимание международное разделение труда. Полноценный труд в его понимании — это «ремесленный идеал», далекий от реа-

лий глобального рынка труда. Даже нуклеарная семья и частная сфера насыщены отношениями власти и конкуренции и связаны с капиталистическими условиями производства. По словам Кристины Кирхгоф, Розе удастся не только «избегать темы собственности, но и уходить от более точного реагирования на критику политической экономии» (Kirchhof, 2019: 199), поэтому для критической теории концепция резонанса «чрезвычайно дружелюбна». Один из первых критиков концепции резонанса, известный публицист Миха Брумлик, в статье «Резонанс или конец критической теории» (Brumlik, 2016) выразил общую направленность подобных рецензий: критическая теория, которая пренебрегает социальным неравенством, анализом политической экономии и критикой идеологии, не приведет к фундаментальным изменениям в обществе.

3) *«Нормативный монизм»*: теория резонанса должна стать «метакритерием успешной жизни», таким образом она претендует на полную гегемонию: «Критика отношений резонанса не нуждается в дополнении отношениями признания, распределения, взаимопонимания, производственными и т. д., поскольку она уже их интегрировала» (Rosa, 2020: 749). Модель резонанса все же не соответствует обилию вариантов повседневного опыта, считает Хартман (Hartmann, 2016), и приводит несколько убедительных примеров из университетской жизни, когда резонанс не способен тематизировать разнообразие мотивов и биографических переживаний, подпитывающих внутренние различия. Созвучным является исследование каузального понятия резонанса по отношению к терминам других социальных теорий. Социолог Анна Даниэль противопоставляет резонансу концепцию практики. Акцент на практики является более плодотворным для различных исследовательских стратегий (Daniel, 2017: 90), так как для субъектов видимы и осязаемы только части мира (а не весь мир, как у Розы). Из-за этой дифференциации невозможно уместить всю множественность содержаний в одну простую формулу, подобную формуле резонанса (Ibid.: 97). Поэтому фокус резонанса необходимо пере-направить на различные практики акторов и таким образом включить в резонанс социальные процессы.

4) *Теория и эмпирия*. Одно из самых уязвимых положений «социологии отношения к миру» — это взаимосвязь теоретических конструкций и эмпирического обоснования. Кроме биографий, обращения к литературе и поэзии Х. Розе практически нечего привести в качестве эмпирического обоснования или исследовательской программы. Даже последовательные сторонники теории резонанса, не говоря уже об оппонентах, таких как М. Хартман, Х. Эссер, Й. Биски и других, отмечают недостаточность эмпирической базы, верификации и валидности этой концепции. Сам автор заявляет, что «резонанс и отчуждение являются в принципе вполне операционализируемыми понятиями» (Rosa, 2020: 752), поэтому во второй части он эмпирически и аналитически подробно определяет отношение к миру (Ibid.: 328) через резонансные сферы и резонансные оси (Ibid.: 331–516). В другом тексте (Rosa, Endres, 2016) он рассматривает свои исследования как эксплоратив-

ные, т. е. поисковые, разведывательно-аналитические и необязательно исчерпывающие, пытаясь заполнить эту эмпирическую лауну.

Итак, «социология отношения к миру» является актуальной критической теорией позднего модерна, которая, как и любая теория, не лишена недостатков. Дальнейшее развитие и продуктивное применение, как считает один из сторонников концепции резонанса Д. Ветцель (Wetzel, 2017: 60–62), возможно, если: а) выйти за пределы социально-теоретического и феноменологического описания и включить этнографические наблюдения и групповые интервью в рамках отраслевых социологий; б) концептуализировать контуры понятия резонанса, преодолеть всеохватывающий моонормативный принцип; в) включить в дискурс резонанса ключевые для критической теории социальные феномены: власть, господство и капитализм. Эти задачи предстоит решить скорее в будущем, чем в настоящем.

Методологический спор в поствеберовской перспективе

Помимо широкой огласки, многочисленных рецензий и откликов в прессе «социология отношения к миру» с ее центральной концепцией резонанса вызвала интерес в рамках нового «методологического спора», или «спора о позитивизме» (Wagner, 2019), получившего также название «спор Эссера — Хиршауера» (Esser-Hirschauer-Kontroverse) (Römer, 2019), чьим невольным (заочным) участником стал Роза. Поводом послужило довольно скандальное учреждение в 2017 году «Академии социологии» на факультете социальных наук Маннгеймского университета, в качестве структуры конкурирующей с «Немецким социологическим обществом», самым многочисленным и известным профессиональным сообществом социологов в Германии. *Spiritus rector* этой академии, как считает главный критик академии и аналитико-эмпирической социологии С. Хиршауер (Hirschauer, 2018: 153), является Х. Эссер, а официальным директором — другой известный немецкий социолог — Т. Хинц.

Х. Эссер обосновывает учреждение академии и возвращение к аналитико-эмпирическому направлению «кризисом доверия» к социологии, «превращением науки в дискурс», в «производство литературы», в профессиональное написание книг (Esser, 2019: 574). Социология должна вернуться к критериям научности: к понятийной и теоретической точности, содержательности, к эмпирической проверяемости, доказательности (Ibid.: 567) и к другим положениям критического рационализма. На это способна лишь аналитико-эмпирическая социология с теоретической базой, основанной на методологическом индивидуализме (в эссеровской трактовке теорий рационального выбора) со стандартизированными моделями каузального объяснения и точностью измерений количественной методологии (Esser, 2018a, 2018b). При этом Эссер допускает существование в рамках аналитико-эмпирической социологии как социологических теорий, так и качественной методологии. Социальные теории должны быть также точными, верифицированными, эмпирически обоснованными, а не стремиться к «образованию понятий

ради понятий». Здесь следует явный выпад в сторону Розы, поскольку в статье Эссера на протяжении трех страниц обсуждался «Йенский проект» и его участники. Качественная методология имеет право на существование только тогда, когда она «методически контролируема», как в случаях натуралистической схемы Гемпеля-Оппенгейма в психоанализе или объективной герменевтики Овермана (Esser, 2019: 577).

Оппонент Эссера (и одновременно защитник Розы) С. Хиршауер (Hirschauer, 2018: 163) приводит не менее убедительные доказательства в пользу сохранения консенсуса о мультипарадигмальности социологии как в теории, так и в методологии. Образование «Академии социологии» и основные положения аналитико-эмпирической социологии — это вызов не только профессиональному сообществу, но и самоопределению социологии в Германии, превращение ее в социальную статистику на службе государственного управления и социальных институтов. Эпистемологическая нетерпимость и радикализация измерительных методик приведет не к самоутверждению, а к растворению предметного поля дисциплины. Качественная методология имеет такое же право на существование, как и направления количественных измерений.

Обсуждение ренессанса этих, ставших уже тривиальными, антиномий, таких как позитивизм vs. антипозитивизм, критический рационализм vs. конструктивизм, количественная vs. качественная методология, понимание vs. объяснение, как и самой аналитико-эмпирической социологии не имело бы смысла, если бы оно непосредственно не касалось бы «Йенского проекта», и прежде всего рассмотренной выше книги Розы «Резонанс: социология отношения к миру». На это указывает и сам Эссер в заключительной статье в сборнике «Великая трансформация. К будущему современных обществ» (Dörre et al., 2019) под редакцией Розы: «это действительно подходящая возможность продолжить дискуссию» (Esser, 2019: 574). «Социология отношения к миру» критикуется Эссером за тривиальность основных положений, широкий масштаб новой «большой теории» общества, метафизический и спекулятивный характер «идеалистической диалектики Гегеля» и «объективный идеализм Платона». Возмущает критика также и стиль изложения «аподиктически-дискурсивной социологии»: «мощное писательство», пронизанное утопизмом, фантазией и коммуникативными конструкциями в виде фельетонов и эссе (Ibid.: 583–584).

Направленность критики Эссера вполне понятна: его собственные попытки предстать «модернизированным Вебером», как и создание «интегративной, но не-редукционистской социальной теории», удались лишь отчасти. Неявное оппонирование Розе обнаруживается сразу в нескольких сферах. Рецепция Розой веберовского наследия выходит за рамки причисления классика к основоположникам теорий рационального выбора, заложившего основы понимающего объяснения модели макро-микро-макро-перехода. Основоположник немецкой социологии в его трактовке — это выдающийся диагност и критик раннего модерна. Во-вторых, собственная заявка Эссера на «большую теорию» (хотя он это отри-

цает и говорит об универсальной модели социологического объяснения) в начале XXI века не вызвала такого интереса, за исключением ограниченного круга социальных теоретиков, как резонансная «социология отношения к миру» Розы. В-третьих, ключевые посылки, теоретическое содержание, методология и даже стиль изложения у обоих авторов диаметрально противоположны.

Итак, обращение к (пост)веберовской топике в свете рассматриваемых антиномий и контrovers немецкой теоретической социологии имеет ряд оснований. Каждый из авторов двух полярных, претенциозных и наиболее известных «больших теорий» видит себя наследником и последователем веберовской понимающей социологии. Эссер апеллирует к веберовским требованиям объективности социальных наук и свободы от ценностных суждений, делая центральными в своей «эмпирической науке о действительности» целерациональное действие и модель каузального объяснения макро-микро-макро-перехода из «Протестантской этики» в русле теории рационального выбора. Х. Роза в своих немногочисленных ссылках на Макса Вебера, напротив, подчеркивает значимость концепта качественного исследования: «методически для него понимание субъективного смысла действия является важнейшим результатом интерпретации, какого только может достичь социолог» (Rosa, 2018: 55). При этом Роза нисколько не сомневается, например, что «резко звучащее и центральное понятие *харизмы* является понятием резонанса» (Rosa, 2020: 554). Харизма утверждает резонансные отношения во всех трех измерениях: появление Христа задействовало вибрации вертикальных осей резонанса, одновременно утвердило горизонтальные «оси резонанса» среди последователей, а также диагональные оси, когда способствовало пробуждению вдохновения для свершения (политических, религиозных или эстетических) дел. Похожим образом Роза перекодирует «расколдовывание» как «потерю резонанса», апеллируя к переводу этого понятия на английский как *disenchantment* (разочарование) (Ibid.: 550). Апокалиптические предупреждения Вебера о «железной клетке послушания» и «полярной ночи ледяной мглы и суровости» есть не что иное, как предчувствие катастрофы резонанса (Ibid.: 553). Он рассматривает классика как диагноста и критика раннего модерна, переосмысливает и переформирует его ключевые идеи и концепции: «В процессе рационализации, который охватывает у Вебера динамическое распространение научного знания, технического превосходства, рационального управления, экономической деятельности, оптимизации повседневной жизни, отражается то, что я пытаюсь концептуализировать понятием «всемирного расширения» (Ibid.: 549). Даже протестанта с его внутримирской аскезой Роза включает в дискурс резонанса. Верующим протестантам отношение резонанса предстает как грехопадение. При этом Роза не перестает критиковать теории рационального выбора за одностороннюю интерпретацию целерационального действия и упрощенную, ресурсно-ориентированную модель каузального объяснения (Ibid.: 31, 60, 190, 587).

Включение Вебера в современные теоретические построения, рассмотрение его как предшественника теорий рационального выбора с их макро-микро-макро-

переходом или «социологии отношения к миру» с ее переформатированием рационализации в ускорение, безусловно, заслуживает внимания как ре(актуализация) наследия классика. В то же время обе рецепции не лишены изъянов. Подвергать полноценной ревизии вебероведческие изыскания Х. Розы не имеет смысла, так как он позиционирует себя как представитель другого интеллектуального направления, его работы содержат считанное количество ссылок на классика, и он преследует совершенно иные цели в своих исследованиях. В то же время следует отметить налет «нормативного монизма» в интерпретации классика действующим президентом коллегии Макса Вебера, когда он пытается охватить своей концепцией резонанса веберовские категории рационализации, бюрократии, харизмы, расколдовывания и пр. Его же замечание относительно того, что «встречается мнение, согласно которому тот, кто контролирует интерпретацию научных работ Вебера, владеет в целом социологическим исследованием» (Rosa, 2018: 52), не может не вызвать положительного отклика в стане (пост)веберизма.

Иная ситуация с Х. Эссером, который причисляет себя к последователям Макса Вебера, имплицитно и эксплицитно ссылаясь на его работы в целях теоретического синтеза и считая веберовскую парадигму одним из способов преодоления противоречия в подходах микро- и макросоциологии. В немецком вебероведении только Вольфганг Шлюхтер высказал осторожную положительную оценку попытки интеграции социологии Макса Вебера с моделью социологического объяснения теорий рационального выбора в интегративной, а впоследствии аналитико-эмпирической социологии Эссера. У него, пишет Шлюхтер, присутствует формально и содержательно чистый анализ модели каузального объяснения, но лишь одной ее стороны, так как нельзя объяснить «дух» капитализма лишь утилитарной расчетливостью акторов (Шлюхтер, 2004: 39, 40) (у Эссера это принцип предельной полезности). Томас Швинн, признавая общность отдельных посылок, также считает теорию действия Эссера неспособной раскрыть ценностно-рациональные мотивы, не говоря уже о ценностных сферах и порядках на макроуровне (Schwinn, 2006: 59). Его концепция не позволяет объяснить традиционное и ценностно-рациональное действия, которые выступают как заданные в социокультурном контексте. Также подвергается критике положение, что дефиниция ситуации реальных акторов происходит в силу выбора альтернативных ожиданий полезности. Тогда как в действительности определение модели и модуса происходит независимо от ожиданий полезности действующими акторами.

Дефиниция ситуации (селекция модели и селекция модуса) не является, как это доказывает Кристиан Энтцрот, ни простой, ни реалистичной (Entzrodt, 2006: 284, 285). Во-первых, теория действия Х. Эссера сконцентрирована на поиске законов в рамках анализа ситуации, т. е. на макроуровне в рамках теоретического рассмотрения и формулировки теорий. Однако многие социальные исследования стремятся также к герменевтическому и историческому объяснению. И здесь М. Вебер показал возможности теории и ее применения, эссеровская же теория действия, как полагает Энтцрот, неспособна к такому объяснению. Во-вторых, привержен-

ность Эссера теориям рационального выбора ограничивает его типологию действия. Вместо того чтобы подробно конструировать логические (рациональные) модели различных типов действия (традиционного и ценностно-рационального), он фокусируется на одномерной шкале рациональности. К. Энтцрот резюмирует, что модель социологического объяснения Эссера — не последний шаг в направлении создания общей теории действия, но это шаг в правильном направлении.

Прежде всего из-за односторонней теоретико-методологической основы (теория рационального выбора), в силу «априорного» положения о стратегическом рациональном действии, которое раскрывает логику взаимосвязи между акторами, подход Эссера нельзя назвать интегративным. Некоторые его критические выпады в сторону «Йенского проекта» и «социологии отношения к миру», касающиеся абстрактного теоретизирования и слишком широкого масштаба «большой теории», обратились, таким образом, и против него самого. Основные посылки концепции Эссера, как и сама продвигаемая им теория, остаются неизменными на протяжении уже более двадцати лет.

Противоположный характер интерпретаций веберовского наследия наглядно может быть представлен в таблице 1.

Таблица 1

Автор Линии сравнения	<i>Х. Роза. «Новая критическая социология»/социология отношения к миру</i>	<i>Х. Эссер. «Интегративная социология»/аналитико-эмпирическая социология</i>
<i>Направление вебероведения</i>	Сравнительная историческая социология/реактуализация наследия/веберовская исследовательская программа	Теория действия/применение веберовских исследований/аналитическое веберианство
<i>Методология</i>	Понимание «смысла», структурная феноменология универсальной истории	Каузальное объяснение, объективность социальных наук, предварительная функциональная постановка проблемы
<i>Ключевые темы исследования</i>	Процесс рационализации, расколдовывание, бюрократия и бюрократизация, харизма, этика	Теория действия, целерациональное действие, принцип предельной полезности, методологический индивидуализм
<i>Традиция интерпретации</i>	Франкфуртская школа, критическая социальная антропология Чарльза Тейлора	Теории рационального выбора, критический рационализм Карла Поппера, модель макро-микро-макро-перехода Дж. Коулмена

Заключение

Методологический спор о теоретическом плюрализме социологии в Германии, об ее основных задачах во многих своих чертах актуален и для российской социологической науки. Это даже не столько теоретический спор, сколько дискуссия

о перспективах развития социологии на национальном и провинциальном уровне. Х. Эссер во многом воплощает, как пишет С. Хиршауер, социологию «средних городов» (Mittelstadt) (Hirschauer, 2018: 159), которая вынуждена быть «точной» и «объективной», ориентироваться на заказчика (структуры государственного управления), использовать стандартизированные и понятные модели объяснения. Провинциальная социология в силу финансового и интеллектуального потенциала концентрируется на прикладных задачах, без теоретических изысков герменевтико-понимающей (креативно-конструктивистской) социологии. В этих условиях, которые схожи с нашими российскими, становится понятна и тональность «последнего из могикиан» Эссера, который предпринимает хоть какую-то попытку социологического теоретизирования. Очевидно, что маннгеймский профессор использует любую возможность (и он этого не скрывает) для того, чтобы заявить о значимости своей аналитико-эмпирической социологии (когда Эссер пишет, что любые понятия — это обозначения фактов, то в этом утверждении отчасти прослеживаются и веберовские мотивы)³. Практически в каждой своей статье он критикует «Немецкое социологическое общество» и «Немецкое научно-исследовательское общество» (DFG) за игнорирование прикладной социологии.

Методологический спор в немецкой социологии вскрыл, таким образом, две проблемы, актуальные и для нашей социологии. Первая, это теоретико-методологическая дискуссия между герменевтико-понимающей, конструктивистской социологией, преимущественно опирающейся на качественную методологию, и аналитико-эмпирической социологией, ориентированной на количественные исследования. Вторая, непосредственно связанная с первой, — это региональное неравенство «столичной» и «провинциальной» социологии. Очевидно, что аналитико-эмпирическая социология во многих своих (нео)позитивистских посылах критического рационализма середины прошлого века (научность, универсализм, объективность) не может претендовать на общетеоретический масштаб. Очевидно также, что дихотомические и уже ставшие тривиальными поляризации Эссера (научный/ненаучный, объективный/субъективный, понимание/объяснение etc.) вызваны не столько ортодоксальностью его воззрений, как пишет С. Хиршауер, сколько желанием привлечь внимание к проблемам эмпирической социологии и региональной науки. «Программные» заявления Эссера относительно «правильной» постановки проблемы Х. Розой в русле модели социологического объяснения теорий рационального выбора и макро-микро-макро-перехода в аналитико-эмпирической социологии, а также желание маннгеймского профессора «отвести достойное место» качественной методологии и социологической теории, если они будут точными, измеряемыми и достоверными, следует рассматривать не более чем неуместным сарказмом, или социологическим «стёбом», всерьез воспринятым немецкими СМИ и Хиршауером.

3. В исследовании «Аграрная история Древнего мира» Вебер писал: «...прогресс познания историка... достигается тем, что он мулом начинает пахать презираемых им экономических теоретиков и так приходит к ясным понятиям» (Weber, 1988: 113).

Аналитико-эмпирическая социология, как ее понимает Эссер, ориентированная на сбор «жестких», количественных данных, необходима социальной теории. Также не вызывает сомнения, что в плане ориентации на заказчика, практической направленности, понятной теоретической схемы и объяснения данных эмпирико-аналитическая социология имеет определенное преимущество как перед герменевтическим и конструктивистским теоретизированием, так и перед качественной методологией в региональном контексте. Однако выявленные еще в 2006 году теоретические и методологические проблемы «модели социологического объяснения» (Greshoff, Schimank, 2006) как в «интегративной социологии» в целом, так и в стремлении представить веберовскую социологию разновидностью и предпосылкой теорий рационального выбора не позволяют считать эссеровский проект социологически значимым направлением и серьезной теорией в немецкой социологии, на что неустанно намекает и претендует сам Эссер. Такие стигмы, как «социология средних городов» (Hirschauer, 2018: 159), для аналитико-эмпирической социологии (ремейка модели социологического объяснения в «интегративной социальной теории») и «*аналитический веберизм*»⁴ в этом контексте вполне оправданны.

Целью эмпирической «науки о действительности», по М. Веберу, на которого в данной связи довольно часто ссылается Эссер, является не столько каузальное объяснение, без которого не обходится ни одно научное исследование, а прежде всего понимание смысла действий индивидов в уникальных и культурно-специфических контекстах исторических явлений: «Социальная наука, которой мы хотим заниматься, есть наука о действительности. Мы хотим понять окружающую нас реальную жизнь, в которую мы поставлены, во всем ее своеобразии — понять связь и культурное значение ее отдельных явлений в их сегодняшнем виде, с одной стороны, и основания и причины их исторически Так-и-не-иначе-Ставшего-Бытия, с другой» (Weber, 1973: 170).

Социология отношения к миру Х. Розы, несмотря на то что он сам себя позиционирует как автор «новой критической теории», — это определенно большой шаг в направлении актуализированной С. Кальбергом социологической программы Вебера, включающей три постулата: образование понятий как рефлексия над переплетением прошлого и настоящего; мультикаузальность ориентации действий акторов; укорененность (контекстуальность) социального действия в конфигурациях этих ориентаций (Kalberg, 2016: 16). Х. Роза, как и С. Кальберг, рассматривает Вебера как макросоциолога, чей диагноз современности и концептуальные модели харизмы и бюрократии не утратили своей актуальности.

4. «Аналитический веберизм» — предпринятая Зенонасом Норкусом (Norkus, 2001) претенциозная попытка сближения экономики и социологии через преодоление как «аномалий» и «патологий» теорий рационального выбора, так и «антиинституционального» историзма экономической теории Макса Вебера, в том числе и ограниченности концепции рациональности действия. Вольфганг Шлюхтер в одноименной критической статье (Schluchter, 2004) показал несостоятельность такого подхода к интерпретации классика. Благодаря уничижительной критике Шлюхтера «аналитический веберизм» приобрел негативные коннотации в немецком вебероведении.

Тот факт, что «социология отношения к миру» явилась удобным поводом для возобновления методологической дискуссии между качественно-герменевтическим и количественным верифицирующим направлениями в немецкой социологии, оголив к тому же проблему центра и периферии социологического знания, подчеркивает неординарность и резонансность этой социологии. Критическая социология отношения к миру одновременно показывает недостатки и расширяет горизонты традиционного, ресурсно-ориентированного подхода к исследованию качества и образа жизни.

Х. Роза внес важный и весьма оригинальный вклад в современную социологию. Структура «социологии отношения к миру» имеет ряд структурных, содержательных и методологических недостатков. Несмотря на ограничения «нормативно-моделистического» свойства, нет никаких сомнений в том, что сфокусированный на резонансе подход Розы представляет собой одно из наиболее многообещающих событий в критической теории нашего столетия.

Литература

- Адорно Т. (2000). Проблемы философии морали. М.: Республика.
- Роза Х. (2018). Идея резонанса как социологическая концепция // Глобальный диалог. Т. 8. № 2. С. 41–44.
- Шлюхтер В. (2004). Действие, порядок и культура: основные черты веберовской исследовательской программы // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 7. № 2. С. 22–50.
- Brumlik M. (2016). Resonanz oder: Das Ende der kritischen Theorie // Blätter für deutsche und internationale Politik. № 5. S. 120–123.
- Daniel A. (2017). Resonanz in der Praxis: eine praxistheoretische Betrachtung. Resonanz zwischen Systemtheorie und Kritischer Theorie // Peters Ch., Schulz P. (Hrsg.). Resonanzen und Dissonanzen: Hartmut Rosas kritische Theorie in der Diskussion. Bielefeld: transcript. S. 87–105.
- Dörre K., Rosa H., Becker K., Bose S., Seyd B. (Hrsg.) (2019). Große Transformation? Zur Zukunft moderner Gesellschaften: Sonderband des Berliner Journals für Soziologie. Wiesbaden: Springer VS.
- Esser H. (2018a). Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust? Nicht nur eine «Stellungnahme» aus «gegebenem Anlass» // Zeitschrift für theoretische Soziologie. № 7. S. 132–152.
- Esser H. (2018b). Engführung? Ergänzungen zu einem unerledigten Fall // Zeitschrift für theoretische Soziologie. № 7. S. 251–273.
- Esser H. (2019). Situationslogik: Analytisch-empirische Soziologie und die Erklärung von sozialer Ungleichheit, gesellschaftlicher Dynamik und historischen Umbrüchen // Dörre K., Rosa H., Becker K., Bose S., Seyd B. (Hrsg.). Große Transformation? Zur Zukunft moderner Gesellschaften: Sonderband des Berliner Journals für Soziologie. Wiesbaden: Springer VS. S. 567–585.

- Etnzrodt Ch.* (2006). Handeln, soziales Handeln und Handlungstypen bei Weber und Esser // *Greshoff R., Schimank U.* (Hrsg.). Integrative Sozialtheorie? Esser — Luhmann — Weber. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 259–288.
- Greshoff R., Schimank U.* (Hrsg.). (2006). Integrative Sozialtheorie? Esser — Luhmann — Weber. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hartmann M.* (2016). Im Resonanzhafen bekommt die Welt ein anderes Gesicht. Rezension zu Hartmut Rosas Buch Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung // *Frankfurter Allgemeiner Zeitung*. 05.04.2016. URL: https://fazarchiv.faz.net/document/FAZ__FD1201604054795937 (дата доступа: 02.04.2020).
- Haubner T.* (2017). Auf der Suche nach Dingresonanz. Zum Verhältnis von Arbeit und Gesellschaftskritik in Hartmut Rosas kritischer Soziologie // *Peters Ch., Schulz P.* (Hrsg.). Resonanzen und Dissonanzen: Hartmut Rosas kritische Theorie in der Diskussion. Bielefeld: transcript. S. 217–232.
- Hirschauer S.* (2018). Der Quexit: Das Mannemer Milieu im Abseits der Soziologie // *Zeitschrift für theoretische Soziologie*. № 7. S. 153–167.
- Kalberg S.* (2013). Deutschland und Amerika aus der Sicht Max Webers. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Kirchhoff Ch.* (2017). Ein Kommentar zu Hartmut Rosas Resonanz theorie aus der Perspektive der kritischen Theorie Adornos // *Peters Ch., Schulz P.* (Hrsg.). Resonanzen und Dissonanzen: Hartmut Rosas kritische Theorie in der Diskussion. Bielefeld: transcript. S. 195–212.
- Luhmann N.* (1988). Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen: West-deutscher Verlag.
- Meissner H.* (2017). Ein anderes Subjekt ist möglich. Kritische Soziologie und der Blick an den Grenzen // *Peters Ch., Schulz P.* (Hrsg.). Resonanzen und Dissonanzen: Hartmut Rosas kritische Theorie in der Diskussion. Bielefeld: transcript. S. 145–158.
- Norkus Z.* (2001). Max Weber und Rational Choice. Marburg: Metropolis.
- Peters Ch., Schulz P.* (Hrsg.). (2017). Resonanzen und Dissonanzen: Hartmut Rosas kritische Theorie in der Diskussion. Bielefeld: transcript.
- Römer O.* (2019). Wissenschaftslogik und Widerspruch: Die Esser-Hirschauer-Kontroverse. Soziologiehistorische und systematische Überlegungen zu einem Methodenstreit // *Zeitschrift für Theoretische Soziologie*. № 2. S. 220–244.
- Rosa H.* (2005). Beschleunigung: Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Frankfurt/M: Suhrkamp.
- Rosa H.* (2012). Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung: Umriss einer neuen Gesellschaftskritik. Berlin: Suhrkamp.
- Rosa H.* (2013). Beschleunigung und Entfremdung: Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Rosa H.* (2020). Resonanz: eine Soziologie der Weltbeziehung. 3. Aufl. Berlin: Suhrkamp.
- Rosa H., Endres W.* (2016) Resonanzpädagogik: Wenn es im Klassenzimmer knistert. Weinheim/Basel: Beltz.
- Rosa H., Strecker D., Kottman A.* (2018). Soziologische Theorien. 3. Aufl. Konstanz: UVK.

- Schluchter W.* (2004). Max Weber und Rational Choice // *Berliner Journal für Soziologie*. № 14. S. 561–575.
- Schwinn T.* (2006). Der Nutzen der Akteure und die Werte der Systeme // Greshoff R., Schimank U. (Hrsg.), *Integrative Sozialtheorie? Esser — Luhmann — Weber*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 39–62.
- Taylor C.* (2017). Resonance and the Romantic Era: A Comment on Rosa's Conception of the Good Life // *Rosa H., Henning Ch.* (eds.). *The Good Life Beyond Growth. New Perspectives*. L.: Routledge. P. 55–70.
- Wagner G.* (2019). Ein Quexit in der Soziologie? Ein neuer Positivismusstreit spaltet die Soziologie. Deuten steht gegen Messen. Der Konsens über Methodenvielfalt scheint aufgebrochen. 23.01.2019. URL: <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hochschule/methodenstreit-in-der-deutschensoziologie-16001226.html> (дата доступа: 02.04.2020).
- Weber M.* (1973). *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Tübingen: Mohr.
- Weber M.* (1988). *Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*. Tübingen: Mohr.
- Wetzel D.* (2017). Resonanz in der Soziologie: Positionen, Kritik und Forschungsdesiderata // *Breyer T., Buchholz M.* (Hrsg.). *Resonanz — Rhythmus — Synchronisierung*. Bielefeld: transcript. S. 47–64.
- Witte S.* (2017). In Liebe gebor(g)en: Heilsversprechen der Resonanz als Symptom für das Unbehagen in der Kultur Psychoanalytisch-kultur theoretische Anmerkungen zu Hartmut Rosas Soziologie der Weltbeziehungen // *Peters Ch., Schulz P.* (Hrsg.). *Resonanzen und Dissonanzen: Hartmut Rosas kritische Theorie in der Diskussion*. Bielefeld: transcript. S. 291–310.

New Critical Theory or Analytical Empiricism?

Dmitry Kataev

Doctor of Sociology, Professor, Department of Philosophy, Sociology and Theology, Lipetsk State Pedagogical Semenov-Tyan-Shansky University

Address: Lenina str., 42/2, Lipetsk, Russian Federation 398020

E-mail: dmitrikataev@rambler.ru

"If acceleration is a problem in modern society, then resonance is perhaps the solution" is the key thesis of Hartmut Rosa's *Sociology of Relationship to the World*, or "the sociology of the 'good life'", which has become one of the brightest and most controversial critical theories at the beginning of this century. The content, the reception, the criticism of the concept of resonance, and the resulting discussions which became the reason for the renewal of the "methodological positivism dispute" in German sociology are the subjects of this article. The first part of the article is devoted to the consideration of the concept of resonance as a theoretical tool for the new critical sociology, an alternative to the resource-based approach prevailing in mainstream sociology which is unable

to measure the quality of human life and the subject-world relationship. In conjunction with other works of the author, the paper analyzes the main idea of Rosa, that is, the creation of an updated critical theory of resonant relations. In doing so, Rosa thematizes the dialectics between the normative and descriptive content of resonance and alienation as integral elements of modern lifeforms and the human condition, the dichotomy of the “good life” and the “bad life”, and the differentiation of the horizontal, diagonal, and vertical “axes of resonance” and their role in building of “relationships to the world”. The second part highlights the main areas of the critical “sociology of relationship to the world” and the concept of resonance. Particular attention will be paid to the “methodological dispute”, since it is precisely this debate that is associated with another project of the “big theory” of the early 21st century, that of the “integrative sociology” of H. Esser, an updated theory of rational choice that was transformed into an analytical-empirical sociology as opposed to the new critical theory by Rosa. Finally, in the conclusion, an attempt is made to determine the place of both alternatives from the point of view of the Weberian-studies tradition, since both polemicists explicitly or indirectly refer to the classic. The question of whether Rosa’s concept of resonance is a new sociological paradigm or whether it is a sociological theology remains open.

Keywords: sociology of relationship to the world, resonance, alienation, acceleration, critical theory, methodological dispute, Weberian studies

References

- Adorno T. (2000) *Problemi filosofii morali* [Problems of Moral Philosophy], Moscow: Respublika.
- Brumlik M. (2016) Resonanz oder: Das Ende der kritischen Theorie. *Blätter für deutsche und internationale Politik*, no 5, pp. 120–123.
- Daniel A. (2017) Resonanz in der Praxis: eine praxistheoretische Betrachtung. Resonanz zwischen Systemtheorie und Kritischer Theorie. *Resonanzen und Dissonanzen: Hartmut Rosas kritische Theorie in der Diskussion* (eds. Ch. Peters, P. Schulz), Bielefeld: transcript, pp. 87–105.
- Dörre K., Rosa H., Becker K., Bose S., Seyd B. (eds.) (2019) *Große Transformation? Zur Zukunft moderner Gesellschaften: Sonderband des Berliner Journals für Soziologie*, Wiesbaden: Springer VS.
- Esser H. (2018a) Zwei Seelen wohnen, ach! In meiner Brust? Nicht nur eine “Stellungnahme” aus “gegebenem Anlass”. *Zeitschrift für theoretische Soziologie*, no 7, pp. 132–152.
- Esser H. (2018b) Engführung? Ergänzungen zu einem unerledigten Fall. *Zeitschrift für theoretische Soziologie*, no 7, pp. 251–273.
- Esser H. (2019) Situationslogik: Analytisch-empirische Soziologie und die Erklärung von sozialer Ungleichheit, gesellschaftlicher Dynamik und historischen Umbrüchen. Große Transformation?. *Zur Zukunft moderner Gesellschaften: Sonderband des Berliner Journals für Soziologie* (eds. K. Dörre, H. Rosa, K. Becker, S. Bose, B. Seyd), Wiesbaden: Springer VS, pp. 567–585.
- Etnzrodt Ch. (2006) Handeln, soziales Handeln und Handlungstypen bei Weber und Esser. *Integrative Sozialtheorie? Esser — Luhmann — Weber* (eds. R. Greshoff, U. Schimank), Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 259–288.
- Greshoff R., Schimank U. (eds.) (2006) *Integrative Sozialtheorie? Esser — Luhmann — Weber*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hartmann M. (2016) Im Resonanzhafen bekommt die Welt ein anderes Gesicht. Rezension zu Hartmut Rosas Buch Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 05.04.2016. Available at: https://fazarchiv.faz.net/document/FAZ_FD1201604054795937?offset=&all= (accessed 2 April 2020).
- Haubner T. (2017) Auf der Suche nach Dingresonanz: Zum Verhältnis von Arbeit und Gesellschaftskritik in Hartmut Rosas kritischer Soziologie. *Resonanzen und Dissonanzen: Hartmut Rosas kritische Theorie in der Diskussion* (eds. Ch. Peters, P. Schulz), Bielefeld: transcript, pp. 217–232.
- Hirschauer S. (2018) Der Quexit. Das Mannemer Milieu im Abseits der Soziologie. *Zeitschrift für theoretische Soziologie*, no 7, pp. 153–167.
- Kalberg S. (2013) *Deutschland und Amerika aus der Sicht Max Webers*, Wiesbaden: Springer Fachmedien.

- Kirchhoff Ch. (2017) Ein Kommentar zu Hartmut Rosas Resonanz theorie aus der Perspektive der kritischen Theorie Adornos. *Resonanzen und Dissonanzen: Hartmut Rosas kritische Theorie in der Diskussion* (eds. Ch. Peters, P. Schulz), Bielefeld: transcript, pp. 195–212.
- Luhmann N. (1988) *Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?*, Opladen: West-deutscher Verlag.
- Meissner H. (2017) Ein anderes Subjekt ist möglich: Kritische Soziologie und der Blick an den Grenzen. *Resonanzen und Dissonanzen: Hartmut Rosas kritische Theorie in der Diskussion* (eds. Ch. Peters, P. Schulz), Bielefeld: transcript, pp. 145–158.
- Norkus Z. (2001) *Max Weber und Rational Choice*, Marburg: Metropolis.
- Peters Ch., Schulz P. (eds.) (2017) *Resonanzen und Dissonanzen: Hartmut Rosas kritische Theorie in der Diskussion*, Bielefeld: transcript.
- Römer O. (2019) Wissenschaftslogik und Widerspruch: Die Esser-Hirschauer-Kontroverse: Soziologiehistorische und systematische Überlegungen zu einem Methodenstreit. *Zeitschrift für Theoretische Soziologie*, no 2, pp. 220–244.
- Rosa H. (2005) *Beschleunigung: Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Rosa H. (2012) *Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung: Umrisse einer neuen Gesellschaftskritik*, Berlin: Suhrkamp.
- Rosa H. (2013) *Beschleunigung und Entfremdung: Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Rosa H. (2018) Ideja rezonansa kak sociologičeskaja koncepcija [The Idea of Resonance as a Sociological Concept]. *Global Dialogue*, vol. 8, no 2, pp. 41–44.
- Rosa H. (2020) *Resonanz: eine Soziologie der Weltbeziehung*, Berlin: Suhrkamp.
- Rosa H., Endres W. (2016) *Resonanzpädagogik. Wenn es im Klassenzimmer knistert*, Weinheim, Basel: Beltz.
- Rosa H., Strecker D., Kottman A. (2018) *Soziologische Theorien*, Konstanz: UVK.
- Schluchter W. (2004) Dejstvie, porjadok i kul'tura: osnovnye cherty veberianskoj issledovatel'skoj programmy [Action, Order, and Culture: Key Features of the Weberian Research Program]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 7, no 2, pp. 22–50.
- Schluchter W. (2004) Max Weber und Rational Choice. *Berliner Journal für Soziologie*, no 14, pp. 561–575.
- Schwinn T. (2006) Der Nutzen der Akteure und die Werte der Systeme. *Integrative Sozialtheorie? Esser — Luhmann — Weber* (eds. R. Greshoff, U. Schimank), Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 39–62.
- Taylor C. (2017) Resonance and the Romantic Era: A Comment on Rosa's Conception of the Good Life. *The Good Life Beyond Growth: New Perspectives* (eds. H. Rosa, Ch. Henning), London: Routledge, pp. 55–70.
- Wagner G. (2019) Ein Quexit in der Soziologie? Ein neuer Positivismusstreit spaltet die Soziologie. Deuten steht gegen Messen. Der Konsens über Methodenvielfalt scheint aufgebrochen. Available at: <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hoch-schule/methodenstreit-in-der-deutschensoziologie-16001226.html> (accessed: 02.04.2020).
- Weber M. (1973) *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Tübingen: Mohr.
- Weber M. (1988) *Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, Tübingen: Mohr.
- Wetzel D. (2017) Resonanz in der Soziologie: Positionen, Kritik und Forschungsdesiderata. *Resonanz — Rhythmus — Synchronisierung* (eds. T. Breyer, M. Buchholz), Bielefeld: transcript, pp. 47–64.
- Witte S. (2017) In Liebe gebor(g)en: Heilsversprechen der Resonanz als Symptom für das Unbehagen in der Kultur Psychoanalytisch-kultur theoretische Anmerkungen zu Hartmut Rosas Soziologie der Weltbeziehungen. *Resonanzen und Dissonanzen: Hartmut Rosas kritische Theorie in der Diskussion* (eds. Ch. Peters, P. Schulz), Bielefeld: transcript, pp. 291–310.

Амбивалентность героя в контексте изучения социального благополучия, или Поиски героического в новой социально-медийной реальности*

ALLISON S. T. (ED.). (2018). HEROES AND VILLAINS OF THE MILLENNIAL GENERATION. RICHMOND: PALSGROVE. 247 P. ISBN 978-0998344010

EFTHIMIOU O., ALLISON S. T., FRANCO Z. E. (EDS.). (2018). HEROISM AND WELLBEING IN THE 21ST CENTURY: APPLIED AND EMERGING PERSPECTIVES. L.: ROUTLEDGE. 272 P. ISBN 978-1-138-22201-4

Мария Субботина

Аспирантка кафедры социологии, Российский университет дружбы народов
Адрес: ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Москва, Российская Федерация 117198
E-mail: mariya.subbotina.1995@mail.ru

Еще в 1949 году Джозеф Кемпбелл выпустил книгу с интригующим названием «Тысячеликий герой»¹, где показал, как на протяжении всей человеческой истории «герой» неоднократно менял свои «лица» — солдат на поле боя, авантюрист-первооткрыватель, мученик за веру и т. д. Сегодня, в XXI веке, ученые прилагают немало усилий, чтобы выяснить, какое из тысячи возможных «лиц» примеряет «герой» в наши дни, чему учит современные поколения и может ли обычный человек обрести качества героя и повлиять на социальное благополучие. Причем практически ни одна работа о героизме не обходится без упоминания книги Кемпбелла, а именно его концепции «путешествия героя», в ходе которого «персонаж» сначала соглашается на приключения под влиянием внешних обстоятельств и встречает наставника, затем сталкивается с врагами, обретает союзников и с разной степенью успешности проходит испытания, благодаря чему преодолевает кризис самоидентификации² и возвращается в привычный мир, изменяя его к лучшему благодаря полученным в ходе путешествия знаниям. И сегодня эта изначально мифологическая модель «героизации» лежит в основе медийного конструирования «героев»³, однако проблема в том, что к большинству современных известных

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 2001100307 «Субъективное и объективное измерения счастья: справедливость как критерий личного и социального благополучия».

1. Кемпбелл Д. (1997). Тысячеликий герой. М.: Ваклер, Рефл-бук, АСТ.

2. Юнг К. Г. (2010). Очерки по психологии бессознательного. М.: Когито-Центр.

3. См., например: Троцук И. В., Субботина М. В. (2018). Оценка влияния кинематографа на социальные представления о героизме: апробация одного подхода // Коммуникология. Т. 6. № 4. С. 140–158; Салахиева-Талал Т. (2019). Психология в кино: создание героев и историй. М.: Альпина нон-фикшн.

людей очень плохо подходит само слово «герой» в его стереотипно-позитивной трактовке.

Несмотря на то что существует множество концептуальных трактовок героизма, мы имеем удивительно мало социологических исследований, призванных прояснить данный феномен на теоретическом и эмпирическом уровнях. Это тем более странно, что героизм — очевидно мультидисциплинарное понятие, интересующее представителей самых разных дисциплин — философов, культурологов, психологов и др., а также не сходящее со страниц художественной литературы. Многие исследователи считали героизм фундаментальным элементом культурно-исторического развития (вплоть до космологической эволюции⁴), сочетающим в себе понятия судьбы и трагедии⁵, рассматривали исторические типы героизма, в частности, характеристики героя в мифах⁶ и эпосе — гомеровском, средневековом, национальном и др., фокусировали внимание на различных аспектах героизма⁷ — эстетическом, лингвистическом (включая понятия «подвиг» и «альтруизм») и т.д.⁸.

Героизм обычно рассматривается как редкая вершина человеческого поведения, а потому особое внимание к героическим поступкам неизбежно: героический статус считается призрачной возможностью для избранных — обладающих исключительными способностями или поразительно удачливых⁹. Иногда кажется, что «героизм» — предельно простое понятие, исчерпывающееся действиями в интересах общества вопреки личному риску, однако за мнимой простотой скрывается ряд взаимосвязанных парадоксов, которые делают героизм одним из сложнейших для изучения видов человеческого поведения. Кроме того, именно противоречивая природа героизма, видимо, определяет его интригующий характер: с одной стороны, героизм — это социальная атрибуция, с другой, героический поступок — личный выбор. Обе стороны героизма детерминированы исторически, социокультурно и ситуативно: действие, которое считается героическим в одной группе, может отвергаться другой как неприемлемое и отвратительное; герои одной эпохи могут оказаться злодеями в другое время, даже если речь не идет о появлении новых фактов.

Социология заимствовала многие концепции и методики из психологии, и в изучении героизма эта дисциплина вновь предоставляет нам массу данных, особенно принимая во внимание, что героизм неизбежно сочетает в себе соци-

4. См., например: Рерих Е. И., Рерих Н. К., Асеев А. М. (1996). Оккультизм и Йога: летопись сотрудничества. М.: Изд-во «Сфера».

5. См., например: Сапронов П. А. (2005). Феномен героизма. СПб.: Гуманитарная академия.

6. См., например: Юнг К. Г. (1998). Воспоминания, сновидения, размышления. М.: АСТ, Инициатива.

7. См., например: Мовчан В. С. (1986). Героическое в системе эстетических категорий. Львов: Изд-во при Львовском государственном университете.

8. См., например: Соколова Б. Ю. (2011). Культурологическая сущность феномена героизма. Автореф. дисс. к. культурологии. Харьков: Харьковская государственная академия культуры.

9. Franco Z., Blau K., Zimbardo P. (2011). Heroism: A Conceptual Analysis and Differentiation between Heroic Action and Altruism // Review of General Psychology. Vol. 15. № 2. P. 99–113.

альное и личное. Причем психологи, как правило, рассматривают героизм скорее в первом контексте — с точки зрения гражданского мужества, радикального альтруизма, моральной стойкости и т. п., говоря и о героях, сталкивающихся со смертельным риском, и о «культурных героях»¹⁰ в рамках общей идеи героического действия¹¹.

В рецензии будут представлены две книги, вышедшие под редакцией профессора психологии Скотта Эллисона, который занимается изучением героизма прежде всего как повседневного феномена, т. е. его интересуют возможности обучения героизму любого человека. Такой акцент требует уточнения «классификации» героев, и наиболее интересную с социологической точки зрения предложили также психологи — З. Франко, К. Блау и Ф. Зимбардо. Они считают, что большинство людей способны на героические поступки при правильном размышлении и наличии определенных условий, требующих героического действия¹². Несмотря на то что существуют очевидные различия между всевозможными формами храбрости/мужества и контекстами героического поступка, все виды героизма объединяет нечто общее: во-первых, каждое проявление героизма связано с уровнем опасности, который серьезно превышает границы ожидаемого; во-вторых, все виды героизма предполагают готовность попасть в опасную ситуацию; в-третьих, актер всегда преодолевает серьезный страх и действует решительно¹³.

Соответственно, авторы различают три формы героического действия — военную, гражданскую и социальную¹⁴: условно «военные герои» рискуют жизнью и здоровьем по долгу службы (полицейские, пожарные, спасатели); гражданские герои рискуют жизнью по личным убеждениям, а не по долгу службы; социальные герои не подвергают свою жизнь непосредственной физической угрозе, речь идет об иных личных жертвах (серьезные финансовые последствия принятого решения, утрата социального статуса, долговременные проблемы со здоровьем, общественное порицание)¹⁵. Наибольший интерес у современных исследователей вызывают два последних типа героизма — когда героические поступки не связаны с должностными обязанностями, а совершаются по личному убеждению. Преимущественно именно такой формат героизма находится в центре внимания двух рецензируемых книг, хотя следует сразу предупредить их потенциального читателя, что, несмотря на многообещающие названия, он не сможет обнаружить в них

10. Eagly A., Becker S. (2005). Comparing the Heroism of Women and Men // *American Psychologist*. Vol. 60. № 4. P. 343–344.

11. Greitemeyer T., Osswald S., Fischer P., Frey D. (2007). Civil Courage: Implicit Theories, Related Concepts, and Measurement // *Journal of Positive Psychology*. Vol. 2. № 2. P. 115–119.

12. Zimbardo P. G. (2007). *The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil*. N.Y.: Random House.

13. Franco Z., Zimbardo P. (2006). Celebrating Heroism and Understanding Heroic Behavior. Unpublished manuscript. Department of Clinical Psychology, Pacific Graduate School of Psychology, Palo Alto.

14. Franco, Blau, Zimbardo. Op. cit.

15. См., например: Glazer M.P., Glazer P. M. (1999). On the Trail of Courageous Behavior // *Sociological Inquiry*. Vol. 69. № 2. P. 276–295; Shepela S. T., Cook J., Horlitz E., Leal R., Luciano S., Lutfy E., Warden E. (1999). Courageous Resistance: A Special Case of Altruism // *Theory & Psychology*. Vol. 9. № 6. P. 787–805.

четких ответов на вопросы о том, каково современное определение героизма, кого именно сегодня мы считаем героями и какие события или поступки способны однозначно перевести человека в «статус» героя с большей или меньшей степенью уверенности в правильности подобной номинации.

Итак, первая работа «Heroism and Wellbeing in the 21st Century: Applied and Emerging Perspectives» («Героизм и благополучие в XXI веке: практические и новые возможности») имеет весьма вдохновляющий характер, поскольку ее центральная идея состоит в том, что героизм — социально полезное явление, требующее изучения и развития ради благополучия людей во всех сферах жизни. Книга представляет собой сборник статей ряда авторов, что объясняет ее некоторую рассогласованность (у читателя не могут не возникнуть вопросы относительно разнесения некоторых глав по тематическим разделам), однако в целом в книге четко прослеживается общая концепция «повседневного героизма» и идея всеобщего героического воспитания.

Сборник начинается с введения, выстроенного вокруг высказывания Стивена Хокинга о том, что, несмотря на впечатляющее технологическое развитие нашего общества, мы сохранили те эгоистичные и агрессивные поведенческие привычки, которые в прошлом были основой нашего выживания, а сейчас, напротив, способны привести общество к краху (уже в ближайшие сто лет). Метафорическое высказывание Хокинга об агрессивных инстинктах человечества заставляет авторов книги задуматься о том, способны ли мы преодолеть свое «примитивное программирование» посредством осознанной работы над собой и воспитания героических качеств в самих себе и в будущих поколениях.

Книга состоит из четырех разделов — названия, последовательность и содержание которых мало согласуются с как бы обещанным в названии книги прояснением того, насколько в нынешнюю эпоху героизм способствует социальному благополучию. Так, в первом разделе «Исторический контекст» авторы рассматривают концепции, описывающие, как героизм социально конструировался в разные исторические периоды и, соответственно, как социальная среда влияет на наши представления о героическом. Например, Грэм Стил обозначает термином «амбивалентность» противоречивость натуры героя (впрочем, непонятно, почему амбивалентность — сугубо героическая характеристика, а не общее качество человеческого характера): он не должен быть однозначно положительным персонажем, которому все удастся и чьи решения неизменно оказываются верными, потому что амбивалентность делает героя привлекательным — своим несовершенством он похож на обычных людей (в качестве примера приведен Гильгамеш — он не идеален, изначально считался злодеем и стал героем постепенно, пройдя различные испытания и победив врагов). Но с автором действительно соглашаешься в том, что практически во всех культурах можно обнаружить очень похожих героев, которые сталкиваются со схожими трудностями и испытаниями, т. е. совершают «путешествие героя», и это стало особенно заметно в эпоху колонизаций, когда

европейцы узнали культуры Нового Света и обнаружили множество параллелей в мифах и легендах разных культур, где действуют схожие герои.

Российскому читателю будет близок и концептуальный контекст рассуждений Сила: он ссылается на исследования Владимира Проппа, который, проанализировав огромное количество сказок, выделил в них 31 функцию героя¹⁶ и показал, что герой, пройдя свой путь, обретает либо то, что было ранее утрачено, либо что-то новое, т. е. цель героя — ликвидировать недостаток (любви, денег или власти). Также Стил упоминает «мономиф» Джозефа Кемпбелла — его идею, что герои разных культур — лишь вариации базовой нарративной структуры: они проходят примерно одинаковый путь, который включает в себя выход из привычной среды, столкновение со злом или испытаниями, обретение нового знания или какой-то ценности и, наконец, возвращение обратно в свою среду, чтобы изменить ее к лучшему благодаря новым знаниям. Мономиф Кемпбелла интересен тем, что утверждает схожесть реакций человека на какое-то явление, независимо от конкретных различий социокультурного и экономического контекста, т. е. фигура героя выступает некоторой культурной универсалией.

Дальнейшие рассуждения Стила весьма тривиальны в том смысле, что сегодня не только исследователи, но и общественное мнение предпочитают трактовать героизм как аспект повседневной жизни, считая, что любой человек может стать героем, признавая в то же время и двойственную природу героизма: героизм может быть как благом в интересах человечества, так и опасным неуместным поведением, связанным с неоправданным риском (в русском языке есть эмоционально-негативно коннотированное звучание слова «герой», когда речь идет, например, об опасных увлечениях подростков, прыгающих на крыши поездов в метро, цепляющихся за последние вагоны электричек и т. д.). И здесь начинается определенная путаница в рассуждениях автора, который, признавая амбивалентность героизма, не отмечает, что противоречия и девиантность — черты героя, если он успешно преодолел неудачу, которая делает героя похожим на обычных людей и вызывает к нему интерес и эмпатию. С другой стороны, автор совершенно правильно подчеркивает характерную для нашей эпохи черту героизма — противоречие как неспособность героя быть одинаково положительным для всех (конечно, классический пример — Робин Гуд, персонаж средневековых английских баллад, который грабил богатых и отдавал награбленное бедным, но современные блогеры — более показательное проявление избирательного признания их «героизма»). В этом смысле девиантность героизма вряд ли соответствует авторской ее трактовке как исключительно положительной девиации, т. е. позитивного отклонения от принятых норм. Впрочем, Стил неоднократно подчеркивает, что герои зачастую колеблются между тем, что разрешено, и тем, что запрещено, нередко люди становятся героями, нарушая запреты (пример — героиня фильма «Гусарская баллада», которая, нарушив все правила, переделась в мужчину и стала гусаром, совершив

16. См.: Пропп В. Я. (2001). Морфология волшебной сказки. Л.: Лабиринт.

на войне множество подвигов), и подобные колебания делают глобального вообразяемого героя своеобразным моральным ориентиром человеческой истории, а также движущей силой социального развития и фактором социального благополучия. К сожалению, автор противоречит себе, не уточняя, чьего именно социального благополучия и какого вектора социального развития.

Собственно вся книга пронизана подобными противоречиями: с одной стороны, с ее авторами неизменно соглашаешься в концептуальных построениях, но, с другой стороны, очевидно, что они упускают из виду массу нюансов и особенностей реального повседневного конструирования и, что даже важнее, восприятия героизма. Скажем, Сара Бут и Лучиано Павез, признавая, что историю пишут победители, предлагают взглянуть на исторические события с позиции проигравших и приводят в качестве примера первого губернатора Западной Австралии Джеймса Стирлинга — ключевую фигуру в истории колонизации Австралии Великобританией. Современная литература описывает Стирлинга как героя, принесшего цивилизацию в Австралию, «забывая» о том, сколько местных жителей погибло в борьбе с колонизаторами, вторгшимися на их земли. Кроме того, по мнению авторов, история Стирлинга — яркая иллюстрация того, что современные политики в принципе склонны конструировать и поддерживать миф о мирном урегулировании конфликтов.

Действительно, согласно упоминавшейся выше классификации героев в ее расширенной версии (военные герои и герои по долгу службы; гражданские герои; религиозные деятели; политико-религиозные деятели; мученики; политические или военные лидеры; авантюристы/первооткрыватели; герои науки (совершающие открытия); добрые самаритяне; преодолевшие жизненные трудности; бюрократические герои; информаторы)¹⁷, Стирлинг — представитель трех типов: политический/военный лидер (обычно возглавляет нацию или группу в трудный период — войны или катастрофы; служит объединению нации, обеспечивает общее видение проблемы и воплощает качества, которые считаются необходимыми для выживания группы); авантюрист/первооткрыватель; преодолевший жизненные трудности (преуспел, несмотря на сложные условия, став социальным и моральным ориентиром).

Однако он по определению не мог быть героем для всего австралийского общества, так как воплощал в себе лишь ценности завоевателей, а у коренных жителей Австралии был свой герой — Яган, лидер сопротивления, который боролся с британской интервенцией за суверенитет коренных народов Австралии. Однако в современных статьях его называют террористом, который пытался сорвать благую миссию европейцев по спасению австралийских земель и коренных жителей от голода и всевозможных бедствий. Иными словами, в истории Австралии сосуществуют два противопоставленных друг другу героя, которые отражают ценности разных групп, тогда как считается, что для единства государства и общества не-

17. Franco, Blau, Zimbardo. Op. cit.

обходим один герой, символ страны, через ассоциации с которым жители страны испытывают чувства единения и патриотизма. Подобные уточнения, безусловно, важны, но у читателя не может не возникнуть масса вопросов, остающихся без ответа: неужели австралийское общество столь расколото, что продолжает жить с двумя столь разными трактовками героизма в своей истории? как именно в таком случае понятие героизма способствует социальному благополучию и кого именно? насколько подобная амбивалентность героев в принципе характерна для массового сознания и работает ли она лишь применительно к прошлому? и т. п.

Не проясняет ситуацию и обращение к более «узким» типам героизма. Например, Маргарет Уорбертон рассматривает военный героизм как преодоление своих страхов ради выполнения воинского долга, причем на войне риторика героизма превращается в инструмент выживания — проявления героизма становятся повседневностью. Однако ее больше интересуют «гражданский» и «социальный героизм» в годы войны: гражданский героизм отличается от военного тем, что люди, рискуя собой ради других, идут на это по своей воле, а не под давлением профессионального долга; социальный героизм — это стремление и в годы войны поддерживать «нормальную» жизнь (были созданы общественные организации для помощи ушедшим на войну и их родным, нуждающимся в психологической поддержке), благодаря чему героизм и альтруизм становятся частью повседневного нормального поведения. Сюда же автор вносит «гендерный» аспект героизации, отмечая, что женщины проявляли социальный героизм, выполняя в тылу не только свою привычную работу, но и работу мужчин, ушедших на фронт. Рассмотрение столь разных «измерений» героизма мало что проясняет в трактовке самого феномена, тем более что автор делает совершенно очевидный вывод, что в условиях войны люди могут мобилизоваться для помощи друг другу, что позволяет им выжить и сохранить общество, и задается вопросом, можно ли добиться таких же результатов в спокойное время, без внешней угрозы (наверное, можно, где-то получается, где-то нет, в военное время тоже не все и не всегда так однозначно).

Если первый раздел книги представляет собой некий обзор исторических проявлений героизма, то второй раздел посвящен современному героизму, особенно его «обучению и воспитанию». Представленные здесь авторы рассуждают, можно ли развить героические качества и научить героизму, чтобы обеспечить общественное благополучие во всех его проявлениях (духовных и физических, экологических и трудовых и т. п.), как конструируется героизм и какие нарративы о нем доминируют (кстати, по настрою и форме рассуждений этот раздел несколько напоминает российские дискуссии о том, можно и нужно ли учить людей патриотизму). Если главы первого раздела затрагивали совершенно разные аспекты героизма и практически не были связаны тематически, то второй раздел обладает большей целостностью и объединен стремлением разработать своеобразную программу героического воспитания современного человека, что, честно говоря, сразу вызывает серьезные сомнения и настраивает на скептический лад (как можно

обучить человека тому, что является социальным конструктом, а в современную эпоху еще и конструктом с неоднозначным оценочным содержанием).

Фактически второй раздел книги предлагает читателю описание разных подходов к героическому воспитанию, основанных на «путешествии героя» Кемпбелла. Так, Джоанна Пэскоу считает, что можно преобразовать школьную программу, чтобы воспитывать из детей героев по этой модели: рассказы о героизме должны играть роль руководства для учащихся, чтобы наметить их собственный жизненный путь, а учителя должны стать их «наставниками», воплощая этот архетип или творчески изображая «обманщика», чтобы «бросить вызов» ученикам в их «героическом путешествии» в поисках своих сильных сторон. По мнению автора, школьная среда предполагает пребывание учеников в комфорте и безопасности (очень спорное утверждение о современной школьной системе), поэтому учителя поощряют пассивность и прилежность, которые не способствуют развитию героических качеств, а нужно развивать творческие способности школьников, эмпатию и чувство сострадания, используя проективные методики для выявления и развития сильных и творческих качеств учеников («путешествие героя» — стратегия обучения, которая поощряет творческий отклик)¹⁸: находить неожиданные способы решить проблему, рисковать там, где другие боятся, иметь смелость бросить вызов толпе и отстаивать собственные убеждения, преодолевать препятствия, когда другие отступают. Для этого учителя должны знакомить учеников с литературными произведениями о героях, предлагая детям ставить себя на место главного персонажа и отвечать на вопрос, как бы они поступили в аналогичной ситуации и что бы чувствовали на месте героя и тех, кому он стремится помочь. (Учитывая содержательные акценты первого раздела книги об амбивалентности героя и его героизме не для всех, возникает серьезный вопрос о том, кто и по каким критериям будет отбирать эти литературные произведения и как именно интерпретировать поступки их персонажей, — здесь достаточно вспомнить бурные российские дискуссии о списках обязательной литературы для школьного обучения.)

Несколько более убедительный формат «обучения героизму» предлагает Клайв Уильямс, используя метафору «путешествия героя» для вывода взрослых людей из состояния депрессии. Нет смысла описывать здесь применяемые автором психологические методы, отметим лишь, что его подход базируется на идее, что «путешествие героя» — инструмент, помогающий человеку обрести образ жизни, соответствующий его ценностям и интересам, что укрепляет его социальные связи и порождает иное осознание «себя» (психическое здоровье и устойчивость, счастье и удовлетворенность жизнью как критерии личного благополучия). Вероятно, кэмпбелловское «путешествие героя» как вариант метода экстернализации может помочь преодолеть неверие в собственные силы и преодолеть свои проблемы. По сути, героизм позиционируется во втором разделе не только как социально

18. Sternberg R. J. (2010). What is Creativity? // Beghetto R. B., Kaufman J. C. (eds.). *Nurturing Creativity in the Classroom*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 394–414.

важное явление, которое задает моральные ориентиры общества, но и личностно нагруженный феномен, необходимый для полноценной жизни.

Однако, как только читатель делает этот вполне жизнеутверждающий для себя вывод, эта шаткая конструкция рушится, потому что Крис Комерфорд реконструирует утопический мир франшизы «Стартрек», отмечая, что, если мы хотим построить справедливое общество, нужно избегать искажений истины и стремиться сделать всю информацию общедоступной, и, рассматривая героизм как акт личного выбора правды, видит воплощение этой идеальной модели общества с высокими моральными требованиями (правды) в деятельности Эдварда Сноудена, рассекретившего информацию о тотальной слежке американских спецслужб за коммуникациями граждан всего мира. В указанной ранее классификации Сноуден выступает как социальный герой — «информатор»: он знает о незаконной/неэтичной деятельности своей организации и сообщает о ней публично, чтобы изменить ситуацию, а не ради вознаграждения (кроме того, Сноуден — яркий пример амбивалентности героя, что обусловило обращение к его «героизму» и второй рецензируемой книги), однако его «образ» в общественном сознании крайне неоднозначен, а попытки показать его как пример реализации идеалов (!) киновселенной «Стартрека» окончательно сбивают читателя с толку, потому что лишают какой-либо опоры в понимании слова «герой».

Оставшиеся разделы книги ситуацию не исправляют и не меняют. Скажем, формально третий раздел посвящен профессиональной деятельности человека как влияющей на наше мировоззрение, в том числе с точки зрения героизации. Однако Лейла Аль-Хамид рассматривает «приглашение в мафию» как инструмент обмана в бизнес-стратегиях: компании стремятся закрепить и доминировать в своем сегменте рынка, подчеркивая свои якобы уникальные качества, отличающие их от конкурентов, и используя для этого «искаженные инструменты» — недостоверную информацию, позволяющую создать «героический образ» организации и улучшить ее репутацию («притворный героизм») в целях достижения коммерческого успеха (в качестве примера рассматривается поддельный «экологически чистый» имидж компании Volkswagen). Когда компания создает себе героический образ, то и ее клиенты, пользуясь ее услугами, как бы пытаются «приобщиться к героическому» — это подтверждение теории Жана Бодрийяра о симулякрах, поскольку компании лишь демонстрируют симулякр героизма, за которым нет реального героического поведения. Иными словами, героизм как социально одобряемая модель поведения используется в рекламных целях для конструирования квазигероического образа коммерческого продукта (но тогда получается, что это лжегероизм, а читатель уже запутался даже в героизме).

От мафии этот раздел переходит к «юристам-героям»: Ник Джеймс и Франсина Кантаторе считают понятие героизма применимым к юристам, поскольку они играют важную роль в содействии личному благополучию своих клиентов и коллективному благополучию общества, а значит, юридические школы обязаны прививать студентам приверженность к поиску благополучия для других, определяя

конкретные добродетели для развития в рамках учебной программы и внедряя модель обучения, подчеркивающую роль юристов в достижении социального благополучия. Это явно слишком идеалистическая трактовка и юридического образования, и юридической деятельности, хотя авторы совершенно справедливо считают героизм элементом «повседневного этического поведения» (справедливое распределение ресурсов, солидарность и пацифизм). Однако, казалось бы, получившего убедительное определение героизма читателя вновь ждет разочарование, потому что в перспективе авторы сводят героизм к автоматизированной «социальной эвристике»¹⁹: мы все — потенциальные герои, способные в определенный момент жизни совершить героический поступок (но разве тогда он не становится нормой социального реагирования?). Вполне предсказуемо инструментом подобной автоматизации авторы считают преподавание науки о героизме, в первую очередь в рамках юридической подготовки (видимо, затем и повсеместно), чтобы воспитывать (!) высокоморальных, вдохновленных на защиту истины юристов, обладающих героическими добродетелями (заботливость, харизма, умение вдохновлять, надежность, жизнерадостность, бескорыстие, ум и сила/смелость²⁰), необходимыми для альтруизма, сочувствия, самоотверженности, стойкости, надежности, верности и доброты.

И, наконец, заключительный раздел книги посвящен героизму как инструменту преодоления кризисов и перестройки сообществ, хотя подобные его практические функции из предыдущих разделов не следуют, учитывая как отсутствие однозначных концептуальных определений героизма, так и всячески подчеркиваемую необходимость обучать ему детей и взрослых. Фактически данный раздел состоит просто из описаний реальных примеров героического поведения — как воплощенных конкретными людьми в сложнейших жизненных обстоятельствах, так и потенциально способных помочь преодолеть таковые в будущем (например, экономический кризис). Так, Стефани Фейгин-Джонс пытается ответить на вопрос, какую выгоду получает герой, рискующий собой ради других: в период Холокоста находились люди, чьи альтруистические порывы оказывались сильнее страха, и они помогали другим даже ценой собственной жизни и подвергая опасности свою семью, но, рискуя собой ради выживания других и действуя героически, люди получали внутренне намного больше, чем те, кому они стремились помочь. Эмма Бакли и Крейг Терли показывают, как коренные народы Австралии смогли, с одной стороны, доказать свою самобытность, а с другой, по-настоящему почувствовать себя частью своего государства, проявив спортивный «коллективный героизм» в условиях дискриминации. Томас Фойгт, Эндрю Дэй и Сьюзен Баландин подчеркивают, что героизм может способствовать позитивным изменени-

19. Kraft-Todd G. T., Rand D. G. (2017). Adaptive Foundations of Heroism: Social Heuristics Push Advantageous Everyday Ethical Behavior to Heroic Extremes // Allison S. T., Goethals G. R., Kramer R. M. (eds.). *Handbook of Heroism and Heroic Leadership*. L.: Routledge. P. 58–73.

20. Allison S. T., Goethals G. R., Kramer R. M. (2017). Setting the Scene: The Rise and Coalescence of Heroism Science // Allison S. T., Goethals G. R., Kramer R. M. (eds.). *Handbook of Heroism and Heroic Leadership*. L.: Routledge. P. 1–16.

ям, но его негативные последствия (посттравматический синдром) для храбрецов недостаточно изучены, поэтому, видимо, следует обучать не только героизму, но и преодолению его травматических последствий для героя. Перечисление содержательных акцентов заключительного раздела книги явно свидетельствует о том, что заявленная ее авторами как самостоятельная дисциплина «наука о героизме» вряд ли находится на той стадии, когда следует переходить к практическому применению ее методик и концепций, и все еще представляет собой аморфный метафорический конструкт с разрозненным содержанием (набор противоречивых кейсов).

Безусловно, книга предлагает читателю много интересных методик и концепций изучения героизма, но собранные материалы слишком разрозненны и не позволяют убедительно ответить на вопрос, действительно ли героическое воспитание необходимо, чтобы достичь благополучия во всех сферах нашей жизни, а если да, то как именно следует воспитывать из людей героев, учитывая, что даже многие более очевидные вопросы, освещенные в книге, требуют дальнейшего изучения и не столь однозначны, как считают авторы соответствующих глав (например, влияние отношения к национальному герою на патриотизм, национальную идентичность и солидарность, особенно если таких героев несколько и они воплощают ценности разных групп, и т. д.). Ряд авторов книги считает, что достичь всеобщего благополучия можно в мирное время, если у людей будет «правильный настрой» и «правильное героическое воспитание», но эти идеи слишком утопичны: с одной стороны, они не учитывают неизбежные недостатки и несовершенства человека, а с другой стороны, исключают возможность постоянного желания помогать другим и работать на благо всего общества и без «героического воспитания».

Впрочем, книга правильно постулирует амбивалентность героизма, которая исследуется на теоретическом и эмпирическом уровне во второй рецензируемой работе — «Heroes and Villains of the Millennial Generation» («Герои и злодеи поколения миллениалов»). Это также сборник статей под редакцией Скотта Эллисона, предваряемый введением с результатами онлайн-опроса 202-х представителей поколения Y («миллениалов»), рожденных с 1980 по 2000 год в США (социологически подготовленного читателя подобный задел не может не поразить — выборка слишком мала и не репрезентативна как по количественным характеристикам, так и по качественным: «миллениал» — скорее метафорически удобное понятие, чем обозначение реальной социально-демографической группы или когорты). Участникам опроса было предложено выбрать качества, которыми должен обладать герой: умный (56%), вдохновляющий (52%), сильный (50%), харизматичный (42%), самоотверженный (33%), жизнерадостный (39%), заботливый (23%) и надежный (16%). Также респондентам было предложено назвать персонажей, которых они считают героями и злодеями, и, к удивлению исследователей (что странно звучит в условиях современной массовой медийной культуры), 11 персонажей попали в обе категории, вследствие чего книга и посвящена детальному разбору каждого

из них, или поискам ответа на вопрос, почему один и тот же человек может быть героем для одних и злодеем для других.

Впрочем, сама постановка вопроса вызывает удивление, учитывая мозаичность общества постмодерна, где нарративы вытесняют достаточно универсальные метанарративы²¹, а потому понятие героизма, за исключением однозначных его проявлений типа спасения чьей-то жизни в экстремальной ситуации, не может быть общепринятой и единственно верной. Кроме того, когда речь идет об опросах общественного мнения, люди уверенно дают ответы на вопросы даже в тех случаях, когда не вполне понимают, о чем идет речь (скажем, трактовок счастья множество, но респонденты легко квалифицируют себя в категориях счастливо-сти-несчастливости). Очевидно, что респонденты вкладывают разный смысл в понятие «герой», в итоге, как правило, у нас есть модальные распределения «героев» и/или их качеств/атрибутов, но не причин или критериев отнесения представителей определенных профессий, конкретных исторических лиц, политических деятелей и т. д. к героям. К сожалению, эти особенности любых опросов по неоднозначно коннотированным тематикам авторы не оговаривают.

Итак, в книге пять разделов, в каждом из которых авторы разбирают несколько персонажей: первый раздел посвящен медийным личностям (например, американский рэпер Канье Уэст и его жена Ким Кардашьян); второй — вымышленным героям типа Бэтмена и Северуса Снейпа; третий — «героизму и злодеяниям» учителей и родителей; четвертый — политикам Дональду Трампу и Хиллари Клинтон; пятый — «социальным подвижникам» типа Марка Цукерберга, Матери Терезы и Эдварда Сноудена. Безусловно, подбор персонажей, валидность инструментария и репрезентативность выборки в данном исследовании весьма сомнительны, но заслуживает внимания сама попытка описать и систематизировать типы героев на основе социальных представлений и противоречивых стереотипизаций.

Поскольку распределение героев по разделам является не классификацией, а скорее условным разбросом по тематическим рубрикам, а нас интересуют не сами представленные персонажи, а стоящие за их описанием концептуальные модели, то, реконструируя содержание книги, имеет смысл опираться на упомянутую ранее классификацию героев Франко, Блау и Зимбардо. Так, Мэтью Вандини рассматривает три трансформации героя в ходе его «путешествия» — его установок, самого себя и общества, которые обычно происходят именно в такой последовательности и создают «истинного героя», ставящего коллективные интересы выше личных. Однако иллюстрация этого «путешествия» может шокировать читателя, потому что в качестве героя выступает Канье Уэст, превратившийся из простого ребенка из среднего класса в одну из мировых икон хип-хопа. Безусловно, у него был «наставник» — мать Донда Уэст, которая считала необходимым заниматься благотворительностью и привила эту идею сыну. Подобный «социальный геро-

21. См., например: Троцук И. (2014). Дискурсивное конструирование социальной реальности: концептуальные основания и эмпирические приемы разоблачения «скверных» практик // Социологическое обозрение. Т. 13. № 2. С. 206–224.

изм» без жертв и риска, или «целенаправленный героизм», проявился в активной борьбе за права темнокожих, однако даже не самый разбирающийся в хип-хоп культуре российский читатель знает Канье даже не столько как звезду хип-хопа, сколько как неоднозначного медийного персонажа, известного своими странными поступками и психологическими проблемами.

Возможно, американцы действительно воспринимают Канье как человека, меняющего отношение общества к проблемам афроамериканцев, но его борьба за права этой группы сочетается с радикальным сексизмом в текстах песен и регулярными выпадами в адрес коллег и близких друзей. Автор главы объясняет негативные поступки Канье психическим расстройством после трагической смерти матери, однако вряд ли можно считать это событие оправданием столь избирательного «героизма», и у читателя не может не возникнуть совершенно закономерный вопрос: при чем тут вообще героизм? Перед нами феноменально богатый человек, позволяющий себе намного больше, чем обычные люди, и в позитивном, и в негативном смысле, но называть его героем можно лишь исключительно в литературоведческом смысле — как героя публикаций средств массовой информации.

Аналогичный вопрос преследует читателя на протяжении практически всей книги, потому что ее герои заслуживают подобного «статуса» исключительно с точки зрения фокусировки на них определенных медийных материалов. Так, Кана Ролетт позиционирует как «королеву искупления», прошедшую путь от «жертвы дискредитирующего видео до женского кумира», жену Канье Уэста Ким Кардашьян — звезду ток-шоу и актрису (?!). В качестве обоснования приводит концепция «путешествия», на протяжении которого Ким якобы прошла пять трансформаций — моральную, эмоциональную, ментальную, психическую и духовную — на пути к принятию себя. Безусловно, Ким, как и множество других людей, оказалась «преодолевающим трудности/неожиданным победителем», обладающим двумя из «большой восьмерки» героических черт, отмеченных Эллисоном во введении, — силой и умением вдохновлять других. Впрочем, ее феноменальные заработки зависят от успешности ее собственного ток-шоу, поэтому многие респонденты вполне справедливо подозревают ее в «благотворительности ради пиара» (по сути, в лжегероизме). Кроме того, она пропагандирует трансформацию внешности с помощью пластической хирургии, поэтому странно позиционировать Ким как положительный пример принятия себя. Можно было бы сказать, что Ким Кардашьян — показательный пример амбивалентности героя, так как практически все ее публичные действия можно трактовать и как «героизм», и как «злодейство», и в этом проявляется противоречивость понятия героизма — герой должен вдохновлять других своими поступками, но вряд ли он способен сделать это без инструментов публичности и зрелищности. Однако автор главы, видимо, путает понятия героизма и успешной рекламной «продажи себя», а читатель уже на данном этапе прочтения книги совершенно теряет уверенность в том, что вообще понимает смысл понятия «герой».

Окончательно его запутывает завершающая первый раздел глава про культового персонажа комиксов Бэтмена. Несомненно, это классический кемпбелловский герой, совершивший «путешествие» от гибели родителей к борьбе с преступностью, рискующий собой ради других по личным убеждениям, а не по долгу службы, и однозначно позитивный персонаж в том смысле, что его внутренние сомнения и колебания не лишают его поступков и жизненного выбора пафоса социального служения (это прекрасно показано в кинотрилогии Кристофера Нолана). Однако автор главы полагает, что Бэтмен — «злодей», потому что отказывается убивать своих врагов: прикрываясь идеей гуманизма, он сохраняет жизнь своим антагонистам, нанося им тяжелые увечья, вследствие чего они убивают еще больше людей, чтобы отомстить Бэтмену. Это очень странная трактовка весьма схематичного (по определению, как возникшего в комиксах), но однозначно позитивного персонажа (герой-одиночка, противостоящий силам зла), потому что нельзя упрекать героя в том, что он отказывается от убийств как «метода» преступников. В этом смысле, конечно, бессмысленно рассматривать Бэтмена как амбивалентного героя и тем более как классического злодея, потому что у него нет негативных мотивов, а считать «злодейство» побочным эффектом благих намерений, лишаящим человека «статуса» героя, недопустимо даже в иллюстративно-описательных целях.

Вероятно, эта логика работает лишь в обратную сторону: Мэдисон Лоуренс показывает, что Северус Снейп, на протяжении шести книг о Гарри Поттере выступавший его антагонистом, в последних главах заключительной части неожиданно оказывается положительным героем, который неоднократно рисковал и в итоге погиб, защищая Гарри. Но здесь опять возникает вопрос: почему необходимость притворяться «плохим» ради спасения Гарри Поттера (истинный героизм) авторы книги считают проявлением амбивалентности героя и тем более позиционируют ее как характерную черту «неоднозначного» поколения миллениалов? Почему, что имплицитно следует из описания Снейпа, герой обязательно должен быть приятным во всех отношениях человеком: авторы полагают, что Снейп стал культовой фигурой для поколения миллениалов, олицетворяющей самоотверженность и преданность, однако многие его качества неприемлемы для героя/наставника (как учитель не упускал возможности поиздеваться над учениками, не пытался сеять «доброе и вечное», был жесток и высокомерен и т. д.). Это выглядит тем более странно, что в двух заключительных главах первого раздела убедительно показано, что наставники/учителя в широком смысле слова (включая родителей) всегда несколько амбивалентны для своих учеников/детей, потому что из одних и тех же лучших побуждений могут как помочь взрослению ребенка, так и отбить у него желание учиться и вырастить в нем комплексы (кстати, извечная проблема, которую сложно связать с героизмом).

Следующий раздел книги посвящен политикам — Хиллари Клинтон и Дональду Трампу (они оказались героями-злодеями для студентов-миллениалов после президентских выборов в США), и действительно практически любого видного политика/общественного деятеля можно отнести, по крайней мере риторически,

и к героям, и к злодеям, в зависимости от целей его дискурсивной презентации. Здесь ситуация напоминает противопоставление Джеймса Стирлинга и Ягана, которые воплощали ценности разных групп населения Австралии: Клинтон и Трамп — противоречивые лидеры, заручившиеся поддержкой разных групп населения, но не всех американцев, и, несмотря на то что Трамп одержал победу, многие американцы считают его «злодеем» (такова судьба большинства политических лидеров, и опять же совершенно непонятно, почему здесь нужно обращаться к понятию героя).

Последний раздел книги представляет читателям «социальных подвижников»: Чжао Лю, используя кемпбелловскую метафору «путешествие героя», описывает, как Марк Цукерберг изменил общество социальной сетью Facebook, что, с одной стороны, делает его «героем науки», но с другой стороны, превращает в «злодея» по причине личных черт (нарциссизм, плагиат и пр.), тотальной слежки за пользователями Facebook и чрезмерного перевода значительной части жизни людей в онлайн-формат. Стефани Ха проводит анализ героического типажа Матери Терезы, чье имя сегодня является нарицательным обозначением милосердия, и показывает, что оно попало в список «злодеев» у миллениалов (хотя вряд ли только у них) за антисанитарные условия жизни людей в ее приютах (Мать Тереза считала, что страдания обогащают мир), радикально негативное отношение к абортам, излишнюю публичность и зрелищность благотворительности (Мать Тереза стала лауреатом Нобелевской премии, появлялась на обложках журналов и вращалась в политических кругах, т. е. всячески афишировала свой «героизм»). И, наконец, Арианна Гиллард реконструирует историю Эдварда Сноудена, который предал огласке данные спецслужб, доказывающие их тотальную слежку за гражданами США и других стран, но преследуется по целому ряду уголовных статей. Интересно, что в одном разделе книги оказались Эдвард Сноуден и Марк Цукерберг: первый боролся с тотальной слежкой, а второй создал для нее технические возможности, но оба оказались отнесены в оба списка — героев и злодеев, что вряд ли подчеркивает амбивалентность любого «героя», а скорее свидетельствует о непродуманном использовании понятия «герой» без прояснения его содержательного наполнения и без уточнения связанных с ним подвижных стереотипизаций и устойчивых коннотаций. Это подтверждает и то, что в каждой главе авторы ссылаются в основном на исследования героизма (множественные и разнообразные), тогда как «злодейство» просто постулируется как противоположность героизма, но его характеристики не систематизированы и, как правило, сводятся к последствиям (социально-)психологической травмы и/или неожиданным результатам героического действия (не имеют злого умысла).

В итоге практически все представленные в книге персонажи описаны по принципу «поступает хорошо — поступает плохо», но в данном ключе можно описать абсолютно любого человека, а не только популярных медийных персонажей. Кроме того, использованное в книге обоснование противоречивости этих персонажей тем, что и само поколение миллениалов противоречиво, вряд ли имеет «эксклю-

живный» характер: любому герою в человеческой истории присуща амбивалентность, потому что каждый из нас сочетает в себе положительные и отрицательные качества и совершает разные выборы в своем «путешествии», причем вряд ли это путешествие можно так уж легко реконструировать — просто отбирая удобные медийные факты из жизни известных людей (а не проводя тщательные биографические исследования или кейс-стади) и тем более персонажей комиксов и (детской) художественной литературы. Безусловно, дискурсивные/медийные механизмы конструирования образов «героев» и «злодеев» (хотя правильное, наверное, говорить о «лжегероях») схожи, поскольку современная массовая культура в принципе основана на определенном наборе дискурсов и форматов визуальности²², однако ни одна из рецензируемых книг не предоставляет читателю не только четкого и понятного определения героя, но и убедительного обоснования того, почему всех указанных реальных людей и выдуманных персонажей нужно описывать и воспринимать именно как «героев», а не как, скажем, «лидеров мнений» в трактовке Пола Лазарсфельда²³, а отклонения от некоего подразумеваемого идеала героического поведения — как «амбивалентность» или «злодейство», а не как, например, «лжегероизм», который может быть не менее успешным в формировании паттернов поведения, поскольку оба «модуса» героизма выполняют схожие функции (служат аудитории медиаотражением ее устремлений и способов их реализации) и имеют схожие черты (харизма может быть позитивно-притягательной и негативно-отталкивающей, но всегда служит инструментом самооценки потребителей медийной информации)²⁴.

Ambivalence of the Hero in the Context of the Social Well-Being Study; or, The Search for the Heroic in the New Social-Media Reality

Maria Subbotina

PhD student, Sociology Chair, RUDN University

Address: Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russian Federation 117198

E-mail: mariya.subbotina.1995@mail.ru

Books Review: Scott T. Allison (ed.), *Heroes and Villains of the Millennial Generation* (Richmond: Palsgrove, 2018); Olivia Efthimiou, Scott T. Allison, Zeno E. Franco (eds.), *Heroism and Wellbeing in the 21st Century: Applied and Emerging Perspectives* (London: Routledge, 2018).

22. См., например: Банфи А. (1989). *Философия искусства* / Пер. с итал. Г. П. Смирнова. М.: Искусство.

23. См., например: Дмитриев А. Н. (1997). Опыт сотрудничества П. Лазарсфельда и Т. Адорно в исследовании массовой коммуникации // *Социологический журнал*. № 3. С. 151–158.

24. Хейзинга Й. (2004). *Героизм* // Хейзинга Й. *В тени завтрашнего дня*. М.: АСТ.

Новая интеллектуальная биография Макса Вебера*

HÜBINGER G. (2019). MAX WEBER: STATIONEN UND IMPULSE EINER INTELLEKTUELLEN BIOGRAPHIE. TÜBINGEN: MOHR SIEBECK. XI, 419 S. ISBN 978-3-16-157581-5

Олег Кильдюшов

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: kildyushov@mail.ru

Очередная посвященная Максy Веберу книга вышла за год до нынешнего веберовского юбилея: 14 июня 2020 года отмечалась 100-летняя годовщина со дня смерти классика мировой социологии. Ее автор Гангольф Хюбингер — известный немецкий специалист в области интеллектуальной истории, бывший профессор сравнительной истории культуры и старший научный сотрудник Центра «В/Orders in Motion» Европейского университета «Виадрины» (Франкфурт-на-Одере). Его предшествующие работы в основном посвящены проблемам культурной истории модерна, истории идей, религиозной и интеллектуальной культуре Германии, а также истории исторической науки. Так, его перу принадлежат труды об историке и политике XIX века Г.-Г. Гарвинусе¹, о взаимоотношении либерализма и протестантизма в Германской империи², о выдающемся исследователе античности и нобелевском лауреате Теодоре Моммзене³, о политической роли интеллектуалов⁴ и др.

Систематически идейное наследие Макса Вебера Г. Хюбингер изучает с 1980-х годов, когда он вместе со своим научным руководителем, крупным западногерманским историком Вольфгангом Моммзеном (1930–2004) принял участие в издании веберовского Полного собрания сочинений (Max Weber-Gesamtausgabe), все 47 томов которого вышли к 2020 году. Он непосредственно работал над публикацией четырех томов мегапроекта: сначала помогал В. Моммзену при издании ре-

* Публикация подготовлена в рамках проекта «От политической теологии до когнитивистики: новые альтернативы, новые вызовы или новые ресурсы социальной теории?», выполняемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2020 году.

1. Hübinger G. (1984). Georg Gottfried Gervinus: Historisches Urteil und Politische Kritik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

2. Hübinger G. (1994). Kulturprotestantismus und Politik: Zum Verhältnis von Liberalismus und Protestantismus im wilhelminischen Deutschland. Tübingen: Mohr Siebeck.

3. Hübinger G. (2003). Theodor Mommsen und das Kaiserreich. Friedrichsruh: Otto-von-Bismarck-Stiftung.

4. Hübinger G. (2006). Gelehrte, Politik und Öffentlichkeit: Eine Intellektuellengeschichte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

чей и сочинений Вебера времен Первой мировой войны⁵, а затем занял место своего учителя в редакционном совете. Уже под редакцией самого Хюбингера вышли тома, содержащие незавершенные работы классика по социологии государства⁶, его письма начала XX века⁷ и 1870–80-х годов⁸. Его перу также принадлежит работа, помещающая Макса Вебера в ряд других публичных интеллектуалов XX века, понимаемых им в качестве «ангажированных наблюдателей модерна»⁹.

Рецензируемый здесь том структурно представляет собой сборник из 21 текста, написанных в два захода: четыре — между 1988 и 1995 годами, остальные — между 2004 и 2018 годами. Их содержательное ядро возникло именно в ходе работы исследователя над «Max Weber-Gesamtausgabe», когда ему посчастливилось близко познакомиться и тесно сотрудничать с крупнейшими вебероведами мира: Вольфгангом Шлюхтером, М. Райнером Лепсиусом, Гюнтером Ротом, Эдит Ханке, Хинерком Брунсом и другими выдающимися знатоками веберовского наследия.

В связи с деятельностью Г. Хюбингера как публикатора работ классиков нужно вспомнить о другом важном для него издательском мегапроекте. Он также член редакционного коллектива, работающего над таким амбициозным замыслом, как 26-томное Полное критическое собрание сочинений крупного теолога и философа культуры Эрнста Трёльча, кстати, бывшего важным участником веберовского круга в Гейдельберге. Так, при непосредственном участии историка уже вышли тома, посвященные политическим и культурно-философским сочинениям Трёльча 1919–1923 годов¹⁰, его докладам о религии и философии истории в Англии и Шотландии¹¹, а также письмам 1919–1922 годов¹². Кроме того, он — один из издателей специализированного журнала¹³ и книжной серии по социальной истории литературы.

Исследовательские интересы автора нашли свое отражение в тематике рецензируемой книги, которую он сам определяет как «интеллектуализацию», являющуюся

5. Weber M. (1984). Zur Politik im Weltkrieg: Schriften und Reden 1914–1918 / Hrsg. v. W. J. Mommsen, in Zus.-Arb. m. G. Hübinger (Max-Weber-Gesamtausgabe. Band I/15). Tübingen: Mohr Siebeck.

6. Weber M. (2009). Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie) — unvollendet. Mit- und Nachschriften 1920 / Hrsg. v. G. Hübinger in Zus.-Arb. m. A. Terwey (Max Weber-Gesamtausgabe. Band III/7). Tübingen: Mohr Siebeck.

7. Weber M. (2015). Briefe 1903–1905 / Hrsg. v. G. Hübinger u. M. Rainer Lepsius in Zus.-Arb. m. Th. Gerhards u. S. Oßwald-Bargende (Max Weber-Gesamtausgabe. Band II/4). Tübingen: Mohr Siebeck.

8. Weber M. (2017). Briefe 1875–1886 / Hrsg. v. G. Hübinger in Zus.-Arb. m. Th. Gerhards u. U. Hinz Max (Weber-Gesamtausgabe. Band II/1). Tübingen: Mohr Siebeck.

9. Hübinger G. (2016). Engagierte Beobachter der Moderne: von Max Weber bis Ralf Dahrendorf. Göttingen: Wallstein-Verlag.

10. Troeltsch E. (2002). Schriften zur Politik und Kulturphilosophie 1919–1923 / Hrsg. v. G. Hübinger in Zus.-Arb. m. J. Mikuteit. Berlin: De Gruyter.

11. Troeltsch E. (2006). Fünf Vorträge zu Religion und Geschichtsphilosophie für England und Schottland. Christian Thought: Its History and Application (1923) / Der Historismus und seine Überwindung (1924) / Hrsg. v. G. Hübinger in Zus.-Arb. m. A. Terwey. Berlin: De Gruyter.

12. Troeltsch E. (2015). Spectator-Briefe und Berliner Briefe 1919–1922 / Hrsg. v. G. Hübinger in Zus.-Arb. m. N. Wehrs. Berlin: De Gruyter.

13. <https://www.degruyter.com/view/journals/iasl/iasl-overview.xml>

юся для Вебера парным понятием к «рационализации»¹⁴. В ней Хюбингер пытается дать свои ответы на ключевые вопросы современного вебероведения: какие импульсы интеллектуализированной и сциентизированной «действительности» рубежа XIX–XX веков воспринял Вебер? Каким образом он сам своими работами способствовал рационализации и интеллектуализации мира модерна? Этот двойной вопрос является сквозным для всего тома (S. 6).

Нужно сразу сказать, что обсуждаемая здесь книга неизбежно попадает в один ряд с другими недавно вышедшими биографиями классика¹⁵. Отметим при этом, что из последних веберовских жизнеописаний сам Гангольф Хюбингер по содержательным причинам выделяет именно книгу «Жизнь между эпохами», написанную франкфуртским журналистом Юргеном Каубе¹⁶. В качестве обоснования историк ссылается на замечание Ральфа Дарендорфа в адрес веберовских биографов, сделанное им в известной работе «Макс Вебер и современная социальная наука»¹⁷: вместо того, чтобы героизировать Вебера в духе его жены Марианны или Карла Ясперса, следовало бы отобразить его титаническую личность как интеллектуальный «центр силы», сублимировавший собственную страсть к знанию о реальном мире в социологию как «науку о действительности». В этом смысле Хюбингер солидаризируется с Каубе в том, что наука не просто вносит решающий вклад в расколдовывание мира: если речь идет о внутреннем смысле «науки как призвания», то он заключается в саморасколдовывании современного культурного человека, в его самопросвещении путем избавления от иллюзий и заблуждений эпохи. При таком подходе максимой веберовской социальной науки становится если не решение жизненных проблем, то борьба с ложью жизни посредством предметного и последовательного вклада ученого в культуру модерна¹⁸.

Понятно, что в целом обстоятельства жизни Вебера хорошо известны исследовательскому сообществу благодаря трудам предшествующих биографов, начиная с Марианны Вебер. Поэтому в каждой новой биографии, тем более интеллектуальной, часто речь идет не столько об открытии ранее неизвестных фактов, сколько об их новой интерпретации и даже нюансировке тех или иных аспектов жизни классика, когда подчеркиваются, иначе контекстуализируются или впервые от-

14. Ср.: «судьба нашей эпохи с характерной для нее рационализацией и интеллектуализацией...» (Вебер М. (2006). Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН. С. 545).

15. Radkau J. (2005). Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens. München: Hanser; Kaesler D. (2014) Max Weber: Preuße, Denker, Muttersohn. München: C. H. Beck; Lepsius M. R. (2016) Max Weber und seine Kreise. Essays. Tübingen: Mohr Siebeck; Müller H.-P. (2020) Max Weber: Eine Spurensuche. Berlin: Suhrkamp.

16. Kaube J. (2014). Max Weber: Ein Leben zwischen den Epochen. Berlin: Rowohlt. (русский перевод: Каубе Ю. (2016). Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох / Пер. с нем. К. Г. Тимофеевой. М.: Дело). 27 апреля 2017 года в Германском историческом институте в Москве прошла презентация русского издания книги с участием автора книги и рецензента: https://www.youtube.com/watch?v=XtSMwaUddxo&feature=emb_logo.

17. Dahrendorf R. (1988). Max Weber und die moderne Sozialwissenschaft // Mommsen W. J., Schwenkter W. (Hrsg.) Max Weber und seine Zeitgenossen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 785.

18. Kaube. Op. cit. S. 377.

крыто тематизируются определенные моменты. Книга состоит из пяти примерно равных по объему разделов. Представим кратко каждый из них, выделяя при этом содержательные акценты, расставленные Г. Хюбингером в рамках «интеллектуалистского» подхода к биографии Вебера.

Раздел I «Буржуазное ведение жизни и научная ориентация» (S. 11–83) включает в себя главы об образовательной социализации Вебера в привилегированной среде крупной буржуазии эпохи Бисмарка, о его жизни в качестве частного ученого после вынужденного прекращения университетской карьеры в 1903 году, а также о новом порядке знания в начале XX века и о специфическом языке веберовской «науки о действительности». Из данного раздела хочется выделить главу 1, посвященную школьным и студенческим годам молодого Макса Вебера (S. 13–33). Помимо погружения читателя в интимную среду разветвленного веберовского семейства, биограф на основе сохранившейся переписки между юным Максом и другими родственниками реконструирует элитарный жизненный мир берлинской либеральной буржуазии 1870–1880-х, которому с ранних лет принадлежал будущий классик социологии. Исследователь убедительно показывает, что так потрясавшая позже многих личностная и интеллектуальная независимость Вебера во многом обусловлена постоянным общением со знаменитыми политиками и интеллектуалами еще в родительском доме. То же самое касается политической ангажированности и полемической страстности великого ученого: Вебер с юных лет жил в атмосфере острых общественных дебатов той эпохи — например, Берлинского спора об антисемитизме (1879–1881), кстати, спровоцированного частым гостем дома Веберов знаменитым историком Генрихом фон Трейчке, или дебатов 1882–1883 годов о характере объединения Германии между тем же Трейчке и дядей Макса Вебера, либеральным историком Германом Баумгартеном (S. 19).

Не меньший интерес с точки зрения понимания социализации будущего классика представляют сохранившиеся данные о его учебе в «Королевской гимназии императрицы Августы» в берлинском пригороде Шарлоттенбурге. Например, в выпускном для Макса Вебера 1882 году из 302 гимназистов 273 были протестантами, 7 — католиками, 21 — иудеями, а 1 являлся буддистом! Любопытно вместе с биографом заглянуть и в учебный план немецкой гуманистической гимназии конца 1870-х - начала 1880-х. Так, в классе уровня «Secunda» 1878/1879 учебного года юный Макс имел в неделю 8 часов латыни, 4 часа греческого и математики, 3 — истории, по 2 — немецкого, французского, иврита и религии, 1 час — физики. Параллельно со школой он получал мощные образовательные импульсы и из семейного окружения, которое, помимо политики на городском, прусском и имперском уровне, также интенсивно интересовалось наукой и социальным прогрессом. В письмах Вебера-гимназиста постоянно упоминаются подаренные или одолженные книги на исторические темы, а также сочинения античных авторов. Уже 12-летним Макс читает Гердера, Макиавелли и Лютера. Его мать Хелена изучала с ним французскую литературу, а кроме того, оплачивала репетитора по английскому, учителя музыки (фортепьяно) и даже тренера по плаванию (S. 21–22). В 16

лет он совершает свое первое самостоятельное образовательное путешествие, завершившееся посещением знаменитого философа Вильгельма Дильтея в Бреслау! При этом биограф отмечает, что юный Макс проявлял мало интереса к естественным наукам...

К счастью для нас сохранился протокол устного экзамена М. Вебера от 20 марта 1882 года со следующими оценками: религия — удовлетворительно, латынь (Цицерон) — хорошо, Гораций — удовлетворительно, греческий — хорошо, математика — удовлетворительно, история — хорошо, иврит — удовлетворительно. Также в протоколе сохранилось замечание по поводу тех ответов, которые будущий автор «Протестантской этики» дал на выпускном экзамене по религии: «На вопросы о страстях и Пасхе он ответил правильно, как и на некоторые вопросы о соотношении различных Евангелий и их различиях. Содержание Евангелия от Иоанна он передал без значительных сбоев, но цитировал места из Библии неточно». Помимо этого забавного замечания экзаменаторов о будущем великом социологе религии, сохранился и годовой отчет Шарлоттенбургской гимназии за 1882 год, где выходящий в большую жизнь Макс Вебер аттестован следующим образом: «Макс Вебер из Эрфурта, сын господина городского советника и депутата Вебера, лютеранин, 17 лет, проучился 10 лет, два года в классах „Prima“, собирается изучать право» (S. 23–24).

Один из отцов-основателей социологии, Вебер действительно стал в апреле 1882 года студентом юридического факультета в Гейдельберге, оказавшимся для него впоследствии основным местом научной и жизненной активности. Помимо права Макс также посещал лекции по национальной экономике, истории и философии — как в Гейдельберге (1882–1883), так и в Страсбурге (1883–1884), Берлине (1884–1885) или Геттингене (1885–1886), где сдал экзамен на юриста. Как отмечает Хюбингер, студенческие годы Вебера характеризуются одновременно необычайным упорством в учебе и не менее полноценным участием в студенческих культурных практиках с их алкоголем, дуэлями буршей на шпагах и т. д. При этом сам Макс не видел в этом противоречия, с одной стороны, презирая примерных карьеристов-зубрилов, а с другой иронизируя над студентами типа «старый пивной скелет» (S. 25).

У кого же учился Вебер-студент? Среди известных сегодня имен в качестве его университетских учителей можно выделить философа Куно Фишера, историка Генриха фон Трейчке, правоведа Рудольфа фон Гнейста и др. Как и во время школы, одновременно с официальной программой, уже в первый университетский семестр он разработал собственный учебный план, в котором фигурировали работы Шлейермахера, Штрауса и исследования по павлинизму, заведшие его «глубоко в теологию». Вместе с первым юридическим экзаменом, сданным 15 мая 1886 года, Макс Вебер формально завершил свое университетское образование. Далее следовал четырехлетний референдариат, закончившийся вторым «ассессорским» экзаменом (S. 27–28).

Биограф справедливо отмечает тот факт, что, начав свой университетский путь в Гейдельберге, Вебер именно там напишет свои знаменитые труды: в этом смысле для конца XIX — начала XX века парадоксально, что не тогдашние реальные «лаборатории модерна» вроде Парижа, Лондона или Берлина, а небольшой городок в Бадене с его уникальной по плотности научной средой оказался удачным местом для интенсивной проработки типично современных тенденций в экономике, религии, этике и эротике (S. 4).

Второй раздел книги «Идеи и идейная борьба» (S. 85–157) посвящен ряду проблем, с которыми сталкивались интеллектуалы начала XX века: от художественной литературы как способа исследования современности (на примере романа Т. Манна «Будденброки») до появления социального института массового чтения и роста социального престижа журналиста и литератора; от общей интеллектуализации мира с выделением интеллектуалов как особого типа социальных акторов (в том числе на примере Русской революции) до конкретных примеров «социологии интеллектуалов». Веберовское понимание интеллектуалов как специалистов по работе с религиозными идеями, оказывающимися содержательно значимыми вехами для своих обществ, связывает религию и политику, превращая историческую проблему слоев-носителей тех или иных убеждений в релевантную для современности проблему поляризующей общества идеологической борьбы.

В этом отношении примечательна глава 9 «Антисемитизм и поляризующий модерн» (S. 143–157), в которой Хюбингер рассматривает немецкие антиеврейские настроения как постоянный фон, сопровождавший Макса Вебера от школы до последнего семестра в Мюнхене в 1920-м. Антисемитизм современного типа интересует биографа прежде всего в контексте доминировавшего тогда самопонимания немцев как культурной нации, ориентированной на образование и общественную интеграцию. При этом антисемитские коды и метафоры циркулировали не только в публичном пространстве, как показали те же Берлинские дебаты вокруг высказываний Трейчке, но и в пространстве немецкой академии. Как отмечал Вебер в свои студенческие годы, значительная часть не только студентов, но и профессуры активно использовали этот язык. Хюбингер фиксирует при этом, что в лексиконе самого Вебера также присутствуют характерные для этой среды слова-маркеры. Так, исследователь обнаружил в частной переписке ученого антисемитские высказывания даже в адрес некоторых коллег и партнеров (например, Э. Яффе). При этом историк отмечает, что в своих программных научных и политических выступлениях Макс Вебер однозначно высказывался против антиеврейских кампаний. Со слов его ученика Пауля Хонигсхайма известен анекдот времен веберовского пребывания в Гейдельберге в качестве частного ученого из-за болезни нервов: якобы однажды он высказался в том духе, что если однажды выздоровеет и вновь будет вести семинар, то примет в него только русских, поляков и евреев¹⁹. Не менее показательным в этой связи, что, став сооснователем уже во время Веймарской

19. Honigsheim P. (1963) Erinnerungen an Max Weber // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft № 7. S. 172.

республики Немецкой демократической партии, ученый столкнулся с тем, что она воспринимается в определенных кругах именно как «еврейская». В письме к отцу Георга Лукача Вебер в январе 1920 года заметил: «Академические настроения стали крайне реакционными и кроме того радикально антисемитскими» (S. 143).

Третий раздел «Порядки политического знания» (S. 161–238) включает в себя главы о положении политической науки на рубеже XIX–XX веков, о новой политической социологии в лице Вебера и Роберта Михельса, а также о соотношении веберовской «социологии государства» со взглядами на феномен современного государства у выдающегося правоведа Г. Еллинека и крупного историка Отто Хинтце. Как показывает здесь Хюбингер, сциентизация мышления о порядке одновременно с общественной демократизацией вызвала необходимость прояснить границы и специфику тематизации политического в рамках юридического, исторического и социально-экономического дискурсов. Поскольку собственно политическая наука тогда еще не существовала, то это прояснение вынуждено протекало внутри сложившихся дисциплинарных сообществ. В этом смысле интенсивная и интеллектуально плодотворная переписка с Р. Михельсом стала для Вебера той коммуникативной площадкой, на которой он мог принять участие в создании собственно политической социологии в условиях поздней Германской империи. Примечательно, что в постреволюционные годы Макс Вебер сам использовал формат читавшегося в университетах курса «Общее учение о государстве и политика», чтобы активно экспериментировать с содержанием. Объявляя свой курс в Мюнхенском университете в 1920 году, он добавил к привычному названию подзаголовок «социология государства», пытаясь нащупать новое понимание политического знания.

Биограф подчеркивает, что как *homo politicus* Вебер в новой Германии пытался выступать сразу в трех ролях: в качестве советника при разработке нового конституционного порядка, в качестве отстаивающего демократические ценности и правила публициста, а также в качестве политического ученого, аналитически исследующего природу и типы господства. Сами условия постреволюционного общества способствовали экспериментированию с понятиями. Например, понятие «цезаризм» не применялось им в знаменитой главе о господстве в «Хозяйстве и обществе». Теперь же оно занимает важное место в веберовском анализе практик господства, основанных на массовом политическом участии. Стоит ли говорить, что взгляд Вебера на плебисцитарно-аккламативные техники власти сохраняет свою релевантность и через сто лет, в эпоху расцвета так называемых новых популистов...

Четвертый раздел «Переустройство Германии и мира» (S. 241–304) посвящен взглядам Вебера на реформы в позднем рейхе и послевоенное будущее Европы. Примечательно, что еще в 1915 году ученый рассчитывал занять престижный среди немецких интеллектуалов пост политического советника правительства (например, по вопросу Бельгии, а затем Польши), что позволило бы ему вступить в прямой контакт с членами кабинета. Однако правительственные чиновники

не простили широко известному публицисту его разгромную критику кайзеровской политики неограниченной подводной войны, нереалистических аннексионистских планов и т. п. При этом сам Вебер, после собственного первоначального восторга по поводу «великой и чудесной войны», уже в конце 1915 года сравнивал пропагандистов безграничной военной экспансии Второго рейха с «самыми безответственными политиканами из пивных»²⁰. По мере продолжения общеевропейской бойни пафос Вебера как политического комментатора все больше смещался от внешне- к внутреннеполитическим целям. Учреждение Веймарской республики в этом смысле со всей остротой поставило перед политическим и интеллектуальным классом Германии проблему примирения идеи устойчивого социального порядка с либерально-конституционными ценностями свободы. Именно в этом контексте Вебер оказался важнейшим комментатором, пытавшимся послать широкой общественности импульсы, направленные на согласование интересов капиталистической экономики и демократического по дизайну политического господства. При этом трудно не заметить внутрилиберальные разногласия, например, относительно доминирования в будущей конструкции элитарно-демократических структур.

В этом отношении особый интерес представляет глава 17 «Культур-социология и проблемы демократии: Макс Вебер, Альфред Вебер, Эрнст Трёльч». Как показывает в ней Хюбингер, эти видные представители гейдельбергской интеллектуальной сцены в условиях революционной фазы демократизации Германии пытались «культурно-социологически» проблематизировать новые формы политического — причем одновременно на уровне институционального порядка демократического господства, идейно-дискурсивного обоснования нового режима и социокультурного проникновения демократических ценностей. При этом «проблемы с демократией» затронули Вебера непосредственно: в вебероведении широко известны слова, высказанные им при выходе из Немецкой демократической партии²¹ 14 апреля 1920 года после попытки однопартийцев уполномочить его участвовать в программе «социализации» хозяйства: «Политик должен и обязан идти на компромисс. Но моя профессия — ученый» (S. 288). Биограф справедливо указывает на амбивалентность веберовского понимания демократии: активно аги-

20. Так, в Германии во многих заведениях у постоянных компаний были зарезервированные столы (Stammtisch), за которыми тогдашние «пикейные жилеты» обсуждали политику и играли в карты. Этот культурный феномен зафиксирован в немецком языке в семантике целого ряда понятий (Stammtischpolitik, Stammtischparolen, Stammtischniveau), негативно маркирующих интеллектуальный уровень дискуссий за кружкой пива. Социологически в них ясно отражается сомнение в содержательной осмысленности столь радикального расширения «демократического участия».

21. НДП объединила в своих рядах таких тогдашних и будущих знаменитостей, как министр иностранных дел Веймарской республики Вальтер Ратенау, первый президент ФРГ Теодор Хойс, нобелевский лауреат писатель Томас Манн, философ Эрнст Кассирер, лауреат Нобелевской премии мира Людвиг Квидде, «отец» Веймарской конституции Гуго Пройс и др. Первым председателем партии стал теолог Фридрих Науман. Не без его влияния в рядах НДП оказался и Макс Вебер. Подробнее о Вебере-политике см.: Кильдюшов О. (2010). Немецкий национал-либерализм как зеркало русского национального движения // Вопросы национализма. № 2. С. 141–157.

тируя сограждан за новые принципы и ценности, как социолог господства Вебер довольно критически относился к возможности «демократии без руководства», предпочитая парламентской «коалиционной коллегиальности» «плебисцитарную вождистскую демократию»²² (S. 295).

Завершает книгу раздел «Окружение Вебера и наука» (S. 307–379), объединивший главы, посвященные сравнению в контексте культуры авангарда таких разных научных сред и сцен, как веберовский круг в Гельдельберге, Венский кружок и круг Штефана Георге. Исследователь рассматривает эти интеллектуальные движения — подобно различным марксистским, дарвинистским и ницшеанским течениям — как характерные для начала XX века разнонаправленные попытки концептуальной или художественной интерпретации эпохи как своеобразной лаборатории модерна. При этом он скорее ставит вопрос, нежели утверждает о существовании вокруг Вебера некоего устойчивого объединения подобно тому же Венскому кружку. Для ответа на этот вопрос он и проводит на первый взгляд неожиданное сравнение этих двух интеллектуальных сцен, выявляя как противоположности, так и точки соприкосновения в контексте авангарда. Связующим звеном между ними можно считать австромарксистски ориентированного экономиста Эмиля Ледерера, прямо относившего себя к кругу Макса Вебера и при этом поддерживавшего тесные контакты с одним из лидеров Венского кружка Отто Нейратом. По мнению близко знавших Вебера, его специфический стиль мышления ярко воплощал идею свободного индивида, находящегося в постоянной борьбе с принудительной силой социального порядка: веберовский «конфликт-либерализм» не вписывался в упрощенную схему выбора между левой утопией «рая на земле» и воспринимаемой как несправедливость реальностью фактических отношений господства.

Нетрудно заметить, что при анализе гейдельбергской интеллектуальной сцены Г. Хюбингер в целом следует за М. Райнером Лепсиусом, который в этой связи говорит о возникшей вокруг великого ученого уникальной «социально-моральной среде»²³. Именно в этой плотной сети научно-культурных связей Вебер разработал оригинальные методы анализа противоречий модерна начала XX века посредством историко-теоретических моделей, включающих множество измерений. Пауль Хонигсхайм ввел в оборот понятие «социология веберовского круга», обозначающее специфическую сцену «интеллектуально одержимых» ученых, включенных в процесс интеллектуализации жизни. В этом смысле личная причастность Вебера и его окружения к охватившей культурный мир модерна

22. Веберовские представления о *Führerschaft* и «плебисцитарной вождистской демократии» постоянно провоцируют вопрос — явно не без влияния важного исследования Вольфганга Моммзена «Макс Вебер и немецкая политика», — как бы повел себя Вебер по отношению к Гитлеру и движению национал-социалистов. См.: *Mommsen W. J. (1959). Max Weber und die deutsche Politik 1890–1920. Tübingen: Mohr.*

23. *Lepsius M. R. (2016). Max Weber und seine Kreise: Essays. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).* См. нашу рецензию на данную работу: *Kildyushov O. (2019). On the «Topological» Reading of Max Weber // Russian Sociological Review. Vol. 18. № 2. P. 202–205.*

сциентизации, прежде всего социального знания поставила перед ними вопрос о самостоятельной ценности науки применительно к порядкам жизни. Наконец, в последней главе «Ученый и ценность науки» (S. 359–379) Хюбингер обсуждает вопросы, связанные с сегодняшней актуальностью веберовских импульсов — в какой мере развитие и критика концептов классика позволяет уточнить наше понимание универсально-исторических проблем начала XXI века.

Книга Гангольфа Хюбингера имеет подзаголовок «Этапы и импульсы интеллектуальной биографии». На взгляд рецензента, этому блестящему знатоку веберовского наследия действительно удалось на документальной основе осветить многие важнейшие моменты творчества классика и проследить интеллектуальные импульсы, делающие Макса Вебера актуальным собеседником и для нас сегодня.

New Intellectual Biography of Max Weber

Oleg Kildyushov

Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

Book Review: Gangolf Hübinger, *Max Weber: Stationen und Impulse einer intellektuellen Biographie* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019).